

И С Р О Э Л - И Е Ш У А З И Н Г Е Р  
Б Р А Т Ь Я А Ш К Е Н А З И

ЗИН

(издание)

И С Р О Э Л -  
И Е Ш У А  
З И Н Г Е Р

Б Р А Т Ь Я  
А Ш К Е Н А З И





י.י. זינגער

# די ברידער אשכנזי

ראָמאַן אין דרייַ טיילן

ИСРОЭЛ-ИЕШУА ЗИНГЕР  
**БРАТЬЯ АШКЕНАЗИ**  
РОМАН В ТРЕХ ЧАСТЯХ

*Перевод с идиша  
В. Чернина*



при поддержке  
**The Rosenblatt  
Charitable Trust**  
Москва, 2012



УДК 821.112.28(73)  
ББК ББК 84(7Сое)  
3-63

Оформление серии Игоря Сатановского  
Иллюстрации Дмитрия Шевионкова-Кисмелова

Первое издание на русском языке

ISBN 978-5-9953-0186-8 («Книжники»)  
ISBN 978-5-7516-1060-9 («Текст»)

© «Книжники», издание на русском языке, 2012  
© The Rosenblatt Charitable Trust, 2012

**The Rosenblatt Charitable Trust**

lovingly dedicates this wonderful volume in honor of

**ANDRE CHARLES ROSENBLATT**

**חיים-ברוך בן אריה-דוב ומרים-פריווא ראָזנבלאַט**

son of our Trustee, student,

and active participant in Jewish communal life.

May his passionate concern for the ongoing well being

of the worldwide Jewish community

always guide him and his generation

as they walk in the paths of the Torah.

---

**Благотворительный фонд Розенблатта**

посвящает это замечательное издание

**АНДРЕ ЧАРЛЬЗУ РОЗЕНБЛАТТУ**

**חיים-ברוך בן אריה-דוב ומרים-פריווא ראָזנבלאַט**

сыну нашего попечителя, студенту,  
активному участнику общинной жизни.

Пусть его неустанная забота

о благополучии еврейства во всем мире

неизменно ведет его самого

и все его поколение путями Торы.

*Памяти моего горячо любимого  
сына Яши, ушедшего из этого мира  
в цветущей юности, посвящается*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
**РОЖДЕНИЕ**

## Глава первая

**П**о песчаным дорогам, ведущим из Саксонии и Силезии в Польшу, через леса, деревни и местечки, разрушенные и погоревшие после наполеоновской войны, тянулись одна за другой фуры с мужчинами, женщинами, детьми и скарбом.

Крепостные польские крестьяне останавливали свои плуги посреди поля, прикрывая рукой глаза от солнца и пыли, и голубыми прищуренными глазами долго смотрели на чужих людей и чужие фуры. Крестьянки опускали мотыги и сдвигали красные головные платки, чтобы лучше видеть. Крестьянские дети с льняными волосами, одетые в одни грубые холщовые рубахи, выбегали вместе с собаками из-за плетней и из землянок и встречали проезжих лаем и криком. У входа в еврейские корчмы стояли еврейские мальчишки с черными вьющимися пейсами и в малых талесах с кистями видения<sup>1</sup> поверх рваных штанишек и, вытаращив удивленные черные глаза, смотрели на фуры, медленно тянувшиеся куда-то вперед длинной чередой.

— Мама! — выкликали они своих матерей-шинкарок. — Пойди, посмотри, мама!

Странные люди и фуры проезжали по польским дорогам. Такие в Польше видели редко. Фуры не были ни роскошными панскими, ни крестьянскими, длинными и узкими, с лесенками с обеих сторон; это не были ни крытые телеги еврейских извозчиков, с латаными боками и ведрами сзади, ни почтовые возы с четверкой лошадей и трубачами. И упряжь у лошадей в этих фурах тоже была другая — со множеством кожаных ремней и ремешков, чего в Польше не увидишь. Но особенно необычными были сидевшие в них люди.

---

<sup>1</sup> Кисти видения (цицит) — нитяные кисти, которые надлежит носить мальчикам и мужчинам на одежде, имеющей четыре угла, прикрепив их к каждому из них; атрибут талита (*ашкеназск.* талеса) — молитвенного одеяния.

Фуры были разные: широкие с тяжелыми высокими колесами, запряженные добрыми конями, и легкие, худо сколоченные, с одной лошаденкой в упряжке; фуры-дома, со стенами и крышей, какие бывают у странствующих комедиантов и циркачей; и фуры, крытые натянутым на шести холстом, как у цыган. Попадались и маленькие тележки, запряженные двумя большими собаками. А были и такие, которые тянули только муж с женой, а дети подталкивали их сзади.

Похожими на фуры были и их хозяева. На фурах-домах лежали, развалившись, жирные, пузатые немцы с русыми бородами, сбритыми на подбородке и растущими прямо из шеи, мужчины с трубками в зубах и часами в карманах. Рядом с ними хлопотали упитанные немки, их жены в чепчиках и деревянных башмаках, надетых на красные шерстяные чулки. Эти телеги были набиты вещами, бельем, платьем, ткаными скатертями и салфетками, чеканкой по меди с изображениями немецких королей и их победоносных войн. В каждой такой фуре была также Библия и несколько молитвенников. Гуси, куры и утки, не переставая, гоготали, кудахтали и кричали в своих клетках. Кролики пищали и прыгали в сене. Верещали морские свинки. За возом шло по нескольку привязанных коров, толстых, с большим выменем.

В телегах поменьше люди были так же худы и измучены, как и тащившие их по тяжелым дорогам одинокие понурые лошаденки. Одинокие коровенки, шедшие следом, были тощими и малоудойными. Сидели в телегах только малыши. Дети постарше и родители шли по бокам, подталкивая колеса и покрикивая на лошадей.

Самые бедные — изнуренные, полуголодные и босые — запрягали в свои тележки собак или впрягались в них сами. Кроме детей и кучки убогих свертков, у них было только по нескольку кур и кроликов. Изредка попадались козы. Женщины шагали наравне с мужчинами и тащили свои тележки за веревки.

Единственное, что было у всех странников — и богатых, и бедных, — это ткацкий станок из гладких досок, штанг и веревок.

— Да благословенно будет имя Иисуса Христа! — так приветствовали крестьяне и крестьянки проезжих. — Куда это вы едете, люди?

Чужаки не отвечали на приветствия и не говорили, куда едут.

— Гутен таг! — только и говорили они. — Грюс Готт.

Польские крестьяне не понимали ни слова и плевались.

— Язычники! — злобно ворчали они и крестились. — Языка католиков не понимают.

В отличие от них еврейские корчмари находили с чужаками общий язык. На идише они приглашали их в корчмы отдохнуть, подкрепиться. Но чужаки не принимали приглашений, даже на четвертинку, как польские крестьяне, не раскошеливались. У них все было свое. Они ночевали в фурах и не тратили в пути ни гроша.

Это были ткачи из Германии, частично из Моравии, которые переселялись в Польшу.

Потому что в Германии было много людей и мало хлеба. А в Польше было много хлеба, а товаров не было совсем. Крестьяне сами ткали из льна грубое полотно. Но горожанам, носившим хлопковые, шерстяные и шелковые ткани, приходилось покупать иностранные товары. Все сырье, из которого шились одежда и белье для страны, для ее населения и армии, евреи привозили из-за границы, главным образом из Данцига по Висле. Денег в стране не хватало, и из Польши в Германию направили агентов, чтобы уговорить немецких ткачей приехать в Польшу, где они бесплатно получают землю, смогут выгодно продавать свою продукцию и будут иметь хлеба досыта.

Ткачи, которые к тому же сами были наполовину крестьянами, взяли с собой в новую страну все — от курицы до кошки, от хворостины, чтобы стегать детей, до веретена, от гармоники, чтобы играть по воскресеньям, до лемеха, чтобы

обрабатывать землю. В фурах лучше ехали пасторы в длинных одеяниях с женами и детьми, чтобы поддерживать в протестантской вере свою паству в чужой, католической стране и воспитывать детей в покорности Богу и императору.

Чужаки тянулись по равнине, в окрестностях Варшавы, от Жирардова до Калиша, от Пабяница и Згержа до Петрокова.

Часть из них осела в местечке Лодзь, что лежит у медленной узкой речушки Лудка. В стороне от местечка, у дороги, ведущей к сосновым лесам, чужаки построили себе дома, посадили огороды и сады, разбили картофельные поля, выкопали колодцы, посеяли пшеницу и установили свои деревянные ткацкие станки.

За это польское правительство, подчиненное российскому императору, Царю Польскому, даровало им все привилегии, которые они только потребовали: не взимать с них в первые годы налогов, не призывать их в армию, не препятствовать им жить по своей протестантской вере, по своим обычаям и со своим языком, а также не допускать евреев селиться в их новом поселке под Лодзью, получившем название Вилки, что означает по-польски «волки». Назвали его так потому, что волки частенько появлялись там в морозные дни.

Несколько десятков евреев, живших в Лодзи на одной из боковых улочек среди мещан, были по большей части портными, у которых иноверцам приходилось заказывать одежду и которых поэтому пустили в местечко, в то время как другим евреям там жить не дозволялось.

У них был свой цех, собственный домишко, где они собирались, чтобы обсудить козни, которые строили против них цехи иноверцев. Этот же домишко служил молельней: на столе стоял простенький, деревянный, похожий на ящик священный кивот, в нем покоился старый свиток Торы. Раввина у лодзинских евреев не было, не было у них также ни микве, ни кладбища. По религиозным вопросам обращались к сельскому меламеду, которого приглашали обучать детей. Когда какой-нибудь портнихе требовалось отправиться в мик-



ве, муж вывозил ее за местечко к реке и следил, чтобы ее не обидели иноверцы. Зимой делали топором прорубь во льду, и женщины совершали омовение в ледяной воде. Покойников везли на крестьянских телегах в общину Ленчица, к которой были приписаны лодзинские евреи.

Лодзинские портные плохо уживались с ленчицкой общиной, потому что в Ленчице было много бедных, живших впроголодь евреев, тоже главным образом портных. Им приходилось поститься, пока какой-нибудь еврей не заказывал нового лапсердака. У портных в Лодзи дела шли лучше, и ленчицкие портные втихаря перехватывали у них заказы, сбивая цены. Лодзинские евреи, опасавшиеся за свой хлеб, доносили унтер-префекту местечка на конкурентов, утверждая, что они портачи, что им бы только заплатки ставить и что они отнимают заработок у лодзинских членов цеха, платящих налоги. К нижайшему, верноподанническому прошению они добавляли сала на церковные свечи и присовокупляли, что будут всегда Бога молить за его светлость префекта. Унтер-префект посылал к чужим портным своих стражников и отбирал у них ножницы и утюги. Тех из них, кто снова тайком приезжал в местечко, вязали, пороли и высылали.

Поэтому ленчицкая община не хотела хоронить покойников из Лодзи, пока ей не заплатят червонец. Лодзинские портные от злости перестали платить общинные взносы в Ленчиц. Тогда ленчицкие общинные заправила добились у властей, чтобы лодзинским евреям приводили на постой солдат.

Солдаты-иноверцы селились в еврейских домах, ели там нечистую еду, хватали кошерный нож и резали им свою свинину, говорили гнусности, приставали к женщинам и девушкам и передразнивали евреев, показывая, как они раскачиваются во время молитвы. К тому же приближался праздник Пейсах, когда не подобает держать иноверцев в доме, потому что они могут принести квасное. Лодзинским портным пришлось отложить работу, хотя они должны были сшить много платья иноверцам к их христианскому празднику, и отпра-

виться в Ленчиц к раввину просить, чтобы солдат забрали из их домов.

Ленчицкие общинные заправила не желали забирать солдат, пока портные из Лодзи не попросят прощения, надев мешки, как подобает кающимся грешникам. Портные сняли сапоги и, стоя в рваных чулках, просили прощения у общинных заправил. Потом они заплатили общинный взнос и поклялись раввину перед свитком Торы и свидетелями, что они не будут больше передавать ленчицких портных в руки иноверцев.

Тогда солдат забрали, а ленчицкие портные потянулись в Лодзь.

Но в Вилках, где осели немцы, им нельзя было селиться. Когда какой-нибудь еврей проходил через Вилки, мальчишки с льняными волосами бросали ему вслед камни, натравливали на него собак и кричали:

— Геп, геп, юде!..

## Глава вторая

Лодзинский купец и глава кагала<sup>1</sup> реб Авром-Герш Ашке-нази, которого прозвали реб Авром-Герш Данцигер<sup>2</sup>, потому что он ездил в Данциг<sup>3</sup> покупать шерсть и шелка, озабоченно сидел над трактатом «Зевахим»<sup>4</sup> и нервно щипал свою длинную черную густую бороду.

Но заботили его совсем не заработки. Потому что, хотя лодзинские немцы после нескольких десятков лет проживания в

<sup>1</sup> Кагал — административная форма самоуправления общиной у евреев в Польше и других странах Восточной Европы в XVI — первой половине XIX в.

<sup>2</sup> Данцигский (*идиш*).

<sup>3</sup> Ныне город Гданьск в Польше. Во время описываемых событий — в составе Королевства Пруссия.

<sup>4</sup> «Зевахим» («Звахим») — пространственный талмудический трактат, посвященный порядку жертвоприношения животных и птиц, а также ряду аспектов богослужения в Храме.

городе так и не пустили евреев к себе в Вилки и в цех ткачей, в Лодзи все-таки быстро выросла большая еврейская община с раввином, даяном<sup>1</sup>, резниками, синагогами, микве и кладбищем. Евреи в Лодзи торговали, зарабатывали на жизнь и жили.

Поселившиеся в Польше немцы делали плохую, грубую работу. Их полотно было тяжелым и не нравилось помещикам, офицерам и почтенным, богатым горожанам. Хорошие, красивые товары: тонкие шерстяные ткани, блестящие шелка и бархат — все еще приходилось привозить из-за границы. Богатые еврейские купцы ездили почтовыми каретами, а потом и первыми поездами в Данциг, в Лейпциг и привозили дорогие ткани. Евреи победнее вместе со стоявшими на границе солдатами контрабандой доставляли товары из Германии и очень хорошо зарабатывали. Бродячие еврейские торговцы босиком ходили по песчаным крестьянским дорогам, скупали у мужиков овечью шерсть и продавали ее в Лодзи купцам, отправлявшим ее на переработку за границу. Крестьяне, которые раньше часто оставляли своих овец нестриженными, с грязной, свалявшейся шерстью, начали теперь стричь их и купать в ручьях, чтобы их шерсть была чистой и белой. Арендаторы и скупщики заранее покупали в помещичьих имениях шерсть тысяч овец.

Немецкие мастера доносили властям, что евреи ввозят контрабанду из Германии. Кроме того, они утверждали, что еврейские торговцы хлопчатými тканями дают хлопок на обработку бедным немецким ремесленникам и тем самым сбивают цены на товары. Еврейские производители хлопчатых тканей, не получавшие, в отличие от немцев, кредитов из польского банка, были по этой причине стеснены в средствах. Они не всегда могли заплатить ремесленникам наличными. Поэтому они стали выдавать собственные кредитные бумаги на древнееврейском языке с черным штампом от потертой каменной печатки. Эти бумаги заменяли деньги при расчете немецких ткачей с еврейскими лавочниками, портными, сапожниками и шинкарями. На исходе каждой субботы ткачи относили свою работу еврей-

---

<sup>1</sup> Судья в религиозном еврейском суде.

ским работодателям и получали за нее древнееврейские расписки. За них им давали в лавках все, что душе угодно: любые продукты, мясо, а также пиво и водку. Немецкие мастера жаловались чиновникам, что евреи выпускают собственные, еврейские деньги. И те запрещали евреям использовать вместо денег свои расписки. Кроме того, они отправили в Англию человека, который закупил много хлопка, чтобы вытеснить евреев с этого рынка. Но сами же чиновники его и разворовали. К тому же они брали взятки у евреев, так что немецкие ремесленники продолжали на них работать и получать расписки на древнееврейском языке. С одной стороны, чиновники издавали законы, запрещавшие ввозить товары из-за границы, а с другой — охотно покупали их у евреев и охотно брали взятки у контрабандистов, ввозивших их беспошлинно.

Одним из виднейших богачей Лодзи был реб Авром-Герш Данцигер. Несколько раз в год он ездил в Данциг, привозил оттуда самые дорогие шерстяные и шелковые ткани и продавал их лавочникам и сельским торговцам-разносчикам. Как раз сейчас, после Пурима, он вернулся из поездки, в которой заключил очень удачные сделки. Он купил чудесные подарки своей жене и дочерям. Купил он и подарок своему Воркинскому<sup>1</sup> ребе<sup>2</sup> — большой серебряный кубок для кидуша<sup>3</sup>. Приехав домой, он застал всех домашних в добром здравии и все дела в порядке. Это очень порадовало реб Аврома-Герша.

Огорчали его общинные дела. Хотя он был еще весьма молодым человеком, он стал главой городского кагала благодаря своему богатству, учености и набожности. Теперь, за время его отлучки по торговым делам, в общине накопилось много проблем.

Во-первых, нужны были деньги для городских бедняков в канун праздника Пейсах. Не только для тех, кто побирает-

<sup>1</sup> Ворке (Вурке) — еврейское название местечка в Центральной Польше (польское название — Warka), центра воркинского хасидского двора, пользовавшегося большим влиянием в середине XIX в.

<sup>2</sup> Глава хасидского двора.

<sup>3</sup> Субботнее и праздничное благословение на вино.

ся по домам, но и для многих ремесленников, которым после всех трудов целого года нечего было принести в дом на Пейсах. Надо было купить для них мацу, вино, яйца, мясо и жир. Реб Авром-Герш вынул из кармана красный носовой платок и с несколькими почтенными обывателями ходил по домам богачей собирать деньги. Но чем больше собирали, тем больше требовалось. Бедняки срывали с петель двери в доме кагала, плакали и выдвигали претензии.

Во-вторых, надо было выкупать пленных, сидевших в тюрьмах. На дорогах и тропах Польши казаки сражались с панями, восставшими против Российской империи и пытавшимися посадить на польский престол своего короля. Повстанцы скрывались в лесах. Казаки охотились на них, преследовали, ловили и вешали. Но были и евреи-арендаторы, которые везли повстанцам, своим помещикам, порох. Тех из них, кто попадался в руки казаков, вешали на деревьях вдоль дорог. Как раз перед Пейсахом в тюрьму Лодзи привезли сельских евреев. Они ехали с бочонками яблок, под которыми был спрятан порох. Казаки остановили их, потыкали пиками в солому и ничего не нашли. Но потом им захотелось яблок, они принялись отнимать их и обнаружили спрятанное. Нескольких евреев казаки сразу же повесили. Остальных привезли связанными в Лодзь и посадили в тюрьму. Теперь их жены и родственники стояли в здании общины, плакали и просили, чтобы повешенных похоронили по еврейскому обычаю, а заключенных выкупили из рук иноверцев, потому что в противном случае их тоже повесят.

На все это требовалось много денег. Кроме того, для арестантов надо было приготовить мацу, чтобы они не ели квасного в тюрьме.

В-третьих, в городе творился грех. Компания просвещенцев<sup>1</sup>, богачей, которые слишком разжирили и захотели сбро-

---

<sup>1</sup> Имеются в виду сторонники еврейского просветительского движения «Хаскала», возникшего в конце XVIII в. в Германии и проникшего в первой половине XIX в. в еврейские общины Российской империи.

снять с себя бремя еврейства, обратилась к властям с прошением, чтобы им разрешили открыть новомодную школу, где еврейских детей будут учить на языке иноверцев, где они будут сидеть с непокрытыми головами, в результате чего уйдут не только из хедера, но и от еврейства. Власти не сразу на это согласились, но богачи-просвещенцы пустили в ход большие средства, а деньгами всего можно достичь. Говорили также, что эти просвещенцы построят себе синагогу, как у немецких евреев за границей, поставят туда орган, как в церкви, а кантор будет там ходить бритым, как католический священник. Реб Авром-Герш знал, что такая синагога хуже церкви, потому что в церковь ходят только иноверцы или выкресты, а в такую синагогу внесут свиток Торы, будут заманивать туда простых евреев и уведут их с прямого пути веры на путь вероотступничества.

Был совершен и другой грех.

Еврейские торговцы, бродящие по деревням и скупающие у крестьян шерсть, шкуры и свиную щетину, узнали от иноверцев, что лодзинский парень Нафтоле по прозвищу Вероотступник, которого уже не раз прогоняли с синагогального двора за небрежное выполнение заповедей иудаизма, нанялся к немцу-ткачу, чтобы выучиться ткацкому ремеслу. При этом им сказали, что парень работает по субботам и ест в доме у иноверца недозволенную пищу.

Реб Авром-Герш послал за этим молодчиком и припугнул его, что, если он не уйдет от иноверца, кагал сдаст его в солдаты. Но парень ничего не хотел слушать и нагло заявлял, что хочет научиться ткачеству. Чиновники отказались забирать Нафтоле в солдаты, как того просил кагал. Это привело к тому, что и другие евреи, легкомысленно относившиеся к еврейству, начали сближаться с иноверцами. Так, молодой человек по имени Мендл Флидербойм, державший несколько ткацких станков и научившийся ремеслу у своих работников-немцев, подал прошение в иноверческий цех, чтобы его приняли туда в качестве мастера. Чиновники ему помога-

ли, потому что он одевался в короткое платье, сбрил бороду и научился говорить и писать на языке иноверцев. Среди простых людей и ремесленников это вызывало зависть и желание последовать за отступниками. На местечко обрушились несчастья, дети умирали от скарлатины, и было ясно, что это Божья кара за грехи предателей из стана Израилева.

Но больше всего огорчало реб Аврома-Герша то, что жена не пускала его на праздник к ребе. Он имел обычай ездить на все праздники в Ворку, не только на Новолетие, Судный день и Пятидесятницу, но даже и на Пейсах. Его жена плакала, что он разрушает ей праздник и что ей приходится ехать в дом своего отца-даяна, в местечко Озорков, чтобы он провел для нее пасхальный сейдер, словно она, не дай Бог, вдова. Обычно реб Аврома-Герша не слишком волновали женины слезы. Он знал, что на то она и женщина, чтобы плакать. Но на этот раз все было иначе. Жена вот-вот собиралась родить. Она чувствовала, что родится мальчик, потому что ощущала толчки в правой стороне живота. И не хотела, чтобы обрезание проводили без отца.

— Если со мной, не дай Бог, что-то случится, — плакала она, — я не переживу такого позора.

От плача она заболела, у нее начался жар, и реб Авром-Герш места себе не находил. Он снова и снова смотрел на красивый серебряный кубок, купленный в подарок ребе как кубок Илии-пророка<sup>1</sup>, и от обиды кусал свою черную бороду.

Дороги на Ворку тоже были беспокойны. Повсюду крутились казаки и били проезжих. Частенько они не только избивали, но и вешали невинных людей. Реб Аврома-Герша отговаривали ехать в такое опасное время.

Но он никого не хотел слушать. Перед последней поездкой к ребе на праздник Кущей он упомянул в квитле<sup>2</sup> свою

<sup>1</sup> Во время пасхального седера на стол ставится специальный кубок для Илии-пророка, который, согласно еврейскому поверью, невидимым приходит на пасхальные седеры.

<sup>2</sup> Записка (*идиш*). В данном случае имеется в виду записка с просьбами хасида к ребе.

жену, которая незадолго до этого забеременела. Ребе выслушал его и сказал:

— Авром-Герш, твои потомки будут богачами.

Реб Авром-Герш наморщил лоб.

— Ребе, — сказал он со страхом, — я бы хотел, чтобы они были богобоязненны.

Ребе ничего не ответил ему на это. Реб Авром-Герш не стал переспрашивать, но помнил молчание ребе и усматривал в нем дурной знак. Именно сейчас, до появления на свет сына, думал он, ему надо бы съездить к ребе и поговорить с ним о своем желании видеть детей евреями. Об опасностях поездки он не думал. Он не был пугливым, реб Авром-Герш. Он уже многое повидал в своих разъездах, всякого страха. Его удерживал только ребенок, который должен был родиться. Для женщины будет большим огорчением остаться одной в такой момент, думал он. Сейдера она провести не сможет, да и на обрезание он не попадет, если, по Божьей воле, будет сын. Его тесь-даян проклянет его за такое поведение.

С другой стороны, его тянуло к ребе. Бедные хасиды из штибла<sup>1</sup> ждали, чтобы он взял их с собой в поездку за свой счет и дал им пропитание в дороге. Они будут смеяться над ним, если он позволит жене уговорить себя и останется дома. Из-за него у этих евреев будет испорчен праздник. К тому же он купил ребе в подарок красивый серебряный кубок. Как он будет выглядеть, если преподнесет ребе пасхальный серебряный кубок Илии-пророка только на Пятидесятницу? И самое главное — дети. Ребе сказал, что они будут богачами. Но он хотел бы, чтобы ребе пожелал им стать богобоязненными. Если, не дай Бог, окажется, что из-за их богатства они не будут евреями, то ему не нужно богатства. Пусть будут бедными меламедами, лишь бы были честными евреями. Он обязан поговорить об этом с ребе, пока еще есть время. Если бы она, его жена, была не бабой, а разумным человеком, она сама должна была бы гнать его сейчас к ребе, пока ребенок еще не родился на свет. Но разве баба

<sup>1</sup> Буквально — домик (*идиш*). Здесь — хасидская молельня.



понимает в чем-нибудь, кроме слез? На то он и мужчина, чтобы понимать все лучше и не размягчаться из-за женских жалоб.

И он принялся паковать чемоданы, большие кожаные чемоданы, с которыми он ездил в Данциг. Он положил в них талес и тфилин<sup>1</sup>, атласный лапсердак, святые книги, Гемору, чтобы учить ежедневный урок в пути<sup>2</sup>, серебряный кубок, рубахи. Как подобает настоящему воркинскому хасиду, он не забыл упаковать и несколько бутылок пасхального чистого спирта, оковита. Потом он послал служанку Лею-Сору за извозчиком.

— Авром-Герш, — плакала его жена с огромным животом, — я не переживу такого позора!

Реб Авром-Герш даже не оглянулся. Он поцеловал мезузу<sup>3</sup> и вышел. Уже стоя в дверях, он пожелал жене легких родов. Потом добавил, что, если, с Божьей помощью, будет мальчик, то пусть ему дадут имя Симха-Бунем.

— Слышишь, ради Бога, Симха-Бунем, по имени Пшисхинского ребе<sup>4</sup>, да будет благословенна его память, — крикнул он в открытую дверь. — Я так хочу.

## Глава третья

**Ж**ена реб Аврома-Герша не ошиблась в своих предчувствиях во время беременности. Недаром в последние месяцы она ощущала толчки в правой части живота. Она считала это

<sup>1</sup> Тфилин — две маленькие коробочки из выкрашенной черной краской кожи кошерных животных, содержащие написанные на пергаменте отрывки из Торы.

<sup>2</sup> Богобоязненные евреи стараются каждый день изучать хотя бы один лист из содержащегося в Талмуде свода религиозных законов — Гемары (ашкеназск. Гемора).

<sup>3</sup> Прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме свиток пергамента из кожи кошерных животных, содержащий стихи из молитвы «Шма» («Слушай, Израиль»).

<sup>4</sup> Ребе Симха-Бунем Богард (1765–1827) — один из наиболее почитаемых в Польше хасидских лидеров.

знаком того, что носит мальчика. Так оно и было. Но вместо одного мальчика родилась двойня.

Первый ребенок появился на рассвете, после тяжелой, полной мучений и боли ночи пасхального сейдера. Соседки со двора быстро схватили малыша и шлепнули его, чтобы он сильнее плакал, потому что это хорошо для новорожденного, а потом, подняв его вверх, к лампе, радостно крикнули роженице:

— Поздравляем, мальчик!

Роженица не переставала кричать, и женщины ее успокаивали.

— Ну, хватит, хватит, — гладили они ее потное лицо. — Все уже кончилось. Все благополучно. Не надо стонать!

Но служанка Лея-Сора, умелая повитуха, своим опытным глазом сразу же разглядела, что еще не все кончилось, что будет еще ребенок.

— Держитесь, хозяйка, за изголовье кровати, — посоветовала она, — так вы легче родите.

Через несколько минут появился другой малыш, большой и тяжелый.

Его не пришлось шлепать, чтобы он сильнее плакал. Он и так заорал во весь голос.

Лея-Сора тут же схватила его, поднесла к лампе и с огромной радостью воскликнула:

— Поздравляю, еще один мальчик. Богатырь, не сглазить бы!

Женщины быстро отыскиали две ленточки, красную и синюю. Повязали на ручку первого красную ленточку, а на ручку второго синюю в знак того, что один старше, а другой младше. Но в этом не было необходимости. Они и так не ошиблись бы. Тот, что появился на несколько минут раньше, был маленький, тощий, с жидкими светлыми волосиками на острой головке и с серыми, как у матери, глазами. Младший был большой, тяжелый, с круглой головкой, покрытой густыми черными волосами, и широко раскрытыми веселыми черными глазами. И голоса младенцев тоже отличались.

Старший плакал пискляво, прямо заходился в плаче. Младший плакал громко, мощно, басовито.

— Один совсем в мать, а другой в отца, — сказала Лея-Сора, передавая обоих детей, после того как их выкупали, роженице в постель.

Мать осмотрела обоих и первым взяла к груди того, что поменьше и послабее.

— Тише, тише, не кипятись, — увещевала она второго, который орал так, словно не радовался за опередившего его брата.

По очереди она побрызгала их ротки молоком, чтобы они почувствовали вкус и научились сосать. Тот, что побольше, сразу же взялся за дело, впившись губами в материнскую грудь. Тощий не сразу понял, что надо делать, и больше щипал материнскую грудь, чем сосал.

Все восемь дней до обрезания роженица не находила покоя, лежа на кровати со множеством подушек в головах. Она не знала, что делать с именами детей. Все время беременности она говорила своему Авром-Гершу, что если, с Божьей помощью, будет мальчик, то пусть его назовут в память о ее деде, войдиславском<sup>1</sup> раввине реб Янкев-Меере. Но реб Авром-Герш не хотел ее слушать. Он хотел только Симху-Бунема, в честь Пшисхинского ребе.

— Девчонок, — говорил он, — ты будешь называть по своим родным, а мальчики принадлежат мне.

Когда мужа не было дома, хозяйкой была она. Но сейчас она не могла решить, что делать. По правде говоря, мальчиков, слава Богу, родилось двое, так что она могла дать им четыре имени — каждому по два. Но она все равно тревожилась. Ей было не под силу разобраться с этими именами. Она хорошо знала, что ее Авром-Герш очень упрям, и боялась, что, как бы она ни сделала, ему это не понравится. Она знала, что он не потерпит ни единого имени с ее стороны, что он бы

<sup>1</sup> Войдислав (русск. Водзислав, польск. Wodzisław) — еврейское название местечка в районе города Келце в Царстве Польском.

обоим дал имена со своей стороны, потому что мальчики, как он сказал, принадлежат ему.

Женщины уговаривали ее отправить в будничные дни Пейсаха<sup>1</sup> посланника к мужу и пригласить его на обрезание. Но она не хотела. Она сердилась на него. Она никогда не была с ним особенно счастлива. Он либо пропадал в торговых поездках, либо уезжал к своему ребу. Но даже когда муж был дома, она его не видела, потому что он либо сидел с хасидами в молельне и справлял хасидские трапезы, либо учил Тору. Многого она не требовала. Она была дочерью хасида и знала, что так уж повелось в еврейских домах. Ее отец тоже так себя вел, редко виделся с матерью, разве что по ночам, и ему не о чем было разговаривать с женой, потому что женщина не должна учить Тору, не должна общаться с чужими мужчинами, даже не должна показываться в доме, когда к мужу приходят чужие мужчины. О чем ей разговаривать со своим ученым мужем?

Она все это знала, была к этому привычна, как все хасидские жены, и несла бремя, возложенное на ее пол. Как все женщины, по утрам во время молитвы она помимо прочего восхваляла Бога за то, что он, по воле своей, сотворил ее женщиной. Но она страдала. Да, она была, слава Богу, богачкой, люди ей завидовали. Кроме того, она каждый год рожала своему мужу детей. А муж привозил ей подарки из Данцига. Иной раз — красивую турецкую шаль. Другой раз — какое-нибудь украшение. Но на этом их разговор и заканчивался. По субботам у него всегда был гость к столу — какой-нибудь меламед или бедный хасид. Поэтому он никогда не сидел с ней за столом. Он ведь не мог посадить рядом с гостем женщину. Она только заходила вместе со служанкой послушать кидуш. Он давал ей немного отпить из кубка, после того как в соответствии с законом сам выпивал больше половины. Потом, после благословения на хлеб, он отрезал ей и служанке равные кусочки халы, и она шла на кухню есть вместе с Леей-Сорой.

<sup>1</sup> Так называемые «праздничные будни». В эти дни запрещено употребление квасного, как и в сам праздник Песах, но нет запрета на поездки.

Вместе они нигде не бывали. Ему нельзя было разговаривать с чужими женщинами, а ей — с чужими мужчинами. Если же они и отправлялись к родственникам на какое-нибудь торжество, то шли порознь. Он — впереди, она — в нескольких шагах за ним. В гостях муж сразу же присоединялся к мужчинам, а она — к женщинам. По субботам он поздно возвращался с молитвы. Ей приходилось подолгу дожидаться, пока он сделает для нее кидуш и она сможет поесть. Но большее всего ей было от его заносчивости. Он никогда с ней не советовался, не делился своими радостями, когда дела шли хорошо, не жаловался, когда они шли плохо. Он только вынимал из кармана брюк большой, как подобает богачу, кошелек, отсчитывал ей пачку банкнот на ведение хозяйства, и все. Он и по имени-то ее не называл, просто обращался к ней на «ты», как водится у очень строгих хасидов. Даже вернувшись из поездки, он едва достаивал ее словом. Только целовал мезузу и говорил:

— Доброе утро. Что слышно в доме?

И протягивал ей подарок. Если она брала подарок из его рук, это было знаком, что она сможет быть ему женой после долгой поездки<sup>1</sup>. Если нет, он хмурился и сразу же уходил в молельню к своим хасидам послушать новости от ребе.

Она боялась его, боялась его молчания, его ворчливого напева, когда он учил Гемору, его необъятной мужественности и величия во взгляде. Она не просила многого, разве иногда доброго слова, веселой улыбки, которые были бы ей наградой за ее скудную женскую жизнь на кухне со служанкой. Но от реб Аврома-Герша женщине ничего такого не полагалось. Да, он был ее мужем, она рожала от него детей, и по-своему он даже любил ее, но только по ночам, как положено законом. Днем же он с ней не разговаривал, не улыбался. Реб Авром-Герш был твердым в своих убеждениях евреем. Он считал, что женщина не должна вмешиваться в мужские

<sup>1</sup> В те дни, когда женщина считается ритуально нечистой, она должна, согласно законам иудаизма, избегать любых прикосновений к мужу.

дела. Все, что она должна, — это рожать детей, выкармливать их, соблюдать законы еврейства в доме и делать то, что велит ей муж. Он и вел себя с ней, как со служанкой. Когда его хасидам взбрело в голову завалиться к ним поздно ночью на пирушку, реб Авром-Герш приказывал варить кашу.

— Эй, там! — кричал он в дверь кухни. — Вари кашу для евреев!

По праздникам он всегда отсутствовал. Когда во всех еврейских домах царило веселье, реб Авром-Герш покидал дом. Уезжал к ребе. Одна, как, не дай Бог, вдова, она сама делала кидуш и ела с детьми на кухне. Без хозяина праздничная еда казалась безвкусной. И даже на Пейсах, когда самая бедная еврейка сидит рядом со своим царем, она должна была ехать к отцу-даяну в Озорков, чтобы он проводил для нее сейдер. Она привыкла к такой жизни, серой и одинокой, и уже ничего не говорила. Она хорошо знала упрямство мужа и знала, что уговаривать его бесполезно. Он не услышит. Но в этот раз она рассчитывала на свою беременность. Она не могла перенести такого позора: одна во время родов, как какая-нибудь гулящая, Господи прости. Она умоляла его остаться, плакала. Но он не внял ей и уехал в ВОРКУ. Боль и гнев, накопившиеся за годы замужества, жгли ее тело, произведшее на свет двух мальчиков. И она не послушала других женщин и не стала отправлять посланца, приглашая мужа на обрезание. Помимо прочего, она сомневалась, что он приедет, оставив своего ребе и хасидов.

Вся ее женская гордость, придавленная сапогом мужа, вспыхнула в ней, когда она лежала на кровати, где родила свою двойню, под покровом простыней, под защитой псалмов, оберегающих ее от нечистой силы. Твердо и энергично отвечая «амен» на стихи из молитвы «Шма», которую весело читали мальчишки из хедера по ту сторону простыни, она впервые в жизни сама готовила обрезание новорожденных, давала распоряжения, как ее муж-владыка, с достоинством и уверенностью в своем материнском долге. И об именах для

мальчиков она тоже позаботилась сама, пошла против воли мужа и назвала их по своему усмотрению.

Дать имена только в честь своих родственников она побоялась. На это у нее не хватило мужества. Она взяла и разделила имена. Старший получил одно имя со стороны мужа — Симха, а другое с ее стороны, в память о войдиславском раввине — Меер. Младшему она дала два оставшихся имени с обеих сторон — Янкев-Бунем.

Как только дни Пейсаха истекли, реб Авром-Герш вернулся из Ворки и велел показать ему мальчиков.

— Кто из них старший? — спросил он жену, потрясенно глядя на двух плотно запеленатых малышей.

— Тот, что поменьше, — сказала роженица, опустив голову.

— Как его зовут? — спросил отец.

— Симха, — сказала мать, дрожа всем телом.

— Одно имя? — удивился реб Авром-Герш.

— Нет. Второе имя — Меер, по моему деду, войдиславскому раввину, да благословенна будет память о нем, — прошептала она, глядя в пол.

— На, забери его, — гневно сказал реб Авром-Герш.

Служанка Лея-Сора поднесла отцу второго ребенка.

— Янкев-Бунемл, — обратилась она к младенцу, — иди к папе.

Реб Авром-Герш бросил взгляд на второго малыша, который смотрел на него широко раскрытыми, блестящими глазенками, и с его лица сползла маска гнева. То, что второе имя Пшисхинского ребе тоже присутствовало у его сыновей, несколько успокоило его. Но полностью доволен он не был. Его жгла мысль о том, что имя Пшисхинского ребе, ребе его отца, разделено и к нему прицепили имена какого-то войдиславского раввина.

— Вылитый хозяин, — попыталась смягчить его сердце служанка Лея-Сора, — парень-огонь, не сглазить бы.

— Заберите его. — Реб Авром-Герш раздраженно протянул служанке второго малыша.

Он не мог простить такое. Он больше не бросил на детей ни единого взгляда.

Мать со слезами на глазах прижала старшего к одной груди, а младшего к другой.

— На, Меерл, соси, душа моя, — говорила она старшему, которого называла только одним именем — именем своего деда, войдиславского раввина.

Младший сосал уверенно. Старший больше щипал грудь, чем сосал.

— Мамочка! — крикнула она от боли и позвала служанку: — Лея-Сора!

Лея-Сора проворно, но осторожно оторвала старшего от материнской груди и сердито посмотрела на него.

— Безобразник ты этакий! — погрозила она ему пальцем. — Ребенок не должен щипать матери грудь. Соси, как Янкев-Бунемл. Вот так.

Она осмотрела грудь хозяйки и покачала головой.

— Первый раз в жизни вижу, чтобы такой кроха мог так сильно щипать грудь. Нехорошо, он только орет и щиплется, этот разбойник с большой дороги.

Оторванный от груди малыш пискляво расплакался. Он просто надрывался от плача. Реб Авром-Герш не мог этого слышать.

— Лея-Сора, — разозлился он, — закрой дверь, я не могу учить Тору из-за этого крика.

Нет, двойня не принесла ему радости. Ведь жена извела имена Пшисхинского ребе понапрасну. Он уже думал о том, что, когда дети подрастут и он возьмет их в молельню к ребе, ему будет стыдно перед евреями называть их этими именами — Симха-Меер и Янкев-Бунем. Ни то ни се. Он несколько раз произнес их, чтобы они не вязли у него во рту. Он не мог простить их жене и, хотя она была еще слаба после родов, не заходил к ней и разговаривал с ней еще меньше, чем обычно.

Он окунулся в работу, занимался торговлей и Торой.



Он больше не поехал в Данциг. Стал вести дела на месте. В самом городе.

В Лодзи дела шли очень хорошо. Местечко росло изо дня в день.

Когда благодаря тесным связям с иноверцами и усвоенным у них манерам первые евреи получили право открыть ткацкие мастерские, их стали открывать и простые евреи, без связей, но хозяйственные. Русские чиновники, водворенные в страну после подавленного казаками панского восстания, очень охотно брали взятки и принимали подношения от евреев, которые хотели работать и жить. Они смотрели сквозь пальцы на еврейские мастерские, весело шумевшие в старой части Лодзи несмотря на отказ немцев принимать еврейских ткачей в цех.

Сперва евреи теснились в своем квартале. Быстро пристраивали новые дома, этажи, крылечки, чердачные комнатки, чтобы дать место всем, кто понаехал из окрестных местечек в Лодзь, где были работа и заработок. Строили по ночам, без разрешения, без порядка. Дома лепились вкривь и вкось, как попало. Ждать было некогда. Местечко росло стремительно. Постепенно евреи стали перебираться из своего тесного квартала в большие Вилки, где им было запрещено селиться. Сначала переехали те, кто побогаче и посмелее. За ними потянулись те, кто победнее и поосторожнее.

Как река во время весеннего разлива, затопляющего берега и сметающего заградительные насыпи, евреи из Лодзи, из окрестных местечек и деревень преодолевали все, что сдерживало бег их жизни. Они нарушали все запреты и законы, введенные против них полицией и немецкими переселенцами.

Тысячи еврейских арендаторов и шинкарей, сидевших по деревням при помещиках, были вынуждены оставить свои дома после разгрома панов и искать заработка в местечках и в городе. С каждым днем росло число мелких лавок, в которых сидели без дела шестнадцатилетние жены, вынужденные содержать своих поглощенных изучением Торы мужей. Паны были разбиты и высланы из страны, освобожденные от

рабства крестьяне бедны. Покупателей не было. И евреи стали основывать ткацкие мастерские в местечках вокруг Лодзи. По большей же части они стремились в саму Лодзь, которая затмила все окрестности. Прибывавшие сюда сельские евреи были работягами, они натерпелись при панах и не боялись опасности. Никакие препоны не могли остановить их, и они открывали ткацкие мастерские наравне с немцами.

Сначала они брали на работу немцев. Бедные немецкие ткачи, не имевшие возможности открыть собственную мастерскую, охотно шли работать к евреям, охотнее, чем к немецким мастерам. Евреи не требовали от рабочих, чтобы они целовали им руки каждое утро при приходе на работу и каждый вечер при уходе с нее. Они не били рабочих, находя у них в карманах украденную шерсть. Они просто отбирали ее и бросали на место. На исходе субботы немецкие рабочие сидели на кухнях у еврейских мастеров и ждали жалованья, курили трубки, поплеывали и разговаривали с женщинами и детьми на чистейшем еврейском языке.

— Реб хозяин, — говорили они хозяевам, которые никак не могли выбраться из субботы в будни, — дайте несколько золотых, а то скоро закроют все шинки.

Понемногу еврейские мальчишки, парни и даже женатые мужчины стали приходить из местечек и учиться ткацкому ремеслу. Отцы шли вместе со своими сыновьями по дорогам, ведущим в Лодзь. Они шли босиком по песчаным шляхам, отбиваясь палками от деревенских собак. Они вели своих детей, не годных к изучению Торы, чтобы отдать их на три года в обучение лодзинскому ткачу. Подойдя к городу, они натягивали сапоги и наказывали своим сыновьям быть порядочными людьми, угодными Богу и людям, слушаться во всем хозяина, тогда им будет хорошо и на том, и на этом свете. Из глубоких внутренних карманов, из тяжелых кошельков они вынимали заработанные потом деньги. Засаленные банкноты в уплату мастерам. За них мальчишки получали от мастера еду и ночлег и обучались ремеслу.

Сотни их стояли теперь у станков. С ермолками на головах, с кистями арбоканфесов<sup>1</sup> навывпуск, с клочками хлопка в кудрявых волосах и в пробивающихся бородаках. Их проворные руки ткали шерстяные и хлопковые ткани и женские платки с рассвета до поздней ночи. Подражая канторам, они с руладами распевали за работой фрагменты из молитв. Хозяева расхаживали в ермолках с прилипшими к ним перьями, следили за работой и за товаром — чтобы ничего не украли — и подгоняли подмастерьев каждый раз, когда те прерывались, чтобы вытереть пот со лба или скрутить папиросу.

На кухнях сидели жены и дочери хозяев, чистили картошку, тушили лук в больших сковородах — готовили еду для подмастерьев. Мальчишки-ученики качали ногой колыбель с младенцем, а руками наматывали шерсть на веретена.

На рынках евреи продавали готовые товары, остатки шерсти и хлопка. Мелкие лавчонки существовали за счет денег, которые оставляли в них рабочие. Старьевщики привозили в город тряпки, всякого рода бракованный товар и продавали евреям, которые делали из этого брака вату и вырабатывали новый хлопок. Девушки и женщины сидели с веретенами и натягивали нити на красные деревянные колки. Портные и швеи стучали швейными машинками, чулочники производили грубые и очень яркие женские чулки. Повсюду стоял стук машин, и на фоне этого стука звучали отрывки канторских мелодий и девичьи любовные песни.

Когда город стал невыносимо тесен, евреи принялись строить на окраине Лодзи свой пригород.

За городской чертой лежали поля, обширные и песчаные, на которых очень плохо родился хлеб. Даже трава на песках была жидкой, так что скотина там паслась тощая, немолочная, с маленьким выменем. Крестьяне, обрабатывавшие эту землю, были по большей части бывшими крепостными двух братьев, панов Канарских. Они не смогли после освобожде-

<sup>1</sup> Арбоканфес (арба канфот) — буквально: четыре вскрылия; то же, что малый талит.

ния выкупить землю у помещиков. На этой песчаной и неплодородной земле нельзя было ни заработать, ни прокормиться. Крестьяне продолжали жить у своих помещиков, голые и босые, питаясь одной картошкой и подолгу голодая перед каждой жатвой.

Богатый арендатор, коцкий хасид реб Шлойме-Довид Прайс, возивший польскую пшеницу и рожь в Пруссию, однажды бессонной ночью додумался, среди прочего, до того, что надо бы выкупить у братьев-помещиков Канарских эту худую землю, построить на ней местечко на окраине Лодзи и поселить бедняков, ремесленников и извозчиков, задыхающихся от тесноты в городе. На следующее утро, сразу же после молитвы, он велел своему слуге запрячь бричку и отвезти его в имение Канарских.

Будучи опытным в ведении торговых дел человеком, он не поехал прямо к помещикам, а остановился у барского эконома поговорить о ржи, которую хотел купить. Ходя вокруг да около, он расспросил эконома о Канарских, об их делах и торговле. Эконом крутил длинные усы и печально вздыхал по поводу дел своих помещиков, которые по уши увязли в долгах, но не делают ничего, чтобы из них вылезти, сорят деньгами, ездят гулять в Париж, а все заботы оставляют на него, эконома.

Реб Шлойме-Довид спокойно выслушал его и, довольный, отправился на барский двор.

Нет, он не стал рассказывать помещикам, что собирается строить местечко на их полях, — он был не настолько глуп. Он говорил только о стекольной мастерской, которую он хотел бы построить на песчаных почвах, так что, если бы ему подвернулась возможность дешево купить участок песчаной земли, он бы всерьез подумал об этом. У обоих помещиков сразу же загорелись глаза.

— Пане Шломку, — уважительно обратились они к нему, забыв о своем барстве и тыкании евреям, — в нашем имении Балуты так много песка, что его хватит на десяток стекольных мастерских...

Реб Шлойме-Довид не торопился, не улещивал панов и выкупил огромные песчаные поля за двадцать тысяч рублей наличными.

Когда помещики узнали в Париже от своего эконома, что этот еврей строит местечко на их полях, они засуетились, пытаясь отменить продажу. Они заявили, что еврей купил у них землю под стекольные мастерские, а не под местечко и поэтому продажа недействительна. Судьи и ассессоры, ходившие у помещиков в друзьях, искали в законах зацепку, чтобы выгнать еврея. У реб Шлойме-Довида не было дворца, чтобы устраивать балы для судей и ассессоров, он не умел вести разговоры о собаках и зайцах, которые они так любили, но у него были деньги, золотые кругляшки, до которых судьи и ассессоры большие охотники. Поэтому они стали искать в законах другую зацепку, чтобы повернуть их в пользу еврея, а не помещиков. Когда Канарские увидели, что дело плохо, они стали жаловаться властям, ссылаясь на то, что евреям запрещено селиться в деревне. Чиновники ездили в замок Канарских, пили вино, ходили на охоту, танцевали и обещали помещикам решить все в их пользу. Но реб Шлойме-Довид швырял деньги, эти золотые кругляшки, направо и налево, и высокопоставленные чиновники стали затягивать дело, послали его на рассмотрение в Варшаву. Они написали так много сопроводительных бумаг и комментариев с юридическими закорючками, что сами запутались и выпутаться не смогли.

Тем временем на песчаных полях начали строить дома, возводить улицу за улицей, переулок за переулком. Улицы вырастали за одну ночь. Строили быстро, торопливо, вкривь и вкось, кому как нравилось — один дом отступает от линии улицы, другой лезет вперед. В результате улицы извивались змеями. Торопились так, что въезжали в дом, не успев побелить стены... Крестьяне подвозили песок, кирпичи, корчевали пни, размешивали известь, пилили доски, крыли крыши. Еврейские столяры, плотники, маляры, жестянщики, стекольщики работали, торопили, подгоняли. Пока бумаги ва-

лялись в Сенате, здесь вырастал город с домами, улицами, рынками, которые не сможет убрать ни один закон.

Прежде чем новый город Балуты, который евреи называли Балут, стал давать официальные названия выросшим на песках улицам и переулкам, сами жители — ткачи, портные и извозчики — дали им свои имена, домашние, еврейские, по хозяевам домов, по стоящим там синагогам и молельням. Появились Синагогальная улица, Перечная улица, улица Сви-стуна, площадь Ионы-скорняка, переулок Гросмана и так далее — прозвища получило множество переулков.

По краям местечка еще жили крестьяне с их крытыми соломой хатами, с их тощими коровенками, гусями, свиньями и собаками. Но с каждым днем их деревенский облик менялся, их засасывал город. Одни строили, другие подвозили строителям кирпичи и песок, третьи копали глину и корчевали пни. Понемногу они сбросили с себя крестьянскую одежду и переделались в городскую, купленную в лавках. Они начали зарабатывать и тратить. Их дети стали крутиться в еврейских переулках, научились лопотать по-еврейски, получали кусок халы по субботам за то, что тушили светильники в еврейских домах, растапливали печи зимой. Бедные немецкие ткачи переезжали в крестьянские хаты. Агенты-немцы ходили по деревням и нанимали крестьян и крестьянок работать в городе на фабриках с паровыми машинами, которые начали в это время появляться в Лодзи, устремляясь высокими трубами в самое небо.

В стороне от Вилков, ближе к полям, немецкий мастер Хайнц Хунце, заработавший много денег на своих ручных ткацких станках и заваленный заказами, выстроил фабрику с паровыми машинами, красное здание со множеством окон. На рассвете мощный гудок на его высокой трубе вырывал людей из сна, будил для работы. Сразу же после постройки этой фабрики коцкий хасид реб Шлойме-Довид Прайс, сорвавший куш на продаже участков под застройку в Балуте и носивший теперь репсовый лапсердак, высокую шелковую шляпу и зонтик, а деньги при этом придержавший (толстая пачка банк-

нот была у него во внутреннем кармане жилета, не снимаемого даже на время сна), отправился через границы и страны до самой Англии, не зная никакого иностранного языка, кроме еврейского, который он коверкал на немецкий манер. Он закупил большие машины, нанял инженера-инверца и к нему химика, и привез их вместе с машинами в Лодзь. На большом участке, купленном за маленькие деньги, реб Шлойме-Довид построил фабрику с паровыми машинами. И вот второй гудок на высокой трубе, упиравшейся в небо, принялся перекрикивать гудок фабрики Хунце.

Он не брал на фабрику еврейских ткачей, потому что эти иноверцы-англичане не хотели работать по воскресеньям, а только с понедельника до субботнего вечера, но поскольку даже иноверцы на службе у еврея не должны работать по субботам, ибо сказано, что не будет работать «ни раб твой, ни бык твой, ни осел твой»<sup>1</sup>, реб Шлойме-Довид Прайс, который был ученым человеком, пошел к раввину и попросил его написать формальный акт о продаже, бумагу, где на смеси древнееврейского и арамейского говорилось о том, что Шлойме-Довид Прайс из святой общины Лодзи, что на реке Лудка, продает фабрику своему слуге Войцеху Смолюху. Этот иноверец с огромными усами цвета соломы перетрусил в раввинском суде, когда хозяин «продавал» ему фабрику.

— Пане, — уговаривал он хозяина, переводившего ему контракт со смеси древнееврейского и арамейского, — я же беден. Как я могу купить фабрику?

— Глупости, Войцех! — ответил ему хозяин. — Делай, что тебе говорят. Ты мне заплатишь за фабрику всего один рубль...

— Но у меня нету рубля, — умолял перепуганный иноверец.

— На, возьми. Я даю тебе рубль взаймы, Войцех, — сказал ему реб Шлойме-Довид. — Теперь заплати мне его за фабрику, которую я тебе продаю. А когда у тебя будут деньги, вернешь мне рубль.

<sup>1</sup> Дварим, 5:14.

Иноверец ничего не понимал, боялся, что евреи хотят его одурачить, заколдовать, продать дьяволу. Но когда хозяин рассердился на него и велел делать что сказано, иноверец очень осторожно коснулся кончика красного носового платка, который протянул ему раввин, в знак того, что он принимает во владение имущество, фабрику своего хозяина. Раввин предложил иноверцу расписаться, но Войцех не умел писать и вместо росписи поставил три крестика. И раввин, и реб Шлойме-Довид были недовольны: и тем, что иноверец всего боится и ничего не смыслит в еврейских делах, и тем, что он поставил аж три крестика на контракте о продаже, написанном на святом языке. Но ничего не поделаешь. Реб Шлойме-Довид дал иноверцу целых десять грошей на водку в придачу к контракту с еврейскими буквами. Иноверец спрятал бумагу в шапку и, радостный, отправился в шинок. Реб Шлойме-Довид заплатил раввину трешку за его работу и пошел домой, довольный тем, что фабрика будет работать по субботам, а он при этом не возьмет грех на душу, потому что фабрика больше не принадлежит ему, она принадлежит его слуге Войцеху Смолюху, а Войцех Смолюх не должен соблюдать заповеди Торы, которые Бог дал только Своему избранному народу Израилю.

Фабрика стучала, дрожала всеми своими красными кирпичными стенами. Столбы дыма валили в небо так, что голубое небо чернело. Сирены оглушали своим визгливым воем. Немецкие мастера, владельцы ткацких мастерских, в которых работали по старинке, усмотрели угрозу в этих трубах, вытесняющих людей с их рабочих мест. Они печально глядели на свои жилистые руки. Убоявшись конкуренции, они стали подстрекать рабочих против дьявольских еврейских машин. Разгневанные ткачи собирались в шинках и пропивали последние гроши, а однажды в субботу вечером они вышли с факелами, железными прутьями и ножами и разломали машины на фабрике у еврея, плеснули нефти на стены и подожгли. Впереди шли немецкие мастера с цеховыми знаменами.



Пьяные, разъяренные, они ворвались затем с песнями и проклятиями на еврейскую улицу. Как их отцы и деды в немецких городах, они напали на евреев, ткачей и лавочников, они били окна, били евреев, грабили и орали:

— Хеп, хеп, юде!..

Но казаки с обнаженными шашками окружили их и погнали к речке Лудка, стегая нагайками по головам.

Дым из трубы реб Шлойме-Довида Прайса повалил еще гуще, сирены гудели на рассвете еще громче. Немецкие ткачи, разбогатевшие за своими ткацкими станками и не знавшие отбоя от заказов из России, стали брать займы деньги в польском банке и открывать фабрику за фабрикой. Еврейские богачи, много лет торговавшие с Данцигом, оставили торговлю, купили на свои средства участки и построили фабрики с паровыми машинами.

На полях вокруг Лодзи выросли фабрики из красного кирпича. Грязные сточные воды оскверняли воздух. Из окрестных деревень крестьяне вели по песчаным шляхам подводы с глиной, песком и кирпичом. Евреи строили ткацкие фабрики везде, где только находили глинистую землю. Торговцы лесом пилили деревья, крестьяне обтесывали бревна, делали балки. Каменщики гасили известь. Трудились еврейские ремесленники. Столяры делали оконные рамы и двери. Веретенщики вытачивали веретена, кровельщики крыли крыши. Кузнецы ковали детали для гладильных станков и ключи. Стекольщики вставляли окна. Со всех городов и местечек еврейские ремесленники тянулись со своими инструментами в Лодзь. Крестьяне, у которых было мало земли и много детей, оставляли свои деревни и шли работать на фабрики. Из России приезжали купцы и требовали товар, за спросом было никак не угнаться.

Ткацкие станки стучали ночи напролет. Город рос стремительно.

Вместе с городом рос дом реб Аврома-Герша Ашкенази, которого называли Данцигер.

## Глава четвертая

**З**амкнутым, лишним, в стороне от детей во дворе, не связанным даже к брату-близнецу и сестрам, чужим даже собственным родителям жил и рос маленький Симха-Меер в отцовском доме в Старом городе.

С детства он идет своим особым путем. Он никогда не играет вместе с детьми со двора.

Двор их, большой и несуразный, как большинство дворов в Новой Лодзи, со всех сторон закрыт кирпичными стенами. Из того его флигеля, где квартирки маленькие, бедные и сдаются ремесленникам, раздается стук ткацких станков. В открытые окна летит пыль. Это евреи делают вату из отходов хлопка, которые они покупают на фабриках. Вечно летят из окон белые пушинки. Во всю длину двора еврей скручивает веревку. Отец и три его сына, не переставая, носятся туда-сюда, крутят конопляное волокно, перекликаясь простуженными голосами:

— Тяни, тяни, держи крепче!

Дети, живущие во дворе, очень любят веревочника. Особенно он нравится брату-близнецу Симхи-Меера Янкеву-Бунему.

— Симха-Меер, — выкликает он громким голосом, в котором слышится смех, — идем играть в догонялки.

— Не хочу с тобой играть, — резко и обиженно отвечает Симха-Меер и отворачивается.

Они не уживаются между собой, эти два брата.

Янкев-Бунем хочет дружить с братом. Он крупный, крепкий, жизнерадостный и смешливый. Все время смеется, даже если нет никакого повода.

— Янкев-Бунем, почему ты смеешься? — спрашивают его.

— Так мне хочется, — отвечает малыш и смеется еще громче, так что и остальным приходится смеяться вместе с ним.

Он словно создан для игр. Он лучший бегун во дворе, когда играют в лошадок. А если играют в прятки, он очень ловко забирается под опорные столбы сараев, так что никто не может его найти. Он проворнее всех бежит за веревкой, которую водящий тянет через двор. Он может вытаскивать тяжелые камни из песка и поднимать их над головой. Ему не надоедает играть целый день даже с девчонками. Он не только сам любит играть и веселиться, он любит, чтобы все играли и смеялись вместе с ним. Но Симха-Меер не хочет.

Он очень амбициозен, этот маленький Симха-Меер. Его не волнует, что младший братишка намного выше и сильнее его, что он ловчее и популярнее у дворовых детей. Ему не под силу догнать Янкева-Бунема во время игры в салочки. Он не умеет так здорово стоять на голове и кувыркаться туда-сюда. Не может он победить своего брата и когда они борются и меряются силами. Всегда его догоняют первым, всегда он падает, прыгая по бревнам во дворе, обдирает себе кожу и разбивает нос в кровь. Он очень боится крови, которая тут же начинает течь из носа.

— Кровь, кровь, — испуганно кричит он, глядя на капли, падающие на песок двора.

Янкев-Бунем сразу начинает действовать. Он бежит к дворовой помпе, набирает в пригоршни воду и велит брату втянуть ее в нос.

— Втяни хорошенько, — говорит он ему, — и кровь остановится.

Поскольку Симха-Меер продолжает бояться, Янкев-Бунем вытирает ему кровь краем арбокканфеса и смеется, хотя сам испачкался.

— Когда течет кровь, не надо бояться, — поучает он брата. — Я тоже не плачу.

Янкев-Бунем берет кусок стекла, выброшенный стекольщиком, и в кровь расцарапывает себе руку. При этом он покачивается со смеху.

Дети во дворе восхищаются им, особенно девочки.

— Ты сильный, — хвалят они его.

Симхе-Мееру горько это слушать. Он завидует Янкеву-Бунему и обиженно отходит.

Дома, когда другие дети не видят, он любит играть с братом. Янкев-Бунем, изображая лошадку, становится на четвереньки, а Симха-Меер скачет на нем верхом.

— Но! — кричит он, дает лошади шенкеля под бока, бьет ее и погоняет. А потом Янкев-Бунем взваливает его на плечи, как ягненка, ходит с ним по всему дому и предлагает ягненка на продажу.

— Дуралей! — сердится на него служанка Лея-Сора, которая любит его больше Симхи-Меера. — Надорвешься.

— Я могу еще одного взвалить, — хвастается Янкев-Бунем и смеется.

Симха-Меер наслаждается этими играми. Ему становится легче от них на душе. Но все это дома. Во дворе, среди детей, он всех сторонится.

Он честолюбив, заносчив. Он хочет везде быть главным, начальником, но во дворе у него это не получается. Там Янкев-Бунем король. Все мальчишки крутятся вокруг него, а еще больше девчонки — как куры вокруг большого яркого петуха. Больше всех липнет к нему маленькая Диночка, дочка реб Хаима Алтера, чей дом находится по соседству со двором реб Аврома-Герша. Она пухленькая, с каштановыми волосами, которые вьются мелкими кудряшками и в которые повязан большой голубой бант. Она веселая игрунья и ужасно любит смешливого Янкева-Бунема. Он носит ее на плечах, он усаживает ее в тачку, в которой дворник вывозит мусор, и катает по всему двору.

Служанка Лея-Сора радуется каждый раз, когда выносит Янкеву-Бунему хлеб с медом.

— Кого ты хочешь в женихи? — спрашивают женщины малышку.

— Папочку, — отвечает она, тряхнув всеми своими кудряшками.

— А кого еще, Диночка?

— Его, — показывает малышка пухлым пальчиком на Янкева-Бунема.

Лея-Сора вытирает слезы счастья краем фартука.

Все дети с восхищением смотрят на Янкева-Бунема, своего вождя.

Симха-Меер страдает от этого. Он не может слышать, когда кого-то хвалят. Он полон зависти, злости и обиды. Он сыплет девчонкам песок в волосы. Девчонки убегают от него и ищут защиты у Янкева-Бунема.

Они дразнятся и распевают:

— Симха-Меер, ты дурак. Съел калосу за пятак!

Во дворе весело. Из открытых окон квартир, где живут ремесленники, долетают обрывки канторских мелодий, которые напевают подмастерья. У изготовителей ваты поют девушки-работницы. Их черноволосые кудрявые головки, усыпанные пылью и клочками ваты, полны принцев и принцесс, о которых они читают в книжках на простом еврейском языке. И они постоянно поют песни о любви: о еврейских девушках, в которых влюбились офицеры и застрелили их, о влюбленных служанках, убежавших с молодыми иноверцами, а потом вынужденных идти стирать белье... Все это очень приятно слушать, но главный источник радости детей — изготовитель веревок.

Это огромный ширококостный еврей с густой бородой и усами, похожими на его собственные веревки из конопли. У него огромные брови и пучки волос, торчащие из ушей и ноздрей. Он бос, штанины его закатаны до колен, а ноги тоже волосаты. По углам его длинного арбоканофеса болтаются длинные кисти. Сыновья ему под стать. Все они великаны и столь же безмерно добры. Они никогда не прогоняют детей, которые стоят и смотрят, широко раскрыв глаза и рты, на работу веревочников. Даже если какой-нибудь мальчишка захочет покрутить колесико или побежать с веревкой вдоль двора, здешний веревочник не грозит ему брючным ремнем, как другие.

— Держи, держи, — говорит он со смехом, утрачивая от добродушия всю свою шерстистость, — не отпускай веревку, а то еще попадут в нее твои пейсы...

Дети ни за что не хотят уходить со двора. Матерям едва удается зазвать их поесть. Двор не весь вымощен камнями. Можно копать землю, пока не докопашешься до желтого песка. Или даже до воды. Лучшие крепости мальчишки строят из песка. Девчонки месят тесто из сырой желтой земли, делают халы, печенья, вырезая их крышками от жестянок. На низкой крыше маленького домика, где живет дворник-иноверец, есть голубятня. Голуби всех цветов и оттенков влетают и вылетают из нее, клюют горох и тихо воркуют. Кошки вечно подстерегают голубей, хотят их схватить. Голуби лезут им прямо в лапы, но как только кошка тихонько протягивает лапу, чтобы схватить голубя за хвост, он ловко уворачивается и взлетает на крышу.

Янкев-Бунем просто цветет от счастья.

— Симха-Меер, — зовет он, — пойдем, дадим голубям крошек, они едят с рук, вот увидишь.

— Не надо, — отвечает, отворачиваясь, Симха-Меер.

Тощий, костлявый, усыпанный веснушками, с красными толстыми губами и серыми глазами, зеленеющими, когда он злится, он ходит себе в сторонке, вечно держась от других на расстоянии. Руки он не вынимает из карманов своего черного репсового, подходящего сыну богача лапсердачка. Шелковая шапочка сдвинута на макушку так, что хорошо видны его большой лоб, коротко подстриженные волосы и пара закрученных светло-русых пейсов по бокам. Его острые, высоко посаженные, как у зайца, уши всегда настороже, не пропускают ни звука. Так же внимательны его серые глаза, взгляд которых поначалу кажется мягким, но на самом деле он упрям и недоверчив. В его глазах бегают чертики, плутоватые и немного безумные. Ни одного события, ни одного движения взрослых и детей эти глаза не пропускают. Всевидящий, всеслышащий, вечно начеку, как кошка перед голу-

бятней, маленький Симха-Меер присматривается к детским проказам — к стоянию на голове, дракам, спорам, беготне, — но участвовать в них не хочет.

— Меерл, — зовет его в открытое окно именем деда мать, — сокровище мое, поиграй с детьми.

— Не хочу, — резко и сухо отвечает малыш.

Сколько бы мать его ни просила, сколько бы дети ни протягивали ему руки, ни звали его, он не хочет к ним приближаться.

— Я не люблю играть, — обиженно говорит он.

Ему очень хочется играть, его тянет бегать вместе с ними в салочки, копать ямы, танцевать, взявшись за руки. Но какое-то упрямство, какая-то посторонняя сила, чужая, назойливая, удерживает его, не дает ему сделать шаг к играющим детям. Именно потому, что дети зовут его, он не хочет к ним подходить. Он никогда не делает того, что хотят другие, что ему предлагают. Он завидует детям. Его сердечко дрожит от зависти к их играм, смеху, радости. Особенно он завидует своему младшему брату Янкеву-Бунему, его умениям, тому, что он стоит на голове, ходит на руках, прыгает по доскам, долго танцует на одной ножке, а главное, быстро бегаёт, так что он, Симха-Меер, не может его догнать, хотя он и старший. И за это он ненавидит их, детей со двора. Каждый раз, когда кто-то из них падает и разбивает нос, когда течет кровь или кто-то спотыкается на бегу, он хлопает в ладоши от радости.

Он играет один, отдельно от всех. То собирает бумажки, яркие этикетки, которые срывает с упаковок, то связывает веревочкой щепки, то пересчитывает монетки, которые кладет в глиняного петуха. Когда к ним в дом приходят партии товаров, ему переппадают кое-какие деньги — алтыны, гривенники и даже серебряные злотые. Он прячет их в глиняного петуха с дыркой сзади, на хвосте. Но он любит каждый раз пересчитывать монеты. Он сильно трясет петуха, чтобы стук и звон услышали дети, услышали и позавидовали ему. Он вытряхивает монеты, пересчитывает свои богатства по многу

раз, загибая при этом пальчики на обеих руках, а потом вновь убирает их в петуха.

Он не может играть с другими детьми на равных, его вроде бы и не тянет к ним. Он не может быть одним из многих. Он хочет быть самым главным или дружить с теми, кто старше его, с теми, кому с ним дружить неинтересно. Или он хочет командовать младшими. Когда его уж очень сильно тянет к детям, он приближается к ним осторожно, но не для того, чтобы играть с ними как с друзьями, как с равными, а чтобы повелевать, царствовать над ними. Он заставляет их сделать его императором, главным. Он обманом забирает у них игрушки, всякие узелочки и кусочки жести. Он разваливает ногами песчаные крепости, он топчет печенья и халы, которые его сестренки с подругами делают из мокрой земли, он выхватывает вещи из рук и убегает. Ничто не доставляет ему такого удовольствия, как поломать, отнять и убежать.

Особенно он досаждал своим сестренкам и их подруге Диночке. Он развязывает им банты в косичках. Он раскаляет на кухне спицу и подает им горячей стороной, чтобы они обожглись. Он кидает им за воротник мух и червей, которых они ужасно боятся. Когда он покупает себе конфеты, он никому не дает ни одной штучки, даже лизнуть.

— О, как вкусно, — чмокает он красными губами, облизывая лакомство и недобро глядя на детей, которые стоят вокруг него и завидуют. Янкев-Бунем не может этого вынести. Он большой лакомка, любитель всяких сладостей. Ему невыносимо видеть, как брат ест что-то вкусное и не делится.

— Дай лизнуть, Симха-Меер, — говорит он.

— Не хочу, — отвечает Симха-Меер и начинает чмокать еще громче, чтобы подразнить брата.

Янкев-Бунем злится.

— Почему это, когда у меня есть конфеты, я тебе всегда даю? — спрашивает он обиженно.

Но Симха-Меер игнорирует его справедливый упрек и продолжает его дразнить:



— Ты мне даешь, а я тебе нет. А-а!..

Янкев-Бунем разжимает руки Симхи-Меера и вырывает у него конфетку вместе с кусочками кожи щек. Он решительный, этот Янкев-Бунем, рискованный. Он может наброситься даже на тех, кто намного старше и сильнее его. Он добрый и хочет, чтобы и другие были к нему добры. А кто не хочет быть добрым, того он бьет. Он бросается на Симху-Меера с таким пылом, с такой борцовской страстью, что тот в мгновение ока оказывается на земле. Симхе-Мееру неудобно перед мальчишками. Он любит быть самым главным, самым заметным, а поскольку он не может справиться с Янкевом-Бунемом, он изливает свою злость на сестренку. Он ставит им подножки и царапает им руки своими острыми ногтями.

Янкев-Бунем хочет помириться. Так же быстро, как он бросился в драку, он протягивает мизинец в знак того, что готов дружить.

— Симха-Меер, — говорит он при этом, — давай помиримся. На тебе две солдатские пуговицы. Они еще новые.

Он не умеет долго обижаться. Он может получить тумака, дать тумака и тут же забыть об этом. Он не выносит обижаться, потому что обижаться — значит ходить одному и есть себя поедом, не играть, не радоваться. А грустить Янкев-Бунем ненавидит больше всего. Радость брызжет из его глаз, с его красных щек, с его белых зубов и из широко открытого рта. Когда Симха-Меер упрямится, брат вынимает из карманов все вещи и отдает ему. Он готов отдать все солдатские пуговицы, все спички, которые он утаскивает с кухни, чтобы стрелять из сломанного ключа.

Но Симха-Меер не хочет ничего брать. Он бежит жаловаться отцу.

Реб Авром-Герш придерживается того мнения, что мальчишки всегда неправы, а отец всегда прав. Поэтому он одинаково дает им обоим ремнем, лениво вытащив его из брюк. Янкев-Бунем принимает побои спокойно, как нечто заслуженное и само собой разумеющееся. И сразу же о них забывает. Когда

очередь доходит до Симхи-Меера, он ложится на землю и принимается дрыгать ногами изо всех сил, как в припадке. Мать бросается к нему, обнимает, целует и укладывает в постельку.

— Меерл, сокровище мое, — мурлычет она, — пусть мне будет за тебя, пусть будет маме за твой самый маленький ноготок.

Она дает ему поиграть с ее золотыми часами, со всеми ее бриллиантовыми кольцами и сережками. Отец не трогает его, не говорит ему ни единого резкого слова, но его страданиям не доверяет.

— Почему это припадки у него случаются только тогда, когда он ждет наказания? — удивляется он.

Мать поправляет мальчику подушки в головах и бросает злобные взгляды на мужа.

— Изверг, — бормочет она, — каменное сердце.

## Глава пятая

**Т**олстые стены большого, солидного кабинета лодзинского фабриканта Хайнца Хунце сверху донизу увешаны портретами, медалями и таблицами.

В самом центре, над массивным письменным столом из дуба, висят двое монархов, справа — государь-император Александр Второй, самодержец России, Царь Польский, великий князь Финляндский и прочая и прочая; слева — германский кайзер Вильгельм Первый. А под монархами висит портрет его самого, фабриканта Хайнца Хунце, выстроившего большую фабрику «Хайнц-Хунце-мануфактур».

Портрет Хайнца Хунце не такой торжественный, как монархи сверху. Его грудь не украшает столько крестов и медалей. Его лицо тоже не такое гладкое и круглое, как у возвышенных августейших особ. Его круглая голова с жесткой

щеткой коротко подстриженных волос, похожих на поросью щетину, все еще сильно напоминает прежнего ткача Хайнца, приехавшего в Лодзь из Саксонии всего-навсего с двумя ткацкими станками. Морщины на его лице, которые фотограф потрудился загладить ретушью, говорят о том, что на его долю пришлось немало тяжелого труда и забот. В черном сюртуке и тесной рубашке с высоким, сдавливающим шею воротником он, при всей своей торжественности, все же напоминает рабочего человека, мастера, который разделся в пух и прах ради семейного торжества, какой-нибудь золотой свадьбы или чего-то в этом духе. О, он совсем не импозантен, этот большой, в натуральную величину, портрет Хайнца Хунце. Два монархических портрета, висящих над ним, только подчеркивают его плебейство. И все же этот человек с простоватым лицом не лишен достоинств.

Хотя, как уже было сказано, его грудь не украшает такое множество крестов и медалей, как груди монархов наверху, но и она не совсем пуста.

Во-первых, поверх его белого жилета красуется бант ордена Святой Анны, награда, которую петроковский губернатор выхлопотал для него в Петербурге за его большие заслуги перед страной, выразившиеся в открытии ткацкой фабрики. Этот бант обошелся недешево. Губернатор взял за него у дочерей Хайнца Хунце много дорогих подарков для себя и ниток жемчуга для своей жены. Но бант того стоит. Хайнц Хунце, который сам тратиться на орден не хотел, должен признать, что его дочери были не совсем не правы. На портрете, на фоне белоснежного жилета, бант Святой Анны выглядит очень красиво.

Во-вторых, его фабрика получила много медалей, золотых, серебряных и бронзовых, за хорошую работу и качество. Они висят по обе стороны от его портрета, большие медали из настоящего золота, серебра и бронзы, с вычеканенными на них профилями императоров и императриц.

Служащий фабрики, огромный рыжеволосый Мельхиор — с усами и бакенбардами, в зеленом костюме немецкого

егеря, с лампасами, шнурами, золотыми пуговицами и в лакированных сапогах с серебряными висюльками на высоких голенищах, — стоит у дверей кабинета Хунце, вытянувшись в струнку, положив свои покрытые рыжим волосом лапищи на пояс узких брюк. Он стоит, выражая всем своим видом почтение и готовность служить, готовность действовать по малейшему знаку своего господина. Точь-в-точь как генералы, что стоят перед монархами, теми самыми монархами, чьи портреты висят у Хунце на стене.

Здесь, на своей большой фабрике, Хайнц Хунце — монарх. В его руках судьбы людей, пусть не миллионов людей, как у настоящих монархов, но все-таки нескольких тысяч его работников. Они, его рабочие, их жены и дети, в его власти. Когда он хочет, он отпускает их с работы пораньше, чтобы они могли пойти в шинки выпить пива, растянуться на траве вокруг фабрики или отправиться в певческий союз, чтобы попеть свои немецкие церковные и любовные песни, играя на музыкальных инструментах. От него зависит, возьмет ли молодой рабочий в жены забеременевшую от него работницу и тем скроет ее позор, или же бросит ее с байстрюком на всеобщее посмеище. Его воля, будет ли фабрика работать день и ночь, так чтобы рабочие выбивались из сил, но при этом зарабатывали на целый рубль в неделю больше и их жены заправляли суп не растительным маслом, а свиным салом. Он мог по своему желанию остановить фабрику вовсе, заставив рабочих слоняться без дела и без заработка, а их жен — торговать собственным телом, чтобы принести домой несколько картофелин или буханку хлеба.

К нему приходят матери просить, чтобы он стал крестным отцом их новорожденным детям, которых они называют его именем — Хайнц; к нему приходят молодые парни просить разрешения жениться на девушках, пленивших их сердца; к нему приходят смущенные отцы рассказать о прибавлении в семействе и попросить маленькую прибавку к жалованью.

Все принадлежит ему: фабрика, похожие на казармы красные кирпичные дома, в которых живут рабочие; окрестные



поля, на которых ткачи сажают картошку и капусту; леса, в которых женщины летом собирают кору и валежник, чтобы топить зимой жильё; церковь, в которой они молятся по воскресеньям и праздникам; лазарет, в который отвозят тех, кто теряет из-за фабричных машин пальцы, руки и даже жизнь; кладбище, на которое увозят усопших; певческий союз, в котором поют о родине и о любви.

Он здесь монарх, старый Хайнц, и он больше монарх, чем те монархи, что висят у него на стене. О нем говорят беззубые старики-ткачи, не выпускающие изо рта трубку и без конца рассказывающие истории о тех временах, когда старый Хайнц сам стоял за ткацким станком и не раз разговаривал с ними за кружкой пива. О нем тихо беседуют молодые мужчины, их жены и даже дети в колыбельках. Каждый его шаг, каждое слово, каждое движение оцениваются, взвешиваются, обсуждаются, пережевываются.

И как любой монарх он, Хайнц Хунце, терпеть не может, когда другие хотят стать с ним наравне, а то и превзойти его. Он кипит от гнева на Фрица Гецке, бывшего своего подмастерья, который вслед за ним построил точно такую же фабрику. И товары он производит те же самые. Какой бы новый образец он, Хайнц Хунце, ни выработал, этот Гецке тут же выпускает такой же. И что самое обидное, Хунце никак не удаётся покончить с этим Гецке. Хайнц Хунце извел массу денег, чтобы убрать с рынка эту свинью Франца, и все впустую. Он уже снижал цены на товары, даже ставил их ниже себестоимости, лишь бы свалить конкурента, но тот выстоял. Никакой черт его не берет, и Хайнц Хунце просто трясется от злости.

— Я эту собаку забью насмерть! — орет он с саксонским выговором, забыв о том, что дочери больше не позволяют ему разговаривать на этом простонародном немецком диалекте. — О нет, так не следует говорить...

Рядом с ним за столом, без шляпы, в одной ермолке на макушке, сидит реб Авром-Герш Ашкенази и качает головой в знак отрицания.

— Герр Хунце, — уговаривает он его, — довольно. Лучше всего заключить с ним мир. Святое Писание говорит, что на мире стоит вселенная.

Он тут же понимает, что употребил древнееврейское слово «шолем», то есть «мир», которое немец Хунце может не понять<sup>1</sup>. Но пока реб Авром-Герш подыскивает слово, чтобы объяснить Хунце, что такое «шолем», тот вскакивает и кричит:

— Что? Шолем? Шолем с этой свиньей? С этим вшивым мерзавцем? О нет! Да я лучше сдохну, реб Авром-Герш.

Реб Авром-Герш очень тронут тем, что немец понимает древнееврейское слово «шолем», и тем, что он называет его, как еврей, по имени — «реб Авром-Герш». Однако, несмотря на это, он не согласен с планом старика угробить Гецке. Он поглаживает свою черную бороду и успокаивает кипящего немца.

Он прекрасно понимает, что герра Хунце, крупного фабриканта и основателя самой большой фабрики, обижают то, что такое ничтожество, как бывший подмастерье, во всем копирует своего бывшего хозяина. Это некрасиво с его стороны, это неблагодарность, но дело здесь ни при чем. Дело есть дело. У кого деньги, у того и право на свое мнение. А у Гецке есть деньги. Ой есть. Он богат. К тому же у него есть процентники, которые дают ему деньги. Он не позволит убрать себя с рынка, сколько бы герр Хунце ни сбивал цены на товары. Гецке все это выдержит, потому что речь идет об амбициях. От его с Хунце конкуренции выигрывают только лавочники, покупающие товар за гроши. К тому же под вексели деньги дают каждому проходимцу. Дело кончится тем, что обе фабрики пойдут ко дну. Лучше заключить мир, объединить фабрики, стать компаньонами. Сделать одну фирму — «Хайнц Хунце и Фриц Гецке».

<sup>1</sup> Участники диалога разговаривают каждый на своем языке, однако, благодаря генетической близости между немецким и идишем, понимают друг друга в целом без каких-либо проблем. Исключением, затрудняющим общение, являются древнееврейские и арамейские слова, составляющие до 20% лексического состава идиша.

Хайнц Хунце выпрыгивает из кресла.

— Да я даже слушать этого не хочу, — стучит по столу немец. — Лучше молчите, реб Авром-Герш, — говорит он, переходя на лодзинский идиш, и закрывает ладонью рот реб Аврому-Гершу. — Я не буду водить с этой свиньей компанию!

Реб Авром-Герш поглаживает свою черную бороду и спокойно выходит. В дверях он задерживается. Он хочет, перед тем как уйти, рассказать немцу притчу. О том, как плох гнев, как из-за таких вещей рушились миры. Ему очень хочется рассказать немцу историю из Талмуда про Камцу и Бар-Камцу, из-за ссоры между которыми был разрушен Иерусалим. Но он не может найти подходящих слов, чтобы немец его понял. Он не верит, что иноверец сможет понять на идише такие сложные вещи. И он машет рукой, уходя, и фамильярно говорит всего несколько простых слов:

— Герр Хайнц, когда вы с Божьей помощью успокоитесь, подумайте над моими словами. Только это может спасти фирму.

Старый Хунце так разозлен, что даже не может набить свою трубку табаком, потому что руки у него дрожат.

— Ты, — обращается он к слуге в зеленом охотничьем костюме, — набей мне трубку. Быстро, ты, собака!

От злости он ругается и разговаривает на простонародном немецком диалекте, как во времена, когда он сам еще стоял за ткацким станком.

## Глава шестая

**Р**еб Авром-Герш разделил своих сыновей, отдав их в обучение разным меламедам.

Хотя разница в возрасте между братьями всего несколько минут, в изучении Торы она велика. Янкев-Бунем не отлича-



ется от других мальчишек его лет. Он уже изучает Гемору, но большого толка от него не видно. Меламеду с огромным трудом удается вдолбить в него его лист Геморы, который мальчишка не слишком хорошо понимает. Но выучивает его и пересказывает слово в слово в субботу, когда отец проверяет его после дневного сна.

— Ладно, пусть будет так, — говорит реб Авром-Герш, не особенно довольный сыном. — Иди к маме и скажи, чтобы она дала тебе субботних лакомств. И серьезнее относись к учебе.

Янкев-Бунем видит, что отец не слишком им доволен, и тень ложится на его веселое широкое лицо. Но лишь на мгновение. Как только мама ставит перед ним кихелех<sup>1</sup> со сливовым цимесом, к нему сразу же возвращается его обычная жизнерадостность. Он наслаждается сладостями, как и всем на свете, и ему снова хочется смеяться неизвестно от чего.

Совсем иное дело с Симхой-Меером.

Симха-Меер — илуй<sup>2</sup>. В его десять лет ему уже мало простого меламеда. И отец отделил его от брата, забрал из хедера и отдал к реб Боруху-Вольфу Ленчицеру, который обучает мальчиков, уже отпраздновавших бар мицву<sup>3</sup>, и даже молодых парней, что уже ходят в женихах. Каждую субботу реб Борух-Вольф приходит к реб Аврому-Гершу проверить успехи своего ученика. Он выпивает целое море субботнего чая, который ему подливают из каменного горшка, обернутого тряпками для сохранения тепла. Он задает Симхе-Мееру заковыристые вопросы, пересказывает ему толкования пшата<sup>4</sup>,

<sup>1</sup> Вид сладкого печенья.

<sup>2</sup> Буквально — вознесенный. Этот термин применяется в традиционной еврейской культуре к людям, обладающим выдающимися способностями к изучению Торы.

<sup>3</sup> Церемония принятия мальчика в качестве полноправного члена еврейской религиозной общины, обязанного выполнять заповеди. Отмечается как праздник по достижении мальчиком 13 лет.

<sup>4</sup> Один из четырех основных методов комментирования Торы, наряду с ремезом, драшем и содом. Базируется на толковании буквального смысла текста Торы.

который тот схватывает на лету. Реб Борух-Вольф потеет от горячего чая и от смысленности мальчишки.

— Реб Авром-Герш, — шепчет он на ухо отцу ученика так, что и Симха-Меер может его услышать, — мальчик растет илуем, у него великолепно работает голова.

Реб Авром-Герш счастлив, но все-таки неспокоен.

— Смотрите, чтобы он рос богобоязненным, реб Борух-Вольф, — просит он учителя.

Он постоянно помнит слова Воркинского ребе, что его сыновья будут богачами. Ребе не сказал, что они будут богобоязненными евреями. И на сердце у реб Аврома-Герша тревожно. Больше из-за Симхи-Меера, чем из-за Янкева-Бунема. Именно потому, что у паренька такая голова, что все считают его илуем, отец боится за него. К тому же у мальчишки есть свои заскоки: он все хочет знать, всюду сует свой нос, все ловит на лету, все понимает и вечно в беспокойстве. Реб Авром-Герш знает, что дело в его голове, которая так великолепно работает. Он знает, что таковы все илуи, но это его не успокаивает. Ведь богобоязненность важнее учености, лучше простой набожный еврей, чем знаток Торы с острым умом, но без страха Божьего. И он отправляет Симху-Меера на кухню за субботними печеньями, чтобы иметь возможность спокойно поговорить с его меламедом о богобоязненности.

— Помни, надо сказать благословение, — напутствует он сына, — и скажи все слово в слово, не тараторь.

С глубоким вздохом он обращается к реб Боруху-Вольфу:

— Реб Борух-Вольф, держите его в руках! Не жалейте на него розог!

Реб Авром-Герш специально отдал старшего сына к реб Боруху-Вольфу Ленчицеру. Мать была против того, чтобы посылать ее деточку, ее Меерла к этому Боруху-Вольфу, потому что он слывет в Лодзи настоящим извергом. Он нещадно лупцует мальчишек во время учебы. Да и нагружает их сверх меры, не выпускает из комнаты с утра до позднего вечера. В четверг он устраивает ночь бдения. Он учит не только

Геморе с дополнениями поздних мудрецов, но и толкованиям пшата, чужим, а чаще своим. Однако реб Авром-Герш, как обычно, не желал слушать, что там говорит женщина, и отдал сына именно к Боруху-Вольфу. Он хотел, чтобы на его сыне было ярмо, бремя, чтобы его запрягли в изучение Торы и в соблюдение заповедей. А никто так не держит в ярме мальчишек, как реб Борух-Вольф.

Он уже немолод, реб Борух-Вольф, не вчера родился. Ему уже почти семьдесят. Но он еще крепкий, костистый, жилистый, и руки у него как клещи. Его лицо немного перекошено из-за перенесенной когда-то простуды, подхваченной в сильный мороз во время пешего путешествия Боруха-Вольфа к ребе из Ленчица в Коцк. Правая сторона лица у него приподнята. Одна колючая бровь вздернута, другая опущена. Один ус гордо смотрит ввысь, другой обиженно висит. Так же, как лицо, крив и его мозг. Он никогда не учит с детьми преданий, этих сказок Геморы. Он считает это бабьей забавой, занятием миснагидов<sup>1</sup> и тех, кто не способен к настоящему учению, делом, не подходящим ученому еврею, тонкому знатоку хасидизма. Также не любил он преподавать в хедере Танах и даже Пятикнижие Моисеево<sup>2</sup>. Этим мальчишки сами должны заниматься по субботам, когда они не идут в хедер. Да что там Пятикнижие! Ему не нравятся даже те трактаты Талмуда, что попроще, повеселей, те, что касаются обычаев и праздников. Он любит преподавать сложные тексты, для понимания которых надо шевелить мозгами, трактаты, посвященные проблемам торговли, векселей, нанесения и компенсации ущерба. Еще охотнее занимается он трактатами, толкующими о ритуальной чистоте и нечистоте в Эрец-Исраэль и за пределами Святой земли; а также о порядке жертвоприношений, о том, как коены должны забивать и разделявать овец и коров и сжигать их жир. Трубка реб Боруха-Вольфа, набитая креп-

<sup>1</sup> Миснагид (митнагед) — буквально: противящийся. Имеются в виду противники хасидского направления в иудаизме, именуемые также «литовцами».

<sup>2</sup> В данном случае имеются в виду азы еврейского религиозного образования.

ким, вонючим табаком, постоянно извергает дым, который щиплет ученикам глаза и дерет их глотки, заставляя вспоминать о дыме, поднимавшемся над жертвенником Храма.

Его учение так же сухо, костляво и жилисто, как его старое тело. Он не подходит к рассмотрению дела прямо, как оно само напрашивается, а обязательно с каким-нибудь вывертом. Он не произносит слов целиком, потому что считает, что хороший ученик поймет его и с полуслова, по намекам. Еще до того, как учитель успеет сказать, ученик должен выхватить слова у него изо рта. Поэтому реб Борух-Вольф говорит с трубкой в зубах и произносит только половинки слов, застревающие к тому же в его густой бороде и усах. Он буквально сыплет всякими заковырыстыми вопросами, нагромождая их один на другой так, что иной раз и сам не может из них выбраться. И стучит своим большим чубуком по столу и по спинам мальчишек, погоняя их, как извозчик лошадей, которые не могут вытащить застрявший в грязи воз.

— Ну, бездельники, — скрипит он несколькими оставшимися у него желтыми зубами, — ну, мужичье с рынка, недотепы, негодяи, чтоб на вас обрушились восемьдесят восемь черных лет!

Он лупцует учеников, этот реб Борух-Вольф, колотит их чубуком от своей трубки, бьет их смертным боем без всякой жалости. Он не смотрит, как другие мелаеды, на родовитость. Он лупит одинаково и детей богачей, и детей бедняков. Даже обрученным парням с золотыми часами в жилетных карманах он не делает скидки. Мальчишки раскачиваются над книгами, трут лбы, рвутся, как загнанные лошади под свистящим над их избитыми спинами бичом извозчика. Но все зря, они не в силах сдвинуться с места. Уже в который раз они начинают заново. Сперва на святом языке:

— Земля, что за пределами Эрец-Исраэль, делает нечистым...

А потом переводят то же самое на простой еврейский язык и пытаются разобраться с мудреными вопросами, вы-

двигаемыми по этому поводу законоучителями Талмуда и их собственным учителем.

Реб Борух-Вольф размахивает чубуком, но ничего не получается. Эти иноверцы застряли наглухо. Тогда он берется за Симху-Меера, своего лучшего ученика, илуя. Он никогда не бьет его, только угрожает ему, размахивая чубуком над его головой.

— Ну, Симха-Меер, — кричит он и грозно смотрит на мальчишку правым глазом, тем, что лезет у него вверх. — Скажи-ка им, этим невеждам!

Симха-Меер — самый маленький ученик в хедере. Меньше его нет никого, но именно на него меламед возлагает все свои надежды. Ведь он — украшение хедера.

Симха-Меер не знает ни слова из того, что только что проходили. Потому что все то время, что меламед рассказывал про порядок жертвоприношения в Храме и ритуальную нечистоту еврея, одной ногой стоящего в Эрец-Исраэль, а другой ступившего на чужую землю, Симха-Меер с огромным удовольствием играл с мальчишками в записочки, которые они передавали друг другу под столом. Раскачиваясь над потрепанной книгой Геморы так, что его русые закрученные пейсы, свисающие из-под шелковой шапочки сына хасидского богача, мотаются из стороны в сторону, он сворачивает записочки своими проворными пальчиками. Он умудряется выигрывать гроши у других мальчишек, хотя он моложе их всех, хотя все считают его жуликом, лжецом и шулером. Тем не менее, когда он заводит игру, все по непонятной причине соглашались с ним играть. Мальчишки знают, что он жульничает, но его ни разу не застукали. Он всегда выкручивается. Точно так же он дурачит и меламеда, запутывает его и выходит победителем. Еще не случалось, чтобы меламед поймал его за руку.

Реб Борух-Вольф идет на разные уловки, чтобы поймать с поличным учеников, не знающих, какое место в Геморе изучается. Вдруг, ни с того ни с сего, учитель прерывает свою речь и обращается к какому-нибудь мальчишке с вопросом:

— Какое место мы читаем? А?..

Когда перепуганный мальчишка указывает неправильное место, кривое лицо меламеда растягивается в довольной улыбке.

— Вот здесь, — бьет он мальчишку чубуком по пальцам.

Особенно ему хочется поймать Симху-Меера. Но это ему никогда не удастся. Как бы этот малыш ни был погружен в свои записочки, он всегда успевает следить и за Геморой. Одного взгляда его плутоватых глаз на Гемору ему достаточно, чтобы повторить последние, только что прочитанные слова. Реб Борух-Вольф идет на разные хитрости, чтобы одурачить учеников. Он провоцирует их, ведет, как слепую лошадь в яму. Вдруг он становится добрым, сущим праведником и помогает ученикам.

— Надо ведь сказать, — говорит он с напевом, — что Реу-вен<sup>1</sup> вино...

— Виновен, — хватаются мальчишки за его подсказку, как утопающие за соломинку.

— Нет, бездельник! — И злобный смех меламеда сливается со щелчком от удара чубуком. — Как раз невиновен!

Изучив его повадки, мальчишки отвечают и прямо противоположное тому, что он предлагает, но тогда реб Борух-Вольф специально подсовывает им правильный ответ, чтобы они заменили его на неправильный. Особенно ему хочется поймать на эту приманку Симху-Меера. Именно потому, что у этого малыша такая хорошая голова, потому, что он никогда не попадает в сети, старику так хочется его поймать. Но Симха-Меер ловко выкручивается. Не зная ни одного слова из изучаемого раздела Геморы, он умудряется тем не менее обойти все ловушки меламеда, разгадать все его хитрости и недомолвки. Внимательный взгляд Симхи-Меера улавливает малейшие признаки скрытых эмоций на морщинистом лице меламеда. Он угадывает цель, которую ставит перед собой

<sup>1</sup> Распространенное еврейское имя. Используется во многих талмудических дискуссиях в качестве имени некоего абстрактного персонажа.

реб Борух-Вольф, и проворно, элегантно и плавно ускользает от него.

Когда дела идут совсем плохо, Симха-Меер начинает наседать на учителя, чтобы не дать ему насесть на него, Симху-Меера. Разного рода ораторскими уловками он заставляет реб Боруха-Вольфа произнести первые несколько слов, а потом, словно поймав конец клубка, начинает крутить его, закручивая еще больше. Он делает это легко и непринужденно. И при этом кричит, перебивает учителя, так что старик смущается и замолкает, запутавшись в сеть, которую он приготовил для мальчишки. Реб Борух-Вольф очень волнуется. Его правый глаз поднимается так высоко, что едва не залезает под бархатную ермолку, усы топорщатся, как у кота, упустившего из своих когтей мыш. Ему стыдно перед учениками, что этот малыш так ловко выскользнул из его рук, выставил перед ними на посмешище. Он совершенно подавлен. Он уже хочет остановиться, уйти с достоинством, но теперь его не отпускает Симха-Меер. Как паук опутывает муху паутиной, так запутывает этот малыш своего учителя. На минутку он отпускает его, играет с ним, чтобы тот еще сильнее увяз. Со злобным наслаждением Симха-Меер тянет талмудическую дискуссию, из которой ни он, ни его учитель не знают, как вылезти. Он подбрасывает хитроумные вопросы, выискивает внутренние противоречия, сам отвечает себе, находя подтверждение своим словам в Талмуде. Прежде меламед провоцировал учеников, теперь он провоцирует меламеда, подсовывает ему половинки слов, за которые старик хватается, как утопающий за соломинку, но попадает впросак. Мальчишки щиплют себя, чтобы не рассмеяться в полный голос. Старик корчится от боли.

После этого Симха-Меер сидит спокойно и свободно несколько дней и открыто играет со своими друзьями в запички. Он старается ничего не скрывать от меламеда.

— Жир и жертвы вознесения воскурятся... — произносит он по-древнееврейски, а потом переводит это на простой еврейский язык. И все с напевом, как положено при изуче-

нии Талмуда. И тут же добавляет с тем же напевом: — У меня тридцать один...

Все мальчишки старше его, один даже жених с золотыми часами в кармане атласного жилета, который он носит в будние дни. Они его не любят, этого малыша. Они не делают ему снисхождений за его таланты. Им не подобает дружить с этим выскочкой. Их отцы только и знают, что ставить им Симху-Меера в пример, стыдить их из-за него. Но им приходится каждый четверг подходить к нему и просить разъяснить им урок Геморы, пройденный на этой неделе. Симха-Меер делает это не бесплатно, он ничего не делает бесплатно. Приходится покупать ему мороженое у кацапа, который носит на голове бочонок с надписью «Сахарморож» и смахивает на Малкицедка<sup>1</sup> из «Тайч-Хумеша»<sup>2</sup>, когда тот идет навстречу праотцу нашему Аврааму с бочонком вина на голове. Те, у кого есть золотые часы, должны позволить Симхе-Мееру заглянуть внутрь часов, дать посмотреть, как крутятся их зубчатые колесики. Бедные дети, у которых ничего для Симхи-Меера нет, рассказывают ему истории про то, что делают муж и жена, оставшись наедине. Находясь среди взрослых учеников в этом хедере, Симха-Меер очень рано узнал о запретных вещах, и он внимательно слушает всякий раз, когда мальчишки заново рассказывают ему, как их отцы вылезают из своих постелей, где они, их лежащие вместе с ними сыновья, притворяются спящими.

Иногда он делает подлости, этот маленький Симха-Меер. Он неверно истолковывает какому-нибудь мальчику лист Геморы, а потом наслаждается, когда тот неправильно отвечает учителю и получает чубуком по спине. Мальчишки знают, что он это сделал нарочно, но за руку его поймать не удастся. У них много обид на этого маленького вредителя, но никто в

<sup>1</sup> Царь древнего ханаанского города Шалем (Салим), идентифицируемого еврейскими комментаторами с Иерусалимом. Согласно библейской книге Берешит, 14:18-20, встретил праотца еврейского народа Авраама вином и хлебом.

<sup>2</sup> Традиционное переложение Пятикнижия Моисеева на идиш с добавлениями притч и комментариев. Считалось литературой, предназначенной для необразованных людей, прежде всего женщин. Иногда сопровождалось картинками.



хедере не может так, как Симха-Меер, заморочить злобного меламеда. Никто, кроме него, не умеет так ловко передавать записочки под столом. И никто, кроме него, не может устроить такую ссору между меламедом и его женой.

Меламед женат вторично. Его жена намного моложе его, но она недотепа и к тому же бесплодна. Именно поэтому с ней развелся первый муж. Она ничего не замечает, все пропускает мимо ушей, все путает, как говорится, о соломинку спотыкается. Меламеду с ней живет не сладко. Она не обращает внимания на его нужды, и его это очень злит. Его раздражает, когда она задает ему вопросы.

— Борух-Вольф, — спрашивает она с напевом, растягивая слова, словно они резиновые, — Борух-Вольф, ты пойдешь есть?

— А как же иначе? Еда сама придет ко мне? — отвечает ей Борух-Вольф вопросом на вопрос.

— Борух-Вольф, что мне дать тебе поесть?

— Бульон с лапшой, — говорит ей реб Борух-Вольф.

— Что ты! — восклицает его женушка. — Где я тебе возьму бульон с лапшой в будний день?

— Так что же ты меня спрашиваешь, корова? — злится на нее реб Борух-Вольф.

— Борух-Вольф, ты пойдешь мыть руки перед едой?

— А что же ты думаешь, ослица, я пойду есть, не помыв рук?

Жена терпит. Она уже знает его, знает, что он ни на один вопрос не может ответить прямо. Но когда он уж слишком кипит, она начинает плакать, вытирая глаза краем фартука. Тогда реб Борух-Вольф выходит из себя. Ничто не злит его так, как слезы. Даже мальчишки не должны у него плакать, когда он их бьет. И он стучит чубуком по столу, сгребает со стола книги Геморы и велит мальчишкам расходиться по домам.

— Я не хочу быть меламедом! — кричит он плачущей жене. — Я не буду на тебя работать, чтобы ты потом плакала на мою голову. Если я просто буду сидеть в молельне и учить Тору, евреи и тогда дадут мне поесть... Мальчишки, по домам!

Меламед не успевает договорить, как все мальчишки уже во дворе и проворно скатываются один за другим по перилам винтовой лестницы двухэтажного дома. Они исчезают прежде, чем старик раскается и позовет их обратно.

Жена старается не злить реб Боруха-Вольфа. Она глотает слезы и перестает плакать. Но Симха-Меер делает все, чтобы довести дело до скандала и заставить реб Боруха-Вольфа крикнуть, что он отныне не меламед. Возвращаясь со двора, куда он ходил по нужде, и подходя к стоящей в углу бочке с водой, чтобы омыть руки и сказать положенное благословение, Симха-Меер наносит какой-нибудь ущерб. Переворачивает горшок с борщом или задевает маленькую железную кастрюльку, кипящую на хромом треножнике в кухне.

Жена меламеда, которая задумчиво сидит в углу и вяжет натянутый на стакан чулок, не видит, растяпа, что это работа Симхи-Меера. Он очень проворен, этот малыш. Раз — и он уже стоит посреди комнаты, вытирает руки краем лапсердака и набожно произносит благословение. Услыхав, как на кухне упал горшок, она устремляется спасти обед, пока не прознал муж.

— Чтоб ты сдохла, — прокликает она за нанесенный вред кошку. Но вот реб Борух-Вольф услышал посреди изложения сложнейшего талмудического вопроса, что с едой на кухне случилось несчастье. И он начинает орать:

— Я из-за тебя по домам пойду побираться, недотепа! Ты меня со свету сживешь!

От испуга жена меламеда торопится и роняет глиняную миску, которая раскалывается с глухим щелчком. Меламед вне себя от ярости. Уж ей придется поплакать. Она не может сдерживать слез, и реб Борух-Вольф бьет чубуком по столу и кричит:

— Мальчишки, по домам! Я больше не меламед!

Часами мальчишки шляются по улицам. Симха-Меер, самый маленький из них, идет в центре. Товарищи наклоняются к нему, кладут ему руки на плечи и бегают по всем боковым улицам, переулкам и рынкам, свободные от учебы, от ее ярма. Они проходят через рынок, где крестьяне стоят со своими ло-

шадьми и телегами, коровами, свиньями, курами, мешками с зерном. Женщины в чепчиках на стриженных головах крутятся вокруг телег, дуют курам под хвосты и даже щупают пальцем их зады, чтобы проверить, хорошие ли они несучки. Евреи и неевреи бьют по рукам, торгуются, пробуют на зуб зерна пшеницы. С рынка компания отправляется в переулки, туда, где каменщики волокут кирпичи и гасят известь. В Лодзи строят улицу за улицей. Город растет. Открываются лавки, магазины, склады. Мальчишки спускаются и к Балуту, в его узкие переулки, где со всех сторон слышен стук ткацких станков и швейных машин, а в воздухе висят песни и канторские мелодии. Они покупают засахаренные миндальные орехи в лавчонках, где мухи роятся над всякими печеньями и конфетами. Симха-Меер собирает у мальчишек гроши, заходит к турку в красной феске, который продает хлеб с изюмом, и покупает этого хлеба. Мальчишки не знают, кошерный ли он, и колеблются, не решаясь его попробовать, но Симха-Меер не колеблется, он отрывает от буханки кусочки и с наслаждением жует. Каждый раз, когда на язык попадает изюминка, он плутовато поблескивает глазами. Потом мальчишки отправляются в обгрызенное городом поле, где пасутся стада коз. Они ложатся на траву и играют в записочки. Как всегда, Симха-Меер выигрывает все деньги.

День тянется долго, но для мальчишек из хедера он все равно короткий. Они вылезают к песчаным полям, где маршируют драгуны, а муштрующие их унтер-офицеры лупят солдат по ногам ножнами шашек. Они трутся на рынках, где городской барабанщик бьет в барабан и выкрикивает официальные городские новости: кого обокрали, у кого потерялась свинья, кому придется посидеть в тюрьме, а у кого продадут подсвечники или постельное белье за неуплату государственной подати.

Наконец они отправляются в узкий Распутный переулок, в котором несколько лет назад еще не было домов, но со всех окрестных улиц люди приходили туда «за этим делом». Теперь там стоят домики, маленькие, светлые, с кривыми крыльечками и низкими окошками. Если теперь, по старой при-

вычке, кто-нибудь приходит в переулок «за этим делом», то сначала на него набрасываются с предложениями хозяева домиков, а после занудства хозяев он все-таки находит утешение у проституток. Они обслуживают солдат и бедных крестьян, оставивших своих жен в деревнях. Обслуживают они и еврейских подмастерьев, работающих на мастеров — владельцев ручных ткацких станков.

Мальчишки знают, что этого места надо избегать, и поэтому их сюда тянет. Они проносятся по узкому переулку, бросая вороватые взгляды на растрепанных девиц — иноверок и евреек, которые сидят на порогах домов, лузгая семечки. Они не подходят, Боже упаси, к этим подмигивающим им девицам. Они убегают, распаленные, смущенные. И все-таки им нравится каждый раз снова пробегать по Распутному переулку и слушать, как девицы кричат им вслед:

— Мальчишки, идите сюда, получите удовольствие...

Домой они бегут к вечеру, к молитве минха, когда по плохо замощенным улицам идут черные фонарщики с длинными палками в руках и зажигают нефтяные фонари, протянувшиеся жидкой линией вдоль улиц.

Они выглядят необычно, просто фантастически, эти фонарщики с их длинными палками, которыми они достают веревки с висящими на них фонарями, и факелами, которыми они их зажигают. Мальчишки не могут глаз оторвать от каждого их движения. Они смотрят, как фонарщики чистят закопченные стекла, наливают нефть в кувшинчики, вправляют фитили и тянут за веревку, поднимая фонарь вверх.

— Гут вох! — громко кричат мальчишки, когда очередной фонарь зажигается. — Гут вох!

Фонарщика-иноверца это злит. Он не понимает, что они говорят, и думает, что над ним насмеются. Он гонится за

---

<sup>1</sup> *Доброй недели (идиши)*. В данном случае проводится аналогия с еврейским обрядом авдала, отделяющим субботу и праздники от будней. Одним из элементов обряда является зажигание особой, авдальной свечи. После этого участники обряда обмениваются пожеланиями доброй недели.

ними, срывает с головы самого слабого бегуна шапку и забрасывает ее на верхушку фонарного столба.

Мальчишки буквально летят. Полы их длинных черных сюртуков и кисти на их арбокандесах полощутся в воздухе, как крылья.

— Летучие мыши! — кричит им на бегу фонарщик. — Ангелы смерти!

Вместе с большими мальчишками несется и разгоряченный Симха-Меер.

Дома он встречает Янкева-Бунема, бегающего на четвереньках, и сестренку, катающихся на нем верхом. И Диночка тоже здесь, хотя она теперь живет со своими родителями на другой улице. Она часто приходит сюда к своим подружкам, дочерям реб Аврома-Герша, а еще чаще — к Янкеву-Бунему. Хотя Янкев-Бунем уже большой и изучает Гемору, он любит играть с сестренками. Он даже не вспоминает о том, что такому взрослому парню подобает держаться от девчонок подальше. Нет, не умеет он парить в недоступной для них высоте, этот Янкев-Бунем. Он становится на четвереньки, когда мать не видит, и изображает лошадку. Он велит сестренкам, и Диночке тоже, забираться к нему на спину. Он быстро бежит на четвереньках со всей этой компанией на спине. Он даже подпрыгивает, как настоящая лошадь. Девочки пугаются, боятся упасть. Чтобы удержаться, Диночка обхватывает обеими руками его шею. Она цепляется за него, смеясь при этом до слез. Янкев-Бунем с восторгом подпрыгивает и ржет, как жеребенок.

— Янкев-Бунем, — спрашивает его Диночка, — ты боишься льва?

— Нет, — твердо отвечает Янкев-Бунем.

Тут входит Симха-Меер, видит своего брата с девчонками на полу и принимается его стыдить.

— Бабник, — честит он его, — вот я расскажу отцу, что ты играешь с девчонками. Голова твоя деревенская, ты же так забудешь всю учебу!

Янкев-Бунем краснеет от стыда. Ему неудобно перед Диночкой, что его обзывают головой деревенской, тем более что это правда.

— Иди, доноси, на том свете тебя подвесят за язык, — отвечает Янкев-Бунем.

Какое-то время он ведет с братом переговоры. Все-таки он боится, что тот наябедничает отцу. Он знает, что отец всыплет ему по первое число, и предлагает Симхе-Мееру все свои вещи, чтобы тот молчал, но Симха-Меер не хочет.

Когда ничего не помогает, Янкев-Бунем начинает играть с ним в записочки. Ничем его так не проймешь, этого Симху-Меера, как игрой в записочки. Симха-Меер играет быстро, очень быстро, и выигрывает у брата все его деньги.

Сестренки и особенно Диночка бросают на Симху-Меера злые взгляды.

— Симха-Меер, ты дурак. Съел калошу за пятак! — распевают они свою старую дворовую дразнилку.

## Глава седьмая

**Р**еб Авром-Герш добился своего.

Хайнц Хунце кричал, ругался, топал ногами, заявлял, что, даже если ему придется побираться по дворам, он не будет иметь дела с этой свинячей собакой, с этим мерзавцем Фрицем Гецке. Но реб Авром-Герш делал свое дело. Он ходил от Хунце к Гецке и от Гецке к Хунце. Он взывал к их разуму, рассказывал притчи из святых книг, подтверждающие, что гневливость — очень плохое качество, что на мире держится белый свет, и добился того, что две фабрики стали компаниями. Объединенное предприятие получило имя «Хайнц Хунце и Фриц Гецке».

Из-за названия компаньонство в последнюю минуту едва не развалилось. Оба компаньона были одинаково упрямы. Никто не хотел уступить другому право фигурировать в названии первым. Реб Авром-Гершу пришлось привести массу поговорок и цитат из Святого Писания, прежде чем Гецке уступил первенство Хунце. В конце концов договорились: Хайнц Хунце и Фриц Гецке.

В награду реб Авром-Герш получил от объединенного предприятия пост генерального заместителя. На месте прежних Вилков, где когда-то нельзя было жить евреям и которые теперь стали Петроковской улицей, Хунце выстроил для генерального заместителя большой дом с тяжелыми, обитыми железом дверями и окнами, с глубокими подвалами, кладовыми и высокими чердаками. Эту громадину с толстыми стенами сверху донизу забили товарами производства Хайнца Хунце и Фрица Гецке. Вывеску помимо имен компаньонов и имени генерального заместителя Аврома-Герша Ашкенази украсили все золотые, серебряные и бронзовые медали фабрики. Маляр, рисовавший вывеску, изобразил на ней даже фабричную марку: два бородатых голых германца с фиговыми листками на причинном месте и с копьями в руках. Но реб Авром-Герш велел убрать это изображение, потому что еврею не подобает рисовать фигуры идолов. Ему было достаточно медалей и титула генерального заместителя.

Уже давно дочери Хунце, которые не позволяют своему отцу разговаривать на простонародном немецком диалекте, а требуют изъясняться только на литературном немецком языке, кривят носы из-за того, что во дворе фабрики, в конторе у отца крутятся еврейские купчишки, лавочники и маклеры, пришедшие за товаром. Они очень шумят, эти еврейские торгаши, они разговаривают со стариком по-еврейски, берут его за лацкан, по-свойски крутят пуговицы на его сюртуке. Когда ни выйди из дворца, построенного рядом с фабрикой, — вечно полно евреев в длинных лапсердаках. Они

кричат, горячатся. Уже давно дочери велели отцу передать товары какому-нибудь заместителю. Старик не хотел. Ему было жалко денег. Он любил экономить. Еще больше ему нравилось торговаться, кипятиться. Он просто наслаждался этим. Ему страстно хотелось самому перехитрить евреев, перемудрить их. Его всегда тянуло к простым вещам — выпить пива с коллегами, выкурить трубку, а не какую-то там сигару, поговорить по-еврейски с торговцами, вставляя время от времени древнееврейские слова. Так он чувствовал себя подомашнему, свободно, в своей тарелке. Но дочери неустанно требовали от него, чтобы он блюл свой высокий статус. Кроме того, дело сильно выросло. Да и еврея этого, Ашкенази, надо было наградить за то, что он сумел организовать компаньонство, спасшее фабрику от краха. И компаньоны сделали реб Аврома-Герша своим генеральным заместителем.

В большом доме, что на улице Петроковской, теперь шум и суета. Еврейские лавочники, купцы, маклеры крутятся среди тяжелых тюков с товарами, которые лежат здесь, занимая едва ли не все пространство от подвалов и до крыши, — во всех чуланах, кладовых, на всех чердаках. Каждый пришедший старается пропихнуться к огороженной, выкрашенной коричневой краской конторке, за которой над толстыми, тяжелыми торговыми книгами, похожими на тома Геморы, сидит реб Авром-Герш с ермолкой на голове.

— Реб Авром-Герш, — раздаются просительные голоса, — когда вы наконец сможете переговорить со мной? Всего несколько слов. Время не терпит. Горит! Горит!

Приказчики, молодые люди в укороченных сюртуках и с карандашом за ухом, стараются сами разобраться с теми клиентами, что помельче.

— Старик занят, — твердят они. — Мы сами решим ваш вопрос.

Но мелкие торговцы рвутся к хозяину.

— Зачем мне идти к хвосту, если я могу пойти к голове? — говорят они.



Время от времени какой-нибудь иногородний еврей-торговец вспоминал, что он в спешке забыл сказать кадиш<sup>1</sup> по покойным родителям, и прямо на складе, среди груды товаров, стряхивая с рук сухую пыль, читал кадиш в присутствии миньяна, спешно составленного из торговцев, приказчиков и самого хозяина. Евреи нетерпеливо бормотали «аминь», торопясь вернуться к торговле. Приказчики ворчали про себя, что их отвлекают молитвами от дела и мешают мерить и упаковывать товары. Но вслух они этого говорить не решались, потому что сам реб Авром-Герш всегда откладывал книги, когда собирали миньян для чтения кадиша. Он быстро омывал руки и громко отвечал «аминь». Только бухгалтер Гольдлуст, еврей с ермолкой на голове, позволял себе открыто негодовать и, мешая еврейский язык с немецким, ругать чтецов кадиша:

— Слушайте, — сердился он на этих евреев, — торговый склад вам не хасидская молельня. Ах вы, местечковые провинциалы...

Дома у реб Аврома-Герша всегда было полным полно чужих людей. Встречались тут и еврейские комиссионеры из Литвы, и русские евреи-купцы. Они сотнями съезжались в Лодзь, чтобы подешевле закупить товары, которые они потом развозили по всей необъятной России, до самых границ с Китаем и Персией. Они одевались в короткие сюртуки. Их бороды были подстрижены, а то и совсем сбриты. Эти пришельцы не были особенно набожны. Они пропускали молитвы, благословения. Иной раз могли даже ездить в субботу. Они не любили польских евреев с их длинными лапсердаками, с их маленькими шапочками, с их тягучим языком и набожностью, так же как польские евреи терпеть их не могли, считали выкрестами, свиньями, еретиками, в которых не осталось ничего еврейского. Но торговать они, тем не менее, друг с другом

---

<sup>1</sup> Поминальная молитва. Читается только в присутствии миньяна (молитвенного кворума, состоящего не менее чем из 10 евреев старше 13 лет). Кадиш полагается читать в течение 11 месяцев со дня смерти, а затем ежегодно в годовщину смерти.

торговали. Гостиниц в Лодзи почти не было, только постоянные дворы. По большей части коммивояжеры останавливались у местных еврейских торговцев, столовались и ночевали у них.

За обедом у реб Аврома-Герша теперь всегда сидело много чужих. Евреев в жестких шляпах, уплетавших за обе щеки жирных жареных польских гусей и сладкую фаршированную рыбу, какой в Литве не попробуешь. Из уважения к хозяину они совершали омовение рук перед едой, бормотали благословения, макали хлеб в соль и даже произносили за трапезой какие-то слова Торы. В основном это были цитаты из Танаха<sup>1</sup>, который они знали вдоль и поперек. Куда охотнее они говорили о торговле, о России, о нравах русских купцов. Рассказывали истории про всякие дальние города, людей, обычаи. По ночам по всем комнатам расставлялись кушетки, на которых спали гости.

Реб Авром-Герш изо всех сил старался уберечь сыновей от этих чужаков и еретиков, уберечь своих мальчиков не только от их историй, но и от их слов Торы, с позволения сказать. Он отправлял их из-за стола как можно раньше. Янкев-Бунем уходил к своим игрушкам, к своим ножичкам, мешочкам и прочей ерунде, от которой он никак не мог отвязаться, хотя уже изучал Гемору. Симха-Меер сидел, наострив уши, как заяц, и радостно ловил каждое слово, каждую историю, каждое событие, произошедшее в дальних, чужих и таких манящих краях и городах.

— Симха, — окликал его отец одним только именем Пшисхинского ребе, — иди учиться, не ленись!

Но Симха-Меер не торопился уйти из-за стола. Он находил разные поводы и отговорки. На это он был мастер. Он шел на все, чтобы убедить отца позволить ему хотя бы еще немного побыть с этими прибывшими издалека чужаками.

---

<sup>1</sup> Еврейская Библия, называемая христианами Ветхим Заветом. В данном случае автор подчеркивает различие между пришлыми евреями и польским хасидом реб Авромом-Гершем, не придающим большого значения изучению Танаха и считающим главным изучение Талмуда.

К тому же он без ведома отца водил гостей по городу, показывал им путь к разным улицам, рынкам, магазинам, купцам. За это чудачки благодарно щипали его за щеку и давали полтинник, а то и целый рубль. А еще они убеждали его получить образование, чтобы выйти в люди.

— Только «просвещение», — убеждали они его, — слышишь, парень!

До мальчишки не сразу дошло значение этого трудного русского слова, но он понял, что это что-то хорошее, и запомнил его.

Он частенько заходил и в контору отца, хотя отец строго-настрого запретил ему переступать ее порог. Под различными предлогами он снова и снова являлся туда и намекал приказчикам, что не стоит сообщать отцу о его приходе. Реб Авром-Герш велел своим работникам не пускать Симху-Меера в контору, а гнать его в хедер, но Симха-Меер упрашивал их не доносить на него отцу, и они скрывали его, пряча за тюками с товаром. Сидя среди тюков, он читал наклеенные на них фабричные этикетки. Он срывал пломбы, осматривал образцы товаров, их окраску, прислушиваясь к шуму торговли, к восклицаниям покупателей, которые подчистую сметали товар, расхватывали его, как горячие пирожки, как турецкий хлеб с изюмом.

Когда отца не было в конторе, Симха-Меер забирался в его огороженную конторку, заглядывал в толстые торговые книги, подробно расспрашивал обо всех делах бухгалтера Гольдлуста, приставал с вопросами к приказчикам. Все ему надо было знать, до всего дойти. С огромной завистью и ревностью смотрел он на взрослых, которым не надо было ходить в хедер, которые были свободны и могли делать что хотят и когда хотят. Как молодой петушок, он все разведывал, все высматривал своими плутоватыми глазами, всюду совал свой длинный нос. Взгляд его казался мягким, но на самом деле он смотрел на все и всех жестко, упрямо и недоверчиво.

— Этот мальчишка меня с ума сведет своими вопросами, — сердито говорит бухгалтер Гольдлуст на своем полуев-

рейском, полунемецком языке. Его раздражает, что малец лезет в бухгалтерские книги.

— Он растет безбожником, — бормочут приказчики, поджав губы. — Ну что это такое?!

Симху-Меера их замечания мало волнуют. Он абсолютно уверен, что, когда он станет большим, он всех их обойдет и тоже будет сидеть, как отец, за отдельной, огороженной конторкой. Но на голове его не будет ермолки. Нет, он будет сидеть с непокрытой головой, как немецкие торговцы, конторы которых напротив, на той стороне улицы Петроковской. Кроме того, он не будет пускать к себе всяких лавочников, как отец. Люди будут снимать шапки, обращаясь к нему с просьбой, а разговаривать он будет по-немецки.

## Глава восьмая

**В** просторной столовой дома реб Хаима Алтера, владельца мастерской по производству женских платков, светло и тепло.

Субботний вечер. Давно уже появились три первые звезды, возвещающие об окончании святого дня. Однако реб Хаим Алтер только сейчас совершает обряд авдолы, отделяя день субботний от шести будней. Он любит подолгу засиживаться в хасидской молельне за третьей субботней трапезой. У него хороший слух и хороший голос, и он охотно исполняет песнопения для сидящих за субботним столом. К тому же он большой охотник до выполнения заповедей. Он всегда покупает за несколько бутылок пива право произнести общественное благословение после трапезы. Потом он лично ведет молитву маарив. Так что домой реб Хаим Алтер возвращается довольно поздно.

— Доброй недели, доброй недели, — возвещает он со сладкой улыбкой своей семье и домочадцам, собравшимся в их

большой, но плотно уставленной мебелью зале. Дом ярко освещен свечами в серебряных подсвечниках и большой медной люстре, нависающей на толстых цепях над гигантским дубовым столом.

Реб Хаим Алтер неторопливо наливает вино в большой серебряный бокал с чеканкой, проливая его на стоящее под бокалом серебряное блюдо, чтобы успех и изобилие лились на этой неделе через край. Мурлыча себе под нос мелодию, он вынимает из отделанной серебром шкатулки высокий чеканный сосуд для благовоний, украшенный зеленой башенкой, серебряными флажками и колокольчиками. Он закатывает рукава блестящего шелкового лапсердака, обнажая волосатые, мясистые руки богача. Он не хочет залить дорогую одежду вином. После этого реб Хаим Алтер велит своей единственной дочери Диночке держать витую свечу, предназначенную для обряда авдолы.

— Вот так, повыше, Диночка, — говорит он тринадцатилетней девушке с темно-каштановыми косами. — Тогда у тебя будет высокий жених.

Диночка краснеет от смущения. Она морщится от слов отца, но все-таки держит свечу высоко. Реб Хаим Алтер поднимает кубок вверх. Он внимательно смотрит вокруг: все ли домочадцы здесь? Все на месте, даже служанка Годес. Довольный этим, реб Хаим Алтер громко, нараспев, начинает обряд авдолы. Он четко выговаривает каждое слово, так что по телу растекается сладость. Осветив свечой свои волосатые и мясистые руки, реб Хаим Алтер благословляет Творца, создавшего огонь. Он долго раскачивает сосуд с благовониями, чтобы усилить запах, идущий через раскрытую дверцу башенки.

— О, о-о! — восклицает он в восторге и благословляет Творца, создавшего благовония. Затем реб Хаим Алтер передает сосуд с благовониями жене и детям, чтобы они тоже вдохнули их пряного аромата. Он ждет, когда все произнесут благословение.

— Ну-ка, серьезней, — машет он дочери, которая произносит его поспешно, лишь бы отделаться.

В конце церемонии даже служанке Годес подают сосуд с благовониями. Годес каждый раз не может разобраться, как просунуть нос в эту серебряную дверку. Все смеются над ней. Даже реб Хаим Алтер еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. Затем он завершает обряд авдолы: загибает край скатерти и проливает на стол вино. В нем он гасит свечу. Потом обмакивает в вино пальцы обеих рук и прикладывает их к карманам — не только к внутренним карманам шелкового лапсердака, но и к карманам своих шикарных, достойных богача брюк и бархатного жилета. Это делается для того, чтобы все карманы были полны денег, чтобы новая неделя была, с Божьей помощью, доходной. После этого реб Хаим Алтер протирает вином авдолы свои черные блестящие глаза — для здоровья и наконец желает всем доброй недели. Он широко улыбается и произносит с напевом:

— Доброй недели, веселой недели, радостной недели, счастливой недели, доходной недели.

Потом он снимает свой шелковый лапсердак и кричит:

— Шмуэль-Лейбуш, подай мне халат!

Слуга Шмуэль-Лейбуш, молодой человек со светлой подстриженной бородкой и бумажным воротничком, проворно подбегает к хозяину. Он хватает шелковый лапсердак, снятый реб Хаимом Алтером, и подает ему суконный халат с цветочками.

— Сигары, реб Хаим Алтер, — говорит он с улыбкой и предлагает хозяину коробку с иностранными сигарами.

Он знает, как страдает реб Хаим Алтер в субботний день без сигары. Поэтому он безотлагательно, сразу же после авдолы подает сигары. Реб Хаим Алтер тает от удовольствия, доставленного ему расторопностью слуги. Он поспешно откусывает кончик сигары и прикуривает от огня, который подносит ему слуга. Потягивая ароматную сигару, реб Хаим Алтер рассуждает на богобоязненные темы. Он с наслаждением разжевывает каждое слово, провожая царицу-Субботу. Он ощущает чудесные запахи росы и оливкового масла, кото-

рые Господь пошлет евреям, если они будут следовать путями добра. Продолжая рассуждать на душеспасительные темы, он распечатывает письма и телеграммы, доставленные в субботу и поэтому еще не прочитанные. Потом он начинает торопиться и закрывает душеспасительную тему, поскольку ему ужас как хочется выпить стакан свежезаваренного чая. По такому чаю он тосковал всю субботу.

— Привеши, — зовет он жену. — Прива, жизнь моя, скажи служанке, чтобы она подала мне чаю с цитрином, слышишь, Привеши?

Прива, красивая полная женщина в шелковом платье со шлейфом и светлом кудрявом парике, делающем ее похожей на актрису оперетты; с роскошной, увитой жемчугами полной шеей и бриллиантовыми кольцами на всех ее круглых холеных пальцах, подходит к мужу мелкими шажками, волоча за собой свой длинный шлейф. Со сладчайшей улыбкой на кроваво-красных губах она ластится к нему и протягивает пухлую, женственную ручку за деньгами — суммой на недельные расходы.

— Деньги, деньги, — бормочет реб Хаим Алтер, — зачем тебе, Привеши, столько денег, а?

Улыбка мгновенно исчезает с красных губ Привы.

— Веди хозяйство сам, — бросает она мужу. Вслед за этими словами она кидает ему связку ключей от всех шкафов и комодов и удаляется гордой походкой обиженной королевы.

Реб Хаим Алтер сразу же горько раскаивается в своих словах.

— Привеши, Прива, жизнь моя, — молит он, следуя за нею по пятам, — я ничего такого и не думал. Я сказал это просто в шутку...

Но Прива не дает себя уговорить. Она знает, что Хаим Алтер от нее без ума, и хочет хорошенько проучить его, чтобы он понял, как разговаривать с ней, дочерью реб Аншла Варшевера. Реб Хаим Алтер чуть не плачет. Он терпеть не может ссориться, не выносит жизненных превратностей, не умеет обижаться. Он любит хорошую жизнь, мирную, а вот его

жена Прива как раз обидчива. Она приказывает служанке Годес постелить хозяину в столовой, на диване. Она не пустит его в свою спальню. Реб Хаим Алтер страдает, страдает сильно. Он тоскует по ее пухлому теплому телу, по ее полной соблазнительной шее. Ему никогда не удастся выиграть в таких ссорах. Он слишком слаб, слишком любит уютную, удобную жизнь, и он сразу же сдается. Он покупает мир ценой дорогого подарка. До дорогих подарков Прива большая охотница. Она любит новые платья и украшения. А реб Хаим Алтер буквально ест себя поедом за то, что именно сейчас, в начале новой недели, наговорил глупостей и все испортил. Правда, Прива берет у него много денег на расходы, очень много. Он и сам не знает, зачем ей столько надо, но ему не следовало об этом говорить. Лучше бы он себе язык откусил. Язык мой — враг мой! И он уговаривает жену, гладит светлые локоны ее надушенного парика и бросает к ее ногам весь свой туго набитый кошелек, все, что у него есть при себе.

— На, Привеши, бери, сколько хочешь, — предлагает он, — пусть все деньги пропадут пропадом, лишь бы ты не расстраивалась...

Прива смягчается и наконец берет пачку банкнот, которые муж без счета сует ей в руку.

— Ну, теперь все хорошо? — спрашивает счастливый реб Хаим Алтер и, не стесняясь слуги, гладит ее по лицу.

— Выпей чаю, Хаимче, — говорит подобрешая Прива, — скоро похолодает.

Реб Хаим Алтер пьет чай большими глотками, в восторге от того, что в доме снова все хорошо, мило и счастливо. Затем он принимается просматривать счета и бухгалтерские книги за всю неделю. Слуга Шмуэль-Лейбуш помогает ему в этом. Долгое время они сидят над стопками бумаг, ищут, подсчитывают, путаются и вязнут в канцелярской работе. Реб Хаим Алтер сам ведет свои расчетные книги. По обычаю лодзинских еврейских купцов записи он делает на смеси онемеченного идиша и неграмотного древнееврейского. Записи делаят-



ся на разделы «взял» и «дал». Но реб Хаим Алтер не слишком хорош в счете. Его слуга тоже не великий знаток мелких буковок. Реб Хаим Алтер — ленивый и рассеянный любитель комфорта. Бухгалтерию он ведет небрежно, лишь бы поскорее от нее отделаться. Он рассовывает по карманам бумаги и счета, которым место в бухгалтерских книгах, но которые вечно попадают в соответствующие разделы с опозданием. Книги у реб Хаима Алтера какие-то кривые, в заплатах из вписанных вкривь и вкось цифр и примечаний, которые он сам потом не может разобрать. За неделю набирается множество счетов, и требуются часы работы, чтобы привести все бумаги в порядок. Но бумаги перепутаны, над ними нужно ломать голову, а реб Хаим Алтер ленив и ничто так не выматывает его, как необходимость работать головой. Он не любит думать и, помучившись немного со своей бухгалтерией, откладывает ее в сторону и приказывает слуге взять фонарь и идти с ним в ткацкую мастерскую, расположенную в глубине двора.

— Чем меньше подсчетов, тем больше везения и благословения, — говорит он слуге. — Не так ли, Шмуэль-Лейбуш?

— Точно так, реб Хаим Алтер, — заискивающе кивает головой слуга. Он зажигает свечу и фонарь.

Во дворе слышно, как в мастерской непрерывно стучат ткацкие станки. Реб Хаим Алтер любит свою ткацкую мастерскую. Это вам не запутанные счета, которые так его выматывают, над которыми надо мучительно думать. Это дело простое. Реб Хаим Алтер знает, что чем больше стучат ткацкие станки, тем больше дохода они приносят. Чем больше ткачи работают, тем лучше для дела.

На исходе субботы ткачи работают дольше, чем в обычные вечера. Им надо наверстать работу, которую они не сделали в субботу. Они сидят, эти пятьдесят ткачей, и прилежно ткут женские платки при скудном свете приклеенных к станкам сальных свечей. Свечи для работы они должны покупать на собственные деньги. Такой порядок завели первые хозяева ткацких мастерских, мелкие мастера, державшие по два-три

подмастерья. И хотя ткацкая мастерская реб Хаима Алтера большая, здесь все еще сохраняется этот старый обычай. Реб Хаим Алтер терпеть не может нововведений. Он любит вести дела так, как их вели отцы и деды, — по-еврейски. Именно поэтому, кстати, он не переходит на паровые машины, а продолжает работать с ручными станками. Люди убеждают его перейти на машины. Ему говорят, что с машинами можно здорово разбогатеть. Но он не хочет.

Он поддерживает в своей мастерской еврейские обычаи. На дверях прикреплены мезузы. В складском помещении, среди тюков шерсти и ящиков, он даже велел установить маленький пюпитр и прибить жестяную менору, чтобы рабочие могли читать там минху и майрев в миньяне. Таким образом, евреи могут провести общественную молитву, не тратя времени на хождение в синагогу. Зимой, когда они приходят на работу затемно, так что еще нельзя читать утреннюю молитву, они произносят здесь, на том же самом складе, и шахрис.

Реб Хаим Алтер следит за тем, чтобы его рабочие блюли еврейские обычаи. Его молодой наемник не будет работать без шапки даже в самую сильную жару. Надо носить ермолку или хотя бы бумажный пакет — главное, не сидеть с непокрытой головой. Арбоканфес тоже обязателен. Реб Хаим Алтер следит и за тем, чтобы молодые парни не подстригали бородки, не надевали пиджаки. Он знает, что евреи спаслись из египетского рабства, потому что не меняли своих обычаев, языка и одежды. Он знает из святых книг, что грех заразителен, как чума, Господи спаси и сохрани! Он знает, что одна паршивая овца может испортить все стадо. И он не позволяет никому из молодых подмастерьев одеваться на немецкий манер.

— Если бы я хотел иметь здесь иноверцев, — говорит он своим рабочим, — я бы мог взять настоящих иноверцев, необрезанных, и работать на паровых машинах. Тот, кто хочет работать у меня, обязан быть евреем.

— Чтоб вы были здоровы, реб Хаим Алтер, — заискивающе говорят ему старые ткачи, тощие, скрюченные евреи с

бесцветными бородами, бледными изможденными лицами и красными от постоянной работы в потемках глазами.

Зато реб Хаим-Алтер делает пожертвования синагоге ткачей «Ахвас реим»<sup>1</sup>, что стоит в Балуте, зажатая низенькими домишками рабочих и дощатыми заборами угольного склада. Кроме того, он нанял меламеда, чтобы тот занимался с его людьми по субботам после полудня: летом — Мишной, а зимой — «Борхи нафши»<sup>2</sup>. Это очень ученый меламед, он тонко разбирается в делах грядущего мира. Он сидит в тесной маленькой синагоге среди усталых, сонных ткачей и рассуждает о глупости человеческой жизни и ничтожестве человеческого тела.

«Откуда ты пришел?» — произносит он с печальным напевом по-древнееврейски и немедленно, с тем же напевом переводит на простой еврейский язык: «Откуда ты пришел, человек?» «Из зловонной капли», — отвечает он по-древнееврейски и вновь переводит. И опять по-древнееврейски: «Куда ты идешь?» Затем перевод. Затем ответ: «В место тления и червей»<sup>3</sup>, по-древнееврейски и в переводе...

Поодаль, вокруг Балута, простираются открытые поля, на вольных лугах пасутся лошади еврейских извозчиков. Извозчики лежат, развалившись в траве, и дремлют. За лугом начинается душистый и тенистый сосновый лес. Но ткачи из мастерской реб Хаима Алтера туда не ходят, потому что он спрашивает у меламеда, кто из рабочих отсутствовал в синагоге в субботу после полудня. Тех, кто пропускает урок несколько раз, реб Хаим Алтер увольняет, потому что еврею не подобает в святой субботний день шляться по полям и лесам, куда приходят иноверцы, легкомысленные девицы и всякий сброд. Там говорят глупости и оскверняют субботу. В святой день каж-

<sup>1</sup> Любовь к ближним (др.-евр.).

<sup>2</sup> «Восхваляй, душа моя» (др.-евр.) — псалом 104 и последующие 15 «песней ступеней», которые принято читать по субботам между минхой и мааривом (ашкеназск. майрев) после окончания праздника Суккот (ашкеназск. Суккос) и до кануна праздника Песах.

<sup>3</sup> Фрагмент из трактата Авот (глава 3, мишна 1).

дый еврей должен изучать Тору, как это делает он, реб Хаим Алтер. В субботу после полудня он сидит на веранде своей виллы и читает святыя книги или ведет беседы о еврействе с хасидами. Святая Тора учит, что, когда еврей идет по дороге, видит дерево и говорит: «Как прекрасно это дерево!» — он совершает смертный грех. А рабби Овадья из Бертиноро<sup>1</sup> даже считает, что такой еврей заслуживает смертной казни. Нет, еврей не должен тратить время на глупости. Это не доводит до добра. От всех этих прогулок евреи становятся ленивыми, работа им в голову не идет, а на исходе субботы надо работать долго, до полуночи, чтобы наверстать то, что упустили в святой день.

Он, реб Хаим Алтер, — отец родной для своих рабочих. Если у кого-нибудь из них рождается ребенок, мальчик, и родитель приходит с лекехом<sup>2</sup> и водкой к нему в дом, чтобы позвать его на обрезание и почтить приглашением стать сандаком<sup>3</sup>, он никогда не отказывается, как бы он ни был занят. Потому что, хотя он и богач, слава Богу, он не считает себя выше своих рабочих. Все евреи — братья. Так сказано в святыя книгах. Кроме того, принятие на себя обязанностей сандака ценится весьма высоко. Поэтому реб Хаим Алтер украшает собой обрезание у бедняков, ест их бедняцкий лекех, хотя он ему противен и становится поперек горла, и дарит счастливому отцу трехрублевую купюру. Когда ткач выдает замуж дочку, реб Хаим Алтер тоже делает хороший подарок. На свадьбы к рабочим он не ходит. Он слишком занят. Но подарок дает. На Пейсах он дарит каждому ткачу бутылку изюмного вина, которое поставляет реб Хаиму Алтеру по дешевке один хасид из его молельни. На Суккос он покупает эсрог<sup>4</sup> для синагоги «Ахвас

<sup>1</sup> Рабби Овадья (1450–1516), уроженец города Бертиноро в Италии, — выдающийся комментатор Торы, глава еврейской общины Иерусалима конца XV — начала XVI в.

<sup>2</sup> Медовый пирог.

<sup>3</sup> Человек, который держит младенца во время обрезания.

<sup>4</sup> Эсрог (этрог) — цитрон, один из обязательных атрибутов праздника Суккот. Поскольку этроги доставляли, как правило, из Италии, они ценились очень дорого.

реим». Правда, не такой красивый, как себе самому, а простой, дешевый, едва годный для совершения благословения. Но все-таки он не оставляет бедную синагогу своих рабочих совсем без эсрога. На похороны, если, Боже упаси, умирает кто-то из его ткачей, он ходит всегда. Он бросает все дела и провожает усопшего в последний путь до самого кладбища, потому что проводы усопшего еврея на вечный покой — великая заповедь. Он дает пожертвование на саван и, кроме того, посылает через Шмуэля-Лейбуша деньги семье покойного, чтобы им было на что прожить семь дней положенного траура.

Он все делает для своих работников. В хасидской молельне его восхваляют за это. Ему оказывают почет. Старые ткачи тоже желают ему вечной жизни. Поэтому он любит свою ткацкую мастерскую и сейчас с наслаждением слушает доносящийся оттуда шум, стук всех станков до единого.

В халате и ермолке он направляется в мастерскую, чтобы посмотреть, как там дела. Впереди идет Шмуэль-Лейбуш с фонарем и распахивает перед хозяином дверь.

— Шмуэль-Лейбуш, все ли в порядке? — спрашивает реб Хаим Алтер по дороге.

— Все, реб Хаим Алтер, — отвечает Шмуэль-Лейбуш, заглядывая хозяину в глаза. — Два станка не работали, а теперь снова работают.

— Кто их починил? — желает знать реб Хаим Алтер.

— Тевье-есть-в-мире-хозяин, — говорит Шмуэль-Лейбуш, — он возился с ними, пока не починил. Теперь они работают как новенькие.

— Золотые руки у этого парня, — говорит реб Хаим Алтер, — но шалопай он несносный. Это всем — и молодым, и старым — бросается в глаза.

— Ну так вы же его балуете, реб Хаим Алтер, — льстиво говорит Шмуэль-Лейбуш, распахивая перед хозяином дверь в мастерскую. — Шутка ли? Пять рублей в неделю ему платите.

— Доброй недели, — громко говорит реб Хаим Алтер рабочим. — Доброй недели, евреи!

В полутемной мастерской поднимается суматоха. Евреи постарше, толковавшие между собой о выдаче дочерей замуж, трудном деле в наши дни, прерывают беседу и начинают работать быстро. Они поправляют на своих оттопыренных ушах дужки очков, которые многие из них носят. Их бледные жилистые руки стремительно движутся, они стучат усталыми ногами и подпрыгивают на своих скамейках.

— Доброй недели, реб Хаим Алтер, доброй недели! — приносят они к стопам хозяина положенные на исходе субботы благословения, не прерывая при этом работы.

У тощих юношей, которые распевали «Не страшись, раб мой Яаков»<sup>1</sup> с настоящими канторскими руладами, недопетый стих застыл на устах. Их станки застучали с невероятной скоростью, нити стали летать, как молнии. Их костлявые пальцы ловко завязывали узелки.

Реб Хаим Алтер ходил от одного станка к другому, приглядывался, поглаживал рукой ткущиеся платки, делал замечания, если кто-то, по его мнению, недостаточно хорошо работал. В таком случае он грозил пальцем, особенно если обнаруживал на ткани пятно, оставленное потной рукой.

— Аккуратно, — предостерегал он, — и не вздумайте есть за работой. Слышишь, Шмуэль-Лейбуш, обрати на это внимание.

— Слышу, реб Хаим Алтер, — откликнулся Шмуэль-Лейбуш, бросая злобные взгляды на ткачей. — Сколько раз я им говорил, что руки должны быть чистыми!

Честно говоря, никто никогда от него об этом не слышал. Но все сделали вид, что слышали. Все работали, станки стучали. Реб Хаим Алтер с удовлетворением впивал этот размеренный стук. Для него он был подобен звону монет. Он заглянул в складские помещения, посмотрел во все углы — всюду было множество шерсти, готовых платков. Его сердце ликовало.

<sup>1</sup> Литургическое песнопение (пийот), основанное на словах из книги пророка Ирмеяу.

Пусть люди говорят, что хотят, думал он, пусть рассказывают сказки о том, что у ручного тканья нет будущего, что паровые машины победят. Его это не волнует. Он останется при своих станках. Они приносят ему хороший доход, эти ручные ткацкие станки, хваление Творцу, — дай Бог, чтобы и дальше было не хуже. А лучшее — враг хорошего. Его женские платки расходятся по всей Польше, по всей России, иноверки расхватывают их, и, возможно, придется добавить еще рабочих часов — так много заказов, не сглазить бы, поступает. Его ткачи работают очень хорошо, лучше машин. Пусть себе немцы вместе с подражающими им евреями-еретиками ставят машины и строят трубы. Он останется при своих ручных станках. Еврею незачем разрушать миры. К чему вся эта суматоха и шум, к чему весь этот дым из труб, гудки заводских сирен? Все это лишнее, это пути иноверцев. Его ткачи и так приходят на работу вовремя, без свистка. Да и еврейство соблюдать тоже не помешает. Можно ведь быть и хорошим евреем, и богачом, сочетая изучение Торы с прибыльным делом...

Гордый собой и своими деяниями, реб Хаим Алтер прохаживался вдоль ряда станков. Приглядывался ко всему черными блестящими глазами, смотрел, как растут платки с каждой минутой, с каждым мгновением. За ним тенью следовал его слуга Шмуэль-Лейбуш. Наконец реб Хаим Алтер подошел к Тевье, известному под прозвищем Тевье-есть-в-мире-хозяин. Тевье единственный в мастерской остался стоять у своего станка и занимался работой, даже не глядя на хозяина фабрики.

На его лице пробивалась светлая, слегка подстриженная по бокам борода, на его тощей шее сидел бумажный воротничок, под которым непрерывно двигался острый кадык. Тевье был худой, подвижный, со светлыми глазами под густыми лохматыми бровями, в маленьком арбоканофесе, не шерстяном и без голубых полос, с очень тонкими и маленькими кистями. Он стоял у станка и быстро проводил красные нити по черному полю. Его руки с закатанными рукавами были так

искусны, что он походил на волшебника, на фокусника, вытаскивающего ленты из шляпы. При этом он напевал какую-то песенку — не фрагмент из молитвы на канторский манер, просто еврейскую песенку с рифмами. Почувствовав, что хозяин стоит рядом, он прервал пение и начал тихо бурчать себе под нос, так что слов стало не разобрать.

Это была странная песенка. Такой никогда не слышали в ткацкой мастерской. Не из пуримшипия и не немецкая любовная, а что-то чужое и в то же время очень свое, близкое и понятное. Тевье принес эти песенки в мастерскую несколько недель назад. Никто не знал, откуда они берутся, кто их сочинил. Просто Тевье вдруг стал петь их за работой. Например, песенку о богатом хозяине, который пьет пиво, курит сигары и, когда его рабочий плачет за станком, поучает его:

Перестань проливать свои слезы,  
Ты же ими товар запятнал.  
Как бы мастер там слез не увидел  
И с работы тебя не прогнал.

Реб Хаим Алтер уже слышал от своего слуги о вызывающей песенке, распеваемой в его мастерской. Он не мог расслышать слов, которые произносил сейчас Тевье, но понял, что это та самая песенка, где он, реб Хаим Алтер, упоминается со своими сигарами. Он приставил руку к уху.

— Что ты такое поешь, Тевье? — спросил он с вымученной улыбкой.

— Песенку, — сказал Тевье, не поворачивая головы.

— Субботнее песнопение? — притворился ничего не понимающим реб Хаим Алтер. — Ну так что же ты остановился? Дай мне послушать. Это что-то такое, что поют на исходе субботы?

Тевье не ответил. Он перестал петь себе под нос.

Реб Хаим Алтер взглянул на кисти на углах его арбок-анфеса, на маленькие, тонкие, почти некошерные кисти и, недовольный, вышел из мастерской.



— Эх, Тевье, — сказал он. — Эх, Тевье.

Взгляды всей мастерской сразу же устремились на Тевье. Слуга Шмуэль-Лейбуш смотрел на него с нескрываемой яростью. Реб Хаим Алтер пришел в собственную мастерскую в хорошем, субботнем расположении духа, а этот ткач в маленьком потрепанном арбоканофесе своей дурацкой песенкой испортил ему настроение. Но долго помнить обиду реб Хаим Алтер не мог. К тому же он встретил у себя дома того, кого хотел видеть, и его лицо просветлело.

— Доброй тебе недели! — радостно приветствовал он гостя, отчески крутя ему ухо. — Ах ты, сорванец этакий!

Это был Симха-Меер, сын реб Аврома-Герша. Он сидел с мальчишками реб Хаима Алтера и играл в записочки. Не по годам крепкие мальчишки реб Хаима Алтера были больше его, мускулистей, шире в плечах. Но учились они с ним в одном хедере, у реб Боруха-Вольфа. Они привязались к Симхе-Мееру. Туповатые и веселые, они позволяли этому малышу командовать ими, проигрывали ему в записочки все свои деньги. Реб Хаим Алтер был очень доволен тем, что маленький Симха-Меер дружит с его сыновьями. Парень славился острым умом, все знал и всюду совал свой длинный нос. Он ко всему прислушивался и разговаривал совсем как взрослый. И в отцовскую контору он часто захаживал. Любил вести счета, и чем хитрее и запутаннее они были, тем больше удовольствия он получал. Сколько раз реб Хаим Алтер вел сложные подсчеты и не мог в них разобраться, а Симха-Меер щелкал их как орехи. Разговаривая с собой, слюнявя карандаш, он писал цифры, вычитал, складывал, умножал — причем все это по-домашнему, по-простому, — и его результаты всегда были абсолютно точны. Сам реб Хаим Алтер остротой ума не отличался, но сердился на своих сыновей за то, что и у них такие же, как у отца, головы.

— Вы просто мужланы какие-то. А он голова, — говорил он им, указывая на маленького Симху-Меера. — Когда-нибудь он всю Лодзь обведет вокруг пальца...

В отцовском мозгу уже крутилась мысль о практическом закреплении этого знакомства, о возможности получить парня в женихи Диночке, его единственной дочери. Правда, он еще мальчишка, даже бар мицвы не достиг, и со свадьбой придется подождать несколько лет, пока ему не исполнится хотя бы шестнадцать. Но о сватовстве можно было и сейчас договориться. Надо поймать его вовремя, иначе найдутся другие охотники. И реб Хаим Алтер от всей души привечал маленького Симху-Меера в своем доме.

— Диночка, — позвал он, — дочь моя! Подай гостю чаю со штруделем.

Диночка не слишком охотно подала чай одетому в атласный субботний лапсердак и бархатную шапочку хасидскому мальчишке, сидевшему за столом и смотревшему на нее своими плутоватыми хасидскими глазами. Он не переставая крутил головой, как птица, которая ищет зернышки, и от его длинных, светлых, закрученных пейсов плясали смешные тени на стене.

Она никогда не испытывала к нему симпатии. Он был неприятен ей с тех пор, как повадился развязывать голубую ленточку в ее волосах и сыпать в них песок. К тому же она уже несколько лет училась в нееврейском пансионе, где ей забивали голову историями про королей, рыцарей и героев, где ее, дочь хасида, посвящали в церемонии и обычаи иноверцев. В этом же пансионе она научилась танцевать и играть на clavire, она участвовала в ученических представлениях, и ей всегда доставалась роль придворной дамы в кринолине. Темноволосая, голубоглазая, рослая и красивая, она была популярна среди своих нееврейских подруг. В неполные тринадцать лет она прочла уйму немецких и французских романов о графах, князьях и баронах, о дуэлях и романтической любви. И сама уже мечтала о рыцаре, который прискачет на вороном коне, похитит ее из родительского дома и увезет в одинокий замок, стоящий где-то на вершине горы.

Диночке было смешно смотреть на хасидского мальчишку, который ни минуты не может высидеть спокойно, кото-

рый всюду сует свой нос, разглядывает все бумаги, лежащие на столе, и все время что-то выискивает.

Но хотя ей не нравился Симха-Меер, он очень понравился ее отцу, щипавшему его за щечки. Не будучи человеком семи пядей во лбу, он испытывал глубокое почтение к илуям, а Симха-Меер слыл илуем.

Диночка быстро поставила перед мальчишкой чай и отстранилась. Она торопилась к своим книжкам, но отец удержал ее.

— Ты не узнаешь его, Диночка? — удивился он. — Это же сын реб Аврома-Герша, Симха-Меер. Он очень хорошо умеет писать.

Его веселые черные глаза блеснули, и он велел Симхе-Мееру отеческим тоном:

— Покажи, Симха-Меер, как здорово ты пишешь письмо по-немецки. Пусть она не думает, что в их нееврейских школах можно выучиться и стать человеком. Изучая Гемору, можно выучиться куда лучше, если голова подходит для Геморы...

Симха-Меер самым изящным почерком написал по-немецки торговый документ, аккуратно выписывая готические буквы. Он писал некоему герру Гольдману в Лейпциг, как его научил домашний учитель, бухгалтер Гольдлуст.

«Глубокоуважаемый герр Соломон Гольдман!» — писал он, стараясь делать это как можно лучше.

Диночка, едва сдерживаясь, выбежала из залы и, влетев в комнату матери, так громко расхохоталась, что у Привы затряслись все ее светлые локоны в парике.

Реб Хаим Алтер восхищался почерком мальчишки, он в восторге причмокивал своими мясистыми губами и решил про себя, не откладывая, послать сватом к отцу Симхи-Меера богача Шмуэля-Зайнвла Александерера, чтобы уже сейчас поговорить о женитьбе.

— Шмуэль-Лейбуш! — позвал он слугу, который все еще возился со счетами и совсем в них увяз. — Завтра, если будет на то воля Божья, отправляйся к Шмуэлю-Зайнвлу Алексан-

дереру и скажи ему, чтобы он зашел ко мне. Он мне очень нужен, слышишь!

— Сразу же с утра к нему и зайду, реб Хаим-Алтер, — ответил слуга.

— Прибавь хоть «если будет на то воля Божья», грубиян, — упрекнул его реб Хаим Алтер, — ибо что знает грешный человек о том, что будет завтра?

— Если будет на то воля Божья, — сказал Шмуэль-Лейбуш, смущенный замечанием хозяина.

## Глава девятая

**Р**ади бар мицвы Симхи-Меера и Янкева-Бунема, которая приходилась на Пейсах, реб Авром-Герш поехал к Александерскому ребу. И конечно, взял с собой обоих сыновей.

Воркинского ребу уже не было в живых, и реб Авром-Герш ездил к ребу, проживавшему в местечке Александер, неподалеку от Лодзи. Как всегда, его жена плакала и жаловалась, что он, злодей, оставляет ее на праздник одну, как будто она вдова, и, как всегда, реб Авром-Герш не слушал ее жалоб. Во-первых, он и сейчас вел себя, как при жизни Воркинского ребу. Все праздники проводил у ребу. Во-вторых, он хотел привести сыновей к ребу перед бар мицвой, чтобы он поговорил с ними о еврействе и пожелал им быть достойными евреями. Он очень хорошо помнил слова покойного ребу, да будет благословенна память о нем, что его сыновья будут богачами. Но что его сыновья будут набожными, богобоязненными евреями, ребу не сказал. Реб Авром-Герш постоянно об этом думал и видел в этом дурной знак. При всем своем богатстве и загруженности делами он знал, что деньги и торговля — пустые и глупые вещи по сравнению с Торой, по сравнению с Богом на небе, который вечен. Велика Тора и требовательна,

и Бог тоже требователен, мстителен и всевидящ. От Него не ускользнет ни один из тех, кто не соблюдает заповеди Его. Реб Авром-Герш боялся Бога, боялся ада и не раз молил Творца: если сыновьям суждено быть богачами, потерявшими страх перед Богом, пусть лучше станут нищими меламедами, но будут исполнять заповеди с тщанием. Пусть они лучше, не дай Бог, уйдут из этого мира, чем опозорят его на этом и на том свете. И пока мальчики не достигли возраста бар мицвы, он хотел поговорить об этом с Александерским ребе.

В-третьих, он хотел попросить у ребе совета относительно Симхи-Меера и его учебы.

По поводу Янкева-Бунема он не беспокоился. Особыми способностями к изучению Торы этот Янкев-Бунем не отличался. Меламеду с огромным трудом удавалось вбить в его голову обязательную страницу Геморы. Отец не ждал от него больших достижений. Он уже знал, что, даже если он будет держать Янкева-Бунема у меламедов до самой свадьбы, раввином ему не стать. Он будет всего лишь соблюдающим законы Торы евреем. Но реб Авром-Герш и не хотел от него многого, пусть хотя бы честно следует законам еврейства. Совсем другое дело — Симха-Меер. Он уже перерос реб Боруха-Вольфа Ленчицера. Пора было передать его в хорошие руки. Реб Авром-Герш страстно желал отправить его в ешиву<sup>1</sup>, чтобы Симха-Меер учился вместе с бедными парнями и даже, как они, ел у обывателей в установленные дни<sup>2</sup>. Пусть он отощает и через это станет настоящим евреем. Реб Авром-Герш знал, что мальчишке не следует сидеть дома. Его надо послать в чужие места, как самого его, Аврома-Герша, в свое время выслал из дома его отец. Подобно отцу, реб Авром-Герш тоже считал, что только жесткостью мальчишке прививаются богобоязненность и любовь к Торе.

<sup>1</sup> Высшее еврейское религиозное учебное заведение.

<sup>2</sup> Так называемые «эсн-тег» (*идиш*). Учащиеся ешив из бедных семей прикреплялись к домам жителей местечек, в которых располагалась ешива. В заранее оговоренные дни недели хозяева этих домов должны были их кормить.

Его жена уже принялась плакать и говорить, что она не допустит, чтобы ее Меерл, ее плоть и кровь, подвергался унижениям, сидя за чужими столами. Ее слова не волновали реб Аврома-Герша. Мало ли о чем плачет женщина! Но и хасиды из его молельни отговаривали его от этого шага, говорили, что мальчик должен быть рядом с отцом. Поэтому реб Авром-Герш хотел услышать, что скажет ему ребе. Как ребе скажет, так и будет.

В-четвертых, его занимал вопрос сватовства.

Реб Хаим Алтер послал к нему Шмуэля-Зайнвл, богача, лишившегося большей части своих богатств, сказать, что реб Хаим Алтер хочет сосватать свою дочь за старшего сына реб Аврома-Герша, Симху-Меера. Реб Авром-Герш не торопился с ответом. Он был не из торопыг. Он попросил передать реб Хаиму Алтеру, что он не говорит на это предложение ни да ни нет, что он еще подумает, потому что мальчишка даже не достиг возраста бар мицвы. Но Шмуэль-Зайнвл не оставлял его в покое, буквально преследовал его. Ученый еврей, бывший богач и при этом большой наглец, обращавшийся ко всем на «ты» и не испытывавший к богачам ни малейшего почтения, Шмуэль-Зайнвл не удивился тому, что реб Авром-Герш тянет с ответом, но и не перестал ходить к нему. Он был не из тех, от кого можно отделаться взмахом руки, этот Шмуэль-Зайнвл. Он знал весь мир, и мир знал его. Он знал, что у каждого жителя Лодзи варится в кастрюле, умел свести одну стену с другой, мог нахамить самому уважаемому и богатому еврею и любому сказать правду в глаза.

— Я хочу, Авром-Герш, чтобы ты породнился с Хаимом Алтером, — говорил Шмуэль-Зайнвл, скорее приказывая, чем убеждая. — Я не какой-нибудь Мойше, который у тебя в услужении. Я не буду за тобой бегать и уговаривать. Пиши тноим<sup>1</sup>, я не могу ждать...

<sup>1</sup> Буквально — «условия». В традиционном еврейском праве — документ, фиксирующий предварительную договоренность о заключении брака.

Реб Авром-Герш нигде не мог от него спрятаться, ни дома, ни в хасидской молельне, ни даже в своей конторе. Шмуэль-Зайнвл силой прорывался к конторке реб Аврома-Герша, сидевшего над бухгалтерскими книгами, и злобно отталкивал слуг, пытавшихся его не пустить.

— Видал, какие наглцы? Прямо иноверцы какие-то! — бушевал он у конторки реб Аврома-Герша. — Не подпускают к тебе никого, словно ты сам губернатор...

Реб Авром-Герш понял, что от этого Шмуэля-Зайнвля ему не отделаться. Да и предлагаемое им сватовство было неплохим вариантом. Реб Хаим Алтер — богатый еврей. Дочка у него единственная. Приданое он за ней даст хорошее. Плюс дорогие подарки и содержание<sup>1</sup>. Он ужас как хочет заполучить мальчишку в зятя и пойдет на новые уступки, если на него надавить. Правда, про жену реб Хаима Алтера поговаривают, что она не носит платок, а только парик, да и ведет она себя как барыня. Но дом все-таки ведется по-еврейски, там всегда полно хасидов. Поэтому реб Авром-Герш хотел услышать, что скажет по поводу этого предложения ребу. Без совета ребу он не делал никаких важных шагов в жизни.

Так что он приказал извозчику-немцу, возившему товары с фабрики на склад, запрячь фабричных лошадей в бричку и отвести его на Пейсах в Александер.

Реб Авром-Герш упаковал свои субботние одеяния, новые атласные лапсердачки и бархатные шапочки для мальчишек. Бархатные шапочки он специально заказал в честь бармицвы. Он завернул в три новых красных платка испеченную по особо строгим правилам мацу, подгорелую, жесткую, неровную. Для каждого из троих — отдельную упаковку, на все дни Пейсаха. Он вез в соломенных корзинах несколько бутылей хорошего вина — для четырех обязательных бокалов пасхального сейдера, который они проведут за столом ребу. До

<sup>1</sup> Согласно существовавшей практике (на идише она называлась «кест»), состоятельный тесть брал зятя на содержание в первые годы его семейной жизни. Число этих лет заранее оговаривалось в брачном контракте.

Александера он взял с собой столько бедных хасидов в бричку, что извозчик-немец чуть не лопнул от злости.

— Господи Иисусе! — причитал он по-немецки. — Эти евреи снова угробят мне лошадей. Капут лошадям!

Но хасидов все равно набилась полная бричка, и они тут же начали пробовать пасхальную водку реб Аврома-Герша и распевать песни. «Мало ли что там болтает эта скотина-иноверец!» — говорили они с пренебрежением.

На протяжении всего Пейсаха реб Авром-Герш ни на минуту не отпускал от себя мальчишек, главным образом Симху-Меера. Он усаживал их между хасидами, разбиравшимися в учении ребе и говорившими о чудесах из жизни былых и нынешних праведников. Он затаскивал мальчишек в хороводы, словно они уже были взрослыми. Клал на узкие плечи Симхи-Меера свою широкую руку и таскил его в круг, впихивая между евреями, чтобы он проникался еврейством. Заставлял сына плясать и петь вместе с ними, хасидами, пока не измучится, пока не вспотеет.

— Видишь, как евреи служат Всевышнему, — говорил он ему покровительственно. — Будь евреем, Симха.

При расставании ребе ущипнул Янкева-Бунема за щеку, а с илуем Симхой-Меером поговорил об учебе. Ребе пытался поймать его на каком-нибудь сложном алахическом вопросе, но Симха-Меер не попался в ловушку и сумел ответить на все. Ребе похвалил его в присутствии отца.

— У тебя хороший парень, Авром-Герш, — сказал он, поглаживая мальчишку по щеке. — У него светлая голова. Бери его всегда ко мне на праздник. И сватовство я одобряю. Очень хорошая партия, а вот в ешиву не надо его посылать. Отдай его в Лодзи к учителю Носке. Он не хуже ребе, этот Носке. Он ученый еврей и один из самых больших праведников.

Реб Авром-Герш дал ребе два раза по восемнадцать<sup>1</sup> рублей ради здоровья и благополучия двух своих сыновей.

<sup>1</sup> Обозначение числа 18 по-древнееврейски буквами «хет-йуд» буквально означает «живой»



Тридцать шесть серебряных рублей. Домой он поехал довольный, забрав с собой сыновей и всех бедных хасидов, крутившихся возле него. Уже в бричке он угостил хасидов лекехом и водкой, и евреи пожелали Симхе-Мееру счастья.

— Мазл тов, жених! Пусть твое сватовство будет удачным. Лехаим!

Они пожимали руки отцу Симхи-Меера и его брату Янкеву-Бунему.

— За здоровье брата жениха. С Божьей помощью, и тебя скоро ждет сватовство, парень.

Янкев-Бунем сидел грустный. Впервые радость окружающих убегала от него. Его большие, черные, всегда такие веселые глаза были полны печали первого страдания.

Он страдал весь этот Пейсах. Хасиды на него мало смотрели. Все только и говорили о Симхе-Меере. Беседовали с ним. А его ребе всего лишь ущипнул за щеку, как мальчишку из хедера. Разговаривал ребе только с Симхой-Меером и расхваливал его перед отцом. Янкеву-Бунему было больно это слышать. Он чувствовал себя маленьким, униженным и опозоренным. Здесь не было двора с детьми, где можно было победить силой и проворством. Здесь Симха-Меер был на коне, и он дал понять это своему брату. Симха-Меер смотрел на него сверху вниз, не хотел с ним разговаривать и все время толкался среди взрослых.

Он был унижен и подавлен, этот высокий, сильный Янкев-Бунем, которого затмил его брат Симха-Меер, едва достававший ему до плеча. Но особенно его задела поздравления хасидов в адрес Симхи-Меера.

Он и раньше слышал, как дома шушукались по поводу сватовства, но не верил, что это всерьез. Не хотел верить. Теперь он увидел, что это не шутки. Ребе велел дать согласие на сватовство. Очень хорошая партия, сказал ребе. И вот хасиды уже пьют водку и поздравляют Симху-Меера. А у Янкева-Бунема так щемит сердце, что ему хочется умереть.

— Что ты нос повесил, парень? — смеялись над ним хасиды. — Ты тоже скоро станешь женихом, с Божьей помощью. Пожми жениху руку и скажи ему «Мазл тов!».

Смущенный Янкев-Бунем протянул Симхе-Мееру руку и пробормотал «Мазл тов!», как ему велели. Братья обменялись короткими взглядами. Взгляд Симхи-Меера был полон гордости и радости победы, а взгляд Янкева-Бунема — отчаяния и ненависти. Они мгновенно поняли друг друга.

Нет, дело было не в подарках, не в золотых часах и не в новой книжке Мишны лембергской<sup>1</sup> печати, которые Симха-Меер должен был получить от будущего тестя после подписания тноим. Дело было в дочери реб Хаима Алтера, Диночке, становившейся Симхе-Мееру невестой. Янкев-Бунем чувствовал, что его сердце яростно стучит. Он до крови укусил нижнюю губу, чтобы было как можно больнее.

Еще в детстве, когда они вместе играли у себя во дворе, он относился к Диночке лучше, чем к остальным детям. Он больше, чем других, таскал ее на плечах и катал в тачке. Она обхватывала его шею пухлыми ручками, как замерзшая птичка, которая обхватывает тонкими пальчиками своих лапок теплый палец человека, когда ее заносят в дом. Он уже изучал Гемору, но украдкой еще играл с ней в лошадки и катал ее на спине. Он отдал Симхе-Мееру все свои сокровища: ножик, кошелек, даже деньги, лишь бы брат не рассказывал о его играх отцу. Часами он бегал на четвереньках, чтобы чувствовать ее вес на спине и ее пухлые ручки на шее. Каждый раз, когда его заставляла за этим служанка Лея-Сора, она говорила:

— Хорошая пара! Просто золото...

И ему становилось так сладко, что, если бы он не стеснялся, он расцеловал бы старую служанку в обе щеки.

Потом они не виделись с Диночкой. Он перешел учить Гемору к другому меламеру. А Диночка поступила в пансион — иноверческий пансион. У нее появились новые подруги, важные, нееврейские, и ей теперь не годилось ходить в гости к

<sup>1</sup> Лемберг — австрийское название города Львов.

дочерям реб Аврома-Герша, которых отец не хотел пускать ни в какие школы. Но Янкев-Бунем не переставал тосковать по Диночке. Он часами крутился возле ее дома только для того, чтобы, когда она пройдет мимо со своими книжками, в коричневом форменном платье пансиона и голубой пелерине, посмотреть на нее и снять перед ней шелковую шапочку, как перед барыней.

Здоровый, крепко сбитый, полнокровный Янкев-Бунем в свои тринадцать был уже созревшим парнем. В отличие от других мальчишек в хедере, он не удовлетворял первых чувственных порывов шушуканьем про дела, что бывают между мужем и женой, и сальными местами из Геморы. Он был прост и зрел. Его тянуло попробовать любовь. Его манили нежность и теплота, длинные девичьи руки. И он постоянно думал о Диночке. О девушке с кудрявыми, похожими на колечки темного золота волосами. Он думал о ее пухлых пальчиках, которые когда-то касались его шеи. Он видел ее, сидя над Геморой, во время молитвы и особенно лежа ночью в постели. Когда сват Шмуэль-Зайнвл пришел к ним в дом и отец отослал его, Янкева-Бунема, из комнаты, у него сразу застучало сердце. Служанка Лея-Сора весело ему подмигнула, но вскоре он узнал, что сватовство касается его брата-илюя Симхи-Меера. И вечная жизнерадостность Янкева-Бунема исчезла, как ножом отрезало. Он перестал смеяться, потерял аппетит. Его прежде такие веселые глаза были теперь постоянно печальны.

Никто в доме этого не заметил. Сам он не мог говорить об этом с родителями, а они на него почти не смотрели. Отец считал его негодным к учебе и следил только за тем, чтобы Янкев-Бунем тщательно соблюдал заповеди еврейства. У матери же на уме был один Симха-Меер, потому что он был слабее и ребенком много болел. Янкев-Бунем всегда был здоров, он никогда не простужался и не терял аппетита, поэтому мать за него особенно не беспокоилась. Она сразу же полюбила более слабенького, как только ей показали новорожденных братьев. Единственным человеком, заметившим его печаль,

была служанка Лея-Сора. Она всегда любила его больше, чем Симху-Меера.

— Не грусти, Янкев-Бунем, — сказала она и пододвинула к нему стакан молока.

— А кто грустит? Что вам от меня надо? — рассердился Янкев-Бунем на старую еврейку, почувствовавшую его боль, и хлопнул дверью.

Он стал злым, раздражительным, он завидовал Симхе-Мееру. Он возненавидел родителей: отца, который считал стоящим человеком одного Симху-Меера; мать, которая родила Симху-Меера минутой раньше; он возненавидел хасидов, которые восхищались илуем, а больше всех — себя самого, свое здоровое, крепкое тело, свою красивую голову, не способную к изучению Торы. Он бил себя кулаками по этой голове.

— Дубовая голова, — ругал он сам себя, — деревенский невежда!

Он ненавидел себя, но еще больше — своего брата, ненавидел сильно, яростно, вопреки собственной природе, склонявшей его к прощению причиненных братом обид.

Диночка тоже заплакала, когда отец вдруг обнял ее, будто маленькую, погладил по щеке, по кудрявой голове и прошептал:

— Знаешь, дочка, тебе причитаются поздравления. Тебя ждет помолвка со старшим сыном реб Аврома-Герша Ашке-нази. Ты не рада, Диночка?

Диночка в смущении вырвалась из отцовских объятий и влетела в комнату матери с таким плачем, что мать побледнела.

— Дитя мое, что случилось?

— Я не хочу, — плакала девушка.

Мать обняла дочь своими полными руками, на которых чуть не лопались тесные рукава шелковой блузки, и поцеловала ее голову поцелуями.

— Дурочка, дитя мое, жизнь моя, — бормотала она. — Мы же хотим тебе счастья. Люди будут тебе завидовать из-за такого жениха.

Восемь дней в доме реб Хаима Алтера царил настоящий ад. Диночка плакала и даже слышать не желала о том, чтобы стать невестой Симхи-Меера.

Она очень стыдилась того, что ей сватают какого-то хасида в длинном лапсердаке. Ей было стыдно перед подружками-нееврейками, в кругу которых она рассуждала о том, как выберет себе черноглазого рыцаря, благородного человека. При всей ее любви к дому и родителям Диночка терпеть не могла евреев в длинных лапсердаках, приходивших к ним в гости. Они вызывали у нее омерзение. Ей казалось, что она из другого теста. Диночка не выносила своих братьев, избалованных тупых парней, которые ссорились с ней, таскали ее за косы и презирали за то, что она девочка. Она жила в других мирах, упивалась немецкими и французскими романами, их героями и героинями. Ей было неприятно, что отец называет ее еврейским именем Дина. Сама она называла себя Дианой.

Когда Диночка стала плакать и говорить, что она не хочет быть невестой, отец посмотрел на нее своими большими черными маслянистыми глазами и сказал:

— Глупая девчонка, да разве ты понимаешь, кого тебе сватают? Илуя!

Он не знал мыслей своей дочери. Он знал, что девушка не должна учить Тору, не должна читать поминальную молитву по родителям, поэтому ей позволительно быть глупой, ее можно посылать в нееврейские школы, ей можно разрешать читать всякие книжки, танцевать и играть на фортепьяно, но все это — пока она ребенок. Ведь дети играют в разных там кукол. А как только она вырастет, как только станет девушкой на выданье, ее надо обручить, дать ей мужа, который силен в изучении Торы, дать хорошее приданое и подарки для жениха. После этого она должна стать женой, рожать детей своему мужу и внуков своим родителям. Так заведено у всех богатых евреев, слава Богу.

— Вот ты увидишь подарки, которые ты получишь... — пытался утешить ее реб Хаим Алтер.

Девушка упала на шею матери. Мать у нее была современная, читала книжки, носила, как барыня, красивые платья, но и мать смеялась над слезами Диночки.

— Я тоже так плакала, Диана, — сказала она дочери, называя ее нееврейским именем. — Я была образованной девушкой, говорила по-французски. Тем не менее я ни о чем не жалею. Чтоб ты была такой счастливой при своем муже, как я счастлива при твоём папочке.

— Но если я его не люблю... — горько плакала Диночка.

Мать так громко рассмеялась, что затряслись все кудряшки в ее светлом надушенном парике.

— После свадьбы ты его полюбишь, — успокоила она дочь.

Видя, что ее судьба уже решена, Диночка попыталась выпросить себе хоть что-нибудь.

— Мамочка, — сказала она, покраснев. — Ну, хорошо, я стану невестой, но не его невестой... Я его ненавижу...

Она опустила голову и выпалила:

— У него ведь есть брат... Поговори с папочкой...

И она со слезами бросилась целовать мать.

Мать вытерла ей слезы маленьким вышитым платочком и пошла на переговоры с мужем.

— У девочки на сердце другой мальчик, — сказала Прива. — Она плачет, Хаимче.

Реб Хаим Алтер заткнул уши, чтобы не слышать таких речей.

— О чем ты говоришь, Привеши? — сказал он вне себя от ярости. — Симха-Меер — илуй. Мне люди завидуют. А второй брат ничего собой не представляет, дубовая голова...

Когда Прива попыталась снова об этом заговорить, вмешался сват Шмуэль-Зайнвл:

— Не принято женить младшего сына раньше старшего, — сказал он, перефразируя слова, сказанные Лаваном-арамейцем праотцу нашему Яакову, когда тот хотел жениться на Рахели, а не на Лее.

— Да он моложе на пять минут, — попробовала пошутить Прива.

— Все равно, — сказал Шмуэль-Зайнвл. — Я не пойду к реб Авром-Гершу говорить на эту тему. Он меня из дома вышвырнет.

Прива больше об этом не заговаривала. Кроме того, к ним понаехали родные и двоюродные тети, кузины и дальние родственницы как со стороны отца, так и со стороны матери. Они, не переставая, восхваляли илуя, кидались целовать Диночку, беспрестанно желали счастья и сплетничали. Они заклинали, уговаривали девушку, пока Диночка — мягкая и сентиментальная — не устала от их уговоров и не сдалась. Она со слезами на глазах сшила бархатный мешочек для тфилин в подарок своему жениху. На мешочке она вышила золотыми нитками щит Давида, оба имени жениха и год по еврейскому календарю от сотворения мира. Отец накупил ей множество чудесных подарков. Мать приготовила к тноим красивые длинные платья.

Тноим отмечались с большой помпой в доме реб Хаима Алтера. На празднике были все лодзинские богачи, все почтенные евреи и уважаемые хасиды с обеих сторон. Реб Хаим Алтер даже послал своим ткачам через Шмуэля-Лейбуша лекеха и водки и отпустил их с работы после минхи. Сразу же после тноим будущий тесть открыл банковский вклад на пять тысяч рублей на имя Симхи-Меера. И обязался дать еще две тысячи перед самой свадьбой. Реб Авром-Герш не соглашался на меньшее, и реб Хаиму Алтеру пришлось уступить. Еще три тысячи рублей положил на этот счет реб Авром-Герш. Ему не надо было давать полные три тысячи, потому что по обычаю сторона жениха дает только треть того, что дает сторона невесты. Но реб Авром-Герш любил круглые цифры, и он положил на счет все три тысячи, чтобы стало целых десять тысяч.

Невеста подписала брачный договор на всех языках, которые знала, — на идише, по-польски, по-русски, по-немецки и даже по-французски, чтобы за каждую подпись получить подарок. Ее всю увешали бриллиантовыми кольцами, серьгами,

брошками и в придачу одарили тяжелым колье. Свадьба была отложена на несколько лет.

Сразу же после подписания тноим хасиды сбросили со столов цветы, которые заботливо расставила Прива, сгребли в кучу дорогую посуду и принялись пить водку и плясать на столе. Прива злилась, а реб Хаим Алтер еще больше заводил хасидов:

— Танцуйте, евреи, на столе и на скамейках...

Только Янкев-Бунем печально сидел в конце стола, словно скорбел по усопшему посреди всеобщего веселья. Он ничего не слышал и не обращал внимания на евреев, протягивавших к нему потные руки, кричавших «Лехаим!», желавших и ему вскоре стать женихом. Он не видел блюд, которые пододвигали к нему официанты в шелковых ермолках. Он не ответил на приветствия сыновей реб Хаима Алтера, которые веселились и плясали на тноим своей сестры. Тая от удовольствия, они шептали ему на ухо хасидские пошлости о женихе и невесте.

— Хорошо сказано, а? — спрашивали они Янкева-Бунема. Он их не слышал.

Он смотрел в другую сторону, в открытую соседнюю комнату, где в окружении женщин сидела невеста. Он хотел ее увидеть, заглянуть ей в глаза. Но она не поднимала глаз. Только однажды их взгляды, их печальные взгляды встретились, и оба сразу же опустили головы.

Хасиды взяли жениха плясать в свой хоровод.

## Глава десятая

**Н**а следующее же утро после тноим реб Авром-Герш отдал жениха учиться к реб Носке, как ему велел его ребе. И реб Хаим Алтер забрал своих сыновей от реб Боруха-Вольфа, хотя им и этого учителя хватало с избытком. Он тоже перевел их к реб Носке, чтобы они учились вместе с Симхой-Меером.



В Балуте, среди ткачей, портных, извозчиков, трюкачей и побирušек, жил в маленьком домике выдающийся знаток Торы реб Носке, к которому и были отданы в обучение сыновья этих богачей. Вообще-то он не был простым меламедом, но в равнины не годился, и ему приходилось зарабатывать на жизнь преподаванием. Это был человек, не приспособленный к жизни в Лодзи.

Посреди огромной ярмарки и вечной суматохи бурно растущего города, где евреи все время крутились, торговали, занимались маклерством и всякими махинациями, равнины очень хорошо зарабатывали. Евреи часто судились между собой. Евреи давали деньги под залог. Евреи заключали договоры о компаньонстве. При этом они предпочитали обращаться в раввинские суды, а не к русским судебским чиновникам, поэтому равнины зарабатывали много денег. Однако реб Носке не мог быть раввином в Лодзи. Лодзинские равнины должны были разбираться не столько в Торе, сколько в векселях, от них требовалось умение распутать все комбинации, понять все хитрости купцов, они должны были знать, как составляются торговые договоры и каковы оптовые и розничные цены на шерсть и хлопок. Реб Носке всего этого не знал и не хотел знать. Он знал только Тору.

Он был большим знатоком Торы. Миснагид, хотя и польский, он жил только Богом и Его Книгой. Он ни на волосок не желал отступить от ее законов. Для него не существовало компромиссов и обходных путей. В его черной костлявой голове не было места ни для чего, кроме Торы. Он держал в уме тысячи книг и комментариев, он помнил их наизусть, но каждый раз повторял заново, все больше погружаясь в их глубины. Он знал, что люди могут быть либо правы, либо виновны и среднего не дано. Нельзя быть немножко правым или немножко виновным. Потому что быть неправым немножко значит быть неправым полностью. Все претензии, уловки и вопли сторон, судившихся в раввинских судах, не достигали его ушей.

«Реувен виновен, а Шимон не виновен», — твердо выносил свой приговор реб Носке, не глядя по сторонам и игнорируя деньги, которые клали перед ним за проведение суда.

Проигравшие кричали, возмущались, взывали к справедливости, но реб Носке их не слышал.

Купцы сразу разглядели, что этот еврей с сухим коричневым лицом и гладкими черными пейсами — не лодзинский человек, что радости от него не жди, и перестали ходить к нему, избегали его, шли к другим раввинам, которые больше разбирались в векселях и банкнотах, чем в Торе. Да и женщины перестали приходить к нему со своими вопросами.

Реб Носке был очень строг. Он вечно трепетал перед Богом, вечно перед его большими пылающими черными глазами стояла картина ада. Он видел, как горят в адском огне те, кто сошел с пути, заповеданного Богом. Еще строже наказываются те, кто обязан был указать евреям путь Господень, но не сделал этого. Поэтому каждый раз, отвечая на обращенный к нему вопрос простых евреек, реб Носке трясся от страха: а не делает ли он, Боже упаси, разрешенным запрещенное? Правда, Тора говорит, что если молока, попавшего в горшок с мясом, в шестьдесят раз меньше, чем мяса, то это кошерно. Но разве можно положиться на женщин, которые сами определяли и говорили ему, сколько молока попало в их горшок? Реб Носке знал, что женщины легкомысленны и что им жалко денег. Поэтому он отказывался признать горшок кошерным. Он снова и снова переспрашивал женщин, предостерегал их, избегая смотреть им в лицо, и в итоге, боясь положиться на их свидетельства, объявлял горшок и мясо трефными.

— Вылить в такое место, чтобы даже собака не достала, — говорил он, дрожа. — Трефное.

Женщины уходили от него огорченными, но реб Носке огорчался еще больше, так как за введение евреев в ненужные расходы тоже можно попасть в ад. Он никак не мог разобраться с вопросами домохозяек. И женщины стали ходить к

другим даянам, которые были не так умны, как реб Носке, и признавали их горшки кошерными.

Лодзинские раввины делали деньги на договорах о продаже. С каждым днем все больше еврейских фабрикантов в Лодзи переходили с ручных станков на паровые машины и нанимали рабочих-иноверцев, которые соглашались на меньшее жалованье и готовы были работать по субботам. Богобоязненные фабриканты очень прилично платили раввинам за договоры о продаже фабрик иноверцам; эти договоры, написанные по-древнееврейски с ошибками, позволяли делать вид, что фабрика, работающая в субботу, не принадлежит еврею. Реб Носке не писал договоров о продаже. Он не уважал подобных трюков, обходивших законы Торы. Он не желал отступать от Закона ни на волос.

Его жена-раввинша, отец которой, богатый еврей, дал большое приданое, лишь бы заполучить ученого зятя, сплетничала о своем муже и смеялась над ним. Голова и хватка у нее были мужские. Сидя дома, она слышала про раввинские суды, понимала все расчеты, разбиралась в претензиях купцов друг к другу. Она сама предлагала бы компромиссы, которые удовлетворили бы обе стороны. Она знала в этом толк, но ничего не могла поделать. Ведь женщине полагается сидеть на кухне. Торговля и Тора принадлежат мужу. А муж ее знал только две вещи: Бога и Его Тору. Приданое они давным-давно проели. В доме царили нужда и нищета, нестерпимые для бывшей богачки. Владелец квартиры в старой части Лодзи не хотел ждать с оплатой жилья. Квартиры в городе были нарасхват. Цены на них росли с каждым днем. Реб Носке пришлось оставить большую квартиру в центре города и переселиться в маленький домишко в Балуте, в квартале ремесленников и бедняков.

Его жена, родившаяся в богатой семье, плакала и жаловалась. Она не могла смириться с мыслью, что ей придется жить в Балуте. Она не могла привыкнуть к нищете, к соседям. А реб Носке нашел здесь отдохновение. Никто на его бедной улице не мешал ему служить Богу и изучать Тору. Мужчины

работали. Женщины редко варили мясо и не задавали вопросов. Кур они тоже не резали. Лишь изредка жены бедняков заходили спросить про кровь в курином яйце. Время от времени какой-нибудь еврей спрашивал о законах траура в годовщину смерти близких. Если в кои-то веки мастер заходил подписать договор с мальчишкой-подмастерьем, которого он брал в обучение на три года, реб Носке получал гроши. Но он даже не смотрел на деньги.

— Положите на стол, пожалуйста, — говорил он, не поднимая глаз.

Потом он звал жену, чтобы она забрала монеты. Он очень боялся даже прикоснуться к деньгам.

Раввинша, печальная, больная, почти всегда ходила с мокрым платком на голове — от головной боли. Она с отвращением сгребала со стола несколько бедняцких гривенников и бросала их мужу под ноги.

— Бездельник, — ругала она его, — глупец. И на это мне кормить детей?

Он не отвечал. Он знал, что Тору можно учить только в бедности. Надо есть хлеб с солью, если хочешь держаться Торы, и спать на голой земле. Он знал, что мир, в котором они живут, всего лишь мгновение, преддверие иной жизни, великой и вечной. Так не все ли равно, как выглядит прихожая? У реб Носке не было претензий к жене, он знал, что, так как женщины не изучают Тору, они целиком погружены в этот мир и не видят главного. И он с любовью принимал ее ругань, насмешки и издевки. Он не отвечал ей ни слова. И это злило ее еще больше.

— Ответь хоть что-нибудь, глупец! — кричала он в истерике. — Я же тебя унижаю!

Он молчал. Он хотел, чтобы она его унижала. Пусть это будет искуплением его грехов в этом мире, в который и он был погружен с головы до ног, за что ему светило адское пламя... Когда жена устала ругать его, он ушел в свою заваленную книгами комнату. Он запер дверь на тонкую цепочку и углубился в чтение толстых, переплетенных в мешковину книг. Он писал ком-

ментарии к Торе на их потрепанных, рваных листах. Поля каждой страницы он исписывал маленькими плотными буквами. Комментарии его были полны намеков<sup>1</sup> и аббревиатур, для понимания которых требовался поистине недюжинный ум.

В доме царила нищета. Дети плакали из-за какого-нибудь платьишка, из-за пары башмаков. Лавочники обрывали двери, требуя оплатить долги. Они кричали, что больше не будут отпускать товары в кредит. Реб Носке ничего не видел и не слышал. Он сидел, запершись на цепочку в своей комнатке, наедине с Богом и Его великой Торой. Он никуда не выходил, кроме как помолиться в маленькую молельню, да окунуться в микве. С того, что он был раввином, дохода он не имел. Единственное, чего добилась от него жена, это чтобы он обучал сыновей из богатых семей Торе. Евреи, желавшие, чтобы их дети изучали Тору, охотно посылали их к реб Носке. Он слыл великим знатоком Торы, с которым не могут сравниться самые важные раввины. Вот и реб Авром-Герш отправил своего сына Симху-Меера к нему в Балут. Вместе с Симхой-Меером учились его будущие родственники, братья его невесты.

В первый день занятий Симха-Меер не хотел учиться у реб Носке и принялся дурачить его и водить за нос.

Он попытался запутать учителя своими толкованиями и перекричать его, как он обыкновенно поступал с предыдущими меламедами. Но реб Носке не желал его слушать. Хотя он и был польским евреем, он не уважал польской системы изучения Торы, так же как не уважал хасидизм и хасидских ребе. Он даром слов не тратил. Он вообще был молчалив. Потому что разговоры — это грех. Уста созданы лишь для того, чтобы служить Богу и изучать Его Книгу. И он ни в грош не ставил хасидизм. Пустое это все, уклонение от Торы. Так что едва Симха-Меер начал по обыкновению показывать свою ученость, кричать и выворачивать простой смысл наизнанку, реб Носке остановил его.

<sup>1</sup> То есть он комментировал Тору по методу «ремез» (буквально — «намеки» [др.-евр.]).

— Прямо, прямо, — прервал он Симху-Меера. — Тору надо понимать прямо, а не перекручивая.

Симха-Меер не унимался.

— Но ведь, с другой стороны, можно утверждать... — начал он было снова.

— Тора — это правда, — снова прервал его реб Носке, — а правдой нельзя вертеть туда и сюда. Правда одна.

Симхе-Мееру сразу же не понравился его новый меламед. Речи этого еврея казались ему глупыми, чуждыми, непостижимыми. Ни от кого в Лодзи он таких речей не слышал.

— Чокнутый, — тут же шепнул он будущим родственникам, сидевшим рядом с ним. Он был разозлен тем, что ему не дали показать свою ученость.

Он увидел, что реб Носке ему не переупрямить. Он не даст себя запутать. А вот не смотреть в Гемору у него можно. Наметанный взгляд Симхи-Меера быстро определил, что этот еврей — не настоящий меламед. У него нет повадок меламеда. Реб Носке не следил за тем, кто смотрит в Гемору, а кто нет. Он был так углублен в изучение Торы, что ничего вокруг себя не видел. Лишь изредка он прерывал разбор листа Геморы и произносил краткую нравоучительную проповедь. Однако делал он это не так, как польские евреи, — скорее, как литваки<sup>1</sup> в своих ешивах. Поняв характер учителя, Симха-Меер вытащил из кармана колоду и, подмигнув соседям, сдал карты. Другие ученики, сынки богачей, сытые, избалованные, были старше Симхи-Меера, но они сразу же почувствовали в нем своего. Они водили его с собой по потаенным уголкам Лодзи, где можно втихаря развлечься от души. Сыновья Хаима Алтера от них не отставали.

Лодзь гуляла. Город рос с каждым днем, с каждым часом. Здесь все время строили, возводили новые здания. Часто приезжали иностранцы. Всякие путешественники и торговые представители. Из Германии постоянно прибывали инженеры, мастера. Из Англии — химики, чертежники. Из

<sup>1</sup> Литовско-белорусские евреи. В данном случае имеются в виду митнагеды.

России ехали крупные купцы, кацапы в синих кафтанах, широких штанах и коротких лакированных сапогах. Их влекли сюда торговые возможности, а также возможность погулять. В городе оседало все больше еврейских вояжеров, комиссионеров, агентов, веселых парней, шутников и гуляк. Лодзинские молодые люди начали одеваться в нееврейское платье, сбривать бороды. То и дело открывались новые рестораны, кабаре, казино, и все они были полны гостей. Венгерские танцовщицы унюхали новый золотой город и приезжали сюда развлекаться. Странствующие труппы, цирки потянулись в Лодзь из Варшавы, Петербурга, Берлина и Будапешта. Русские чиновники, офицеры брали взятки, совершали служебные преступления, пьянствовали, гуляли и сорили деньгами. Лодзь пила, пела, танцевала, аплодировала в театрах, грешила в веселых домах и играла в карты. Богатые хасиды заразились этой вседозволенностью. Состоятельные евреи стали захаживать в кошерные рестораны, где официанты в шелковых ермолках подавали жирные гусиные ножки, а дородные официантки с улыбкой разносили пенистое пиво и сушеный горох. Хасидская молодежь, бездельники, зятьки, находившиеся на содержании отцов своих жен, украдкой, забыв о Торе, играли в хасидских молельнях в карты.

Дела в городе шли хорошо. Заказы росли, богатые русские купцы с их широкой душой платили, не торгуясь, давали заработать. На фабриках и в мастерских рабочие трудились без перерывов, выбиваясь из сил.

Сынки богачей, женихи в блестящих укороченных альпаговых камзолах, в мягких сапожках и с толстыми, жениховскими золотыми часами в жилетных карманах, тоже развлекались на славу. В еврейских притонах они играли в карты, ели в будние дни сухие лепешки с жареной гусятиной, пили шнапс и даже заводили близкое знакомство с подававшими на стол служанками.

Самым большим успехом у сынков богачей пользовался некий Шолем. Он был пекарем, выпекал сладкое печенье и

всегда ходил по улице с бородой, обсыпанной мукой, в бумажном колпаке и голубых подштанниках, поверх которых болтались кисти арбокканфеса. Но пекарней он занимался мало. Это делала его жена вместе с мальчишками-подмастерьями. У самого Шолема были дела получше. Он был мастером игры в карты и держал лодзинский картежный притон.

В его доме, расположенном над пекарней, всегда сидело за карточным столом множество хасидских парней. Играли они по-крупному и редко выигрывали. Выигрывал сам хозяин. Причем выигрывал всё. Но чем больше ему проигрывали, тем больше к нему шли, потому что он был хороший еврей, этот Шолем, веселый, любил пошутить. И всегда одалживал деньги сынкам богачей. При этом он учил их, как забраться в отцовский секретер. Он одалживал деньги под долгосрочные векселя, до времени, пока пареньки не станут взрослыми молодыми людьми, хозяевами, и не заплатят из полученного ими приданого долг с большими процентами. Он давал денег, сколько у него просили и когда просили.

В его просторном доме, где на стенах висело множество картинок — как Авраам приносит в жертву сына своего Ицхака, как дочь фараона вынимает маленького Моше из реки и как сыновья Яакова продают брата своего Йосефа измаилитянам в Египет, — всегда было много народу. В центре сидел пекарь Шолем в бумажном колпаке и синих подштанниках и проворно тасовал карты. Он швырял бумажные банкноты — рубли, трешки и пятерки, испачканные мукой после того, как они побывали в его руках. Его дочери, мясистые девицы, подавали к столу угощение — жареных гусей, куриные пупки, шкварки, сухие лепешки, мягкий штрудель и бутылки пива. Дым папирос, звон монет, хасидские напевы, карточные мудрости, двусмысленные шутки, крики, ссоры, примирения сливались в единый густой шум. У окна на стреме сидел мальчишка, чтобы предупредить, если покажется отец одного из игроков.

Две молодые служанки-иноверки всегда знали, как незаметно увести на время кого-нибудь из парней, если он поже-



лает развлечься с ними среди мешков с мукой в маленькой кладовой, где и днем темно, как ночью.

Ученики реб Носке частенько бывали тут в гостях. Они дольше просиживали у пекаря, чем у своего меламеда. Сыновья реб Хаима Алтера, тупые толстые парни с юношескими прыщами на круглых щеках, где уже появились первые волосы будущих бород, хорошо учились у картежника Шолема, как забираться в отцовский секретер. Уроки пекаря они осваивали быстрее, чем уроки реб Носке. Они приносили к пекарю много денег, лежавших у отца без счету, и оставляли их в его вечно испачканных мукой руках. И в темную кладовку они тоже часто заглядывали. Им не везло в картах. Они все проигрывали. А вот Симха-Меер выигрывал. Он сразу заметил шулерские уловки Шолема за карточной игрой и взял дело в свои руки, не давал пекарю себя перехитрить. Шолем зауважал мальчика и играл с ним честно, как со своим человеком. В скором времени Симха-Меер выиграл несколько сотен рублей и отдал их под процент будущим родственникам, чтобы они снова их ему проиграли.

А реб Носке сидел над книгами Геморы и даже не замечал, кто из его учеников сидит на уроке, а кто отсутствует. А ученики больше, чем над Геморой, сидели у пекаря Шолема. Только по четвергам, в последний день учебной недели, когда надо было выучить недельный урок на случай, если отец захочет в субботу устроить проверку, парни принимались за учебу всерьез. Симха-Меер хотел, как всегда, блеснуть, подтвердив свою славу илуя среди товарищей. И он кричал, чтобы перекричать реб Носке и сбить его с толку, но реб Носке прервал его.

— Скажи ты, Нисан, — сказал он своему сыну, — объясни им урок.

Нисан, мальчишка в возрасте бар мицвы, такой же смуглый, костлявый и черноглазый, как его отец, — ему не хватало разве что бороды, чтобы быть полной копией меламеда, — перелистал Гемору, а потом четко и громко пересказал урок для всех мальчишек.

Симха-Меер начал от злости пихать Нисана под столом ногами. Ничто его так не злило, как то, что кто-то мог опередить его.

## Глава одиннадцатая

**Т**ак же как реб Носке дурачили ученики, его обманывал и собственный сын, Нисан, мальчишка в возрасте бар мицвы, но реб Носке не знал об этом.

Нисан не любил отца. Больше того, он его ненавидел. Он не мог простить реб Носке, что тот держит их семью в нищете, что мать вечно ходит с красными глазами и мокрым платком на голове, что сестры плачут из-за платьев, из-за пары башмаков. Не прощал он отцу и своей унылой мальчишеской жизни, в которой не было ничего, кроме Торы, морали и тоски.

Как только Нисан стал что-то понимать — а понимать он начал рано, когда другие мальчишки еще играли в догонялки, — на него обрушилось тяжелое ярмо его дома. С детства он слышал горестные вздохи матери и ее колючие слова в адрес отца. Благородная, бледная, изнеженная дочь богача, она не могла привыкнуть к нищей жизни с мужем, который отказывался от любого заработка, лишь бы не отвлекаться от изучения Торы. Она не выносила кухни, горшков, бедных соседей с их простоватыми разговорами, она сгибалась под тяжестью горькой судьбы, которую так терпеливо несут на своих плечах простые женщины. Она корила собственного отца, погнавшего за хорошим зятем и на всю жизнь обездолившего дочь. Еще отчаянней она корила мужа, этого никчемного неудачника, избегающего денег и людей. Она постоянно высмеивала его, выставляла перед детьми в дурном свете. Особенно отталкивающим ее стараниями он стал в глазах его сына, Нисана.

— Вот он идет, твой папаша, — издевательски тыкала она пальцем в сторону мужа. — Вот он идет, жалкий неудачник. Ты только посмотри на него.

С малых лет Нисан выслушивал претензии бедных лавочников и рыночных торговцев, приходивших требовать платы за взятую провизию, их клятвы никогда больше в долг не отпускать. Каждый раз, когда надо было делать покупки на субботу, платить за жилье, одевать детей, дело доходило до плача и упреков. Но отец об этом не знал, не хотел знать. Он сидел в своей комнате, заперев дверь на цепочку, и изучал Тору или же писал мелкими буквами комментарии к ней.

Весь груз домашних забот лег на маленького Нисана, единственного мужчину в семье. С раннего детства он нес это бремя на своих узких плечах. Ему приходилось ходить к богатым, но недобрым дядьям и снова и снова просить у них денег. Он должен был запасать дрова на зиму, звать ремесленников, когда что-то ломалось, забивать гвозди, приколачивать доски, отодвигать шкафы от стены — делать всю мужскую работу, которой так много в бедных домах. Отец изучал с ним Тору, но эта учеба нагоняла тоску. К ним никто не приходил, кроме оборванных женщин с их религиозными вопросами. В их доме никогда не было веселья, никогда не слышался смех. Отец всегда говорил только о Торе, о глупости этого мира, о суетности человеческой жизни и желаний. Каждый его вздох вырывал у Нисана кусок сердца.

— Бойся Бога, — часто говорил отец посреди учебы. — Слышишь, Нисан?

Еще тоскливее, чем будни, были субботы и праздники. В эти дни реб Носке бесконечно читал молитвы, а потом бесконечно изучал священные книги. Он часами разбирал недельный раздел Торы, читал отрывки из каббалистической книги «Зоар», молился по старым толстым молитвенникам, где молитвы были длиннее, чем обычно. Наедине с Нисаном, накрывшись талесом, реб Носке расхаживал по молельне взад-вперед и бубнил молитвы и фрагменты из Священного

Писания на один и тот же заунывный мотив. От тоски, навеваемой пустотой молельни, у мальчишки сжималось сердце, но отец все продолжал бубнить. Он заканчивал утреннюю молитву только после полудня, когда другие евреи уже успевали окончить трапезу и предавались послеобеденному сну.

Мать и сестры, устав дожидаться возвращения своих мужчин, ели одни, без положенного благословения на вино. Когда отец и сын возвращались, еда была уже холодной, а за столом царило уныние. Поздняя трапеза вдвоем с отцом была безвкусной. Еда застревала в горле. Те же тоска и печаль слышались и в субботних песнопениях, которые отец не пел, а бормотал. Едва поев, он долго читал благословение после трапезы, потом брал книгу и ненадолго ложился, чтобы выполнить заповедь о субботнем отдыхе.

— Нисан, — говорил он, — возьми книгу и приляг. В субботу еврейю следует поспать.

И Нисан его ненавидел. Он ненавидел его за мать, за сестер, за тоску, за постоянный плач и горестные вздохи. За испорченные праздники, за всю свою нищую мальчишескую жизнь. Он ненавидел и его книги, которые всегда говорят о страдании, в которых сплошные поучения и тоска. Его Тору, трудную, запутанную, из дебрей которой никак не выбраться. Его молитвы, которых так много, что их невозможно перечитать. Все это еврейство, которое давит, вяжет по рукам и ногам заповедями и добрыми делами и не дает ни минуты покоя. А больше всего он ненавидел Бога, отцовского Бога, грозного, безжалостного, мстительного, требующего, чтобы человек служил Ему, молился, постился, мучился, боялся, учил Тору и о себе даже не помышлял, все отдавал Ему. Сколько ни жертвуй, Ему все мало. Он все время недоволен и в гневе карает, сжигает и мучит...

Нисан знал, что именно из-за Бога и Его вечных требований у них в доме так бедно и мрачно. Из-за Него больна мать. Из-за Него сестренки босы, а сам он ходит в залатанном лапсердачке и дырявых башмаках. Из-за Него в доме нет радости, нет свободной минуты, а есть заботы, скорбь и печальные вздо-

хи. И он ненавидел Бога, ненавидел даже больше, чем отца. От злости он переиначивал текст молитв, рвал бумагу в субботу<sup>1</sup>, смотрел на крест церкви<sup>2</sup>, ел молочное, не дожидаясь положенных шести часов после употребления мясного, нарушал посты и читал еретические книжки в доме тряпичника Файвеле.

Тряпичник Файвеле жил на самом краю города, у полей. На его большом дворе были вырыты ямы, в которых сидели девушки, сортировавшие и чесавшие железными гребнями тряпье, которое то и дело подвозилось к ямам огромными тюками. Это тряпье, очищенное и выстиранное, Файвеле продавал бедным фабрикам, изготовлявшим из него плохие нитки. В то время как руки Файвеле всегда возились с тряпками, голова его была занята свободомыслием и просвещением. Низенький, быстрый, в засаленной шапчонке на пыльных кудрявых волосах, с блестящими глазами и веселыми гримасами на пыльном лице, с клочками ваты и обрывками ниток в кучерявой бородачке, окруженный тряпками, работницами, извозчиками, торговцами, он тем не менее всегда находил время на просветительство и, узнав, что где-то появилась новая еретическая книжка, готов был мчаться не одну версту, чтобы заполучить ее.

В его большой квартире, полной дочерей, разбросанных бумаг, векселей, постельного белья, вдоль всех обшарпанных стен стояли шкафы с книгами, которые он без устали покупал, тратя на них уйму денег. Книги валялись на всех столах, буфетах, комодах и полках. И его жена, богобоязненная еврейка, и его перезрелые дочери кидали эти книги, швыряли их, жгли, терпеть не могли, так же как и самого Файвеле, способного за книги заложить родных мать с отцом и любившего их больше, чем свой дом, жену и детей.

Но чем больше они расшвыривали книг, тем больше покупал их Файвеле. Посреди самых удачных сделок он остав-

---

<sup>1</sup> Действие, запрещенное в субботу.

<sup>2</sup> Согласно строгим религиозным нормам, еврею не подобает смотреть на крест.

лял своих людей и мчался куда-то, распаленный, запыленный, с клочками ваты в бороде, стоило только какому-нибудь грузчику сообщить, что появилась такая-то новая редкость, такая-то просветительская книжка. Руками, черными от тряпок, он гладил страницы еретических книг, и глаза на его пыльном лице сияли. Кроме того, у него всегда было время побежать на другой конец города и поспорить там с каким-нибудь хасидским пареньком, переубедить его, вытащить из молельни, заразить вольнодумством и тягой к просвещению.

По вечерам, по субботам, в еврейские и нееврейские праздники, даже в будни у него сидели хасидские парни и украдкой читали недозволенные книги. Он шел от синагоги к синагоге, от молельни к молельне, находил этих парней и убеждал, разъяснял, сыпал цитатами из святых книг и просветительских книжек, которые соседствовали в его кудрявой голове, под засаленной шапчонкой. Он приводил парней домой, давал им деньги, еду и ночлег, снимал с себя последнюю рубаху, лишь бы настроить их против Бога, сделать еретиками.

Он не мог спокойно находиться у себя во дворе рядом с тряпками. Он поминутно забегал в дом, чтобы взглянуть на своих подопечных, которые сидели, углубившись в вольнодумное и просветительское чтение.

— Читаешь? Изучаешь? — переспрашивал он с наслаждением. — Хорошо, отлично...

В восторге он звал жену или дочерей, чтобы они подали парню стакан чаю с закуской. Ни жена, ни дочери не торопились выполнять распоряжения Файвеле. Тогда он сам шел на кухню, приносил чай и хлеба с гусиным салом и с радостью подавал своим парням. Он смотрел на них, как богобоязненные еврейки смотрят на пришедшего к ним поесть бедного ешиботника<sup>1</sup>, застав его за изучением Торы.

Не раз он сам усаживался с ними за стол и читал особо сложные книги, разъяснял им философские произведения, системы. Он делал это с сияющими глазами, с мелодией,

---

<sup>1</sup> Учащийся ешивы.

подходящей к изучению Геморы, задумчиво почесывая бороденку, вечно полную ваты, ниток и пыли. Он излагал парням еретические идеи с пылом синагогального проповедника. По субботам комнаты его дома заполняли молодые люди в шелковых лапсердаках, бархатных шапочках и ермолках. Они сидели за большим столом, ели чолнт<sup>1</sup>, пили один субботний чай, потому что ни жена, ни дочери Файвеле не желали готовить по субботам. Во главе стола сидел Файвеле в засаленном сюртуке, поглаживал бороденку, сверкал глазами, морщил лицо и учил, произносил речи, говорил о философии и математике, истории и астрономии, географии и библейской критике.

Он растолковывал сложные места из Библии, разъяснял Гемору, смеялся над религией, агитировал за просвещение, образование и труд.

— Только просвещение, образование и труд, дети, — снова и снова повторял он.

Если ему удавалось заполучить нового человека, он ликовал. Все завитки его бороды излучали радость. Задержав занавески, заперев двери перед собственной женой, которой он побаивался, Файвеле закуривал после субботнего чолнта сигару и раздавал папиросы присутствующим.

Не все сразу согласились курить по субботам. Некоторые еще колебались, но были и такие, кто закуривал с радостью и даже выпускал табачный дым из ноздрей прямо на субботние подсвечники. Каждая морщинка на волосатом лице Файвеле свидетельствовала, что, глядя на курящих, он счастлив. В них он был уверен, их он спас и теперь они принадлежали ему.

Среди прочих у тряпичника Файвеле сиживал и Нисан, сын меламеда реб Носке. Он глотал книжки одну за другой.

Опытным глазом просвещенца Файвеле разглядел в сыне балутского даяна беспокойство. Он увидел, что паренек что-то упорно ищет, рвется из отцовского дома. И Файвеле вовлек его в свой круг. Он не ошибся. Этот парнишка в возрасте бар мицвы набросился на его книжки, как голодная собака

<sup>1</sup> Традиционное субботнее блюдо.

на кость. Нисан глотал просветительскую литературу на святом языке, а Файвеле ему помогал. Он сразу смекнул, что у мальчишки хорошая голова, что он все понимает с полуслова. И относился к нему, как к сокровищу. Учил его, просвещал, разговаривал с ним часами, очаровывал его.

— Нисан, — говорил он, — ты просто молодец! Слышишь?

Отец Нисана, как обычно, не знал, что творится у него под носом. Погрузившись в свои мысли, удалившись от суетного мира, он не чувствовал отчуждения сына, не замечал, как тот на долгие часы исчезает из дома, дурачит отца и читает еретические книжки у него на глазах, притворяясь, что изучает Гемору.

— Нисан, — часто повторял отец, — бойся Бога! Слышишь?

— Слышу, — отвечал Нисан с издевкой, переворачивая страницу очередной еретической брошюры.

Ему доставляло огромное наслаждение водить отца за нос, обманывать и предавать его.

Он читал круглые сутки. Ночи напролет он бодрствовал на своей узкой лежанке и при свете огарков, принесенных из синагоги, зубрил разные книжки. Он читал и учился без системы, без порядка. Брал все, что только мог найти на полках и в шкафах у тряпичника Файвеле. Изучал немецкий язык по напечатанному шрифтом Раши<sup>1</sup> переводу Библии Мендельсона<sup>2</sup>. Корпел над книгой Маймонида<sup>3</sup> «Путеводитель растерянных»<sup>4</sup>. Глотал статьи из номеров «А-Шахара»<sup>5</sup>, зачи-

<sup>1</sup> Особый вид еврейского шрифта, обычно применяемый для набора комментариев.

<sup>2</sup> Мойше (Мозес) Мендельсон (1729–1786) — основоположник и идеолог еврейского просветительского движения Хаскала. Жил в Германии. Среди прочего издал свой перевод Танаха на немецкий язык.

<sup>3</sup> Рабби Моше бен Маймон (Рамбам; 1138–1204) — выдающийся средневековый еврейский философ, законоучитель и ученый. Жил в Испании и в Северной Африке.

<sup>4</sup> Философский трактат Маймонида, написанный на еврейско-арабском языке и получивший широкую известность в переводе на иврит под названием «Море невухим».

<sup>5</sup> Буквально — «Рассвет». Ежемесячный просветительский журнал на иврите, издававшийся в Вене в 1868–1885 гг.



танных до дыр и рассыпавшихся в руках. Упивался стихами и рассказами Смоленскина<sup>1</sup>, Мапу<sup>2</sup>, Адама а-Коэна<sup>3</sup>, Гордона<sup>4</sup> и других просветителей того времени. Помимо статей Крохмала<sup>5</sup>, историй из «Кузари»<sup>6</sup>, фантастических путешествий, написанных по-древнееврейски книг по астрономии и высшей математике, он, не выучив еще толком немецкого языка, взялся за философов, за Мендельсона и Маймона<sup>7</sup>, за Спинозу, Канта и Шопенгауэра.

В его голове царил хаос, как в книжных шкафах Файвеле, где время от времени хозяйничали его жена и дочери.

При этом он умудрялся выучить еженедельный урок отца по Геморе и даже пересказать его ученикам, мысли которых витали над карточным столом у пекаря Шолема. Между ними, учениками реб Носке и его сыном Нисаном, сразу возникла взаимная неприязнь. Они отнюдь не восхищались его светлой головой, тем, что он всегда знает урок, ничего не путает и все растолковывает так, что становится ясно и просто. Особенно не прощал ему этого Симха-Меер — Нисан отобрал у него привычную славу лучшего ученика, илуя. Нисан же, в свою очередь, не мог простить сынкам богачей их роскошные лапсердачки, их новые шелковые шапки и галстучки, их ла-

<sup>1</sup> Перец Смоленскин (1842–1885) — еврейский писатель и публицист. Редактор журнала «А-Шахар». Активный деятель движения Хаскала, а впоследствии — протосионистского движения «Хиббат-Цион».

<sup>2</sup> Авраам Мапу (1808–1867) — еврейский прозаик. Автор первых написанных на иврите романов.

<sup>3</sup> Псевдоним еврейского поэта, лингвиста и комментатора Библии Авраама-Дов-Бера Лебенсона (1794–1878), одного из основоположников движения Хаскала в Российской империи.

<sup>4</sup> Йеуда-Лейб (Лев Осипович) Гордон (1830–1892) — выдающийся еврейский поэт. Писал преимущественно на иврите, а также на идише. Как публицист И.-Л. Гордон последовательно отстаивал позиции Хаскалы.

<sup>5</sup> Нахман Крохмал (1785–1840) — еврейский историк и мыслитель. Один из основоположников движения Хаскала в Галиции.

<sup>6</sup> «Сефер а-кузари» («Книга хазара») — философский трактат в защиту иудейской религии, написанный в середине XII в. выдающимся еврейским поэтом и философом рабби Йеудой Галеви.

<sup>7</sup> Шломо (Саломон) Маймон (1754–1800) — еврейский философ, один из лидеров движения Хаскала.

ковые сапожки, золотые часы, которые уже носили эти юные женишки, все время играя их блестящими цепочками.

Среди них он был единственным, кто ходил в потрепанном, залатанном во многих местах лапсердачке из дешевой ткани, который давно уже был ему мал, дырявых башмаках и рассыпавшейся шелковой шапочке. На фоне богатства других мальчишек его бедность сильнее бросалась в глаза. Но больше бедности Нисана мучило то, что ученики отца глумятся над своим учителем, обманывают его, выставляют его дураком. При всей ненависти к отцу Нисан не мог смотреть, как над ним издеваются чужие. Реб Носке ничего не замечал, а у Нисана щемило сердце.

Проучившись некоторое время вместе с Нисаном, сынки богачей попытались было принять сына меламеда в свою компанию. Они боялись, как бы он не рассказал отцу про их игру в карты во время учебы, про их визиты к пекарю Шолему. Поэтому однажды они взяли его с собой. Но Нисан не видел никакого смысла в картах и сразу же ушел от Шолема. Вместо того чтобы перейти на их сторону, он пытался перетянуть их на свою.

Так же как отец верил святым книгам, постоянно читал их, думал о них, писал к ним комментарии своим убористым почерком, ни на волос не отступал от их указаний, Нисан не отрывался от еретических книжек, штудировал их днем и ночью. Все, что в них писалось, было для него свято, все казалось незыблемым. И так же как отец не ограничивался собственной набожностью, но стремился сделать свет Торы, Божье слово достоянием каждого, так и Нисан, ученик тряпичника Файвеле, хотел распространить свою новую Тору повсюду, привести всех к Файвеле и его книжным шкафам.

Потихоньку, в глубокой тайне Нисан принялся агитировать отцовских учеников, сеять семена сомнения, вольнодумия, ереси. Файвеле сиял от счастья, когда Нисан рассказывал ему об этих мальчишках, которым тряпичник посылал через Нисана свои книжки.

Сынки богачей заглядывали в них и быстро возвращали. Книги были сложными, над ними надо было думать, а они не

имели такого желания. Их мысли пребывали в доме пекаря Шолема. Только Симха-Меер просмотрел одну книжку и обсудил ее, но не с Нисаном, а с его отцом, реб Носке.

— Ребе, — вдруг спросил он меламеда посреди очередной нравоучительной истории, которую тот рассказывал. — Тора была дана на горе Синайской Владыкой мира?

Реб Носке побледнел.

— Что за вопрос, Симха-Меер? — с испугом спросил он.

— Я спрашиваю, потому что Нисан говорит, что Моисей сам ее написал, по собственному разумению, — ответил Симха-Меер, прикидываясь простаком.

Реб Носке остолбенел. Все за столом замолчали. Лишь после долгого молчания к учителю вновь вернулся дар речи.

Нисан не проронил ни слова. Он не стал отрицать слов Симхи-Меера.

Реб Носке держался за стул, чтобы не упасть, ноги у него подкашивались.

— Иеровам бен Нават<sup>1</sup>, — сказал он, — ты не должен находиться с евреями в одном доме.

Нисан встал, вышел из комнаты и больше не возвращался.

Он пошел к одному ткачу и устроился к нему в подмастерья за еду и ночлег. Мастер не хотел его брать, потому что с мальчишкой-учеником должен приходиться его отец, заключать контракт и приплачивать за учебу. Но Нисан сказал, что научит дочерей мастера еврейской грамоте, чтобы они смогли расписаться на брачном договоре. Кроме того, Нисан пообещал научить сыновей мастера считать и правильно писать адрес на языке иноверцев, и мастер принял его к себе на три года.

К станку он его, в отличие от других учеников, не подпускал. Он поручил ему только скручивать хлопок. Жена мастера велела ему взять маленькую трехногую скамеечку и укачи-

<sup>1</sup> Иеровам бен Нават — вождь восстания северных колен Израильского царства против власти дома Давидова в X в. до н. э., приведшего к распаду единого Израильского царства на Северное царство (Израиль) и Южное царство (Иудея). Царь Израиля в 928–907 гг. до н. э. В еврейской традиции считается узурпатором и идолопоклонником.

вать ее младенца, который вылезал из колыбели из-за жары и сырости.

В просторной комнате с низким потолком тесно стояли ткацкие станки, кровати и лежанки. Несколько подмастерьев в одних штанах и ермолках сидели за станками и быстро ткали, распевая отрывки молитв с канторскими руладами. Мастер, еврей в покрытой перьями ермолке и засаленном камзоле, из локтей которого клоками торчала ватная подкладка и который он носил и зимой и летом, шарил по комнате взглядом своих покрасневших внимательных глаз — следил за порядком: не портачат ли, не воруют ли. Он неустанно подгонял подмастерьев, стоило только кому-нибудь ненадолго остановиться, чтобы вытереть пот со лба или скрутить папиросу.

— Не бездельничай! — кричал мастер. — Каждая минута безделья равна воровству.

На кухне сидела хозяйка, еврейка в черном растрепанном парике, в прорехи которого виднелись ее собственные рыжие волосы. Стайка черноволосых и рыжих девиц — одна старше другой — расположилась вокруг нее на низеньких скамеечках. Все проворно чистили картошку крохотными ножами. Чад от раскаленного постного масла и острый запах жареного лука смешивались с густым паром, поднимавшимся из больших железных кастрюль, и распространялись по всему дому. Так готовилась еда для подмастерьев.

— Старуха, что сегодня готовите? — крикнул подмастерье из вороха ниток, которые делали его похожим на паука в его паучьих владениях. — Снова картошку с шелухой?

— Занимайся работой, черный котяра, — ответила ему из пара хозяйка, — освободи свою голову от забот о горшках...

«Черный котяра» начал быстро продергивать нити и цитировать библейский Мегилас Эстер.

— Проклята Зереш, жена Амана, — запел он по-древнееврейски на веселый пуримский мотив<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Чтение Мегилат Эстер («Свитка Эсфири», *ашкеназск.* Мегилас Эстер) — обязательный атрибут праздника Пурим.

Другие подмастерья тут же смекнули, кто имеется в виду, хохотнули и принялись стучать ногами в тех местах, где упоминалось имя Зереш<sup>1</sup>.

Хозяйка быстро скребла ножиком картофелины и почищенными сердито кидала их в большую черную кастрюлю, разбрызгивая воду вокруг.

— Болячку вам, а не разносолы! — крикнула она парням. — Картошку с постным маслом будете у меня жрать каждый день. Вы у меня узнаете, на что способна Зереш...

От злости он порезала себе палец и совсем сбесилась. Со съехавшим набок черным париком на рыжей голове она устремилась к теснившимся вдоль стен лежанкам, на которых спали подмастерья, и сбросила с них грязные подушки без наволочек.

— Отец наш небесный, чтоб я так дожила до свадеб своих дочерей, как я не дам этим парням подушек под голову! — заорала она. — Небось не хворые! Можете и на голой земле поспать, нечего давить мои перины!

У дверей, качая ногой малыша, которого хозяйка родила на старости лет, сидел Нисан, сын реб Носке, и скручивал хлопок в нити. Подмастерья смеялись над ним, придумывали ему разные прозвища, посылали в лавку за куском селедки и горбушкой хлеба. Хозяйка бросала на него младенца в колыбели, но Нисан не отступался от задуманного. Изо дня в день он сидел тут часами, присматриваясь к работе. Он ел глазами станки, запоминал каждую штангу, каждый шнур, чтобы разобраться в ткацком ремесле. В то же время он продолжал думать о своих книжках.

Мать пришла к нему и стала заламывать руки, увидев его в углу за работой.

— Нисан, — плакала она, — как же я дожила, что вижу тебя ремесленником... Пошли, пошли домой!

Он не пошел с ней. Он работал в ткацкой мастерской, занимался с детьми мастера, а когда выдавалось свободное вре-

<sup>1</sup> По традиции во время чтения Мегилат Эстер в синагоге принято стучать и шуметь при упоминании имени Амана.

мя, бежал к Файвеле и читал все новые и новые книги, купленные тряпичником. По ночам, лежа на грязном мешке, набитом соломой, и укрываясь кусками ткани, сотканными в мастерской, он при слабом свете огарка читал, учился и готовил себя к серьезным делам.

В Балуте о нем говорили во всех молельнях, во всех синагогах, предостерегали мальчишек, — не дай Бог, они закончат, как он.

— Так кончают те, кто не идет по Божьим путям... Ни того света, ни этого света...

Нисан Дурная Культура<sup>1</sup> — такой ярлык прилепили ему в ткацкой мастерской, поскольку прозвище полагалось иметь каждому ремесленнику.

А у Носке-меламеда сидели сынки богачей и во время занятий играли под столом в карты. Реб Носке теперь печалился чаще, чем прежде. Он уже видел адское пламя, ожидающее его за грехи его ушедшего от Бога сына.

— Мальчики, будьте евреями! — твердил он ученикам, как раньше, бывало, твердил своему сыну Нисану. — Бойтесь Всевышнего! Слышите?

— Слышим, — ответил Симха-Меер и проворно сдал карты. Он снова слыл илуем среди товарищей.

## Глава двенадцатая

**П**осле того как несколько лет подряд на праздник Пейсах и на праздник Суккос жених приглашался в дом невесты, получавшей при этом подарки от родственников жениха, после такого же числа визитов невесты в дом жениха, получавшего в свою очередь подарки от родственников невесты, была

<sup>1</sup> Тарбут раа (*ивр.*). Этим термином в традиционном еврейском обществе обозначали евреев, отошедших от религиозного образа жизни.

с большим размахом сыграна свадьба восемнадцатилетних Симхи-Меера Ашкенази и Диночки Алтер.

Подвенечное платье для Диночки сшила сама мадемуазель Антуанет, полунемка-полуфранцуженка, которая одевала дочерей Хунце. Маслянистые черные глаза реб Хаима Алтера расширились, когда его жена Прива сказала ему, сколько просит мадемуазель Антуанет за этот наряд.

— Что с тобой, Привеши? — сказал он испуганно, нервно тряся мясистыми руками и угольно-черной бородой. — Где это слыхано, чтобы какой-то портнихе отдавали за работу целое состояние?!

— Мадемуазель Антуанет не какая-то портниха! — сердито ответила Прива. — Это лучшая портниха Лодзи. Должно еще очень повезти, чтобы она согласилась принять заказ.

Реб Хаим Алтер так растерялся, услышав об огромной сумме, которую требует портниха, и о везении, которое надо иметь, чтобы к этой портнихе попасть, что забыл о своем постоянном страхе перед Привеши и принялся ей возражать.

— Эта иноверка должна быть благодарна, если я дам хотя бы третью часть таких денег, — сказал он. — Ничего, в Лодзи найдутся и другие портнихи. За этим дело не станет...

Из голубых глаз Привы на ее румяные щеки тут же полились слезы.

— Мамочка, — стала она взывать к своей давно умершей матери, — я этого не перенесу...

За несколько лет, прошедших после помолвки, она сжилась с мыслью, что подвенечное платье ее дочери Диночке будет шить мадемуазель Антуанет. Но не только отменный пошив был важен Приве. Она прекрасно знала по собственному опыту, что вся эта роскошь, которую невесты готовят к свадьбе, — десятки бархатных, шелковых и атласных платьев, отделанных кружевами, — редко видит свет Божий. Все это плесневеет в шкафах, выходит из моды. Приве были важны амбиции: пусть Лодзь знает, что наряд для ее дочери Диночки сшила именно мадемуазель Антуанет, эта заносчивая

аристократка, глядящая свысока даже на богатых дам и принимающая заказы от дочерей самого Хунце. Пусть Лодзь знает и лопнет от зависти!

Ей пришлось потрудиться: искать протекцию, пускать в ход дипломатию, чтобы добраться до мадемуазель Антуанет, — по секрету, потихоньку, чтобы никто, не дай Бог, не узнал. Впрочем, она уже рассказала о своем успехе доброй половине городских дам. Так что теперь, когда ее Хаим Алтер принялся торговаться и отмахиваться от мадемуазель Антуанет, Прива почувствовала себя глубоко несчастной.

— Мамочка, — зывала, рыдая, Прива к своей пребывающей на том свете матери, — я такого позора не перенесу. Лучше бы я не дожидая до свадьбы моей единственной дочери...

Реб Хаим Алтер был так тронут слезами и словами жены, что сам едва не расплакался.

— Прикуси себе язык, — сказал он мягко. — Что ты такое говоришь перед свадьбой нашей дочери? Пусть твои слова упадут в глухие леса, на пустые поля...

На этот раз, вопреки обыкновению, она не обиделась. Вне себя от счастья, что муж уступает, она бросилась к нему на шею и осыпала поцелуями его бородатые щеки на глазах у слуги Шмуэля-Лейбуша.

— Привеши, — засмутился реб Хаим Алтер, — при слуге...

— Да я ладно... — растерянно сказал слуга, не зная, куда себя девать.

С той же расточительностью и претензией невесте закупили горы шелка, атласа, меха, кружев, шляпок, серебряных украшений и безделушек, предметов мебели непонятного назначения. Реб Хаим Алтер снял самый большой свадебный зал, созвал лучших клезмеров<sup>1</sup>, бадхенов<sup>2</sup>, нанял официантов. Приглашения на свадьбу рассылались сотнями. Реб Хаим Алтер хотел, чтобы Лодзь о нем говорила, чтобы свадьба его доче-

<sup>1</sup> Исполнители традиционной еврейской музыки.

<sup>2</sup> Профессиональные свадебные шуты, развлекавшие гостей и выступавшие с куплетами собственного сочинения.



ри прогремела по всей Польше. И пригласил весь цвет Лодзи — состоятельных евреев, городских богачей и аристократов. Да и со стороны жениха список гостей был немаленький. В большом зале с зеркалами в золоченых рамах, с обитыми плюшем золочеными стульями и ветвистыми жирандолями на сотни свеч толпилось и шумело пестрое лодзинское общество: богачи с окладистыми бородами, евреи в шелковых лапсердаках и роскошных лакированных сапогах; бритые фабриканты с жирными загривками, в черных блестящих цилиндрах и белых перчатках; раввины в штраймлах<sup>1</sup> и атласных лапсердаках; комиссионеры из Литвы в твердых шляпах и коротких сюртуках; богобоязненные хасиды в больших бархатных шапках и рубахах навывпуск, из-под которых виднелись кисти арбоканфесов; русоволосые немцы во фраках, промышленники и какой-то залетный русский офицер с завитыми бакенбардами, в парадном мундире с медалями во всю грудь. Точно такое же разностилие царило и среди женщин. Шумно дыша, носились толстые матери молодоженов в щедро политых духами париках и пестрых шелковых платьях со шлейфами и буфами, увешанные тяжелыми золотыми цепями, бриллиантовыми кольцами и серьгами. Тут же сидели старушки в атласных чепчиках и допотопных платьях, сохраненных со времен их собственных свадеб, прохаживались обаятельные черноволосые молодки в белых платьях с глубоким декольте по последней моде и высоченные немки с длинными русыми косами и щедро нарумяненными бледными щеками. Идиш, польский, немецкий, русский смешивались и сливались в единое женское воркование. Женщины пожирали друг друга глазами, сверкали бриллиантами, искрились золотом, шуршали шелком, обмахивались веерами, обменивались комплиментами, сплетничали, мстили, дразнили соперниц.

Кареты с белыми лошадьми мчались по худо замощенным узким улицам Лодзи, изобилующим выбоинами и ямами, и привозили одетых в белое дочерей богатых горожан к

---

<sup>1</sup> Традиционные праздничные меховые шапки.

юной невесте, восседавшей на троне в окружении девушек и роз. Сестры жениха сплели из них венок для красивых волос невесты, которым завтра предстояло быть состриженными<sup>1</sup>. Братья невесты, оба в новых лапсердачках и бархатных шапочках, сели тайком от отца рядом с кучером в цилиндре и ездили вместе с ним от дома к дому за гостями. Хотя они сами уже ходили в женихах, но как упустить такую возможность и не покататься на карете рядом с кучером! Даже страх перед отцом не мог удержать их от получения столь редкого наслаждения. Полицейские с кривыми шашками разгоняли и распихивали бедных девушек, женщин и мальчишек, которые сотнями толпились перед свадебным залом и рвались к двери, чтобы послушать музыку и подивиться расфуфыренным гостям.

Как на большинстве еврейских свадеб, дело в последний момент дошло до пререканий. Реб Хаим Алтер не хотел вкладывать две тысячи рублей в приданое накануне торжества, как было в свое время оговорено при помолвке. Он вошел в такие неслыханные расходы, что ему было не с руки добавлять две тысячи к положенным ранее в банк пяти.

— Сват, — уговаривал он реб Аврома-Герша, — даю вам честное слово, я вложу деньги сразу же после свадьбы.

— У приданого нет честного слова, — отвечал реб Авром-Герш. — Если две тысячи не будут сейчас положены на стол, я забираю жениха и ухожу с ним домой без всякой свадьбы.

Реб Хаим Алтер взял Симху-Меера под руку и попросил его переубедить отца.

— Симхеле, — лебезил он, — ты же золотой человек. Ты мне сделаешь большое одолжение. Чтобы у меня было столько радости от тебя, с каким удовольствием я позже вложу эти деньги.

Симха-Меер пообещал переговорить с отцом, но не сказал ему ни слова.

<sup>1</sup> Согласно традиции замужние еврейки коротко стригли волосы и носили парик.

В свои восемнадцать лет он уже достаточно знал Лодзь и понимал, что клятвы, честные слова и обещания в этом городе не стоят ломаного гроша и что невыплаченного до свадьбы он потом в глаза не увидит.

— Я изо всех сил старался переубедить отца, — не моргнув глазом и не покраснев, соврал он будущему тестю, — но он упрямо стоит на своем. Что я могу поделать? Есть ведь заповедь почитать отца...

Слуге Шмуэлю-Лейбушу пришлось побегать, прежде чем он собрал и принес пресловутые две тысячи измятыми купюрами разного достоинства.

Когда с этим было покончено, вспыхнули новые скандалы — не из-за денег, а из-за Бога. Реб Авром-Герш Ашкенази с самого начала косо смотрел на немцев и евреев с бритыми бородами, которых пригласил его сват. Со своей стороны, на свадьбу сына реб Авром-Герш привез Александерского ребе, и ему было стыдно перед ним за таких гостей.

Вместе с ребе в зал ворвалась сотня хасидов — незваных, бедных, в прохудившихся сапогах, в потрепанных атласных лапсердаках. С шумом, с криком они бросились к столам, и не успели почтенные, манерные фабриканты и банкиры во фраках оглянуться, как хасиды зажали их со всех сторон и принялись до хрипоты распевать свои песнопения.

Реб Хаим Алтер рвал на себе волосы.

— Сват, — плакал он, — вы меня без ножа режете. Вы прогоняете моих гостей, лучших обывателей Лодзи, сливки общества!

— Мне эти бритые не нужны, — сердито ответил реб Авром-Герш. — Пусть убираются ко всем чертям!

Потом реб Авром-Герш взялся за женский зал. Ему сказали, что там кавалеры танцуют с девушками. Реб Авром-Герш снял штраймл и остался в одной ермолке. Он пошел в женский зал и принялся разгонять танцующих.

— Вон, нахалки и иноверцы! — орал он. — Тут вам не немецкая свадьба!

Матери молодоженов едва не упали в обморок, невеста стала задыхаться с перепугу, женщины верещали, девушки смеялись. Прива попробовала было загородить гостей своими увешанными бриллиантами руками, но реб Авром-Герш не унимался. Большой, обозленный, с растрепанной бородой, с мечущими огонь глазами, он гнал всех своим штраймлом.

— Почтение к Алексадерскому ребу! — гремел он. — Уважение к общине сынов Израиля!

Разъяренные евреи гасили лампы, выливали ведра воды на вощенные полы, чтобы на них нельзя было танцевать. Старые еврейки в чепчиках хлопали в ладоши:

— Очень хорошо! Так и надо!

Забавляясь, хасиды скользили по мокрому полу. Они превратили в руины разукрашенный праздничный зал.

Во время брачной церемонии Симха-Меер встал на цыпочки, чтобы казаться выше невесты. Хотя он и заказал у сапожника башмаки на толстой подошве и с высокими каблуками, он все равно выглядел маленьким рядом с рослой Диночкой. Низкий рост его очень угнетал. Ему хотелось быть высоким. Янкев-Бунем заметил это и специально встал рядом с братом, задрал голову, чтобы показать свой рост. От злости Симха-Меер поспешно наступил на атласную туфельку невесты, чтобы она не успела наступить на ногу ему. Он сделал это, потому что, согласно поверью, так можно стать настоящим владыкой в семье.

А когда поздно ночью два старых еврея повели его в уединенную комнату и посвятили в тайны, которые полагаются знать мужу, Симха-Меер закрыл лицо носовым платком. Он из последних сил сдерживал душивший его смех. Ему страшно хотелось рассмеяться перед этими глупыми евреями, открывавшими ему тайны с такой серьезностью.

На следующее утро братья его жены вместе с другими приятелями из дома реб Носке и из дома пекаря Шолема пришли к Симхе-Мееру, чтобы услышать от него о тайнах этой ночи. Так они условились перед свадьбой. Но Симха-Меер не захотел с ними говорить. Как все толковые хасидские парни, он,

повзрослев, смотрел на этих мальчишек сверху вниз, с презрением.

— Я не разговариваю с мальчишками, — отшил он их и сдвинул штраймл набок, как казак папаху.

## Глава тринадцатая

**Е**динственной, кто грустил посреди свадебного веселья, была невеста, Диночка.

Мечтательная, погруженная в романы немецких романтиков, где герои прыгали во рвы со львами, чтобы подать любимой оброненную перчатку; где несчастные влюбленные стрелялись, прижимая к груди белые розы и целуя русый локон дамы своего сердца, — она ощущала себя одинокой, чужой и потерянной среди сотен хасидов, сватов и сватий, приезжих гостей и их жен. В шуме и суматохе, поднятых в честь невесты, забыли ее саму. Евреи пели, плясали, желали благополучия ее отцу. Женщины таяли от восторга, целовались и мечтали дожить до свадеб собственных дочерей, до такого счастья. Диночка не понимала, что тут счастливого.

— Такая партия! — завидовали ей. — Илуй! Настоящий гений!

Диночка радости не чувствовала. При чем тут счастье и этот молодой человек с плутоватыми глазами, которому она и трех слов еще не сказала, с которым ей не о чем было разговаривать. Его еврейская ученость ее ничуть не занимала, она в этом ничего не смыслила. Как и других еврейских девушек, Торе ее не учили. Ее учили только еврейской грамоте, некоторым основным молитвам и благословениям, которые полагалось произносить ежедневно. На этом ее познания о еврействе заканчивались. Она твердила древнееврейские слова положенных молитв, толком их не понимая. Слова эти казались ей чу-

жими и нелепыми; каждый раз Диночку тянуло рассмеяться, когда служанка Годес, помогая ей утром надеть чулки, произносила вместе с ней «Моде ани»<sup>1</sup>. Также не клеились древнееврейские слова в устах Диночки и перед сном, когда она раздевалась и читала с Годес догмат веры — «Слушай, Израиль».

— Ших ун зокн<sup>2</sup>, — издевательски говорила Диночка вместо древнееврейского слова «шеэхзарто»<sup>3</sup>, которое произносила Годес.

Еще больше смешило Диночку, когда заспанная Годес вытягивала шею на слове «эход»<sup>4</sup> из догмата веры «Слушай, Израиль. Господь — наш Бог, Господь один». Служанка походила при этом на пьющую воду курицу.

— Эхо-о-од, — вторила ей Диночка и раздражалась смехом. Годес хваталась за голову.

— Диночка, тебя постигнет кара за смех над догматом веры. Над этим нельзя смеяться. Это преступление.

Диночка пугалась, но смеяться ей все равно хотелось.

Комичной и бессмысленной казалась ей и отцовская Тора, которой отец время от времени порывался ее учить.

Пользы от отцовского учения Диночке не было никакой. Он не помогал ей с домашним заданием по арифметике. Даже толком не мог написать письмо в школу, когда она просыпала, и ей приходилось врать, что она плохо себя чувствует. Все его учение сводилось к тому, чтобы постоянно напоминать ей о благословениях, укреплять ее набожность и портить ей настроение.

— Диночка, ты забыла сказать благословение! Диночка, нельзя расчесывать волосы в субботу! Диночка, не ешь молочный шоколад. Еще не прошло шесть часов после того, как ты ела мясное! Диночка, не пей воды, не сказав благословения!..

<sup>1</sup> «Благодарю я перед лицом Твоим, Царь живой и сущий, за то, что Ты вернул мне душу...» — благословение, произносимое утром после пробуждения от сна.

<sup>2</sup> Ботинки и чулки (*идиш*).

<sup>3</sup> «За то, что Ты вернул» (*др.-евр.*).

<sup>4</sup> Один (*др.-евр.*).



Она любила папу. Он был очень добр к ней, приносил ей подарки, но он был ей чужд с его вечными «нельзя», с его громкими, сотрясавшими двор субботними песнопениями в кругу сыновей, с его хасидскими пирушками, которые он то и дело устраивал у себя дома и во время которых хасиды так шумели, что от их криков невозможно было укрыться с книжкой даже в самой дальней комнате.

Куда больше, чем отцовские причуды, Диночку раздражали его хасиды, без конца толпившиеся в доме. Ее мать, заносчивая и расфуфыренная, тоже терпеть их не могла. Своими грязными сапогами они поганили натертые воском полы. Не говоря уж о том, что они запросто плевали на пол.

— Хасидское стадо прибыло! — восклицала с издевкой Прива.

Но она привыкла к ним и переносила их визиты с тем же терпением, с каким женщины переносят разные мужские странности. Она затыкала хасидам рты борщом.

— Годес, — звала он служанку, — приготовь борщ с чесноком для хасидов, а я ухажу. Не могу выносить их воплей.

И Прива отправлялась по магазинам, в поход за какими-нибудь диковинами.

Диночка смотрела на гостей отца иначе, чем мать. Эти евреи в потертых атласных лапсердаках, с всклокоченными бородами и пейсами, эти подпрыгивающие и кипящиеся люди, которые всюду лезут без стука, от которых не спрячешься, которые орут простонародные еврейские песни, вызывали у нее чувство омерзения. Ее тошнило от их грязных сапог, от их манеры демонстративно омыwać руки и громко произносить благословение после отправления естественных надобностей. Ее бесило комичное поведение хасидов, их ужимки, их суетливость и несуразность. Она гнушалась ими и избегала их, как прокаженных. Если они проходили мимо Диночки, она поспешно отстранялась, словно боясь заразиться.

Еще хуже Диночка относилась к почтенным богобоязненным евреям, время от времени гостившим в доме реб Хаи-



ма Алтера. Эти постоянно требовали водки, лекеха, закуски. Говорили в голос, рассказывая небылицы и сморкаясь. Отрывали куски халы руками, а не резали ее ножом. При этом руки их, несмотря на беспрестанные омовения, были грязны и пахли табаком. Кроме того, они все время пытались навязать ей какое-то сватовство. Диночка, красная от смущения, убегала от их разговоров из-за стола.

Не лучше были и приезжавшие иногда раввины с хасидскими ребе.

Отец усаживал этих ребе на самом почетном месте, лично прислуживал им, как мальчишка, ходил перед ними на цыпочках. Мать он в таких случаях вообще не впускал в комнату, чтобы она, Боже упаси, не попала на глаза ребе. Их дом был проходным двором. Хасиды, парни-ешиботники, бедняки входили и выходили, оставляя следы своих грязных сапог на мебели и на полу. Они плясали, молились, шумели и бушевали. Отец имел обыкновение подводить Диночку к ребе, чтобы тот благословил ее.

— Доченька, — говорил отец со страхом, — подойди к ребе с трепетом и почтением, ребе — человек Божий.

Диночка не была неверующей. Напротив, она боялась Бога, сидящего на небе и делающего запись в большой огненной книге всякий раз, когда она ела молочный шоколад, не подождав положенных шести часов после употребления мясного, или когда она причесывалась в субботу. Боялась она и Божьих праведников, но страх ее перед ними был подобен страху перед колдунами, способными покарать, принести зло. Никакого почтения к праведникам она не испытывала. Она гнушалась ими и норовила отвернуться от них.

Сидеть дома было для нее наказанием. Она оживала только в пансионе. Пансион был иноверческий, прививавший хорошие манеры. Политесу, этикету, книксенам, танцам и декламации здесь уделяли большое внимание. Французские учителя были элегантны и вежливы. Не менее элегантными и великосветскими были и преподаваемые предметы. Учебной

девушек не мучили. Хорошее поведение ценилось больше, чем успехи в математике. Во главе угла стояло воспитание. Диночке с пансионом очень повезло. Хотя она была еврейкой, ее любили и учителя, и классные дамы.

— Диана, — говорили они ей, считая это за комплимент, — у тебя совсем не семитская внешность. Ты светловолоса и голубоглаза, как настоящая христианка.

Нееврейские подруги тоже любили Диночку. Она была тихая, деликатная, ни перед кем не задирала носа, ко всем относилась по-доброму, и девушки привязывались к ней, особенно сильные девушки, со связями и возможностями.

— Диана, крестись, — уговаривали они ее. — Ты такая красивая, что тебя даже граф возьмет замуж.

Нет, ни о чем таком она не помышляла. Она боялась Бога, еврейского Бога, которому она каждое утро и каждый вечер говорила бессмысленные, непонятные древнееврейские слова. Но когда одна из подруг взяла ее как-то в церковь, Диночка пошла. Она стояла в полумраке величественной церкви. Смотрела широко раскрытыми глазами на красочные витражи в длинных готических окнах, на резные украшения и статуи. Слушала торжественные звуки органа, дивилась множеству свечей и хоругвей, одеянию священников и пышности церемонии. Она видела, как люди преклоняли в молитве колени, и от этой торжественности и возвышенности в ее голубых глазах появлялись слезы.

Это было совсем не похоже на хасидскую молельню ее отца, где все было потертым и неприбранным, где царил беспорядок, где евреи толкались и бегали, раскачивались, кричали, распевали простонародные танцевальные мелодии и плевали на пол. Она редко приходила туда. Женщинам незачем ходить в святое место. Только раз в год, на праздник Симхас Тойра<sup>1</sup> отец водил ее в молельню. А в Новолетие, на праздник Рош а-Шона мать брала ее с собой в женское отделение сина-

<sup>1</sup> Симхат Тора (*ашкеназск.* Симхас Тойра) — праздник, связанный с окончанием годичного цикла чтения Торы.

гоги послушать трубление шофара<sup>1</sup>. Диночку пугали свитки Торы, которые несли евреи. Она тряслась от страха при звуках шофара и при виде свечей Судного дня. И вместе с тем все это казалось ей враждебным, комичным, отталкивающим. Она бежала от этого, боясь, что это к ней прилипнет.

И в родительском доме все было ей чуждо: отец, его гости, родные братья, здоровенные дикари, смотревшие на сестру, как на лишнюю, никчемную вещь, и дергавшие ее за косы. Ей было стыдно перед подругами за свой дом, родителей, еврейскую улицу, братьев. Если ей случалось встретить кого-то из братьев в городе, она тут же отворачивалась. Лицо ее пылало. Она боялась, что брат подойдет к ней. Она завидовала подругам-христианкам или еврейкам из просвещенных семей, завидовала потому, что им не надо было стыдиться своего дома, родителей и братьев. Стоило одной из подруг зайти к Диночке в гости, как она краснела от стыда. Ей было неловко за длинное хасидское одеяние отца, его ломаный польский, весь его внешний вид.

Как всякая девушка в годы созревания, она отдавалась мечтам и жила в вымышленном мире. Каждый день она в кого-нибудь влюблялась — то в учителя французского языка, то в пианиста, учившего ее играть на клавире. Но больше всего она любила своих подруг, которые платили ей тем же. Диночка постоянно ходила с ними, взявшись за руки, — они целовались, обнимались, шепотом раскрывали друг другу секреты, смеялись и плакали.

Когда в четырнадцать лет ее сделали невестой хасидского паренька, у которого к тому же было смешное имя Симха-Меер, она плакала, стыдилась, чувствовала себя несчастной. Он был совсем не похож на рыцарей из книжек, этот низенький плутоватый мальчишка. Но тихая, безропотная Диночка не могла противиться родителям, всяким теткам и дальним родственницам, насевающим на нее с уговорами и убеждения-

<sup>1</sup> Шофар — рог для трубления. Слушать трубление в шофар — заповедь праздника Рош а-Шана (*ашкеназск.* Рош а-Шона).

ми, осыпавшим ее поцелуями и подарками. И она подписала предварительный брачный договор — тноим.

После помолвки Диночка не задумывалась о том, что должно случиться. Она не хотела об этом думать. Она продолжала ходить в пансион и жить своей особой, отстраненной от родных жизнью. С женихом она не обменялась ни словом. Ни он к ней не ходил, ни она к нему. Лишь на праздник Пейсах Симху-Меера наконец пригласили в дом ее отца. Диночка сидела за столом, как ей велела мать, подавала еду этому чужому парню и не сказала ему ни слова. Потом ее пригласили к родителям жениха. В чужом, холодном доме Диночке было жутко. Будущая свекровь, еврейка в строгом головном уборе поверх парика, твердила о богобоязненности и так настойчиво угощала Диночку, что та едва не подавилась. Будущий свекр смотрел на нее строго. От его взгляда она вздрагивала. Из этого холодного дома Диночка бежала, как из ада. Даже подарки, которые она получала в дни таких визитов, были ей противны.

Она еще глубже, чем прежде, погрузилась в свою вымышленную жизнь. О свадьбе она даже мысли не допускала, как не допускают мысли о неизбежной смерти. Так же как ее отец ненавидел счета и квитанции и не желал просчитывать дела вперед, Диночка не желала думать о грядущем замужестве. Свадьба стала для нее неожиданностью, как кирпич, упавший на голову. Она была растеряна, напугана, подавлена и одинока, ужасно одинока в дни своего праздника.

Ей было дико смотреть на гостей, на это пестрое сборище торговцев и хасидов, отплясывавших на ее свадьбе. Ей претили вся эта суматоха и шум. Она краснела от стыда, когда ее обучали законам женской ритуальной чистоты. Микве и вертевшиися вокруг нее банщицы, непрерывно болтавшие и благословлявшие ее, вызвали у нее омерзение. Ей было неловко перед подружками-христианками за еврейские обычаи и церемонии. Ей было ужасно стыдно на свадьбе за свекра, разогнавшего гостей посреди танца. Но больше всего ее страшила первая встреча с суженым, абсолютно чужим для нее человеком. Она не испытывала

к нему никакой любви и была так же далека от него, как ото всех этих евреев в атласных лапсердаках и штраймлах, веселившихся на ее свадьбе. Она не проронила ни слова, когда они остались одни есть золотой бульон. Симха-Меер обратился к ней:

— Ну, как тебе это понравилось?

Он хотел втянуть ее в разговор. Но она молчала. Ей не о чем было разговаривать с этим парнем в штраймле, великоватом для его головы. Когда женщины ввели ее в комнату уединения, наговорив ей много такого, от чего она густо покраснела, и оставили там ждать, когда мужчины приведут к ней жениха, Диночка испугалась. Она забилась в угол кровати, словно пытаясь спрятаться от нападения. Ее била дрожь.

— Нет, — умоляла она подошедшего к ней чужого человека, — нет.

Но чужой человек не слышал ее слов. Он даже не попытался обнять ее, успокоить, поговорить с ней, приблизить к себе. Все это просто не могло прийти ему в голову. Симха-Меер привык, как и все хасиды, смотреть на женщин сверху вниз, как на тварей, созданных только для того, чтобы служить женами своим мужьям. Кроме этого с ними говорить не о чем, поскольку они не понимают ни в Торе, ни в торговле. Что он мог сказать ей, его суженой? Он был глух к ее мольбам.

— Диночка, что с тобой? — не понял он. — Что ты прикидываешься дурочкой?

Увидев, что слова не подействовали, Диночка стала плакать и отталкивать его от себя. Это только раздражило Симху-Меера. Он терпеть не мог отступать и отказываться от того, что ему причитается. К тому же, уступив сейчас, он выставит себя утром на посмешище. Все мужчины будут смеяться ему в лицо, а женщины — тыкать в него пальцами. Поэтому он был глух и слеп. Он не слышал просьб Диночки и не видел ее слез. Он взял силой то, что полагается мужу по закону.

Она стала бояться его, но никакой любви к нему не ощутила. Напротив, она его возненавидела. Он был груб, жесток. Мать смеялась, когда наутро дочь встретила ее с плачем.

— Дурочка, — говорила Прива дочери, по-матерински глядя ее щеки, — ты еще ребенок. Ты его полюбишь. Увидишь. Я тоже такая была.

Но вопреки предсказаниям матери Диночка Симху-Меера не полюбила. Нет, не об этом она мечтала с тех самых пор, когда подруги по пансиону рассказали ей о тайне любви; не про это она читала в романтических книжках, где люди прыгали во рвы со львами и стрелялись, целуя локон своей возлюбленной. Это было грубо и грязно. Это принесло только боль и стыд. И Диночка была грустна и несчастна в те дни, когда все плясали и веселились, празднуя ее свадьбу.

Она была так подавлена, что даже не сопротивлялась, когда свекровь в атласном чепчике пришла вместе с банщицей состричь ее красивые длинные светло-каштановые волосы. Она чувствовала, что ей уже нечего терять. Однако мать заступилась за нее.

Свекровь, набожная еврейка с бритой головой, мечтала коротко остричь и свою невестку. О том, чтобы обрить невестке голову, она опасалась заикаться в этом барском доме, но обстричь Диночку ей хотелось как можно короче, чтобы ни один локон не выбился из-под парика. Однако Прива не допустила этого.

— Сватья, я сама это сделаю. Уж положитесь на меня.

Она только велела обстричь дочери длинные косы, но ее красивые волосы оставила. Сватья ломала руки и причитала:

— Сватья, душа моя, такое среди евреев неслыханно. Вы же оставили молодке все волосы. Я этого не допущу. Вы должны знать, что я — дочь даяна из Озерков...

— Сватья, а я — дочь реб Аншла Варшевера, — тут же поведала ей о своей родословной Прива. Она сказала это с такой гордостью, что еврейка в атласном чепчике сразу умолкла.

Ловко, проворно и красиво Прива расчесала голову дочери своими умелыми женскими руками и надела на нее маленький русый надушенный парик, похожий на ее собственный. Она мастерски вытащила из-под парика настоящие

волосы Диночки надо лбом, над ушами и на затылке так, что невозможно было понять, где кончается парик и начинается живой волос.

— Диночка, — позвала она дочь к большому зеркалу, — посмотри, заметно ли что-нибудь. Нельзя допустить, чтобы тебя не принимали за барышню с прической...

— Чем такой парик, уж лучше собственные волосы, — вздохнула свекровь. — Хоть людей не дурачьте... Прямо не верится, что я дожила до такой радости, я, дочь дайна из Озерков...

Женщины принялись обмениваться колкостями. Высокий атласный чепчик жены реб Аврома-Герша раскачивался и подпрыгивал в такт всем надушенным локонам на парике Привы. Но сама Диночка не вмешивалась, словно весь этот спор не имел к ней никакого отношения. Даже когда мать вручила ей ее большие косы — на память о годах девичества, — Диночка взяла их вяло, без эмоций.

С тем же равнодушием она выслушала и новую порцию законов поведения замужней женщины, которые поспешно и с горячностью стала излагать ей свекровь. Прива снова возмутилась, что сватья в чепчике вмешивается в ее дела. Она знала, что изложение столь деликатных вопросов является прерогативой матери, то есть ее прерогативой, и она тут же дала это понять назойливой еврейке в атласном чепчике.

— Дорогая сватья, — сказала она, поджав губы, — я разбираюсь, слава Богу, в еврействе, хотя атласного чепчика и не ношу. Можете на меня положиться...

И она увела дочь, взяв ее за руку жестом королевы.

Так же как к Симхе-Мееру пришли наутро его близкие друзья, к Диночке пришли ее лучшие подруги, возбужденные надеждой услышать из первых уст о великой тайне любви. Но Диночка ничего не хотела им рассказывать. Она просто плакала, обняв своих подруг.

— Ни за что не выходите замуж без любви, — предостерегала она их, — ни за что.

Она смотреть не могла на мужчин. Ни на каких. Даже на родного отца и братьев. Еще больше, чем в девичестве, она привязалась к подругам. Ей казалось, что только к ним можно испытывать настоящую любовь. Она с головой ушла в книжки, в романы, где все было по-другому — идиллично, красиво и возвышенно.

Симха-Меер пытался наладить с ней отношения, разговаривать с ней, но она избегала его и не отвечала ему, даже голову не поднимала от книжки, когда он к ней обращался. Симха-Меер почувствовал себя задетым. Он вырвал книжку из ее рук и стал смотреть, что в ней написано. По-хасидски быстро он прочитал несколько немецких строк, в которых речь шла о каких-то Альфреде и Гирогальде.

— Что это? — спросил он.

— Роман, — ответила Диночка.

— Сказки, выдумки, — пробурчал Симха-Меер с пренебрежением и вернул ей книжку.

Он пытался сказать что-то еще, но она снова погрузилась в чтение, и он вышел из комнаты обиженный.

— Ты так углубилась в изучение этой Торы, что тебе даже не подобает прерваться на пару слов! — злобно сказал он, потирая руку об руку с таким видом, словно он прикоснулся к чему-то мерзкому.

Когда Симха-Меер вышел из комнаты, Диночка всхлипнула. Она уже видела, что настоящей близости между ней и человеком, с которым ей предстояло прожить жизнь, никогда не будет. От этой мысли у нее защемило сердце.

Она искала, перед кем бы выплакаться и излить свою душу. Но не находила. Эти сотни людей, веселившихся и плясавших на ее свадьбе, о ней самой даже не вспоминали. Мать была занята семью благословениями<sup>1</sup>, постоянными гостями,

<sup>1</sup> «Шева брахот» (*др.-евр.*) — семь свадебных благословений, произносимых в течение недели после бракосочетания. В данном случае имеются в виду торжества этой недели, именуемой в талмудической традиции «семью днями пира».



сватами, родственниками, съехавшимися со всей Польши. Она бегала туда-сюда с ключами от шкафов и кладовых, звонила в колокольчик, вызывая прислугу, готовила, накрывала столы, надувала щеки от важности — пусть вся Лодзь лопнет от зависти! — твердила о великолепии свадьбы дочери, в сотый раз демонстрировала ее свадебные наряды, сшитые самой мадемуазель Антуанет, похвалялась ими перед другими дамами. Она хотела, чтобы имя их семьи, слух об их роскошной свадьбе дошли до самой Варшавы, прогремели по всей Польше. Пусть люди видят, как Алтеры выдают замуж свою дочь! Ей было не до детских обид Диночки.

Еще меньше подходил для такого разговора отец. Он всегда был занят своим. Теперь же, после широкой свадьбы дочери, на него посыпались заботы, его ждали неотложные дела.

## Глава четырнадцатая

**П**осле семи дней пира, всевозможных визитов, праздников, многолюдных трапез и брачных церемоний, привлекающих массу народа, все семейство Алтеров чувствовало себя измученным, опустошенным, нервным и злым. От всех этих пожеланий счастья, поцелуев, благословений, пожиманий рук у сватов появилась неприязнь к людям, чтобы не сказать ненависть. Им тошно было даже смотреть на людей, а самым злым мизантропом, вопреки собственной природе, оказался реб Хаим Алтер.

Роскошная свадьба, которую он устроил дочери, действительно прогремела в Лодзи. Да и не только в Лодзи. Об этой свадьбе говорили во всех окрестных городах и даже в Варшаве. Но огромные расходы на торжество, на бесчисленные подарки, пиры, музыкантов и особенно приданое, эти две тысячи рублей наличными, которые надо было выплатить еще до свадь-

бы, проделали в финансах реб Хаима Алтера серьезную брешь. Очень серьезную. Да и дела шли слабо. Сезон выдался неудачный. В Лодзи стало труднее с деньгами. Банки перестали давать кредиты. Поэтому реб Хаим Алтер был очень угнетен и подавлен в эти дни. Никакого особого счастья он не испытывал.

Во время молитвы, во время восемнадцати благословений, когда вокруг становится необычайно тихо, ему, как назло, лезли в голову мысли о счетах с фабрики. Совсем невеселые мысли.

По правде говоря, он не знал точных цифр, касающихся его ткацкой мастерской. По его домашней бухгалтерской книге, которая велась на смеси неграмотного древнееврейского с таким же ломаным немецким, в которой строки путались, а цифры были очень приблизительны, толком ничего нельзя было понять. Ни он, ни его слуга Шмуэль-Лейбуш никак не могли в ней разобраться. Но реб Хаим Алтер видел, что дела идут не так, как обычно. Все время не хватает денег. Подходит время платить по векселям, а платить нечем. В четверг он не может выплатить недельное жалованье рабочим, чтобы им было на что провести субботу. Конечно, они не требуют денег. У них не хватает на это наглости. Но они горестно вздыхают. Их вздохами полны уши. И реб Хаим Алтер все время на взводе, в напряжении. Он не может спокойно молиться. Посреди восемнадцати благословений, при чтении догмата веры «Слушай, Израиль», когда еврей обязан освободиться от любых мыслей, кроме мыслей о Боге, он неотвязно думает о делах. Он не получает удовольствия от еды. Он не может спокойно вздремнуть после полудня на своей мягкой плюшевой кушетке.

Реб Хаим Алтер размышлял, ломал голову, но не мог придумать, как ему выбраться из обрушившихся на него проблем. Он знал, что ткацкая мастерская работает как всегда. Выплачивает ли он недельный заработок вовремя, в четверг, или тянет с оплатой пару дней, рабочие делают свое дело. Бездельников среди них нет. На исходе субботы они работают при свечах до полуночи. В четверг вечером тоже задержива-

ются на работе. Свечи рабочие покупают сами, на свои деньги. Шмуэль-Лейбуш предан ему как собака. На чем еще можно сэкономить? Сколько реб Хаим Алтер ни ломал голову, он не находил ответа на этот вопрос. Он не привык думать. Так же как он не привык к заботам и невзгодам.

С тех пор как он женился и на полученное за женой приданое открыл ткацкую мастерскую, он не знал хлопот со счетами. Он жил широко, как подобает богатому еврею. Дела в ткацкой мастерской шли по-разному, иной раз лучше, иной раз хуже. Реб Хаим Алтер не волновался по этому поводу и никаких мер не принимал. Он знал, что в деле так бывает. Даже когда дела шли совсем худо, он не расстраивался. Он знал, что угроза банкротства тоже неизбежная часть судьбы промышленника. Все эти сложности просто приплюсовываются к цене товара, как и прочие сопутствующие расходы — на жалование рабочим, на закупку сырья. Во всяком случае, всегда удавалось выкарабкаться — с большими или меньшими убытками. Ни разу реб Хаим Алтер не обанкротился, хотя призрак банкротства постоянно преследует делового человека.

Годами так и шли дела у реб Хаима Алтера. Он не вел точных счетов, потому что чем больше счетов, тем меньше благословения и удачи. Но реб Хаим Алтер знал, что он богатый еврей, слава Богу, даже очень богатый. Таких, как он, в Лодзи немного. И людям это известно. Его окружают почетом, выказывают ему уважение, подобающее фабриканту высокого уровня. В банках, куда он приходит, директора лично бегут поприветствовать его, приглашают в свой кабинет, усаживают в кресло, угощают сигарами. Другой на его месте, думал реб Хаим Алтер, давно бы испортился — подстриг бы бороду, напялил на себя короткий сюртук, — но он остается евреем, даже хасидом. Хасиды в молельне знают об этом и восхваляют его. Да и ребу относится к нему с большим почтением.

Реб Хаим Алтер не был скупым, о нет! Никто не мог сказать про него такого. Он всегда от души жертвовал на молельню, делал взносы на приданое бедным невестам. И у ребу он

был щедр. Не то что другие богачи, державшие кошельки на запоре. Он не забывал, что помимо этого света есть еще и тот свет. Чтобы у него было столько золота, сколько велит тот свет! И еврею надлежит готовиться к переходу. Он должен запастись добрыми деяниями и соблюденными заповедями. Иначе, не дай Бог, он попадет в ад, где будет гореть в огне и жариться на сковороде. Поэтому реб Хаим Алтер не был скуп и никогда в своей щедрости не раскаивался. Он знал, что еврей должен быть евреем. Все нужны на этом свете Владыке мира — и богачи, и бедняки; и те, кто жертвует, и те, кто принимает пожертвования. В своем великом милосердии Господь там, на небе, избрал его, чтобы он был, не сглазить бы, богачом. Господь дал в его руки богатство, и он должен послужить Господу: давать милостыню беднякам, следить за тем, чтобы у его рабочих была своя синагога, эсрог на Суккос, меламед, чтобы учить их Торе по субботам. Их, рабочих, следует уважить: ходить на обрезание к их сыновьям, дарить подарки на свадьбы, провожать усопших в последний путь и посылать несколько рублей скорбящим родственникам, чтобы им не пришлось работать в семь дней положенного траура.

Реб Хаим Алтер жил на широкую ногу. Он не знал, сколько он тратит. Он только знал, что каждый раз, когда его жена Прива протягивает свою усыпанную бриллиантами руку, он дает ей денег без счету. Сама Прива еще меньше мужа понимала, сколько она тратит.

У нее, у этой Привы, ничего в руках не задерживается. Деньги убегают сквозь ее пальцы, как песок. Она и не помнит, на что их потратила. Часто она просто теряет деньги и ценности. Она разбрасывает бриллиантовые кольца по всем столам и столикам. Потом она переворачивает весь дом, выгоняет плачущих служанок, которых подозревает в краже, опять переворачивает весь дом, и так пока не найдет потерянное украшение, которое тут же теряет снова. Она получает огромное удовольствие, покупая диковинные безделушки. Что бы она ни увидела в магазине, она должна это купить.

Нужно это или нет — неважно. Она шьет себе платья и потом их даже не надевает, потому что так же быстро, как она загорается, она и разочаровывается в своих покупках и обновках. В доме всегда полным-полно торговцев и лавочников и счетов от торговцев и лавочников. И конца-краю этому не видно.

А еще Прива любит ездить на воды и консультироваться там по поводу своего здоровья у больших заграничных профессоров. Про эти консультации можно потом целую зиму разговаривать с гостями. Она ездит с курорта на курорт, от одного профессора к другому. Все шкафы в доме забиты пузырьками, коробочками, баночками с разноцветными порошками, микстурами и пилюлями, которые Прива никогда не принимает. Кроме того, из-за границы она вывозит кружева и кристаллы. Каждый раз на таможне у нее возникают неприятности с чиновниками, находящими в ее багаже спрятанные драгоценности. От штрафов, налагаемых на нее за контрабандный провоз товаров, от скандалов, устраиваемых ею на таможне, Прива снова заболевает. У нее болит сердце, поэтому ей опять надо на курорт, чтобы снова ввезти контрабанду, попасться и заболеть.

В доме Алтеров вечно царит беспорядок: Прива без конца переставляет мебель, меняет занавески и обои, потому что другие богачи сделали перестановку и ремонт в своих квартирах и Прива Алтер не может допустить, чтобы она одна жила как нищая.

Реб Хаим Алтер знает, что женины причуды стоят много денег, очень много, но не отказывает своей Приве. Он ее любит. Она очень красивая, хотя у нее уже взрослые дети. Она женщина со вкусом, с изюминкой. На нее оглядываются на улицах и в парках, когда он бывает с ней на заграничных курортах. Обладание такой женщиной наполняет его гордостью. И он не может ей отказать, когда она протягивает свою пухлую ручку за толстой пачкой банкнот.

Да он и сам немало тратит. Помимо того, что он дает ребе, на содержание молельни и на прочие связанные с еврейством

вещи, он тоже каждое лето ездит на курорт. Есть у него и другие расходы. Но реб Хаим Алтер знает, что так и должно быть, что даже траты на ремонты и платья — траты ненапрасные. Потому что, во-первых, к чему скупиться? Ведь что такое человек? Муха! Сегодня здесь, завтра там. Зачем же жить по-свински? Во-вторых, так лучше для дела. Лодзь любит богачей. Лодзь знает, что у каждого в кухонном горшке. Стоит лодзинскому богачу один раз не послать жену на курорт, стоит его жене прийти на какое-нибудь торжество не увешанной бриллиантами, как ему тут же примутся перемывать кости. О нем станут шептаться, что он вот-вот обанкротится, что он нищий, что он ничтожество.

Он, реб Хаим Алтер, не хотел считать деньги. Он знал, что ткацкая мастерская отлично работает, что его рабочие не бездельничают, что женские платки их производства хорошо расходятся, что на улице его считают богачом и что он честен перед Богом и людьми. И на своих детей он не скупится. Он нашел своей дочери лучшего парня в Лодзи, дал за ней большое приданое, много подарков. Свадьбу он устроил как у императора. Лодзи было о чем поговорить. Во все дни свадебных торжеств ни о чем меркантильном он не думал. Прива чаще, чем обычно, протягивала руку за деньгами, и он давал ей их не считая.

Но теперь, после торжеств, суеты и суматохи слуга Шмуэль-Лейбуш повел грустные речи. Со всех сторон повалили торговцы и ремесленники, которым задолжала Прива. Она уже и забыла, что у них заказывала, что брала и зачем. Как бы там ни было, надо было платить по векселям. Всевозможные портные, сапожники, швеи, обойщики, мясники, торговцы съестным, торговки рыбой обрушились на реб Хаима Алтера как саранча. Шмуэль-Лейбуш никак не мог от них отделаться. В ткацкой мастерской вздыхали рабочие, хотели, чтобы им выплатили недельное жалованье до субботы. Из-за границы пришли большие счета за хлопок, наплыва денег при этом не наблюдалось. В банках кредита не давали. Рубль

в Лодзи горел. А Шмуэль-Лейбуш кланялся хозяину так низко, словно это он, слуга, виноват во всех неприятностях.

— Реб Хаим Алтер, — сказал он, опустив глаза, как вор, — боюсь, что дела совсем плохи.

Реб Хаим Алтер сначала отмахнулся своей мясистой и волосатой рукой богача. Он устал от торжеств, он не хотел есть себя поедом и переживать попусту.

— Не понимаю, что ты такое говоришь, — ответил он с раздражением.

Но Шмуэль-Лейбуш стоял на своем. Он день и ночь копался в бухгалтерских книгах хозяина, портил себе глаза, разбирая запутанные цифры, щелкал костяшками русских счетов. Он считал, ошибался, снова считал. У него болела голова, глаза покраснели, но толка он так и не добился. Шмуэль-Лейбуш сдался и посоветовал реб Хаиму Алтеру нанять на несколько недель бухгалтера.

Но реб Хаим Алтер не хотел его слушать.

— Ненавижу этих бухгалтеров с их книгами, — сказал он. — Ты же знаешь мое мнение: чем больше счетов, тем больше нищета...

Он действительно смотреть не мог на литваков, этих греховодников, позорящих имя еврея, к числу которых, как на зло, принадлежали все бухгалтеры в Лодзи. Но Шмуэль-Лейбуш твердил об этом, не давая реб Хаиму Алтеру покоя. Хозяин не знал, как от него отделаться, и уступил ему.

— Пусть это будет искупительной жертвой за мои грехи, — вздохнул он. — Посадите за мои книги какого-нибудь зануду.

Восемь дней тощий литвак в пенсне с толстой костяной оправой сидел над бухгалтерскими книгами реб Хаима Алтера и разбирался в путанице цифр и записей, сделанных на смеси неграмотного древнееврейского с ломаным немецким.

— Дал, взял, — постоянно бормотал он по-древнееврейски, — черт бы его побрал!..

Реб Хаим Алтер избегал его, старался вообще не смотреть на этого скрягу с недобритой колючей мордой и жестким во-

ротничком на тощей шее. Когда грешат банкиры и фабриканты, реб Хаим Алтер еще может их понять. Что ж делать! В конце концов сей мир тоже вещь серьезная. Но нищий грешник? Это в голове реб Хаима Алтера никак не укладывалось. Ни на этом свете радости, ни на том. Ему было просто противно подходить к этому типу в потертом пиджаке со слишком короткими рукавами, от которого шел запах литовского чеснока. Но литвак не оставлял его в покое.

— Вот это что? — резко спрашивал он реб Хаима Алтера, тыкая худым пальцем в очередные запутанные цифири.

Реб Хаим Алтер отвечал первое, что приходило ему в голову. Но литвак не давал заговорить себе зубы.

— «Расход» — это не «приход», — злился он, — черт бы его побрал!

После восьми дней тяжелой, упорной работы литвак сумел наконец разобраться со счетами и записями. Из всех туманных закорючек, намеков, аббревиатур, из всяких «дал-взял» и тому подобного он сделал гладенький и ясный счет, прозрачный и точный, с кредитом и дебитом, с крепкими, четкими рядами цифр, похожими на строй солдат перед генералом. Литвак медленно встал со своего места, вытянул тощие руки, промокнул итог, поправил падавшее с носа пенсне в толстой костяной оправе. И произнес скупые слова с корябающим слух литовским выговором<sup>1</sup>:

— Вы банкрот, господин Алтер.

Реб Хаим Алтер подпрыгнул на месте так, как не прыгал даже во время чтения кдуши<sup>2</sup> на празднике Рош а-Шона у ребе.

— Ах, литовская свинья, да ты в собственных руках и ногах запутался! — гневно закричал реб Хаим Алтер и сердито захлопнул новую, переписанную литваком бухгалтерскую

<sup>1</sup> Белорусско-литовский вариант идиша фонетически сильно отличается от польского варианта.

<sup>2</sup> Элемент общественной молитвы, во время которой принято слегка подпрыгивать, произнося слова «кадош, кадош, кадош» («свят, свят, свят»).



книгу. Но литвак не стал злиться. Он снова раскрыл книгу, перелистал страницы, дошел до баланса, указал худым пальцем на ряды цифирек, стоявших, как солдаты перед генералом. И сказал еще резче, чем в первый раз:

— Вы банкрот, господин Алтер, и кончено...

Последние слова литвак произнес по-русски, и это убедило реб Хаима Алтера. Он сунул руки в карманы брюк, потом одернул свой роскошный жилет с красными и синими точками и сказал слуге с такой злобой, словно тот действительно был во всем виноват:

— Ну, что ты теперь скажешь по поводу этих дел, Шмуэль-Лейбуш? — Он растягивал слова, как будто пел. — А, что ты теперь скажешь?..

Слуга Шмуэль-Лейбуш, как преступник, весь покрылся красными пятнами. А реб Хаим Алтер расхаживал вне себя от ярости — таким его еще не видели. Он, не переставая, мерил шагами комнаты своего большого дома. Слова литвака не давали ему покоя. И, как на зло, приходили ему на ум во время молитвы восемнадцати благословений, когда все вокруг становится тихо.

«Вы банкрот, господин Алтер», — постоянно слышал он приговор литвака.

Сначала реб Хаим Алтер пытался поговорить со своей женой Привой. Но у нее не хватило терпения его выслушать.

— Ты же знаешь, Хаимче, я ничего не понимаю в таких вещах, — говорила она. — Ты уж сам с этим разберись.

Видя, что она его не понимает, реб Хаим Алтер начал говорить с ней по-простому, объясняя, что ей, возможно, придется отдать ему на время все ее бриллианты и украшения, которые он в глубокой тайне, через Шмуэля-Лейбуша где-нибудь заложит, чтобы отделаться от мелких кредиторов, от всех этих ремесленников и лавочников, обрывающих с петель двери их дома. Прива побледнела. Вся кровь отхлынула от ее лица, подчеркнув покрасневшие глаза и темные круги под ними.

— Мама! — как всегда, позвала она покойницу, и из ее голубых глаз хлынули слезы. Еще горше она расплакалась, когда муж стал говорить о необходимости ввести в домашнем хозяйстве экономию.

— То, что я ем, с позволения сказать, я могу не есть! — убивалась она. — Я могу есть один хлеб без масла, пить чай с кусковым сахаром вприкуску...

Реб Хаим Алтер видел, что она его не понимает, что она чужда ему и по-бабски мелочна, что он толку от нее не добьется, что она хочет знать только одно — сможет ли она поехать на курорт, на воды. Реб Хаим Алтер успокоил ее, погладил по светлому надушенному парику. На следующее утро он отправился за советом к ребе, но ребе мог посоветовать ему не больше, чем Прива. На все его неприятности ребе отвечал, что ему поможет Всевышний. С торговцами реб Хаим Алтер говорить боялся, дрожал за свою репутацию. Сыновья же его были еще молоды и жизнерадостно глупы. Они знать ничего не знали, кроме как таскать у отца деньги. Реб Хаим Алтер попробовал обратиться к свату, реб Авром-Гершу Ашкенази.

В субботу вечером, сразу же после авдолы он пошел к нему домой. Реб Авром-Герш положил на открытый том Геморы красный носовой платок в знак того, что он не совсем закрывает книгу, а лишь ненадолго откладывает ее и вернется к занятию Торой позже, как только разберется с делами. Молча, не прерывая речь реб Хаима Алтера ни единым словом, реб Авром-Герш выслушивал свата целый час. Реб Хаим Алтер потел в этой большой и холодной старомодной квартире, заставленной тяжелой и тоскливой старинной мебелью. Этот дом был лишен теплоты, ее нигде не было — ни в стенах, оклеенных коричневыми обоями, ни в шкафах со святыми книгами, ни в тусклом свете нефтяной лампы, ни в тяжелой черной железной кассе. Таким же холодным и молчаливым был сам реб Авром-Герш. Реб Хаим Алтер не допил поданного ему стакана чая и все говорил, говорил, с пылом, с убеж-

денностью, но сват по-прежнему холодно молчал. Лишь когда реб Хаим Алтер выговорился и замолк, уставившись на реб Аврома-Герша своими черными маслянистыми глазами в ожидании ответа на главный вопрос — даст ли ему сват большую ссуду, чтобы спастись, — реб Авром-Герш погладил бороду и сказал всего два слова:

— Нет, сват!

Реб Хаим Алтер облился потом.

— Вы дадите мне упасть, сват? — с удивлением спросил он. — К кому же мне идти, если не к вам?

— Когда живут без счета, умирают без исповеди, — сказал реб Авром-Герш тоном поучения.

Сват снова принялся его уговаривать, но реб Авром-Герш вынул платок из тома Геморы и вернулся к изучению вопроса о количестве палочных ударов, причитающихся грешнику.

— Сколько ударов следует нанести? — бормотал реб Авром-Герш на святом языке и тут же переводил на идиш. При этом он даже не оглядывался на своего свата.

Реб Хаим Алтер ушел из дома реб Аврома-Герша пришибленный; он был так подавлен, что, придя домой, не стал произносить обычных для него на исходе субботы священных текстов, которые, бывало, читал с наслаждением и от души. Более того, он злобно выплюнул сигару, которую зажег ему слуга Шмуэль-Лейбуш.

— Паскудные сигары, — рассвирепел он, — горькие, как желчь...

Не понравился ему и стакан душистого чая, который подала ему на серебряном подносе служанка Годес.

— Нельзя было заварить свежего чая? — разозлился он. — Обязательно надо подать мне чай, который простоял всю субботу...

Служанка Годес покраснела, как огонь.

— Чтоб мне так светило мое счастье, Отец наш небесный, — закатила она глаза, — какой это свежий и душистый чай. Пусть хозяин посмотрит...

Но реб Хаим Алтер не хотел смотреть на чай. Вместо этого он увидел, что его сыновья играют в карты. Он схватил карты и разорвал их на мелкие кусочки.

— Картежники! — заорал он так, словно в первый раз видел сыновей за этим занятием. — Я из-за ваших карт по миру пойду...

Целую ночь он вертелся и не мог заснуть на своих пуховых подушках, которые вдруг стали казаться ему жесткими. Вся Лодзь прошла перед его глазами в эту бессонную ночь, но он так и не нашел, к кому пойти, к кому обратиться, кому довериться. Только перед рассветом он остановил выбор на самом близком ему человеке, жившем в его собственном доме, — на своем зяте Симхе-Меере и на приданом в размере десяти тысяч рублей, которые лежали без дела на его, Симхи-Меера, банковском счету.

Он едва не ущипнул себя, удивляясь, как ему раньше не пришла в голову эта счастливая мысль. В хорошем настроении и с новообретенной уверенностью реб Хаим Алтер заснул на рассвете после тяжелой, бессонной ночи.

## Глава пятнадцатая

**С**имха-Меер, зять, находящийся на содержании тестя, выслушал многословного реб Хаима Алтера совсем иначе, чем его отец. Он внял всем его историям, славословиям и добрым словам, которые неизменно вели к одному и тому же:

— Говорю тебе, Симха-Меер, что я выплачу тебе гораздо больший процент, чем банк. Ты можешь спать спокойно. Я своему родичу вреда, не дай Бог, не нанесу.

— Конечно, тесть, — кивал Симха-Меер в знак согласия.

Реб Хаим Алтер был вне себя от радости от уступчивости зятя.

— Твои деньги будут расти, Симха-Меер. Ты будешь получать проценты с процентов. Самому тебе об этом заботиться не придется. Ты у меня будешь на содержании, сколько захочешь. Понимаешь, Симха-Меер?

— Понимаю, тещь, — доброжелательно кивал Симха-Меер. Однако идти в банк и снимать деньги Симха-Меер не торопился.

— Я должен посоветоваться с отцом, — богобоязненно сказал он.

— Зачем утруждать отца? — не понял тещь. — Ты же не дурак. Ты и сам знаешь, что делаешь.

— Заповедь почитания отца! — ответил Симха-Меер тоном праведника. — Без совета отца я ничего делать не буду.

Реб Хаим Алтер часами ходил с зятем, взяв его под руку, по всем комнатам своего большого дома, гладил его по щекам, крутил пуговицы на его жилете, хвалил его мудрость, светлую голову, сообразительность, но Симха-Меер стоял на своем.

— Поверьте, тещь, я бы вам доверил весь мир, — сладко говорил он, — но без согласия отца я ничего не сделаю. Заповедь почитания отца! Сегодня же я зайду к нему, чтобы переговорить на эту тему.

Он не пошел к отцу. Он и так знал, что отец не позволит ему трогать деньги, что вместо этого он накажет его сидеть и учить Тору. Ему даже в голову не пришло посоветоваться с отцом. Хватит и того, что он был под ярмом отца до свадьбы. Теперь он свободен. Деньги принадлежат ему, они положены в банк на его имя, и он сам решит, что с ними делать. Он знает, как быть с деньгами, лучше отца, но использовать отца против тещь стоило, это было Симхе-Мееру на руку. Поэтому несколько дней подряд он водил тещь за нос, рассказывал ему небылицы, что он, мол, случайно не застал отца дома. Только когда тещь от нетерпения уже выпрыгивал из кожи, Симха-Меер наконец пришел к нему якобы с ответом от реб Аврома-Герша. Сохраняя на лице мину полнейшего спокойствия, нигде не запнувшись и даже ни разу не моргнув, он пе-

редал тестю за едой всю свою беседу с отцом. Он намазал бублик маслом, с аппетитом откусил кусок свежего бублика и с набитым ртом изложил условия отца.

Отец хочет гарантий, гарантий на все...

Реб Хаим Алтер от радости подпрыгнул на месте.

— Ты получишь векселя, Симха-Меер. Я не хочу, чтобы ты полагался только на мое слово.

Симха-Меер отрезал себе кусочек сыра, быстро положил его на бублик и отверг предложение тестя относительно векселей.

— Отец велел мне, чтобы я не брал векселей, — заявил он. — Отец хочет ипотеку на дом тестя.

Реб Хаим Алтер повесил нос.

— Ипотеку? — переспросил он. — Тогда в чем состоит одолжение, которое ты мне делаешь? За ипотеку я могу получить деньги у кого угодно.

— Тогда почему же тесть не берет их? — ловко прикинулся дурачком Симха-Меер, заглядывая тестю в глаза.

Целый день реб Хаим Алтер упорно растолковывал зятю, как он непорядочно поступает, как некрасиво то, что он не хочет доверить деньги под вексели родному тестю, Хаиму Алтеру, которому люди доверяют деньги не считая. Но Симха-Меер не дал себя переубедить.

— Заповедь почитания отца! — на все отвечал он. — Что я могу поделать?

И все-таки, когда тесть уступил и согласился на ипотеку, Симха-Меер не торопился. Он снова стал говорить, что ему надо спросить у отца. Тут реб Хаим Алтер вышел из себя.

— Снова спросить у отца? — злился он. — Да этому конца не будет!

Симха-Меер поспешно омыл руки после трапезы и больше не сказал ни слова. По опыту карточной игры у пекаря Шолема он знал, что, когда соперник кипятится, самое лучшее — оставаться спокойным и хладнокровным. Именно потому, что реб Хаим Алтер так спешил, у него, Симхи-Меера,

было время. Он принялся тянуть из тестя жилы. То он не застал отца, то отец был занят. Наконец он принес ответ.

— Отец ни на что не согласен, кроме первой ипотеки, — богобоязненно сказал Симха-Меер. — Иначе он велит не трогать деньги...

Реб Хаим Алтер кипятился, шумел. Он не мог дать первой ипотеки, потому что первая ипотека еще раньше, до свадьбы, была записана на другого. Симха-Меер знал об этом. Он заранее разведal в городе, как идут дела у его тестя, как у него с долгами. И нарочно потребовал от реб Хаима Алтера такой ипотеки, которой он не мог дать.

Симха-Меер не хотел ипотеки. Он хотел кое-чего другого.

Еще в мальчишеские годы, когда Симха-Меер впервые попал в дом будущего тестя, ему приглянулась ткацкая мастерская реб Хаима Алтера. Он, правда, не испытывал особой симпатии к ручным станкам. Он любил новую, а не старую Лодзь. Его с детства влекло все большое, кричащее, гулкое. Низенький Симха-Меер любил высокие вещи: необъятные фабрики, огромные, уходящие в небо фабричные трубы. Гудок фабричных сирен звучал для него, как самая лучшая музыка. Ни один запах не радовал так его носа, как запах дыма из фабричных труб. Он презирал тихие ручные станки, работавших на них евреев в ермолках и с пейсами, всю эту еврейскую домашность отношений между хозяином и подмастерьями. Это напоминало ему молельню, синагогу, которой он терпеть не мог. Он всегда стремился к новому, большому. Видел себя крупным фабрикантом в окружении слуг, стоящих перед ним навтыжку, ожидающих его распоряжений. Ему представлялось, как по его кивку начинают работать все машины, все трубы, все сирены.

Но он слышал также, что и Краков не сразу строился. Несмотря на свои юные годы, он знал: чтобы подняться на верхушку трубы, надо карабкаться со ступеньки на ступеньку. Он хорошо знал Лодзь, все ее большие и маленькие фабрики, всех ее промышленников и купцов. Он знал жизнь каждого

из них и путь каждого из них. Он знал, что все в этом городе начинали с одного ткацкого станка, потом их стало несколько, потом удалось добиться открытия мастерской, потом — небольшой фабрики, и так они росли, росли — до высоких труб, сирен, дворцов, выстроенных рядом с краснокирпичными фабриками.

Он понимал, что должен пройти этот путь быстрее, чем те, первые. Лодзь уже не такая, как прежде. Все в ней ускоряется. Да и он не отличается терпением и не склонен долго ждать. Он не умеет ждать чего-то годами. И не будет начинать с одного ткацкого станка. Не для этого он — сын реб Аврома-Герша Ашкенази, зять реб Хаима Алтера и обладатель лежащих в банке десяти тысяч рублей, не считая процентов. С такой суммой уже можно кое-что предпринять, если понимать в делах. С такими деньгами можно развернуться. Надо сразу играть по-крупному и начать с ткацкой мастерской, такой, как у тестя, с пятьюдесятью станками. Это уже дело. Об этом стоит говорить.

Острым взглядом своих плутоватых серых глаз, вроде бы спокойным и мягким, но в действительности любопытным и пронзительным, Симха-Меер еще до свадьбы разглядел, что его будущий тесть ленив, податлив, любит покой и удобства, подкаблучник. Уже тогда Симха-Меер понял, что реб Хаим Алтер не человек Лодзи, что рано или поздно ему придется лишиться своего предприятия. Он видел, что дела тестя запущены и ведутся небрежно, и понял, что однажды появится тот, у кого больше ума и упорства, тот, кто заберет мастерскую реб Хаима Алтера. Симха-Меер заметил, что при всей широте и роскоши, с которой живут Алтеры, которой в доме его отца не увидишь, дела тестя совсем не так хороши. Поэтому перед свадьбой он и не взял вексели вместо денег в качестве части приданого. Теперь Симха-Меер убедился, что принял правильное решение, очень правильное.

Теперь его тесть пришел к нему просить приданое взаимы. Обещает дать векселя и проценты, чтобы он, Симха-Меер, мог спокойно сидеть и учить Тору, оставаясь у него на



содержании. Но Симхе-Мееру совсем не хотелось сидеть и учить Тору. Достаточно он насиделся до свадьбы в молельне и у меламедов. Сейчас он свободный человек. У него есть целых десять тысяч рублей и еще процент. Эти деньги положены в банк на его имя. В любое время он может их снять и пустить в дело, приумножить капитал, насколько возможно.

Правда, его отец будет кричать на него, злиться, бушевать — он ведь пренебрегает возможностью сидеть на содержании тестя и учить Тору и слишком рано начинает заниматься делами. Но на то Симха-Меер и хозяин себе, чтобы поступать так, как он считает нужным, и не слушать отца. Своим острым взглядом, отточенным за карточным столом в доме пекаря Шолема, он разглядел шанс войти в дело, стать компаньоном-совладельцем ткацкой фабрики реб Хаима Алтера, которая должна будет называться «Ткацкая фабрика Хаима Алтера и Симхи-Меера Ашкенази».

Он несколько раз произнес с напевом, подходящим для чтения Геморы: «Ткацкая фабрика Алтера и Ашкенази» — и ему это понравилось. Самым изящным почерком он начертил на обложке священной книги два имени — своего тестя и свое собственное. Это выглядело очень красиво. Он, Симха-Меер, не был лишен фантазии. О нет! Он фантазировал уже в детстве, когда украдкой приходил на склад фирмы Хунце и Гецке и завидовал своему отцу, сидевшему за конторкой в окружении толстых бухгалтерских книг и гор деловых бумаг. Вот и сейчас мысли сидящего над священными книгами Симхи-Меера витали далеко. Он снова и снова представлял себе ткацкую фабрику, принадлежащую двум компаньонам, его тестю и ему. Точнее, ему и его тестю. Симхе-Мееру казалось, что «Ашкенази и Алтер» звучит гораздо красивее, чем «Алтер и Ашкенази». Постепенно имя тестя совсем потерялось. Осталась только «Ткацкая фабрика С.-М. Ашкенази». Буквы этой надписи, аккуратные, печатные, с завитушками, смотрелись замечательно.

Сидя за столом своего тестя, Симха-Меер заставлял его трепетать и биться, как муха в паутине. Он знал, что дела-

ет. Надо заставлять человека кипятиться как можно больше. Об этом он не раз слышал в доме своего отца. Чем больше кипятится человек, тем он становится мягче, управляемее, как бык. Симха-Меер знал, что в Лодзи сейчас несладко. Сезон нелегкий, наличный рубль дорог. Его не выпускают из рук, как драгоценный камень. Так что старик смягчится и согласится на все, что потребует Симха-Меер. Только бы подошли сроки платежей!

И он дождался.

Реб Хаим Алтер кипятился, выходил из себя, говорил за столом своему зятю, что у него каменное сердце, что он разбойник, а не зять. Но Симха-Меер ему не отвечал. Он вдруг углубился в изучение Торы и буквально не расставался с Геморой. Тесть избегал его, не говорил ему ни слова. Но когда подошли сроки платежей, а Шмуэль-Лейбуш так и не достал денег, реб Хаим Алтер помирился с зятем и, как предвидел Симха-Меер, пошел на все его условия. За десять тысяч рублей Симха-Меер стал компаньоном и владельцем трети ткацкой мастерской своего тестя. При этом он получил гарантии, составленные, проверенные и заверенные адвокатами и нотариусами, подтвердившими сделку между зятем и тестем. У реб Хаима Алтера глаза повылезали прежде, чем он снова увидел собственные деньги, за которые сосватал своей единственной дочери этого илуя, обладающего редкими способностями к изучению Торы, Симху-Меера.

— Ох, ну и тяжелый ты человек, Симха-Меер, — вздохнул реб Хаим Алтер после того, как они вышли из вонючей нотариальной конторы и поздравили друг друга с компаньонством.

Реб Хаим Алтер хотел видеть своего зятя в мастерской как можно реже и поэтому послал его в молельню заниматься Торой.

— Пусть ты мой компаньон, — сказал он ему, — но содержание ты получаешь и дальше, так что можешь сидеть себе в молельне и учить Тору. Мое слово — это слово.

Но Симха-Меер не собирался идти в молельню.

— Если компаньонство, то во всем, теть, — тоном святоши ответил он. — Я не допущу, чтобы теть работал вместо меня. Я буду работать наравне с тестем...

Когда реб Авром-Герш Ашкенази узнал от людей о делах своего сына Симхи-Меера, он сразу же послал за ним Янкева-Бунема. Стремительными шагами Янкев-Бунем отправился исполнять поручение отца. Минута была для него слишком долгой.

В столовой он встретил Диночку, которая по своему обыкновению сидела на кушетке с ногами, углубившись в чтение романов.

— Добрый вечер, — сказал он ей каким-то чужим голосом.

Она испугалась неожиданности этого голоса и вздрогнула.

Янкев-Бунем растерялся и схватился за козырек своей шелковой шапочки, как делал, когда видел ее на улице. Он совсем забыл, что он в доме. Диночка покраснела.

— Как дела у Янкева? — спросила она его в третьем лице, избегая обращения и на «ты», и на «вы»...

Она называла его только первым именем, Янкев, которое нравилось ей больше.

— Как дела у Диночки? — ответил вопросом на вопрос растерянный Янкев-Бунем.

Они оба опустили глаза и замолчали.

Симха-Меер встретил брата не слишком радостно. Он знал, что ничего хорошего в отцовском доме его не ждет, но все-таки пошел с Янкевом-Бунемом. Отец, как всегда, положил носовой платок на открытый том Геморы в знак того, что он не откладывает книгу, а лишь на короткое время прерывает изучение Торы, чтобы, освободившись, тут же вернуться к этому богобоязненному занятию. Реб Авром-Герш не предложил сыну сесть, он оставил его стоять.

— Симха, — начал он тихо, как всегда, когда бывал очень зол, — спросил ли ты у меня, можно ли тебе взять деньги из банка?

— Нет, отец.

— Почему ты взял деньги без моего ведома?

— Тесть находится в тяжелых обстоятельствах. — Симха-Меер изобразил на своем лице богобоязненность. — Мне очень жаль его.

— То есть ты хотел сделать доброе дело, да? — с издевкой спросил реб Авром-Герш.

— Да, отец, — прикинулся простачком Симха-Меер.

— Ну а слушаться отца — это не доброе дело?

Симха-Меер промолчал.

Реб Авром-Герш сдвинул ермолку на затылок и посмотрел на сына, строго посмотрел. Он хотел, чтобы Симха-Меер хотя бы опустил глаза, произнося свою заготовленную ложь. Но Симха-Меер даже глазом не моргнул. Богобоязненная мина застыла на его лице. Лживая набожность этого юнца вывела отца из себя.

— Скажи-ка, праведник, — бросил ему реб Авром-Герш, — разве я не велел тебе сидеть и изучать Тору?

— Я буду учить Тору, когда смогу оторваться от дел, — сказал Симха-Меер и добавил: — Не принимая на себя обета...<sup>1</sup>

— Нет, ты будешь учить Тору пять лет, столько, сколько ты должен жить на содержании у тестя!

— Я не могу допустить, чтобы тесть работал один. Ведь сказано, «развьючь ношу его вместе с ним»...<sup>2</sup>

Реб Авром-Герш буквально онемел на какое-то время. Библейские цитаты, на которые имел наглость ссылаться его сын, привели его в бешенство.

— Вероотступник, — прохрипел он. — Не смей даже переступить порога ткацкой мастерской, пока не закончатся пять лет твоего содержания у тестя! Немедленно дай мне руку и обещай, что так и сделаешь!

<sup>1</sup> В оригинале — «бли нейдер» (др.-евр. без обета).оборот, употребляемый в традиционном еврейском обществе при давании обещания, с тем чтобы обещание не было истолковано как обет («нейдер»), за неисполнение которого ждет кара.

<sup>2</sup> Шмот, 23:5.

Отец протянул свою волосатую жилистую руку, но Симха-Меер оставил отцовскую руку висеть в воздухе.

Какое-то время в комнате царил тишина, такая тишина, что было слышно горячее дыхание Янкева-Бунема. Правая рука реб Аврома-Герша висела в воздухе и ожидала руки сына. Но не дождалась. Реб Авром-Герш терпеливо переносил свое отцовское унижение целых, может быть, полминуты, но когда сын все-таки не сдвинулся с места, реб Авром-Герш поднял руку и со всей силы ударил Симху-Меера по едва покрывшейся бородкой щеке:

— Вон, сын бунтующий и нечестивый, вон из моего дома!..

Симха-Меер молча поднял шелковую шапочку, упавшую с его головы от отцовской пощечины, потер покрасневшую щеку и вышел из комнаты.

Кроме боли от пощечины, он не испытывал никакой другой боли или стыда. Он даже улыбался, идя по улице домой.

Какое значение имела отцовская пощечина для него, компаньона-совладельца ткацкой фабрики Алтера и Ашкенази, самостоятельного человека, собиравшегося покорить Лодзь. Он начинает сразу с пятидесяти станков и взгляд его устремлен вверх, к вершинам фабричных труб города!

Своими широкими ноздрями он втягивал в себя дым лодзинских труб и пыль лодзинских улиц, а ноги его уверенно ступали по грубо отесанному булыжнику лодзинских мостовых.

## Глава шестнадцатая

**С** тем же юным пылом, каким он прежде отличался за карточным столом в доме пекаря Шолема, Симха-Меер принялся работать в ткацкой мастерской, расположенной рядом с домом его тестя. Он повсюду совал свой нос, ко всему прислушивался — его заостренные заячьи уши вечно пребывали в

напряженном внимании. Его серые глаза, взгляд которых казался мягким, но на самом деле был упрямым, жестким и недоверчивым, видели все. Эти плутоватые глаза, эти острые уши, этот длинный нос высматривали, подслушивали, вынюхивали все и всюду.

Прежде всего он взялся за книги, за те самые запутанные бухгалтерские книги, которые вел его тесть вместе со своим слугой и в которых оба они постоянно вязли. Симха-Меер лучше бухгалтера-литвака разобрался в хаосе цифр, хасидских намеков, домашних примечаний и торговых записей, сделанных на неграмотном древнееврейском. Он подсчитывал, вычеркивал, удваивал, отнимал, добавлял. Все это он делал по-простому, по-домашнему, со множеством промежуточных результатов, но итог его был идеально точен. Закончив подсчеты, он больше никого не подпускал к бухгалтерским книгам, ни Шмуэля-Лейбуша, ни даже тестя. Теперь он вел бухгалтерию сам. Потом он взялся за письма, закладные, векселя и квитанции, обычно валявшиеся повсюду, главным образом в карманах бесчисленных лапсердаков, жилетов и брюк тестя. Симха-Меер не знал никаких нееврейских языков, только основы немецкого, которым его учил бухгалтер Гольдлуст по письмовникам, где давались образцы переписки между высокочтимым герром Саломоном Гольдманом из Лейпцига и высокочтимым герром Рабиновичем из Одессы. Еще хуже он знал русский — всего несколько слов, которые он слышал от бывавших у них дома литваков, комиссионеров и вояжеров. Но у него была хорошая голова. Поняв одно слово, он мог проникнуть в смысл десяти других. К тому же ему помогали нахальство и вера в себя, и он быстро начал отвечать на письма клиентов. Он писал корявые, но толковые письма и отправлял их вовремя.

Разобравшись с бумагами, он принялся за Шмуэля-Лейбуша. Первым делом он забрал у него кассу, которую реб Хаим Алтер доверял своему слуге на протяжении всей его службы. Шмуэль-Лейбуш не сдался без боя. За долгие годы он привык безраздельно властвовать в ткацкой мастерской.

Он нес тяжелое бремя всех деловых забот и снабжал реб Хаима Алтера необходимыми деньгами. Ему совсем не хотелось иметь над собой нового хозяина, к тому же такого молодого и плутоватого, сопляка, у которого еще молоко на губах не обсохло, который вечно теребит свою жидкую бороденку, словно надеясь, что так она быстрее вырастет.

Он не хотел подчиняться Симхе-Мееру. Он был глух к его приказам и смотрел на него сверху вниз, что очень радовало реб Хаима Алтера. И конечно, Шмуэль-Лейбуш не желал выпускать из рук кассу, к которой так рвался Симха-Меер.

— Я все выплачу хозяину, — сказал Шмуэль-Лейбуш, когда Симха-Меер потребовал от него проверки кассы каждый вечер.

Этим он дал понять Симхе-Мееру, что для него, Шмуэля-Лейбуша, хозяин — это только реб Хаим Алтер, хотя бы зять и стал его компаньоном. И он, Шмуэль-Лейбуш, будет и дальше вести себя, как прежде, не прислушиваясь к мнению каких-то выскочек. Реб Хаим Алтер был счастлив, что слуга не признает его новоиспеченного компаньона. Он протянул мясистые волосатые руки и стал распахивать деньги, которые давал ему не считая Шмуэль-Лейбуш, по всем карманам своего лапсердака и брюк, но так продолжалось недолго. Не успел Шмуэль-Лейбуш оглянуться, как Симха-Меер прибрал его к рукам. Сначала Симха-Меер вытурил его из ткацкой мастерской. Он приходил в мастерскую раньше слуги, еще до рассвета, вместе с рабочими, и уходил поздно вечером. Его было не дозваться к столу. Служанке Годес приходилось по нескольку раз бегать за ним в мастерскую и звать его к обеду.

Симха-Меер выдавал рабочим шерсть, смотрел, чтобы они не воровали и не ленились, проверял с лупой нитки, вникал во все детали и отслеживал качество товара. Рабочие стали относиться к нему как к знатоку дела, фабриканту, которого нельзя одурачить. Они начали считаться с его мнением. Только с ним и разговаривали по поводу работы, только на его приказы и реагировали, а на слугу Шмуэля-Лейбуша, за-

бегавшего время от времени в мастерскую и оравшего на них непонятно за что, не обращали внимания.

— Иди, иди, — выпроваживал его Симха-Меер. — Я тут, на месте.

Шмуэль-Лейбуш уходил обиженный, а потом и вовсе перестал заглядывать в мастерскую.

Вскоре после этого Симха-Меер отвалил его и от других дел. Он начал сам встречаться с купцами и комиссионерами, обдумывать фрахты, которые должны были отправляться вовремя. Купцы и комиссионеры, годами платившие комиссионные Шмуэлю-Лейбушу, теперь охотно вели дела с новым компаньоном, который комиссионных не брал. Кроме того, он был проворен, сообразителен, все понимал с полуслова. Так что он быстро заткнул за пояс Шмуэля-Лейбуша, показав всем, что дело со слугой иметь необязательно, а главное — не стоит давать ему денег, лучше платить их ему, Симхе-Мееру.

Слуга Шмуэль-Лейбуш пытался вести торговлю, как прежде, но куда бы он ни приходил, всюду ему отвечали, что молодой Ашкенази уже побывал здесь и обо всем сам договорился. Шмуэль-Лейбуш начал понимать, что нового компаньона не проведешь, что ему палец в рот не клади. И он стал больше уважать его, старался с ним не ссориться и снискать его расположение. Но Симха-Меер не хотел приближать его к себе, держал слугу на расстоянии. Более того, он давал ему поручения, словно мальчику на побегушках, так что Шмуэль-Лейбуш обижался и ворчал:

— Что этот Симха-Меер гоняет меня туда-сюда? Что я ему, мальчишка?..

Симха-Меер засовывал руки в карманы брюк, становился на цыпочки, чтобы прибавить себе роста, и серьезным тоном учил слугу уму-разуму.

— Не нравится — поищи занятие получше, — резко сказал он однажды. — И разговаривай со мной по-другому. Я что, вместе с тобой свиней пас, что ты обращаешься ко мне просто по имени?



Шмуэль-Лейбуш тут же пошел на попятную.

— Реб Симха не должен волноваться, — сказал он, опустив голову. — Я уже иду.

Симха-Меер перечислил ему поручения, которые он должен выполнить. С тех пор Шмуэль-Лейбуш был у него под пятой. Реб Хаиму Алтеру было обидно за слугу, но он ничего не мог поделать. Лентяй, бонвиван, любитель посидеть в молельне за хасидским застольем, вздремнуть после еды, поехать в жаркий летний день на свежий воздух за город, он теперь почти не появлялся в мастерской. Если же он и собирался что-то сделать, Симха-Меер успевал сделать это до него.

— Тесть может пойти отдохнуть, — говорил ему Симха-Меер тоном безграничной преданности. — Я сам обо всем позабочусь.

Реб Хаим Алтер с удовольствием укладывался на кушетку и читал хасидские сказки о деяниях праведников, захватывающие истории о помещиках-колдунах, о вредящих евреям волколаках, о Баал-Шем-Тове<sup>1</sup> и Божьих людях, которые ловили этих колдунов, используя священное Имя Господне, и превращали их в собак и котов. Лежа на мягкой кушетке, реб Хаим Алтер не забывал поучать своих сыновей, таких же, как он сам, лентяев и неженков, корил их за склонность к безделью.

— Брали бы пример с Симхи-Меера, — ворчал он. — Он никогда не отдыхает, подобно Самбатиону<sup>2</sup>.

В молельне Симха-Меер больше не задерживался. Он ограничивался тем, что наскоро произносил положенные молитвы. Вместо молельни он ходил по ресторанчикам, в которых сидели купцы, комиссионеры, маклеры, процентщики и просто евреи, проворачивавшие сделки, пили пиво, закусывали его сушеным горохом с перцем и торговали, маклерствовали, менялись, разговаривали о хлопке и шерсти, о низких и вы-

<sup>1</sup> Рабби Исраэль бен Элиэзер Бааль-Шем-Тов (Бешт; 1698–1760) — основоположник хасидского течения в иудаизме.

<sup>2</sup> Легендарная река, бурно текущая на протяжении шести будних дней и стихающая с наступлением субботы.

соких ценах, о заработках и убытках, о везении и невезении. Окутанные пылью и дымом, торговцы и коммерсанты сотнями сидели в этих шумных рестораничках, за грязными, исписанными мелом и залитыми пивом столиками и держали в руках растущий город со всеми его станками, трубами и магазинами. Именно здесь оценивали, кто богат, а у кого дела из рук вон плохи, кто человек солидный, а кто бедняк и побирושка, кто честный, а кто вор и пройдоха, которому нельзя доверять ни одной единицы товара.

За этими грязными столами продавали хлопковые поля за тысячи миль отсюда; устанавливали цены; расхваливали и поносили товары. С хасидскими притчами, коммивояжерскими анекдотами, комиссионерскими хохмами, сплетнями, злословием и грубыми шутками здесь продавали труд жилищных рук, бессонные ночи девушек-работниц с покрасневшими глазами, мозги химиков, изобретателей, изготовителей первых образцов. Проворные пальцы ощупывали товар, раскручивали мотки ниток. Среди всей этой деловой суеты нашел свое место и Симха-Меер. По обыкновению он прислушивался к разговорам, делал выводы и мотал на ус.

С жадностью страдающего от жажды он пил густой воздух рестораничков, не пропуская ни слова, сказанного за грязными пивными столами. Его еще мало знали, этого молодого человека, который постоянно теребил свою жидкую бородку, словно заставляя ее расти быстрее. На него не слишком обращали внимание, но Симху-Меера это не огорчало. Хотя он и не умел ждать, хотя он всегда торопился, он с юных лет, со времен карточной игры у пекаря Шолема знал, что не следует сразу выдавать козыри. Надо подождать, притвориться, что загибаешься, и потом внезапно бросить победную карту на стол.

До поры до времени он молчал, не высывался, ни во что не вмешивался. Зато он, как гриб, все впитывал в себя. Потихоньку и он начал вставлять в разговор слово: тут спросит о каком-нибудь дельце, там ощупает какой-нибудь товар, и, глядишь, обстряпал сделку. Он быстро усвоил лодзинскую

манеру разговаривать с людьми: вытягивать из них все что нужно и разыгрывать, если требовало дело, глухонемого, не давая ответа на поставленный вопрос. Он даже научился, как всякий лодзинский купец, брать собеседника за лацкан, чтобы пощупать материал, из которого сшит его костюм. Люди стали обращать на него внимание, расспрашивать о нем.

— Это сын Аврома-Герша Ашкенази и зять Хаима Алтера, — отвечали тем, кто о нем спрашивал.

— О! — с почтением говорили спрашивавшие и подвигались, чтобы дать ему место за своим столом.

Не успевали они оглянуться, как новичок становился среди них своим человеком, шутил, сыпал поговорками и хохмами, ловко отбиваясь от недоброжелателей и остряков, пытавшихся взять его в оборот и выставить на посмешище.

— Да, — восхищались им, — этот малый не пальцем делан. С ним держи ухо востро...

Мало-помалу сидевшим в грязных ресторанчиках стало ясно, что Симха-Меер, у которого едва пробивается борода, не просто сын своего отца и зять своего тестя, а, несмотря на юность, настоящий компаньон-совладелец ткацкой мастерской реб Хаима Алтера, куда он вложил целых десять тысяч рублей наличными, поэтому больше не просиживает штаны в хасидской молельне, а всерьез управляет делами тестя.

— Вот это серьезная птица, — стали кивать на него друг другу деловые евреи и приняли его в свои кружки. Купцы тут же начали говорить с ним о торговле, вокруг него завертелись маклеры, а солидные люди, намного старше его, стали отводить его в сторону и просить совета относительно тех или иных сделок, так чтобы другие их не слышали.

— Знаток, голова настоящего илуя! — кивали на него бородатые евреи. — Но пройдоха первый сорт, подметки на ходу режет...

Это было в Лодзи высшей похвалой.

Симха-Меер работал без устали. Его голова с высоким лбом, с коротко стриженными волосами, на которых шелковая ха-

сидская шапочка всегда лежала как-то сморщенно, не переставала думать, искать, выгадывать. Так, он рассчитал, что производимые их ткацкой мастерской женские платки слишком велики и широки, на них уходит много шерсти. Правда, они хорошо расходятся, эти платки. Прибыль от них немаленькая. Но где сказано, что они должны быть именно такой длины и ширины? Что за беда, если они будут немного уже и короче? Ни одна еврейка, ни одна кацапка в России не схватится, что ее платок меньше на один ряд. Что такое один ряд? Для покупателя ничего, а для фабриканта очень много. Симха-Меер, который всегда ходил с карандашом за ухом, чтобы вытащить его при первой необходимости и сделать подсчеты на чем придется — на бумаге, столовой скатерти, стене или подвернувшемся куске товара, — быстро вычислил, что каждый рабочий делает по три платка за смену, значит, всего производится сто сорок платков в день, почти тысяча платков в неделю и сорок тысяч платков в год. Если от каждого платка взять всего один ряд, что будет совсем незаметно, получится кругленькая сумма, очень неплохой доход за счет экономии шерсти.

Уже на следующий день он велел ткачам уменьшить число рядов в платках.

— Старик хочет, чтобы мы занькали ряд? — спросил Тевье-есть-в-мире-хозяин и подмигнул.

— Я не желаю слышать таких разговоров, — сразу же поставил его на место Симха-Меер. — Платки слишком длинные. Делай, что тебе велят, и поменьше болтай. Никто не должен знать, что происходит в мастерской.

И ткачи делали то, что им велел Симха-Меер. Они даже слегка растягивали платки, чтобы компенсировать сэкономленный ряд. Симха-Меер научил их, как надо ткать. Никто не заметил перемены. Не только женщины, но даже купцы. Все прошло гладко, как по маслу. Симха-Меер был очень доволен. Видя, что первое дело увенчалось успехом, Симха-Меер стал думать, на чем бы еще сэкономить. Он велел соткать платок из нитки, в которой шерсть была смешана с отходами. Лодзь

теперь кишела специалистами, изготовлявшими такие нитки. Только настоящие знатоки могли понять, что это не чистая шерсть. Но для этого и им приходилось раскручивать нитку. Купцы же такую нить распознать не могли. Для начала Симха-Меер сделал пробу, чтобы посмотреть, как пойдет. Прошло не хуже, чем с уменьшением числа рядов. И Симха-Меер стал крупным закупщиком самопальных ниток.

Чем дальше, тем больше он выискивал ходы, чтобы ввести в своей ткацкой мастерской экономию. Он велел соткать платок так, чтобы сверху была шерсть, снизу была шерсть, а в середине — хлопок. При этом он приказал выткать по краям платка красивые красные цветы. Тевье-есть-в-мире-хозяин умел украшать эти дешевые шали очень красивыми, яркими цветами. Русские женщины расхватывали новинку, и Симха-Меер поставил производство двойных платков на поток. Они стали сенсацией в Лодзи. Их тут же принялись копировать другие фабриканты, но пока они налаживали их выпуск, Симха-Меер успел сделать деньги.

Со временем он стал производить платки из одного только хлопка. Некрасивые, тонкие, но очень дешевые, доступные всем женщинам, включая самых бедных. Рабочие быстро производили эти дешевые платки — штук по семь в день. Товар был невероятно пестрым, почти кричащим. Несмотря на юные годы, Симха-Меер прекрасно знал, что дешевую конфетку обязательно надо завернуть в яркую обертку, чтобы она привлекала покупателей. И его платки их привлекали. Он получал заказ за заказом. Тесть дулся. Ему не нравилось, что его славная, солидная ткацкая мастерская производит какие-то тряпки, работает с хлопком и нередко гонит халтуру самого низкого сорта. Но Симха-Меер не слушал его. Платки его производства расходились лучше дорогих шерстяных и приносили отличный доход. Симха-Меер не понимал, почему он должен отказываться от такой прибыли.

— Где это в Торе сказано, что за шерсть местечко в раю дают лучше, чем за хлопок? — вопрошал он с напевом, подхо-

дящим для чтения Геморы. — Пусть тесть покажет мне. Мне очень хочется посмотреть.

Реб Хаим Алтер начал говорить о чести и достоинстве купца, но Симха-Меер был глух к его словам.

— Тесть может на меня положиться, — сказал он. — Зачем тестю себя беспокоить? Я обо всем позабочусь сам.

Реб Хаим Алтер почувствовал, что Симха-Меер уж слишком добр к нему, прямо праведник какой-то. Это обеспокоило его, даже напугало. Кроме того, его задевало то, что этот сопляк так влез в его дела, распоряжается всем направо и налево, чувствует себя в ткацкой мастерской Хаима Алтера царем и господином. Реб Хаим Алтер каждый день собирался взбунтоваться, взять дело в свои руки, снова стать хозяином, показать зятю, кто тут старший. Он вдруг врывается в мастерскую, принимался кричать, высказывать свое мнение, разговаривать с купцами, но и ткачи, и купцы видели, что он не знает, о чем говорит, что он понятия не имеет о том, как идут дела на предприятии, и они спешили отделаться от него и обратиться к Симхе-Мееру. Нет, он не мог взять назад то, что раньше упустил. Ведь и до Симхи-Меера он не вникал в торговые дела своей ткацкой мастерской. За него все делал Шмуэль-Лейбуш. Он только подписывал бумаги, векселя и брал деньги, когда они были ему нужны. И теперь он знал о коммерции не больше, чем прежде. Все делал Симха-Меер. Поэтому, поорав, пошумев без всякого толка и смысла, реб Хаим Алтер уходил из мастерской с тем же, с чем пришел.

Его зять, Симха-Меер, не относился к нему, Боже упаси, плохо, не пренебрегал им. Он, как в прежние времена слуга Шмуэль-Лейбуш, давал ему на подпись всякие бумаги и векселя, в которые реб Хаим Алтер толком даже не заглядывал, не разбирал, что там написано. Точно так же зять давал ему и денег на расходы — столько, сколько реб Хаим Алтер хотел. Его жена Прива, как всегда, протягивала свою пухлую, увешанную бриллиантами руку за деньгами. Да и у самого реб Хаима Алтера деньги уплывали между пальцев. Ему нужны были средства

на хасидские трапезы, на летние поездки по курортам. Симха-Меер ему не отказывал, но, в отличие от прежнего уклада, он не давал денег без счета, без записи. В отличие от своего тестя он не думал, что чем меньше счетов, тем больше удачи и благословения. Он все записывал, каждую копейку, каждый грош.

Слуга Шмуэль-Лейбуш очень тихо пробовал иногда огорчить своего хозяина.

— Реб Хаим Алтер, — ворчал он. — Этот малыш мне не нравится. Не спускайте с него глаз.

Но реб Хаим Алтер был ленивым человеком, любителем удобной и спокойной жизни. Он терпеть не мог огорчаться и есть себя поедом. Со всей твердостью, на какую он только был способен, он отмахивался от неприятностей и даже пылинке не давал сесть на свой покой и уют. Он не мог отказаться от мягкой кушетки, от хасидских трапез, от душистых сигар. Главным же образом, он не мог отказаться от Привы и пустить эту красивую женщину ездить одну по иностранным курортам, где мужчины едят ее глазами, когда она появляется с ней возле минерального источника. Он придерживался правила: восхваляя Бога за каждый день. Человек не должен терять уверенность в том, что с Божьей помощью все будет хорошо.

Реб Хаим Алтер брал у Симхи-Меера денег сколько хотел, а Симха-Меер записывал сколько хотел.

— Удачной поездки тестю! — желал он реб Хаиму Алтеру перед отправлением на курорт. — К чему вам тут мучиться в дыму и суматохе? Я уж обо всем позабочусь.

Подводя итоги года, Симха-Меер понял, что ткацкая мастерская принесла хороший доход. Его новые платки, экономия на шерсти, наведение порядка в бухгалтерских книгах, хождение между залитыми пивом столиками в грязных ресторанчиках, своевременное обеспечение фрагтов, внимательный надзор за ткачами — все сыграло в его пользу. Кроме того, в грязных ресторанчиках Симха-Меер заключил очень выгодные сделки. Он вовремя купил в кредит несколько партий хлопка и вовремя продал их с хорошей прибылью. Эти

сделки он не записывал в бухгалтерские книги. Они не имели отношения к ткацкой мастерской. Это были его собственные дела, тещь тут был ни при чем, и знать о них ему не полагалось. Симха-Меер этого хлопка у себя не держал и не для себя его покупал. Этих тюков с хлопком он даже в глаза не видел. Он купил их не глядя и так же не глядя продал. Кроме того, тещь получил с ткацкой мастерской намного больше денег, чем ему причиталось за этот год.

Симха-Меер с наслаждением записывал счета повсюду, на всех скатертях, упаковках товара, на стенах, на дверях. Его работа за первый год прекрасно окупилась. Он мог быть доволен, но он не был доволен.

Ему не давал покоя его брат-близнец Янкев-Бунем, который был моложе его на несколько минут. Так же как в детстве во дворе, он и теперь превосходил старшего брата. Симху-Меера мучила зависть. Он плохо спал в своей постели по ночам.

## Глава семнадцатая

Сразу же после свадьбы Симхи-Меера сват Шмуэль-Зайнвл повел речь о сватовстве для Янкева-Бунема, причем о такой роскошной партии, что реб Авром-Герш поначалу просто остолбенел, хотя удивить его было трудно.

— Кому вы хотите сосватать моего парня, реб Шмуэль-Зайнвл? — переспросил он. — Внучке реб Калмана Айзена?

— Да, да. Внучке Калмана Айзена, — ответил Шмуэль-Зайнвл, растягивая каждое слово и победоносно глядя реб Аврому-Гершу в глаза. — Именно так, как я тебе говорю, Авром-Герш: внучке Калмана Айзена.

Как всегда, он обращался к реб Аврому-Гершу на «ты», а Калмана Айзена, к имени которого евреи даже за глаза прибавляли «реб», называл просто Калманом.



Шмуэль-Зайнвл принялся хвастаться своей наглостью и даже соврал, что он запросто зашел к самому Калману Айзену и сказал ему:

— Слышь, Калман, я хочу, чтобы ты породнился с Авромом-Гершем из Лодзи...

Но реб Авром-Герш не стал его слушать. Он хорошо знал склонность Шмуэля-Зайнвла к преувеличениям.

— Сказал — не сказал, какая разница? — перебил его реб Авром-Герш. — Важно другое: это ваша собственная идея, реб Шмуэль-Зайнвл, или вас попросили поговорить об этом сватовстве?

— Попросили, попросили, — сердито ответил Шмуэль-Зайнвл, разозленный тем, что его рассказам не верят. — Сторона невесты заинтересована.

— Странно, — сказал реб Авром-Герш, беря хорошую понюшку табаку, чтобы у него прояснилось в голове.

Хотя реб Калман Айзен жил в Варшаве, не было ни одного еврея в Лодзи, да и во всей Польше, который бы не знал о нем. Его богатство оценивали в миллионы. К тому же он был большой гордец. Люди перед ним трепетали. А еще он был гурским хасидом<sup>1</sup> и ненавидел хасидов александрских. Поэтому реб Авром-Герш и не понимал, как могло случиться, что к нему послали из дома реб Калмана. И ради кого? Ради Янкева-Бунема! Он бы еще понял, если бы речь шла о Симхе-Меере. Тот хотя бы илуй. Но Янкев-Бунем?..

Единственным человеком, знавшим ответ на эту загадку, был сам Янкев-Бунем.

На свадьбе его брата, во время обряда бракосочетания, во дворе с ним заговорила какая-то девушка, зеленая и тощая, казавшаяся еще более зеленой и тощей в длинном белом шелковом платье.

— Может быть, вы немного отодвинетесь, кавалер, — сказала она ему, мешая еврейские и немецкие слова. — Я хочу

<sup>1</sup> Гурские хасиды — последователи ребе Ицхака-Меира Ротенберга (Алтера; 1799–1866) из польского местечка Гура-Кальвария (на идише — Гер).

увидеть хупу<sup>1</sup>, а вы, не сглазить бы, выросли очень высоким...

Он отодвинулся, но ей по-прежнему было не видно.

— Может быть, вы меня немного приподнимите, кавалер? — снова обратилась она к Янкеву-Бунему и рассмеялась, повернувшись к своей подруге. — И не трясите так рукой со свечой — вы забрызгаете мое платье воском.

Он покраснел. Она над ним смеялась.

— Вы думаете, я вас укушу? — сказала она опять на смеси еврейского и немецкого. — Я не кусаюсь.

Он ответил ей по-еврейски, на хасидский манер:

— Я ничего не думаю.

Девушка смеялась над его смущением.

— Вы совсем не выглядите таким святошей, каким притворяетесь, — сказала она ему и придвинулась ближе. Была такая теснота, что их прижало друг к другу. Внезапно, не понимая, как это произошло, они взяли за руки.

— Почему вашего брата женят раньше вас? — спросила она. — Вы же больше его.

— Он старше, — ответил Янкев-Бунем.

— О! — удивилась девушка. — А вы хотели бы иметь невесту?

Янкев-Бунем не ответил. Смущился.

Девушка сжала его руку.

— А вы хотели бы, чтобы вашей невестой была я? — спросила она и звонко рассмеялась.

Янкев-Бунем покраснел от макушки до пят.

— Вы красивый кавалер, — сказала девушка. — Но если бы вы не ходили в хасидской одежде, мне бы больше понравилось. А я красивая?

Он не ответил. Постеснялся. Кроме того, вокруг стояли люди. Но девушка не отставала от него. Она не обращала внимания на окружающих.

<sup>1</sup> Свадебный балдахин.

— Вы должны мне сказать, нравлюсь ли я вам, — потребовала девушка, и, хотя она ему не нравилась, теперь она показалась ему красивее. — Меня зовут Перл. Перл Айзен из Варшавы, — сказала она с гордостью. — Если угодно, мы с вами родственники, потому что я родственница невесты, Диночки, с материнской стороны. Я специально приехала на свадьбу из Варшавы.

Обряд бракосочетания закончился, и люди стали расходиться. Девушка крепко пожала ему руку и ушла вместе с толпой, пританцовывая под музыку клезмерской капеллы.

Больше Янкев-Бунем ее не видел. Он запомнил ее. Она была первой девушкой, взявшей его за руку и говорившей ему такие речи. Но он не строил никаких планов относительно себя и ее. Совсем иначе обстояло дело с варшавянкой Переле Айзен. Она влюбилась в этого рослого черноглазого парня с огненным взором. Прикипела к нему всем своим тощим, болезненно-зеленоватым девичьим телом. И стала просить, чтобы к отцу этого парня отправили свата.

Когда Переле пришла с этим к своему отцу, он побледнел.

— Переле, даже не говори об этом! — испуганно взмолился он и закрыл ей рот ладонью. — Не хватало еще, чтобы дед услышал.

Хотя деду реб Калману было уже за семьдесят, он крепко держал весь дом, а своих взрослых сыновей с седеющими бородами третировал как мальчишек. Все трепетали от одного его взгляда.

Он был миллионером. Сам он не знал, сколько у него денег. Так про него говорили — миллионер. А он и правда не считал свое богатство. У него было много домов. Целая улица домов в Варшаве. И эту улицу называли его именем — «улица реб Калмана Айзена». Владел он и обширными лесами и торговал деревом с государством. Он поставлял шпалы, столбы и прочие деревянные детали для всех железнодорожных и телеграфных линий, которые строило правительство. Но управлял он всем этим по старинке, как в те времена, когда

он был еще молод, только женился и владел одним маленьким дровяным складом на Железной улице в Варшаве. У него не было директоров и бухгалтеров. Так же как он достиг богатства собственными руками, он и управлять им хотел собственными руками, без всех этих новомодных порядков, без немцев и иноверцев с их бухгалтерскими книгами.

Он, реб Калман Айзен, ненавидел нововведения. У него был свой путь, от которого он не отступал ни на волос.

Хотя его сыновья были уже в летах, он все еще не допускал их до торговли. Всех их он держал при себе, в своем большом дворе, дав семье каждого просторную квартиру, обеспечивая их всем необходимым. Но действовать самостоятельно, пока он жив, он им не позволял. Их мнение в доме ничего не значило. Они даже не могли хлопотать о сватовстве для своих детей. Дед сам находил внукам партии, сам давал приданое. Когда появлялась новая пара, реб Калман приказывал пристроить еще один этаж или флигель в своем длинном дворе, растянувшимся на две улицы. Никому из его сыновей и зятьев не позволялось держать собственный стол. Все они должны были приходиться к столу отца, вместе со своими детьми и внуками. По обеим сторонам этого стола, длинного, идущего через весь огромный обеденный зал, сидело множество людей: все сыновья реб Калмана, его дочери, зятя, невестки, внуки и правнуки, не считая гостей, уважаемых евреев, меламедов, обучавших мальчишек из клана Айзена, и прочих домочадцев.

Сотрапезников обслуживало несколько служанок и слуг. Сидели в строгом порядке, по годам и родовитости каждого. В центре, на высоком отцовском кресле сидел сам реб Калман, высокий, видный, со снежно-белой бородой, и царствовал над домашними. Никто не смел прикоснуться к вилке прежде него; никто не мог открыть рот, пока он о чем-либо не спрашивал. И даже со старшими сыновьями, седобородыми евреями, он разговаривал как с юнцами.

Боялись его и все евреи Варшавы, даже самые богатые и ученые. Он ездил в карете, запряженной парой белых коней в се-

рых яблоках. Летом он вез с собой на курорт слуг и собственнo-го шойхета<sup>1</sup>. К ребе в Гур он тоже ездил в карете. И хотя он был хасидом и богобоязненным евреем, он носил глаженный воротник и головной убор, который сам придумал, — шелковый, с блестящим лакированным козырьком, как у иноверцев. Никто из его детей не смел носить такое на голове. Это была его привилегия. При всей своей набожности он ходил в иноверческом головном уборе. Поскольку он был очень богат, закон, запрещающий следовать путями иноверцев, распространялся на него не больше, чем на царя. В городе евреи судачили о его барских манерах. Говорили, что у него даже плевательницы серебряные. И когда он идет по улице, слуга несет за ним одну из них.

Больше всех боялся отца его младший сын Шлоймеле, который трясся от одного его взгляда. Шлоймеле не отличался особыми познаниями в святых книгах, не выделялся он и умом. Кроме того, в отличие от своих рослых братьев, он не был видным мужчиной и вообще старался не показываться отцу на глаза. Он никогда не брал слова на семейных собраниях, никогда ни во что не вмешивался и избегал высказывать свое мнение по любым вопросам.

— Я человек без собственного мнения, — говорил он про себя и отворачивался, чтобы его оставили в покое.

К тому же он был вдовцом. Его болезненная жена умерла. Дети его тоже не задерживались на этом свете. Единственным его ребенком, оставшимся в живых, была дочка Переле, болезненная, как и ее покойная мать. Она была упрямой и заносчивой. Отец ее боялся. У него затряслись руки и ноги, когда Переле стала говорить о том, что хорошо бы отправить свата к лодзинскому парню, который ей понравился.

— Прикуси язык. Я ничего от тебя не слышал, — сказал он ей, чтобы успокоить собственный страх. — Боже упаси, чтобы дедушка не узнал...

Никто в доме реб Калмана не осмеливался подыскивать пару своим детям. Это право принадлежало деду. По-

<sup>1</sup> Шохет (*ашкеназск.* шойхет) — резник для ритуального убоя птицы и скота.

стоянный домашний сват Азриэль Коэн, болтливый, злоязычный еврей, способный расстроить сватовство, когда ему это было выгодно, мог доложить о неповиновении домочадцев реб Калману. Поэтому реб Калман и держал его при дворе. Именно Азриэль устраивал все браки в клане реб Калмана. Он знал о состоянии и положении любой семьи. Он знал всю Польшу. Он мог проследить родословную каждого еврея на сколько угодно колен назад. Дом реб Калмана был его вотчиной. Он за всеми следил, и как только подходило время устраивать сватовство очередному внуку или внучке, он шел с докладом к реб Калману. Он никогда не ошибался — ни в деньгах, ни в родословных. Реб Калман всецело на него полагался. Иной раз случалось так, что реб Калману уже после свадьбы не нравился муж какой-нибудь его внучки и он велел ей развестись. И внуки разводились. Плакали, но разводились. О том, чтобы выбирать себе пару самостоятельно, никто в этом доме даже мечтать не мог. Реб Калман и особенно его сват Азриэль Коэн такого бы не простили. И Шлоймеле трепетал при одной только мысли, что ему надо идти к отцу и говорить с ним о парне, который так понравился Переле в Лодзи.

Но Переле, болезненно-пылкая, еще более родовитая от того, что она осталась у отца одна, заносчивая и упрямая, не сдалась, а продолжала добиваться своего. Она пошла к своей бабушке Тирце.

Бабушка Тирца, большая, старая и малоподвижная, была единственным человеком, к мнению которого реб Калман иногда прислушивался. Именно с ней он сколотил свое состояние. Она работала с ним, давала ему советы. Она была мудрая женщина. И хотя уже несколько лет она лежала и не вставала, она знала обо всем, что творилось в доме, — обо всех делах, торговых сделках, радостях и заботах.

В своей высокой кровати, в тюле и кружевах, парализованная бабушка Тирца царила над всеми так же, как царил за семейным столом ее здоровый муж. Каждое утро все дети и

внуки должны были приходиться к ее постели, желать доброго утра и целовать ей руку. Каждый праздник ей причитались поздравления. Все служанки и слуги ждали ее распоряжений относительно покупок и цен. У нее хранились ключи от шкафов с серебряной посудой. Кроме того, целый миньян евреев из числа домашних подкаблучников молился у нее каждую субботу и каждый праздник, чтобы она могла отвечать им «благословен Он», «благословенно Имя Его», «Аминь».

Вот к этой-то бабушке Тирце, к ее высокой постели и обратилась Переле. Старуха своим женским умом тут же смекнула, чего хочет внука.

— Что, влюбилась, непутевая? — спросила бабушка Тирца и покачала кружевами, украшавшими ее старую голову.

Переле с пылом бросилась целовать ее.

— Бабуся, бабушка, царица моя...

Старуха собралась с силами, погладила внучку по голове своими негнушимися руками и попеняла ей.

— Не полагаешься на деда, а?.. — вздохнула она. — Ну, ладно, я поговорю с ним... А почему ты такая зеленая? У девушки на выданье должны быть румяные щеки — у меня перед свадьбой щеки были как яблочки...

Бабушка Тирца любила Переле больше, чем других внуков. Ведь она осталась у отца одна. Ведь она была дочерью Шлоймеле, над которым смеялся весь дом. Как каждая мать, она больше любила самого слабого из детей.

Когда старуха позвала к себе мужа, велела ему сесть рядом с ней на кровать и начала говорить о Переле, старик поначалу стал кипятиться.

— Что это еще за любовь у меня в доме, как у каких-то музыкантов?! Не желаю слышать!

Но старуха снова велела ему сесть на кровать.

— Калман! — сказала она. — Ты играешь с огнем. Она осталась одна из стольких детей. Она сирота, бедняжка...

Реб Калман продолжал кипятиться, и старуха пустила слезу:

— Калман, дай мне увидеть перед смертью ее свадьбу. Я чувствую, что долго не протяну...

Старик притих и принялся вытирать нос большим платком.

— Наверное, так мне суждено на старости лет, — сказал он и погладил старуху по лицу своей жесткой рукой.

Он тут же послал главного слугу за Азриэлем Коэном.

— Скажи-ка, Азриэль, — обратился он к нему, — кто он такой, этот Авром-Герш Ашкенази из Лодзи? Не знаешь?

— Что значит — не знаю? — обиделся Азриэль Коэн и принялся излагать родословную Аврома-Герша Ашкенази до десятого колена, а также родословную всех его родичей и свояков. Кто от кого происходит, кто с кем породнился...

— Лодзь, Лодзь, — сердито проворчал старик.

Он не уважал Лодзи, этого нового растущего города, который он помнил еще маленьким местечком.

— А к кому он ездит, этот Авром-Герш? — пожелал знать реб Калман.

— В Александер. При жизни Воркинского ребе ездил в Ворку.

— Александер... Ворка... — поморщился старик.

Будучи настоящим гурским хасидом, он не желал слышать об этих хасидских дворах. Но выхода у него не было.

Когда Азриэль Коэн узнал, что речь идет о сватовстве с Лодзью, он был раздражен. Он уже нашел партию для этой девушки, куда лучшую, достойную дома реб Калмана. Кроме того, он не мог смириться с тем, что какая-то девица бунтует против него. Во всем, что касалось матримониальных дел, хозяином был он. И он тут же принялся оговаривать, запугивать, портить впечатление, показывать свою силу, но реб Калман велел ему уступить.

— Азриэль, — сказал он ему печально, — на этот раз мы должны смириться. Свои деньги за сватовство ты в любом случае получишь.

Но поскольку инициировать сватовство дому реб Калмана не подобало, Азриэль поехал за счет богача в Лодзь.



Там он встретился со своим заклятым врагом реб Шмуэлем-Зайнвлом, который сам когда-то был богачом и знал мир. Азриэль дал ему понять, что существует возможность такого сватовства, — реб Калман, конечно, о нем и слышать не захотел бы, но все же похлопотать можно. И если Бог поможет, вознаграждения за хлопоты хватит им обоим, однако пока дело надо держать в секрете, чтобы избежать лишних пересудов.

Шмуэль-Зайнвл сразу почувствовал, что Азриэль Коэн, его заклятый враг и хулитель, что-то слишком к нему подобрел, такие песни поет, просто мед сладкий. Он понял, что Азриэль сильно заинтересован в этой партии, но поскольку дело пахло очень жирным куском и для него, Шмуэля-Зайнвля, он не заставил себя уговаривать. Он отправился к реб Авром-Гершу и преподнес ему это сватовство на блюдечке, объяснив, что предложение исходит от стороны невесты.

Реб Авром-Герш позвал к себе Янкева-Бунема и внимательно посмотрел на него.

Он понял, что дело нечисто, что сработала тут не голова реб Калмана, а интерес самой девицы и что с Янкевом-Бунемом что-то не так.

— Скажи-ка, Янкев-Бунем, — резко спросил он, — что за дела у тебя с внучкой реб Калмана Айзена?

Янкев-Бунем покраснел.

— Я видел ее всего один раз, на свадьбе у Симхи-Меера.

Реб Авром-Герш глубоко вздохнул.

— Можешь идти, — сказал он сыну.

Он снова был недоволен сыновьями. Он видел, что слова Воркинского ребу сбываются. Но против такого сватовства он не возражал. Внучка реб Калмана! Однако, хотя раздумывать над этим предложением было нечего, он не сразу сказал «да», не выдал своих чувств и мыслей свату, а только небрежно дал ему понять, что есть о чем говорить.

Церемония тноим прошла тихо. Реб Калман не хотел придавать широкую огласку этому сватовству. В варшавских домах и так говорили о нем с удивлением. Но свадьба была

большая, как и все свадьбы в семье реб Калмана. Для проведения брачного обряда приехал сам Гурский ребе. Жених получил хорошее приданое — десятки тысяч рублей — и множество дорогих подарков. Кроме того, у невесты было большое наследство, оставленное ей матерью, деньги в банке и недвижимость. После праздника Швуэс<sup>1</sup> свадьбу отпраздновали в Варшаве.

Симха-Меер вместе с Диночкой, тестем и тещей, а также все родственники жениха с отцовской и материнской стороны отправились в Варшаву на торжество. Симха-Меер купил брату роскошные свадебные подарки. Своим трезвым умом он сразу понял, что Янкев-Бунем попал в среду больших людей, а с большими людьми надо жить в мире. Но радоваться за него Симха-Меер не радовался.

То, чего он, Симха-Меер, добивался трудом, головой, беготней, суетой, на его брата просто свалилось. Ни за что. Ни за его познания в Торе, ни за его ум, а просто так, по прихоти глупой девицы, которой понравилась его физиономия.

Симха-Меер чувствовал себя обманутым и смертельно обиженным. Что такое десять тысяч его приданого по сравнению с состоянием, которое упало на его брата?! Пустяки, мусор, шелуха, гонимая ветром! Его жгла зависть, давило тяжелое чувство обиды. Он не мог есть, не мог спокойно спать. Он торопился закончить трапезу. Вместо еды он вел подсчеты своим карандашом на столе, на салфетках, на скатерти. Ему не сиделось на месте. Он подсчитывал состояние брата: полученное им приданое, наследство его жены, часть семейного капитала, которую он получит после смерти реб Калмана, подарки. Он считал богатство Янкева-Бунема и записывал результаты где попало, на всем, что подворачивалось под руку.

Рядом с этими записями он ставил цифры из ткацкой мастерской, суммы своих доходов за год. Да, они были неплохими. За год он многого достиг, но это не шло ни в какое срав-

<sup>1</sup> Согласно еврейской традиции, между праздником Песах и Шавуот (*ашкеназск.* Швуэс) нельзя жениться, за исключением одного дня — Лаг ба-омер.

нение с тем, чего достиг его брат! И Симху-Меера пожирал огонь зависти и гнева, жажда еще больших заработков.

Он ему покажет, этому тупоголовому Янкеву-Бунему, кто из них старший! Янкев-Бунем увидит, что, хотя у Симхи-Меера одна голова да руки и жалкие десять тысяч на старте, он станет богаче его. Надо только взяться за работу! Это вам не жить на готовеньком! Хорошо смеется тот, кто смеется последним!

Теперь напряженнее, чем прежде, он думал по ночам о ткацкой мастерской, о том, как выжать из нее как можно больше. Он видел, что фабрике с ручными ткацкими станками нет места в Лодзи, что будущее принадлежит машинам. Он видел, что ручные станки — это околевающая старая кляча, которая тянет телегу на последнем издыхании; эта кляча должна дотащить его до паровых машин и фабричных труб, а после лечь и откинуть копыта. Нет, он не собирается вечно возиться с ручными станками. Его зовут фабричные трубы. Ручные станки — только ступенька, только кляча, тянущая его к цели, и ей надо дать последние удары кнутом, чтобы лучше тащила. Нечего скупиться. Незачем ее жалеть.

Больших доходов из дешевых платков он уже не извлечет. Он знает, что Лодзь — это город подражателей, всегда готовых перехватить у конкурента удачную комбинацию. Стоило ему заработать рубль, как другие тут же начали его копировать, конкурировать с ним и перебивать рынок. Придется придумать что-то другое. А пока надо экономить на чем только можно. Симха-Меер отстранил от дел маклеров и комиссионеров, бравших комиссионные, и связался напрямую с купцами и покупателями. Это дало ему неплохую экономию. Кроме того, он объездил местечки в окрестностях Лодзи и нашел еврейских ремесленников, которые готовы были ткать для него за бесценок, за более мизерную плату, чем рабочие в мастерской его тестя в Лодзи. Затем он додумался сократить недельное жалованье рабочих на полтинник, что дало ему чистой прибыли двадцать пять рублей в неделю, сто рублей в месяц и более тысячи рублей в год. И это не считая процентов.

Самым красивым почерком, которому он научился из письмовников, Симха-Меер написал соответствующее объявление и велел Шмуэлю-Лейбушу повесить его на стене ткацкой мастерской.

Подмастерья плакали, умоляли Симху-Меера не сокращать жалованья. Их жены приходили и припадали к его ногам, но Симха-Меер не изменил своего решения.

— Кто не хочет работать за эти деньги, может идти на все четыре стороны, — сказал он, засунув руки в карманы своих суконных брюк и встав на цыпочки, чтобы выглядеть выше. — Я вообще собираюсь переходить на паровые машины.

## Глава восемнадцатая

**В** синагоге ткачей «Ахвас реим», впихнувшейся в Балуте среди низеньких домишек ткачей и заборов угольных складов, царили духота и напряжение.

Ткачи уже давно сказали «Алейну лешабеах»<sup>1</sup> после субботней молитвы и с головы до ног оплевали идолопоклонников, чтущих глупых и пустых идолов, которые не откликаются на их мольбы и не помогают им<sup>2</sup>. Женатые ткачи уже упаковали дешевые талесы в специальные пестрые ремесленные мешочки. Холостые парни<sup>3</sup> спрятали крохотные молитвенники в карманы субботних укороченных лапсердаков из сукна. Тем не менее собравшиеся не торопились, как всегда в субботние дни, домой есть чолнт, а толкались около бимы.

<sup>1</sup> «Нам следует восхвалять» (*др.-евр.*) — завершающая часть молитвы.

<sup>2</sup> Осуждение идолопоклонников, содержащееся в тексте «Нам следует восхвалять», подкреплялось обычаем плевать на слова «они <идолопоклонники>... молятся божествам, которые не спасают».

<sup>3</sup> Согласно традициям ашкеназских евреев, холостые мужчины не надевают во время молитвы талит.

Там, на биме, где обычно читают Тору, стоял постоянный ее чтец Тевье по прозвищу Есть-в-мире-хозяин и стучал по столу с потертой бархатной скатертью.

— Евреи, тихо! — требовал он. — Евреи, дайте говорить!

На сей раз чтец Торы Тевье-есть-в-мире-хозяин призывал с бимы не к богослужению и изучению Торы. Он говорил не о проповеднике, который будет выступать перед прихожанами после положенного субботнего сна, не о новом покрове, который надо сделать для единственного в бедной синагоге свитка Торы, не о кидуше<sup>1</sup>, который устраивает один из ткачей, потому что жена родила ему дочку. В этот святой субботний день Тевье говорил с привыкшей к словам Торы бимы о весьма будничных делах. Он говорил о ткацкой мастерской, о жестоком решении Симхи-Меера уменьшить недельное жалованье всем подмастерьям реб Хаима Алтера на целый полтинник.

— Ша! Тихо! — шикали друг на друга набившиеся в маленькую тесную синагогу евреи в зеленоватых субботних лапсердаках. — Дайте послушать!

Но нелегко было унять шум и волнение, поднявшиеся в день субботнего покоя в маленькой балутской синагоге. Все вокруг жужжало, как в улье, из которого пасечник хочет вытащить воск и мед. Напасть, постигшая ткачей по воле Симхи-Меера, потрясла этот маленький и вонючий дом Божий от кончиков щита Давида, украшающего бедный священный кивот, до потрескавшихся стекол в низких окнах. Бледные, расстроенные люди в застиранных и залатанных субботних рубахах бурлили от гнева и боли.

И раньше, до напасти, которую возвестила бумага на стене мастерской, жизнь ткачей была тяжелой — они еле тащили лежавшее на их шеях ярмо. На маленькое жалованье, получаемое рабочими за их нелегкий труд, им еще приходилось покупать для работы сальные свечи и освещать ткацкие станки за свой счет. Зимними ночами, особенно в четверг и на исходе субботы, когда ткачи засиживались в мастерской, требовалось

<sup>1</sup> В данном случае — праздничная трапеза.

очень много свечей. И это сильно било по худому карману рабочих. Несколько недель, а то и месяцев в году они ходили на работу впустую, не получая никакого дохода. Тогда они жили на деньги, сэкономленные в более удачные и светлые рабочие дни. Но и в удачную светлую пору они зарабатывали так мало, что питались лишь отварной крупой и картошкой, заправляя еду не животным жиром, а вызывавшим изжогу растительным маслом. Мясо, самое дешевое, костлявое, а то и просто кусок легкого или печенки ткачи покупали один раз в неделю на субботу. Рыбу ели только в жаркие летние дни, когда от нее ломились базары и торговки сбывали товар по дешевке, боясь, что он испортится. Нередко в субботу ткачи обходились лишь рубленой селедкой с луком, а то и постным борщом. Не всегда бывало в их домах и дешевое изюмное вино для кидуша. Тогда обряд совершали над маленькими халами. Не могли они и зажечь в канун субботы по свече за каждого члена семьи, а деток у них, не сглазить бы, было много.

Талмуд торы<sup>1</sup>, в которых учились мальчишки из бедных семей, были тесными и убогими. Сынки богачей, ходившие в хедер, издевались над ними. Меламеды талмуд тор, которым синагогальные старосты вечно недоплачивали за преподавание, били бедных мальчишек, калечили их, старались выставить с занятий, а по пятницам отправляли их с кружкой для пожертвований собирать деньги на талмуд тору. Дети уходили домой в синяках, с подбитыми глазами и расцарапанными руками. Но и талмуд тор на всех мальчишек Балута не хватало. Приходилось отдавать сыновей в хедеры. Буквально голодать, чтобы заплатить меламеду. Не вмещала всех неимущих балутских больных и благотворительная больница, содержавшаяся на деньги общества «Томхей хойлим»<sup>2</sup>. Больных было много. Вечно болели от плохого питания и возду-

<sup>1</sup> Талмуд тора — традиционная начальная религиозная школа для мальчиков из неимущих семей. Содержалась на деньги общины, в отличие от хедера, за обучение в котором платили родители учеников.

<sup>2</sup> «Поддерживающие больных» (*др.-евр.*).



ха рахитичные и кривоногие опухшие дети рабочих. Женщины страдали вздутием живота от постоянных беременностей. Мужчины кашляли из-за пыли в мастерских, из-за удушающих запахов, которые они вдыхали, разбирая и расчесывая старое тряпье, идущее на вату или дешевые нитки. От местных членов общества «Томхей хойлим» толку было мало, разве что во время эпидемий они терли спиртом животы больных. Лекарства надо было покупать в шикарной аптеке, где не отпускали в кредит и заставляли снимать шапку перед иконой с красной лампадой. Балутский лекарь Сендер тоже ни на грош в кредит не доверял и от всех болезней лечил банками и клизмами, за что брал целый рубль. Дорожали картошка и овощи. По мере того как рос город, росла и цена жизни в нем.

Рано, еще до бар мицвы, отцам приходилось отрывать мальчишек от Торы и отдавать их в обучение мастерам, чтобы в семье стало на одного едока меньше. Матери отдавали дочерей, совсем еще девочек, в служанки, и те с малых лет таскали из колодцев ведра с водой для своих хозяек и качали чужих малышей на своих тонких детских руках. Невозможно было всех прокормить, кроме того, рты в рабочих семьях множились. Бог то и дело благословлял чрева бедных женщин Балута. Женщины резали себе пальцы, не успевая готовить еду. Рубахи и платья латали, чинили, зашивали и перелицовывали до тех пор, пока они не рассыпались прямо на теле. Душила квартирная плата. Редко у кого из ткачей был свой домишко. По большей части они снимали комнату. И первым делом из нескольких рублей жалованья рабочие откладывали золотой на плату за жилье: собирали монеты, завязывали их в узелок, чтобы иметь возможность заплатить хозяину квартиры вовремя. Даже в дни самой большой нужды к этому узелку не прикасались, и вдруг на тебе, изволь жить на заработок, который сократился на полтинник, на целый полтинник в неделю!

Женщины рыдали, проклинали жизнь и, отказываясь готовить, ставили перед мужьями пустые чугунки, черные и обколупанные.



— Готовь сам за эти деньги! — кричали они мужьям.

Пожилые ткачи, измученные непосильным трудом, молчали, приняв эту напасть на свои сутулые и костлявые плечи так же, как они принимали все страдания и тяжесть сгибавшего их рабочего ярма. Но те, кто помоложе, кипятились, кричали. Сильнее всех бушевал Тевье-есть-в-мире-хозяин. Больше, чем обычно, он бунтовал в ткацкой мастерской, чаще, чем обычно, распевал свою песенку, про которую никто не знал, откуда она взялась. Если раньше ткачи боялись подпевать ему, то теперь слова песенки доносились от каждого третьего, а то и каждого второго ткацкого станка. Сначала рабочие просто мычали мелодию под нос, потом осмелели и стали произносить слова четче и громче. Безобидные канторские напевы с руладами, которые они прежде пели за работой, полностью исчезли. Слуга Шмуэль-Лейбуш грозил им пальцем.

— Пойте, пойте, — ворчал он. — Вот услышит вас Симха-Меер, посмотрим, что вы тогда запоете.

Но его не слушали и продолжали петь. А после работы, как бы поздно она ни заканчивалась, Тевье-есть-в-мире-хозяин шел не домой, а ходил по Балуту из одного дома в другой и кипятился, устраивал сходы, рассуждал, убеждал, махал руками.

Его жена — крупная, рано состарившаяся еврейка, за чей фартук, подол и руки со всех сторон цеплялись дети; чью высохшую, почерневшую грудь сосал очередной младенец, толкая ножками ее набухший от новой беременности живот, — его измученная жизнью, крикливая и сварливая жена на чем свет проклинала мужа во всех переулках Балута.

— Тевье, — визгливо кричала она, — Тевье, чтоб ты так высох — да услышит меня Господь наш на небесах, — как засох, дожидаясь тебя, ужин. Чтоб из тебя, изверг, так вылетела душа, как она вылетает из меня, когда я в который раз разогреваю тебе ужин на кухне...

Разыскивая мужа, она таскала с собой всех своих детей, сколько их у нее было. И все они помогали ей кричать и шу-

меть. Но Тевье их не слышал. Он ходил от дома к дому, не ел, не пил, не спал, а только говорил, подстрекал, распаял — своим огнем, своим пылом — и не отступал, пока не заражал собеседника гневом.

— Единство, — повторял он. — Если мы будем заодно, им, этим бандитам, придется уступить.

С подмастерьями ему было нелегко. Усталые, привыкшие подчиняться хозяину и боявшиеся остаться не у дел, напуганные фабрикантами и фабричными трубами, которых в городе с каждым днем становилось все больше и путь к которым им был закрыт, потому что на фабриках работали по субботам; рабы собственных жен, забитые, измученные трудом и ко всему равнодушные, жаждавшие немного покоя и сна, никогда не евшие досыта, они были глухи, как камни, к речам Тевье, которые они хорошо понимали, но в которые они не верили.

— Так уж суждено, — отвечали они ему. — Это приговор небес.

Каждый боялся за себя, за свой кусок хлеба, боялся своего хозяина. Единственное, к чему они стремились, — это скопить немного, самим стать владельцами нескольких ткацких станков, взять на работу подмастерьев и работать на себя. Холостые парни ждали приданого, чтобы стать мастерами. А пока они утешались тем, что мучили и изводили более бесправных. Например, сезонных рабочих, работавших не за недельное жалованье, а от Пейсаха до Суккоса, и бравших плату за весь сезон, чтобы купить себе лапсердак и пару сапог. То, что подмастерья терпели от мастеров и их жен, они с лихвой вымещали на сезонных рабочих: обижали их, насмехались над ними, обзывали обидными прозвищами. А сезонные рабочие издевались над мальчишками-учениками — мол, я страдал, теперь и ты пострадай, чтобы каждый получил свое.

Единственным, кто поддержал Тевье и понял его, был Нисан, сын меламеда Носке.

Будучи сезонным рабочим, дни проводя за ткацким станком, а ночью учась по старым книгам, стремясь к образова-

нию и знаниям, он в полной мере ощутил, что такое быть ткачом в Балуте. Сначала он думал, что это временное пристанище, только чтобы заработать на хлеб и не зависеть от отца-меламеда, стремившегося приковать его к Геморе и как можно быстрее женить, освободиться от него и самому спокойно учить Тору; но потом Нисан, сын балутского меламеда, втянулся в работу и стал, как и другие ткачи из этого бедного района Лодзи и соседних местечек, еще одной нитью в полотне, которое ткали станки.

В конце концов отец примирился с ним. Он не ругал его, не кричал, он только вздыхал каждый раз, когда видел сына.

— Ой, Нисан, ой! — вздыхал он так, что сердце разрывалось.

Нисан не мог выносить вздохов отца. Он предпочел бы, чтобы тот его бил, орал на него, проклинал, как проклинали другие набожные отцы своих отошедших от веры детей, лишь бы не эти вздохи. При всем презрении к отцу он чувствовал и скрытую любовь к нему и не мог слышать, как он горестно вздыхает. Поэтому Нисан полностью перебрался к своему мастеру, как и остальные подмастерья с сезонными рабочими. И ощутил на своей шкуре всю тяжесть рабской доли сезонника.

Мелкие мастера, бравшие заказы у крупных подрядчиков, притесняли своих рабочих больше, чем фабриканты. Они сами порядочно терпели от фабрикантов и подрядчиков, которые за предоставление заказов требовали от мастеров денег и подарков. Без них они не давали заказов или цеплялись к мелочам, принимая товар, высматривали через увеличительное стекло дырки и пятна и забраковывали все, что хотели. Мастера были вынуждены платить им за каждый полученный заказ. Кроме того, мелкие подрядчики обманывали, обмеривая товар, присваивали по дюйму, а то и по несколько дюймов со штуки. Мастера видели это и молчали, потому что в противном случае они не получили бы новых заказов. Часто приходило плохое сырье, пересохшая шерсть, которая

постоянно рвалась, и нужно было то и дело связывать нитки. Это замедляло работу, а когда наступала пятница, мастера спохватывались, что субботу встретить не на что. Нередко они стояли за сырьем под дверью подрядчика, как нищие за подающим. А когда наконец относили готовый товар, в обмен получали не деньги, а вексель. И приходилось еще искать процентщика, который дал бы за этот вексель наличные, взяв за обналичивание свой процент.

Все расходы мастера компенсировали за счет подмастерьев, притесняли их, выжимали из них соки. Жены мастеров покупали у солдат на рынке черствый и дешевый хлеб, чтобы подмастерья много не съели. Каждое утро они нарезали скупые пайки хлеба каждому работнику и клали их на скамью. Подмастерья, недолго думая, отщипывали от выделенных паек и после обеда оставались совсем без хлеба.

— Хозяйка, дайте хлеба! — просили они со смущением. — Пожалуйста, еще один кусочек!

— Чтоб ты окошел! — проклинала их хозяйка вместо того, чтобы дать хлеба. Парни посмелее и попроворнее воровали кусочки хлеба с полки. Стыдливые же мучились от голода. Мяса они не видели никогда. Сахару к стакану цикория им полагалось только лизнуть. Работали они всю ночь при тусклом свете лучин и лампад с коптящими фитилями. Дым из кухни ел глаза. Дети плакали, женщины ругались, ссорились. А когда покрасневшие и уставшие от работы глаза совсем слипались, подмастерья укладывались на грязном полу и засыпали, подложив под себя куски товара. Зимой они страдали от холода, летом — от духоты, жары и тесноты, от назойливых мух.

Частенько готовый товар был сырым и в песке, потому что так же, как подрядчики обкрадывали и обирали мастеров, мастера обманывали подрядчиков. Они брали шерсть и хлопок по весу и возвращали их по весу, но поскольку они подворовывали сырье, им приходилось идти на уловки: ткать недостаточно плотно, а для сохранения веса мочить ткань водой и пересыпать ее песком. Сырость ткани до костей пронимала

тех, кто на ней спал, песок колот тело. Иной раз подмастерьев марала черная краска дешевых тканей и они вставляли утром чумазы, как трубочисты. Бывало всякое.

Подмастерья должны были пособничать мастеру в его кражах, удерживать шерсть или хлопок, растягивать готовый товар, чтобы ткань выглядела длиннее. А чтобы подрядчик не заметил жульничества, последние несколько дюймов штуки ткали плотно и гладко, как положено. Иной раз мухлевали с тканью не только в длину, но и в ширину. Подмастерьям приходилось делать все, что велел мастер, иначе они не получали своего жалованья в пятницу. Когда товар был готов, подмастерья готовили тюки, а потом несли их на плечах через всю Лодзь, к подрядчику, потому что мастер экономил на дрожках.

Угнетенные, бедные мастера, закабаленные фабрикантами и особенно их взяточниками-управляющими, будучи в рабстве сами, мучили собственных рабов. Они подгоняли своих людей, торопили их, не давали дух перевести, обзывали обидными прозвищами, ругали, проклинали. Их жены буквально выхватывали у работников кусок изо рта. Часто случалось, что подмастерье отработывал сезон, а мастер ему не платил. Пострадавшие подмастерья жаловались людям, обращались к раввинам, устраивали суды Торы, но денег так и не получали.

— На, забери душу! — кричал мастер, распахивая на груди подбитую ватой жилетку и обрывая при этом с нее все пуговицы. — Нету у меня. Я сам нищий!

Очень трудно было Тевье разговаривать с этими обиженными жизнью, измученными, надломленными людьми, убеждать жить в мире между собой, призывать к единству, к противостоянию хозяевам.

— Тевье! — предостерегали его. — Не вмешивайся в эти дела! Тебя же первого прогонят с работы!

Лучше всех его понимал Нисан, сын меламеда, который жил горькой жизнью сезонника и, как положено сезоннику, носил кличку. Нисан Дурная Культура — так звали его в мастерской. Нисану не нравилась ни участь сезонника, ни при-

клеенный ему ярлык, ни весь этот угарный и безумный образ жизни в бедных домах Балута. И он прислушивался к пылким речам Тевье. Вопреки советам, которые ему давали, Тевье не унялся. Усталый, измученный долгими часами тяжелой работы, издерганный криками и попреками жены, плачем своих детей, он тем не менее продолжал говорить, убеждать, втягивать в споры, приводить примеры из святых книг, обращаться к здравому смыслу, просвещать, вселять мужество, ободрять и призывать к единству.

— Только единство, — твердил он своим хриплым голосом.

К нему примкнул Нисан-сезонник. Так же как Тевье, после часов тяжелой работы и чтения книжек для самообразования, он находил время, чтобы ходить по домам балутских ткачей и призывать их к единству. Известный сын балутского меламеда и хороший знаток Торы, он нравился ткачам тем, что взялся за их работу, стал их человеком. Они гордились им. Им было приятно, когда в субботу он заходил в их маленькую синагогу. Балутские женщины тоже относились к нему с уважением. Они не понимали его, этого знатока Торы, который мог рассчитывать на достойную партию, жениться на дочери состоятельного хозяина, взять хорошее приданое, но вместо этого остался в Балуте и пошел в ремесленники. Но они уважали его. Благодаря ему их мужья выросли в их глазах и не казались больше людьми с самого дна жизни.

К тому же от него в Балуте было много пользы. Он читал матерям открытки от их женатых детей, живших где-то далеко. Он писал по-русски адреса солдаткам, отправлявшим письма мужьям, которые служили в России. Он учил грамоте девушек на выданье, чтобы они могли расписаться на брачном контракте. Он переводил русские бумаги, приходившие из полиции и из суда. Знаток Торы и народных пословиц, владевший даром убеждать людей доводами разума, с детства живший в нужде, несший бремя нищеты, понимавший, что значит быть бедным среди богатых на примере своей учебы с сынками богачей, учениками отца, — Нисан хорошо разби-

рался в тяготах рабочей жизни, умел все разложить по полочкам. Именно его слова о единстве трогали ткачей до глубины души. Еще большее впечатление он производил на их жен, которые обычно не заботились ни о чем, кроме своих горшков.

— Вот это острый язык! — хвалили его в глаза. — Такой парень пройдет и огонь, и воды!

Матери подрастающих дочерей буквально ели его глазами. И даже жена Тевье, сварливая злюка, меньше грызла своего мужа, когда Нисан сидел вместе с ним и другими рабочими за столом и говорил о единстве. Как только в Балуте стало известно о напасти, грозившей работникам ткацкой мастерской реб Хаима Алтера, Нисан, сын меламеда, взялся за дело. Он хорошо его помнил, этого Симху-Меера, сынка богача, учившегося у его отца и постоянно игравшего в карты на уроках. Уже тогда они ненавидели, не выносили друг друга, богатенький женишок с золотыми часами и сын бедняка-меламеда в рваной шапке и залатанном лапсердаке, из которого он давно вырос. Теперь их разделяла пропасть. Симха-Меер, фабрикант, который издает приказы, ломающие судьбы евреев, их жен и детей, и Нисан, сезонник из Балута. Хотя Нисан не работал у Симхи-Меера и его тестя, он ощущал обиду ткачей так, словно она касалась его лично. Каждая несправедливость в Балуте касалась его лично. Поэтому он сразу же встал рядом с Тевье и начал помогать ему. Не только тех ткачей, которым снижали жалованье, позвал Нисан в маленькую синагогу, но всех рабочих, из всех балутских переулков.

И люди пришли. Пришли ткачи и сезонники, мальчишки-ученики и даже бедные мастера. Маленькая синагога была битком набита. Люди толкались, пихались, ругались, махали руками. Каждый хотел говорить.

А на биме стоял Тевье, чтец Торы. Он великолепно читал Тору по субботам, добавляя своим чтением здоровья прихожанам. Его потертый и обтрепанный зеленоватый лапсердак, который он носил еще со свадьбы, был распахнут, мятый бумажный воротничок отстегнулся от рубашки и лежал на шее

сам по себе. А зеленые глаза Тевье метали огонь через стекла его очков.

— Евреи, единство! — горячо говорил он. — Надо держаться вместе, и мы сможем сами себе помочь.

Нисан, сын меламеда, развернул лист бумаги и прочитал собравшимся надпись, которую он вывел красивым почерком.

— «Статут общества балутских ткачей», — прочел он громко и торжественно, четко выговаривая каждое слово. — «Первое: ткачи, которые молятся в синагоге “Ахвас реим”, а также другие ткачи Балута не позволят, чтобы отрывали кусок от их убогого жалованья, потому что это равно грабежу; и они берут на себя обязательство не выходить в таком случае на работу и отдельно обещают, что не нарушат границы ближнего и никто не выйдет работать на место другого, потому что нарушение границ приравнивается к убийству, как если бы кто-то поднялся на ближнего своего и убил его посреди поля.

Второе: в четверг не следует работать всю ночь, а только до полуночи. На исходе субботы не следует работать до двух часов ночи, а только от окончания субботы и до полуночи в летние дни.

Третье: посреди недели следует работать не более четырнадцати часов в день, с шести утра и до восьми вечера. Не следует отрабатывать за время, необходимое для молитв минха и майрев, а также для молитвы шахрис в зимние дни, когда невозможно помолиться до начала работы.

Четвертое: в пятницу следует прекращать работу за два часа до зажигания свечей, а накануне праздника — за два часа до заката солнца, чтобы оставалось время сходить в баню, помыться после работы и приготовиться к субботе и к празднику.

Пятое: выплата жалованья за неделю не должна откладываться на другую неделю; жалованье должно быть выплачено подмастерьям в четверг вечером, чтобы им было на что приготовиться к субботе. Перед праздником жалованье тоже должно выплачиваться заблаговременно, потому что тот, кто



задерживает плату своему наемнику, приравнивается к грабителю.

Шестое: свечи для работы должен покупать не рабочий, а хозяин.

Седьмое: хозяева не должны называть работников кличками, потому что грех позорить своего ближнего. Они также не должны поднимать на работников руку и бить их, потому что тот, кто поднимает руку на ближнего своего, именуется нечестивцем. Подмастерья и сезонники тоже не должны называть друг друга кличками, унижать друг друга или, не дай Бог, бить. Не следует также обзывать и бить мальчишек-учеников, потому что каждый должен помнить, как сам он был унижаем и мучим. А тот, кто нарушит эти запреты, будет исключен из общества.

Восьмое: в дни постов следует работать только до молитвы минха.

Девятое: в будние дни Пейсаха и Суккоса следует работать только до молитвы минха.

Десятое: рабочие, сезонники и мальчишки-ученики, работающие на хозяев за ночлег и пропитание, должны получать еду, заправленную жиром. И кофе их должен быть забелен молоком и сдобрен сахаром, потому что, если они не едят досыта, но от них требуют работы, их хозяева приравниваются к египтянам, которые не давали сынам Израиля соломы, но требовали от них кирпичей.

Все десять пунктов этого статута были приняты в субботу недельного раздела Тазриа-Мецора<sup>1</sup> в синагоге «Ахвас реим», что в Балуте».

Со всех сторон поднялся шум.

— Правильно, правильно! — раздавались крики.

— Святые слова!

— Так не получится! — прервал эти крики чей-то полный сомнения голос.

<sup>1</sup> Недельные разделы Торы, которые, как правило (за исключением високосных годов), образуют пару. Выпадают на конец весны.

— Если будет единство — получится! — отвечали ему поверившие в идею единства ткачи.

Тевье постучал по столу для чтения Торы и, подождав, когда все успокоятся, произнес проповедь, длинную проповедь с притчами и цитатами из святых книг, с мудрыми поговорками, с примерами из повседневной жизни. Он очень точно сравнил рабочих с евреями в египетском рабстве, которые строили города Питом и Рамсес. Хозяев он сравнил с египтянами, а их слуг — с надсмотрщиками, которые сами были евреями, но были поставлены над собственными братьями, чтобы бить и истязать их, чтобы принуждать их делать непосильную работу. Он очень искусно растолковал, что так же, как египтяне замуровывали детей Израиля в стены, новые рабовладельцы, хозяева мастерских, заставляют рабочих превращать собственных сыновей и дочерей в полотно, которое они ткут, потому что когда ткачи работают день и ночь, но не могут дать своим детям ни капли молока и никакого лекарства, обрекая их рано покидать этот мир, то это все равно что замуровывать детей в стены Питома и Рамсеса.

— Правда, правда! — откликнулись слушатели. — Такая же правда, как то, что сегодня святой субботний день!

Убедив всех в своей правоте, Тевье потребовал, чтобы прямо на исходе субботы рабочие передали хозяевам эти десять пунктов и не выходили на работу, пока те не примут изложенных в «Статуте» условий.

Снова начался шум.

— Мы останемся без хлеба! — воскликнул кто-то.

— Они нам не уступят!

— Надо выйти по-хорошему, а то они разозлятся!

— Никто не примет таких условий! Первыми они вышвырнут бунтовщиков!

— У нас ведь жены и дети!

Тевье так саданул кулаком по столу, что закачался висевший над ним кривой светильник.

— Так же говорили и рабы в Египте! — гневно кричал он. — «Мы помним рыбу, — говорили они, — которую мы ели в Египте». Вы даже хуже их, потому что вы и рыбы не получаете, даже хлеба не получаете досыта. Но Моисей не обращал внимания на то, что болтали рабы, и освободил их от фараона!

Собравшиеся смутились и замолчали. Тевье победоносно взглянул на них и поднял руку.

— Я пойду к нашему фараону и буду говорить от имени всех. Но пусть никто не пытается хитрить и подлизываться к хозяевам. Пусть никто не нарушает границ и не выходит на работу. Не пугайтесь, будьте заодно. Если будет единство, мы победим!

Собравшиеся с пылом его поддержали.

— Никто не предаст! — воскликнули все.

— Я хочу от вас клятвы! — отозвался Тевье. — Клятвы в синагоге перед столом для чтения Торы, что никто не пойдет работать, пока не решит «Общество»; что никто не нарушит границы ближнего своего.

Пожилой ткач, еврей с колтунами в бороде, похожей на пук грязной ваты, с красными глазами, ломаный-переломанный, согнутый работой, бедностью и годами, ворвался на биму и стал стучать по столу дрожащей рукой.

— Евреи! — кричал он. — Мы не должны клясться, даже подтверждая правду. Евреи не могут клясться в субботу, это грех!

Но Нисан, сын меламеда, перекричал старика.

— Евреи, при угрозе жизни можно нарушить субботу, — сказал он. — А потеря хлеба для жен и детей приравнивается к угрозе жизни. Евреи, в таком случае можно клясться даже в Судный день!

Никого не спрашивая, твердыми шагами Тевье подошел к бедному деревянному священному кивоту, извлек из него единственный свиток Торы в потертом красном атласном чехле и торжественно положил его на стол бимы.

— На святой Торе, в этом святом месте мы даем слово, что никто из нас не выйдет один, без ведома всех на работу. Это равняется клятве. Дайте слово!

— Даем слово! — торжественно откликнулись все.

## Глава девятнадцатая

**Р**адостным упрямством и неуступчивостью встретил Симха-Меер начало войны с пятьюдесятью балутскими ткачами, работниками мастерской его тестя.

Реб Хаима Алтера не было дома: как всегда, сразу же после Швуэса он уехал на австрийские курорты вместе со своей Привой. Он не мог обойтись без нее, без этой красивой аппетитной женщины, так что он уложил большие кожаные чемоданы и взял с собой коробку с немецкой шляпой, которую он надевал на российской границе, чтобы его расфуфыренная, похожая на опереточную актрису Прива не стыдилась его в окружении немцев. Симха-Меер был рад отъезду тестя. Он хотел, чтобы тесть как можно меньше появлялся в ткацкой мастерской; особенно теперь, когда началась война ткачей. Но он не был рад, что вместе с тестем и тещей поехала и Диночка. Без жены ему было одиноко, он сильно тосковал по ней. Ее отъезд взволновал Симху-Меера и поселил в его душе беспокойство.

Нет, он не был счастлив в своем доме, этот Симха-Меер, широкими и победоносными шагами проходивший по оживленному городу. Его мастерские сделки, его гениальные ходы и нововведения, потрясавшие торговцев и маклеров из грязных ресторанчиков, не производили ни малейшего впечатления на его молодую красивую жену. За едой, попивая кофе, плутовато откусывая от намазанного маслом бублика, он пытался рассказать ей о своих делах. Он рассказывал громко и

взволнованно. С хасидским пылом, трепеща от радости, он хотел донести до Диночки все свои удачи, разъяснить ей все торговые комбинации.

— Понимаешь, Диночка, понимаешь? — заканчивал он свой рассказ с мелодией изучения Геморы, словно проводил урок как меламед.

Сам он был в восторге от своей гениальности и ждал, чтобы и Диночка за него порадовалась. Но Диночка не радовалась. Она его толком даже не слушала. Из того, что он рассказывал ей с пылом и страстью, она мало что понимала; она не хотела его понимать. Что ей премудрости лодзинской торговли? Она не ценила талантов мужа. Она видела перед собой лишь чокнутого молодого хасида, который не может спокойно сидеть за столом, пьет слишком большими глотками, пренебрегает хорошими манерами, тыкает бублик в масло, посыпает его солью, а потом трясет бублик так, что вся соль сыпается на стол и надо солить его снова.

Симху-Меера несло, поднимало с места. Во время еды он беспрестанно что-то считал и пересчитывал, писал карандашом на скатерти, на всех клочках бумаги, попадавшихся ему на глаза. Так же быстро, как он ел, он вдруг хватал стакан и в знак окончания трапезы стремительно наливал в него воды для омовения рук. Молниеносно произнеся положенное благословение, он бросался в расстегнутом лапсердаке к своим коммерческим делам.

— Понимаешь, Диночка, понимаешь? — спрашивал он быстро. — Хорошо сделано, а?

— Стряхни крошки с лица, — говорила она ему на это. — И не пиши за едой на скатертях. Все скатерти перепачкал...

Симха-Меер чувствовал себя больным, разбитым. Хотя он смотрел на женщин с хасидским презрением, как и его отец, он все-таки очень хотел понравиться жене. Своими плутоватыми хасидскими глазами, привыкшими все видеть, все замечать, он разглядел красоту Диночки, ее женские прелести. Она ему очень понравилась, и нравилась с каждым днем все

больше. Но Диночка держалась с ним как чужая, была холодна и молчалива с ним.

Он не мог ее ни в чем упрекнуть. Она была ему женой, во время накрывала ему на стол, давала в пятницу чистое белье, следила за тем, чтобы у него всегда были чистые носовые платки в кармане, напоминала, что перед выходом из дома надо привести себя в порядок, что надо стряхивать пепел с папиросы, который Симха-Меер вечно ронял на лацканы своего лапсердака. По праздникам она очень пунктуально ходила с ним в гости к его семье. Но во всех ее действиях по отношению к нему не было ни тепла, ни нежности, ни света. Она стряхивала с его костюма крошки и пепел совсем не так, как это делают, заботясь о мужьях, любящие жены. Скорее это была забота о себе и издевательство над чокнутым дикарем мужем. И Симха-Меер, при всей своей дикости и неотесанности, прекрасно чувствовал и болезненно переживал это.

Но больше всего его мучило холодное равнодушие Диночки к его победам и удачам. Он не был дешевой. Его уважали в Лодзи, носились с его шутками и ловкими коммерческими ходами. У него спрашивали совета. Люди приходили к нему для серьезных разговоров о серьезных делах. Среди знатоков Торы его тоже высоко ценили. При всей занятости и деловой суете он находил время зайти к евреям, посвятившим себя изучению Торы, посидеть с ними над святыми книгами и поставить их в тупик своими толкованиями пшата. Хотя женщина и не разбирается в таких делах, Симхе-Мееру хотелось рассказать Диночке о своем величии. Пусть знает, какой у нее муж! Но она не желала выслушать ни единого слова о его делах; ни в грош не ставила его.

Симха-Меер терялся, не умея привлечь к себе ту, чьей любви, веселого взгляда он жаждал. Он хотел привязать ее к себе, сделать по-настоящему своей, но не знал как. У него не было к ней подхода. Его мир ограничивался хасидами из молельни с их спорами по поводу разных ребе и лодзинской коммерци-

ей: векселями, дебитом, кредитом, хлопком и шерстью. Ей эти вещи были чужды, она не понимала их и не интересовалась ими. Как и в девические годы, она жила романами про рыцарей и княгинь, замки и дуэли. Ее мысли витали в этом далеком и чужом, фантастическом и захватывающем мире.

— Бог мой, как я испугалась! — хваталась она за сердце, когда муж вдруг подходил и брал ее за руку во время чтения.

— Что ты читаешь? — спрашивал он, хотя и сам видел.

— Книжки, — отвечала она и вытягивала свою руку из его руки, даже не поднимая на него взгляда.

И Симха-Меер возненавидел эти книжки, в которые его Диночка погружена целиком. Ему захотелось еще раз взглянуть на романы, которые отнимают у него жену. С хасидским любопытством и непосредственностью он вырвал из рук Диночки книжку и заглянул в нее. Он дважды прочитал отрывок, в котором речь шла о каких-то иноверцах и их любви, и с отвращением бросил книжку.

— Даже если мне приплатят, чтобы я взял это в руки, — сказал он со злобой, — я не возьму. Зачем это нужно?

Но чем отстраненнее держалась Диночка, тем больше Симху-Меера к ней тянуло. Его влекли ее мягкие белые руки, которые сияли, выглядывая из длинных черных шелковых рукавов. Ее сладостная точеная шея, округлости ее тела, ее красота и женственность расцветали с каждым днем. Симха-Меер дрожал от возбуждения, стоя возле нее.

Правда, он никогда не отказывался от того, что ему причиталось как мужу. Но это было по ночам, в темноте. Он мог ее заставить, но не разжечь. Днем же, когда нельзя требовать положенного по закону, а можно только смотреть друг на друга, дарить улыбки и любить, у него не было ключа к той, которую ему дали в жены за многие тысячи рублей наличными. После нервотрепки и беготни среди людей, общения с отцом и матерью, тестем, хасидами в молельне, купцами, рабочими в ткацкой мастерской он жаждал тепла, любви, ему хотелось услышать доброе слово, почувствовать нежность; но Диночка

ка отталкивала его. Без слов, одним лишь взглядом светлых глаз она замораживала кровь в его жилах.

Он с еще большим пылом бросался в дела, лишь ненадолго забегая домой, чтобы поесть, и вновь спеша к людям. Там, среди сделок и спекуляций, был его мир, там он властвовал. Домой он возвращался только по ночам. Но и ночи не были медом — разве такими должны быть ночи молодого мужчины в первый год после свадьбы? Она не сопротивлялась — этого еще не хватало! — но взаимности его хасидский пыл не встречал. И хотя он не знал других женщин, он чувствовал, что совсем не на это он рассчитывал, будучи холостым. Симха-Меер вставал раздраженный, с тяжелой головой и был желчен, злобен и упрям с людьми.

В скором времени в доме случилось важное событие. В один прекрасный день Диночка упала на шею матери и, покрасневшая, смущенная, расплакалась из-за изменений, которые произошли в ее теле. Мать поцеловала дочь, посмеялась над ней и вытерла ей глаза.

— Дурочка, — утешала она ее, — о чем тут плакать? Сообщи Симхе-Мееру эту новость.

— Не пойду, мамочка, — сказала Диночка и снова не сдержала слез.

Симха-Меер очень обрадовался и почувствовал себя настоящим мужчиной, когда теща зашла к нему и тихо, покраснев, как девушка, сообщила о беременности Диночки.

— Она могла бы уже выбросить свои дурацкие книжки, — заметил Симха-Меер. — Она ведь не маленькая.

Симха-Меер был уверен, что теперь все изменится, что она наконец-то выбросит из головы все эти глупости, романы и грезы и станет ему женой, будет любить его. Он терпеть не мог, когда что-то ему противилось, когда ему не удавалось подчинить себе кого-то целиком. Правда, он, как и его отец, как все хасиды, презирал женщин, но, несмотря на это презрение, Диночка имела власть над ним. У нее было что-то такое, чего он жаждал и что она не хотела ему подарить. Поэ-



тому слова тещи придали ему уверенности. Уж теперь-то он в доме хозяин! Но Диночка относилась к нему по-прежнему.

В отличие от других женщин, она не испытала ни капли любви к мужу, даженося в чреве его дитя. Она сразу же перенесла свои мысли и чувства на того, кто должен прийти, на крошечное существо, которое она пока не ощущает, но про которое уже знает, что оно покоится в ней. Она могла часами лежать на кушетке и напряженно прислушиваться к собственному телу, словно подстерегая внутренний шорох.

— Мамочка, я чувствую его, — говорила она. — Послушай.

— Глупая ты молодка, — смеялась над ней мать. — Тебе это только кажется. Еще слишком рано...

— Но я чувствую, — твердила Диночка, и счастливая улыбка материнства озаряла ее лицо.

Забеременев, она не подурнела, как другие. Напротив, она стала еще красивее, мягче, женственнее. На ее светлом лице не появилось ни единого пятнышка, как это бывает с беременными. Голубые глаза стали теплее и заблестели ярче. Особое очарование Диночке придавала чуть приподнятая верхняя губа, открывавшая ее жемчужные зубки. Прива все время боялась, как бы дочь не сглазили. Симха-Меер не мог насмотреться на ее расцветшую красоту.

— Диночка, как у тебя дела? Что ты делаешь? — плутовато спрашивал он, пытаясь заманить ее к себе в комнату, чтобы покрыть поцелуями ее тело.

Но она чуждалась его, как и прежде. Даже больше прежнего, ведь она была будущей матерью, тело которой во время беременности недоступно для мужа. Теперь она отдалялась от него даже по ночам.

— Я устала, — говорила она ему и отворачивалась к стене.

А когда прошел Швуэс и ее родители поехали за границу на курорт, она упаковала свои платья и поехала вместе с ними. Она даже не спросила согласия мужа.

— Будь здоров, — только и сказала она ему, не называя его по имени и не глядя на него.

Он чувствовал себя обиженным, обманутым и одиноким. Ему было очень тоскливо в пустых комнатах большого дома тестя. Еще более одиноким он чувствовал себя по ночам. Широкая застеленная кровать рядом с его кроватью не давала ему покоя, издевалась над ним. Ему в голову лезли разные дурные мысли, сомнения и подозрения — молодая женщина за границей одна, без мужа, среди бездельников и немцев!

В будние дни он был поглощен работой, коммерцией, беготней. По субботам он был опустошен и подавлен. Он томился долгими летними субботами, когда дни тянутся как вечность и нельзя пойти ни в ресторанчики к купцам и маклерам, ни в ткацкую мастерскую. Заниматься святыми книгами он не имел больше ни малейшего желания. Они навевали на него скуку чуждыми ему законами и проблемами. Кроме коммерции, работы, он не находил интереса ни в чем другом.

В такое-то время, в жаркий субботний день, когда Симха-Меер не мог дождаться первых трех звезд<sup>1</sup> в задымленном небе Лодзи, чтобы как можно быстрее прочитать будничную вечернюю молитву, совершить обряд авдолы и бежать с папиросой в руке в ткацкую мастерскую, к нему и пришли со своим «Статутом», написанном на разлинованном тетрадном листе, Тевье-есть-в-мире-хозяин и Нисан, сын балутского меламеда.

Некоторое время Симха-Меер молча рассматривал этих евреев в субботних лапсердаках. Сюда, в дом хозяина, еще никогда не поднимались подмастерья из Балута. Вошли они несмело.

— Доброй недели, — тихо сказали они.

Симха-Меер глубоко втянул дым папиросы, о которой он нетерпеливо мечтал всю субботу. И потому выпустил дым прямо в глаза вошедшим, вместо того чтобы ответить на их приветствие.

— Вниз, вниз, — прорычал он, — в мастерскую.

Но Тевье подsunул ему листок бумаги и сказал:

— Вниз нам незачем спускаться. Будьте любезны, сперва прочтите это.

<sup>1</sup> Знак окончания субботы.

Симха-Меер с плутоватым любопытством вырвал листок из рук Тевье и пробежал его глазами за считанные мгновения.

Сначала он поиздевался над этими людьми. Он мял листок и смотрел им прямо в глаза.

— Кажется, ты сын меламеда реб Носке, — сказал он Нисану и смерил его взглядом. — Какое отношение ты имеешь к нему? — Он ткнул пальцем в Тевье.

— Я ткач, — ответил Нисан.

— Вот как, — сказал Симха-Меер, растягивая слова и подергивая бородку. — Ты стал ремесленником? А что по этому поводу говорит твой отец?

На этот вопрос Нисан ему не ответил. Тогда Симха-Меер поглубже засунул руки в карманы своего субботнего лапсердака, который он еще не успел снять, и сердито продолжил:

— Кажется, ты не работаешь у меня. Так что же ты приходишь ко мне с делами?

— Я пришел от имени ткачей, — ответил Нисан. — Они послали меня переговорить по их делу.

— А я не хочу с тобой разговаривать, — сразу подрезал ему крылья Симха-Меер. — Никакие посредники мне не нужны...

Нисан растерялся. Во-первых, он не знал, как разговаривать с Симхой-Меером. Он не мог сказать ему «ты», а «вы» говорить не хотел. Во-вторых, он не ждал такого резкого отпора. Он чувствовал себя очень неудобно в этом богатом доме, так же как в детстве, когда он тушевался перед богатыми дядьями, к которым мать посылала его просить денег. К тому же Симха-Меер бросил на пол листок со «Статутом», который он, Нисан, так прилежно переписывал. Видя это, Нисан упал духом и смущенно замолчал. Однако Тевье поднял с пола мятый листок, разгладил его и жестко сказал:

— Все ткачи заодно. Единство! Читайте.

Симха-Меер еще раз просмотрел «Статут».

— Стало быть, это и есть единство? — спросил он с мелодией изучения Геморы. — Хотят меньше работать и больше получать, да?

— Да, — откликнулся Тевье, — больше денег и меньше работы.

— Ну а если я не захочу уступить? Что вы такого сделаете?

— Мы не будем работать, — сказал Тевье.

— А кто даст ткачам денег на жизнь, ты?

— Мы все равно голодаем, так что хотя бы не будем работать, — сказал Тевье. — Сил больше нет.

— Это все твои вероотступнические штучки, Тевье, — погрозил ему пальцем Симха-Меер. — Твои и вот этого парня. Вы заморочили людям головы. Вы вырываете у них кусок хлеба изо рта.

Он представить себе не мог, что работа встанет. Сколько он себя помнил, с самого детства до него доносился шум работающего города, он видел людей, приросших к ткацким станкам. Это было так же просто и закономерно, как утренний свет при пробуждении. У него в голове не укладывалось, что может быть иначе.

— Они раскаются, — сказал он. — Пусть только наступит четверг и их женам надо будет готовиться к субботе. Они придут меня умолять. В ногах у меня будут валяться.

Ткацкая мастерская пустовала неделю, но никто не пришел, чтобы упасть Симхе-Мееру в ноги. Женщины в Балуте печально вздыхали, некоторые кричали, что их семьи умрут с голоду, что их без ножа режут. Они со свету сживали своих мужей, требуя, чтобы те вышли на работу, так же как прежде они ставили перед ними свои горшки и заявляли, что за деньги, которые приносят им мужья, пусть они сами и готовят. Теперь они первыми оплакивали тот золотой век, когда их мужья приносили домой несколько монет и на эти деньги можно было закупить всякой всячины, от картошки до буханки хлеба.

— Разбойник! — ругали они мужей. — Сжался над этими маленькими ласточками!

Но мужья не шли на попятную.

Симха-Меер растерянно ходил вокруг пустующей ткацкой мастерской. Он не мог заснуть без шума станков. Он не видел смысла в жизни без работы. Он с нетерпением ждал четверга, когда рабочие придут его умолять, падать ему в ноги, но они не пришли. И как назло, все время поступали заказы. Все новые и новые, с каждой почтой. Симха-Меер сунулся было на рынок труда, искал других ткачей, посылал Шмуэля-Лейбуша за ремесленниками, но ничего путного из этих попыток не вышло. Работы в городе было много, поэтому удалось найти только несколько медлительных старых немок да двух-трех пьяниц, которые больше пили, чем работали, и за которыми все время приходилось следить, потому что они крали при всякой возможности.

В субботу Симха-Меер послал в синагогу «Ахвас реим» меламеда, которому платил его тесть, чтобы тот занимался с ткачами Торой. Он долго говорил с меламедом, просил его во время занятий увещевать ткачей, уговаривать их не дать себя обмануть и сбить с пути людям, которые хотят вынуть кусок хлеба у них изо рта; убеждать их вернуться на работу, а хозяин их простит. Но на этот раз ткачи не стали заниматься с меламедом и слушать его поучения. Вместо этого Тевье и Нисан учили их в синагоге, что надо и дальше держаться твердо, до победы. Что надо только хранить единство.

— Я заложил подушку, чтобы купить хлеба, — вздохнул один из ткачей.

— Я снял со стола медный подсвечник и обменял его на картошку.

— Я на субботу заложил талес и тфилин.

— Единство, только единство. И мы победим, — ободрял их Тевье. — Вот пройдет несколько дней, и хозяева сами пошлют за нами. Вы увидите, что так и будет, как я говорю. Они несут убытки от того, что ткацкие мастерские стоят.

Он, Тевье, знал, о чем говорит. Он знал город и разбирался в коммерческих делах. Мастерские с ручными ткацкими

станками не могли себе позволить простаивать в этом городе, где с каждым днем выросло все больше фабричных труб и где машины брали верх над руками человека. Еще лучше Тевье понимал это Симха-Меер. Он то и дело подсчитывал на каждом попавшемся ему клочке бумаги, какие убытки приносит ему день простоя сейчас, когда приходит так много заказов и можно прилично заработать. Нет, некстати пришлось ему эта война с ткачами. Правда, он не уважал ручных станков и не собирался на них задерживаться. При первой же возможности он перейдет на паровые машины, на трубы. Но чтобы добраться до труб, надо пока работать на ручных станках, делать на них как можно больше денег, гнать их как можно быстрее. Простаивание ткацкой мастерской было ой как невыгодно теперь, когда надо торопиться. Симха-Меер не переставал мусолить кончик карандаша и делать записи на всех подворачивающихся ему бумажках, на всех скатертях, которые ему стелили, чтобы подать еду.

Но с другой стороны, он подсчитал, что, если он уступит, это обойдется ему еще дороже. Кроме двадцати пяти рублей в неделю, которые ему придется платить, как раньше, и которые в месяц составляют целых сто рублей, а в год — двенадцать сотен, не считая процентов; эти наглецы, эти нищие хотят меньше работать, не покупать свечей, не отрабатывать на исходе субботы за день, когда они отдыхают, и находят еще массу поводов для безделья. Это просто неслыханно. К тому же аппетит приходит во время еды. Только дай собаке палец, она захочет всю руку. Надо сразу не давать пальца. Правда, приходится нести убытки из-за простоя ткацкой мастерской. Заказы поступают, а выполнить их невозможно. Таким образом, самому себе портишь рынок. Но пусть они ослабеют — они еще придут проситься назад, падать в ноги будут, с Божьей помощью. Они отработают причиненные простоям убытки, и с прибылью. Они за все заплатят. Работа будет сделана. Деньги будут накоплены. Пройдет несколько лет, и айда — переход на паровые машины и трубы.

— У меня есть время, — сказал он себе, попивая пиво и закусывая его жестким перченым горохом. — Надо только дать им понюхать перцу...

Им пришлось понюхать перцу в Балуте. Шмуэль-Лейбуш выяснял положение каждый день и передавал новости Симхе-Мееру.

В маленьких балутских лавчонках, где во всех жестяных коробках с конфетами роятся мухи и осы, растрепанные, усталые и потные лавочницы не выпускали из рук ни куска хлеба, не получив за него денег.

— Долговые книги уже опухли! — кричали они, показывая свои заляпанные селедкой тетрадки с неграмотными записями. — Нет хлеба в долг! Пекари нам его тоже не в подарок дают.

Жены ткачей приносили вещи в залог: разорванную на волочку, завалывшееся в сундуке старомодное свадебное платье, зимний головной платок и даже Пятикнижие на идише. Но скоро вещи для залога кончились. Потянулись долгие, бесконечные дни, а дети все время дергали женщин за фартуки: «Мама, хлеба!»

Ткачи, целыми днями теперь слонявшиеся по узким переулкам в субботних лапсердаках, которые они не снимали, потому что не ходили на работу, шумели и кипятились. На каждом углу собирались группки рабочих. Они разговаривали, бурлили, махали руками.

— Тевье прав, — говорили молодые женщины. — Главное не сдаваться, не падать духом, и мы победим.

— Вам легко говорить, — вздыхали женщины постарше. — Дети за вами еще не бегут и за полы не хватают. Почувствуй вы то, что чувствуем мы, вы бы по-другому заговорили. Симха-Меер найдет новых рабочих, а мы останемся ни с чем.

— Надо пойти его умолять, сказать ему, что мы этого не хотели, что все это работа Тевье и Нисана, — ворчали пожилые, сломленные женщины. — Иначе придется повесить торбу на шею и идти побираться на старости лет.

— Мы дали клятву, — со страхом говорили мужчины.

— Раввин освободит нас от клятвы, — видели выход другие. — Ведь это угроза жизни.

Без ведома своих мужей женщины стали ходить к Симхе-Мееру и просить у него несколько монет в долг.

— Мой старик отработает, — говорили они. — Дети мучаются без хлеба. К кому же нам пойти? Вы ведь нам как отец!

Симха-Меер денег не давал. В таких делах он никогда не торопился. Он знал, что деньги как птицы. Они редко возвращаются, если их выпустить из рук. Но на увещевания женам ткачей он не скупился. Он читал свои проповеди, пока они не уставали его слушать.

— Эти гултаи<sup>1</sup>, этот Тевье с сынком меламеда, погубят ваших мужей, — говорил он с чувством. — Они их лишат и этого, и того света.

— Чтоб у них рты были на затылке, — проклинали зачинщиков женщины, — за те сладкие речи, которые они вели!

— Они еще уговорят ваших мужей креститься, — пророчествовал Симха-Меер. — Они еще велят им бросить жен и детей на произвол судьбы.

— Горе нам! — принимались причитать женщины, заламывая свои бледные, худые руки так, словно мужья уже бросили их. — Надо поганой метлой гнать их с улицы! Из-за паршивой овцы запаршивеет все стадо!

Негодующие, подстрекаемые Симхой-Меером женщины стали с криками бегать за Тевье и Нисаном по переулкам. Больше всех бушевала жена самого Тевье. Разгневанная, с цепляющимися за подол ее платья детьми мал мала меньше и с грудным младенцем на обнаженной груди, она таскалась по пыльным жарким переулкам Балута и осыпала своего мужа яростными проклятиями.

— Общинный козел! — кричала она ему вслед. — Чтоб тебе пусто было, козел отпущения! Метла, которая метет все грязные уголки в чужих дворах, а потом ее выбрасывают!

<sup>1</sup> Гултай — уничижительный термин, употреблявшийся хасидами в отношении евреев, не проявлявших тщательности в соблюдении заповедей.



Чтоб тебя вдарило как следует! Что ты заботишься обо всем мире? Беспокойся о своей жене и детях, скотина ты тупая!..

Все ее дети бежали за ней с криком и плачем.

Точно так же она проклинала и Нисана.

— Без твоей дурной головы тут не обошлось! Я тебя кипятком ошпарю, если ты сунешься ко мне в дом, Дурная Культура!

Но Тевье не обращал на жену внимания и продолжал говорить, рассуждать, убеждать, распалять, просить и призывать к единству.

— Только единство и терпение, — твердил он, — и мы победим.

В нем, в этом Тевье, была сила. Он мог переспорить любого, всем прибавить мужества, убедить, ободрить. Ему помогал Нисан. Симха-Меер ждал второго четверга, когда ткачам потребуются деньги на субботу. Но и во второй четверг никто не вернулся к станкам. Ткацкая мастерская пустовала.

На третьей неделе Симха-Меер стал морщить лоб и нервно дергать свою бородку. Убытки были велики. Комиссионеры угрожали, что перейдут к другим фабрикантам. При всем упрямстве у него, Симхи-Меера, была голова на плечах и он никогда не рисковал слишком сильно. Что сильный риск — штука скверная, он понял еще во времена карточной игры, когда был мальчишкой. Он был не из тех, кто готов выколоть себе глаз, лишь бы выколоть противнику оба глаза. И теперь он понял, что его игра катится к чертям, потому что он взял плохую карту, и что самое лучшее сейчас — прекратить игру как можно раньше, выйти вовремя, чтобы не переломать себе все кости, а блестящие партии отложить до лучших дней. Но в последний момент в голову ему пришла отличная идея, и ему стало все так ясно, что он громко рассмеялся.

— Шмуэль-Лейбуш! — крикнул он. — Беги сейчас же и приведи ко мне Липу Халфана. Скажи ему, что он мне нужен немедленно. Очень нужен.

Липа Халфан, литовский еврей с подстриженной острой бородкой, говоривший по-русски и произносивший при этом

«с» вместо «ш»<sup>1</sup>, был очень полезным человеком в Лодзи. Приехав из Литвы с чайником в одной руке и старым зонтиком в другой, он тут же стал штурмовать новую Лодзь. Сначала он с большим шумом продавал на улице шнурки для ботинок, бумажные воротнички, иголки, шпильки. Ел он только хлеб с селедкой, запивая его кипятком из чайника, который он привез из Литвы. Понемногу он стал выполнять для торговцев поручения на почте, на железной дороге. Он лучше старожилов Лодзи умел договориться с русскими чиновниками. В скором времени он снял дом, чтобы вести официальную переписку по-русски. Не успели старожилы оглянуться, как он прибил у входа в свое жилье табличку, что он пишет прошения в суд и во все русские службы. В Лодзи мало кто знал русский язык. Предприятий было много, и литвак зарабатывал на прошениях уйму денег.

Он быстро стал важным человеком в полиции, близко сошелся со всеми чиновниками. Все, кому приходилось иметь дело с законом, приходили к литваку, давали ему деньги, чтобы он «подмазал» полицейских, и литвак действовал. Он умел вытащить из любых неприятностей. Он забросил свой старый зонтик, стал одеваться как состоятельный человек. Он постоянно ходил с толстым, раздувшимся от бумаг портфелем и здоровался на улице со всеми чиновниками, даже с самим полицмейстером.

— Мое поцтение, — приветствовал он их со своим литовским акцентом и снимал жесткую шляпу. — Цесть имею кланяться...

Хотя все адвокаты смотрели на него косо, трунили над ним, смеялись над его акцентом и ошибками в русских судебных прошениях, они ничего не могли с ним поделать. У него было больше практики, чем у них. И как они ни бились со своей гладкой речью и грамотными прошениями, литвак своим ломаным русским все равно достигал большего.

<sup>1</sup> Замена звука «ш» на «с» — характерная особенность белорусско-литовского диалекта идиша.

— Вся полиция у меня вот где! — показывал он на карман своего блестящего сюртука. — Сто они могут, эти адвокатишки? Да ницего...

Что он только не делал: покупал негодные векселя, брался помочь заимодавцам, давал ссуды под записки из ломбарда, принимал иски против железной дороги, выступал на процессах в суде, хотя не имел на это права, одалживал деньги в рост под хорошие проценты и передавал, когда требовалось, доносы начальству.

— Все будет хорошо, — вальяжно говорил он, когда его посылали с очередным доносом. — Давайте-ка сюда деньги, потому сто мир стоит на трех весчах: на деньгах, на деньгах и есчо раз на деньгах...

Вот за этим-то литваком и отправил слугу Симха-Меер и не мог дожждаться его прихода.

Литвак долго слушал рассказ Симхи-Меера на быстром, чисто лодзинском еврейском языке. Он ни разу не перебил его. Точнее, перебил лишь однажды — когда Симха-Меер забылся и назвал его просто по имени — реб Липа. «Господин Халфан», — поправил его литвак и снова замолчал, внимая Симхе-Мееру. Когда тот наконец излил всю горечь своего сердца, рассказал о всех неприятностях, причиненных ему Тевье и Нисаном, сыном балутского меламеда, литвак вынул из своего пухлого портфеля листок бумаги. Он записал по-русски полные имена врагов Симхи-Меера и положил бумагу обратно в портфель.

— Все, — сказал он, — они узе у меня в руках. Вынимайте деньги...

Симха-Меер с демонстративной небрежностью достал из брючного кармана большой кошелек богача и протянул Липе Халфану несколько новеньких хрустящих банкнот. Литвак пересчитал их и не стал торговаться.

— Согласно своду законов это преступление номер сто семьдесят один, — вспомнил он российский кодекс. — Я узе иду к полицмейстеру.

— Никто не должен об этом знать, — промурлыкал Симха-Меер, провожая литвака к дверям. — Вы ведь понимаете...

— Конечно, — ответил литвак, — конечно.

Той же ночью полицейские явились в Балут, ворвались в домишки Тевье и Нисана и вытащили обоих ткачей из постели.

— За что? — не поняли арестованные.

— В полиции разберутся, — ответили им полицейские и приковали их друг к другу наручниками. — Ну-ка, вперед!

Хотя это было за полночь, Балут сразу же узнал об аресте и все вышли на улицы. Полицейские махали шашками направо и налево, разгоняя мужчин в подштанниках и женщин в ночных рубахах.

Жена Тевье в одном белье, окруженная плачущими детьми, сопровождала мужа так, словно его несли на кладбище.

— Евреи, сыны милосердных, — заламывала она руки, — на кого я остаюсь с моей малышкой?

Оба задержанных просидели в участке двое суток. Среди пьяниц, воров и беспаспортных иностранцев.

— За что вас отправили на кичму?<sup>1</sup> — спрашивали их воры.

— Сами не знаем, мы ничего дурного не сделали, — отвечали Тевье и Нисан.

— Придурки, фраера! — смеялись над ними воры и пихали их из стороны в сторону, как мячи.

Туго пришлось новичкам в арестантской. Их били, а потом заставили выносить парашу с нечистотами. Через два дня их забрали и повели в канцелярию к самому полицмейстеру.

— Смирно! — заорал на них полицмейстер с русыми бакенбардами. — Не двигаться!

Тевье и Нисан почти не понимали по-русски и потому принялись объяснять, что они ни в чем не виновны, что у них есть паспорта. Но полицейские разъяснили им смысл русских слов побоями.

<sup>1</sup> Тюрьма (еврейск. сленг).

— Вот так! — учили они кулаками напуганных евреев, показывая, как надо стоять, заставляя их втягивать животы и поднимать опущенные головы.

Полицмейстеру это так понравилось, что от удовольствия он стал расчесывать свои бакенбарды растопыренными пальцами.

Потом он подошел к евреям поближе, едва не наступив им на ноги.

— Это что же? — играл он с ними, как кошка с мышкой. — Бунтовщики! Мутите народ, а?

Тевье и Нисан начали понимать, в чем их вина, и принялись оправдываться. На смеси плохого польского с русским они хотели рассказать о мрачной жизни в ткацкой мастерской, о полтиннике в неделю, который отнимают у рабочих. Однако полицмейстер разозлился на них.

— Молчать, сукины сыны! — бушевал он. — Вы у меня в кандалах сгните за такие дела! Я из вас ремни нарежу за то, что вы подстрекаете мирных людей к бунту!

По знаку полицмейстера пожилой сутулый служака уселся за стол и покрыл целый лист бумаги русскими буквами с завитушками, записывая то, что ему громко диктовал, расхаживая по кабинету, полицмейстер. Когда он закончил, писарь зачитал текст арестованным. Он читал трудные русские слова гнусавым голосом. Арестованные ничего не поняли, кроме постоянно повторявшегося жесткого слова «бунтовщики», которое гнусавый писарь произносил отчетливо.

— Подписаться! — загремел полицмейстер. — Кто не умеет писать, пусть поставит крестик.

Арестованные переглянулись. Но полицейские, стоявшие от них по сторонам, принялись бить их по ногам ножнами шашек.

— Его высокоблагородие приказал вам подписаться! — рычали они. — А ну, давайте!

Один за другим евреи написали свои имена.

— Товья Мейлех Менделев Мееров Бухбиндер; Нисан Нусиньев Шлёмович Эйбешиц, — медленно прочитал полицмейстер трудные еврейские имена. — Отвести их обратно в арестантскую!

В тот же день полицмейстер послал губернатору в Петров рапорт, в котором он весьма прилежно расписал двух опасных бунтовщиков: они сеют смуту среди спокойных рабочих индустриального города Лодзи и представляют угрозу для населения. Поэтому он, полицмейстер, просит его сиятельство обратиться в Санкт-Петербург с просьбой временно выслать смутьянов за пределы десяти губерний Царства Польского — без суда, административным путем. А в ожидании разрешения на высылку он, полицмейстер, безопасности ради подержит обоих преступников под арестом.

— Пока придет ответ из Петербурга, — успокоил Липа Халфан Симху-Меера, — они наверняка просидят год, если не больше. Наперед они зарекутся связываться с полицией.

Балутские ткачи побежали в синагоги, кричали и обрывали двери у раввина, но никто не хотел вмешиваться.

— Если бы их взяли за кражу, можно было бы что-нибудь предпринять, освободить их, — говорили евреи. — А для бунтовщиков ничего нельзя сделать. Можно только себе навредить.

Сразу же после этого в ткацкой мастерской Симхи-Меера заработали все станки. Отдохнувшие и изголодавшиеся ткачи работали с таким пылом, что вскоре наверстали упущенное за время забастовки. Получая в пятницу на полтинник меньше обычного, никто даже не вздохнул. Все были благодарны, что получают хоть что-то. Симха-Меер постоянно считал и пересчитывал, экономил при каждой возможности. Меламеда, которого его тесть нанял проводить по субботам уроки Торы в синагоге ткачей «Ахвас реим», Симха-Меер тоже уволил. Для экономии.

В Лодзи заговорили о нем.

— Просто бандит, воруга! — говорили про него, а это было в Лодзи высшей похвалой. — Он растёт, этот малыш...

## Глава двадцатая

Еще никогда в жизни у реб Хаима Алтера не было такой беспокойной поры. Никогда не переживал он вместе столько горя и радости, как за один этот год.

Все началось с радости. Единственная дочь Диночка очень легко и с точностью до дня родила ему внука. Как всегда, реб Хаим Алтер пригласил на семейный праздник много гостей — самых лучших, самых уважаемых обывателей города — и отметил обрезание первого внука так, что вся Лодзь об этом говорила и даже до Варшавы дошли отзвуки этого торжества.

— Хаимче, денег, еще денег, — протягивала Прива Алтер свои усыпанные бриллиантами пальчики, в которых таяли состояния.

— Симха-Меер, чтоб ты жил долго, денег, денег, — протягивал реб Хаим Алтер свою волосатую руку богача к зятю, управлявшему его делами. — Запиши на мой счет.

Симха-Меер давал деньги и записывал. Давал больше, чем тесть просил, и записывал больше, чем давал. Праздник был великолепным. На трапезу пришли все хасиды — и из молельни тестя, и из молельни александрских хасидов, которую посещал Симха-Меер. Так как первым ребенком Симхи-Меера был мальчик, молодые хасиды из александрской молельни простили ему то, что в последнее время он отдалился от Торы и тех, кто посвящал все свое время ее изучению.

— Тебе просто удивительно повезло, Симха-Меер, что ты сделал мальчика, — шутили за столом молодые хасиды. — Если бы ты сделал девочку, тебя бы положили поперек стола и выпороли бы.

Даже реб Авром-Герш, отец Симхи-Меера, отлупивший его как мальчишку и велевший больше не появляться в отцовском доме, теперь, ради рождения мальчика, позволил

себя уговорить помириться с сыном и пришел на обрезание в штраймле. Конечно, сразу же возник спор между двумя сватами, потому что реб Хаим Алтер хотел дать мальчику имя в честь своего ребе, а реб Авром-Герш хотел, чтобы внуку дали имя в память его ребе, Воркинского. Реб Хаим Алтер кипятился, злился, умолял, но реб Авром-Герш не желал идти ему навстречу.

— Имена девочек, — твердил реб Авром-Герш, — выбирать будете вы, сват, потому что у вас дочь. А имена мальчикам должен давать я.

Реб Хаим Алтер предложил поделиться: дать одно имя от одного ребе, а другое — от другого, но реб Авром-Герш, как всегда, упрямяствовал и не соглашался назвать внука в честь чужого ребе. Мальчишке дали имя только Воркинского ребе — Ицхок. Реб Авром-Герш сам обрезал малыша и так шумно отплясывал на радостях с хасидами, что Прива затыкала уши.

— Сват, роженица еще слаба, она не может этого слышать, — сказала она со злобой.

— Евреи, веселее! — подбодрил реб Авром-Герш своих хасидов и запел еще громче, не ответив женщине ни слова.

Диночка, бледная, напуганная, прижимала к груди плачущего младенца и обливалась слезами, глядя, как он страдает от шума.

— Бандиты, — жаловалась она, — такой птенчик, как им не жалко?..

— Тихо, еврейка не должна так говорить, — прикрикнула на нее свекровь в атласном чепчике.

— С твоим мужем поступали так же, однако это не помешало ему сделать тебе сына... — смеялись над юной роженицей опытные женщины-сплетницы. — С Божьей помощью у тебя будет еще много внуков от Ицхока.

Реб Хаим Алтер чувствовал себя обиженным, потому что именем его ребе пренебрегли. Ему было стыдно перед собственными хасидами из-за того, что александрские хасиды настояли на своем. Но зато торжество было широким, бога-



тым, как всегда у реб Хаима Алтера. Об обрезании его внука долго говорили в городе, даже в Варшаве. Этим он и утешался.

— Когда, с Божьей помощью, родится еще мальчик, мой сват может встать на голову — от меня он ничего не добьется, — сказал реб Хаим Алтер своим хасидам. — Я ему покажу, каким я могу быть неуступчивым.

Сразу же после радости пришли в дом и огорчения, большие огорчения. Годес, служанка реб Хаима Алтера, заметила своим внимательным женским глазом, что новая молодая служанка, которую взяли в дом на несколько месяцев во время беременности Диночки, прячет что-то под фартуком и что от готовки на кухне у нее начинает кружиться голова. Годес попыталась выяснить, в чем дело, у самой девушки, но та отнекивалась. Тогда Годес просто ощупала живот служанки против ее воли.

— Фу, — плюнула она, — меня, мать девяти детей, пяти-рых живых и четверых умерших, не рядом будь упомянуты, ты хочешь обмануть?!

— От сыновей хозяина, — расплакалась девушка. — Они мне жить не давали... Они меня уговорили...

Здоровенные парни с прыщами на пухлых, поросших легкой бородкой щеках все отрицали, но и реб Хаим Алтер, и Прива поняли, что девушка говорит правду. Однако они и виду не подали, что верят ей.

— Какая распушенность и наглость! — злился реб Хаим Алтер на служанку. — Кто же поверит в такой навет на моих сыновей!

— Немедленно убирайся из моего дома, нахалка! — гнала ее Прива.

Но они боялись ее, тряслись от страха, что она устроит скандал, опозорит дом. Ей дали сто рублей новыми хрустящими купюрами и отослали со Шмуэлем-Лейбушем в деревню к ее дяде-арендатору, откуда она и приехала. Сразу же после этого реб Хаим Алтер послал за Шмуэлем-Зайнвлом, бывшим богачом, знавшим мир и нагло говорившим с бога-

чами нынешними, и велел ему сосватать невест обоим своим сыновьям.

— Я хочу от них избавиться, — сказал он Шмуэлю-Зайнвлу. — А то, что они пока не освобождены от призыва, это ничего. С Божьей помощью, освободим. Это обойдется в еще одну сотню...

— Ты не раскаешься, Хаим, — сказал ему Шмуэль-Зайнвл, обращаясь по своей привычке к богачу на «ты». — Кажется, Симхой-Меером ты доволен, по поводу него у тебя нет ко мне претензий, а?

Со всем своим хасидским пылом Шмуэль-Зайнвл взялся за дело и нашел невест обоим сыновьям реб Хаима Алтера. Очень быстро были подписаны брачные контракты, а через несколько месяцев сыграли свадьбы. Снова дом реб Хаима Алтера ходил ходуном, Прива тратила много денег, накупила всевозможных товаров, тканей, подарков, платьев. Портные шили одежду, скорняки — шубы и штраймлы, белошвейки — белье, кружевницы плели кружева. Потянулись церемонии, визиты в гости и приемы гостей. Потом прошли торжества в синагоге. Комнаты просторного дома Алтеров были полны гостей, сватов, хасидов. Прива протягивала руку и просила у мужа денег. Реб Хаим Алтер брал их без счета у Симхи-Меера. Симха-Меер ему не отказывал, давал деньги и делал записи.

Снова в Лодзи прогремели роскошные свадьбы. Реб Хаим Алтер кипятился, требовал от сватов щедрости и сам был щедр. Направо и налево он сыпал подарками; дал приданое, хотя у него были сыновья, а не дочери; сорил деньгами. Он не считал их. Он этого не умел, не знал, как это делается. Зато, как всегда, у него была уверенность, крепкая уверенность, что Господь поможет. И он позволял Симхе-Мееру записывать.

Свадьбы порадовали его, затмив небольшое огорчение, причиненное той молодой служанкой. Реб Хаим Алтер больше не хотел о нем помнить. Пусть это все упадет на далекие пустые поля. Теперь, с Божьей помощью, все будет хорошо, будет много радости.

К началу зимы начались призывы. Из-за неправильной записи еврейских мальчиков в регистрационных книгах обоих сыновей реб Хаима Алтера признали достигшими призывного возраста и призывали в солдаты.

В Лодзи, как и в других еврейских городах и местечках, евреи ходили сутулые от заботы и со страхом поглядывали на своих сыновей, которым исполнился двадцать один год и которые на целых пять лет должны были отправиться служить в дальние русские губернии. У многих призывников уже были жены и дети. Молодые хасиды падали духом, много постились, пили соленую воду, ели много селедки, чтобы выглядеть тощими и изможденными и не понравиться докторам призывной комиссии. Сынки богачей давали деньги врачам и чиновникам, те находили у них изъяны и освобождали от призыва. В армию забирали одних ремесленников и извозчиков. Извозчики заранее заказывали у столяров сундучки и красили их в зеленый цвет. В них они собирались складывать свои вещи, когда пойдут служить у Фони<sup>1</sup>. Тощие ткачи-подмастерья бросали работу и сидели в синагогах, где они должны были учить Псалмы и просить Бога, чтобы Он избавил их от рук иноверцев, но вместо этого, накинув талесы и полотенца на головы, они пекли картошку в больших синагогальных печах.

Они знали, что Псалмы им едва ли помогут, так же как они мало помогли их товарищам, представшим перед призывной комиссией прежде них. Не помогут и жалобы врачам, что сердца их слабы, а зрение испорчено. Они уже знали, что их судьба решена, что они пойдут и отслужат тяжелые пять лет вместо тех, кто подорвал свое здоровье постоянным изучением Торы, и сынков богачей, чьи недуги куплены за деньги. Они не очень верили в силу Псалмов. Они просто делали вид, что их читают. В действительности они занимались в синагоге совсем не богобоязненными делами. Они пили водку, дрались, маршировали с палками в руках, как солдаты. Кто-

---

<sup>1</sup> Фоня (уменьшительное от Афанасий) — презрительное прозвище русских (еврейск. сленг).

то вынимал посреди ночи шофар и трубил в него. Кто-то укутывался в талес и устраивал молебны Дней трепета<sup>1</sup>. А некоторые имели обыкновение ходить по домам богачей и хасидским молельням, будить призывников, поднимать их с постелей и тащить с собой в синагогу, чтобы молиться всю ночь.

Бедные молодые хасиды прятались, но их вытаскивали из-под кроватей и волокли с собой. Сынки богачей откупались от ремесленников водкой и деньгами на пирушки. Развязные, обозленные, обиженные подмастерья ночи напролет шлялись по улицам и переулкам. Они мешали обывателям спать, кричали петухами, пугали женщин, стучали в ставни и пели с деланным куражом:

Лучше б мне было без головы родиться,  
Чем по плацу теперь в каске крутиться.  
Ой, горе нам, ведь мы все пропали!  
Лучше б нас мамы совсем не рожали...

Реб Хаиму Алтеру нечего было бояться за своих сыновей. Сынки богачей, слава Богу, в солдаты не шли. Но без неприятностей все же не обошлось. Молодые Алтеры были крепкими, рослыми. Русским военным врачам было очень неудобно выискивать у них слабые легкие. За это они требовали много денег. Да еще и сваты не хотели помочь реб Хаиму Алтеру в освобождении сыновей. Они требовали, чтобы он сам с этим разобрался, — он ведь обещал до свадьбы, что с призывом он, с Божьей помощью, разберется. Вот пусть теперь и держит слово.

Реб Хаим взял у Симхи-Меера большие деньги. Как всегда, он не смотрел, что он подписывает, и подписывал все, что подсовывал ему зять.

Врачи освободили обоих сыновей реб Хаима Алтера, выискали у них очень тяжелые заболевания, как и было дого-

<sup>1</sup> Дни трепета (*др.-евр.* Ямим нораим) — первые десять дней еврейского года, включающие в себя важнейшие праздники Рош а-Шана и Йом Кипур. Согласно еврейской традиции, в Дни трепета выносятся приговор всем живущим на новый год.

ворено. Вместо них призвали тощих подмастерьев, бедных и забитых. Реб Хаим устроил для своих хасидов богатые трапезы в честь освобождения сыновей от призыва. Снова пир горой и дым коромыслом. Но призванные ремесленники, не желавшие идти служить в дальние русские губернии, пылали от злобы и зависти к сынкам богачей, которые оставались дома и закатывали пирушки. Ткачи потратили последние рубли на литвака Липу Халфана, и тот написал губернатору доносы на молодых людей, освобожденных от армейской службы за деньги. На сыновей реб Хаима они тоже донесли. И тем пришлось еще раз предстать перед призывной комиссией, на этот раз в губернском центре, в Петрокове.

Они остались ни с чем, эти молодые ткачи. Сыновья реб Хаима, как и остальные сынки богачей, не пошли в солдаты. Губернские доктора тоже нашли у них тяжелые заболевания. В армию отправились только ремесленники с деревянными сундучками на худых плечах. Их сопровождали русские солдаты. Однако доносы ввели реб Хаима в новые расходы. Это были большие деньги. Он и сам не знал, сколько все это стоило. Он, как всегда, верил, что чем меньше счету, тем больше удачи и благословения. Подсчитывал только его зять. Потом реб Хаиму потребовалось хорошенько отдохнуть летом, поправить пошатнувшееся от зимних неприятностей здоровье на нескольких курортах с горячими водами. А вскоре после Дней трепета, ближе к Суккосу, сам Симха-Меер должен был явиться на призывную комиссию.

На этот раз из всех сынков богачей доносили только на Симху-Меера. Литвак Липа Халфан не успевал строчить жалобы губернатору, которые ему заказывали балутские ткачи, недовольные освобождением Симхи-Меера Ашкенази от призыва. С той же прилежностью, с которой Липа Халфан прежде писал доносы Симхи-Меера на ткачей, не желавших работать за плохое жалованье, он писал теперь доносы ткачей на Симху-Меера, который не хочет послужить государю императору. Симха-Меер знал, чья это работа, знал, что так

Балут расплачивается с ним за его хлеб, который едят ткачи и их семьи. Он не уступил балутским ткачам. На всех трех устроенных Симхе-Мееру комиссиях врачи морщились, прослушивая его сердце, которое от волнения и впрямь стало стучать сильнее. И все же красный билет стоил молодому фабриканту больших денег и еще больших переживаний. Будучи зятем на содержании, Симха-Меер потребовал, чтобы тесть, как и положено, помог ему в освобождении от армейской службы. Наличных он брать не стал, но запись на счет тестя сделал.

Ближе к Пейсаху Господь послал реб Хаиму много радости. Он дожил до того, что оба сына, как сговорившись, подарили ему внуков. На этот раз ему не пришлось беспокоиться по поводу имени своего ребе. Он дал одному из внуков еще и имя собственного деда. Веселый, полный уверенности в помощи Господа, он готовился к хорошей, спокойной жизни, к жизни пожилого еврея, пережившего всех своих детей, избавившего их от призыва; еврея, у которого уже внуки и при этом жена совсем не бабушка, а молодая и свежая женщина со сладкой, соблазнительной шеей и таким лицом, что на нее оглядываются на улице.

— Слава Творцу, — сказал он своему ребе, вручая ему щедрый, достойный богача подарок, — все хорошо, только бы не сглазить... Слава Богу, я вижу радость от сыновей, от дочери и зятя...

Но вскоре после этого он увидел, что зять не так уж его и радуется, как он сказал ребе.

Симха-Меер показал тестю зубы.

Однажды на исходе субботы, когда реб Хаим с большим наслаждением пел гимны о вине и хлебе, об оливках, которые Господь обещал Своему избранному народу, если он будет следовать Его путями, Симха-Меер прервал его посреди пения, подав недельный список векселей.

— Тесть, — сказал он, — я хочу, чтобы вы заплатили мне по векселям. Я больше не могу ждать.

Реб Хаим толком не понял, о чем его просит зять.

— Что за векселя? — спросил он с мелодией религиозного гимна.

Симха-Меер вальяжно разложил книги, бумаги, векселя, перевязанные бантиками, и перечислил их по порядку, по датам — году и числу.

— Десятого числа первого месяца тесть взял... Восемнадцатого числа второго месяца тесть взял...

Реб Хаим слушал неохотно. Он всегда ненавидел счета, особенно на исходе субботы. Но Симха-Меер упрямо зачитывал пачку бумаг, продолжая складывать, суммировать, — вексель за векселем, цифра за цифрой, и так без конца. Чем дольше он читал и считал, тем выше вырастала гора бумаг.

— Ну, покажи мне уже итог, — потерял терпение реб Хаим. — У тебя этому конца не будет.

— Будет, — успокоил его Симха-Меер. — Сейчас, сейчас...

Закончив подсчеты, он снова упаковал бумаги и векселя, завязал на каждой пачке бантик и подвел итог. Итог был большой, тяжелый. Он упал на реб Хаима, как пудовый камень на голову.

— Итого с тестя причитается сумма, — подытожил Симха-Меер длинный список цифр, — в три тысячи, шесть тысяч, десять тысяч, одиннадцать тысяч...

От таких чисел у реб Хаима перехватило дыхание. Сначала он сильно побледнел, потом сильно покраснел, словно перед апоплексическим ударом.

— Фальшивые счета! — стукнул он рукой по столу.

— Тесть подписал их, — спокойно ответил Симха-Меер.

Реб Хаим сверкнул глазами. Он быстро протянул свою волосатую руку богача и хотел схватить бумаги.

— Я хочу видеть векселя, — сказал он.

Но в тот же момент Симха-Меер выхватил пачку из-под волосатых рук тестя, которые с радостью разорвали бы ее на мелкие кусочки.

— Разве что, — сказал он вальяжно, пряча пачку во внутренний карман атласного жилета, — разве что тесть будет отрицать подлинность своей подписи.

Реб Хаим снова побледнел. Он видел перед собой нового Симху-Меера, чужого, спокойного, безжалостного и целеустремленного, желавшего схватить, придушить, высосать последнюю каплю крови.

— Ты меня подловил? — спросил реб Хаим.

— Я вложил в тестя деньги, — небрежно сказал Симха-Меер. — И я хочу получить свое.

— Ну а если я тебе не отдам? — спросил реб Хаим. — Если я тебе не отдам, что ты мне сделаешь?

— Тесть знает, что делают с векселями.

— Хочешь меня уничтожить? Ты же знаешь, что я не могу сейчас заплатить. Ты хочешь погубить собственного тестя?

— Торговля — это не богадельня, — ответил ему Симха-Меер.

Теперь реб Хаиму не оставалось ничего другого, как кричать.

— Грабитель! — завопил он. — Разбойник с большой дороги!

Прибежала, заламывая руки, Прива. За ней вбежала Диночка с младенцем на руках. Даже кухарка Годес прибежала с мокрой миской. Реб Хаим продолжал бушевать.

— Режь! — кричал он Симхе-Мееру, распахивая на груди свой бархатный жилет. — Бери нож и режь!..

Ему стало дурно. Бархатный жилет в крапинку душил его. Три женщины — Прива, Диночка и кухарка Годес — подхватили грузного мужчину под руки и увели его на кушетку.

— Люди, — кричали они, — что здесь происходит? Господи на небе!

Симха-Меер сгреб со стола бумаги и быстро вышел из дома. Он пошел не в ткацкую мастерскую, а в хасидскую модельню, на церемонию проводов субботы, к молодым хасидам, у которых он долгое время не бывал.



До рассвета он просидел с живущими на содержании молодыми хасидами, распевал с ними хасидские напевы, рассказывал притчи из святых книг, сыпал поговорками. Он не торопился этой ночью домой, к своей Диночке.

Началась новая неделя, и вместе с ней — суды Торы между тестем и зятем, беготня, суета, напряжение. Реб Хаим теперь целыми днями бегал в поисках справедливости, управы на зятя, приобретенного им за тысячи рублей для своей единственной дочери. Прежде всего он пошел к свату.

Реб Авром-Герш по своему обыкновению положил носовой платок на том Геморы в знак того, что он не прекращает изучение святой книги, а лишь прерывает его, и молча слушал кричащего и суетящегося свата, пока тот не выговорился полностью.

— Кто вам велел делать его своим компаньоном? — сказал реб Авром-Герш. — Я хотел, чтобы он сидел и изучал Тору. Без моего ведома вы оторвали его от Геморы и втянули в коммерческие дела. Теперь расхлебывайте кашу, которую сами заварили. Я этого молодого человека знать не хочу.

Реб Хаим стал стучать по столу, кричать «Караул!», но сват его не слушал. Он снял носовой платок с Геморы и вернулся к своему уроку.

Видя, что здесь он ничего не добьется, реб Хаим побегал в молельню александрских хасидов искать справедливости в том кругу, к которому принадлежал его зять. Но никто не хотел связываться. Он отправился в Александер, к самому ребу Симхи-Меера. Но Александерский ребе повернул дело так, что он, мол, в денежные споры не вмешивается. Он, мол, отвечает только за соблюдение заповедей.

— Вызови его на суд Торы к раввинам, — посоветовал реб Хаиму Александерский ребе. — У евреев есть суд Торы. А я в денежные дела не вникаю.

Реб Хаим послушался и послал к зятю синагогального служку, чтобы тот позвал его к раввинам. Симха-Меер пришел, но не дал раввинам задурить себе голову, как не позволял взять верх над собой меламедам, когда он был мальчиш-

кой и учил Гемору. Теперь он и раввинов запутал, сбил их с толку своим криком, и они увязли в его рассуждениях и доводах. Он сыпал поговорками, купеческими шуточками, цитировал «Хойшен мишпот»<sup>1</sup> и поднял такой шум и трескотню, что раввины растерялись.

Как они ни пытались добиться от него толка, он лишь запутывал их еще больше, заговаривал им зубы, уверял, что представит суду новые бумаги и новые свидетельства.

Он, как никто другой, был подготовлен к раввинским судам Торы, точнее, к лодзинским ее судам, где Тора и ее законы не имели решающего значения и всегда побеждал тот, кто оборотистее.

Месяцами он таскал тестя по судам, изматывал его, перекрикивал, пока реб Хаим не устал, пока у него не иссякли силы и он не согласился на условия Симхи-Меера. Зять все прибрал к рукам, так что у тестя в его собственной ткацкой мастерской ничего не осталось, кроме деревянных ручных станков, не имевших особой ценности. Все остальное принадлежало Симхе-Мееру. Теперь ткацкой мастерской управлял он. А тесть должен был годами выплачивать долги и превратился в мелкого компаньона с маленьким содержанием, которое зять выделил ему на жизнь.

Реб Хаим ругал зятя, смешивал его с грязью, но Симха-Меер молчал. Смолчал он и когда теща, эта заносчивая аристократка, выплеснула ему в лицо стакан чая, как простая еврейка. Он вытер полотенцем лицо и залитый чаем лапсердак. Он знал, что все эти ругательства, проклятия, оскорбления и пощечины — просто ничтожное оружие неудачников. След от пощечины проходит, а капитал остается.

Единственным человеком, отношение которого его беспокоило, была его жена Диночка. Он знал, что тесть и теща

<sup>1</sup> На современном иврите — «Хошен мишпат» («Нагрудник суда») — посвященный финансовым вопросам раздел авторитетного алахического сочинения «Арбаа турим» («Четыре столбца»), написанного выдающимся средневековым законоучителем рабби Яковом бен Ашером (ок. 1269–1343).

очерняют его в глазах жены, обливают его помоями. Он хотел уехать, покинуть дом тестя до срока, жить отдельно, хотя по условиям брачного договора ему причиталось пять лет содержания. Ему в этом доме пол ноги жег, даже служанка Годес смотрела на него с ненавистью, подавала ему еду с такой злобой, что звенели тарелки и стаканы. Однако тесть с тещей не хотели отпускать Диночку из родительского дома.

— Так я и доверила ее этому разбойнику, — говорила Прива и прижимала дочь к своей груди, как младенца. — Ничего, мы еще в состоянии содержать зятя, хотя такого зятя... Словом, раньше, чем окончатся пять лет, я свою дочку не отпущу.

Симха-Меер ждал, чтобы Диночка вмешалась. В конце концов, он старается и работает не только для себя, но и для нее, для их общего дома. И она, его жена, должна его поддерживать. Она уже не маленькая девочка, чтобы держаться за материнский фартук. Жена всегда заодно с мужем. Что бы ни было, она должна быть вместе с ним. Так написано в Торе: оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене, и будут они как одно тело. Она должна следовать за ним. Вот ведь и его отец хотел навязать ему свою волю, однако он ему этого не позволил, потому что после свадьбы каждый сам по себе, а торговля — это не богадельня.

Но по поводу семейных распрей Диночка не сказала ни слова. Она не вмешивалась, только, как всегда, молчала, занималась ребенком и книжками. Симха-Меер страдал. Он пытался говорить с ней о том, что надо идти своей дорогой, блюсти свою выгоду. Она не отвечала, только бросала на него подозрительные взгляды. Даже ребенка ему не давала, когда он хотел взять его на руки.

— Ему пора спать, — говорила она. — Не перебивай ему сон.

Симха-Меер хотел убедить ее, ослабить ненависть, которую насаждала к нему теща. Он не страдал недостатком красноречия. Он всегда мог доказать, что своей душой он обязан Богу. И разве он виноват в том, что ее отец живет без счета и

путається в делах? Он, Симха-Меер, у него просто так денег не брал. У него на все векселя, векселя с его, тестя, подписью. Однако Диночка не захотела слушать мужа.

— Дай мне почитать, — перебила она его, как только он попытался с ней заговорить.

У Симхи-Меера даже сердце защемило. Он думал, что она будет его упрашивать, умолять, защищать своих родителей. Хотя он и боялся этого, не доверяя самому себе, опасаясь, что, если она начнет его уговаривать, он даст слабину и уступит в том, в чем ему не следует уступать; он в то же время ждал, чтобы она с ним заговорила. Он жаждал ее любви, с каждым днем все больше. Чем дальше она была от него, тем сильнее он хотел ее покорить. Он ловил каждое ее слово, сходил с ума от каждого ее женственного движения. Даже платья Диночки зажигали в нем кровь. Не раз днем, после обеда, он при всей своей занятости крутился вокруг нее, молчаливый и взволнованный. Все для того, чтобы она зашла с ним в его комнату и он заключил ее в объятия. Он выискивал всякие мальчишеские поводы: что у него нет носового платка, что у него оторвалась пуговица — лишь бы выманить ее из большой столовой залы и завлечь в свою комнату. Он видел, что она старательно уворачивается от его приставаний, уходит от его надуманных детских уловок, и это унижало его мужское достоинство. Но у него не было сил уйти из дома, хлопнув дверью. Как кобель, бегающий весной вокруг запертого двора, где сидит сука, растерянный и встревоженный Симха-Меер продолжал крутиться вокруг собственной жены, прекрасной и недоступной, так по-женски холодно и отстраненно державшейся с тем, кого она не любила.

Симха-Меер ждал, ждал каждый день, каждую минуту, чтобы она заговорила с ним о родителях, попросила за них, сдалась. Временами он решал быть жестким, неуступчивым, потому что пришло его время, он на коне, судьба ее родителей в его руках, и теперь он покажет, каков он, Симха-Меер! Пусть она не думает, что он мальчишка. Ничего, теперь она расплатится за все унижения, которым она его подвергла, она

будет валяться у него в ногах и умолять за своих родителей! Однако в то же время он думал, что уступит. Он был уверен, что своим великодушием он полностью победит и подчинит жену. Он только должен показать ей широту своей души, ослабить хватку вокруг ее родителей, отпустить их, как отпускают пойманных за крылья птичек. Он уже видел радость, которая воцарилась бы в доме от его благородного жеста. Он уже ощущал в своей крови сладость любви той, которую он так жаждал покорить и по прелестям которой сходил с ума.

Диночка знала, что, если бы она поговорила с ним, она добилась бы всего для своих родителей. Она видела, как Симха-Меер сходит по ней с ума, но не могла себя заставить упрашивать его, этого хасида, умолять его сжалиться над ее отцом и барыней матерью, унижаться перед ним. Даже когда родители начали просить ее об этом, она расплакалась и не захотела им уступить.

Мать этого не понимала. Она привыкла добиваться от мужа всего, чего нужно, женским обаянием и лаской. Она понять не могла, почему ее дочь не хочет спасти собственных родителей.

— Ты глупенькая, как маленькая девочка, а ведь ты уже мать ребенка, — говорила Прива. — Зайди к нему и переговори с ним. Ничего страшного, мы для тебя сделали больше...

— Не мучай меня, — плакала Диночка. — Я не могу... Я его ненавижу...

Вмешался отец.

— Представь себе, что ты должна пойти к разбойнику, умолять за отца с матерью, — сказал он. — Он же разбойник с большой дороги...

— Возьмите себе мои украшения, мои жемчуга. Я буду у вас служанкой, лишь бы не просить у него ничего, — гордо отвечала родителям Диночка.

А когда те стали говорить ей, что из-за нее они разрушили собственное благополучие, она вдруг забыла свою обычную тихость и крикнула так, что отец молча скорчился в уголке.

— Не из-за меня, а из-за самих себя! — кричала она. — Из-за вашей собственной гордыни! Это вы хотели отхватить зятя-илуя, покрасоваться перед людьми... Я его не хотела. Вы меня принудили... заставили...

Сразу же после этого она бросилась к отцу с матерью и, как ребенок, принялась целовать и обнимать их:

— Я все сделаю, все, лишь бы не унижаться перед ним... Я не могу...

Родители целовали и гладили ее.

— Ну, не надо, не надо, — успокаивали они ее. — Ну, не говори больше об этом...

Гордость дочери наполнила их возвышенным чувством, смягчила их падение в эти горькие дни.

Симха-Меер ждал, ждал с сердечным трепетом той минуты, когда жена придет к нему с опущенной головой. Но она не пришла. Как всегда, словно между ним и ее родителями ничего не было, словно она была ему чужой, Диночка не выражала своего отношения к происходящему ни единым словом. Она только, как всегда молча, выдавала ему белье каждую пятницу, накрывала на стол и была ему женой по ночам, как полагалось по закону.

Симха-Меер ослабел. Гордое молчание Диночки раздавило его. По собственной доброй воле, первым, он отозвал жену в сторону, чтобы сообщить ей добрую весть о своем желании помириться с тестем. Пусть она не думает, что он такой разбойник, как ей внушают ее родители. Хотя торговля — это не богадельня, он тем не менее готов пойти навстречу ее отцу, подарить ему все векселя, лишь бы в доме был мир. Он знал, что ставит на кон дорогой козырь, но думал, что игра стоит того.

— Диночка, — начал он было, готовый все это сказать.

Но в то же мгновение он пришел в себя, остановился на краю пропасти и вернулся к здравомыслию и холодному расчету.

Диночка ждала. Со скучающей миной на лице она взглянула на него из-за своей книжки, желая как можно скорее от-

делаться от подошедшего к ней мужа. Симха-Меер холодно взглянул на нее и отвернулся.

— Ничего, — сказал он. — Я подумал, что у меня нет носового платка.

Нет, он был не так глуп, чтобы совершить столь нелепый шаг. Симха-Меер оставался Симхой-Меером. Он знал, как трудно выиграть что-то и как легко потерять. Жизнь и смерть висели на кончике его языка. В конце концов жажда денег, власти, господства возобладала над всеми слабостями. Как надоедливую муху, он отогнал от себя дурные мысли, мальчишеские и слабые. Он вышвырнул их из головы, как мусор. Сколько он бился, пока не достиг своего! Слишком много труда, работы мозга вложил он в успех, чтобы вдруг выпустить из рук добычу. Он получил то, к чему стремился. Отныне он сам хозяин дела. Когда никто не стоит на пути, не путается под ногами, можно многого добиться в растущем городе Лодзи. Надо только иметь подходящий склад ума, везение и деньги. И все это у него было. За короткое время он сильно продвинулся вперед. Еще несколько лет, еще несколько удачных комбинаций, и он перейдет на паровые машины, откроет фабрику с трубами.

Ничего нельзя знать заранее. Все здесь, в этом городе, слишком быстро и шумно, тревожно и внезапно. Но никакое наслаждение в мире не сравнится с огромным наслаждением от делового роста, от продвижения к цели, к фабрикам, к трубам, к сиренам и к власти.

Какое значение имеют все эти наговоры, презрение, все эти взгляды, полные жгучей ненависти, для человека, который идет большими шагами по растущему городу, взгляд которого устремлен выше домов, выше труб, выше клубов фабричного дыма!

В ресторанах, на рынках, на биржах стали говорить о Симхе-Меере, с восхищением рассказывать о его прорыве.

— О нем еще услышат. Он далеко пойдет, — пророчествовали на его счет деловые люди.

Купцы постарше не могли спокойно этого слышать.

— Так не поступают, — утверждали они. — Да еще и с собственным тестем. Где же справедливость!

— Тупицы! — с презрением говорили молодые лодзинские дельцы старым. — Справедливость в Лодзи не товар. Это вам не хлопок!

— Да, на бирже она не котируется, — подтверждали это мнение биржевые маклеры и тушили выкуренные папиросы в последних каплях пива, оставшихся в их кружках.

## Глава двадцать первая

**В**о дворце Хайнца Хунце, выстроенном при фабрике, отделенном ото всех окрестных зданий крепкой железной оградой и охраняемом двумя большими собаками, было шумно и многолюдно. Старый Хунце вечно ссорился с сыновьями и дочерьми. В свои семьдесят с лишним старик был еще здоров и работоспособен. Он целые дни проводил на фабрике, ходил между станками, заглядывал в складские помещения, совал нос в бухгалтерские книги, хотя и мало понимал в цифрах, проверял краски. Он во все вникал, за всем следил. Ему нужно было знать каждую мелочь. Глуховатый от старости, он держал ухо востро. Его директора обсуждали с ним каждую партию шерсти и хлопка, которые закупались в Англии. Инженеры представляли ему свои планы по поводу каждого усовершенствования и новшества. Химики не решались использовать краситель, если он его еще не видел. Создатели образцов не вводили в узор ни цветка, ни полоски без его одобрения. Адвокат фабрики не начинал судебный процесс, не обговорив его с ним во всех деталях. Хайнца Хунце занимало все — от миллионной транзакции до мельчайшего события на фабрике, когда какой-нибудь рабочий терял из-за машины палец или жизнь. Состарившийся, тугой на ухо, назойливый



и к тому же простоватый, с трудом вникавший в суть новинок и современных понятий, Хунце тем не менее держал в руках целую фабрику, ни на минуту не ослабляя хватку. Он приходил на фабрику до рассвета, вместе с рабочими, и уходил поздней ночью.

Как всякий глуховатый человек, Хунце был ревнив к каждому слову, которое произносили рядом, а он не мог слышать.

— Что там говорят, Альбрехтик? — то и дело переспрашивал он главного директора Альбрехта, толстого, расплывшегося человека, постоянно потевшего и заставлявшего стулья скрипеть под своей тяжелой тушей. — Что ты молчишь, пивная бочка?

Вытянувшись в струнку и едва удерживаясь на ногах-бревнах, туго обтянутых широченными брюками, толстый директор кричал прямо в волосатые уши хозяина, повторяя слово в слово свой разговор с кем-то другим.

— Не ори так! — ругал его Хунце, хотя иначе он просто не слышал. — Я слышу!..

Все на его громадной фабрике, от главного директора, инженеров, химиков, рисовальщиков, мастеров и до простых рабочих, были у старика под каблуком, боялись его, замирали перед ним, как солдаты перед генералом. Сутуловатый, в старомодном костюме, с фарфоровой трубкой во рту, с короткой снежно-белой щеткой волос на голове, он был везде — везде плевал, везде дымил вонючим, простым табаком, которым набивал свою трубку. С наслаждением, доступным лишь неучу, он унижал образованных людей — работавших на него инженеров, химиков, директоров. Всех, даже самых пожилых и высокопоставленных, он называл на «ты», усаживался на чужие стулья, требовал огня, когда гасла его фарфоровая трубка, плевал под ноги собеседнику. Чем старше он становился, чем сильнее ощущал, что дни его господства утекают, тем жестче он командовал на своей большой фабрике, тем упрямее и неуступчивее вел дела. Здесь он правил безраз-

дельно. Никто не осмеливался ему перечить, но в огороженном дворце то и дело поднимались крик, вопли и суматоха.

Сыновья и дочери Хунце уже давно были недовольны отцом. Правда, он сколотил им большое наследство, всю жизнь работал для них, но вместе с тем с самого рождения они унаследовали от него кое-что еще. Обузу, от которой было никак не избавиться: простоватую внешность и еще более простоватую фамилию, доставшуюся детям Хайнца Хунце в придачу к богатству их отца. От этого наследства страдали его сыновья и особенно дочери. Блондинки с водянистыми глазами и грубыми курносими носами, они даже в шелковых и бархатных нарядах выглядели простолюдинками подобно множеству ткачих, работавших на фабрике Хунце. Ничем нельзя было отмыться от такого подарка отца, саксонского ремесленника-ткача, и матери, крестьянской дочери, которые, даже разбогатев и живя во дворце, говорили между собой на простонародном немецком диалекте и называли друг друга старинными крестьянскими именами. Принадлежность к семейству Хунце выдавали нос картошкой, скуластость, крестьянский разрез рта, зубы, торчавшие из-за полуоткрытых губ. Но главное — густые веснушки, усыпавшие лицо, шею, руки и роднившие дочерей лодзинского богача с работницами фабрики. Не лучше выглядели и сыновья Хайнца Хунце. Однако сильнее внешности жизнь им портила их совсем не аристократическая фамилия.

В Лодзи фамилия Хунце звучала прекрасно. Ей не требовалось никаких дополнительных украшений и регалий. Это имя значило миллионы и власть. Хунце нуждался в громких титулах не больше, чем король. Но дети Хунце, его сыновья и дочери, редко жили в Лодзи. Этот город дыма, фабричных труб, шерсти и хлопка не имел ценности в их глазах. Реже всего их видели в отцовском дворце, в городе, где еще помнили, как их отец приехал сюда из Саксонии на запряженной лошаадьми телеге. Куда больше времени дети Хунце проводили за границей, в Германии, где они накупили себе имений с лакеями.

Как правило, они останавливались в дорогих отелях, посещали аристократические клубы. Там их фамилия звучала слишком простонародно. Каждый раз они испытывали страшную неловкость, регистрируясь под этим именем в отеле или представляясь в высшем обществе, где все фамилии начинались с приставки «фон» и вокруг были графы, маркграфы, бароны и князья. Поэтому дети Хайнца Хунце роптали на полученное от отца наследство и, едва приехав домой, в свой лодзинский дворец, начинали ругаться со стариком. Они не могли выносить его грубого языка, его трубки, его словечек, заимствованных из жаргона ткачей, его жесткой щетки волос, его чмоканья во время еды, всех его простецких манер бывшего ремесленника. Ненавидели они и его окружение.

Отец хотел выдать своих дочерей за сыновей богатых лодзинских фабрикантов. Он дал бы им большое приданое, очень большое, но за эти деньги Хунце рассчитывал получить что-то стоящее. Он был деловым человеком, этот старик, прикипевший душой и телом к фабрике, которую он построил собственными волосатыми руками простого ткача. Он знал, хотя так и не научился делать подсчеты на бумаге, что деньги льнут к деньгам, что в деле надо всегда следить за балансом, не допускать, чтобы расход превысил доход. Хайнец Хунце готов был дать большое приданое, положенное выходящим замуж дочерям, но он желал видеть деньги и второй стороны — не только потратить, но и получить. Кроме того, он мечтал ввести в дом людей своей специальности, сыновей фабрикантов, которые помогли бы ему, которым можно было бы оставить фабрику и умереть со спокойной совестью, в уверенности, что его дело не погибнет. Были у него на уме и другие коммерческие комбинации. Он хотел объединить крупные фирмы и зажать Лодзь в кулаке, давая отпор всем новичкам и всем грозящим городу новшествам.

Но дочери его не слушали. Они не хотели застрять в этой branży<sup>1</sup>. Слава Богу, они были дочерьми богача и рассчи-

---

<sup>1</sup> Т. е. отрасли.

тывали сменить компрометирующую их фамилию на другую — приличную, благозвучную и благородную, которую не надо поспешно бормотать себе под нос, как нынешнюю, а можно произносить гордо, с достоинством, четко и громко. Уж лучше еще помяться в девках, чем остаться при лодзинской мануфактуре. Старик кричал, ругался на своем мужицком диалекте, стучал, как ремесленник, натруженной волосатой рукой по дорогому столу, вопил, что он не будет покупать дочерям каких-то бездельников. В ответ дочери устраивали ему истерики, грозились убежать с театральной труппой, стать комедиантками, если отец будет упрямитесь и впредь. К тому же вмешалась его жена, расплакалась перед ним, как в прежние годы, когда он имел обыкновение выпивать лишнего по воскресеньям и устраивать скандалы.

— Прощу тебя, Хайнц, — умоляла она его, падая ему в ноги, как крестьянка перед баринном, — сделай это ради девочек...

Старик махнул волосатой жилистой рукой ремесленника и уступил. Обе дочери, одна за другой, вышли замуж за баронов. Старшая, Эльза, привезла своего барона из-за границы. Он был сердитый, надутый, заносчивый и длинный. И имя у него было таким же длинным, как он сам, — барон Конрад Вольфганг фон Хейдель-Хайделау. Еще солиднее были долги, висевшие на его прусском имении, которое находилось у самой границы с Россией. Прибыв в Лодзь со слугой, охотничьей собакой и охотничьим ружьем, он в первый же день по приезде начал морщить свой длинный тощий нос как по поводу города — «польско-еврейский свиной хлев», так и по поводу фабрики, воняющей дымом и краской, а также по поводу тестя и тещи, не способных отвыкнуть от своего отвратительного говора.

— Я в этом мусорном ящике не останусь ни единого дня, — сказал он со злобой.

Старый Хунце выплатил ему большое приданое Эльзы до последнего гроша. Высокий тощий зять мгновенно распрощался с родителями жены, поцеловал, едва коснувшись, руку

теще, и уехал вместе с собакой, слугой и женой в свое имение. Больше с тестем он дел не имел, приветов ему и теще через письма, которые писала Эльза, не передавал. Лишь наделав новых долгов и не имея возможности их выплатить, он отправлял старому Хунце письмо со своим гербом и требованием денег, подписанное длинным аристократическим именем.

Старик не спешил раскошелиться. Тогда зять-барон принимался есть поедом свою жену, обижаться, уходить из дому, пока Эльза не упаковывала чемоданы, не брала с собой слугу с гербом на ливрее и не отправлялась в Лодзь, чтобы выпросить у старика еще денег для мужа, подарившего ей столь длинное аристократическое имя.

Вторая дочь, Гертруда, нашла не такого уж злого мужа. Ей достался молодой офицер, прибалтийский немец, юноша с гусарскими усами и очень красивым именем — барон Отто фон Таубе, служивший в императорской гвардии в Санкт-Петербурге. Однако сразу же после женитьбы он окружил себя компанией гуляк, сорил деньгами, проигрывал их в карты и каждый раз требовал новых сумм, потому что иначе ему оставалось только пустить себе пулю в лоб или самому пулей вылететь из армии.

Теперь обе дочери проводили у отца даже больше времени, чем в девичестве. Они пыжились и хвалились в Лодзи своими новыми аристократическими титулами, ни с кем не желали знаться и сживали отца со света из-за денег, которые должны были увезти домой, своим мужьям.

— Не забывай, отец, что мы больше не какие-то там девчонки, — поучали они его, когда он начинал стучать по столу своей волосатой рукой ремесленника, — мы баронессы фон...

В довершение зла сыновья Хунце, все трое — Вильгельм, Фридрих и Иоганн, заседали на отца и требовали от него ни больше ни меньше, как стать бароном.

Так же как прежний петроковский губернатор за хорошие деньги добыл для старого Хунце Святую Анну, нынешний губернатор дал понять, что он мог бы походатайствовать в

Санкт-Петербурге о титуле барона для уважаемого фабриканта. Хунце был достоин титула за свои большие заслуги перед Отечеством, за то, что он создал в стране ткацкую индустрию. Но потребуются немалые усилия — придется несколько раз съездить в Санкт-Петербург, войти в расходы, задействовать нужные связи. Сыновья Хунце уцепились за это предложение.

Как и сестры, трое братьев Хунце ненавидели Лодзь, ее предприятия и ее людей. Отец отправил их в германскую торговую академию изучать современные методы ткацкого производства и химию, но сыновья не хотели учиться. Их русые головы не годились для занятий цифрами, машинами и реактивами. Их волновали лошади, собаки, карты и женщины. С отцовскими деньгами им были открыты все дороги, доступны самые солидные места. Но вместе с богатством отца их сопровождала и его простецкая ремесленная фамилия, убого смотревшаяся на фоне фамилий их титулованных друзей. К тому же они были мужчинами и не могли, в отличие от сестер, купить себе титул и другое имя. Отец обрек их на этот крест до конца жизни. И они не давали ему покоя, требуя, чтобы он стал бароном.

С одной стороны, долголетие старика стояло у них на пути. У сыновей Хунце были большие аппетиты. Скачки, содержание собственных конюшен, карты, балы, женщины, ссуды, которые им приходилось давать бедным аристократам, чтобы те поддерживали с ними дружбу, — все это съедало много средств. Отец не хотел каждый раз покрывать их расходы. И к тому же велел в кассе, чтобы без его подписи никому из его детей денег не отпускали. Правда, принятые меры не всегда помогали старому Хунце, потому что в случае проигрыша в клубе и опасности не заплатить долгов чести сыновья угрожали самоубийством. Но легко вытягивать из отца деньги у них не получалось. Надо было изрядно покричать, побесноваться; надо было слушать вопли старика и то, как он дубасит по столу. Приходилось долго умолять мать, улаживать ее поговорить с отцом, чтобы он раскошелился на ту

или иную сумму. Это очень не нравилось им, взрослым сыновьям Хайнца Хунце. Они с нетерпением ждали того часа, когда отец закроет глаза навсегда и они, став хозяевами фабрики, будут делать, что захотят.

— Старый хрыч собирается жить вечно, — с горечью говорили они, видя, что никакая болезнь его не берет и с каждым днем он становится все более властным и жестким.

С другой стороны, преклонные годы отца беспокоили их, потому что они хотели унаследовать от него не только миллионы, но и титул, звонкий титул барона, с которым было бы не стыдно показаться среди людей. Самим им будет трудно получить баронство. В лучшем случае его получит один брат, но не трое. Лучше было бы унаследовать его по отцу — легко, без напряжения, вместе с оставшимся от него имуществом. Все было уже подготовлено, оговорено с петроковским губернатором, но хлопоты стоили больших, громадных денег, и старый Хунце упорно отказывался в это ввязываться, не желая тратить на приобретение баронского титула ни гроша.

— Я на все это кладу с прибором, — говорил он на своем простецком диалекте. — Да я ломаного пфеннига за это не дам, не будь мое имя Хунце.

Кроме того что ему было жалко отдавать так много денег, старика задевало то, что его дети не довольствуются отцовской фамилией, а требуют к ней еще какого-то титула. Сам он очень гордился своей фамилией — Хунце. Он хорошо знал, чего стоит это имя в Лодзи и среди фабрикантов всего мира, не только в России, но и в Германии и Англии. Он вложил много труда в то, чтобы его имя так высоко ценилось. К тому же он на собственной шкуре ощутил презрение своих зятьев-баронов, которые ни разу даже не поговорили с ним по-людски, а только тянули из него деньги. При всем его богатстве он остался простым человеком, ненавидящим аристократов и образованных. Насколько он только мог, он давал им это почувствовать. Хайнц Хунце обращался со своими директорами, инженерами и химиками грубо, держал их на ко-

ротком поводке, и они не осмеливались перечить ему, ходили перед ним, как собачки на задних лапках. Точно так же он вел себя и с польскими графами и князьями, когда тем приходилось о чем-либо его просить. Он не устаивал их ни словом по-польски, говорил только по-немецки, причем, назло собеседникам, не на литературном языке, а на своем мужицком диалекте. Для него фамилия Хунце была достаточно громкой и красивой, чтобы обойтись без титулов. И его бесило, что сыновья хотят навесить на него ярлык, а потом унаследовать этот ярлык после его смерти.

Сыновья бунтовали. Они прекрасно понимали, что, упусти они эту возможность, обременительное наследство их неродовитого отца останется с ними навсегда. Со стариками ничего нельзя знать заранее. Вроде бы они живут себе и живут, а потом вдруг умирают и их нет. Сыновья требовали выделить каждому из них долю имущества, но это еще больше рассердило старика.

— После моей смерти, — кричал он, — после моей смерти будете хозяйничать! А куда я жив, хозяин я, Хайнц Хунце!

От злости он начал совершать странные поступки. Он сидел за стол не в парадном сюртуке, как его учили дочери, а в одних штанах и рубахе. Он шумно и с аппетитом высасывал мозговые кости, как в старые времена. Он плевал на ковры, разговаривал на самом простецком наречии и даже заходил по вечерам в пивную, где усаживался за столик со старыми ткачами и ставил всем пива.

Старые ткачи столбенели от страха, так что их беззубые рты не могли даже выдать «прозит», традиционное за выпивкой пожелание. Они просто немели. Поэтому Хунце оставлял их, не допив кружки, и уходил к себе. А в его дворце все шумело и ходило ходуном.

Старуха, жена Хайнца Хунце, в растерянности бродила по просторным залам, уставленным тяжелой мебелью и увешанным большими гобеленами и ветвистыми оленьими рогами. То, что дети боялись открыто сказать старику, они говори-



ли матери. Простая женщина, напуганная гигантским богатством мужа, дорогой мебелью, гобеленами и огромными картинами, все та же необразованная крестьянка, не умевшая обходиться со служанками и лакеями, терявшаяся в присутствии посторонних людей, чья речь была ей темна, робевшая аристократизма собственных дочерей и сыновей, от которых она доброго слова не слышала, — она чувствовала себя чужой и очень несчастной в этом громадном дворце, к которому она никак не могла привыкнуть. Жена фабриканта Хунце тосковала по тем временам, когда она сидела за веретеном, варила в огромных кастрюлях еду для мужа и его подмастерьев, болтала с соседками о хозяйстве, детях и женских делах. Она так и не привыкла к каретам, лакеям, роскошным салонам, к великосветским дамам, крутившимся вокруг нее, к целовавшим ей руки барственным господам. Каждый раз, когда ей целовали руку, она смущалась. Она помнила время, когда сама целовала руку врачу, к которому ходила со своими детьми, в ту пору еще малышами.

Лучше всего она чувствовала себя, оставаясь дома наедине со своим стариком, с Хайнцем. Особенно если он совал в рот трубку, как в старые времена, скидывал сюртук и говорил с ней на саксонском диалекте, пока она вязала чулок. Но ей редко удавалось с ним посидеть. Он был постоянно занят. А дети ее избегали, не разговаривали с ней, кроме тех случаев, когда не могли чего-то добиться от отца. Тогда они приходили к матери, но и тут они больше кричали на нее, чем просили, а об отце говорили с гневом, с руганью. Иначе как старым говнюком они его не называли. Она краснела, чувствовала обиду и хотела им сказать, что нельзя так говорить, что это грех перед Богом. Но она не осмеливалась попрекать своих детей. Она боялась их и, как настоящая крестьянка, относилась с почтением к их барству и отчужденности.

— Ах ты Господи Боже мой, Иисусе Христе, — заламывала она руки. — Я уж поговорю об этом с отцом. Только не обижайте... Не надо...

Вот и теперь сыновья бросились к матери. Она ходила и уговаривала старика, как барина. Она становилась перед ним на колени, плакала и выпрашивала все новые суммы для «мальчиков» и «девочек». Она не очень понимала, чего хотят от нее сыновья. Она могла представить, что ее дети будут аристократами, баронами. Но что она сама станет баронессой, не укладывалось в ее старой голове. Это было для нее так же нелепо, как если бы ей сказали, что она должна стать Святой Девой Марией. Стремления ее сыновей были ей абсолютно чужды. Но она боялась за них, как любая крестьянка, которая в старости дрожит за своих детей. И она уламывала мужа.

— Хайнц, — умоляла она его, ползая на коленях и припадая к его ногам, — сделай это ради твоей старухи жены, именем Господа нашего прошу...

Хунце трогали слова его старухи, но он не хотел уступать.

— Они все хотят получить готовеньким, — кипятился он, — всего достичь моими руками. Пусть сами чего-нибудь добьются, собственными усилиями. Я для них, этих лоботрясов, и так сделал достаточно.

Когда в доме стало совсем невыносимо, Хунце попытался посоветоваться с людьми, но никто не предложил ему ничего дельного, все дипломатично держали язык за зубами и только по-военному поддакивали «яволь» в ответ на каждое его слово. Хайнц Хунце плюнул и один, без кареты и слуги, отправился в контору к своему управляющему реб Авром-Гершу Ашкенази, чтобы обсудить ситуацию с ним, как он всегда поступал при принятии важных деловых решений. Реб Авром-Герш, как обычно, очень спокойно и вальяжно выслушал речь старого Хунце, все его грубые слова и проклятия, а потом наморщил лоб и задал подобающий торговцу вопрос:

— Сколько это будет стоить, герр Хайнц?

— Жирную сумму, — сказал Хунце, — добрых несколько десятков тысяч.

— А что это даст? — пожелал узнать реб Авром-Герш.

— Да ничего, — сказал Хунце.

— Тогда что же это за дело? — подвел итог обсуждению данной темы реб Авром-Герш.

Старый Хунце отправился к себе домой с твердым решением не давать за баронский титул даже ломаного пфеннига.

— Больше ни слова об этом! — приказал он, стукнув по столу своей волосатой жилистой рукой.

И во дворце Хайнца Хунце началась война.

## Глава двадцать вторая

**С**овсем иное мнение, чем его отец, имел относительно баронского титула для семьи Хунце Симха-Меер, женатый сын реб Аврома-Герша, владелец ткацкой мастерской, производящей женские платки.

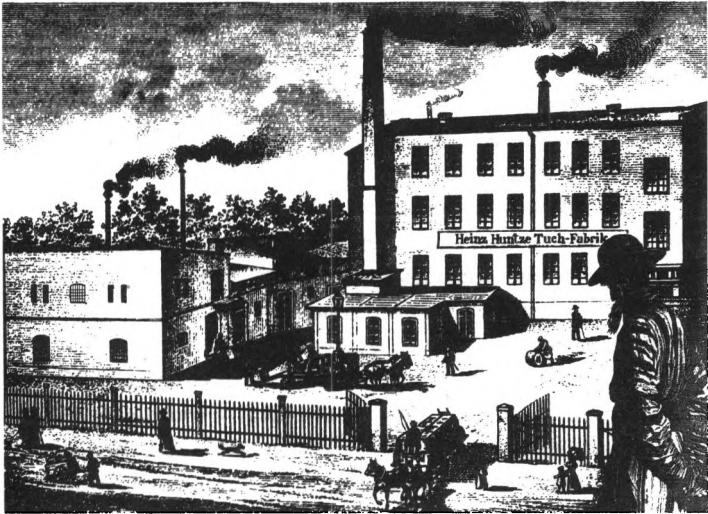
Хотя он редко заходил к отцу с тех пор, как получил от него пощечину за отказ сидеть и учить Тору, он тем не менее знал все, что делалось в доме реб Аврома-Герша и его конторе на Петроковской улице, при подъезде к мануфактуре Хунце. Он знал это и от слуг, работавших у отца, и от бухгалтера Гольдлуста, и от своих сестер, которых он часто приглашал к себе, чтобы разузнать о делах отца.

Симха-Меер не был близок с сестрами. Прежде он никогда с ними не встречался и вообще редко с ними разговаривал. Но теперь они были ему нужны. Хотя он и жил сам по себе и сам по себе производил женские платки в своей ткацкой мастерской, он продолжал следить за всем, что происходило в отцовской конторе. Он знал, какие сезоны были для отца хорошими, а какие плохими. Кто из провинциальных купцов был с ним честен, а кто его надувал, какие товары у реб Аврома-Герша шли хорошо, а какими покупатели брезговали. Он даже знал баланс отцовской коммерции. И имел по поводу нее собственное мнение. С детства его тянуло к конторе

реб Аврома-Герша при фабрике Хайнца Хунце. Правда, отец всегда гнал его оттуда, велел своим людям, чтобы они его не впускали. Но чем больше реб Авром-Герш его гнал, тем больше Симху-Меера туда тянуло. Так это было в детстве, не изменилось и теперь, хотя он и обрел самостоятельность.

О, Симха-Меер проворачивал прекрасные сделки с тех пор, как полностью завладел ткацкой мастерской. Помимо производства женских платков он очень удачно торговал — покупал и продавал хлопок и шерсть, время от времени отхватывая хорошие куски при таких перепродажах. Своим быстрым умом он мгновенно просчитывал торговые комбинации и понимал, когда надо купить, а когда продать. При этом он был достаточно умен, чтобы держаться на известном расстоянии, не слишком рисковать и не все ставить на кон. В последнюю минуту он мог передумать и отступить подальше от края обрыва, чтобы не упасть. Ему везло в Лодзи, в этом растущем городе, который он знал вдоль и поперек. Он рос вместе с ним. Ему, Симхе-Мееру, не на что было жаловаться. Вложенные им в дело десять тысяч рублей за несколько лет окупилась с лихвой. Он совсем не жалел, что не послушал отца и не остался в молельне изучать Гемору. Он был уже хорошо известен среди купцов и фабрикантов, что помельче. Но он не собирался поживать на лаврах.

Симха-Меер никогда не был приверженцем ручного труда. Будучи настоящим лодзинцем, он знал, что этот город принадлежит пару и фабричным трубам. Он взял ручные станки, но для него это был только мостик на другой берег, только леса, необходимые для постройки здания. Когда здание готово, леса разбирают и выбрасывают. Он, правда, мог бы и сейчас перейти к пару, к маленькой фабрике, где вместо ручных станков работали бы паровые, он мог бы постепенно увеличивать число станков, день за днем совершенствовать производственный процесс, пока его фабрика не стала бы большой, с высокими трубами. Но на это у Симхи-Меера не было времени. Он не мог ждать. Он хотел сделать рывок, гигантский скачок сразу, не свернув себе, однако, шеи. Он хотел взять город



хитростью, проникнуть в его величайшую твердыню. Брать стены штурмом он не мог. Слишком маленьким и ничтожным был он со своими несколькими десятками тысяч, чтобы штурмовать высокие стены больших фабрик. Но Симха-Меер знал из святых книг, что маленькая моль, проникнув в платяной шкаф, бывает сильнее большого платья, что искра может спалить огромный дом, если найдет, как в него пробраться.

Он метил высоко, этот юноша из Лодзи. Его плутоватые глаза всегда устремлялись к вершинам самых высоких фабричных труб. Выше всех труб поднимались в грязное небо Лодзи трубы фабрики Хайнца Хунце. Правда, фабричная цитадель Хунце была громадной, поистине гигантской для коротких ног Симхи-Меера. Но в этой крепости обнаружилась брешь, лазейка, через которую можно было в нее попасть, — контора его отца. Симха-Меер взволнованно примеривался к этому большому, несовременному, набитому товарами складу. Отец вел дела слишком солидно и старомодно. Старик Хунце был доволен своим управляющим. Реб Авром-Герш был так же солиден и осторожен, как сам Хунце, не лез на рожон, не занимался показухой. Но Симха-Меер смотрел на вещи иначе, не так, как старый фабрикант. Он понимал значимость поста генерального управляющего на крупнейшей фабрике Лодзи. Он видел, что можно сделать на таком большом предприятии, будучи молодым и решительным и имея возможность развернуться. Если бы его только допустили, он бы задал перцу. За самое короткое время он вывел бы дело на высочайший уровень. Прежде всего он показал бы Хунце, чего можно достичь на его фабрике. Но отец не хотел дать ему этот шанс. Он гнал его из своей конторы так же, как раньше, когда Симха-Меер мальчишкой пробирался в нее.

Симха-Меер ничего не мог с этим поделаться. Он знал отца, знал его упрямство и старался как можно реже попадаться ему на глаза. Но в то же время он не упускал из виду фабрику Хунце. Он всегда придерживался правила, почерпнутого им из святых книг: пусть каравай уносит течением — когда-

нибудь он может к тебе вернуться. При каждом удобном случае Симха-Меер расспрашивал всех, кто был близок к коммерческим делам отца. Больше всего он узнавал от сестер, которые жили со своими изучавшими Тору мужьями на содержании реб Аврома-Герша и не знали, как убить время. Они приходили к Симхе-Мееру и рассказывали о каждом госте, прибывшем в дом, о каждом купце из России, о каждом комиссионере, коммивояжере и маклере. Среди всяких мелких новостей они доложили своему брату и о визите Хайнца Хунце в контору реб Аврома-Герша.

Симхе-Мееру сразу же стало ясно, что вперемешку с глупостями его болтушка сестра сообщила ему важную новость.

— Хунце, — переспросил он ее, — сам Хунце, говоришь, был и советовался с отцом?

Больше он ничего не слушал из того, что она рассказывала. Как талантливый следователь, способный извлечь ценную информацию из, казалось бы, пустых и никчемных свидетельских показаний, Симха-Меер быстро выловил главное из речи сестры, и его голова усиленно заработала.

В отличие от отца, он не взвешивал выгоды от баронского титула для семьи Хунце, не прикидывал, во сколько он обойдется фирме и что даст. Он знал жесткую властность Хайнца Хунце и понимал, что переубедить старика не удастся: у него есть личные пристрастия к вещам и людям и он не потерпит нововведений. Хунце ценит его отца и никогда не возьмет другого генерального управляющего, даже если ему предложат за это целое состояние. Но Симха-Меер знал и то, что Хайнец Хунце стар, что он не будет жить вечно и что глупо строить планы относительно старого человека, который не сегодня-завтра покинет этот мир, оставив после себя наследников, молодых и современных. Симха-Меер был уверен, что надо держаться тех, кому принадлежит будущее. Его отец этого не понимает. Он ставит на старого Хунце, словно тот лишь в начале жизненного пути. Он даже не пытается наладить отношения с будущими наследниками. Наоборот,

он делает все возможное, чтобы они его возненавидели. Вот, например, теперь он посоветовал старому Хунце не давать сыновьям ни пфеннига на баронский титул, которым сыновья Хунце просто бредят. Симха-Меер посмеялся над этим.

Нет, отец не годится для новой Лодзи. Он был хорош раньше, когда все в городе шло по-домашнему, обывательски, уютно. В новой Лодзи, шумной и растущей, нет места для такого типа евреев, как его отец. Покуда жив старый Хунце, он будет на плаву. Но Хунце не вечен. Он уже стар. А его наследники не захотят держать при себе столь старомодного генерального управляющего. Они его тут же вытурят и возьмут нового человека, современного, расторопного. Нехватки в желающих не будет. Их найдутся тысячи. Было бы большой ошибкой отдать это место чужаку, который придет на все готовое. Такой пост должен остаться внутри семьи. Если бы отец это понимал, он сам бы попросил Симху-Меера войти в дело. Ведь отец уже, не сглазить бы, пожилой еврей. Пора бы ему перестать так тяжело работать — голова у него уже не та, да и сил меньше. Но он упрям, как все пожилые люди. Он не подпускает сына к себе. Не желает видеть его в своем деле. Поэтому он, Симха-Меер, должен сам позаботиться о том, чтобы дело не выскользнуло из рук. Правда, пока жив старый Хунце, путь ему на эту фабрику закрыт. Хайнц Хунце высоко ценит стариков, а молодых даже видеть не хочет. Но с его сыновьями надо свести знакомство как можно раньше, подготовить почву для будущего сотрудничества.

Симха-Меер не раз думал о том, как бы подобраться к сыновьям Хунце, войти к ним в доверие, как отец к старику фабриканту. Но такая возможность все не предоставлялась. Молодые Хунце редко бывали дома, они разъезжали по миру. Торговать они не торговали. Чем их мог заинтересовать молодой хасид из Лодзи? Какой им резон с ним разговаривать? Не раз Симха-Меер без дела крутился вокруг здания фабрики, вокруг дворца Хайнца Хунце, когда там бывали его сыновья. И вот его час настал. Из слов сестры он понял, что мо-



лодым Хунце никак не удастся заставить старика отца стать перед смертью бароном. Старик не желает тратить на это деньги. Его отец тоже считает, что на это не стоит тратить-ся. Но у Симхи-Меера другой взгляд на вещи. По его мнению, надо сделать все, чтобы молодые Хунце стали баронами. Он, Симха-Меер, сделает их баронами, хочет этого старый Хунце или нет! Он ничего для них не пожалеет, одолжит денег, заложит свое имущество, последнюю рубашку продаст, лишь бы добыть достаточно средств для молодых Хунце. Ничего, им можно доверять, хотя их отец и запретил в кассе давать им деньги без его подписи. На них стоит поставить. Это окупит-ся, едва старик закроет глаза и они станут хозяевами.

Несколько ночей подряд Симха-Меер не мог спать спокой-но. Его горячая голова работала и на трех пуховых поду-шках. Он был так увлечен своими мыслями, что даже разго-варивал сам с собой. Его жена Диночка просыпалась и долго смотрела на мужа, наблюдая, как он говорит в пустоту. Но он не замечал ее взгляда. Его открытые серые глаза не видели ничего, кроме ломящихся от товара складов, толп покупа-телей, битком набитых деньгами касс, а главное — красных кирпичных стен фабрики, шума и работы, дыма и труб, леса высоких фабричных труб.

В конце концов он уселся за стол и из самых изысканных немецких слов, которые он помнил из письмовников бухгал-тера Гольдлуста, составил письмо сыновьям Хунце, предло-жив им ссуду на любую сумму, какая им потребуется, на лю-бой срок, какой они захотят, и под тот процент, какой они сами установят. Аккуратнейшим почерком, со всеми зави-тушками на готических буквах, он десятки раз переписывал письмо, а подписался своим именем и именем отца, генераль-ного уполномоченного мануфактуры Хайнца Хунце.

При его небогатом немецком нелегко ему было найти кра-сивые и благородные обороты, в которые он хотел обернуть свое предложение о ссуде высокочтимым геррам. Он пытался немногими словами выразить мысль о том, что они, высоко-

чтимые герры, сделают ему большое одолжение, соблаговолив принять от него находящуюся в его распоряжении сумму, потому что он не видит в Лодзи ни одного приличного места, куда он со спокойной совестью вложил бы свои капиталы. Симха-Меер мог бы найти в Лодзи человека, знающего немецкий лучше, чем он, но он никому не хотел раскрывать своих секретов. Даже жене, которая прекрасно знала немецкий, он не дал выправить текст этого письма. Симха-Меер знал, что карты и коммерческие дела не любят, когда в них заглядывают чужие, пусть и самые близкие люди. Целые сутки он с трепетом ждал ответа из дворца. Он так беспокоился, что не мог усидеть на месте. Ему было тесно в ткацкой мастерской, в рестораничках за грязными столиками, дома. Он то и дело смотрел на золотые часы, подаренные ему тестем до свадьбы. Он вскакивал при каждом звонке в дверь. Когда Мельхиор, слуга Хунце в зеленом охотничьем костюме, наконец пришел с маленькой запиской, Симха-Меер так разволновался, что сунул слуге в руку целый рубль, хотя еще не знал, что за весть он принес.

На длинное письмо Симхи-Меера немцы ответили всего парой слов. Без предисловий, без общепринятых вежливостей, несколькими небрежно, в стиле телеграммы написанными на визитной карточке словами Симха-Меер приглашался прийти завтра в четыре часа пополудни во дворец фабриканта Хунце. Вместо подписи стояла одна вытянутая буква. Симха-Меер перечитывал это скудное послание снова и снова.

В первый раз в жизни он взял в руки зеркало и поправил свою бородку. Сначала он загнул ее под подбородок, чтобы она не торчала так сильно. Однако бородка не хотела погибаться. Тогда Симха-Меер нашел ножницы и принялся ее ровнять. Первый отрезанный клочок бороды его напугал<sup>1</sup>, руки у него дрожали, словно он отрезал от себя кусок мяса. Но скоро он успокоился и стал стричь смелее. Чем больше он хотел подровнять, тем больше бородка выглядела неровной, так что он продолжал ее подрезать. Еще сильнее он укоротил свои и без того

<sup>1</sup> Стрижка бороды — действие, запрещенное Торой.

короткие пейсы. От них просто ничего не осталось. Потом он долго чистил сапоги, вытащил из них брючины и натянул их на голенища, чтобы казалось, будто он носит башмаки на немецкий манер. Потихоньку, в боковом переулке он забежал в магазин и купил жесткий воротничок с черным галстуком, похожим на летящую ласточку. Он порядком попотел, прежде чем застегнул этот воротничок, не желавший держаться на хасидской шее. Он разыскал и натянул на себя свой самый короткий, подрубленный лапсердачок, из которого давно вырос. Бархатный жилет с красной искрой и поверх него толстая золотая цепь от жениховских часов украсили грудь Симхи-Меера. Сунув в карман серебряный портсигар и взяв черную трость с серебряным набалдашником, он сел в закрытые дрожки, чтобы никто не увидел ни как он выглядит, ни куда едет. Подпрыгивая на выбоинах плохо замощенных улиц Лодзи, он с беспокойством и надеждой ехал ко дворцу Хайнца Хунце.

— Пусть верх будет поднят, — сказал он кучеру, когда тот хотел опустить забрызганный верх дрожек.

Лодзь кипела, шумела, люди толкались на тротуарах; извозчики махали кнутами и сыпали проклятиями, бессильными расчистить им дорогу; женщины с плачем провожали усопшего; играла военная музыка. Симха-Меер ничего не видел и не слышал.

— Быстрее, получишь на пиво, — погонял он, тыкая концом трости в обтянутую голубым сукном спину извозчика. — Живее!..

## Глава двадцать третья

**М**олодые Хунце недавно пробудились и еще не закончили свой туалет, когда ровно в четыре пополудни, минута в минуту, Симха-Меер вошел во дворец.

— Ждать! — скорее приказал, чем попросил лакей у входа, глядя сверху вниз на молодого человека, который еще за дверью снял шляпу и растерянно оглядывался по сторонам.

Молодые Хунце гуляли накануне всю ночь, пили до рассвета и плохо выспались, теперь у них жгло на сердце от множества выпитого вина и шнапса. Головы их были пусты. Еще более пустыми были после игры в карты их карманы.

Им, молодым Хунце, очень не повезло на вчерашней гулянке. Сначала их постигла неудача в любви. Уже несколько недель в кабаре «Ренессанс» выступала молодая венгерская танцовщица, взявшая Лодзь штурмом. Купцы, фабриканты, офицеры, чиновники, фабричные инженеры, даже коммивояжеры и торговые служащие вечер за вечером заполняли кабаре, встречая танцовщицу гулкими криками восторга и бурными овациями.

В первые же дни ее выступлений лодзинская золотая молодежь принялась посылать ей подарки и заказывать на ее стол вина, стремясь покорить ее прежде, чем это сделают другие. Подарки и цветы танцовщица принимала. Но присаживаться к кому-либо за стол не хотела. Еще меньше она допускала поклонников к себе в маленькую гардеробную комнату, куда рвались стар и млад. Пожилая дама с очень блестящими глазами и еще более блестящими бриллиантами строго охраняла дверь и вежливо, но твердо отгоняла посетителей.

На смеси венгерского, немецкого, французского и русского она просила не мешать ее дочери.

— Но, но, — махала она руками, — нельзя. Моя дочь переодевается. Не входить!..

Если пылкая молодежь уж очень упорствовала, дама вызывала чернявого молодого человека, худого и болезненного, говорившего, как и она, на нескольких языках одновременно. Этот болезненный молодой человек, всегда наряженный как на свадьбу, во фрак и белую рубашку, низко поклонившись, тонким, слабым и загадочным голосом просил поклонников разойтись.

— Мсье, — тихо говорил он, — моя жена просит оставить ее в покое. Она устала от танцев, а скоро ей снова выступать...

Тихая речь болезненного брюнета оказывала гипнотическое воздействие на прорывавшихся в гардеробную мужчин. Они вежливо уходили от двери, но препятствия только разжигали огонь любви и восторга к юной танцовщице, которая плясала так соблазнительно, будоража кровь и не давая покоя. Лодзь не привыкла к таким танцовщицам.

Когда мелкая рыбешка с мелкими подарками не добилась успеха, крупные лодзинские щуки, сынки богатых фабрикантов, попытали счастья с крупными подношениями, бриллиантами и жемчугами. Танцовщица принимала их подарки в атласных коробочках, но прилагавшиеся визитные карточки с приглашениями поужинать выбрасывала. Сразу же после выступления она, очень скромно одетая, в сопровождении пожилой дамы с одной стороны и нарядного болезненного брюнета — с другой, уходила к себе в гостиницу на Петровскую улицу.

— Это невозможно, она не пойдет, — говорил директор кабаре влюбленным сынкам фабрикантов, просившим у него протекции для налаживания отношений с танцовщицей. — Она не делает ни шагу без матери и мужа. Я на все готов для моих гостей, но ничего не выйдет.

— Исключено, уважаемые господа, — трагически отмахивался рукой метрдотель в зеленом фраке, — они никого не впускают. Они сразу же идут спать, как только приходят домой, ведут себя очень прилично, совсем не как комедианты.

Лодзинская золотая молодежь неистовствовала. В Лодзи не было тайн. Все точно знали, кому и во сколько обошелся каждый посланный танцовщице подарок. Так же хорошо было известно, чего удалось добиться от получательницы подношения. Незадачливые ухажеры дразнили и высмеивали друг друга. Фабриканты оставляли свои дела, мужья — свои семьи. Вечер за вечером они сидели в «Ренессансе», пили, аплодировали, посылали цветы и оставались ни с чем.

— Святая, — говорили немцы, — монахиня...

— Раввинша, — издевались евреи.

В Лодзи начали ходить легенды о танцовщице. Иноверцы считали, что она венгерская графиня, убежавшая из дому из-за любви к своему болезненному спутнику, которого ее отец-граф знать не хотел. Пожилая дама — это мать молодого человека, называющая невестку дочерью. Евреи где-то выведали, что она дочь какого-то ребе из Галиции, покинувшая родной дом ради своего венгерского возлюбленного, который сделал ее танцовщицей. Оппозиция утверждала, что это не более чем шайка проходимцев, выдающих себя за родственников, играющих в скромность, чтобы заманивать дураков и вытягивать у них деньги. Лодзь бурлила. Повсюду говорили о таинственной венгерке. Лодзинские женщины были обижены, заинтригованы. Пойти в кабаре они не могли. Приличным женщинам даже в ресторан или кафе вход был заказан. Поэтому они часами прогуливались по Петроковской улице, чтобы увидеть ту, о которой так много говорят мужчины, и понять, в чем ее притягательная сила.

Наконец легенды о танцовщице дошли до дворца Хунце. Их принес с фабрики швейцарский химик, единственный, с кем разговаривала танцовщица, оттачивая свой французский язык. И сразу же русые головы троих братьев загорелись одной идеей.

— Дудки, — сказали они, — нам-то уж она не откажет... ну нет!..

Они не собирались конкурировать с золотой молодежью Лодзи. Им не подобало обивать пороги кабаре вместе со всякими купчишками, коммивояжерами и служащими. Они велели, чтобы в «Ренессанс» никого не пускали, кроме избранной публики, которую Хунце пригласили на закрытый ужин, — нескольких высших офицеров русской армии, нескольких сыновей богатых фабрикантов, пары польских аристократов из ближайших имений и французского швейцарца, химика с отцовской фабрики, рассказавшего им о тан-

цовщице. Каждый из молодых Хунце в тайне от других братьев купил дорогой подарок — драгоценность в несколько каратов, — чтобы вручить его танцовщице, когда он уведет ее из-под носа у остальных в заранее подготовленный для двоих кабинет.

Вечер прошел весело. Сам директор стоял у дверей кабаре и никого не впускал. Официанты подавали великолепные кушанья и роскошные вина. Танцовщица как змея извивалась в страстных танцах, дарила многообещающие взгляды, дразнила, манила каждым изгибом своего точеного тела. На этот раз она сделала исключение и приняла приглашение Хунце поужинать с ними. Однако кончился ужин так же быстро, как и начался. За весельем последовала гнусная развязка.

Как настоящие немцы, которым насилие сподручней дипломатии, братья начали грубо бороться между собой за право покорить ту, что отказала всей Лодзи.

— Сто рублей за первый поцелуй! — объявил один из Хунце.

— Двести рублей! — откликнулся второй.

— Триста рублей! — бросил третий.

Танцовщица улыбнулась. Ее муж, болезненный и разоде-тый, сидел и мрачно молчал.

Когда предложенные суммы были отвергнуты, Хунце за-велись еще больше.

— Посмотри-ка, малышка, — сказал один из братьев, сверкнув бриллиантовым колечком, — что ты получишь, если будешь со мной послушной девочкой.

— Нет, со мной, — перебил его брат, показывая зеленый изумруд на черном фоне.

— Все это ерунда по сравнению с моей жемчужиной, — вмешался третий брат и, не дожидаясь ответа, стал надевать жемчужину на шею танцовщице и при этом шарить волоса-той рукой в декольте ее платья.

— Мсье, ведите себя прилично! — сказал нарядный спут-ник танцовщицы, вставая со стула.

— Ах, ну тогда еще сто рублей! — возразил, смеясь, распаленный Хунце.

— Мсье, немедленно извинитесь! — потребовал болезненный молодой человек, глядя на Хунце застывшим взором.

— Если этого мало, я даю две сотни, пять сотен! — ответил смеющийся немец и еще крепче прижал к себе танцовщицу.

Тогда болезненный брюнет выпрямился, стал вдвое выше и шире и закатил смеющемуся немцу такую оплеуху, что бокалы с вином заплясали на столе.

Братья Хунце так и застыли с открытыми ртами. Впервые кто-то поднял на них руку, да еще какой-то муж танцовщицы в кабаре. Придя в себя, они повскакали с мест, чтобы растоптать этого типа, но он со своей женой и пожилой дамой уже успел покинуть кабаре. Следом за гордецами бежал, размахивая руками, директор.

От злости побитый Хунце принялся крушить бокалы со стола, расколотил бутылкой самое большое зеркало и облил белую манишку директора первым же вином, которое подвернулось ему под руку.

— Больше никогда моя нога не переступит порога этого свинарника! — кричал он и швырял банкноты на пол, расплачиваясь со склонившимся перед ним директором.

Чтобы прогнать дурное настроение, офицеры взяли сыновей миллионера на загородную прогулку. Там они много пили, без конца вливая в себя вино и шнапс и закусывая игрой в карты.

— Кому не везет в любви, тому везет в карты, — шутили офицеры.

Хунце играли яростно, сорили деньгами, но в карты им везло еще меньше, чем до этого в любви. Офицеры каждый раз выигрывали.

На рассвете братьев Хунце, разозленных, взмыленных, отвезли домой. Прямо во фраках и тесных рубашках они упали на ковры и заснули. Проснулись они только к полудню,



злые, раздраженные, униженные вчерашними неудачами. Они ругались, чертыхались, били переодевавших их лакеев. Они помнили ту оплеуху в кабаре и с горечью думали о том, что вся Лодзь теперь узнает об их провале. Кроме того, им нужно было заплатить несколько тысяч рублей, и как можно быстрее. Офицеров могли в любой день перевести в другое место службы, и карточный долг надлежало погасить немедленно. Требовать денег у отца было трудно. Сыновья уже давно были с ним в ссоре. Все из-за баронского титула, за который он не хотел дать даже ломаного пфеннига.

В такое-то время во дворец и пришел Симха-Меер, покрасневший, подавленный окружавшим его богатством и барством, растерянный и все же бодрый, полный веры в себя и в город Лодзь.

В первую минуту, когда разодетый слуга сообщил братьям о том, что еврей в кафтане ждет на лестнице, Хунце даже не вспомнили, что они кому-то назначили встречу в этот час.

— Вышвырни его вон, эту еврейскую свинью! — приказали они.

Но разодетый слуга, заблаговременно получивший от Симхи-Меера на пиво, принялся вкрадчиво рассказывать господам об этом еврее и говорить, что они сами его пригласили. Тогда Хунце вспомнили о письме и велели впустить визитера.

Братья приняли Симху-Меера в бассейне, купаясь после бессонной ночи в холодной воде. Симха-Меер очень быстро прошел через множество комнат, с опаской поглядывая на огромного волкодава, который неотступно трусил за ним и недоверчиво принюхивался к его укороченному лапсердаку, для собаки все равно слишком длинному.

— Доброе утро, уважаемые господа, — поприветствовал Симха-Меер трех голых типов, которым слуги лили воду на головы. Ответа не последовало. Симха-Меер робко и смущенно смотрел на мощные тела иноверцев, не испытывавших в его присутствии никакого стыда. Он вертел в руках шляпу. Он не знал, что с ней делать. Голые типы завернулись в подан-

ные им слугами купальные простыни и злыми глазами взглянули на молодого человека в лапсердаке.

— Это вы, — спросил чужака старший из братьев, — сын старого Ашкенази, придворного еврея нашего отца?

— Да, — ответил Симха-Меер. — Мой отец — генеральный управляющий фабрики.

— И вы тоже хотите стать нашим придворным евреем? А?..

— Я хочу предложить свои деньги уважаемым господам, — ответил Симха-Меер.

— У вас их много?

— Сколько пожелают уважаемые господа, — заверил Симха-Меер.

— О! — хором воскликнули три брата.

Старший из молодых Хунце мотнул головой, отбросив назад свой русый чуб, и отряхнулся, как вышедшая из воды собака.

— Но мы не знаем, когда мы их вернем.

— Я могу подождать, — сказал Симха-Меер.

— Наш отец не должен об этом догадаться.

— Я умею хранить тайны, — сказал Симха-Меер.

— Мы не рассчитываем расплатиться раньше, чем старик умрет. А как долго он проживет, неизвестно.

— У меня хватит терпения, — сказал Симха-Меер.

— Нам надо много денег. Прямо сейчас нам нужно несколько десятков тысяч. Потом нам потребуются еще деньги.

— Я всегда готов служить уважаемым господам, — смело ответил Симха-Меер, хотя и сам не знал, где он возьмет такую сумму. — Я только попрошу уважаемых господ давать мне знать о ссуде за неделю...

— Подходит, — сказал полуодетый немец, делая руками гимнастику, — но в этот раз деньги нам нужны уже завтра. Адью!

Симха-Меер вышел взволнованный, униженный приемом, оказанным ему немцами, но вместе с тем уверенный и удовлетворенный. Брешь в крепостной стене была пробита.

Правда, пока приходится вползать в эту брешь на четвереньках, но Симха-Меер знал, что поначалу всегда так. Все начала трудны, как сказано мудрецами Талмуда, но мудрый смотрит вперед и видит то, что будет дальше. А в том, что дальше будет по-другому, Симха-Меер не сомневался. Никогда еще он не ощущал такой силы в руках, такой уверенности в себе, как сейчас, идя по широкой и пыльной загородной улице, вдоль красного забора фабрики Хайнца Хунце. Еще никогда ему не были так близки эти торчащие и коптящие небо трубы. Мимо шли рабочие-поляки, которые стали издеваться над ним, подняли собачий лай.

— Мойше, не бойся, — смеялись они. — Ой вей!

Но Симха-Меер их не слышал. В его голове роились мысли, высокие, как фабричные трубы.

С той же целеустремленной быстротой, которая сразу после свадьбы позволила Симхе-Мееру прибрать к рукам ткацкую мастерскую его тестя, он теперь сбыл ее с рук. Он не стал ждать лучших условий для продажи. Он даже уступил в цене, лишь бы выручить деньги как можно быстрее и передать их братьям Хунце в срок. Симха-Меер занимал деньги под высокие проценты, закладывал вещи, проворачивал махинации и получал тысячу за тысячей. Он вдруг сблизился с сидевшими в хасидской молельне молодыми людьми, которые жили на содержании у отцов своих жен и с которыми он долгое время не хотел знаться. Симха-Меер убеждал их доверить ему полученное ими приданое. За это он обещал им компаньонство в своих коммерческих делах, невероятно прибыльных в будущем. Так же вдруг он начал водить дружбу со свояками, мужьями своих сестер, мальчишками, жившими на содержании его отца и прежде ему нисколько не интересными. Хитрыми, замысловатыми речами, потоком сладких слов, с которых разве что мед не капал и которые проникали в любое сердце, грея его и обольщая, он уговорил своих сестер и свояков-хасидов вложить деньги из их приданого в его коммерческое предприятие.

— Я не могу пока сказать, что это за предприятие, — шепнул он. — Это тайна, но обещаю вам, что, с Божьей помощью, мы хорошо заработаем, получим жирный кусок. Я своим кровным родственникам не наврежу, не дай Бог.

А когда этого все-таки оказалось мало, он взял зонтик и портфель, как всегда, когда ему надо было обделать какое-то важное дело, и поехал в Варшаву, к Янкеву-Бунему.

Два дня Симха-Меер варился в собственном сладком соку, живя в богатой квартире своего брата во владениях реб Калмана Айзена. Он продемонстрировал такую бездну мудрости и деловитости, что все, начиная от его невестки и заканчивая сыновьями реб Калмана — и заносчивыми, и теми, что слова выговорить не решались, — просто таяли от восторга.

— Голова илуя, — говорили о нем, — он знает толк и в Торе, и в коммерческих делах.

Даже тесть брата, боявшийся всех и вся, отгородившийся от целого мира, оценил высокие достоинства гостя.

— На что уж я человек, ни в чем не разбирающийся, — как всегда, тушевался он, — но и я без ума от этого Симхи-Меера.

Была в нем странная сила, в этом невысоком юноше. Так же, как он мог отстраненно пройти мимо и не узнать того, в ком ему не было нужды, он мог вдруг стать мягким, сладкоречивым и сердечным, если кто-то оказывался ему нужен. При необходимости он мог уговорить камень. Он никогда не лез в карман за словами талмудических мудрецов, народными поговорками и не слишком обдуманно, но убедительными обещаниями, проникающими в человеческие сердца. А у Янкева-Бунема быстрее, чем у кого-либо другого, можно было получить желаемое. Он сразу же забыл все свои обиды и претензии к брату. Веселый, жизнерадостный, любящий наслаждаться жизнью и желающий, чтобы другие тоже наслаждались ею, не умеющий долго помнить зло, он немедленно пошел брату навстречу и дал ему на его дела столько денег, сколько тот попросил.

Конечно, Симха-Меер мог получить сколько угодно под векселя Хунце у богатых процентчиков, но не хотел. Ни са-

ним Хунце, ни Симхе-Мееру не было выгодно, чтобы эти векселя ходили по рукам. Он не собирался допускать к ним во дворец посторонних. Он стремился стать их единственным, незаменимым доверенным лицом и поставщиком денег. И он забыл про отдых, обедал на скорую руку, больше подсчитывал за столом, чем ел; наскоро молился, сворачивал ремешки тфилин, едва наложив их, и бежал собирать деньги.

Он вовремя, в нужную минуту доставил молодым Хунце суммы, необходимые для покрытия карточных долгов и других расходов. Получив от него первые деньги, они поверили ему.

— Хорошо, очень хорошо, — сказали они, небрежно подписывая векселя.

Скинув с себя бремя оплаты первостепенных долгов, они занялись более важными вещами. Они решили сами, за свои деньги, выхлопотать через петроковского губернатора баронский титул для старого Хунце, чтобы унаследовать его еще до отцовской смерти. Они знали, что они свое возьмут. Пусть только старик закроет глаза. Симха-Меер тоже был уверен, что обстряпал стоящее дело. Он вовремя доставил во дворец братьям Хунце нелегко добытые тысячи рублей, необходимые для этого предприятия.

Теперь петроковский губернатор все чаще покидал свою губернию, оставляя ее на попечение помощника, и на деньги братьев Хунце ездил в Санкт-Петербург.

## Глава двадцать четвертая

**Б**ал во дворце Хунце в честь получения баронского титула, который его величество император всея Руси и Царь Польский пожаловал старому фабриканту за его большие индустриальные заслуги перед Отечеством, привлек самых богатых и могущественных людей из Лодзи и ее окрестностей.

Петроковский губернатор добился своего. Вдруг, как камень на голову, старый Хунце получил всевысочайшее известие о том, что милостью его величества за свои заслуги перед страной и вклад в ее благосостояние он удостоивается чести носить титул барона, каковой переходит по наследству его детям и их потомкам навеки.

Хунце сразу же понял, что сыновья устроили это против его воли, что они где-то без его разрешения заняли много денег. Он разозлился, он стучал своей волосатой рукой ремесленника по столам, кричал, что проучит этих сопляков. Но отвергнуть милость его величества было невозможно. Ничего не оставалось, как поблагодарить губернатора за его хлопоты и готовиться принять титул с достоинством и величием, как подобает дому Хунце. Бал в честь получения титула от его величества надлежало дать в собственном дворце Хунце в присутствии богатейших, знатнейших и влиятельнейших жителей Лодзи. Хунце вызвал обеих дочерей-баронесс, чтобы они устроили этот бал по своим аристократическим обычаям. И дочери Хайнца Хунце вместе с его сыновьями вложили много труда и денег, чтобы организовать торжество, достойное новых баронов из дома Хунце.

За несколько месяцев до бала обновили дворец при фабрике. Правда, дворец и без того был почти новый и в ремонте не нуждался. Надо было только убрать с ворот прежний, вырезанный по приказу Хунце купеческий знак, изображавший голых бородатых германцев с фиговыми листьями на срамном месте и копьями в руках, и поместить туда дворянский герб — стоящего на задних лапах медведя, передние лапы которого опираются на изогнутый крест. Но с получением титула дети Хунце хотели обновить все, избавиться от малейших следов старой жизни. Они выписали архитектора из самого Мюнхена, и тот перестроил дворец, приделал к нему всякие башенки и шпили по образцу немецких рыцарских замков, украсил его геральдическими каменными фигурами голых германцев, сражающихся со львами и змеями; мяси-

стыми пастушками, пасущими овец, и вакханками, кружащимися в диком танце с баранами и сатирами. Все это было увито множеством каменных виноградных лоз и листьев.

Широкий въезд во дворцовый двор тоже был уставлен фигурами. Венеры, нимфы, сатиры с козьими ногами, богини с распущенными волосами и пальцами, лежащими на струнах золотых арф, жаждущие нагие мальчики у струящихся родников, лучники и расправившие крылышки жирные ангелочки с толстыми ножками — все было сделано из белого мрамора и стояло по обе стороны от дороги, вымощенной большими четырехугольными каменными плитами. Обочины дороги были обсажены кустами, деревьями и цветами.

Новый герб, медведь с передними лапами на изогнутом кресте, был повсюду: на воротах дворца, на больших дубовых резных дверях во всех комнатах и залах, на каретах, на дорогой упряжи, на тарелках, ложках и вилках, на визитных карточках золотой печати, на ливреях слуг, на блестящих цилиндрах кучеров с большими усами.

Заказали все новое. Вывезли тяжелую дорогую мебель и заменили ее огромными шкафами, комодами с сервизами, столами и креслами из самого дорогого орехового дерева, из розового дерева, из махагона. Мебель украшали резьба и мюнхенские фигуры с баронским гербом Хунце. Стены покрывали роскошные шелковые картины в золотых рамах. Потолки пестрели сценами из греческой мифологии. Большие гобелены с рыцарями, стоящими на коленях у ног пышнотелых красавиц, тянулись от потолка до персидских ковров. Фарфоровые каминные, охраняемые бородатыми германскими воинами, были уставлены бронзовыми и мраморными копиями классических скульптур. Японские вазы, китайский фарфор, баварская керамика, богемский хрусталь, цветное венецианское стекло сверкали в каждом углу на фоне позолоченных позументов. Хрустальные жирандоли на сотни свечей и серебряные канделябры лили яркий свет на золото, серебро, хрусталь, мрамор, цветное стекло, дорогое

дерево, дамаст, фарфор, слоновую кость и кружева. Расфуфыренные лакеи в шелковых фраках, черных чулках и лакированных туфлях с серебряными пряжками, специально привезенные из Германии, вышколенные и хорошо сложенные, стояли у тяжелых красных портьер из плюша неподвижно, как мраморные статуи.

Со всех краев Лодзи, по всем ведущим в город дорогам тянулись кареты с разодетыми гостями, спешащими на бал барона Хунце. Ехали богатые немецкие фабриканты, бывшие ткачи, появившиеся в Лодзи, как и их коллега Хунце, на одной лошади и с одним ткацким станком за душой и с годами стяжавшие фабричные трубы и славу. Завидуя новому титулу старого Хайнца, они сидели в своих каретах с женами, детьми, зятьями и невестками в роскошных бальных нарядах и по-купчески подсчитывали, во сколько обошлась старику вся эта история с баронством. Ехали еврейские банкиры, пузатые и с большими усами, придававшими им, по их мнению, барственный вид. Они очень беспокоились о том, как им сохранить еврейство среди всех этих аристократов. Ехали из своих имений в старинных каретах и обедневшие польские шляхтичи, желчные и обозленные на швабских хамов, которым в их родной Польше достаются и деньги, и титулы. В возках, запряженных тройками, ехали русские военные и чиновники из близлежащего губернского города. Это было похоже на парад. Черкесские всадники сопровождали с обеих сторон карету самого губернатора, генерала фон Миллера, ехавшего в окружении адъютантов и служащих. Губернатор был главным виновником торжества, поскольку именно он выхлопотал у петербургского начальства титул для Хунце.

У широкого въезда, украшенного триумфальной аркой, новым гербом, зеленью и цветами, а также красивой готической немецкой надписью «Добро пожаловать», теснились кареты и повозки. Голоса кучеров, стук копыт, ржание распрягаемых лошадей и щелканье бичей сливались в единый гул.



— Дорогу! Дорогу! — гордо кричали нарядные кучера тем, что были одеты победней и похуже. — Эй!

Русые толстопузы немецкие фабриканты, надутые польские шляхтичи с длинными усами, черноволосые и низкорослые еврейские банкиры с блестящими лысинами, бородатые русские военные и чиновники в парадных мундирах с медалями во всю грудь, дамы в длинных шелковых и атласных платьях со шлейфами, веерами и лорнетами, утопающие в горностаях и кружевах, усыпанные бриллиантами, жемчугами, рубинами, алмазами и сапфирами от похожих на башни причесок и полных плеч до пальцев рук и даже кончиков туфель, — все общество сверкало драгоценностями, бледностью белого тела, победными или ненавидящими искорками в глазах.

— Добро пожаловать, добро пожаловать! — приветствовал гостей старый Хунце в дверях большого зала вместе со своей женой, сгибавшейся под тяжестью золота и бриллиантов.

— Приветствую вас, господин барон! Желаю счастья, баронесса! — отвечали гости медовыми голосами.

Все дети Хунце и даже его зятя-бароны стояли в ряд и принимали гостей. Сыновья Хунце оплатили долги свояков, лишь бы только те приехали из своего далека и украсили собой праздник. В семье новоиспеченных аристократов бароны из старых родов были нелишними. Они должны были прикрыть своей длинной аристократической родословной возможные нелепости и сюрпризы, которые могли преподнести простоватые родители, получившие баронство неожиданно для самих себя. Поток гостей не прекращался. Старший камердинер очень торжественно объявлял о прибытии каждого гостя, педантично перечисляя все его титулы. Наконец прибыл и сам губернатор.

Оркестр тут же исполнил российский гимн «Боже, царя храни», офицеры, надутые как мопсы, отдали честь. Господа и дамы стояли плотно. Когда отзвучал гимн, губернатор трижды воскликнул «ура» в честь его величества государя импе-

ратора и прочел по бумажке извещение императорской канцелярии о присвоении титула барона подданному Хайнцу Хунце за его большие заслуги в развитии текстильной индустрии и вклад в благосостояние Отечества. Все заплодировали. Хайнц Хунце, который прекрасно знал, сколько губернатор взял за этот титул наличными, был все же тронут тем, что императорский двор оценил его заслуги перед Отечеством. Он расплакался и от большого волнения вытер глаза пальцами, как в старые добрые времена.

Общество это тут же заметило и стало тайно перемигиваться по этому поводу.

— Ура! Браво! — кричали собравшиеся.

Барону Хунце полагалось на это ответить. Дети долго репетировали со стариком, прежде чем он выучил написанную для него речь и перестал вставлять в нее простонародные саксонские словечки. Речь была полна высоких, непонятных фраз о гражданском долге, о верности Богу и императору, о благе общества. Все это было облечено в поэтические выражения, украшено лирическими пассажами и цитатами из Святого Писания. Старик не спал много ночей и смог вобрать это велеречие в свою старую голову с короткой щеткой волос. Но, едва начав говорить, он запутался в нем и увяз. Он хотел выкрутиться и сказать что-то от себя, но тут же впал в свой обычный простонародный тон и перешел на мужицкое наречие. Боясь рассмеяться, собравшиеся надулись до такой степени, что стали похожи на резиновых кукол.

— За здоровье его превосходительства губернатора! За здоровье всех высокородных гостей! — громко воскликнул зять Хайнца Хунце, барон фон Хейдель-Хайделау, поднимая свой бокал, чтобы спасти положение. — Ура!

— Ура! Ура! — подняло общество моментально поданные всем бокалы. Теперь присутствующие могли досыта посмеяться над совсем не баронскими манерами Хайнца Хунце.

— За кружкой пива с его старыми мастерами у него получается лучше, — смеялись мужчины.

— Не хотела бы я ощутить ту горечь, которая точит сейчас сердца его дочерей, — с наслаждением говорили женщины. — Можно насмерть отравиться этим ядом...

— Голова иноверца! — издевались еврейские банкиры.

— Воняет швабской капустой, — фыркали польские шляхтичи, морща свои носы под закрученными усами и наслаждаясь дорогими венгерскими винами. — Лодзинские мануфактурные бароны...

Лакеи ходили среди гостей с серебряными подносами, уставленными ликерами, коньяками и винами самых дорогих марок из лучших виноделен Европы. Столы ломились от изысканнейших блюд. Серебряные бочонки с астраханской икрой; тарелки с рыбой всех сортов; моллюски и устрицы; сморчки; холодное мясо животных, домашней птицы и дичи — оленей, кабанов, голубей, фазанов, каплунов, куропаток, диких уток; медвежьи колбаски со свежей зеленью; корзины со всевозможными фруктами — черешней, виноградом, ананасами, прибывшими на север из теплых стран. Все это было украшено цветами, привезенной с Ривьеры белой сиренью, все это стояло на столах и дразнило взгляд и обоняние.

Оперные певцы, колоратурные певицы, танцовщицы, скрипачи-виртуозы демонстрировали свои таланты, услаждая слух и зрение собравшихся гостей, развлекаая их и помогая справиться с изобилием блюд. Самые красивые арии лучших композиторов прозвучали в высоких разубранных залах. Но мало кто из гостей их слушал, все были заняты едой, крепкими напитками, разговорами, смехом, завистью. Женщины оценивающе смотрели на соперниц — на бриллианты, дорогие платья, красивые декольте. Еврейские банкиры старательно веселили публику еврейскими шутками, вызывая у иноверцев взрывы хохота. Русские военные рассказывали друг другу срамные анекдоты и обсуждали казарменные интриги. Немецкие фабриканты облизывались на глубокие декольте и пышные дамские бедра. Польские шляхтичи сы-

пали колкостями в адрес русских, немцев и евреев, захвативших их страну.

Говорили в основном по-немецки и по-русски. Польская речь звучала редко. Ею здесь было никак не обойтись. Немецкого шляхтичи не знали и мучились, объясняясь на своем убогом французском, которому их учили еще в детстве и юности. Это их ужасно злило, и они не переставая бурчали себе под нос:

— Величие простолюдинов! Понаставили всего, как в шинке!

— Осторожнее, а то еще найдешь швабскую фаршированную кишку с капустой.

— И кусок еврейской селедки с чесноком...

— Скоро для шляхтича уже и места в этой стране не останется. Сплошные кацапы, швабы и жидаы...

Гости пили за здоровье друг друга. Русские чиновники чокались с польскими помещиками, родственники которых томились в Сибири за участие в недавнем восстании. Польские помещики жали руки еврейским банкирам, у которых им приходилось брать кредиты. Немецкие фабриканты дружелюбно хлопали коллег по спине. Однако, едва расставшись, давешние приятели оговаривали и ругали друг друга.

— Польские гордецы-побирушки, — ворчали еврейские банкиры. — Надутые как индюки...

— Швабские свиньи, устроились тут как у себя дома, — шипели сквозь зубы поляки.

— Еврейские халтурщики, — злобствовали немцы. — Того и гляди захватят всю ткацкую отрасль.

— Дамочки хорошенькие, — переговаривались русские офицеры, — а вот мужчин надо гнать ко всем чертям. Сплошные инородцы. Такое ощущение, как будто мы не у себя в России...

Ненависть царила в роскошных освещенных залах. Хунце открыли все двери, показывали гостям свои владения: спальни в стиле Людовика XV, библиотеку, полную книг с позолоченными корешками, охотничьи домики со множеством

оленьих рогов, курительные комнаты с тяжелыми, обитыми кожей креслами, картинные галереи с огромными немецкими полотнами в золоченых рамах и двумя портретами хозяев дома — и похожих, и приукрашенных, очень торжественных, напоминавших портреты королей.

— Великолепно, — громко восхищались все и шептали друг другу: — Халтура...

— Прекрасные экземпляры, — вслух хвалили гости зверей в охотничьем домике, а между собой говорили: — Куплены готовыми.

Так же расхваливали книги и спрашивали соседа на ухо, не читает ли их старый Хунце вверх ногами. Выражали восторг по поводу мрамора, японских ваз и тут же шутили, что старики Хунце варят в них пиво.

Жены сживали мужей со свету за то, что те не добыли себе титула и не украсили им свое фамильное имя. Матери завистливыми глазами смотрели на сыновей Хунце, к которым теперь будет не подступиться. Женщины постарше пожирали глазами молодых баронов из-за их привлекательности и осуждали их за их распущенность. Уродливые завидовали красивым, те, кто победнее, умирали от зависти к тем, кто побогаче, бредили их бриллиантами.

Но внешне гости были дружелюбны, добры, внимательны и деликатны. Лишнего не болтали, вели медовые речи, осыпали друг друга комплиментами. А музыка не переставала играть, оперные певцы — петь, танцовщицы — танцевать, бриллианты — сверкать, вина — искриться.

— Прозит, барон! Ура, баронесса!

— Прозит, мои дорогие и глубокоуважаемые гости!

В полночь оркестр заиграл танцевальную музыку — вальсы, полонезы и кадрили. Молодые женщины и мужчины прижимались друг к другу, шептали на ухо слова любви, обнимались, целовались украдкой и скользили в танце по сверкающим полам. Мужчины постарше ушли к карточным столикам, где на кон ставились целые состояния.

Старого Хунце и его жену так поздно уже не держали ноги, и дочери своевременно отвели их в заново обставленную спальню. Издалека к старикам доносилась музыка, но им было совсем невесело в их больших резных кроватях с голубыми шелковыми балдахинами. Все это общество было для них обузой — обузой для их возраста, положения и понятий. В своей новой баронской шкуре они чувствовали себя потерянными. На каждом шагу они попадали впросак, их слова были вечно некстати. Дочери то и дело уводили их в уголок и поучали.

— Молчите же ради Бога! — шикали они на родителей.

Старики вспоминали минувшие годы и тосковали по ним.

— Хайнц, ты спишь? — спросила старуха своего мужа.

— Нет. А ты, Матильда?

— Тоже нет, — отвечала она.

А на улице вокруг дворца, по ту сторону каменной ограды, толпились тысячи людей, жаждавших хоть одним глазком заглянуть в освещенный дворец. Однако каменная ограда не давала удовлетворить любопытство.

Были видны только большие освещенные окна и туманный свет, пробивавшийся сквозь тяжелые портьеры.

Кучера щелкали бичами всю ночь.

## Глава двадцать пятая

**К**ак тяжелая ноша, свинцовая и гнетущая, лег баронский титул на плечи старого Хунце.

Этот титул ввел его в колоссальные расходы, куда большие, чем изначально рассчитывали его сыновья. Неизмеримо большие. Губернатор проглотил чудовищные суммы. Не меньшие деньги ушли на перестройку дворца, на новую обстановку и бал в честь получения титула. Хайнц Хунце по-

крыл сыновьям их расходы, но Симха-Меер не торопился взыскивать долг. Он предпочитал держать свои деньги у братьев Хунце. Да и молодые бароны не спешили с ними расстаться. Теперь, в новом статусе, им требовалось еще больше средств, чем прежде. На одном только балу они проиграли в карты немалые суммы. Толстый главный директор Альбрехт, под весом которого ломались стулья, со множеством извинений, красивых слов и сладких речей напомнил старому Хунце, что платежный баланс портится.

— Мне очень жаль, господин барон, — оправдывался он, — но моя обязанность обратить ваше внимание на то, что в кассе есть дыры, большие дыры. А Гецке не хочет ждать с доходами. Он цепляется за каждый пфенниг.

— Эта свиная собака Гецке, — злобно проворчал Хунце, — этот вшивый мерзавец.

Фриц Гецке снова точил зуб на Хайнца Хунце, как в старые времена, когда они еще не были компаньонами. Баронский титул, который получил теперь Хунце, не давал Фрицу Гецке покоя. Из-за него он не спал по ночам. Все годы компаньонства он носил в себе тихую ненависть к своему партнеру, потому что, хотя Фриц Гецке был полноправным компаньоном Хайнца Хунце и, возможно, даже вложил в их дело больше труда и денег, фабрика все равно носила имя Хунце. На вывесках, на письмах, на всех официальных бумагах было четко написано «Хунце и Гецке», но люди на улице всегда говорили «фабрика Хунце», а имя Гецке отбрасывали. Директора фабрики и ее работники оказывали больше почета Хунце, чем его компаньону. Имя Гецке здесь как-то не прижилось, не вошло в обиход. И Фрица Гецке это очень раздражало.

А тут в довершение зла еще это баронство Хунце. Правда, Гецке новый титул партнера проигнорировал. Для него он просто не существовал. Фриц не только не пришел на бал к Хунце, он даже ни разу не назвал Хунце бароном. Ни самого старого фабриканта, к которому он по-прежнему обращался «герр Хайнц», ни его сыновей, которых он при встрече на-

зывал «молодыми людьми». Кроме того, он не мог спокойно слышать, как директора и инженеры фабрики именуют его компаньона только что полученным им титулом.

— Ах, Хунце, — поправлял он их каждый раз, когда они говорили «господин барон».

С давних пор Гецке пытался догнать Хунце, но сколько бы он ни прикладывал усилий, он все время плелся позади. Правда, однажды он победил своего бывшего мастера, заставил старика сделать его, Фрица Гецке, которого тот иначе как вшивым мерзавцем не называл, своим компаньоном. Это была большая победа, но для людей, для всего света Хайнц Хунце по-прежнему был крупным фабрикантом и королем Лодзи, а Фриц Гецке так и остался в тени. Его знали считанные люди. Он делал все, чтобы походить на своего бывшего мастера. Он выстроил себе такой же дворец, как у Хунце, поставил там такую же мебель, купил себе такие же кареты и лошадей. Он обезьянничал во всем — ходил в похожей одежде, курил трубку, пересыпал речь крепкими словечками, но это не помогало. И вот теперь Хунце вырвался далеко вперед, а Гецке безнадежно отстал. И Гецке кипел от злости. Еда и сон были ему не в радость.

Он изо всех сил старался подловить Хунце, воткнуть ему нож в спину, отомстить ему. Теперь такая возможность представилась. В кассе были дыры. Конечно, их можно было бы заткнуть, если бы Фриц Гецке только захотел. Но сколько толстый директор Альбрехт ни уговаривал второго компаньона, взяв его за лацкан, сколько ни хлопал его дружески по спине, Фриц Гецке не уступал.

— Пусть он станет бароном за свой счет, а не за мой, — говорил он с упрямым наслаждением.

Возможно, попроси его сам Хайнц Хунце, он бы не отказал. Просьба Хунце для Гецке дорогого стоила. Но Хунце с «вшивым мерзавцем», со «свиной собакой» разговаривать не желал. Не доживет его бывший подмастерье до того, чтобы он, Хунце, просил его об одолжении. Лучше сдохнуть! А тол-



стый директор Альбрехт, под тяжестью которого ломались стулья, от расстройства потел всем своим необъятным телом. Ведь он обязан был залатать дыры в кассе. Правда, Хунце легко мог получить любой кредит. Вексель Хунце равнялся денежной банкноте. Но Хайнц Хунце не хотел выдавать векселей. Таков был его принцип — не подписывать долговых бумаг. В Лодзи шутили, что это от его неумения расписываться, но шутники ошибались. Просто он так решил. Хунце знал, что короли векселей не выписывают, а он был король, мануфактурный король Польши.

Кроме того, с тех пор как он стал бароном, ему нет житья в собственном доме. Сыновья и дочери все время учат его этикету, хорошим манерам. Они постоянно устраивают в их семейном дворце балы для аристократов, на которых старый Хунце и его жена чувствуют себя чужими, пребывают в вечном страхе и тревоге, как бы не ляпнуть чего-нибудь лишнего. Приглашенные в гости аристократы зовут потом к себе, на обеды, на охоту, на балы. Для Хайнца Хунце это просто напасть. Он совсем не знает, как разговаривать об этих барских делах — о зайцах, о лошадях и собаках, о родословной, о картах и винах. Самое большое удовольствие для него — ходить по фабрике, разговаривать с купцами, шутить с мастерами, грубить инженерам и химикам. Как и прежде, он с самого утра надевает поношенный пиджак и широкие брюки, чтобы облазить в своей фабрике все углы, но сыновья и дочери запрещают ему работать и сживают его со свету.

— Не забывай, отец, что ты барон, — говорят они ему. — Ты не должен общаться с плебсом.

Они не дают ему ни с кем слова сказать, не дают ходить пешком, как он любит, заставляют ездить в карете с гербом. Окружающие, самые близкие ему люди переменились к нему с тех пор, как у него появился титул. Они разговаривают с ним не так свободно, как раньше, а натянуто и отчужденно, и в обязательном порядке титулуют его «господин барон».

Хуже всего то, что его начали втягивать в разные организации, делать везде почетным председателем и требовать денег на больницы и церкви. Давать Хайнц Хунце терпеть не может. Он верит, что свое состояние он сколотил собственными руками и собственным умом. А тех, кто не достиг таких высот, считает глупыми неудачниками и лентяями. Больше всего он ненавидит бедняков. Всех. Он убежден, что они пьяницы и бездельники. Они падки на чужое. И его очень сердит, когда к нему приходят и просят денег для всяких побирušек, на их госпитали, церкви и прочее.

— Я плачу налоги, большие налоги государству, — злобно отвечает он. — Так пусть государство о них и беспокоится. Я на это не даю.

Раньше он действительно не давал. Но с тех пор как он барон, к нему стали приходиться, присылать ему письма. Организации осыпáли его почестями; матери просили помочь их детям, которым было нужно образование; вдовы просили помощи; старики просили поддержки. Он пытался отказывать, но дети опять отчитали его:

— Помни, отец, что ты барон Хунце! Ты должен себя вести, как все аристократы.

Главная неприятность заключалась в том, что все эти расходы тяжелым грузом ложились на фабрику, день ото дня ухудшая ее финансовый баланс. И Хунце ходил встревоженный, пришибленный. Не было ему покоя в его перестроенном дворце, украшенном баронским гербом.

Несколько ночей подряд Хайнц Хунце и директор Альбрехт не спали — думали, как залатать дыры, проделанные баронским титулом в кассе фабрики. Эти дыры надо было заткнуть непременно, потому что дыры опасны. Если их не замечать, они будут расширяться и углубляться до тех пор, пока не станут настоящими безднами. После всех размышлений и поисков Альбрехт пришел к убеждению, что единственный выход — закрыть дыры собственными силами, ресурсами самой фабрики. Именно фабрика, а не кто-то или что-то,

должна спасти положение. Самое здоровое для тела — не привлекать средства извне, а задействовать внутренние резервы. Директор Альбрехт знал, что это верно не только в отношении тела человека, но и в отношении предприятия.

— Подходит, Альбрехтик, — одобрил его вывод Хунце. — У тебя золотая голова...

Заручившись согласием Хунце, Альбрехт начал думать, как же именно использовать ресурсы фабрики для затыкания дыр. Снижать качество нельзя. Хунце нелегко дались доброе имя, ведущие позиции на рынке, популярность, достигшая такого уровня, при котором каждая хозяйка, даже нищенка знала, что товар с изображением двух голых бородатых типов с фиговыми листочками на срамном месте и копьями в руках — самый лучший и самый качественный. Потребовался огромный труд, чтобы достичь такого статуса. Фабрика Хунце всегда ценила солидность и постоянно улучшала товар. Это было оправдано. Солидность прекрасно окупалась. Благодаря ей множество медалей, серебряных, золотых и бронзовых, украшали фабрику и упаковки производимых на ней товаров. Правда, при наличии популярности и доброго имени можно было себе позволить немного снизить качество и сэкономить, но это скользкий, опасный путь. Нет недостатка во врагах и недоброжелателях, которые сразу же поднимут шум и ославят на весь белый свет. Что бы ни случилось, фабрика Хунце должна быть верна своим принципам.

Еще можно было уменьшить бюджет дома Хунце. При сокращении этих расходов легко сэкономились несколько десятков тысяч рублей в год. Но ни директор Альбрехт, ни старый Хунце не решались об этом заикнуться. Это было не в их власти. Здесь были замешаны дочери, сыновья, зятья-бароны. Им не следовало бы так много проигрывать в карты, делать такие большие долги, выбрасывать деньги на всякие глупости. Хайнц Хунце не раз кричал на них, стучал по столу своей волосатой рукой ремесленника, но это не помогало. Тут он

был бессилён. Эта болезнь не вылечивалась. Приходилось носить ее в своем теле.

Единственным источником экономии оставались рабочие. Они не товар, снижение качества которого заметно. Конечно, их жалованье невелико, но их много, несколько тысяч, а касса одна. Если каждому из них платить немного меньше, получится приличная сумма. В течение года дыры будут закрыты. Да и для фабрики хорошо, если она обойдется без привлечения внешних средств и сумеет восстановить себя сама. Сейчас нет нехватки в желающих поступить на фабрику. Каждый день у ее ворот стоят крестьяне и крестьянки, приходящие в Лодзь в поисках работы. Они готовы работать за гроши, особенно деревенские девушки, которых не могут содержать родители на тощие доходы с неплодородной земли. А девушки лучшие на фабрике. Они ничем не хуже мужчин. Ведь машины работают сами, им нужны только руки, а лучшие руки — женские. При этом женщины много не просят, они послушны, не пьют и точно выполняют свою работу.

Альбрехт решил, что уже завтра он прикажет мастерам уволить как можно больше мужчин, а на их место взять женщин, особенно молодых девушек. Чем моложе, тем лучше.

Затем Альбрехт уменьшил зарплату рабочих на целых пятнадцать процентов. В год это давало именно столько, сколько нужно было для затыкания дыр, которые проделал в годовых дивидендах Хунце титул, выхлопотанный петроковским губернатором в Санкт-Петербурге.

— Подходит, Альбрехтик. У тебя золотая голова, — снова похвалил директора Хайнц Хунце и подкрепил комплимент подарком. — Поскольку у меня теперь новая карета с гербом, — сказал Хунце, — я подарю тебе, Альбрехтик, мою прежнюю карету с лошадьми, упряжью и кучером. Ты доволен?

— Спасибо, господин барон! — сказал Альбрехт, сгибаясь в поклоне всем своим огромным телом, под весом которого ломались стулья.

На следующий же день на фабрике Хунце начались перемены. Уволили много мужчин, и вместо них к станкам поставили крестьянских девушек в цветастых платках. За ту же работу им платили треть прежнего мужского жалованья. У фабричной кассы выстроились длинные очереди польских крестьян, пришедших в Лодзь из деревень и недавно поступивших на фабрику Хунце. Теперь они нервно мяли в руках свои синие шапки, ожидая последнего недельного расчета.

— Куда пойти, Господи Иисусе? — ворчали они и еще сильнее мяли шапки, заранее снятые с русых голов, хотя касса была далеко.

Оставшиеся немецкие рабочие, которые жили в казармах на земле, принадлежавшей фабрике, ругались на чем свет стоит в производимые ими ткани.

— Проклятие святому кресту! Дьявол! — непрерывно закручивали они ругательства и нитки, беспокойно оглядываясь, не слышат ли их мастера.

Мастерам жалованье не сократили. Так посоветовал директор Альбрехт, и Хунце с ним согласился. Теперь мастера были еще преданнее, чем раньше, и шпионили за рабочими на каждом шагу. Они должны были выгнать как можно больше мужчин и заменить их женщинами. Это было выгодно не только директору, но и самим мастерам, зажимавшим в углу и заваливавшим на тюки товара крестьянских девушек, которые ни слова не понимали по-немецки и сопротивляться не осмеливались. Поэтому мастера все время приножились, искали повод придраться, цеплялись к рабочим, стремясь при малейшей провинности отправить их за расчетом в кассу и запретить им приходить на фабрику. Они держали ухо востро, поэтому рабочие ругались очень тихо в производимый ими товар, понося всех святых за те пятнадцать процентов, на которые урезали их жалованье.

Лучше всех мастеров фабрики жил теперь фабричный слуга Мельхиор, огромный тип с лапами, заросшими рыжим волосом, который носил зеленый охотничий костюм.

Он обыскивал рабочих при выходе с работы. Хорошо жил и его ближайший друг Йостель, начальник охраны фабричного двора, ведавший всеми замками, дверьми и воротами.

Эти двое охраняли фабрику. Они давали рабочим взаймы маленькие суммы — от полтинника до трех рублей. Многие из рабочих после работы шли не домой, а бежали в шинок выпить кружку пива, случалось им и проигрывать в карты недельное жалованье или тайно лечиться у фельдшера от дурной болезни, о чем их жены не должны были знать. Утаить лишнюю копейку с жалованья, которое обычно целиком отдавали женам, было трудно, поэтому приходилось прибегать к ссудам на стороне. И фабричные охранники их выручали, но только от субботы до субботы, до следующего расчетного дня, а брали они всего гривенник с рубля в неделю. Давали девяносто копеек, а забирали рубль.

У них, у этих охранников, было много денег. Мельхиор, здоровенный тип в зеленом костюме, постоянно получал чаевые от богатых интересантов, приходивших в кабинет Хайнца Хунце и просивших Мельхиора, который стоял у дверей, положив рыжие волосатые лапы на пояс охотничьих брюк, о разного рода услугах. Еще больше ему платил директор Альбрехт за то, чтобы Мельхиор каждый раз поставлял ему новых ткачих для уборки его холостяцкой квартиры при фабрике. Толстый директор Альбрехт очень любил, чтобы его обслуживали свеженькие и молоденькие девушки. Мельхиор, имевший большой успех у фабричных женщин — из-за должности, охотничьего костюма и своей необъятной мужественности, — легко находил подход к работницам. К тому же у себя дома он очень красиво играл на кларнете. И у него всегда было много вина, собранного из недопитых бокалов на балах у Хунце. Так что работницы валили к нему валом.

Он умел найти лакомый кусочек. К тому же он знал вкус директора и всегда выбирал новеньких, извлекал их из-за станка и отражал убирать квартиру господина директора. Девушки возвращались на фабрику с синяками на шее и руках,

с дешевым платьицем и рублем в кармане. Директор в свою очередь умел отплатить Мельхиору за то, что он был исправным поставщиком с хорошим вкусом. Он достойно награждал охранника. Из этих наград и чаевых Мельхиор сколотил немалый капитал. Рабочие, бравшие у него в долг несколько рублей в неделю, деньги считали плохо. Они охотно платили рубль за те девяносто копеек, которые Мельхиор ссужал им в любое время по первому требованию. Им было невдомек, что их гривенник от субботы до субботы составляет почти пятьсот процентов годовых. Они бы не поверили, если бы им это сказали. Ведь они считали только за неделю.

На тех же условиях давал займы и старый начальник фабричной охраны, хозяин всех замков, дверей и ворот Йостель. В его кованой железной кассе, на которой готическими буквами была выгравирована немецкая поговорка «Кто рано встает, тому Бог подает», тоже лежала солидная сумма. Он брал мзду с входивших на фабричный двор комиссионеров, с закупщиков отходов, приезжавших к воротам фабрики на больших телегах, с крестьян, забиравших навоз из конюшен, с извозчиков, привозивших сырье, — со всех, с кого только получалось взять деньги, даже с крестьян, впервые снявших с своей тощей земли, чтобы стать фабричными рабочими.

Как и Мельхиор, он давал рабочим в долг на неделю и брал за это по десять копеек с рубля. Но чаще он имел дело с работницами. Женщинам тоже приходилось занимать деньги. Иной раз в доме не хватало хлеба, иной раз муж пропивал недельное жалованье, иной раз надо было заплатить повивальной бабке, чтобы она избавила от плода грешной любви. Разное случалось. Охранник Йостель давал денег всем, но охотнее женщинам, особенно матерям маленьких девочек.

Как и Мельхиор, он любил, чтобы женщины бывали в его большом доме, стоявшем в углу фабричного двора, у складов. Но он не любил взрослых женщин, потому что был стар и в женщинах уже не нуждался. Ему нравилось играть с юными девочками, которые еще ничего не понимают и которые за

конфетку целуют старого доброго дедушку и резвятся с ним. Не все матери соглашались посылать дочерей к Йостелю просить денег взаймы, но некоторые в тайне от мужей все-таки отправляли к нему своих девочек. Они помнили собственные детские годы и встречи с таким же дедушкой или дядей, будь то учитель сельской школы или какой-нибудь торговец, имевший обыкновение давать конфетки за всякие глупости. Не раз они потом рассказывали про это соседкам и смеялись над игривыми стариками. Они знали, что им это не повредило, что они потом вышли замуж, родили детей и стали хорошими женами. И они посылали своих девочек за ссудами к доброму дяде Йостелю, велел дочерям слушаться его и держать рот на замке. Йостель охотно давал за это деньги матерям и дешевые цветные конфетки девочкам. И часто даже не требовал процентов, а брал рубль за рубль.

Теперь, когда на фабрике объявили о том, что жалование рабочих сокращается на пятнадцать процентов, дела у двух охранников пошли очень бойко. В казармах при фабрике, где жили рабочие, царили нищета и ссоры. Женщины не могли больше заправлять супы жиром. Они постоянно варили одну и ту же картофельную похлебку, от которой мужчины были голодными и злыми. От злости они били жен и детей и пьянствовали в шинках. Женщины искали возможности подработать любовью и сходились с ткачами, холостыми парнями, жившими у них на кухнях. Едва подросшие дети лишались игр и отправлялись на фабрику, чтобы заработать и принести домой несколько рублей в неделю.

Фабричный пастор был частым гостем в рабочих казармах. Он приходил, чтобы проводить в жизнь вечную детей ткачей. Полиция нередко искала здесь краденых кур и поросят, пропавших у соседей-крестьян. Стали пропадать даже собаки. В городе поговаривали, что ткачи отлавливают их, чтобы по воскресеньям у них на столах было мясо.

Теперь ткачи брали больше ссуд у двоих фабричных охранников. Из-за огромного спроса охранники повысили



процент еще на несколько грошей. Необъятный Мельхиор не переставал весело играть на кларнете для красивейших девушек, которые собирались у него дома, где в изобилии водилось вино, оставшееся после балов Хунце. Старый Йостель от души развлекался с маленькими девочками, постоянно приходившими к нему просить денег для своих матерей.

Фабрика работала все стремительнее. Она закрывала дыры в бюджете, она оздоравливала себя сама, без привлечения средств извне. Так, как и рассчитывал директор Альбрехт.

— По истечении года все дыры будут залатаны, — похвалялся Альбрехт хозяину, — а может быть, даже раньше, господин барон...

— Ты молодец, Альбрехтик, — хвалил его Хайнц Хунце и угощал сигарой. — Только не разломай карету своей тяжелой задницей...

— О, я этого не сделаю, господин барон, — отвечал директор и трясся всем своим большим телом, изображая, что смеется шутке хозяина.

## Глава двадцать шестая

**Б**ыстрее, чем ожидали молодые бароны, сыновья Хайнца Хунце, их отец, старый хрыч, как они его называли, ушел из этого мира и оставил им большое состояние вместе с баронским титулом.

Покуда он расхаживал в широких брюках по фабрике, присматривался и прислушивался ко всему своими старыми голубыми глазами и глуховатыми ушами, пробовал пальцем краски, проверял счета, обсуждал рисунки, вносил улучшения в планы инженеров, торговался с купцами, курил трубку, ругался, ворчал, говорил на простонародном немецком наре-

чии, шутил с мастерами, вставал до рассвета, с первым фабричным гудком, и уходил с фабрики последним, — он был здоров и свеж, и никакие хвори его не брали.

Врачи предупреждали его, что расхаживать день и ночь по холодным каменным полам фабричных цехов вредно, потому что в его возрасте можно легко подхватить ревматизм. Они говорили ему, что хлопковая пыль разъедает легкие, что пары от красителей плохо влияют на сердце, что шум машин портит нервы, что постоянное хождение пешком утомляет и ослабляет его, особенно летом. Они настоятельно советовали ему поехать в собственное имение на воздух, за границу на курорты и воды, но старик не хотел их слушать.

— Глупости, — говорил он, — эти доктора ничего не понимают.

Чем старше он становился, чем больше расхаживал по своей обширной фабрике, тем здоровее и крепче себя чувствовал. Только уши совсем не служили ему. В остальном он не испытывал никаких неудобств со здоровьем. Однако как только он стал бароном и дети запретили ему приходить на фабрику, как только они начали отбирать у него трубку и подсовывать гаванские сигары, беречь его и таскать по врачам и на воды, все болезни тут же обрушились на его старые кости. Теперь у него ломило в суставах, отекали ноги, сильно сохла кожа, ныл позвоночник. Сильнее всего у него болела голова. Часто он даже засыпал посреди разговора или забывал, что хотел сказать.

— О, черт вас возьми! — ругался он и злобно ворчал: — Почему меня перебивают?

— Но помилуйте, Бог свидетель, никто вас не перебивал, — оправдывались люди.

— Нет же, черт побери! — упрямылся старик. — Меня все время перебивают!

Он стал невыносим в доме. Он мучил слуг, обижал жену, бил стаканы и тарелки и, как в очень давние времена, постоянно плевал на персидские ковры и расстеленные на полу ти-

гровые шкуры. Сначала он не давал болезням победить себя. Хотя у него гудела голова, ломило в суставах и подгибались ноги, он бегал по огромным фабричным цехам и складам, везде высказывал свое мнение, ворчал, злился, изводил работников и старался за всем присматривать, как раньше.

— Господин барон, — брал его под руку главный директор Альбрехт, — мы сами обо всем побеспокоимся. А вам лучше пойти прилечь.

— Заткни пасть! — ругался старый Хунце. — Я здоров, и не надо меня поддерживать под руку!

Часто врачи вместе с детьми Хунце силой укладывали его в постель. Но он не желал принимать лекарств, выплескивал их врачам в глаза и даже лежа все время говорил о фабрике. К его постели должны были приходиться рисовальщики с новыми образцами, химики с красками, инженеры с планами, директора с торговыми договорами. Нередко он забивал им голову бессмыслицей, мешал работе. Но временами вдруг становился бодр и вменяем и говорил толковые вещи. Иногда он вскакивал с постели, отталкивал от себя сестер милосердия и одетых в белое врачей и в шлепанцах, в халате, с палкой в руке отправлялся на фабрику. Тогда на всех фабричных напал страх. Он шумел, устраивал скандалы, кричал, что без него все рухнет, что не на кого положиться.

— Стоп! — кричал он. — Остановить машины! Кто запустил машины без моего разрешения?

Люди знали, что он не понимает, о чем говорит, но никто не осмеливался ему возражать. Несмотря на то что он был стар, надломлен и безумен, он по-прежнему оставался владыкой всего и всех. Когда дети силой удерживали его в постели, заперев перед ним двери, он бросался на стены, рвал белье, швырял подушки, бесновался, как раненый зверь в клетке.

— Пусть ко мне приведут людей! — кричал он, исходя пеной от злости. — Почему ко мне не пускают моих людей? Я должен дать им распоряжения!

Сыновья не позволяли людям входить к старику. Они чувствовали, что дни его сочтены, и поэтому не хотели впускать к нему посторонних. Они держали двери к отцу на запоре. Они знали необузданную ярость старого Хунце, его приступы властолюбия и боялись, как бы он не наломал перед смертью дров. Главным образом они боялись, как бы он не внес каких-нибудь изменений в свое завещание. Старик понимал, почему сыновья никого к нему не пускают, и кипел от гнева.

— Убийцы! — бесновался он, когда они подходили к нему с едой или лекарством. — Прочь от моей постели! Вы хотите меня отравить!

По ночам он сходил с ума от боли. Он бросал в слуг, сиделок и охранников все, что подворачивалось ему под руку, и все время рвался на фабрику.

— Хайнц, — умоляла его жена, — Хайнц, куда ты?

— Сжечь фабрику! — отвечал он. — Я не хочу ничего после себя оставлять. Пусть все уйдет дымом!

Но потом он вдруг впадал в апатию, не говорил ни слова, не шевелился и даже нужду справлял в постели, как ребенок. Он и плакал, как дитя, и позволял делать с собой все что угодно.

В последнюю ночь, когда конец был уже близок, врачи велели остановить фабрику, чтобы она не шумела. Но старый Хунце своими глуховатыми ушами услышал эту тишину и вскочил с подушек.

— Почему не работает фабрика? — с беспокойством спросил он. — Сегодня ведь не праздник.

Врачи разъяснили ему его положение.

— Хорошо, я умру, — сказал он, — но я хочу слышать, как работает фабрика. Иначе я не смогу спокойно умереть.

Старика послушались. Заревели фабричные гудки. Заработали паровые машины. Больной наострил уши, прислушался. Кривая улыбка разлилась по его лицу и застыла навеки.

Сыновья встали перед постелью усопшего на колени. Потом поднялись, расправили сморщившиеся брюки и ушли в свои комнаты.

— Ну наконец-то! — вздохнули они, словно скинули с плеч тяжкий груз, и позвали к себе директора Альбрехта, чтобы он организовал пышные похороны, достойные барона Хайнца Хунце.

Все трубы, сколько их ни было на фабрике, часами гудели, извещая продымленную Лодзь о кончине мануфактурного короля.

Сразу же после похорон, на которых молодые бароны скучали, томимые своим деланным трауром и необходимостью слушать бесконечное надгробное красноречие, они вызвали к себе толстого директора Альбрехта и велели ему изменить все, чего придерживался их отец и что уже устарело. И все изменилось — от тяжелой мебели в отцовском кабинете, где теперь должны были сидеть его сыновья, до людей на фабрике.

— Молодежь, бери молодежь! — приказывали сыновья Хунце. — Хватит держать здесь старичье. Нам не нужен дом престарелых.

Среди прочих работников фабрики, уступивших место тем, кто моложе и современнее, поста лишился и генеральный управляющий реб Авром-Герш Ашкенази, долгие годы державший свой склад на Петроковской улице. Вместо него взяли его сына Симху-Меера. Это была награда за то, что он одалживал деньги молодым Хунце, когда им требовалось получить баронский титул.

В отличие от своего свояка реб Хаима Алтера, реб Авром-Герш Ашкенази принял как данность войну с сыном, на старости лет выбросившим его из его же дела.

Он очень спокойно выслушал толстого директора Альбрехта, который заехал на карете к нему на склад, чтобы сообщить эту весть.

— Мне очень больно, герр Ашкенази, — сказал как всегда усталый толстый директор, — но молодые бароны не хо-

тят больше держать у себя пожилых людей. Они считают, что ваш сын справится лучше.

— Екклесиаст, он же царь Соломон, говорил: есть время сажать и время выкорчевывать посаженное, время строить и время разрушать, — сказал реб Авром-Герш, приводя цитату по-древнееврейски и затем по-немецки. — Ничто не делается без Бога, герр директор, даже царапина на ногте не появляется без Его ведома.

— Да, придет и моя очередь, герр Ашкенази! — печально сказал толстый директор. — Ничего не поделаешь.

Два немолодых человека молча пожали друг другу руки.

Реб Авром-Герш привел в порядок бумаги, кассу. Тихо, без скандалов, без судов Торы, без разбирательств у раввинов или купцов, он покинул свой склад и отослал ключи на фабрику. Он забрал с собой только том Геморы, который был у него в конторке. Думал было снять и мезузы с дверей, но оставил их на месте. Только поцеловал их в последний раз и попрощался с людьми.

— Будьте здоровы, евреи, — сказал он приказчикам и пожал им руки.

Люди плакали, но сам он не пролил ни единой слезы.

Уже на следующее утро Симха-Меер привел рабочих и велел им отремонтировать все сверху донизу. Он приказал даже сделать газовое освещение, которое только что появилось в Лодзи и встречалось только во дворцах. На больших новых вывесках, на которых теперь красовалась и фабричная марка — два голых бородатых германца с фиговыми листками на срамном месте, — золотыми буквами на трех языках, немецком, русском и польском, было написано, что генеральным управляющим мануфактуры Хунце и Гецке является **Макс Ашкенази**.

То же самое имя, новое и чужое, стояло на всех бумагах фирмы.

Когда Янкев-Бунем узнал в Варшаве, что его брат Симха-Меер сделал с отцом, он тут же приехал в Лодзь и прямо с поезда отправился в контору Симхи-Меера.

— Господин Макс Ашкенази занят, — остановил Янкева-Бунема одетый как немец тощий молодой приказчик.

Янкев-Бунем оттолкнул его и сорвал свежевыкрашенную дверь с конторки своего отца.

— Шолом-алеихем<sup>1</sup>, Янкев-Бунем, — протянул ему руку Симха-Меер.

Янкев-Бунем не подал ему руки.

— Где отец? — спросил он.

— Разве страж я? — по-древнееврейски повторил Симха-Меер слова, которыми библейский Каин ответил на вопрос, где брат его Авель.

Янкев-Бунем двинулся на брата. Симха-Меер пятился, пока не уперся в стену. Янкев-Бунем навис над ним.

— Для этого ты взял у меня денег? Чтобы выкинуть отца из дела на старости лет? — прошипел он ему прямо в лицо.

Симха-Меер побледнел. Он начал заикаться:

— Твои деньги вложены в дело, они работают...

Янкев-Бунем поднял руку и стал бить Симху-Меера по бритым щекам, по правой и по левой.

— На тебе за отца, — шипел он и бил.

Симха-Меер не дал ему сдачи. Он только поднял шляпу, упавшую у него с головы, и вытер пылающие щеки.

— Ты меня еще попомнишь! — погрозил он пальцем вслед стремительно выбегавшему из конторки брату. — погоди, погоди! А от своих денег ты вот что увидишь! — кричал он, показывая вслед брату фигу.

От злости он принялся кричать на приказчиков, толкавшихся вокруг него.

— За работу! — гневно крикнул он. — Что это за столпотворение?

Люди разбежались по углам.

А Симха-Меер, как будто ничего не произошло, снова взялся за бухгалтерские книги.

<sup>1</sup> «Мир вам» — традиционное еврейское приветствие.

Вместе со своим старым именем — Симха-Меер — Макс Ашкенази выбросил и прежние хасидские одежды, переодевшись в короткое платье. Он сбрил бородку, оставив от нее крохотный кусочек на самом подбородке. Вместо отцовских приказчиков-хасидов он нанял одетых по-европейски и говорящих по-немецки молодых людей. Он сменил легкие папиросы на тяжелые солидные сигары, а еврейский язык — на лодзинский ломаный немецкий. Только деньги он по-прежнему считал по-еврейски, чтобы не ошибиться.

Реб Авром-Герш, услышав эту дурную весть, снял сапоги и надорвал лацкан лапсердака<sup>1</sup>. Он велел служанке Лее-Соре принести ему низенькую скамеечку и сел отпраплять семидневный траур по сыну, который ушел от еврейства, что было не лучше, чем умереть.

Он читал книгу Иова<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Знаки траура в еврейской традиции.

<sup>2</sup> Книгу Иова (Сефер Иов) принято читать во время траура.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ  
**ТРУБЫ В НЕБЕ**

## Глава первая

**П**ри императорском дворе в Санкт-Петербурге царила атмосфера тревоги и воинственности.

После того как студенты-революционеры бросили смертоносную бомбу в российского императора Александра II, освободителя крепостных и сторонника либерализма, две дворцовые партии стали бороться за нового российского императора Александра III.

Либералы советовали царю пойти по пути его отца, вести еще более либеральную политику, которая привлечет к нему народ и ослабит революционные настроения. Реакционеры с Победоносцевым во главе призывали Александра III быть строгим и жестким и уничтожить всех врагов монархии и православия. Министр граф Игнатъев принадлежал к числу либералов. Но он жил широко и тратил куда больше денег, чем давали его имения. Поэтому он позвал к себе петербургских евреев-миллионеров и сказал им, что, если они дадут ему полмиллиона рублей, он и впредь останется либералом и будет поддерживать евреев при дворе. В противном случае он перейдет на сторону Победоносцева.

Хотя сумма была велика, еврейские миллионеры могли ее собрать. Но они боялись идти по этому пути. Потому что, если один раз дать, придворные постоянно будут сосать из них деньги и угрожать лишить евреев их убогих прав. Раввины тоже так считали. От злости граф перешел на сторону Победоносцева и убедил царя изгнать евреев из Москвы.

Московские евреи тысячами были высланы из Москвы вместе со своими женами и детьми. Их лавки и мастерские в Москве позакрывались. Часть из них отправилась в Америку. Но большинство поехало поближе, в Польшу, в Варшаву и особенно в Лодзь, город промышленности и торговли.

Они привезли в Лодзь груды пожитков: постельное белье, субботние подсвечники, железные кассы, большие самовары, русские счеты — и поселились в торговом районе, на Петровской, Восточной, Полудневой и окрестных улицах. Они сразу же завели здесь дела, основали агентства, комиссионные дома и привлекли в польский город много русских купцов. В Лодзи мгновенно стало тесно от этих новых чужих людей, которых старожилы города называли литваками. Они сняли множество квартир и арендовали самые большие магазины. Они привыкли тратить деньги с московским размахом, поэтому селились в лучших домах, открывали дела в лучших торговых зданиях. Из-за этого цены на квартиры поползли вверх, спрос на здания вырос. К тому же жены пришлых евреев не торговались в продуктовых магазинах, не скупались на рыбных рынках и в мясных лавках. Они брали всего и помногу. Поэтому лавочники, мясники и рыбные торговцы вконец распустились. Они стали наглыми и с простыми домохозяйками говорили сквозь зубы. Так что лодзинские старожилы были очень злы на чужаков.

Еще больше старожилов раздражали иноверческие манеры, которые иммигранты привезли с собой из Москвы. На еврейских улицах теперь часто появлялись мальчишки в мундирах с золотыми пуговицами и девочки в коричневых платьицах гимназисток. Они разговаривали на чужом языке, по-русски, совсем как полицейские и офицеры. Лодзинские мальчишки смотрели на них с ненавистью, потому что те с ними вообще не разговаривали. Но вместе с ненавистью росла и зависть к чужакам, к их золотым пуговицам и синим мундирам. Отцы не позволяли сыновьям смотреть на пришлых.

— Из них вырастут иноверцы, — говорили они, — настоящие выкресты...

Но даже к чужакам постарше, тем, что разговаривали по-еврейски и приходили молиться в синагоги, лодзинские евреи относились не лучше, чем к их сыновьям с золотыми пугови-

цами. Еврейский язык новоприбывших был чужд и непонятен, особенно когда они разговаривали быстро. Их молитва и изучение Торы не имели ни вкуса, ни запаха. Из-за чужаков в лодзинских синагогах и молельнях яблоку было негде упасть. Приходилось молиться с самого рассвета и до после-полуденного часа. Как только последние утренние миньяны заканчивали шахрис, другие евреи уже начинали минху. Пейсатые мальчишки, приходившие со своими отцами молиться минху и майрев, перестали заглядывать в молитвенники. Вместо этого они глазели на пришедших в синагогу чужаков. Главным образом их удивляло то, как чужаки читают кадиш.

— Ну а кто скажет «аминь»? — напоминали им отцы. — Ну?

Но мальчишки из хедера не слушали того, что говорили им отцы. Они поедали глазами этих новых евреев, которых с каждым днем становилось все больше.

Это были странные евреи. К таким в Польше не привыкли. Те, что постарше, даже носили бороды, но их сюртуки были короткими, иноверческими, как и шапки на их головах. Молодые были бритыми, с черной щетиной из-за нечастого бритья, и носили твердые шляпы, а то и широкие соломенные панамы. Во время молитвы они не раскачивались, как польские евреи, а стояли прямо, по струнке. «Аминь» они отвечали резко и громко. Еще резче они читали кадиш, четко, слово за словом. При этом слова молитвы они выговаривали совсем по-другому. Их едва можно было понять. Местные прихожане лодзинских синагог косо смотрели на этих пришлых. Они терпеть не могли их иноверческого вида, их жесткого выговора при молитве, их медленного чтения кадиша. Они не очень верили, что кадиш, прочтенный этими евреями на таком странном древнееврейском, будет благосклонно принят на небесах. Еще меньше они верили, что такой кадиш поможет усопшим родителям его чтецов, видимо, таким же иноверческим евреям, как и оставленные ими на этом свете дети. Они даже сомневались, надо ли отвечать «аминь», слы-

ша такой кадиш. Поэтому они отвечали «аминь» вполголоса, только чтобы отделаться, соблюсти необходимый минимум. Каким же было удивление как мальчишек, так и отцов, когда после майрева чужаки постарше достали с полок тома Геморы, приклеили расплавленным воском свечки к столам и принялись учить Гемору громко, в полный голос, слово за словом, с каким-то незнакомым напевом, какого в Польше и не слыхивали.

— Смотри-ка, — говорили сами себе изумленные евреи, — они учат Гемору!

Это напугало их больше, чем если бы христианские миссионеры принялись изучать Тору. Польские евреи тут же стали рассказывать небылицы об учености и мудреных свойствах чужаков. Они, мол, как цыгане, как бесы. Каждый из них может сбить с толку взглядом, и надо остерегаться их, как чертей. И местные евреи избегали их, отстранялись от них, не хотели стоять рядом с ними. Богатые хасиды выезжали из домов, в которых селились литваки. Набожные лодзинцы неохотно засчитывали литвака в миньян, когда требовался десятый еврей для чтения кадиша. Женщины во дворах избегали одалживать посуду литвачкам, подозревая их в том, что они не держат дома кошерную кухню и не разделяют посуду на молочную и мясную. Не хотели они и ставить чолнт в ту печь, где уже стоял чолнт литвачки. Мальчишки из хедера не переставали кричать и распевать вслед литвакам:

Эй, литвак, ты свинья, хрю, хрю, хрю,  
Ляг и сдохни, литвак, лю, лю, лю!..

Купцы, впрочем, не отказывались вести дела с новоприбывшими. У них, у этих чужаков, было много знакомых в русских городах. Осенью и весной к ним приезжали русские купцы в шароварах и с окладистыми бородами и скупали массу товара в городе. В просторных квартирах литваков всегда стояли кипящие самовары и варенье. Русские купцы, комиссионеры и коммивояжеры сидели вокруг больших столов, потели

и пили чай с вареньем, грызли сухари, играли в карты и вели торговые дела и расчеты. Многие чужаки разъезжали по губерниям Центральной России, добирались до Дальнего Востока, проникали в Китай и Персию. Там они сбывали лодзинские товары. Лодзь заключала хорошие сделки с тех пор, как в ней появились чужаки. С ними торговали, но не сближались. Литваков редко приглашали в дом. Их избегали, как иноверцев. Отцы берегли от них своих дочерей, следили, чтобы те не водились с литваками. Но и литваки держались от польских евреев особняком, смотрели на них с пренебрежением, смеялись над их тягучим выговором, который они плохо понимали, над их длинными лапсердаками и странными шапками.

— Ай, горе мне, — говорили литваки, грубо передразнивая произношение польских евреев. — Дай мне сороковник!

Так они высмеивали привычку польских евреев считать не на копейки, как в России, а на гроши<sup>1</sup>, и называть двугри-венный сороковником.

Ненависть к чужакам усилилась, когда вслед за богатыми москвичами из литовских городов и местечек начали приезжать молодые люди в погоне за длинным рублем, который они рассчитывали заработать в Польше.

Так же как москвичи были щедры, молодые люди из Литвы были скупы, бедны, истощены. Они привозили с собой в польские города только чайник, чтобы варить чай, и бритву, чтобы бриться от пятницы до пятницы. Они торговали всем, чем придется: иголками, шнурками, мылом, дешевой обувью. Они скупали на фабриках отходы, брак, подгоревший товар и продавали все это на улицах, крича резкими литовскими голосами с рассвета до поздней ночи.

Бедные лодзинские женщины сдавали им жилье — отгороженный угол на кухне, кровать для ночлега. Но радости им эти постояльцы не приносили. Скупые, бедные, склонные экономить каждую копейку, чтобы, скопив пару рублей, взяться за торговлю и выбиться в люди, они жили на одном

<sup>1</sup> Грош — полушка, полкопейки.

хлебе с селедкой. Иной раз за целый день во рту у них не было ничего, кроме чеснока, луковицы, соленого огурца.

Они с удивлением смотрели на польских обжор, которые каждый день едят мясо. Широко раскрытыми глазами глядели они каждую пятницу, как бедные женщины жарят на субботу гусей и пекут целые противни печений. В своих литовских местечках они никогда такого не видели. Они не понимали польских евреев, которые ходят в рестораны пить пиво и закусывать его горохом, которые частенько заказывают в буфете шнапс и заедают его рубленой печенкой. В их литовских головах не укладывалось, как могут взрослые люди, тем более евреи, так себя вести. Они просто смеялись, глядя, как женщины в годах заходят в кондитерскую и покупают себе шоколад или пирожное.

— Польские сластены, — говорили они, — дикие люди.

— Литовские пожиратели чеснока, — ругали их польские евреи, — любители борща с селедкой...

Никто из литовских евреев не хотел стоять у ткацкого станка. Это, считали они, для местных, для старожилов. Они предпочитали торговать, переходить с места на место и стремительно карабкаться вверх. Кроме того, они оккупировали магазины и фабричные конторы. Хасиды сами брали их, потому что они знали русский язык и умели вести бухгалтерию. Но больше всего бедных женщин обижало то, что евреи из Литвы только шалили с их дочерьми, а когда дело доходило до практических шагов, не желали слышать о польских девушках и выписывали себе невест из своих литовских местечек, девиц жестких и неухоженных, совсем не похожих на нарядных лодзинских девушек.

Они быстро прижились в городе, эти чужаки. Сначала они занимали дворы. Богатые лодзинские евреи сразу же выезжали из соседних квартир, потому что чужаки усаживались с непокрытыми головами на балконах, шутили и смеялись со своими женами, пели русские песни и заполняли двор дымом своих самоваров. Посреди субботних напевов

они вдруг принимались за иноверческие песни. Их дети дразнили пейсатых мальчишек, кричали им вслед «чикмаер»<sup>1</sup>. Поэтому богатые лодзинские евреи и покидали зараженные литваками дворы, перебираясь подальше, на улицы с более привычными соседями. На место выбывших местных сразу же вселялись новые чужаки. Захватив дворы, они начали захватывать целые улицы, оттесняя польских евреев все дальше и дальше.

Вскоре они стали хозяевами Лодзи. Они выстроили собственные синагоги, где молились со своими мелодиями и по своим обычаям. Они открыли собственные хедеры, где меламеды ходили с подстриженными бородами и уделяли много времени преподаванию древнееврейского языка<sup>2</sup> и нееврейских наук. А когда дело дошло до приглашения в город раввина, они выдвинули собственного кандидата, литвака, знающего русский язык.

В литовской меховой шапке, совсем не похожей на сподик<sup>3</sup>, в одежде, напоминающей скорее немецкую, чем раввинскую, с маленькими пейсами и большой решимостью явился этот новый раввин из своего города. Он прочитал проповедь, литвацкую, мудреную. Он так много цитировал Святое Писание, что местные ученые евреи не могли за ним угнаться. Лодзинские хасиды шумели, кричали, что они не будут советоваться по религиозным вопросам с литваком, что они не полагаются на его ученость. Однако городские богачи, эти бритые евреи, от мнения которых очень многое зависело, поддерживали литвака. Особенно стоял за него глава городской общины, текстильный фабрикант Максимилиан Флидербойм, городской миллионер. Во-первых, он уже давно хотел, чтобы в городе был представительный, современный раввин. Ему очень не нравилось возить на свадьбы в свой дворец прежнего рав-

<sup>1</sup> Презрительное прозвище польских евреев. Образовано от двойного имени Ичик-Меер, в произношении польских евреев — Ичик-Маер.

<sup>2</sup> Древнееврейский язык (иврит) как самостоятельный предмет изучения был одним из признаков модернизации традиционного еврейского образования.

<sup>3</sup> Род плоской меховой шапки.



вина, растрепанного, с бородой в колтунах. Новый раввин, хотя и был литваком, очень хорошо выглядел, чуть ли не как христианский священник. Такой раввин не испортит праздника богачей. Заблаговременно, еще до того, как его сделали городским раввином, он выучил польский язык, чтобы иметь возможность разговаривать с людьми. Это очень понравилось фабриканту.

Во-вторых, этого раввина уважал губернатор. В своем литовском городе он произнес перед евреями и чиновниками очень хорошую речь на русском языке в связи с коронацией государя императора Александра III. Кроме того, он послал написанное на пергаменте пространное приветствие самому императору. За это императорский двор пожаловал ему медаль. Среди евреев ходили слухи, что к тому же он получил в подарок золотую саблю. Своими глазами этой золотой сабли никто не видел, но о ней знали во всех еврейских городах и местечках. И в Лодзи тоже. Поэтому приближенный к губернатору фабрикант Флидербойм сразу же встал на сторону литваков, хотя, как и большинство польских евреев, не любил их. Возразить Флидербойму никто не мог. Сразу же по приезде новый раввин нанес визит городскому полицмейстеру, причем на его шелковом лапсердаке сияла медаль. Стар и млад сбежались посмотреть на это диво. И литвак стал городским раввином.

С тех пор чужаки совсем задрали нос. Они смотрели на польских евреев сверху вниз. Они стали строить дома, открывать магазины и фабрики, принимать русских купцов и развозить лодзинские товары по всем уголкам огромной России. Литвацкие учителя, бухгалтеры, дантисты, акушерки потянулись со всех концов России в Лодзь. Проповедники, ораторы, сыпавшие притчами и поговорками, учили народ в синагогах. Агенты по продаже швейных машинок, агенты российских страховых компаний, оптовики, маклеры, комиссионеры, коммивояжеры, постояльцы отелей с каждым днем множились в городе, торговали, вели деловые переговоры, за-

ключали маклерские сделки, покупали, продавали. Они запрудили все улицы и переулки.

Город рос, разрастался, наполнялся чужим шумом, наливался энергией пришельцев. В один прекрасный день вместе с литвацкими чужаками в Балуте появились два новых человека, которые сразу же взбудоражили Балут своим приходом.

Ранним зимним очень холодным вечером, когда евреи, спрятав бороды в воротники, возвращались после молитв минха и майрев, в узких переулках возникли две странные фигуры. В коротких одеждах, в зимних шапках, с солдатскими башлыками на шеях, с сундучками и чайниками в руках. Сначала они казались демобилизованными солдатами. Но когда евреи присмотрелись к ним поближе, они увидели, что ничего солдатского ни в их поведении, ни в их внешности нет. Один был постарше, уже в годах; другой был молод, но с бледным, совсем не как у солдата лицом. Старший приблизился к фонарю и стал при его тусклом свете вглядываться в маленький клочок бумаги.

— К кому вам надо? — спросили евреи чужаков.

— Может быть, вы знаете, где здесь живет Кейля Бухбиндер? — спросил старший наполовину по-литвацки, наполовину по-лодзински.

Никто не знал.

— Кейля, жена ткача Тевье, — уточнил старший.

Никто не знал.

— Жена Тевье-есть-в-мире-хозяин, — еще раз уточнил чужак.

— А, Кейля, жена Тевье-есть-в-мире-хозяин, — обрадовались евреи. — Так и говорите! Пойдемте мы вам покажем. Она живет тут прямо за углом. В подвале возле пекарни.

Чужаки подняли свои сундучки и пошли вместе с евреями, но вдруг один из провожатых повернулся, пристально взглянул на старшего и всплеснул руками.

— Тевье, чтоб я имел такой добрый год, так это Тевье! Шолом-алеихем!

Прежде чем Тевье дошел до своей жены, несколько мальчишек, возвращавшихся с отцами после молитвы, примчались к подвалу, где она жила, и заорали во все горло:

— Кейля, ваш муж приехал, Кейля!

Кейля не так легко узнала мужа, как еврей на улице. Сначала она растерянно посмотрела на этого чужого мужчину в чужой одежде, потом бросила взгляд на второго чужака, потом залилась краской, потом сунула в рот край фартука, потом принялась протирать фартуком влажную скамейку.

Тевье снял башлык, но Кейля все еще не верила своим глазам. Этот человек совсем не был похож на ее мужа Тевье, которого вытащили из постели однажды ночью. Тевье начал разговор.

— Кейля, — спросил он, — как у тебя дела?

Кейля не узнала ни его голоса, ни выговора. Он разговаривал не так, как прежде, а как-то резко и по-литвацки. Даже когда он вынул из сундучка платок и дал ей его в подарок, она продолжала смотреть на него широко раскрытыми глазами, сложив руки на своей огромной груди. Еще меньше ей верилось, что второй чужак — это Нисан, сын меламеда, по прозвищу Дурная Культура.

Он очень изменился, этот балутский подмастерье. Он повзрослел, вырос, посмуглел, на его щеках появился мягкий, похожий на пейсы пушок. Он сильно напоминал отца. Как и у отца, его лицо было костлявым и аскетичным. Как и у отца, большие черные глаза были распахнуты, но смотрели не прямо, а как бы поверх голов, словно видели нечто далекое, небесное, чего не видит никто. Улыбка редко появлялась на его смуглом, с резкими чертами лице. Его костлявая, мужская фигура торчала из чужой, невиданной в Польше одежды. Поверх черных брюк он носил русскую рубашку с вышитым на иноверческий манер воротником и цветным пояском. Его иссиня-черные кудрявые волосы густо покрывали голову. Резко очерченные густые брови срастались над носом, придавая ему строгий и серьезный вид. Кейля и ее дети, сколько

их у нее было, не отрывали глаз от этого странного, чужого молодого человека, наполовину еврея, наполовину иноверца.

— Вот что мне снилось этой и прошлой ночью, — помянула она сны и сплюнула. — Умеешь же ты удивить!

И словно усиливая странное впечатление, Нисан начал вынимать одну за другой большие и маленькие книги из сундучка и карманов, тяжелые русские книги со сплошным плотным текстом, которые он вытирал от пыли с такой нежностью, с какой набожные евреи обходятся со Святым Писанием. В разговоре он теперь вставлял больше русских слов, чем еврейских.

— Ни слова не понять, — ворчала Кейля.

Не только она, но и весь Балут не узнал этих двух людей, их внешность и одежду, их речь, их новый, литвацкий, язык, а особенно их поведение.

Поначалу посмотреть на чужаков сбежались со всех переулков. Мужчины пожимали им руки, женщины мерили взглядом с головы до ног, дети стояли у дверей, ковыряя в носках от удивления. Точно так же Балут встречал каждого вернувшегося со службы солдата, приносящего из далекой России новые истории, новые одежды и новый язык. Но если демобилизованные солдаты сохраняли чуждость всего несколько дней, а потом снова становились своими, надевали старые еврейские одежды, отращивали бороды, начинали говорить на родном, домашнем языке и, кроме фотографий, ничего от их чуждости не оставалось, то эти двое совсем не хотели возвращаться к прежнему.

В первую же субботу после их появления, когда синагога ткачей «Ахвас реим» готовилась почтить Тевье чтением Торы, поскольку он годами был ее чтецом, — Тевье не пришел молиться. Евреи подумали, что он молится дома, и пошли к нему домой пригласить на кидуш, приготовленный в честь него и Нисана, но он не молился и дома.

— Они совсем не молятся, — жаловалась Кейля евреям. — Они только судят и рдят и читают книжки, а голову не покрывают, как иноверцы...

— Стали литваками, — вздыхали набожные евреи. — Забыли Бога.

Какое-то время в Балуте верили, что вернувшиеся привезли из России денег. Не раз слышали о том, как сосланные в Сибирь за поджоги возвращались потом с немалыми капиталами. За это Тевье и Нисану простили бы их иноверческое поведение. Но когда Тевье нанялся к одному из мастеров работать за ткацким станком, а Нисан начал давать уроки русского в бедных семьях, в Балуте поняли, что они просто иноверцы, бедняки и еретики, которым не будет счастья ни на этом, ни на том свете. Тогда их стали избегать.

С особенным страхом люди Балута смотрели теперь на подвал Тевье, где вскоре после его возвращения стали крутиться странные типы, подозрительного вида чужаки, каких в Балуте еще не видывали.

Помимо всякого рода купцов и комиссионеров, уличных торговцев и бухгалтеров, коммивояжеров и учителей, постояльцев отелей и скупщиков брака из России и Литвы в Польшу понаехали и странные молодые люди, длинноволосые, очкастые, в русских рубахах на сутулых еврейских плечах, в студенческих фуражках или мягких шляпах с широкими полями. Их постоянные спутницы одевались просто, по-мужски, были самостоятельны, носили короткую стрижку и курили. Такое в Польше было внове.

Вот эти-то юноши и девушки и начали теперь ходить в подвал к Тевье. Что они там делали, никто не знал, но в Балуте понимали, что псалмов они там не читают. Вскоре и молодые балутские подмастерья стали наведываться в этот подвал, главным образом по субботам и праздникам. Женщины спрашивали у жены Тевье, что это у ее мужа за сборища, но Кейля даже не знала, что сказать.

— Они только разговаривают и читают книжки, — отвечала она. — Я прямо не знаю, о чем можно так много говорить.

В балутскую синагогу ткачей «Ахвас реим» с каждой субботой приходило все меньше молодых подмастерьев. Вместо

молитвы парни шли в подвал к Тевье. Там Нисан, сын мела-меда, и Тевье, бывший чтец Торы из синагоги «Ахвас реим», рассказывали им нечто новое, поначалу вроде бы диковинное, даже фантастичное. Но чем больше парни вслушивались в слова Нисана и Тевье, тем больше эти речи казались им близкими, родными и целиком захватывали их. Тевье говорил о жизни рабочих в литовских городах, об их постоянных войнах с хозяевами, о единстве, благодаря которому они держатся, о кассах, которые они создали из собственных средств, сложив свои гроши, чтобы иметь возможность противостоять угнетателям. Подмастерья в субботних лапсердаках слушали его с открытыми ртами, ловя каждое слово этих чужих, неслыханных и таких близких им речей.

— Мы тоже будем платить, — говорили они. — Обязательно будем платить, как по обету.

Нисан рассказывал о более возвышенных вещах, о жизни рабочих за границей, о Французской революции, о социалистическом движении, о русских революционерах и их подвигах, о капитале и труде, добавляя немного природоведения и истории народов. Просто и понятно, как он привык в отцовском доме при изучении Торы, с теплом и верой, он говорил в темном подвале измученным работой балутским подмастерьям о мире и людях, о фактах и событиях, разъяснял им идеи, освещал их путь светом разума. Подмастерья слушали его, распахнув глаза и разинув рты.

— Правда, — говорили они, — правда.

Вся их мрачная жизнь и приниженность исчезали в этом темном подвале. Они чувствовали, как поднимают голову и расправляют плечи. Впервые с ними говорили не об их ничтожности и суетности, о которых им вечно твердили мела-меды и проповедники, но об их важности и силе, их ценности и значении. Жизнь обретала смысл. Еще больший смысл она обрела, когда Тевье и Нисан сообщили им по секрету правила конспирации. Уже одно это слово, чужое и загадочное, покорило молодых людей, влилось в их кровь и мозг.

— Ну, до свидания, — говорили они, пожимали руки и прятали в карманы полученные в подвале тощие брошюрки и листовки.

Лежа на тюках товара после тяжелого рабочего дня, они украдкой, потихоньку, чтобы не увидели хозяева, зажигали прокопченные нефтяные лампы и глотали плохо пропечатанные брошюрки.

Тевье создавал кружки, привлекал в них все новых ткачей и собирал у подмастерьев гривенники для кассы. Даже пожилые ткачи, евреи старомодные и надломленные, приносили ему свои медные гривенники каждую пятницу. Теперь по субботам подвал Тевье был набит до отказа. Люди протолкнуться не могли. Подмастерья перестали гулять по субботам по пригородным полям с девушками и приходили к Тевье. Так же как раньше они слушали стихи Псалмов, теперь они внимали речам о моральном долге, о человечестве и жизни, о справедливости и несправедливости.

Из подвала кружки распространились по всему Балуту. По субботам и праздникам парни собирались в маленьких чайных, в Константиновском лесу. Чаще, чем где бы то ни было, они собирались у тряпичника Файвеле, в его больших запущенных комнатах, в которых повсюду стояли книги.

Файвеле-тряпичник не уважал ремесленников. Он знал, что они грубияны и ничего не смыслят в просвещении и вольнодумстве. Кроме того, он тоже нанимал девушек чесать тряпки и был таким же хозяином, как другие. Речи Нисана о новой Торе, принесенной им из большого мира, не нашли отклика в кудрявой голове этого маленького немолодого еврейчика. Однако он, как и прежде, был вольнодумцем и пылал гневом против Бога и Его Торы. Из всех речей Нисана он хотел знать только одно.

— Вы распространяете вольнодумство или нет? — спрашивал он.

— Да, реб Файвеле, неуклонно.

— Если так, то мой дом открыт для тебя и твоих людей, — отвечал счастливый Файвеле, и все морщины на его лице, все завитки его волос и бороды лучились радостью.

Теперь просторные неприбранные комнаты Файвеле, похожие из-за валявшихся повсюду книг на хасидскую молельню, субботними днями заполнялись людьми. Ходивших сюда учащихся ешив Нисан тоже втянул в свои кружки. Когда-то он и сам посвящал все время изучению Торы, поэтому легко умел найти к ним подход. Он говорил на их языке, мог вести споры о Торе и о вере. Главным образом он завоевывал их тем, что предлагал учиться. Он знал их стремление к учебе и знаниям, поэтому читал им лекции, учил их русскому и математике, природоведению и истории. Вместе с этим он преподносил им и другие дисциплины, острые и запретные, требующие работы ума и сердца, вдохновлявшие жадных до просвещения ешиботников.

Он много учился в годы ссылки — у студентов, выгнанных из университетов, но больше самостоятельно. Как и его с головой уходивший в святые книги отец, он углубленно занимался своими, светскими книгами, глотал их одну за другой. И так же как отец, он делал на полях книг пометки, писал примечания и вопросы мелкими русскими буквами. Больше других теорий он занимался марксистским учением, которое было в России новинкой, но в литовских городах и местечках еврейские революционеры уже прониклись им и распространяли его со страстью. Как всегда жадно Нисан впивал это новое учение, покоренный его логикой и глубиной, его прямоотой и стройностью. Он не расставался с немецкой книгой «Капитал», возил ее с собой повсюду, как набожный еврей талес и тфилин. И так же как отец, считавший, что мало самому изучать Тору — нужно нести ее мудрость тем, кто ей не внимлет, Нисан распространял свою новую Тору и высмеивал тех, кто не хотел ее признавать. Еще в литовском городе в ссылке он железной логикой и горькой издевкой боролся с народниками, застрявшими в своих романтических верованиях, слу-



жившими чужим богам и не принимавшими его Тору, подлинную и единственную.

Теперь он распространял ее среди ешиботников в доме тряпичника Файвеле.

Бедные, притесняемые ешиботники, чей ум был отточен изучением Торы и открыт для философских размышлений и абстрактных понятий, быстро схватывали марксистское учение, которое углубленно и последовательно излагал им Нисан, и увлекались им. Файвеле-тряпичник радовался всеми колечками своей кудрявой бородки тому, как Нисан распространяет в его доме просвещение. Он гордился им, как отец образцовым сыном. По субботам приходили ткачи, главным образом подмастерья-хасиды, которых царящая в их доме нужда оторвала от Геморы и приковала к ткацким станкам. Они привыкли постоянно учиться, привыкли к святым книгам, поэтому не слишком любили субботние прогулки за город, где швеи и катушечницы лузгали семечки, прохаживаясь вместе с парнями, а лодзинская шпана приставала к подмастерьям, срывала с них шелковые шарфы и требовала отступного за право гулять с девушками. Они, подмастерья-ешиботники, искали Торы и поэтому приходили по субботам к тряпичнику Файвеле.

Борьба за права, вопросы повышения заработной платы, уменьшения количества рабочих часов не интересовали Файвеле. Все это не имело никакого отношения к вольнодумству. Но вместе с тем собиравшиеся вокруг Нисана вели и антирелигиозные речи, смеялись над святошами, раввинами и цадиками. От этого Файвеле расцветал.

— Курите, евреи, — подбадривал он их и раздавал папиросы.

Табачный дым по субботам разгонял его страх перед этими собраниями.

В мастерских ткачи стали петь за работой новые песни, песни об императоре, от которых мастера хватались за голову и затыкали уши.

— Смутьяны! — кричали они, закрывая голову руками. — И у стен есть уши! Из-за вас нас всех сошлют в цепях в Сибирь!

Еще больше они злились, когда в песнях пелось о них самих, когда звучали дурные, едкие слова о мастерах.

— Чтоб у них рты были на заднице, — проклинали мастера молодых ткачей, — за то, что они плюют на хлеб, который жрут.

Эти песни распространялись быстро, переносились из одной ткацкой мастерской в другую. Мастера стращали подмастерьев, что они донесут на них отцам, раввину, но парни не обращали на угрозы внимания.

— Мы сами себе хозяева, — отвечали они.

Мастера столбенели от этих наглых речей, прежде они никогда такого не слышали.

Понемногу подмастерья стали меньше слушаться своих мастеров. Они не хотели относить товары к фабрикантам-заказчикам, они отказывались работать до поздней ночи.

— Довольно, — говорили они. — Пора делать ночь. Пошли спать.

Сезонники перестали прислуживать женам мастеров. Они больше не выносили мусор, они не хотели таскать в пятницу в печь к пекарю<sup>1</sup> чолнт. В молельнях отцы с тревогой обсуждали грешное поколение, которое в грош не ставит старших.

— Они говорят против Бога и Мессии, — вздыхали отцы.

— Они говорят дурное об императоре, — шептали они потихоньку на ухо, чтобы, не дай Бог, не подслушал кто-нибудь посторонний.

— Это всё литваки, — сокрушались набожные евреи. — Одна паршивая овца портит все стадо.

В Балуте все чаще появлялись полицейские и заглядывали в распахнутые двери ткацких мастерских.

— Эй, тателе, мамеле<sup>2</sup>, — ворчали они, грозя пальцем, и уходили с тем, с чем пришли.

<sup>1</sup> Имеется в виду большая печь пекарни, не остывающая на протяжении всей субботы.

<sup>2</sup> Папочка, мамочка (*идиши*) — в данном случае полицейские передразнивают еврейскую речь ткачей.

## Глава вторая

Слова Воркинского ребе, которых так боялся реб Авром-Герш Ашкенази, сбылись.

После Симхи-Меера Янкев-Бунем тоже ушел от еврейства. Покуда отец был жив, Янкев-Бунем скрывал от него свои иноверческие манеры. В Варшаве он носил короткое платье, расхаживал по кабаре в компании дружков и совсем не соблюдал еврейских законов. Но, приезжая в Лодзь, он одевался в лапсердак и даже ездил с отцом к ребе в Александер. Однако после внезапной смерти отца от сердечного приступа и положенного семидневного траура Янкев-Бунем отбросил последние атрибуты еврейства и стал одеваться и вести себя с такой элегантностью, словно был потомственным шляхтичем. Уполовинил он и свое двойное хасидское имя — от Бунема он избавился полностью, а еврейское Янкев переделал в польское Якуб. При этом в новом, иноверческом обличе Янкев-Бунем выглядел совсем иначе, чем Симха-Меер.

В Симхе-Меере молодой хасид и плутоватый илуи проглядывал поминутно, он таился в каждом его движении, в каждой складке его немецкой одежды. Хотя он стал немцем<sup>1</sup>, именовал себя Максом и говорил только по-немецки даже у себя дома, это был все тот же Симха-Меер от макушки до пальцев ног. Как и прежде, он в задумчивости разговаривал сам с собой, теребил кончик бородки, тянул за нее, как в старые времена, когда у него еще была хасидская борода. Немецкая речь Симхи-Меера напоминала напевное изучение Геморы, на еврейский манер он отвечал вопросами на вопросы, говорил половинками слов и полунамеками, как когда-то в хедере у меламеда реб Боруха-Вольфа. Он всегда был беспокоен, взмылен, на взводе. Он по-прежнему брал собеседников за пуговицу, хватал бритых людей, словно бородатых, за ску-

<sup>1</sup> В данном случае имеется в виду еврей, отошедший от еврейской традиции.

лу. Лацканы его пиджака и жилет вечно были в пепле от сигар. Галстук не желал лежать на своем месте и постоянно сворачивался набок. Жесткая немецкая шляпа и цилиндр тоже не хотели плотно сидеть на его бешеной голове и сдвигались к макушке, как хасидская шапка. Все английские клетчатые костюмы, которые Симха-Меер носил элегантности и солидности ради, на его фигуре, на его хасидских плечах растекались, расплывались и превращались в лапсердак.

В то время как Симхе-Мееру ничего не шло, его младшему брату Янкеву-Бунему, ставшему теперь Якубом, все шло, и все сидело на его широкой мощной фигуре так, словно он отродясь не носил лапсердака. Он выглядел как аристократ в своих полубогемных, полубарских одеждах, в которые он влез с такой легкостью. Даже его черная борода — он сохранил ее, только подбрил баки — совсем не напоминала еврейскую. В цилиндре, в широкой черной пелерине, которую он накидывал на плечи с грацией завсегдатая опер, в белых перчатках и с элегантной тростью в руке, он выглядел как какой-нибудь иностранный магнат, экстравагантный и не чуждый искусства.

Ему, Янкеву-Бунему, прекрасно жилось на свете; со всех сторон ему улыбалось счастье. Он снова был первым, снова верховодил, как когда-то во дворе среди детей. Из-за своего младшего брата Симха-Меер спал тревожно. Его пожирала зависть.

Прежде всего, он не мог простить Янкеву-Бунему наследства. Отсидев по живому Симхе-Мееру семидневный траур, отец переписал завещание, указав, что сын его Симха-Меер не получит из его имущества ничего, даже подошвы от ботинка. Отныне все наследство переходило сестрам и Янкеву-Бунему. И оно было велико. Симха-Меер и не подозревал, что у его отца такое состояние. На долю Янкева-Бунема выпали хорошие десятки тысяч наличными. Симха-Меер ходил взволнованный. На похоронах отца он как раз очень старался: дал на кладбище надорвать лацкан своего нового костюма, прочитал кадиш, даже отсидел положенный семидневный траур.

Он хотел все исправить, понравиться матери, сестрам и брату. Но когда он заговорил о наследстве, родственники даже слушать его не стали. Он еще не рассчитался по ссудам, которые взял у них ради баронского титула Хунце. Теперь они держали его в руках. Ни в один правительственный суд он пойти не мог. Но он начал таскать сестер и брата к раввинам. Он пытался их перекричать, сбить с толку, но Янкев-Бунем не дал ему этого сделать. Симха-Меер не получил ни гроша.

Еще сильнее Симху-Меера возмутил иноверческий облик, который Янкев-Бунем принял сразу же после отцовской смерти. То, что самому Симхе-Мееру далось ценой большой войны, его брат провернул легко и гладко, как и все, что он делал. Симха-Меер был подавлен. Слишком уж просто ему все давалось, этому Янкеву-Бунему. Удача сама шла ему в руки, в то время как Симха-Меер должен был постоянно гнаться за ней, вырывать, выцарапывать удачу ногтями.

Да, Янкев-Бунем родился в шелковой рубашке. Даже внешне он ограбил Симху-Меера еще в материнском чреве. Он рос большим, высоким, красивым, веселым, жизнерадостным. Он наслаждался жизнью сам и хотел, чтобы ею наслаждались другие. Все его любили, все к нему липли. Он стал зятем миллионера, легко вошел в его дом, хотя совсем не был знатоком Торы и едва выучил лист Геморы; он быстро приспособился к новой одежде. Наконец, он так же непринужденно вошел в блестящий и яркий лодзинский мир — его приняли в богатейших домах, к которым Симха-Меер не смел даже приблизиться.

Теперь Янкев-Бунем больше жил в Лодзи, чем в Варшаве, и вел очень веселую жизнь. В новом отеле, где останавливались самые состоятельные гости, он снял шикарную холостяцкую квартиру. Целый день, хотя ему незачем было спешить, он разъезжал по дурно замощенным улицам Лодзи в карете на резиновом ходу, приветствуя направо и налево знакомых ему прохожих. Очень скоро он стал своим человеком в кругах лодзинской золотой молодежи и частым гостем в богатых домах,

завел множество знакомых и друзей, окружил себя художниками, писателями и актрисами, водил их в рестораны, одалживал им деньги, пропадал во всевозможных театрах, кабаре, ночных клубах. Все официанты в ресторанах, все кучера знали его и снимали перед ним шляпы. Он разъезжал в карете как потомственный магнат. Дамы смотрели на него в лорнеты.

— Честь имею, мое почтение, целую ручки! — то и дело говорил он по-немецки и по-польски, снимая цилиндр перед мужчинами и дамами, перед сынками фабрикантов и модными художниками, перед расфуфыренными шансонетками и порядочными дамами.

— Как дела, Якуб? — приветствовали его в ответ, называя просто по имени.

Так же как он всегда был счастлив и окружен людьми, его жена, богатая, болезненная женщина из хасидской семьи, вечно дулась и держалась от всех в стороне. Она была худой и изможденной. И никак не могла забеременеть, хотя домохадцы с надеждой смотрели на ее живот и удивленно задавали ей вопросы по этому поводу. Она ходила мрачная и постоянно нервничала. Равнодушная к хорошей еде, она совсем не радовалась, когда с аппетитом ели другие. Она любила своего мужа, сходила по нему с ума, но она не могла жить с ним его жизнью. Он угнетал ее как своей чувственностью, временами проявлявшейся в нем сверх меры и доставлявшей ей только муки, так и неизменной жизнерадостностью. Когда она не могла донести ложку до рта, он ел с волчьим аппетитом. Когда она, не зная, что такое сладкий сон, мучилась ночами, глотая не помогавшие ей пилюли, Янкев-Бунем крепко спал и раздражал ее своим покоем и здоровьем.

— Якуб, — будила она его, — не спи так, когда я гибну и не могу сомкнуть глаз.

Переле не выносила людей, толпами окружавших ее мужа, людей, которых он привечал и одаривал, с которыми был на короткой ноге, которых хлопал по спине и которые хлопали по спине его самого.

— Я их терпеть не могу, — кисло говорила она и смотрела на окружение Янкева-Бунема с ненавистью.

Она была ревнива. Она ревновала мужа ко всем женщинам, перед которыми он снимал цилиндр, ко всем актрисам, которым он устраивал бурные овации в театре.

— Кто эта кокотка? — сердито спрашивала она его о каждой незнакомке.

Сама она не хотела его сопровождать; она избегала его знакомых, друзей. Но если он куда-то шел один, она ревновала его, устраивала ему сцены. Поэтому он редко сидел в Варшаве, предпочитая проводить время в Лодзи. В этом городе, шумном и энергичном, где трудились не покладая рук и ковали свое счастье, он вел беззаботную гостиничную жизнь холостяка. Люди его любили, и он сам любил людей. Особенным успехом он пользовался у женщин, у шансонеток из кабаре и у богатых обывательниц, мужья которых были заняты торговлей и оставляли своих жен сходить с ума от скуки во время одиноких прогулок по Петроковской улице. Они улыбались ему и буквально ели его глазами. Он очень низко кланялся им и изящно снимал цилиндр, проезжая мимо в своей карете. Ниже всего он кланялся и изящнее всего снимал цилиндр перед невесткой Диночкой, встречая ее с ее матерью, когда обе женщины выходили на прогулку, разодетые и в высоких шляпках с перьями.

Словно в детстве, когда он часами простаивал перед домом реб Хаима Алтера, чтобы увидеть ее, девочку в форменном платьице пансиона, и снять перед ней свою хасидскую шапочку, Янкев-Бунем ездил теперь туда-сюда по Петроковской улице, чтобы увидеть Диночку и с поклоном снять перед нею цилиндр. Он все еще любил ее. Он все еще помнил, как ее теплые ручки обнимали его за шею, когда она сидела у него на спине. Он помнил, как она смеялась и как восхищалась им.

Он не мог простить брату того, что он забрал у него Диночку, которую все во дворе считали невестой Янкева-Бунема. Нет, он не был счастлив с женой, чужой и болезненной, кото-

рая сама жить не может и ему не дает. И он всюду подкарауливал Диночку. Он не приходил к ней домой. Симха-Меер был с ним в ссоре. Но на улице он смотрел ей вслед, с глубоким поклоном снимал перед ней цилиндр. Все те теплые чувства, которые он испытывал к ней, он вкладывал в эти приветствия.

Диночка тоже специально прогуливалась по Петроковской улице, чтобы увидеть его, элегантного и красивого, так похожего на героев ее романов.

С тех пор как Симха-Меер занял пост генерального управляющего у баронов Хунце, она жила отдельно от родителей, в очень большой и богатой квартире. Ее муж тоже стал другим. Он облачился в европейский костюм, сбрил свою хасидскую бородку и ввел в дом новых людей, современных и богатых. Он даже говорил теперь по-немецки и называл свою жену не Дина, а Диана. Но она не выносила его по-прежнему. При всей своей благоприобретенной немецкости он, как и прежде, погружался за столом в подсчеты, ворчал себе под нос, торопился, подгонял себя, не мог усидеть на месте.

— Куда ты бежишь? — останавливала она его, когда он, наскоро почистив зубы после мяса, вскакивал из-за стола и бросался к двери. — Сейчас еще подадут компот.

Как и раньше, ей приходилось выговаривать ему за то, что он не отрывается за едой от своей бухгалтерии, исписывает цифрами все скатерти и салфетки, которые попадают ему под руки.

— Ты бы лучше обратил внимание на детей, — говорила она ему. — Посмотри, как они ведут себя за столом.

— Дети? — переспрашивал Макс Ашкенази.

Он забывал, что у него есть дети. Он редко их видел, редко с ними разговаривал. Каждый раз, когда им хотелось, чтобы он посадил их на колени и поиграл с ними в лошадку, покачал немного или подбросил вверх, он отсылал их к матери.

— Я очень занят, — бурчал он по-немецки.

Все, что его интересовало, это как они учатся, главным образом, как учится мальчик.



— Покажи-ка мне тетрадки, Игнац, — подзывал он обучающегося в немецкой школе сына, — я хочу посмотреть, какие у тебя отметки.

Маленький Игнац без особой охоты показывал отцу свои тетрадки. Учителя ставили ему плохие оценки. Отец выхватывал тетрадки из рук сына, бросал на них быстрый взгляд и кривился, особенно увидев оценки по арифметике, с которой у мальчишки было хуже всего.

— Просто загадка. Как будто это не мой сын, — говорил он с досадой и укоризненно смотрел на жену.

Малышка Гертруда, копия матери, напротив, с радостью приносила отцу свои тетрадки из детского сада. Она делала очень красивые аппликации, наклеивала на бумагу всякие цветы и бабочек. За это учительницы хвалили ее. Однако Симху-Меера такие вещи не занимали. Он не ждал от девочки больших достижений. Он ждал их от мальчика, особенно в таких важнейших делах, как счет. Поэтому он бросал плутоватый взгляд на тетрадки дочери и бормотал, лишь бы отделаться от нее:

— Молодец, малышка...

И дети отдалились от отца, как он отдалился от них. Они стали переглядываться за едой, кивая на вечно занятого подсчетами папу, который разговаривает сам с собой, задумчиво почесывая подбородок, вечно роняет салфетки и причмокивая выковыривает застрявшие между зубов кусочки мяса. Сидя за столом, дети втихаря смеялись над Симхой-Меером, и Диночку раздражали и смешили хасидские манеры мужа.

Но при всем ее равнодушии к нему ей было неприятно, когда другие замечали, как он смешон со своими хасидскими штучками. Ей, дочери реб Хаима Алтера, не хотелось, чтобы над ее мужем смеялись. И она не только не разрешала собственным детям перемигиваться за спиной у погруженного в свои мысли отца, но и следила за тем, чтобы он не вызвал насмешек у чужих людей на улице.



Поэтому она останавливала его в дверях, напоминала, что надо стряхнуть табачный пепел с пиджака и завязать галстук как следует.

— Симха-Меер, — обращалась она к мужу, — как ты выходишь на люди?

И Симха-Меер останавливался, хотя он ненавидел свое старое хасидское имя, тем более когда оно звучало из уст его жены.

— Завяжи ты, Диана, прошу тебя, — говорил он на своем певучем лодзинском немецком, — я не умею завязывать галстук.

Она аккуратно завязывала ему галстук и стряхивала табачный пепел с его пиджака, чтобы он не вызывал у людей смеха. Но каждый раз, когда он при этом обнимал ее за талию, она резко выворачивалась из его рук, и от холодного взгляда ее голубых глаз у него кровь застывала в жилах.

— Симха-Меер, можешь ты постоять спокойно? — говорила она ему ледяным тоном.

Он тут же опускал руки, словно обожженный и ее словами, и этим старым комичным именем, которым она его называла, хотя он уже давно был Максом. Она ни за что не хотела звать его по-новому и не разговаривала с ним по-немецки, несмотря на то что хорошо знала этот язык, а продолжала говорить по-еврейски, даже когда к нему приходили люди. Это очень огорчало Симху-Меера. В этом не склонном к сантиментам городе он удивлял и заставлял говорить о себе всех, — всех, кроме собственной жены. Ее не восхищали ни его ловкие купеческие ходы, о которых он ей рассказывал, ни его быстрый деловой рост. Когда он хвастался ей своими коммерческими победами, она не слушала.

— Не бросай окурки на пол, — перебивала его она, — и не сыпь пепел на скатерть, вот пепельница.

Не желала она и становиться лодзинской светской дамой, как добивался от нее муж. Она даже не сразу сняла платок с головы, хотя всегда ненавидела его носить. Симха-Меер ее не понял.

— В чем дело? Ты такая набожная? — спросил он. — Мне это совсем не подходит.

— А мне подходит, — ответила ему Диночка.

Она не хотела под него подлаживаться. Противилась ему. К тому же ей все это было не нужно. Она не ходила с ним по домам его новых знакомых, богатых фабрикантов. Не дружила с его купцами и их современными женами. Она занималась детьми, которые то и дело заболевали очередной болезнью, и домом, а больше всего — своими книжками. Она отнюдь не перестала читать романы, жила жизнью их героев, радовалась их радостью, грустила их печалью. При этом она чаще сидела у родителей, чем у себя. Каждый день под ручку с матерью она гуляла по улицам Лодзи, заглядывая в окна магазинов. Они выходили на прогулку нарядные, элегантные и не сильно отличались друг от друга. Они больше походили на сестер, чем на мать с дочерью. Прива Алтер ничуть не постарела. Мужчины на улицах все так же смотрели ей вслед, хотя она была уже бабушкой нескольких внуков. Как и прежде, она не могла пройти мимо магазина, чтобы не купить там что-нибудь. И всюду водила за собой дочь. Даже в кондитерскую полакомиться шоколадом она тащила ее с собой.

Симху-Меера привязанность жены к родителям бесила. Он чувствовал, что они, его тесть и теща, отнимают у него жену, принадлежащую ему по закону. Каждый раз, когда она уходила к матери, он сердито ворчал:

— Опять к матери! Не знаю, что там каждый день делать, у матери! Ну надо же...

Кроме того, он был совсем не уверен, что жена не дает родителям излишне большие деньги. Он прекрасно знал, что у тестя деньги утекают сквозь пальцы, а теща и вовсе склонна к мотовству. Он молчал, боясь заикнуться об этом Диночке. Но спокоен он не был. Он хотел отдалить ее от матери, ввести в новые дома, богатые и современные, как и подобало человеку его статуса. Хорошо бы ему появляться в обществе именно с такой женой, красивой и образованной. В его новой жизни

ему бы очень пошло прогуляться по улице под ручку с высокой и элегантной Диночкой, ловя восхищенные взгляды людей. Однако он не мог оторвать ее от книжек и матери. Диночка всегда ускользала от него. Поэтому он с еще большим пылом бросался в дела, приходил домой поздно ночью и уходил рано утром.

Он набирал силу с каждым днем, с каждым часом, но не знал покоя. Его быстрые нервные пальцы не переставали озабоченно подергивать кончик бородки. Он был зол на свой дом, на тестя и тещу, на сестер, а больше всего — на Янкева-Бунема, потрясавшего Лодзь своей веселой жизнью. Повсюду Симхе-Мееру передавали шуточные приветствия от брата.

— Этот парень еще разорится и будет побираться по домам, — пророчествовал о нем Симха-Меер. — Вот увидите...

Но вопреки пророчествам старшего брата Янкев-Бунем не пошел по домам с сумой. Напротив, ему продолжала улыбаться удача. Он и сам не знал, как ему все удавалось. Он стал своим человеком в самом большом дворце Лодзи, в доме миллионера Максимилиана Флидербойма. Он пил там вино с сынками миллионера и играл в карты. И вот так, между вином, картами и смешками, получил пост генерального управляющего на фабрике Флидербойма.

Бледный, без кровинки в лице замер Симха-Меер в кресле своей конторы, когда люди рассказали ему, что Янкев-Бунем получил эту должность.

— Наглая ложь! — заорал он по-еврейски, совсем забыв, что теперь он разговаривает только по-немецки.

Слишком уж много принесли ему новостей.

Но это была не наглая ложь. Как раз на Петроковской улице, напротив дома Хунце, где находилась контора Симхи-Меера, его брат открыл огромный склад. Он обставил свою контору с размахом. Повесил на здании большие золоченые вывески со всеми медалями Флидербойма и его фабричной маркой — перекрещенными якорем и ключом — и даже поставил у дверей прислужника в униформе, как в банке. Кро-

ме этого, новый генеральный управляющий купил себе собственную карету. Как и большинство молодых фабрикантов, он сам погонял лошадей, усевшись на место кучера.

Симха-Меер закрыл зелеными шторами окна своей конторки. Он не хотел видеть вывесок напротив. Он просто заболел от их вида. Но имя его брата несло к нему со всех сторон. О нем кричали самые большие рекламы в газетах, купцы, маклеры, вся Лодзь.

— Он потрясает мир, — рассказывали Симхе-Мееру купцы, донося ему о всех дневных делах брата и его гулянках по ночам.

Вскоре после этого фабрикант Флидербойм одержал большую победу над своими конкурентами, баронами Хунце. Об этом говорили повсюду. Вместе с Флидербоймом вверх рванулся и его генеральный управляющий Якуб Ашкенази, поднявшись на еще одну ступеньку по золотой лестнице.

Лицо Симхи-Меера было таким же зеленым, как занавески на окнах его конторки, которые он всегда держал закрытыми, чтобы не видеть напротив сиявшее золотом имя своего врага.

## Глава третья

**В**о дворце текстильного фабриканта Флидербойма было оживленно и весело.

Максимилиан Флидербойм, жестко конкурировавший с мануфактурой наследников Хунце, одержал большую победу: новый губернатор фон Миллер, прибывший в Петроков из Санкт-Петербурга, нанес первый визит Флидербойму, а не баронам Хунце.

На протяжении многих лет два крупнейших лодзинских фабриканта — Хунце и Флидербойм — вели ожесточенную

борьбу. Они всеми способами пытались сжить друг друга со света и постоянно строили друг другу козни.

Старые лодзинские евреи еще помнили, что будущий фабрикант Флидербойм прибыл в город с пустыми руками, так же как и будущий фабрикант Хунце. У молодого Флидербойма была загорелая, прокаленная деревенским солнцем кожа и широкие плечи, на которых едва не лопался длинный, из дешевой ткани лапсердак. На ногах у него были тяжелые подкованные сапоги. В руке он держал сорванную с дерева ветку — ей он отгонял деревенских собак и пастухов, имевших обыкновение швырять в евреев камни. Так он и пришел пешком из своей деревни Вулка в Лодзь, чтобы заработать себе на хлеб.

У его отца, сельского корчмаря, евреи побогаче отобрали корчму, которую он арендовал у помещика. И он с женой и целой дюжиной детей мал мала меньше остался без хлеба и крыши над головой. Отец завязал в узелок свежий творог, вынул из улья прозрачного меда, наполнил им бутылку и с этими богатствами и старшим сыном Мендлом отправился пешком к ребе в Казмир<sup>1</sup> спрашивать совета, как ему с его семьей жить дальше.

Ребе велел творог и мед отдать раввинше и благословил арендатора, чтобы Бог помог ему во всем, куда бы он ни пошел и чем бы ни занялся. Помимо этого ребе дал ему и его сыну медные алтыны и наказал носить их с собой всегда, кроме суббот и праздников. Эти алтыны должны были принести им счастье. Арендатор пошел по деревням скупать у крестьян шерсть и лен, чтобы не дать жене и детям умереть с голоду. Он хотел, чтобы и его старший сын Мендл ходил с

---

<sup>1</sup> Казмир (также Кузмир, *идиш*) — город, в прошлом местечко Казимерж Дольны (*польск.*), он же Казимерж над Вислой, неподалеку от Любина. Не следует путать с пригородом Кракова Казимерж, в котором с конца XV в. существовала значительная еврейская община. Имеется в виду основатель династии казмирских ребе ребе Йехезкель Тауб (1774–1857), внук ребе Шломо-Залмана, одного из учеников основоположника хасидизма Исраэля Бааль-Шем-Това (Бешта).

ним и помогал носить мешки, но Мендл не хотел всю жизнь таскаться по деревням. Здоровый, широкоплечий, способный поднять в шинке самую большую бочку с пивом и вышвырнуть вон самых сильных бузотеров, бьющих с перепоя бутылки, полный жизни и горячей крови, загорелый и обветренный, он верил в себя, верил, что создан для другого, не для того, чтобы расхаживать по деревням с мешком на плечах. От проезжих евреев, гостивших в их деревенской корчме, он слышал о городке Лодзь, который растет и богатеет изо дня в день. Он не знал этого города, но его туда тянуло. И он взял мешок, упаковал в него потертые тфилин, пару застиранных, залатанных рубах, каравай хлеба с тощим куском сыра, горсть молодых луковиц, кулечек соли и крестьянский ножик, который какой-то иноверец заложил в корчме за четверть водки, да так и не выкупил. Нож потом воткнули в землю и оставили так на несколько дней, чтобы он стал кошерным.

С этим мешком, в дешевом лапсердаке, подпоясанном ремнем, с веткой в руке и несколькими рублями медными алтынами, завязанными в красный носовой платок, он и шел двое суток по дорогам. Он пек картошку в полях, спал в крестьянских амбарах, в лесу на кучах веток и мха. Он шел в город, чужой и манящий, чтобы найти себе хлеба и добиться от жизни толка.

Ему было двадцать лет. Алтын, полученный от ребе на счастье, он носил в холщовой мешочке, висевшем у него на шее под рубахой.

Таким его еще помнили старые евреи в Лодзи.

Как Хунце из Саксонии, так и Мендл, сын корчмаря из деревни Вулка, пришел в этот новый город с пустыми руками и вскоре покорила его. Фабрики властителей Лодзи — немца Хунце и еврея Флидербойма — стояли по соседству. Их дворцы были красивейшими в городе. Но жить в мире эти два дома не могли. Они были друг для друга как бельмо на глазу.



Хунце не мог забыть конкуренту того, что, придя в Лодзь гораздо позже него, Хайнца Хунце, и на первых порах покупая у него товары для своей лавки в Новом городе, Флидербойм так быстро рванул вперед, что сравнялся с немецким фабрикантом и даже попытался его перегнать.

Он ни за что не желал называть Флидербойма его новым именем — Максимилиан, которое тот принял, заработав первые несколько тысяч рублей, — а продолжал называть его старым еврейским именем — Мендл.

— Как дела, Мендл? — со значением спрашивал он Флидербойма, когда тот проезжал утром мимо в собственной карете. — У меня есть кое-какие остатки товара на продажу, отдам за бесценок...

Это было намеком на старые времена, когда Флидербойм еще скупал остатки на фабрике Хунце.

— Не хотите моих лошадей? — спрашивал в ответ Флидербойм. — Я покупаю новых, а старых могу уступить по дешевке.

Это было уколом старому Хунце, склонному к скупости и запрягавшему в свою карету не таких хороших, как у Флидербойма, лошадей.

Противостояние двух фабрикантов длилось годами. Они обменивались колкостями, бахвалились друг перед другом. Они готовы были выколоть себе глаз, лишь бы выколоть сопернику оба глаза. Но если Хунце соперничал с Флидербоймом только в коммерческих делах, Флидербойм хотел взять барством и роскошью.

Нет, Флидербойм не мог стать бароном, как Хунце. Сколько бы он ни заплатил петроковскому губернатору, он никогда бы этого не достиг. Императорский двор неохотно присваивал дворянство евреям. Но Святую Анну на шею за большой вклад в российскую текстильную индустрию губернатор для него выхлопотал. Флидербойм носил ее вместе с медным алтыном, который дал ему когда-то на счастье Казмирский ребе и который действительно принес ему удачу в этом мире.

С гордостью носил он и титул почетного гражданина<sup>1</sup>, присвоенный ему в Санкт-Петербурге с правом передавать его по наследству будущим поколениям Флидербоймов. Его здания и его бумаги украшало не меньше золотых и бронзовых медалей, чем у Хунце. Все это очень угнетало старого барона. Но Флидербойму этого было недостаточно. Он всегда делал так, чтобы его имя гремело в Лодзи, к его собственному удовольствию и к огорчению Хунце.

Он чаще, чем Хунце, менял мебель в своем дворце. В его кареты были запряжены лучшие лошади. В его подвалах хранились лучшие вина. По двору бегали самые породистые собаки. На балы и карнавалы приходили самые именитые гости. С мальчишеских лет, когда его отец, державший арендованную у помещика корчму, брал его с собой на барский двор, куда он ездил на телеге, Мендл широко раскрытыми глазами смотрел на то, как жили бары. Он подмечал каждое их горделивое движение, все их манеры, все жесты. Он стоял с шапкой в руке, как и его отец, кланялся и целовал полу одежды барина и тем не менее не упускал из виду ни одной мелочи на барском дворе. Теперь он все это повторял и в барстве мог перещеголять любого. Так же как помещики, он закручивал вверх свои черные усы, когда с кем-нибудь говорил. Так же как помещики, он тратился на лошадей. Он не только держал несколько пар упряжных для своих многочисленных карет, повозок и бричек, у него еще были собственные конюшни для скаковых лошадей и жокеи. Это стоило ему больших денег, зато его лошади были лучшими в Польше и постоянно упоминались в газетах.

Хотя Флидербойм с детства питал ненависть к собакам, которых натравливали на него помещики с их экономами и которые не раз раздирали его лапсердачок, а то и вырывали из ноги куски мяса, он окружил себя лучшими охотничьими

---

<sup>1</sup> Почетные граждане (личные и потомственные) представляли в Российской империи прослойку, занимавшую промежуточное положение между дворянством и купечеством. С 1850 г. право ходатайствовать о предоставлении им почетного гражданства получили некоторые категории евреев.

псами, скупив их у крупнейших польских помещиков. Также он скупил у обедневших польских графов их имения вместе со слугами и лакеями. Сам губернатор со всеми своими друзьями, старшими офицерами и высокопоставленными чиновниками, гостил в имениях Флидербойма и летом и зимой. Не вынося крови, Флидербойм тем не менее научился хорошо стрелять. Он перебил в своих лесах массу зайцев, диких уток и лисиц. После охоты его егеря в зеленых костюмах и шапках с перьями трубили в охотничьи рога. Лакеи жарили подстреленную дичь на кострах, и егеря устраивали пиры в лесу.

Зимой во дворце Флидербойма часто давались балы. С самой утонченной грацией, которую он только помнил с тех пор, как мальчишкой смотрел на балы через щели в ставнях барских особняков, Флидербойм танцевал польские полонезы, закручивая при этом усы с таким достоинством, что дамы ему аплодировали. В отличие от Хунце, он изгладил из своего облика следы того времени, когда он пришел в Лодзь с мешком на плечах и веткой в руке. Флидербойм был барином во всем: в том, как он закуривал сигару, в том, как нес свое мощное тело, как плавно ступал, как небрежно расставался с деньгами, в том, как он жил и давал жить другим.

Но при всем своем барстве и иноверческом образе жизни Флидербойм боялся еврейского Бога, дрожал перед Ним и старался сделать что-нибудь, чтобы вымолить у Него прощение за свои бесчисленные грехи. Он не забыл, что своим возвышением и огромным богатством он обязан Казмирскому ребе, давшему молодому Мендлу Флидербойму его счастливый алтын. Не раз он с беспокойством думал о том, что не так бы ему следовало отплатить ребе и его Богу: ему надо было бы вести себя богобоязненно, не сбривать бороду, не осквернять субботу, не есть некошерную еду в компании иноверцев, не грешить с чужими женами и не совершать других преступлений, которых не любит Бог. Не раз бессонными ночами он вздыхал в своей мягкой пуховой постели, сокрушаясь, что воздаст еврейскому Богу несоразмерно Его Божьей милости.

Как хороший купец он знал, что сделка должна строиться на равных и взаимовыгодных отношениях. И если Бог так добр к нему, если Он одарил его таким богатством, таким почетом и благополучием, какие редко находят людей, если Бог и Его посланник, ребе, так вознесли его, из грязи к барству и величю, он должен достойно отплатить за это — выполнять Его заповеди, вложить в эту сделку свою честную, равную долю.

Но быть набожным евреем он не мог. Он был слишком богат и велик, его слишком тянуло к барству и наслаждениям этого мира, чтобы он был таким же евреем, как другие. Нет, он не мог не есть на званом обеде, если сам губернатор пригласил его к себе. Не мог он и закрыть свою контору на субботу.

При этом он поддерживал деньгами и подарками не только казмирский двор, всех детей и внуков ребе, он посылал деньги и подарки также и другим хорошим евреям<sup>1</sup>. Сам он этим не занимался. Он не мог допустить, чтобы в его дворце, где у дверей без мезуз стоят лакеи в ливреях, крутились раввины, внуки праведников и авторы комментариев к Торе. Для благотворительных дел у него был специальный доверенный, который разбирался в еврейских делах. Он и передавал пожертвования богобоязненным евреям, приезжавшим к Флидербойму со всей Польши. К нему все время тянулись люди — раввины, изучавшие Тору аскеты, потомки праведников, погорельцы, отцы бедных невест-бесприданниц. И никто не уходил от фабриканта Флидербойма обиженным.

Приходилось ему поддерживать и иноверцев. Он не мог отказать христианскому священнику, просившему у него помощи в строительстве церкви для рабочих его фабрики. Флидербойм лично заложил первый камень этой церкви, поэтому на мраморной доске, укрепленной на церковной стене, были высечены имена фабриканта и его жены. Жертвовал он деньги и на разные другие иноверческие дела. Это беспокоило его по ночам. Он знал, что еврейский Бог не любит, когда дают

---

<sup>1</sup> Хороший еврей (*идиш* гутер йид) — термин, употреблявшийся применительно к хасидским цадикам.

деньги на других богов и строят молитвенные дома, где будут молиться не Ему. Поэтому после пожертвования на церковь Флидербойм сразу же дал деньги на строительство новой синагоги за его счет, на написание нескольких свитков Торы, на пошив для них дорогих шелковых, бархатных и атласных чехлов, отдельно для будней, отдельно для суббот, отдельно для праздников и отдельно для Дней трепета. Лишь бы Бог забыл ему грех помощи в строительстве церкви.

Он еще помнил, как в мальчишеские годы сельский мела-мед учил его, что на том свете стоят большие весы с двумя чашами, на которые с одной стороны кладут грехи человека, а с другой — его добрые дела. И он всегда старался положить как можно больше на чашу добрых дел. Каждое свое прегрешение он тут же уравнивал синагогами, хедерами, кладбищенскими оградами, тяжелыми серебряными коронами для свитков Торы, способными потянуть нужную чашу вниз.

В последнее время чаша грехов сильно перевешивала. И это были не столько его собственные грехи, сколько грехи его детей. Сыновья и дочери Флидербойма стали уходить от еврейства: они не только не выполняли заповедей, они отрекались от еврейского Бога вовсе. Две его дочери вышли замуж за выкрестов и поэтому крестились сами. Флидербойм не мог по этой причине отказаться от своих дочерей. Как бы он тогда выглядел в глазах своих друзей, в глазах губернатора и богатых помещиков, приезжавших к нему на охоту и на балы? Кроме того, оба его зятя происходили из очень влиятельных семей, они были сыновьями магнатов. Это заметно повысило статус дома Флидербойма, сына бедного арендатора. Фабрикант Флидербойм не мог себе позволить надорвать лацкан фрака и справлять в чулках<sup>1</sup> семидневный траур на перевернутой скамейке в залах своего дворца. Он вынужден был закрутить вверх свои барские усы и дать дочерям отеческое благословение. Однако по ночам ему не было покоя на его широкой французской постели.

<sup>1</sup> В дни семидневного траура скорбящие не носят обуви.

Он знал, что значит вероотступничество. Еще в отцовском доме он наслушался от извозчиков и ходивших по деревням евреев историй о страшном грехе, который совершает еврей, уходящий от своего Бога. Он знал, как страшен Бог, когда Его покидают, как Он пышет гневом, когда от Него отрекаются и меняют на чужих богов. Хотя он мало учился еврейскому закону и был далек от еврейства, ему было известно, что Бог воздает за грехи не только самим грешникам, но и их близким: Он мстит за грехи родителей детям и внукам до четвертого колена. Флидербойм знал, что там, на небесах, которые он так задымил своими трубами, творятся жуткие вещи. Ад пылает, котлы со смолой кипят, на шипастых лежанках стонут грешники, черти и дьяволы льют им на головы горячую серу, подвешивают их за языки и швыряют их из одного конца мира в другой.

Ужас охватывал его при мысли о загробных мучениях, от страха он обливался холодным потом и кричал по ночам так, что его жена Элизабета, лежавшая рядом с ним в кружевах и вышивках, с перепугу забывала и польский язык, и свою барственность, и в панике принималась будить его, причитая по-еврейски:

— Мендл, я боюсь. Мендл, дорогой, да перестань же держаться за сердце!

В довершение бед его сыновья тоже начали водить тесную дружбу с иноверцами и попами. Их учителя-христиане, как и гувернантки, с детства брали их в церкви, учили стоять на коленях. Они рассказывали им чудесные истории про Иисуса и Святую Деву Марию и страшные истории про евреев. Раньше Флидербойм не обращал на это внимания. Он хотел, чтобы при его детях состояли христиане, которые учили бы их чисто говорить на языке христиан, дали бы им хорошее воспитание и привили хорошие манеры. Но когда дети стали старше и он потребовал, чтобы сыновья выучили кадиш и раз в год, на Йом Кипер, ходили вместе с ним в синагогу, те не захотели даже слышать об этом. К тому времени они уже ненави-

дели евреев, говорили, что евреи распяли Иисуса. Его внуки даже боялись есть мацу на Пейсах, потому что гувернантка рассказала им о том, что евреи якобы добавляют в мацу христианскую кровь. Сыновья часто поговаривали о крещении. Флидербойма от этого трясло.

Он знал, что кадиш, который читают сыновья по своему отцу, может многое сделать на том свете, что уже не раз кадиш из уст сыновей вытаскивал грешных отцов из глубин ада. В тяжелые бессонные ночи фабрикант Флидербойм утешал себя тем, что через сто двадцать лет<sup>1</sup> сыновья выручат его кадишем из самой большой беды. Теперь он увидел, что его надежды напрасны. Они не только не вытащат его из адского пламени, но, наоборот, еще глубже загонят его в ад своим отступничеством от еврейского Бога.

Он, фабрикант Флидербойм, знал, что, хотя усы его черны, это не от молодости, а от очень хорошей краски, которую использует его цирюльник-француз. Конечно, он все еще силен, но человек не вечен: его, Флидербойма, жизнь давно уже перевалила за половину и теперь ему надо готовиться к далекому и страшному пути, потому что как постелешь, так и будешь спать. А тут, как назло, чаша грехов на его весах опускается все ниже и ниже, беспощадно перевешивая его добрые дела.

Он делал все, чтобы положить на чашу добрых дел как можно больше весомых благодеяний. Он заблаговременно оплатил кадиш, достойно вознаграждал целый миньян богобоязненных и строго соблюдающих заповеди евреев, чтобы они читали по нему кадиш после его кончины. Он также выстроил новые талмуд торы для бедных детей. Если уж он не научил Торе и еврейству своих собственных детей, то пусть хоть дети бедных ремесленников учат Тору для Бога. Флидербойм знал, что так уж заведено на свете, что Бог сам поставил бедняка работать вместо богача и что так повелось не только в торговле и на фабриках, но и в заповедях, в еврействе. Если сам фабрикант Флидербойм не может соблюдать запо-

---

<sup>1</sup> Т. е. после смерти.

веди еврейства, то будет хорошо, если благодаря его деньгам их будут соблюдать другие. Это все равно что он сам бы их соблюдал. Кроме того, он беспокоился о бедных ремесленниках Балута. Он сделал для них много доброго.

Работы у себя он балутским ткачам не давал. Во-первых, он работал по субботам и не мог допустить, чтобы другие евреи оскверняли из-за него святой день. Ему и собственных грехов достаточно, зачем толкать в ад кого-то еще? Поступив к нему на фабрику, балутские ткачи и на этом свете толком ничего не получают, и вдобавок будут страдать на том. Во-вторых, он знал, что евреи — это аристократы. Еврей должен зарабатывать так, чтобы хватило на встречу субботы, на оплату меламеду, на покупку кошерного мяса. То есть он должен зарабатывать больше иноверца, у которого нет всех этих проблем. Кроме того, иноверцы сильнее евреев, они не стонут и не вздыхают. Не завидуют хозяину, относятся к нему с почтением, снимают шапку перед кормильцем. Поэтому на фабриках Флидербойма не было ни одного еврея. Он держал их только в конторах, на легкой работе, где надо иметь мозги, еврейскую голову. К машинам он их не подпускал. Но о балутских ткачах все же заботился. Он давал на приданое бедным балутским невестам, на уход за больными, жертвовал погребальному братству. На каждый Пейсах он посылал балутским ткачам вагон муки для выпечки мацы. Если был голод, если у жителей Балута не было работы, он открывал благотворительные столовые, где каждый ткач получал горшок еды и кусок хлеба.

Теперь, после вероотступничества дочерей, фабрикант Флидербойм хотел совершить большое, весомое доброе дело, способное резко толкнуть вниз чашу благоденствий и перевесить все прегрешения как его самого, как и его детей. И он выстроил больницу для бедных евреев, где еда была кошерной, где не висели кресты и иконы, где были мезузы на всех дверях и больным можно было носить арбоканфесы и молиться в миньяне в больничной синагоге. Кроме того, там за-



жигались свечи по усопшим и миньян евреев читал в память о них псалмы. Финансируя строительство этой больницы, фабрикант проявил большую щедрость. Огромными золотыми буквами на фасаде, для всего мира, и буквами поменьше, по-древнееврейски, внутри здания были начертаны имена фабриканта Флидербойма и его жены. На открытие приехали самые важные люди Лодзи и Варшавы. Улица перед больницей была забита каретами. Уважаемый крупнейшими нееврейскими чиновниками раввин Лодзи прибыл на торжество с медалью на атласном лапсердаке. Все мальчишки из хедеров и талмуд тор пропустили в этот день занятия, чтобы поглазеть на золотую саблю раввина, о которой твердили все, хотя никто ее не видел.

Балутские ткачи побросали станки посреди работы и толкались вокруг новой больницы, а конные полицейские оттесняли их лошадиными задами. Пожарники с фабрик Флидербойма в медных касках на головах играли веселые марши.

Но венцом торжества стал приезд самого петроковского губернатора с его свитой.

Между братьями Хунце и фабрикантом Флидербоймом разгорелась настоящая война в связи с первым визитом в Лодзь нового губернатора. Каждая из сторон старалась заполучить его к себе раньше, чем это сделает другая. У братьев Хунце было больше шансов. Они были баронами, дворянами, как и новый губернатор. Зато Флидербойм построил больницу, которую надлежало торжественно открыть. К тому же он совершил патриотический поступок. Один корпус своей больницы он назвал именем российского императора, а другой — именем императрицы. Портреты самодержца и его супруги в самых розовых тонах, в окружении лавровых венков и российских флагов, украшали корпуса, источая ангельское сияние. Это было посильнее любого баронского титула.

О, фабрикант Флидербойм знал, что надо делать, чтобы обойти братьев Хунце. Он увел губернатора у них из-под

носа. И теперь во дворце Флидербойма царили веселье и радость победы.

Та же радость охватила и евреев Лодзи. Во всех молельнях, миквах, на всех рынках не переставали говорить о больнице Флидербойма и визите губернатора.

Но в субботу во многих синагогах и молельных домах эта радость померкла. В четверг ночью, после тяжелой работы до позднего вечера, длившейся дольше, чем в прочие дни недели, Тевье сидел у себя в подвале, у маленькой лампочки, и вместе с Нисаном сочинял прокламацию, направленную против фабриканта Флидербойма, против его гостя губернатора и против самого императора. Резкими, колючими, издевательскими словами эти сидевшие в подвале двое клеймили богатых, могущественных, наделенных властью и призывали бедных и обездоленных не радоваться той кости, которую их враги бросают им, словно собакам. Кейля просыпалась, кричала, что у нее в доме понапрасну тратят нефть, что она этих сумасшедших обольет водой, но Тевье и Нисан продолжали писать, вычеркивать и исправлять. На рассвете перед ними лежал аккуратно исписанный лист бумаги с готовой речью.

Нисан целый день переписывал прокламацию красивым почерком, похожими на печатные буквами с завитушками. Ему помогали его ешиботники. В пятницу перед зажиганием субботних свечей, когда все евреи были в бане, ешиботники пришли в синагоги и молельни и в их центре, у самого священного кивота, на восточной стене, среди текстов благословений нового месяца, речей о росе, дожде и тому подобном приклеили эти бумажки так, чтобы, хватившись, синагогальные служки не смогли их сорвать из-за наступления субботы.

Когда евреи начали читать в молельнях листовку Нисана и Тевье, написанную на простом еврейском языке, но красиво, как в молитвеннике, на них напал великий страх. Эта бумага, имевшая вид обычного для синагоги текста богобоязненного содержания, была полна ереси — она громила фа-

бриканта Флидербойма, который не дает евреям работы на своей фабрике, который превращает пот бедняков в миллионы, а потом строит больницы для тех, из кого он высасывает кровь. Еще более злые речи велись против губернатора и его приближенных, но самыми страшными были слова против самого царя, против императора, правителя страны, имя которого упоминалось в синагогах только ради восхваления.

Евреи хотели сразу же сорвать эти страшные бумажки, но не могли этого сделать в субботу. Послали спросить раввина. Раввин немедленно решил, что бумажки представляют собой угрозу жизни и велел послать за иноверцами, чтобы те их сорвали.

После этого евреи почувствовали себя спокойнее и веселее.

И новая больница, и то, что раввин ходил с золотой медалью, а больше всего то, что губернатор сначала поехал не к немцам Хунце, а к еврею Флидербойму, наполнило их надеждой и уверенностью. Евреи верили в спасение и утешение для народа Израиля.

Во дворце Флидербойма ярко сияли огромные окна. Множество карет стояло перед широким въездом.

Флидербойм давал бал в честь нового губернатора.

Бал был большим и роскошным, как и все, что устраивал Флидербойм. Изысканные вина, вкуснейшие блюда, утонченные гости. Среди прочих высокопоставленных особ на бал был приглашен и новый генеральный управляющий фабрики Флидербойма Якуб Ашкенази.

Во фраке и белоснежной рубашке, с розой на лацкане, он выглядел очень красиво и элегантно, этот молодой Ашкенази. Все дочери Флидербойма танцевали с ним и осыпали его любезностями.

— Вы совсем не похожи на еврея, — говорили они ему, считая это самым большим комплиментом, и прижимались в танце к его грациозному телу.

Как и Флидербойм, он легко скользил по блестящему полу, ступал уверенно и плавно. Нет, Флидербойму было не стыдно пригласить его в свой дворец.

Новый губернатор фон Миллер был доволен балом, дорогими винами, изящными и красивыми дамами и несколькими тысячами рублей, которые он выиграл у фабриканта Флидербойма поздно ночью в карты.

Он, Флидербойм, знал высокопоставленных русских чиновников, он видел их насквозь своими большими черными глазами и всегда давал им возможность обыграть его на приличную сумму в карты. Этим он брал их с потрохами. Вот и новому губернатору он очень искусно и незаметно позволил сорвать солидный карточный куш. Губернатор, разгоряченный и счастливый, тихим шепотом доверил Флидербойму секрет: в Санкт-Петербурге принято хранящееся покамест в тайне решение проложить вокруг Лодзи новую железнодорожную линию.

Флидербойму не надо было повторять дважды. Он понял, что имеет в виду губернатор. Он знал, какой лакомый кусок таится здесь и для самого губернатора, и для него, Максимилиана Флидербойма. Легкими шагами он направился к своему новому генеральному управляющему, оторвал его от вина, женщин и пения и дал приказ потихоньку, тайком скупить все участки земли вокруг-города, по которым пройдет будущая железная дорога.

— Надеюсь, вы провернете это дело разумно и с тактом, — сказал Флидербойм, обнимая Якуба за талию, обтянутую фракком.

— Завтра же я приступлю к этой работе, — ответил Якуб Ашкенази.

— К раввину мы не пойдем, — прошептал ему Флидербойм по-еврейски. — А теперь возвращайтесь к вашим дамам.

Оркестр заиграл новый полонез.

## Глава четвертая

**Т**о, что Флидербойм так подло обошел Хунце и заполучил губернатора к себе, куда больше, чем самих Хунце, задело Симху-Меера, он же Макс Ашкенази.

— Поди добейся толку, когда у этих иноверцев одни гулянки в голове! — сердито ворчал он себе под нос, злясь на баронов, которые, вместо того чтобы заботиться о делах и заводить полезные связи, думали только о ерунде — женщинах, охоте, фехтовании и прочих иноверческих глупостях.

Да, позднее губернатор нанес визит и баронам и очень восхищался их звериными чучелами и коллекцией сабель и кинжалов в их дворце, но никакой коммерческой пользы из этого не вышло. Сливки снял Флидербойм. Именно он извлек прибыль из первого визита губернатора. Хотя это держалось в секрете, Лодзь знала, что не с неба сошло к Флидербойму пророчество о строительстве железнодорожной линии, о которой никому тогда еще не было известно. В Лодзи не было тайн. Люди поняли, что во дворец Флидербойма эту весть принес прибывший из Санкт-Петербурга губернатор, не оставшийся, наверное, внакладе. И Флидербойм не пропустил ее мимо ушей. Из нескольких слов губернатора, из его намеков о том, где пройдет железная дорога, он сделал себе состояние. Он скупил участки под будущую дорогу по дешевке, за гроши, а теперь правительство выкупало их за большие деньги. И даже те участки, которые оно не выкупило, резко выросли в цене из-за близости к железнодорожной линии. Вся Лодзь говорила об этом. Крестьяне, продавшие эту землю за бесценок, грызли от злости собственные усы. В рестораниках и кафе маклеры и купцы оценивали заработки Флидербойма, обсуждали тот жирный кусок, который он проглотил, провернув это дельце.

— Его больница ему хорошо окупилась, — с завистью говорили евреи.

— Богачу хорошо и на этом, и на том свете, — вздыхали бедняки.

Макс Ашкенази, как и прежде, когда он был хасидским пареньком, делал подсчеты карандашом на всех столах, кусках товара и скатертях. Он считал деньги, которые выручил фабрикант Флидербойм, проценты, которые получил с этого дела его брат, и с досады терзал кончик своей почти начисто сбритой бородки, чуть ли не с мясом вырывая из нее волоски. Сильней, чем чужая прибыль, его мучило то, что в Лодзи не переставали говорить о двоих счастливицах. Макс Ашкенази не мог этого слышать. От этих разговоров у него свербело в ушах.

— Экие гуляки, — сердито бурчал он в адрес баронов. — Раззявы пустоголовые...

Он не мог им этого простить.

Начал он на новом посту, как всегда, с того, что принес фабрике пользу. Уже в первый год, сидя на месте отца, он продал товаров в несколько раз больше, чем продавалось за то же время раньше. Он рассылал коммивояжеров по всем концам России. Он писал письма, встречался с купцами и комиссионерами, обделывал дела, бегал, убеждал, распалял, разжигал жажду наживы. Наконец, он сам отправился в Россию, чтобы прощупать рынок.

Плохо зная русский язык, будучи по природе человеком сдержанным, не обжорой и не выпивохой, он тем не менее умел втереться в компанию широких по натуре, развеселых и разудалых русских купцов, которые во время загула сорят деньгами и готовы снять с себя последнюю рубаху. Макс Ашкенази мог заставить другого выпить море, а сам оставался трезвым. Он всегда поворачивал дело так, что кацапы совершали всякие глупости, а он своевременно уходил из веселых домов и от цыганок, к которым они его везли, обмыв новую сделку.

Он не выносил запаха водки, ему были противны гулянки и распущенность. С отвращением и презрением он смотрел

на пьянствующих и буйствующих иноверцев. Он им подыгрывал, потому что, приходя к воронам, надо каркать, как они, и в то же время искусно маневрировал, сохраняя трезвость и ясность ума. Как практичный деловой человек, он знал, что все эти пьянки и гулянки не стоят и понюшки табака. Люди от них только глупеют и тупеют, а главное в человеке — разум и трезвомыслие. Главное у человека — голова, способность думать и понимать. Симха-Меер берег свою голову. Она крепко держалась на его плечах и всегда была ясной. И это давало плоды. Уже в первый год на посту генерального управляющего фабрики Хунце он показал, кто такой Симха-Меер, ставший теперь Максом Ашкенази, и что он может сделать с тем, к чему прикладывает руки.

Фабрика достойно вознаградила его за его труды: ему предоставили хорошие условия, выплатили премию, но куда важнее для Макса Ашкенази было то, что он стал своим человеком на фабрике и братья Хунце начали советоваться с ним по всем вопросам.

Своими плутоватыми глазами, взгляд которых поначалу казался мягким и невинным, но на самом деле был жестким и пронзительным, он сразу же разглядел, что толстый главный директор Альбрехт, под весом которого ломались стулья, ленив и заспан и управляет фабрикой спустя рукава. Чем дальше, тем больше он убеждался, что толстый директор вообще не управляет ею. Она работает сама по себе, как заведенные часы, как хороший, отлаженный механизм. И при старом Хунце, и теперь, при его сыновьях, директор Альбрехт вытягивался как струна, говоря с хозяевами. Он едва мог устоять на своих ногах-бревнах, втиснутых в широченные брюки, и на все хозяйские распоряжения и замечания однообразно отвечал:

— Яволь, герр барон!

И Макс Ашкенази вплотную занялся фабрикой. Он давал молодым баронам советы, как экономить, когда работать, а когда остановить предприятие, какие товары готовить к очередному сезону. Его советы всегда приносили прибыль, и

братья Хунце стали считать его надежным человеком — отныне они ничего не предпринимали, не переговорив со своим евреем.

— Где вы научились всему этому, Ашкенази? — спрашивали они его с удивлением.

— В талмудической академии, у профессоров Абайе<sup>1</sup> и Равы<sup>2</sup>, — с гордостью отвечал им Макс Ашкенази, вспоминая услышанный им когда-то в синагоге рассказ про древнего еврейского мудреца, который ответил таким образом на аналогичный вопрос, когда его назначили министром.

Толстый директор Альбрехт начал злиться. Он видел, что этот еврей слишком много крутится на фабрике, прибирает ее к рукам, и потел от волнения всем своим необъятным телом. Его бесило, что этот тип вмешивается в его дела и выставляет его перед баронами Хунце в дурном свете. Но перечить Макс Ашкенази он не осмеливался. Он слишком зависел от своих хозяев, чтобы идти наперекор их желаниям. Но главное, Альбрехт был ленивым и сонным. Поэтому он утешался с ткачихами, которых поставлял ему слуга Мельхиор, каждые две недели посылавший новую девушку убирать директорскую квартиру при фабрике. А власть Макса Ашкенази крепла день ото дня. Вместе с ним сквозь тяжелые фабричные стены проникли жизнь и суета. Он делал, что хотел и что считал нужным. И как всегда, давал деньги братьям Хунце — столько, сколько им требовалось. Не успевал директор Альбрехт подумать о том, где достать денег, как Макс Ашкенази уже приносил необходимую сумму по первому слову одного из баронов. Его влияние на фабрике невероятно возросло. С некоторых пор сам директор Альбрехт старался его задобрить и заискивающе угощал сигарами. И все, кто нуждался в одолжении со

<sup>1</sup> Абайе (приблизительно 280–338) — мудрец, неоднократно упоминаемый в Вавилонском Талмуде, друг и оппонент Равы, глава ешивы в городе Пумпедита в Месопотамии.

<sup>2</sup> Рава, сын Йосефа бар Хамы (приблизительно 280–352) — мудрец, неоднократно упоминаемый в Вавилонском Талмуде, глава ешивы в городе Мехоца в Междуречье.



стороны баронов Хунце, сначала обращались к Максу Ашкенази, чтобы он замолвил за них перед хозяевами словцо.

Но после устроенного Флидербоймом бала в честь губернатора и истории с земельными участками Лодзь совсем забыла о Максe Ашкенази и говорила только о Флидербойме и его новом генеральном управляющем, который так ловко скупил земли под будущую железную дорогу. Больше, чем где бы то ни было, о брате говорили в собственном доме Макса Ашкенази. Теща, часто приходившая к своей дочери, все время твердила о Янкеве-Бунеме, о его элегантности на балу, о его многочисленных успехах. Именно потому, что он, Макс, не хотел слушать о брате, эта заносчивая женщина без конца поминала его, пересыпая свой рассказ всяческими фантазиями и преувеличениями.

— Видела бы ты его, Диночка, — рассказывала она своей дочери. — Он выглядит как принц, когда проезжает по Петроковской улице. Кто бы мог ожидать?!

Диночка слушала и вздыхала. У Макса Ашкенази вскипала кровь. Своей злости на тещу он не выказывал. К чему себя выдавать? Но ее речи кололи его, как иголки. Он уходил из дома, не дождавшись, пока подадут компот.

Хотя он был у Хунце всего лишь генеральным управляющим, он ощущал их провал как собственный. Каждому делу, в которое он входил, он отдавался и душой, и телом. Так было и с фабрикой Хунце. Эта история с покупкой Флидербоймом участков отнимала у него покой и сон. Из-за нее он утратил вкус еды и питья. Будь это в его власти, он бы такого шанса не упустил. Он бы обвел Флидербойма вокруг пальца. Но хотя к его советам на фабрике и прислушивались, столь крупные дела были ему пока не по зубам. Он был еще слишком мелок для людей вроде губернатора. Такую шишку следовало бы обхаживать самим Хунце, но на них нельзя положиться. Их иноверческие головы заняты ерундой и развлечениями. Из-за своей глупости и любви к пустякам они сами отдали сокровище в руки Флидербойма.

Кроме того, у Макса Ашкенази был свой расчет: хотя он очень низко кланялся баронам Хунце и полагался только на их милость, он знал, что наступит день, когда он сам будет сидеть в большом фабричном кабинете, а другие будут ему кланяться. Он видел жизнь баронов, всю эту показуху и понимал, что прилежанием и трудом он сможет их вытеснить. Надо только как можно крепче взять фабрику в свои руки, стать ее центром, сердцем, а затем терпением, трудом и умом осуществить задуманное. И хотя это была очень далекая цель, он уже смотрел на фабрику как на собственность и все здесь было ему дорого. Поэтому заранее и сильнее, чем сами Хунце, он ненавидел конкурента своей фабрики — Максимилиана Флидербойма, хотел его уничтожить, вышвырнуть с рынка, вместе с его генеральным управляющим, который уселся прямо напротив него, чтобы колоть ему, Макс Ашкенази, глаза.

Мысль о триумфе его врагов мучила, грызла, жгла его, когда он ел, спал, разговаривал с людьми и даже когда он молился — иногда он еще делал это, выполняя необходимый минимум. Он постоянно размышлял, что же предпринять, чтобы этот Флидербойм, его брат, вся Лодзь и его дом заговорили о нем, забыв всех прочих. О, он еще не умер! Он, Макс Ашкенази, еще покажет, на что он способен! Потихоньку, терпеливо! И хорошо посмеется тот, кто будет смеяться последним. Если уж его бароны — недотепы и гуляки, он возьмет фабрику в свои руки. Нетрудно идти вверх, когда удача подталкивает тебя и на тебя сваливается. Гораздо труднее поймать ее самому, самому до чего-то додуматься.

И Макс Ашкенази додумался.

Сначала он произвел на фабрике очень важные изменения. Он уговорил Хунце отделиться от их компаньона Гецке и основать акционерное общество мануфактурной фабрики братьев баронов Хунце. Бароны ухватились за это. Они давно уже хотели отделаться от грубияна Гецке, не признававшего их титула и фамильярно называвшего их по именам, словно они все еще были мальчишками. Теперь такой компаньон

был им ни к чему. Совет Макса Ашкенази отделиться от Гецке задел в них нужную струну. Но у них не было времени, чтобы провести эту операцию. Их манили другие дела — охота, фехтование и путешествия. Ашкенази все сделал сам. Это стало его большой победой.

В Лодзи заговорили об этом. Помимо славы Макс Ашкенази получил в награду от фабрики хороший пакет акций. Он и хотел не денег, а акций.

Сразу же после этого он додумался до крупной деловой комбинации, которая всколыхнула весь город.

Идея пришла ему в голову случайно, можно сказать, застала врасплох.

Он шел в задумчивости по улице и вдруг заметил красное женское платье, которое буквально ослепило его. Он остановился.

Внимание Ашкенази привлекла не женщина; хотя он уже звался не Симха-Меер, а Макс, обрил бороду и укоротил одежду, как немец, он не гонялся за женщинами.

Его не занимали такие глупости, он на них не отвлекался. Он знал, что зов плоти способен лишить разума и состояния. Его интересовали практические, большие вещи. Глаз Макса Ашкенази ласкали красные кирпичные стены фабрики, работающие машины, груженные товарами вагоны. Нет, не женщина ослепила его плутоватые глаза, а ее платье. Простое, но очень яркое, такого ровного и светлого красного цвета, в какой никто не красил ткани в Лодзи.

Макс Ашкенази остановился, чтобы посмотреть на женщину. Она взглянула на него, смерила взглядом и пошла дальше. Мужчина последовал за ней. Наконец она остановилась у ограды фабрики. Он тоже остановился. Но не заговорил с женщиной, а только смотрел на нее. Женщина ждала. Она была простая, не первой молодости, но крепко сложенная.

— Что это пан идет за мной? — спросила она.

— Мне нравится ваше платье, — ответил смущенный Ашкенази, боясь, как бы их кто-нибудь не увидел.

— Я порядочная женщина, — сказала ему иноверка в красном платье и выждала.

— Где вы купили это платье? — спросил Ашкенази.

Иноверка рассмеялась. Она решила, что мужчина хочет чего-то другого, но не находит в себе смелости прямо сказать об этом. Поэтому и говорит о платье. Она видела, что он богато одет, и ее рассмешило то, что он идет за ней следом и спрашивает ее о платье.

— Я не уличная девка, — снова сказала она. — Пусть пан идет своей дорогой, а у меня есть муж.

Но пан и не уходил и не звал ее пойти с ним.

— Может быть, вы согласитесь продать мне ваше платье? — обратился он к незнакомке. — Я вам хорошо заплачу.

Женщина в красном платье совсем растерялась. Сначала она решила, что этот мужчина с бородкой клинышком замыслил недоброе. Она не раз слышала, что евреи режут молодых христианских женщин, чтобы получить кровь для выпечки мацы, которую они едят. Но она сразу же отбросила эту мысль и подумала о другом. Она вспомнила рассказы деревенских женщин о том, что у людей в городах странные, экзотические манеры, особенно у мужчин, которые ведут себя с женщинами совсем не так, как крестьяне.

— Зачем вам мое платье? — спросила она с недоверием. — Пан шутит?

Но Макс Ашкенази вынул золотой червонец и показал его женщине. Она не смогла устоять перед таким соблазном и охотно последовала за ним.

Она думала, что он пойдет с ней в потаенное место, но он привел ее на свой склад. Там он послал за новым платьем, городским, пестрым, а за старое, купленное ею в Германии, куда она ходила летом вместе с другими женщинами копать картошку, иноверка получила от богато одетого пана блестящий империял.

Полная страха и неудовлетворенного любопытства, она убежала от этого странного мужчины, который ее не хотел.

Она то и дело оглядывалась, не гонятся ли за ней, чтобы потребовать деньги назад. А Макс Ашкенази тут же уселся за стол и распорол платье, которое было такого ровного и светлого красного цвета, в какой никто не красил ткани в Лодзи. Тогда-то в его голове и блеснула мысль, что на таком образце, если выпустить его в Лодзи, можно сделать целое состояние. Хотя Макс Ашкенази не обращал на женщин особенного внимания, хотя у него не было на них времени, он тем не менее знал их слабости, их любовь к светлым краскам. Он понимал, как это важно — выбрать из предлагаемого рисовальщиками тот узор и тот цвет, который понравился бы женщинам, особенно российским крестьянкам. И теперь он мгновенно сообразил, что, если ему удастся получить такой красный цвет, он затопит своим товаром всю Россию. Но получить его в Лодзи нельзя. Здешние химики не знают секрета такой краски. Их красный цвет всегда темноват, даже мрачен.

И он решил для себя поехать в Германию и добыть этот секрет.

Тихо, чтобы никто не узнал, даже его собственные работники, даже бароны Хунце, он сделал через литвака Липу Халфана заграничный паспорт и пересек границу. Он поехал во Франкфурт-на-Майне, где было много евреев и это были набожные, еврейские евреи. Там в синагогах, в кошерных ресторанах, где обедали врачи в ермолках, в молельнях, где профессора сидели и учили Гемору по вечерам, он очень быстро нашел подход к этим немцам. Своей еврейской ученостью, своим постоянным цитированием Торы он произвел большое впечатление на тамошних богобоязненных евреев в цилиндрах. К тому же он приехал не побираться, как другие ученые евреи из Польши. Напротив, он не скупился, пообещал щедрое пожертвование местной синагоге за оказанную ему честь вызова к Торе. А вскоре договорился с одним специалистом-химиком, имевшим плохое зрение и носившим поэтому черные очки, но гениально разбиравшимся во всем, что касалось красок. Вот с этим-то франкфуртским

химиком, который не пропускал молитвы даже в поезде и не брал в рот фрукта, не сказав благословения и не покрыв головы маленькой ермолкой, Макс Ашкенази и приехал тайно, под большим секретом в Лодзь. Он не выпускал этого чужого франкфуртского еврея на улицу, кормил его за своим столом, дал ему комнату в собственной квартире, лишь бы люди его не увидели, не признали о нем.

Тайно, под большим секретом этот чужак в черных очках выпускал веселые красные ткани на фабрике Хунце, точь-в-точь как ткань платья, которое Макс Ашкенази выкупил у иноверки за империал. Фабрика работала днем и ночью, гнала изо всех сил. И когда к началу сезона генеральный управляющий Макс Ашкенази выпустил жизнерадостные красные материалы, среди купцов поднялась суматоха и товар расхватывали, как горячие пирожки. Коммивояжеры, комиссионеры, купцы осаждали склад, забрасывали Макса Ашкенази телеграммами. Фабрика никак не могла угнаться за возросшим спросом. Пришлось повысить цены. Женщины охотно платили за новый материал, окрашенный в светлый, радостный и теплый цвет, делавший их моложе и привлекательнее.

Лодзь бурлила, носилась как угорелая, искала возможность скопировать модный товар, но тем временем фабрика Хунце заработала на нем состояние. Инициатор появления светлых тканей на рынке и их распространитель Макс Ашкенази не вкладывал в это дело личных средств. Он мог вложить в него деньги, но он и так умел взять за свои услуги хороший процент с доходов. Он работал не ради места на том свете. На все вырученные им деньги он покупал акции мануфактурной фабрики Хунце.

Лодзь больше не говорила о Флидербойме, не оглядывалась на его генерального управляющего, разъезжавшего в собственной карете по Петроковской улице. Говорили о баронах Хунце: нет, о Максе Ашкенази и его голове илуя.

— Он далеко пойдет, — бормотали люди и показывали на него пальцами, когда, худой и замученный работой, он про-

езжал по плохо замощенным, узким, грязным улицам Лодзи в широкой карете, которую ему подарила фабрика.

При всех своих победах он, Макс Ашкенази, не умел ездить в карете. Он терялся от ее ширины, сдвигался в уголок, не чувствовал удовольствия от такой роскоши. Тем не менее теперь он редко ходил пешком. Теперь он ездил, развалившись с деланным барством в открытом возке, чтобы его видели люди, чтобы на него посмотрела его собственная жена.

Но она, его жена, его не замечала. Она ни разу не взглянула на него из-за занавесок, когда он выезжал из дома в свою контору.

— Диана, — говорил он ей, — если тебе надо куда-то съездить, я могу взять тебя с собой. Тут достаточно места.

— Нет, я лучше пройду с мамой, — равнодушно отвечала ему Диночка.

От злости Макс Ашкенази не отвечал на приветствия снимавших перед ним шапку прохожих попроще. Он делал вид, что не замечает их.

## Глава пятая

**Л**одзь остановилась.

Словно тот, кто переел, набил желудок и больше не в силах проглотить ни куска, пока не извергнет съеденное, шумный и трудолюбивый город перенасытился товарами.

Помимо крупных фабрикантов, работавших по две смены в сутки и наполнявших товаром огромные склады, изо всех сил трудились и фабриканты средней руки, а также мелкие и совсем мелкие производители. Все они что-то выпускали. Денег для производства не требовалось. Город жил в кредит, по вексялям.

Под векселя купеческий сын женился на купеческой дочери. Молодой человек просто добавлял к подписи тестя свою и получал за векселя пряжу и хлопок. Он отдавал сырье в переработку подрядчику и платил ему векселями. Подрядчик тоже расписывался на них и вручал подмастерьям за их работу. Те ставили на бумагах свои корявые подписи и расплачивались ими за все, что им было нужно для жизни, — за хлеб и картошку, за квартиру и одежду.

Из городов и местечек приезжали купцы, зятьки, живущие на содержании у отцов своих жен, ветошники, лавочники и скупали товар целыми фурами без единого гроша, под одни подписанные ими векселя. Продавцы и не требовали денег. Они сразу же передавали векселя дальше, расплачиваясь за товар, за работу. Векселями платили приказчикам в магазинах, служанкам в частных квартирах, портным за платье, меламедам за обучение. Развеселые коммивояжеры и комиссионеры разъезжали по огромной России, увозили горы товаров, а за них присылали векселя русских купцов, выписанные на крупные суммы. Лодзь обходилась без денег. Наличность была здесь не в ходу. Всё получали за подпись. Векселями оплачивался вызов к Торе в синагогах, векселями давались пожертвования ребе. Под векселя франтоватые приказчики гуляли в ресторанах, покупали подарки для невест. Даже женщинам в веселых домах, а потом врачам за лечение венерических болезней и то платили векселями...

Тот, кто был изворотлив и ловок, мог при пустом кармане открыть предприятие, закупить дорогой мебели, украшений, приобрести вес в обществе. С каждым днем все больше ткачей оставляло ручные станки и начинало «крутиться» — заниматься коммерцией. Для этого достаточно было определенного склада ума. А еще надо было уметь расписываться и иметь первые пятнадцать копеек на бланк векселя — единственный товар в Лодзи, который не давали под вексель и который приходилось покупать за наличные.



Забывшая о деньгах, раздраженная быстрым обогащением, развращенная неудержимой конкуренцией, Лодзь кипела, суетилась, работала без меры и системы, без пользы и необходимости. Люди спешили сами, подгоняли других, обливались потом, хватали без разбору, сбывали без счета, жили бумажной жизнью, упиваясь бесконтрольностью и произволом, не видя результата и реальной прибыли. Единственными, кто делал свое дело, работал тяжело и напряженно, не знал отдыха и покоя, были рабочие на фабриках, подмастерья и ремесленники в мастерских. Только на их тяжком труде за гроши и держался этот гигантский, распущенный город, сгусток страстей, обмана и безумия.

И вдруг город остановился. Огромный кусок застрял в его прожорливой глотке, и он заметался в судорогах и конвульсиях. Он начал извергать то, что жадно затолкал в себя за все прошедшие годы свинства и разврата.

Вдобавок на страну обрушилось засушливое лето. Неделями не было дождя. Православные священники в вышитых золотом и серебром парадных одеяниях взяли в руки иконы и пошли в поля вместе с крестьянами и крестьянками молить на коленях Христа и Божью Матерь смилостивиться над людьми и животными и ниспослать им дождь. Но молитвы не помогли, и солнце пылало неослабно, выжигая нивы и степи России, не щадя хлебные области страны. От голода и жажды начался падеж скота. А когда дошло до жатвы, когда надо было убирать уцелевшее под злыми лучами, зарядили проливные дожди, и то немногое, что оставалось в полях, сгнило. Из-за голода и павшей скотины, трупы которой незарытые валялись по полям, стали распространяться эпидемии — холера, брюшной тиф и скарлатина. Из многих сел, особенно в Малороссии, крестьяне выгоняли евреев, считая, что они отравляют колодцы. В других местах крестьяне били дрекольем и вилами студентов, приезжавших в деревни, чтобы бороться с болезнями известью, смолой и карболкой. Но эпидемии не прекращались.

Крестьяне не приходили на городские рынки. Лавочники и купцы не имели возможности продать товар, произведенный в Лодзи к осеннему сезону. Никто не мог заплатить по предъявленным к оплате долговым бумагам. Протесты векселей сыпались на Лодзь десятками тысяч, каждый день, каждый час, каждую минуту. Фабриканты, взявшие кредиты в банках, оказались неплатежеспособны. Банки разорились.

Первый огонь кризиса спалил мелких сошек, владельцев небольших и крошечных мастерских, субподрядчиков, торговцев пряжей и хлопком, лавочников, небогатых купцов, комиссионеров, маклеров — тысячи дельцов, роившихся вокруг задымленной Лодзи, словно мухи вокруг сладкого пирога. Выстроенные на векселях предприятия сгорели в этом пламени сухой соломой. Люди носились, словно отравленные мыши, пытались продать свои векселя за гроши, но охотников не находилось. Большая бумажная цепь, опутавшая город, сковавшая его оборотистых жителей, лопнула, рассыпалась в руках. И один потянул за собой в пропасть другого.

Крупную рыбу, левиафанов, фабрикантов-миллионеров тоже потрясли штормовые волны кризиса, но крепкие и сильные, они выстояли. Они просто ушли от этой бури и ждали окончания потопа, став на прочный якорь. Один за другим они останавливали фабрики. Готовый товар был не нужен, а попусту переводить запасы сырья, резервные шерсть и хлопок, они не хотели. В то время как товар обесценился и никто не хотел иметь с ним дело, цены на сырье росли с каждым днем, поэтому остановить фабрики было выгоднее, чем продолжать производство. Те предприятия, которые не закрылись, работали только один день в неделю. Десятки тысяч рабочих слонялись без дела.

Ткацкие станки в Балуте затихли. Портные, чулочники, швеи, сапожники, работники и работницы галантерейных мастерских укрыли чехлами свои машины, которые походили теперь на жертв эпидемии, брошенных без погребения.

Люди мыкались с полученными за работу векселями, но теперь все открещивались от них.

— Можете подтереться этими бумажками, — сердито говорили бедные лавочники, когда какой-нибудь рабочий робко пытался расплатиться векселем за фунт картошки или буханку хлеба.

Купцы и фабриканты искали способы пережить трудности. Закладывали золото и бриллианты, приобретенные в лучшие времена за векселя, скупали по дешевке целые склады товаров, которые имели еще хоть какую-то ценность. Кто-то находил выход в другом. Хотя было уже по-осеннему прохладно и дождливо, ткацкие мастерские, прядильные мастерские и склады начали вдруг сильно гореть. Каждую ночь огненные языки рвались к небу в разных концах города. Крепкие лошади пожарных команд цокали подковами по камням плохо замощенных улиц Лодзи. Трубачи сотрясали воздух горнами и будили детей ото сна. Лежа в постелях, жители Лодзи знали, что кто-то вновь устроил посреди недели благословение «Сотворяющий светочи огненные»<sup>1</sup>, превратил в дым обесценившиеся товары и машины, чтобы получить от страховой компании наличность, которая стала вдруг так дорога в этом вексельном городе. С самого утра, едва разносчики газет начинали выкрикивать новости пронзительными голосами, люди вскакивали с постелей, чтобы поскорей прочесть, кто выправил свой баланс за одну ночь.

Быстрые лошади пожарных команд так привыкли к ночным пожарам, что сами рвались на фабричные улицы.

Полицейские, адвокаты и судьи оживились. Суды обвиняли, адвокаты защищали, чиновники брали взятки. Процентчики, владельцы ломбардов повысили ставки, делали из одного рубля два, банкроты продавали последнее, нелегально пересекали границы Германии, покупали шифскарты — билеты на пароходы — и уезжали в Америку.

---

<sup>1</sup> Благословение на зажженную свечу — одно из трех благословений, произносимых во время обряда авдалы на исходе субботы и праздников.

Только рабочим и ремесленникам нечего было отсуживать, нечего обменивать и выгадывать, нечем спастись в эти голодные дни. В Балуте царили мрак и запустение. Ткачи-иноверцы, выходцы из крестьян, ушли назад в свои деревни. Молодые крестьянки вернулись в поле к родителям. Провинциальные еврейские юноши, стремившиеся прежде в Лодзь из разных городов и местечек, чтобы подработать, уехали домой. Молодые обыватели прощались с женами и детьми, которых они отправляли под крыло родителей до тех пор, пока ситуация не изменится. Городским не на кого было опереться — они бродили отощавшие и мрачные, еле таская ноги. Владельцы домов выгоняли бедняков из квартир. Люди валялись на улицах, ночевали в пустых подвалах, забегали в пекарню, чтобы погреть промерзшие кости. В лесах и у дорог они рыли себе землянки, чтобы укрыться от холодов.

Сельские ткачихи, прядильщицы с больших фабрик шлялись по улицам, продавая свое тело за еду, за ночлег. Бедные еврейские матери приводили детей к мастерам и отдавали их в работу за кусок хлеба. Взрослые подмастерья просили хозяев не стогнать их с места, они были готовы работать без жалованья, за ложку каши и чашку цикория.

— Когда Бог поможет и беда минует, рассчитаемся, — просили они. — Мы не требуем денег.

На бедных улицах тиф, скарлатина и дифтерит ходили из дома в дом. Полиция посыпала сточные канавы известью и карболкой, но эпидемия не прекращалась. Больница Флидербойма работала днем и ночью. Точно так же работало и кладбище.

Лодзь стонала, рыдала. Кризис жег, обездоливал и сгибал.

Крупные еврейские фабриканты, избежавшие разорения, занялись благотворительностью. Максимилиан Флидербойм пригласил к себе во дворец состоятельнейших людей города, множество богатых и по большей части пожилых дам, которые чаще осуждают грешную любовь, чем крутят романы сами. Из них он создал комитеты для оказания помощи Ба-

луту. Они открыли благотворительные кухни для здоровых, послали врачей и фельдшеров к больным, одели в саваны погибших. Хотя фабрика Флидербойма стояла и ждала лучших времен, ее владелец не скупился и поддерживал Балут, помогал еврейским ткачам, которым он никогда не давал работы на своем предприятии. Окруженный богатыми пожилыми дамами, преданно смотревшими ему в рот, он каждый день заезжал в своей роскошной карете в Балут, раздавал деньги, швырял пригоршни мелких монет уличным мальчишкам, даже ходил по домам, выискивал измученных рожениц и истощенных стариков и оставлял им рубли, пятерки, а то и десятки.

О, он сделал много хорошего для Балута, этот фабрикант Флидербойм. Как-то раз он даже закатал рукава своего сюртука и вместе с простыми евреями из общества попечения о больных протер чистым спиртом живот какому-то больному, который мучился от брюшных судорог. В тот же день он помог евреям из погребального братства подготовить к похоронам умершего ткача. Весть об этом сразу же разнеслась по всей Лодзи. Балут шумел, передавал из уст в уста истории о благодеяниях миллионера Флидербойма, украшая их фантастическими подробностями и выдумками. В синагогах и миквах евреи говорили о Флидербойме, чувствуя возвышающий восторг, как в присутствии царя, который одевается в простые одежды и ходит среди народа, являя свое милосердие.

Ему простили его иновечерское поведение, даже его крестившихся дочерей. Все видели его золотой трон в раю так же отчетливо и ясно, как видел его сам фабрикант Флидербойм.

Единственным домом, который противостоял дворцу Флидербойма, был подвал ткача Тевье в Балуте.

Тевье не работал, как и все ткачи. Его жена стояла на улице с ведром соленых огурцов и вечером возвращалась с грошовой выручкой и полным ртом проклятий. Дети поменьше ходили по городу, торгуя коробочками конфет. Дети постарше распознали кто куда. Каждый искал себе хлеб и угол в эту страшную пору. Дома было сыро, дымно, мрачно и голодно.

Но Тевье не замечал этого. Он был занят, ему не хватало дня, чтобы все успеть. Плохо одетый, простуженный, бегавший по морозу в одном привезенном из России башлыке на шею и русской же меховой шапке, он целыми днями агитировал безработных ткачей, портных, чулочниц, швей, говорил, кипятился, изрыгал пламя, раздавал сочиненные им с Нисаном прокламации, вскрывал причины кризиса и призывал к борьбе против фабрикантов и купцов, филантропов и раввинов, против полиции и армии, против губернатора и самого царя.

Пожилые ткачи смеялись над ним, женщины, глядя на него, крутили пальцем у виска.

— Тевье не нравится император, — издевались они. — Нет, вы только посмотрите!..

Собственная жена ругала и проклинала Тевье, смешивала его с грязью.

— Общинный козел<sup>1</sup>, — поносила она его, — каторжник, поварешка ты кривая...

Но он не слышал. Бледный, истощенный, с горящими глазами, с острым кадыком на заросшей шее, закутанной русским башлыком, он был повсюду, везде совал свой нос, ко всему прислушивался, и говорил — резко, гневно, разумно, пламенно и убежденно. Чаще всего он выступал на благотворительных кухнях, которые фабрикант Флидербойм открыл в Балуте для ткачей.

Вокруг простых столов с едой, за которыми сидели люди и ели черный хлеб и кашу из глиняных мисок, всегда крутился Тевье. Он говорил, он втягивал обедающих в разговор, он разъяснял. Где же ему было изобличать фабрикантов с их благотворительностью, как не здесь? Многие ткачи, особенно старшего поколения, желали Флидербойму и его близким здоровья и благополучия за эти скудные обеды. Тевье не мог этого снести. У него кровь закипала, когда он слышал такие

---

<sup>1</sup> Общинный козел — имеется в виду козел-осеменитель, содержащийся всей общиной, поскольку отдельные семьи держали только коз для получения молока.

несознательные речи от тех, кто должен бороться со своим классовым врагом, фабрикантом Флидербоймом. И он клеймил благотворительность богачей, обнажая ее лживость и гнусность.

В нем, в этом Тевье, была сила. Сам голодный и измученный, он зажигал людей, убеждал, втолковывал, влезал им в душу и не отступал, пока не перетягивал собеседника на свою сторону. На помощь ему приходили его ученики, завербованные подмастерья и ешиботники.

Как зерна в чернозем, падали слова Тевье и его учеников в душу голодной и безработной Лодзи. Не только ткачи и чулочницы, портные и сапожники прислушивались к речам агитаторов, но и приказчики, бухгалтеры и даже парикмахеры и рисовальщики, аристократы среди рабочих, задиравшие перед простым людом нос и стремившиеся урвать свой кусок в этом золотом городе, стать богачами и хозяевами. Теперь, в дни кризиса, отощавшие и упавшие духом, они поняли, что бумажные векселя, на которые они надеялись и за которые продавали хозяевам душу и тело, — это чистый обман, жульничество. Наравне с простыми работягами, добывавшими хлеб потом и кровью, они лишились рабочих мест и скитались по улицам Лодзи. Теперь речи просветителей и агитаторов находили путь и к их сердцам. Они хотели их слушать, хотели понять, читали листовки, запрещенные и правдивые.

Чаще, чем когда-либо прежде, на обшарпанных стенах домов Лодзи появлялись теперь прокламации. За ночь революционные призывы расклеивались в синагогах, на рынках, на вокзале, на казенных домах и даже вблизи полицейских участков. Люди собирались вокруг них и читали, пока не приходили полицейские и вместе с дворниками не сдирали бумаги со стен.

Сколько бы Нисан и его ешиботники ни написали листовок, сколько бы книжек и брошюр они ни заготовили, все было мало. Безработные рвали их из рук. На кухнях, открытых Флидербоймом, крамольными бумажками были засыпа-

ны столы и скамейки, заклеены стены и двери. Даже посреди еды люди вставали из-за столов и бросали гневные слова в адрес фабрикантов, полиции и императора.

— Долой! — раздавались голоса. — Долой!

Дамы бледнели и вызывали полицию, чтобы навести порядок.

На лужайках за городом, в Константиновском лесу собирались массы людей, разговаривали, дискутировали, произносили речи и пели песни. Голод и нужда обретали во время этих сходов смысл и оправдание. В горечи люди находили сладость, надежду, дававшую им силы пережить трудности.

— Еще, еще литературы, — требовал Тевье у Нисана. — Люди выхватывают ее из рук.

Нисан не знал, как увеличить число листовок и брошюр. Жители Лодзи не понимали русских книг, которые поставляли студенты из Литвы. Они хотели читать книги и прокламации по-еврейски. И Нисан переводил, обрабатывал, истолковывал революционные идеи на простом лодзинском еврейском, добиваясь того, чтобы его слова вошли в плоть и кровь, легли на сердце рабочих. При этом все надо было переписывать от руки. Ешиботники не могли угнаться за таким спросом на листовки и переписать столько, сколько просили люди.

По вечерам Нисан отрывался от своей работы и отправлялся в немецкие кабачки, где ткачи в бархатных штанах сидели за большими кружками пива и дымили дешевыми сигарами.

Нет, не ради пива и сигар шел он в кабачки к рабочим. Он не чувствовал вкуса пива, которое ставили ему немецкие ткачи. Сигары, которыми они его угощали, драли ему горло. Он не мог понять, зачем ткачи вливают в себя в таких количествах этот горький напиток, кружку за кружкой, закусывая пиво дымом дешевых сигар. А ходил он в эти кабачки, потому что на фабриках Лодзи теперь работали новые люди, немцы, не из тех, что приехали с первыми немецкими иммигрантами, а из тех, что прибыли позже. После принятых в Германии



законов Бисмарка о социалистах, после того, как просвещенных рабочих из товарищества Лассалья<sup>1</sup> бросили в тюрьмы или выслали из страны, из Германии бежало много рабочих. Большинство уехало в Америку. Но некоторые, главным образом ткачи, подались в Польшу. Хорошие рабочие, точные и честные, они сразу же получили места в ткацких и прядильных цехах фабрик. Часть из них стали мастерами.

Грузные, медлительные, любители пива и сигар, они, как и немецкие ткачи-старожилы Лодзи, сидели вечерами в кабачках, пили пиво и курили. Но, в отличие от последних, новые иммигранты не ходили в церковь, не пели песен родины в певческих союзах. Они держались друг друга, читали запрещенные книжки, которые получали из Германии, а по праздникам, среди своих пели революционные песни свободы. У них было собственное товарищество Лассалья, маленькая копия германского. Потихоньку они агитировали немецких ткачей-старожилых, рассказывали им о социализме, о своем вожде Лассале.

Вот с этими-то немецкими ткачами и встречался теперь в кабачках Нисан. На своем старомодном немецком, выученном им по комментариям Мендельсона на Тору и книгам немецких философов, он говорил с новоприбывшими мастерами из Германии, призывал их к революционной работе, просвещал и учил. Их языки были мало похожи — книжный немецкий Нисана с еврейским акцентом и гортанная простонародная речь пьющих пиво и дымящих сигарами ткачей. И все-таки они понимали друг друга.

— Конечно, да, конечно, — кивали головами русоволосые немцы, соглашаясь с убедительными речами Нисана и вливая в себя остатки пива.

Как и его бывший товарищ по хедеру Симха-Меер Ашке-нази, Нисан предпочитал ручным ткацким станкам паровые

---

<sup>1</sup> Фердинанд Лассаль (1825–1864) — немецкий философ и политический деятель еврейского происхождения. Один из основателей современной социал-демократии.

машины. Он знал, что у ручных станков нет будущего, что машины их обязательно вытеснят. И вместе с ними будут вытеснены работающие на них ткачи. Они лишатся работы и деклассируются. Правда, он жил в Балуте именно среди таких ткачей. Он просвещал их и настраивал против хозяев. Но он не обманывал себя. Он видел, что рост недовольства среди балутских рабочих — это не классовая борьба пролетариата и буржуазии, а домашняя ссора нищих и бедняков. Он знал, что работающие на ручных станках ткачи по большей части не постоянные рабочие, что каждый из них только и ждет, как бы выбиться из низов и самому стать хозяйчиком, подрядчиком. Видел он и то, как горька жизнь мелких подрядчиков, как их давят купцы и заказчики. Он хорошо знал Балут, он помнил его еще по тем временам, когда сам был сезонным рабочим. И он не слишком в него верил. Настоящие пролетарии трудились на паровых машинах. Евреи на таких предприятиях не работали. Глядя по утрам, как рабочие тысячами спешат на фабрики, неся пакеты с едой, мчась на работу по зову гулких фабричных гудков, он видел, как идут солдаты свободы и народной борьбы, кадры революции, которая непременно свершится согласно железным законам марксизма. И пусть до поры до времени растут фабрики, пусть строят свои предприятия фабриканты, пусть они пухнут и богатеют, но будущее принадлежит тем, кто устало торопится по утрам на работу. Для них и копят капитал хозяева, собирают его, чтобы, созрев и налившись, он лопнул как прыщ и все блага перешли к трудящимся.

В поступи их деревянных башмаков он слышал отзвук грядущего освобождения.

В их мире он видел буржуев и пролетариев, классы. А в Балуте была нищета. И никакой концентрации капитала, обещанной марксистской теорией, тут не происходило, наоборот, происходила его децентрализация, что было нездоровым, вредным явлением. Балутские хозяева мастерских — это не буржуазия, а балутские рабочие — не пролетариат. Нет,

он не верил в Балут. Его тянуло к фабричным трубам, дыму, стуку машин, зову гудков. Именно оттуда придет освобождение. Надо только просветить массы, разъяснить им ситуацию, сделать их сознательными. И Нисан ежедневно встречался с мастерами в широких бархатных штанах, говорил с ними в эти горькие для Лодзи дни, побуждал их к борьбе, призывал просвещать несознательных братьев по труду. Они слушали его, эти бежавшие от Бисмарка немцы. Они напрягали свои тяжелые головы, внимая его просветительским речам, и кивали в знак согласия.

— Конечно, да, конечно.

Он спал по ночам лишь считанные часы. Он не переставал работать, писать, переписывать, составлять прокламации, снабжать литературой.

Распространительницей литературы, посыльной между Нисаном, кружками, немецкими ткачами, подвалом Тевье была Баська, дочь Тевье; она единственная в доме не слушала проклятий и ругательств матери в адрес отца, но поддерживала его, сердцем прикипев к нему и его идеям. Сама она была прядильщицей у мелкого подрядчика и работала с утра до поздней ночи, не имея возможности справиться себе приличное платье и пару недырявых башмаков. В свои пятнадцать лет, будучи по сути еще ребенком, Баська поняла речи отца, прониклась справедливостью его слов.

— Мама, — вступалась она за него каждый раз, когда Кейля нападала на Тевье, — мама, перестань проклинать папу. Ты должна быть счастлива, что у тебя такой муж.

— Да я просто падаю под грузом такого счастья, — усмехалась мать. — Слышь, Баська, не дай своему сумасшедшему папаше сбить тебя с толку, а то закончишь тем, что тебя закуют в кандалы...

Баська чинила отцу одежду, латала рубашку, готовила ему еду, когда мать стояла на улице с ведром огурцов, стелила постель, когда он после целого дня беготни возвращался домой ночью усталый и измученный.

— Баська, — прижимал ее к себе Тевье, — ты ведь меня понимаешь, правда, Баська? Ты ведь не считаешь меня сумасшедшим, доченька?

— Папочка, — нежно отвечала девочка, кладя свою темную головку ему на грудь, — я всегда буду с тобой.

В сумрачном подвале, в нищете, нужде, среди вечных женских проклятий, Баська служила Тевье утешением. После долгих дней, в которые он подстрекал, кипятился, разжигал ненависть к несправедливости этого мира, Баська, смуглая, темноволосая девушка с загадочными зелеными глазами, была его светом, его домашним счастьем.

— Баська, иди ко мне в постель, — звал он ее. — Ты же еще маленькая девочка, ты же не стесняешься спать с папой.

— Нет, папочка, — отвечала Баська и счастливая ложилась рядом с отцом, тихо целуя его, чтобы мать не проснулась и не принялась ругаться из-за этих поцелуев ни с того ни с сего.

В доме было сыро, холодно, по нему бегали крысы и пищали от злости на то, что им нечего здесь грызть. Частенько они перепрыгивали через спящих, но отец и дочь не видели и не слышали этого. Они были счастливы своей любовью и нежностью.

Не меньше, чем отца, маленькая Баська любила и приходившего к ним в дом Нисана. Она часами могла лежать на лавке и, несмотря на усталость после рабочего дня, не засыпать, а смотреть на этого высокого молодого человека, сидевшего за столом и писавшего с ее отцом крамольные речи. Молодая, бедная, измученная трудом в ткацкой мастерской, она даже не помышляла о том, чтобы подойти к этому чужому и образованному человеку, выказать свою любовь и огромное уважение к нему. Она не раз слышала от отца, что этот Нисан, ставший ткачом сын балутского меламеда, за время ссылки очень вырос, многому научился и даже студенты и интеллигенты не могут сравниться с ним. Простая девушка, едва умевшая написать письмо и прочесть книжку на обычном еврейском языке, Баська не осмеливалась мечтать о том,

что она и Нисан будут вместе. Она только чувствовала тепло и счастье, когда, лежа на узкой лавке рядом с сестрой, смотрела и смотрела на него часами, как на прекрасную картину.

Теперь она часто приходила к нему в комнату, приходила с поручениями, носила от него бумаги — секретные и не очень — агитаторам, отцу. И она была так счастлива в эти голодные безработные дни, что даже молила Бога, чтобы эта безработица не кончалась, чтобы ей не надо было возвращаться к пряже.

Затаив дыхание, она сидела на берегу тихо, словно ее совсем здесь не было, и смотрела на руки Нисана, на эти мужские костлявые руки, быстро перебирившие исписанные листы. Баська боялась даже вздохнуть. А когда он клал бумаги ей в корзинку, она задрожала от счастья, потому что он случайно коснулся ее руки.

— Будь осторожна, Баська, — наставлял ее Нисан, — если тебя поймают, не проболтайся, кто тебе это дал.

Она хотела ему сказать, что она скорее согласится, чтобы ее разрезали на ремни, чем выдаст его, но так и не решилась и с опущенной головой вышла из комнаты, держа в руках корзинку.

## Глава шестая

**Н**а самой окраине Лодзи, у самых полей, в комнате студента ветеринарного института Мартина Кучиньского, исключенного за принадлежность к кружку польской социалистической революционной партии «Пролетариат», регулярно и быстро работала подпольная типография.

— Как дела, Феликс? — спросил, поправляя вечно падавшие ему на глаза русые пряди, Кучиньский у своего товарища, который стоял весь измазанный типографской краской и работал за валиком.

— Первые экземпляры пачкаются, — ответил Феликс, высокий еврейский парень в пенсне на остром изогнутом носу, с кудрявым черным чубом и маленькой острой бородкой, — но те, что выходят потом, получаются лучше. Подай-ка бумагу, Мартин.

В стороне, рядом с кухней работали две девушки, одна из них — учительница Ванда Хмель, светлая блондинка с маленьким крестиком на шее, которая жила без венчания с исключенным студентом Кучиньским. Рядом с ней на маленькой скамеечке сидела биолог Мария Лихт, смуглая, похожая на цыганку, черноволосая и черноглазая. Девушки сушили у печки сырые, плохо пропечатанные прокламации и складывали их в аккуратные стопки.

— Говори что хочешь, Феликс, — сказал Мартин, резко отбросив вверх волосы, снова упавшие и закрывшие его зеленые глаза, — но мне не нравится эта прокламация, она не проймет рабочих.

— Так ее составил ЦК, — ответил Феликс, намазывая резиновый валик краской.

— ЦК, ЦК, — передразнил его Мартин. — А мне не нравится стиль ЦК. Мягко и интеллигентно написано, не для рабочих.

Феликс отложил в сторону валик и какое-то время смотрел на своего товарища сквозь пенсне, скакавшее на его остром носу.

— Мартин, как ты говоришь о ЦК? — спросил он со страхом в голосе.

— Ты напоминаешь мне талмудистов, Феликс, — рассмеялся Мартин. — Ты трепещешь перед ЦК, как набожные евреи перед законоучителями. Я бы такую прокламацию выпустил — рабочие бы пальчики облизали. Жесткий призыв, как на мокрое дело...

— Ты всегда хочешь крови, Мартин, — сказал, поморщившись, Феликс, — тебе бы только резать и убивать. Это не годится. Надо обращаться к разуму людей, а не к их инстинктам.

— Потому что я ветеринар и знаю, что нечего церемониться с падшей лошастью — надо содрать с нее шкуру, а ты адвокат — вот ты и копаешься в законах, в бумажках.

— Я верю в силу слова, — сказал Феликс, прижимая резиновый валик к бумаге.

— Главное то, что ты — еврей, который боится крови, — со смехом бросил Мартин. — С такими методами надо в Балут, работать среди анемичных сапожничков и ткачей, сидящих за ручными станками. А с нашими надо говорить на их языке... на языке мокрого дела... Весь ЦК — чужой. Там сидят сплошные интеллигенты. Они не знают наших рабочих. Они говорят с ними о морали, как в синагоге.

Феликс резко отложил в сторону свою работу и вытер руки куском бумаги.

— Мартин, — сказал он с беспокойством, — уже не в первый раз я слышу от тебя эти речи. Мне это не нравится. Это пахнет антисемитизмом, которому в наших рядах не место.

— Ого, — рассмеялся Мартин, — и тут из тебя выскакивает еврей, которому всюду мерещится антисемитизм. Тебе слова нельзя сказать, как и любому чувствительному семиту... Ну-ну, моралист, давай лучше печатай. Уже поздно, а у нас еще много работы. Пусти меня к валику, а сам набирай дальше!

Феликс вытер руки и встал у маленького ящичка со шрифтами, неумело отыскивая каждую букву по отдельности.

Он, Феликс Фельдблюм, не был опытным наборщиком. Он был всего лишь не закончившим обучение студентом-юристом. Как и его друг Мартин, он оставил учебу, но его не выгнали, он ушел сам, потому что, как и все революционно настроенные студенты в российских университетах, считал, что грешно заниматься учебой и готовиться к карьере в то время, когда трудовой народ порабощен. Он пошел работать с народом.

Хотя его отец был богатым евреем, владельцем нескольких стекольных заводов и кирпичных фабрик, Феликс отвернулся от богачей и встал на сторону бедняков. Сначала он агити-

ровал рабочих на фабриках своего отца, призывал их требовать повышения жалованья и сокращения рабочих часов. Он довел дело до забастовки. Когда отец умер и оставил ему, как единственному сыну, все свое состояние, Феликс продал его и передал вырученные деньги партии «Пролетариат», чтобы она могла вести широкую, разветвленную работу среди трудового народа и освободила польского крестьянина и рабочего, поработанных царем и угнетателями.

Будучи сыном еврея и зная, что евреи подвергаются еще большему притеснению со стороны царя и угнетателей, чем польские крестьяне и рабочие, студент Фельдблюм, тем не менее, не пошел работать среди соплеменников, он не был душой и телом предан бедным и приниженным обитателям еврейских улиц.

Как сын еврейского богача, он воспитывался в отчуждении от евреев. Он не знал ни их самих, ни их языка, ни их жизни. В селе, где находились стекольные заводы его отца, все было иноверческим — служанки, няньки, учителя, гости и друзья семьи. Даже местный приходской священник часто бывал в их доме. Отец держал себя во всем, как поляк. Единственными евреями, появлявшимися в его конторе, были либо купцы и маклеры из окрестных городов и местечек, либо ходившие по селам и крестьянским дворам скупщики сырья. Феликс не ощущал общности между собой и этими чужими людьми, которые стояли униженно, держа шапки в руках, и говорили на смешно исковерканном польском.

Когда Феликс подрос, отец отправил его к брату в Москву, чтобы сын там учился — сначала в гимназии, потом в университете.

Так же как в их доме все было польским, в доме его дяди все было русским. В гимназии, и тем более в университете, он вращался в исключительно русской среде. Феликс знал, что он еврей. Ему не раз напоминали об этом. Но ему его еврейство было чуждо, словно какая-то напасть, болезнь, которая цепляется к тебе; словно опухоль, вгрызающаяся в твое тело.



Ему приходилось нести свое еврейство, но оно было ему навяzano, как ярмо.

Он не знал евреев, не понимал их наречия, их Торы. У них не было ни языка, который ему хотелось бы выучить, ни культуры, которая его бы привлекала. Все, что объединяло его с евреями, — запись в паспорте, гласящая, что он принадлежит к иудейскому вероисповеданию, но набожен он никогда не был, даже не был знаком с религией, к которой его приписали. Включившись в работу революционных кружков, он утратил всякие религиозные чувства. Его ничего не связывало со старыми законами, которые были даны на какой-то там горе Синайской, где-то в Азии.

Правда, евреи тоже подвергались угнетению. Но, во-первых, Феликс Фельдблюм знал от своих нееврейских учителей и друзей, что евреи по большей части купцы, лавочники, маклеры и контрабандисты — класс, который ничего не производит, не обрабатывает землю, а живет только тем, что использует крестьянина и эксплуатирует его. И значит, он, революционер Фельдблюм, не должен с ними знаться. А во-вторых, евреи не сделают революции. Они слабы, они не вызывают к себе почтения. Свободу стране принесут многомиллионные крестьянские массы, они ведь ядро народа, и тогда ее получают все, в том числе и евреи. Революция не ведает различий между племенами и нациями. Революция освободит и Польшу. И еврейский студент Фельдблюм стал народником, горячим приверженцем идей русских революционеров-народовольцев. Как только польские студенты создали в русских университетах свои кружки и присоединились к революционной партии «Пролетариат», Феликс Фельдблюм последовал за ними. Он оставил университет, не закончив учиться на адвоката. Как можно быть избранным, когда трудовой народ в рабстве? Он вернулся в Польшу и со всем своим еврейским пылом включился в революционную работу. По образцу русских народников он пошел в народ просвещать крестьян в польских селах. Позднее, когда партия под влиянием новых идей переключи-

лась на фабричных рабочих, Фельдблюм перебрался в Лодзь, город растущей индустрии. В Лодзи были и еврейские рабочие — множество ткачей, портные, сапожники и другой трудовой люд. Но их было не видно. Они были рассованы по мелким мастерским, вытеснены куда-то в Балут. Он видел только один тип лодзинских евреев — купцов, лавочников, маклеров, торговцев пряжей, посредников при продаже хлопка, — плотный рой одетых по большей части в смешные длинные лапсердаки и маленькие шапочки людей, которые бегали, суетились, подпрыгивали, тараторили, размахивали руками и тростями, сверкали глазами, кипятились, метались по городу, подгоняли других, ни минуты не сидели на месте, торговали и маклерствовали. Их было полным-полно повсюду: в кафе, в банках, на тротуарах, в трамваях, в дрожках. Они носились, обделывали дела, торговались, били по рукам, бурно что-то обсуждали, подписывали векселя и все время говорили о заработках, комиссиях, процентах — деньгах, деньгах и деньгах.

Другой заметной силой были десятки тысяч фабричных рабочих, крестьян, вытесненных из деревни в город, — зрелых, сложившихся, занятых созиданием пролетариев.

Революционер Фельдблюм сразу же встал на их сторону, презрев шумную и суетливую буржуазию. Ради них он прервал свое образование, ради них работал день и ночь, вел тайную, конспиративную жизнь, им он отдал состояние, полученное в наследство от отца, ради них теперь, поздней ночью, стоял и неловкими руками набирал прокламацию.

Не всегда польские крестьяне и рабочие платили революционеру Фельдблюму той же монетой. Частенько они смотрели на него с подозрением и недоверием, как на чужака. Хотя он говорил по-польски, как поляк, без малейшего намека на еврейские интонации, а зачастую даже чище и точнее, чем любой поляк, в нем — в его лице, очках, изогнутом носе, во всей его высокой интеллигентной фигуре — было мало польского. Уже на фабриках Фельдблюма-старшего, когда Феликс агитировал крестьян-рабочих против своего отца-эксплуататора,

люди смотрели на него косо, искали в его словах какой-то еврейский подвох. Священник тоже его останавливал.

— Очень мило, очень похвально, молодой человек, — говорил он ему, — но вы не должны в это вмешиваться.

— Почему? — спрашивал Феликс священника.

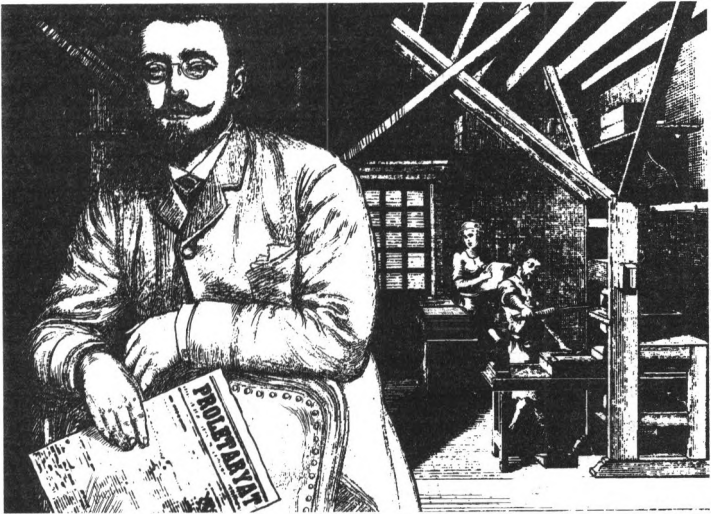
— Ну, просто потому, что вы, извините меня за такие речи, чужак, семит, так сказать, который не понимает души христианского народа... Оставьте это нам...

Во время дискуссий между революционерами и патриотами патриоты тоже не раз вставляли колкие замечания по поводу его еврейства. В партии не делали различий между людьми. Здесь все были равны, но и здесь товарищи чаще нагружали его технической и разного рода литературной работой — просили писать статьи для общепартийной газеты, переводить брошюры, — чем допускали к общественности, давали выступать перед рабочими. Народ больше верил в то, что им говорил свой человек, христианин. Когда Феликс в ходе агитации пытался высмеивать попов, рабочие смотрели на него со злобой.

— Еврей не должен касаться этого, — говорили они. — Это святое.

При этом от христиан они спокойно выслушивали гораздо более резкие слова в адрес христианских святынь. Фельдблюму это было больно. Да, он знал, что это пережитки старого мира, которые удастся искоренить со временем, но ему было больно. Кроме того, его тянуло выступать, он чувствовал в себе ораторскую жилку. Домашнее революционерство не устраивало его. Но ему приходилось мириться со своей подсобной ролью. Перед рабочими выступал его друг Кучиньский.

Как и все молодые ассимилированные евреи Польши, Фельдблюм всегда стоял на страже своего неудобного еврейства, готовый защищать его, едва кто-нибудь из иноверцев заденет евреев хотя бы словом. Вот и теперь он вскочил, услышав речи Кучиньского об интеллигентах из ЦК, которые не



говорят с польскими рабочими на их языке, а морализаторствуют, как в синагоге.

Нет, в отличие от Кучиньского, Феликс не считал, что только револьвером и бомбой можно говорить с народом. При всей своей чисто польской образованности он, как и большинство евреев, ценил слово и этику и верил в историческую необходимость революции. И он с радостью набирал прокламацию этой поздней ночью. Время было подходящее. Рабочие изголодались, отчаялись и кипели от злобы после тяжелого кризиса, во время которого фабриканты позакрывали фабрики. Кроме того, случилось еще одно событие: несколько лет назад конгресс Второго Интернационала в Париже объявил первое мая праздником рабочих, днем свободы и борьбы. Для Фельдблюма это был первый праздник в жизни. Ни в доме отца, ни в доме дяди он не знал, что это такое. Он хотел, чтобы этот день прогремел и запомнился, чтобы встали все фабрики, чтобы все рабочие в городе оставили работу, сомкнутыми рядами вышли на улицы и показали бы властителям и эксплуататорам свою силу. А заодно продемонстрировали бы и свободу страны, выразили бы протест Польши против порабощения ее царем. И Феликс с большим пылом набирал первую первомайскую прокламацию.

— Они откликнутся на наш призыв, — сказал он Кучиньскому. — Вся Лодзь остановится. Увидишь, что так и будет.

Он вернулся к валику и продолжил печатать прокламации. С глубокой нежностью он гладил эти плохо пропечатанные жесткие листки бумаги. Женщины у печки сушили и расправляли их.

Поздно ночью, когда на улицах было пустынно и мартовские ветры рвали голые ветки немногих раскидистых деревьев Лодзи, похожих на заблудившихся сирот, Фельдблюм ушел домой. Как опытный конспиратор, он хорошенько огляделся, проверяя, не идет ли за ним кто-нибудь. Потом, согласно правилам конспирации, он и его подруга Мария Лихт при-

нялись по одиночке кружить по городу, направляясь домой самым запутанным путем.

— Ты не привела за собой хвоста, Мария? — спросил Фельдблюм черноглазую девушку, пришедшую домой после него.

— Никого за мной не было, — ответила та.

— И за мной никого, — сказал довольный Феликс.

Хотя на своей конспиративной квартире они жили под видом мужа и жены — он торговый представитель, она его супруга, — спали они в разных кроватях и даже не прикасались друг к другу.

— Я бы хотел стать старше на несколько недель и увидеть, как рабочие воспримут наш первый первомайский призыв, — взволнованно сказал Фельдблюм. — Как ты думаешь, Мария, они поднимутся?

— Поднимутся, — уверенно ответила ему Мария.

С улицы уже доносились первые фабричные гудки. В окнах бедных квартир загорались нефтяные лампы. Люди вставали на работу.

## Глава седьмая

**В** мае в городе стало беспокойно.

Рабочие остановили фабрики; но не в первый день месяца, как хотели революционеры; и не в третий, как призывали польские патриоты, считавшие необходимым широко отметить запрещенный национальный праздник<sup>1</sup>. Они остановили фабрики пятого мая, в обычный рабочий день.

Почти через год вынужденного простоя предприятия Лодзи заработали в полную силу. Но фабриканты стремились получить компенсацию за тяжелые времена, которые им пришлось пережить, и снизили рабочим жалованье на десять

<sup>1</sup> 3 мая — день принятия первой конституции Польши в 1791 году.

процентов. Настрадавшиеся рабочие, измученные бездельем и голодом, увязшие в долгах, подстрекаемые листовками и агитацией как со стороны революционеров, так и со стороны призывавших к восстанию тайных патриотических обществ, не смирились с понижением жалованья и прекратили работу.

Прекратили ее не все. Забастовщики увещевали тех, кто продолжал работать, ругали их, но те не отходили от станков. С палками и жердями в руках забастовщики ворвались в котельные и принялись портить котлы. Истопники еле уговорили их этого не делать, потому что фабрики от порчи котлов могли взорваться вместе с людьми.

Ткачи, прядильщицы в платочках на головах, каменщики, фабричные извозчики вместе с прибившимся к ним сбродом принялись маршировать по улицам, распевая революционные и патриотические песни. Они шли от фабрики к фабрике, чтобы заставить тех, кто еще работал, присоединиться к забастовке.

Директора работающих фабрик велели охранникам запечатать входы и не пускать внутрь толпу; но толпа высаживала ворота и проникала на территории предприятий. Видя это, многие рабочие тут же бросили станки. Упрямым штрейкбрехерам наломали бока и заставили прекратить работу.

— Да здравствуют наши братья рабочие! — раздавались голоса. — Ура!

— Бейте этих пиявок и кровососов! — перекрикивали их женщины.

Еврейские фабриканты помельче испугались и немедленно сдались. Крупные фабриканты сдаваться не спешили.

На фабрике Хунце рабочие оставили станки и направили делегацию к хозяевам. Сами Хунце не стали разговаривать с делегатами. Они приказали главному директору Альбрехту принять их.

С шапками в руках, кланяясь и вытирая у дверей грязные ноги, чтобы не наследить на блестящем полу, они подошли к директору.

— Что вы хотите? — сонно спросил их директор Альбрехт.

— Мы хотим попросить ясновельможного пана не снижать жалованье. Иначе никак невозможно работать!

— Мы хотим гарантий, ясновельможный пан. Иначе невозможно вернуться к работе.

— Мы не даем никаких гарантий, — злобно проворчал директор. — Это особая милость, которую могут оказать господа бароны, если пожелают. Сначала вернитесь к станкам, а там посмотрим.

— Да простит ясновельможный пан, — сказали немолдые рабочие, — но пусть хотя бы не снижают жалованья тем, у кого жены и дети. Мы не можем на эти деньги содержать наши семьи.

— На кой черт вы женились и наплодили детей, если вам не на что их содержать? — ответил директор Альбрехт. — Фабрика не должна платить за это...

У рабочих тут же глаза покраснели от ярости.

— Ах ты, свиная собака! — закричал немец в бархатных штанах.

— Ах ты, сукин сын! — бушевали польские ткачи в камзолах. — Швабский боров!

— Бейте этого жирного наглеца за то, что он оскорбляет наших законных жен и детей!..

Директор Альбрехт мгновенно смекнул, что дела его плохи, и грузно поднялся со стула, чтобы своевременно ретироваться. Но прежде чем он успел пошевелить своими ногами-бревнами, рабочие уже вытащили его из кабинета. Слуга Мельхиор попытался сунуться к ним, но получил кулаком в глаз.

Рабочие выволокли толстого директора за руки и за ноги, как быка на убой. Забастовщики на фабричном дворе встретили смертельно побледневшего, перепуганного Альбрехта громкими криками.

— Повесить его! — оралы мужчины. — Содрать с него шкуру вместе с жиром!



— Спустить ему штаны и выпороть! — бесновались женщины.

Пожилые рабочие надели беспомощному толстяку мешок на голову, сунули ему в руки метлу и, усадив в тачку для кирпичей и мусора, стали возить по большому фабричному двору.

— Хрю-хрю! — кричали рабочие вслед оцепеневшему грузному директору Альбрехту.

— На тебе! — верещали прядильщицы и показывали ему задницы.

Потом забастовщики отправились на фабрику Флидербойма. Кровь кипела, хотелось жертв.

— Повесить проклятого еврея! — раздавались голоса.

— Пусть он сейчас же повысит жалованье! Иначе разнесем ему дворец!

Толпа устремилась к воротам. Но там уже стояли солдаты в полном вооружении с офицером во главе и добрый десяток полицейских с бородатым приставом, которых заблаговременно вызвал Флидербойм. В своем богатом кабинете сидел сам еврейский фабрикант. Из кармана у него торчал заряженный револьвер. Здесь же находился полицмейстер с несколькими офицерами и агентами полиции. Полицейские приводили с фабричного двора одного рабочего за другим. Полицмейстер допрашивал их на месте. При этом он только задавал вопросы. Ответов он слушать не желал.

— Почему это ты не идешь работать?

Рабочий начинал оправдываться:

— Ваше высокоблагородие, я не могу жить на такое жалованье...

— Молчать! — орал полицмейстер и стучал по столу.

Если рабочий продолжал что-то говорить, полицейские затыкали ему рот кулаками. Некоторых забастовщиков полицмейстер не достаивал беседой.

— Эта морда мне не нравится, — говорил он. — Она выглядит подозрительно. Задержать!

Когда задержанными был забит коридор, полицейские и сыскные агенты взяли их в кольцо и попытались отправить в полицейский участок. Но людская масса вокруг фабрики стояла как стена и не давала увести арестованных. Офицер перед воротами вынул шашку из ножен и приказал разойтись. Толпа не тронулась с места.

— Разойтись, сучьи дети! — крикнул офицер. — Иначе я прикажу стрелять!

Люди не отступили. Напротив, мужчины ближе подошли к воротам. Женщины махали платками и мягко уговаривали солдат.

— Мальчики, — обращались они к ним, — вы же не будете стрелять в ваших братьев-христиан.

Офицер взглянул на солдат и забеспокоился. Он знал, что слова женщин способны их пронять. Он боялся, что, если он будет мешкать, солдаты задумаются и откажутся выполнять приказы. Поэтому он действовал быстро.

— Ружья наизготовку! — заорал он мощным, оглушающим голосом.

Солдаты навели ружья на толпу.

Некоторое время, устремив на людскую массу колючий взгляд, офицер ждал, что народ все-таки разойдется. Но, увидев, что никто не шелохнулся, он отдал короткий приказ:

— Огонь!

Залп нескольких десятков ружей расколол напряженную тишину. Восклицания, проклятия, женские крики, топот множества ног слились воедино. Люди сбились в плотный клубок. Солдаты штыками теснили клубящуюся живую массу, очищая площадь.

Полицейские и агенты хватали и арестовывали всех, кто попадался им под руку.

Полицмейстер угостил офицера у ворот настоящей гаванской сигарой, полученной от фабриканта Флидербойма, и пожал ему руку.

— Завтра же фабрики заработают, — сказал он с улыбкой.

Но они не заработали. Напротив, все предприятия встали. Рабочие десятками тысяч вышли в воскресных одеждах на улицы и нападали на полицейских; люди собрались у тюрьмы и кричали, чтобы им выдали арестованных. Некоторые требовали, чтобы сам полицмейстер вышел с ними поговорить.

Накануне ночью рабочий поймал собаку полицмейстера, породистую овчарку, и зарезал ее, мстя за то, что его отца избили в полицейском участке. Рабочего схватили и поставили перед полицмейстером.

— Сотню ударов! — приказал полицмейстер. — Не жалеть плетей!

После семидесяти ударов наказуемый перестал кричать, даже ногами не дергал, но полицейские не отпустили его и по приказу полицмейстера отсчитали ровно сто плетей. Когда они велели рабочему встать, он был уже мертв. Полицмейстер отругал подчиненных.

— Болваны! — заорал он. — Надо было давать ему очухаться после каждых двадцати пяти ударов!

Но дело было сделано.

Полицмейстер велел быстро обмыть покойника, вывезти за город в пустынное место и похоронить так, чтобы никто его не нашел. Полицейские так и поступили, все сделали тихо. Но в городе об этом узнали. Рабочие потребовали, чтобы им выдали тело.

— Отдайте нам нашего товарища! — кричали они. — Мы хотим похоронить его как христианина, мы не потерпим, чтобы его зарыли, как собаку!

Полицмейстер вызвал пожарных и приказал облить распаленную толпу холодной водой, но вода не охладила бунтовщиков, а только разозлила их. Люди похватили булыжники, предназначенные для ремонта мостовой, и перебили окна в доме полицмейстера.

На других улицах толпы штурмовали полицейские участки и водочные склады. Полицмейстер в ужасе отправил телеграмму в Петроков:

«Что делать?»

Петроковский генерал-губернатор отправил телеграмму в Санкт-Петербург:

«Что делать?»

Из Санкт-Петербурга пришел ответ в Варшаву:

«Подавить безжалостно. Не жалеть патронов».

Полицейстер вызвал войска гарнизона, но офицеры не вывели солдат из казарм.

— Войск недостаточно. Нужны казаки.

Губернатор телеграфировал в Варшаву:

«Войск недостаточно. Нужны казаки».

Варшава сразу же выслала казаков, но пока те не прибыли, народ бушевал на улицах. Сначала толпа разгромила водочные склады и напилась. Партийные вожди призывали, уговаривали, умоляли не прикасаться к водке, но бунтовщики не слушали их и продолжали пьянствовать. Люди ложились в сточные канавы и пили вылитую туда водку. Напившись допьяна, народ зажег факелы и начал бесчинствовать.

Первым делом пьяные схватили бедного сутулого портного-поляка со свисающими вниз усами и короновали его королем Польши.

— Да здравствует король польский! — орала толпа, неся на плечах сутулого портного. — Ура!

— Да здравствует! — откликались женщины и бежали целовать стоптанные башмаки новоиспеченного венценосца.

Потом раздались другие призывы:

— Режь евреев! Грабь их!

— Пошли в Балут, в Балут!

Толпа незамедлительно принялась хватать евреев, вламываться в лавчонки, вытаскивать купцов из дрожек и бить их до смерти. Купцы бежали из лавок, бросив все на произвол судьбы. Женщины впадали в истерику, дети рыдали. Со всех сторон было слышно, как захлопываются двери и ворота.

Балутские евреи оказали сопротивление. Мясники, извозчики, ткачи-подмастерья, носильщики с топорами, жердями,

железными ломami и крючьями встали на пути погромщиков и били их по головам. А в переулке Свистунов, где жили фокусники, катеринщики<sup>1</sup> и воры, пьяную толпу обливали кипятком. Какой-то мясник топором раскроил голову молодому иноверцу.

Погромщики отступили, но взяли труп убитого с собой и таскали его по улицам.

— Смотрите, католики, — вопили они, — что эти неверные сделали с христианином!

— Отомстим за пролитую кровь католика! — кричали иноверцы.

— Евреи подожгли церковь! — визжали женщины.

— Они осквернили святые иконы!

— Священника задушили!

— Ура! На евреев!

— Уничтожить хриstopродавцев!

К рассвету из Варшавы прибыли казаки. Вместе с ними прикатил и петроковский губернатор. Навстречу им выехал полицмейстер.

— Что слышно в городе? — спросил губернатор.

— В городе еврейский погром, ваше превосходительство, — ответил полицмейстер, вытянувшись в струнку.

— Великолепно! — сказал губернатор, и улыбка расплылась по его лицу. — Это удовлетворит толпу.

Он тут же наклонился к казачьему полковнику, сидевшему с ним в карете, и заговорщицки прошептал:

— Задержимся здесь на пару дней — пусть эти каналы нагуляются досыта. Тогда и дадим им понюхать пороху.

— Стой! — приказал полковник конным офицерам.

— Стой! — разнеслись приказы офицеров вдоль всего казачьего строя.

На четвертый день бесчинств, когда в Лодзи было уже много убитых и раненых, казаки вступили в город и очистили его от бунтовщиков.

<sup>1</sup> Катеринщик — бродячий музыкант, то же, что шарманщик.

Толпа была пьяна, сыта погромами и кровью. Она расслабилась и обмякла. Так что бунтовщики разбежались от присланных из Варшавы усмирителей, как мыши.

Казачи арестовали сотни людей и отправили их в тюрьмы. «Короля польского» привели к самому губернатору. Сутулый, бледный, в широких потрепанных брюках поверх сапог, с всклокоченными волосами и усами, он стоял напуганный и жалкий перед полнокровным и щеголеватым петроковским начальником, не переставая кланяться и бормотать себе под нос.

— Это ты польский король? — с улыбкой спросил его губернатор.

— Я не виновен, ясновельможный пан, — сказал перепуганный бледный человек. — Я портной, заплаты ставлю. Я просто шел по улице, за нитками шел. Люди схватили меня и сказали, что я король польский. Клянусь Богом, святым Сыном Его и Его божественными ранами...

— Что с ним делать, ваше превосходительство? — спросил полицмейстер.

— Выпороть его королевское величество, — приказал губернатор, — и отпустить домой к жене.

Затем губернатор нанес визиты баронам Хунце и фабриканту Флидербойму. Последний встретил важного гостя с перевязанной головой. Несмотря на его иноверческую внешность и лихо закрученные, истинно панские усы, погромщики отделали Флидербойма наравне с евреями в лапсердаках; вытащили его из роскошной кареты и надавали палками по голове.

— Весьма сожалею, — выразил ему сочувствие губернатор. — Если вы можете указать на хулиганов, которые это сделали, я незамедлительно прикажу их арестовать.

Фабрикант Флидербойм хорошо знал, что сочувствующий ему губернатор на несколько дней оставил город на произвол толпы, однако он только склонил забинтованную голову и поблагодарил гостя за участие.

В Лодзи снова открылись еврейские лавки, стекольщики вставили выбитые оконные стекла. Еврейские могильщики разъезжали со своими телегами, врачи перевязывали раненых. Раввин распорядился о проведении общественного поста, и в синагогах бледные постящиеся евреи читали во время молитвы «И стал умолять...»<sup>1</sup>.

Рабочие, покорные и равнодушные после нескольких дней пьянства, стояли, низко склонив головы, перед кабинетами директоров фабрик и просили ясновельможных панов взять их назад на работу. Директора взяли их назад, но вычли из жалованья каждого сколько захотели.

Черные, вьющиеся дымы фабрик снова коптили лодзинское небо.

В еврейских дворах слепые побирušки из переулка Сви-стунув пели новую песню «Грабеж», сочиненную каким-то клезмером:

Евреи, послушайте, млад и стар,  
Как в Лодзи случилась беда.  
Первый день месяца ияр<sup>2</sup>  
Нам не забыть никогда.

Евреев рабочие пьяные били,  
Грабили и убивали.  
Рабочие били и снова пили.  
Евреи от них убегали.

О Боже, доколе терпеть эти муки?  
Исполни лишь просьбу одну  
И, силой Своей укрепив наши руки,  
Верни Ты нас в нашу страну!

<sup>1</sup> «Вайхал» — фрагмент из недельного раздела Торы «Ки тиса», описывающий события, которые произошли после того, как сыны Израиля согрешили, поклоняясь золотому тельцу. Читается во время общественных постов.

<sup>2</sup> Ияр — месяц еврейского календаря, соответствующий апрелю—маю.

## Глава восьмая

**И**збитые, опозоренные, с опущенными глазами, не смея взглянуть людям в лицо, скитались по Балуту руководители революционного кружка, которые с таким пылом и с такой верой звали ткачей к свободе, к пролетарскому единству и братству в праздник Первого мая. Окна в домах ткачей были выбиты, ткацкие станки разрублены. По улицам ходили евреи с перебинтованными головами и приглашали к себе стекольщиков. В лавчонках двери были сорваны, а дверные проемы забиты досками.

— Братья... — передразнивали поборников свободы натерпевшиеся страху ткачи, едко тыкая пальцами в свои бинты и разбитые окна. — Это нас так братья рабочие отделали...

— Чтоб такое счастье было на ваши головы! — ядовито говорили женщины. — Сколько бы вы ни бегали днем и ночью со своими тайнами и книжками, все равно евреям от этого добра не будет...

Несчастнее всех был в эту светлую майскую пору Нисан, сын балутского меламеда, по прозвищу Дурная Культура.

В тот же день, когда рабочие, *его* рабочие, призванные избавить человечество от угнетения и жестокости и установить в мире справедливость, равенство и братство, так гнусно осквернили свой первый праздник свободы, превратили его в пошлую комедию с королем, а потом в еврейский погром, в избиение собственных братьев-рабочих, — Нисан впал в депрессию. Он не вставал со своей лежанки, на которую бросился одетым, не ел, даже к чаю не притрагивался.

Он хотел умереть, сгинуть, лишь бы не слышать и не видеть того, что произошло в городе.

Он был свидетелем этого позорища. Вместе с Тевье и людьми из своего кружка он вышел в тот день на улицы. Он кричал, махал руками, призывал озверевших рабочих взять-



ся за ум; но они оттолкнули его. Один из них ударил его кулаком в лицо.

Теперь на месте удара у Нисана был огромный синяк. Глаз заплыл. Квартирный хозяин, у которого он снимал комнату, литвак, приехавший в Лодзь из Москвы после изгнания оттуда евреев, пытался привести к нему врача, носил ему чай, горячую воду, но Нисан ни к чему не прикасался.

— Это для вас новость, — сказал ему хозяин, — а мы к этому уже привыкли. Мы имели это в России, имеем это здесь и будем иметь до тех пор, пока не перестанем жить среди иноверцев...

Нисан очнулся.

— Нет. Это все из-за нашего положения между угнетателями и угнетенными.

От растерянности он забыл о конспирации и выступил перед своим квартирным хозяином с революционной речью.

Тот посмотрел на него и покачал головой.

— Вы еще молоды, юноша. Когда-то я тоже так думал. Они будут бить нас вечно. Нас били, когда в Лодзи появились паровые машины. Нас били, когда русские студенты бросили бомбу в царя. Сейчас нас бьют рабочие, потом будут бить революционеры. Это никогда не изменится... покуда мы евреи, а они иноверцы...

— Не говорите так, — кричал Нисан, сжимая кулаки. — Молчите!

— Уберите лучше из своей комнаты хомец<sup>1</sup>, — сказал ему литвак. — В городе обыски.

Нисан побледнел. Литвак посмотрел на него пронзительным взглядом.

— Не бойтесь, — сказал он. — Я не стану молоть языком. Я умею видеть, слышать и молчать... Но послушайте моего совета — не вмешивайтесь в это. Я тоже когда-то вмешивался в эти дела, сильно вмешивался... Я хотел помочь иновер-

<sup>1</sup> Квасное, запрещенное в праздник Песах. В данном случае имеется в виду запрещенная литература.

цам добиться лучшей жизни... Первый же погром заставил меня поумнеть...

Нисан хотел возразить, но литвак вышел из комнаты. Нисан остался на лежанке наедине со своими сомнениями и болью. Во дворе ни на минуту не прекращались грустные песни попрошаек. Слова литвака давили Нисана, камнем лежали на его сердце.

Нет, он не верил в то, что говорил литвак, не верил в вечные погромы. Да, путь к освобождению труден. Он полон препятствий, терний и острых камней, о которые не раз споткнутся жаждущие свободы, из-за которых они не раз упадут, обливаясь кровью, прежде чем достигнут вершины. Из истории революций он знал, что путь к справедливости всегда полит кровью и слезами. Он знал, что причина бесчинств на улицах Лодзи — подстрекательство мерзавцев, полицейских и предателей, обративших гнев несознательных рабочих против евреев. Они сделали это, чтобы отвлечь внимание забастовщиков от их подлинных врагов. Нисан понимал это, видел яснее ясного, но только умом. Сердце чувствовало иначе.

Перед его глазами стояли эти страшные дни. Озверевшие иноверцы с палками в руках, дикие крики и вопли. Избиение и убийство стариков, женщин и даже детей.

— Бей евреев! — кричали люди. — Дави их, подлых хриstopродавцев!

И это были рабочие, пролетарии, ради которых фабриканты множат свои капиталы, чтобы однажды передать их в трудовые руки. Это они, те, во имя кого он борется, будущее мира, вместе с уличной шпаной и балутскими уголовниками учинили грабежи и погромы в бедном квартале своих товарищей, еврейских рабочих. Сомнения и отчаяние грызли мозг Нисана. Слова литвака о вечном противостоянии евреев и иноверцев вонзались в его голову, как раскаленные иглы.

«Умереть... умереть... — дразнила и мучила Нисана одна соблазнительная мысль. — Теперь все погибло».

Он был так подавлен, что даже не убрал свои бумаги и книги, «хомец», как выразился его квартирный хозяин. Ему было все равно, что с ним будет.

Может быть, человек подл и гадок по существу? — мучили его мрачные мысли, пока он лежал в постели. Может быть, виноваты не только экономические условия, как он считал, но в самих людях есть что-то отвратительное, мерзкое, чего не отмоют никакие потоки вод? Что, если права Тора, утверждающая, что сердца людей злы от рождения? Возможно, их лучше понимал Шопенгауэр, некогда любимый философ Нисана, книги которого он с такой жадностью глотал в доме тряпичника Файвеле и которого позднее забросил, сменил на идеалистичного Гегеля и практичного Маркса.

Нисан погрузился в сон, тяжелый, кошмарный, полный страхов и дурных видений. Он видел осатаневших людей, напуганных евреев, слышал дикий хохот, и сквозь весь этот гвалт гремел голос его хозяина-литвака: «Так будет вечно, вечно!» В одежде, не прикасаясь к еде, не умываясь, не зажигая света, Нисан провалялся целые сутки.

Его разбудило утреннее солнце, светлое и веселое, пробившееся сквозь лодзинскую пыль и лодзинский дым и дотянувшееся до его окна. Отчаяние, апатия и подавленность отступили вместе с кошмарами. Нисан ощутил в себе волю к жизни, желание умыться и двигаться, жажду действий в эти дни несчастья и распада.

Как набожные евреи вроде его отца, вера которых в приход Мессии и грядущее Избавление мира неколебима, несмотря на любые страдания и тысячи лет, отделяющие их от исполнения этих чаяний, Нисан твердо верил в догматы своей новой религии. Он гнал от себя черные, дурные мысли, отмахивался от них, не давал им осесть в голове. Именно сейчас, в пучине сомнений, он должен найти слово утешения и веры, пролить свет в души пришибленных людей Балута, пробудить в них надежду на лучшее будущее, которое обязательно придет.

Он указал обступившим его сомнениям на дверь. Он вымылся, оделся и пошел будить своих людей, чтобы посоветоваться, что делать дальше.

Он никого не нашел. Все попрятались, не высовывались в эти страшные дни. Те, кого он все-таки встретил, не захотели с ним разговаривать.

— Убирайся, — сказали они ему. — Ткачи окатят нас холодной водой, если мы опять сунемся к ним с этим...

Нисан потихоньку пробрался к Тевье, но не застал его дома.

— Папа в больнице Флидербойма, — сказала ему печальная Баська. — Иноверец бросил ему камень в голову. А маме не показывайтесь. Она сказала, что она вас побьет...

Нисан один пошел домой, один написал прокламацию, разъяснение для еврейских рабочих Балута. Его речь была полна горьких слов против капитала, сеющего ненависть между братьями, он логично объяснял суть полицейской провокации, которая отвела гнев обездоленных польских рабочих от их классовых врагов и направила его на собратьев по труду. Нисан призывал не впадать в отчаяние и ненависть, а верить в братское единство пролетариата. Он закончил прокламацию множеством «долой!» в адрес капитализма и самодержавия и множеством «да здравствует!» в адрес сплоченности пролетариев всех стран. Целые сутки он сидел дома, переписывая прокламацию в десятках экземпляров. Ночью он отправился в Балут и собственными руками расклеил свои бумажки на его кривых стенах и заборах.

Один-одинешенек он снова хотел раздуть пламя в море дыма и чада. Он уже расклеил большую часть своих прокламаций на стенах синагог, на заборах и углах и думал потихоньку убраться из Балута, идти кружными путями домой, как вдруг появились двое полицейских и схватили его за руки.

— Ни с места, стрелять будем!

Умело и проворно они надели на него наручники и отвезли его на дрожках в полицейский участок.

Во дворе участка по обе стороны от входа стояли казаки с нагайками в руках. Нисан остановился у открытой воротной калитки. Стражники поволокли его дальше.

— Пошел, Мойше! — сказали они, смеясь.

Это было знаком для казаков, что ведут еврея и можно по-развлечься. Удары казацких нагаек обрушились на голову, плечи и руки Нисана. Он хотел пробежать мимо них, но казаки подставили ему ногу и не дали пройти.

— Бей жида! — кричали они, и их нагайки свистели.

Когда стражники увидели, что он падает на землю, они втащили его внутрь и заперли дверь.

Избитого и растерянного, они ввели его к ночному дежурному и доложили:

— Схвачен при расклеивании бумажек в Балуте. Вот они, эти бумажки.

Они предъявили свежую прокламацию Нисана, снятую ими со стены.

— Обыщите его! — приказал дежурный.

Стражники обыскали Нисана с головы до ног.

— Твое имя, фамилия и адрес? — спросил дежурный.

— Не тыкайте мне! — резко сказал Нисан.

Дежурный взглянул на него.

— Ого, интеллигент, — засмеялся он. — Ваши имя, фамилия и адрес?

Нисан не ответил. Он тер опухавшее лицо.

— Ну хорошо. Сами узнаем, — подытожил дежурный и велел отвести задержанного в арестантскую.

Большая камера была полна заключенных. Здесь сидели воры, беспаспортные, скандалисты, пьяные извозчики, жулики, пара сумасшедших и множество рабочих, схваченных или за участие в забастовке, или за еврейский погром. То и дело приводили новых людей. В камере было душно, грязно, дымно и шумно. Вопли, смех, плач сливались в этой огромной зарешеченной комнате, которую освещала маленькая нефтяная лампа, не способная разогнать окутывавший аре-

стантскую мрак. Компания парней была кулаками в дверь и требовала надзирателя, но тот не откликнулся.

Парни хотели, чтобы их вывели по нужде. Но надзиратель не спешил отпирать. Арестанты не раз обманывали его таким способом.

Все нары были заняты. Нисан отыскал уголок, подложил руку под голову и растянулся на голом грязном полу. Воры подошли к нему и потребовали денег на водку, но Нисан не стал с ними разговаривать.

— Дайте мне спать, — твердо сказал он тоном человека, знающего, что такое тюрьма.

— Не новичок, — смекнули воры. — У него повсюду свой матрас.

И они отошли от него искать простаков.

На Нисана навалилась боль его избитого тела. Нагайки распарывали кожу, и теперь она ныла все сильнее.

В зарешеченное окно камеры глядел зеленый утренний луч.

После нескольких дней в камере, в грязи, нечистотах и тесноте, Нисан был вызван на допрос.

В светлом кабинете, за столом, покрытым зеленой скатертью, сидел гладко выбритый жандармский полковник в очках с золотой оправой.

— Садитесь, — пригласил он введенного в кабинет Нисана. — Я вижу вас впервые. Вы лодзинский? Или приезжий?

— Лодзинский, — ответил Нисан.

— Не знаю вашего имени, — сказал полковник с улыбкой. — Вы не пожелали его назвать при первичном допросе.

— Меня били, — гневно сказал Нисан. — Посмотрите на мое лицо.

— Весьма сожалею, — ответил полковник, глядя на арестанта с миной сострадания, — но времена такие, что нам трудно держать Лодзь под контролем. Вы наделали в городе слишком много шума. Пришлось вызывать казаков. А вы

ведь знаете, что они скоры на расправу, так сказать... Жандармы бы себе такого не позволили...

Он улыбнулся, довольный проведенным им различием между дикими казаками и хорошо воспитанными жандармами.

— Закурите? — придвинул он к Нисану пачку папирос.

— Спасибо, — сказал Нисан, не взяв предложенную папиросу.

Полковник забрал пачку и принялся чистить перо.

— Для лодзинца вы очень хорошо говорите по-русски, — сделал он Нисану комплимент. — Вы учились в Польше? Или в России?

— Я был в России под полицейским надзором, — сказал Нисан. — Мое имя Нисан Эйбешиц.

— Очень приятно, — сказал полковник и записал имя. — Так лучше всего. Мы бы все равно это узнали. Вы просто избавили нас от лишней работы, господин Эйбешиц.

Очень деликатно полковник попытался выяснить у арестанта, к какой партии он принадлежит — к «Пролетариату», к «Звёззеку»<sup>1</sup> или к какой-либо другой, новой.

— Нет единства в ваших рядах, — сказал он с улыбкой. — У вас часто происходят расколы, и этим вы задаете нам много работы... Говорят, что «Пролетариат» вот-вот снова расколется. А вы как думаете?

Но Нисан не дал ответа на этот вопрос. Полковник заглянул в лежавшую перед ним прокламацию, взятую при аресте Нисана. Он сравнил ее с подстрочным русским переводом, подготовленным для него секретарем еврейской общины, и принялся говорить о бесчинствах в городе.

— Очень неприятно, — вздохнул он. — Я действительно сожалею.

— Это ваша работа, — сказал Нисан.

— Нет, ваша, — перебил его полковник. — Евреи не должны вмешиваться в эти дела. Вы должны торговать. Это ваша

<sup>1</sup> Союз (польск.).

специальность. Это было бы лучше и для вас, и для нас... Подумайте над моими словами.

— У меня свой взгляд на эти вещи, — парировал Нисан.

— Надеюсь, что в тюрьме, где у вас будет много свободного времени для раздумий, вы пересмотрите его и согласитесь со мной, — по-отечески сказал полковник. — Однако вы устали, не выспались, и я не хочу вас больше утомлять. Мы еще увидимся. Может быть, у вас есть какие-то требования? Скажите мне, и если их будет возможно выполнить, я к вашим услугам.

— Только одно, господин полковник. Не отправляйте меня больше в арестантскую, переведите сразу в тюрьму.

— Я и сам об этом подумал, — согласился полковник и вызвал звонком караул.

Двое стражников посадили Нисана в дрожки и отвезли в тюрьму на улицу Длуга.

— Всё присылают и присылают, — злился начальник тюрьмы. — Куда мне их пихать? Вот напасть...

Двое заспанных охранников раздели Нисана догола, обыскали, велели нагнуться, проверили, не спрятал ли он что-нибудь в потайных местах. Они вытряхнули его карманы и забрали все — от карандаша до папиросы, от спички до кошелька с мелочью. Также они взяли у него подтяжки и галстук.

— Держите! — сказали они, протянув Нисану маленькую нефтяную лампу, и повели его по длинному коридору. — Пока посидите тут, а там посмотрим.

Как убитый упал он на койку с серым жестким одеялом, стоявшую в его маленькой камере. Это была всего лишь тесная зарешеченная комнатка с койкой, столиком и табуреткой, но после арестантской в полицейском участке она показалась ему дворцом.

Сквозь стену донесся стук. Нисан приложил к стене ухо.

— Добрый вечер! Кто тут сидит? — спросили его стуком.

Нисан отстучал свое имя.



— Что слышно в городе? — спросил сосед по ту сторону стены и сообщил свое имя.

Вскоре он рассказал о том, что, по тюремным слухам, арестованных не будут долго держать в предварительном заключении. Процесс начнут быстро и дадут осужденным большие сроки, до восьми и даже десяти лет. Перестукиванием Нисан расспросил о тюремном режиме — еде, прогулках, сне, а главное — чтении. С той стороны стены ему ответили, что книг много, в том числе политических, — библиотека стараниями прежних заключенных собралась приличная. Нисан был счастлив. Ничто так не увлекало его, как книги. Он готовился к длительному сроку и рассчитывал много выучить за это время.

В один прекрасный день его вызвали на свидание с невестой. Нисан удивленно вышел в канцелярию и увидел там маленькую Баську, дочку Тевье, со свертком в руках. Надзиратель отобрал у нее сверток.

— Что там внутри? — спросил он.

— Еда.

— Мы передадим это после того, как проверим, — сказал надзиратель и отложил сверток в сторону. — Можете разговаривать.

Нисан протянул девушке руку, и она залилась краской.

— Не сердитесь, пожалуйста, — оправдывалась она. — Иначе не пускают. Только родных. Вот я и сказала, что мы жених и невеста.

— Спасибо тебе, Баська, — сказал Нисан и погладил ее по голове.

Девушка молчала.

Нисан расспросил ее об отце, о знакомых.

— Папа уже дома, — тихо сказала она. — Он работает. Я тоже. Он передает вам привет. Он будет действовать и дальше. Как и я. Хотя мама на нас и кричит.

— Ты хорошая девочка, Баська, — похвалил ее Нисан, — береги себя. А передачи мне носить не надо. У меня тут все есть.

Девушка посмотрела на него большими благодарными глазами и расплакалась.

— Что с тобой, Баська? — стал утешать ее Нисан и снова погладил по голове.

— Они такие подлые... такие подлые... — прошептала она, опустив глаза.

— Кто, Баська?

— Эти. Во время обыска, — сказала Баська и снова покраснела. — Я так стеснялась.

Нисан понял девушку. Уж он-то знал тюремные обыски, которым подвергают тех, кто идет на свидания к заключенным.

— Ты не должна сюда приходить, — сказал Нисан. — Ты еще ребенок.

— Нет, я буду приходить, — твердо пообещала она.

Надзиратель прервал свидание.

— Пора, — громко объявил он, звеня ключами. — Быстрее.

Нисан поцеловал девушку в голову.

## Глава девятая

**Н**а железнодорожном вокзале Лодзи было многолюдно и шумно.

У вагонов третьего класса толкались евреи, еврейки, крестьянки, дети. Хотя оставалось еще много времени до отхода поезда, все кричали, суетились, бегали, носились с баулами и мешками. Женщины дрожали за свои вещи, не понимали кондуктора, говорившего по-русски, плакали и рыдали, прижимая к себе поклажу. Они ехали к мужьям в Америку. Все их имущество заключалось в тюках с постельным бельем и потомстве. Они были встревожены, напуганы и поминутно

теряли детей. К тому же вокруг вертелись воры, утаскивали баулы и буквально выхватывали кошельки из рук.

— Караул, мои деньги! — то и дело раздавался в густом воздухе женский голос.

В последнее время многие уезжали из Лодзи в Америку. После кризиса люди обнищали, остались ни с чем, с одними векселями на руках, и искали спасения за океаном. Кого-то подчистую ограбили и жестоко избили во время погромов, и они бежали из беспокойного города в новую страну.

В сотый раз отцы прощались с сыновьями и говорили:

— Дети, помните, что вы евреи! Соблюдайте субботу, накладывайте тфилин и не брейте бороду. Не забывайте об этом!

— Хорошо, — отвечали сыновья, пересчитывая баулы и чемоданы.

Крестьянки украдкой пытались пронести в вагоны корзины с курами и скандалили с кондукторами. Хасиды с узелками из красных носовых платков ехали к ребе со своими мальчишками в длинных лапсердаках. Эти мальчишки были похожи на маленьких взрослых евреев. Они распевали у поезда хасидские напевы. Торговцы-литваки, нагруженные чемоданами, чайниками, зонтами, прорывались к верхним полкам, чтобы подремать по дороге домой. Они ругались с польскими евреями, из-за которых в поезде было тесно, и орали по-русски в окна вагонов вокзальным носильщикам:

— Носильщик, кипяток!

Во всех чайниках у них был горячий чай.

В вагонах царил суматоха. Здесь кидали баулы, ссорились, пропихивались. Набожные евреи надевали талесы и тфилин и молились в миньяне. Женщины обнажали груди и кормили вопящих младенцев. Литваки играли в карты на верхних полках. Хасиды пили водку. Иноверцы резали колбасу из свиной кишки, ели, плевали на пол и смеялись над молящимися евреями. Дети плакали, куры кудахтали, поро-

сенок в мешке визжал, собака лаяла. И среди всего этого сновал крикливый и задиристый рыжебородый еврей-«мытарь»<sup>1</sup> в желтом лапсердачке и выбивал деньги за проезд.

— Эй, евреи, эй, кто не платил! — восклицал он. — Давай сюда пару рублей!

Не все покупали билеты на поезд. Некоторые ехали «зайцами», спрятавшись под скамьями, но русские кондукторы не дремали. Билетов они не требовали, но отступные за безбилетный проезд на поезде брали. У них на подхвате работали еврей-«мытари», которые выколачивали мзду из пассажиров и делились добычей с кондукторами.

Рыжий «мытарь» толкался, дрался, залезал под скамьи, выгонял оттуда спрятавшихся мальчишек и вопил:

— А ну гони пару рублей. Иначе голову оторву!

Русский кондуктор шел с ним и помогал собирать деньги.

— Бегапой йовой?<sup>2</sup> — спрашивал он словами Торы, которым его научили «мытари».

— Бегапой ейцей!<sup>3</sup> — отвечали «зайцы» и откупались.

Куда больше, чем на прятавшихся под скамейками безбилетников, «мытарь» кричал на тех, кто купил билеты в кассе.

— Вы только посмотрите на этих праведников, осыпающих благодеяниями Фоню! — бушевал он. — Не лучше ли было дать заработать еврею и сэкономить на проезде? Вы хуже иноверцев!..

— Ангел смерти придет? — спрашивали хасиды, имея в виду кондуктора, который потребует настоящие билеты.

— Ангел смерти не придет, — уверял их русский кондуктор, смешно коверкая еврейские слова, и добавлял по-русски: — Ей-богу...

Евреи и иноверцы вытаскивали деньги из кошельков и вздыхали над каждой монетой. Еврейки и крестьянки доста-

<sup>1</sup> В оригинале — «шмайсер», буквально — «лупцующий» (*идиш*).

<sup>2</sup> «Пришел один, без жены» (*др.-евр.*), Шмот, 21:3. В данном случае имеется в виду без оплаты.

<sup>3</sup> «Выйдет один, без жены и детей» (*др.-евр.*), там же. В цитируемом стихе Торы речь идет об условиях освобождения купленного евреем раба-еврея.

вали узелки из-за пазухи или из мешков и торговались с «мытарем».

— Это поезд, а не рыбный рынок, — орал «мытарь». — Никакой торговли!..

У вагонов первого и второго класса стояли хорошо одетые, улыбающиеся и спокойные люди. Уезжали несколько офицеров, и ординарцы несли за ними их дорожные сумки. Купцы вальяжно прогуливались по перрону, поминутно поглядывая на свои золотые часы и выпуская из толстых сигар клубы голубого дыма. Громко разговаривали и смеялись двое приبلудившихся помещиков с охотничьими ружьями и собаками. Больше всего было ехавших на воды дам. Вокзальные носильщики тащили горы чемоданов, сумок, картонок и сундучков с нарядами и тряпками, взятыми ради нескольких недель отдыха на иностранных курортах. Разодетые, в огромных шляпах с развевающимися перьями и длинных платьях, дамы несли себя, вздернув головы, и заранее переходили на немецкий. Они принимали у провожающих большие букеты цветов, коробки с шоколадом, целовались, прощались, обнимались, передавали бесконечные приветы, снова целовались, таяли от восторга, вытирали глаза, смеялись и поджимали губки.

В широком дорожном костюме со светлым английским воротником, в который он облачился солидности и представительности ради, нервически расхаживал с сигарой в зубах генеральный управляющий мануфактуры Хунце Макс Ашкенази и делал торопливые карандашные пометки на всем, что было у него под рукой, — на полях немецких газет, в маленьких записных книжечках, наполнявших его карманы, и даже на коробке сигар. Он то и дело слюнил кончик карандаша и быстро писал длинные вереницы цифр.

— Доброе утро, господин Ашкенази, — приветствовали его встречные, снимая шляпы и цилиндры. — Куда вы едете?

— В развлекательное путешествие, — лгал Ашкенази, не желавший рассказывать, куда он едет на самом деле.

— Желаем приятной поездки, — говорили люди, хотя и знали, что он их обманывает.

— Спасибо, — небрежно бормотал Ашкенази, выпуская клуб сигарного дыма, и снова принимался пересчитывать свои кожаные дорожные саквояжи, набитые одеждой и образцами фабричной продукции.

Нет, ни в какое развлекательное путешествие Макс Ашкенази не ехал, хотя было уже очень жарко и солнце месяца тамуз<sup>1</sup> жгло продымленный тесный город. Он ехал в Россию, чтобы продать товар и в качестве генерального управляющего фабрики Хунце наладить новые связи с крупными купцами. Теперь, после кризиса, дела в Лодзи снова шли хорошо, даже лучше, чем прежде. Город оздоровился, как больной, принявший целебное снадобье. Такому городу, думал Ашкенази, совсем не вредно прочиститься, выпустить дурную кровь. Дурная кровь выходит — здоровая бежит веселей. А то мелкие фабриканты и купчишки вконец испаскудили Лодзь. Они создавали конкуренцию, портили рынок, сбывали товар по бросовым ценам, давали кредиты нищим и проходимцам, так что житья в городе не стало. И вот кризис смел весь этот сброд, как мусор. Слабаки не выдержали его ударов; они сломались, погибли. Остались только крупные фабриканты и купцы, сильные и солидные. Правда, и их потрепало, но не сшибло с ног. Они устояли. И теперь получают награду за тяжелые времена, многократную компенсацию. Можно будет брать полную цену за товар, отпускать его только под надежные векселя. Да и рабочие согласятся работать за жалованье, которое им предложат. Еще и ноги будут за него целовать. Они получили урок. Теперь они знают, к чему ведут забастовки.

Конечно, его торговый склад пострадал от кризиса, но в меру. Он-то вел себя осмотрительно, не сбывал товар бездумно, как другие. Кроме того, он знал, что наступит кризис. Во время погромов его склад не тронули. Иноверцы побежали к мелким лавочникам. Крупные предприятия они, слава Богу,

---

<sup>1</sup> Тамуз — месяц еврейского календаря, приходящийся на середину лета.

обошли стороной. Правда, ему, Максу Ашкенази, тоже досталось палкой, но это ничего. У него тут же все прошло. И вот в Лодзи снова тихо и спокойно. Губернатор оставил в городе казаков и обещал лично следить за покоем и порядком на улицах. Так что Макс Ашкенази опять может работать и делать деньги. И он с радостью предвкушал грядущую поездку. Его портфель был набит купюрами на всякие расходы, векселями русских купцов, адресами торговцев и комиссионеров, гостиниц и кошерных ресторанов; здесь же лежала бумага, гласящая, что Симха-Меер Ашкенази — купец первой гильдии и потому имеет право разъезжать по всей России, несмотря на иудейское вероисповедание. То, что в паспорте по-прежнему стояло его старое смешное имя, немного раздражало его, но особых неприятностей не доставляло. На визитной карточке было напечатано его новое имя — Макс.

Он посмотрел на золотые часы, когда-то подаренные ему будущим тестем, приложил их к уху, проверяя, идут ли они. Если верить часам, поезд уже должен был тронуться, но третьего звонка все не давали.

— Кондуктор, почему мы стоим? — спросил он в открытое окно вагона.

— Арестантов везут этим поездом, — ответил кондуктор. — Мы не отправимся, пока их не погрузят. Придется подзадержаться...

— А, — равнодушно сказал Макс Ашкенази и высунул голову в окно.

На перроне стояли солдаты конвоя в черных мундирах и с шашками наголо. Одного за другим они пропускали в вагон арестантов.

— Не глазеть, отойти в сторону! — кричали они людям, пришедшим проводить узников.

За последнее время в Лодзи набралось много заключенных, главным образом после забастовки и погромов. Теперь их вывозили из города, освобождая тюрьму Лодзи для новичков. Арестантов сотнями вели к поезду, чтобы отправить

по этапу в определенные им остроги или к месту рождения. Шли уголовники в серых арестантских робах — мужчины в круглых шапочках, женщины в платках. Шли косматые беспаспортные крестьяне. Шли закованные в кандалы каторжники, звеня цепями на руках и ногах. Шли политические заключенные в обычной одежде с дорожными сумками. Шли оборванные нищие, женщины и дети, старики. Евреи и иноверцы. Компания цыган: чернобородые мужчины и женщины в пестрых тряпках с детьми на руках. Они что-то кричали на своем цыганском наречии, требовали чего-то. Солдаты их не понимали и утихомиривали побоями.

— Держаться вместе, сучье отродье! — прикрикивали они. — Не выходить из строя!

Целыми шеренгами, ряд за рядом, арестанты проходили по перрону к зарешеченным вагонам, охраняемым конвойнными в черных мундирах с шашками наголо.

Поодаль стояли близкие узников — отцы, матери, родные, друзья — и звали их, кричали, махали руками.

Заключенных ждали разные пути. Кто ехал в Варшаву в Десятый павильон<sup>1</sup>, кто в далекую Сибирь. Кто на процесс, кто на каторгу. Кто в свою родную деревню, а кто — в чужие русские города на долгие годы ссылки. Среди арестантов в обычной одежде были сотни рабочих, схваченных во время забастовки и погромов, а также студенты и интеллигенты, арестованные за революционную пропаганду. Был здесь и Нисан Эйбешиц, сын реб Носке, балутского меламеда, недавно вернувшийся в Лодзь из ссылки.

Он, как и Макс Ашкенази, ехал из Лодзи в Россию. Но его маршрут не был прямым. Его отправляли по этапу. Просто они, Макс и Нисан, начинали свой путь в одном поезде.

Двое путешественников взглянули друг на друга. Пассажир второго класса и заросший арестант, которого вели под конвоем. Они тут же потеряли друг друга из виду. Макс Ашкенази уселся в мягкое кресло, обитое бархатом, и закурил

<sup>1</sup> Варшавская тюрьма, расположенная в городской цитадели.



сигару; арестанта Нисана Эйбешица затолкнули в тюремный вагон, полный людей, тюков, криков, проклятий и вони.

Поезд тронулся.

Поодаль стояла маленькая прядильщица Баська, дочь Те-вье, и махала окутанному дымом уходящему поезду.

## Глава десятая

**В** мире тянулись светлые, залитые солнцем дни. На полях, полных ржи и пшеницы, стояли крестьяне и жали. Молодые крестьянки в красных платках, слившиеся с солнцем и светом, вязали снопы и пели песни.

В арестантском вагоне было душно, жарко и зловонно. Все людские беды, вся человеческая ничтожность были спрессованы в этих железных стенах.

На полу сидела молодая иноверка в разорванном платье, с опухшим лицом и растрепанными волосами и плакала навзрыд. Она ехала из дальнего села в Лодзь на работу, когда у нее украли узелок, который она прятала за пазухой и в котором было несколько рублей и билет на поезд. Контролер поймал безбилетницу и передал железнодорожному жандарму в Лодзи. Вместе с деньгами у нее украли и паспорт — клочок бумаги с печатью, выданный ей сельским писарем. У нее не осталось ничего, кроме оловянного крестика на шее и адреса ее далекого села. Женщину отправили назад по этапу, так что путь, занимавший неполные сутки, растянулся для нее на неделю. Ее, деревенскую, растерянную, напуганную, уличные девки и воровки в пересыльных тюрьмах сжиwali со свету. Конвойные солдаты приставали к ней. Перед высылкой из Лодзи они вызвали ее к себе в караульное помещение, чтобы она вымыла полы. Женщина покорно взялась за работу, но солдаты погасили лампу, повалили арестантку

на пол и изнасиловали. Утром, обесчещенную и пришибленную, ее отослали обратно в камеру. Теперь она сидела в вагоне на сыром, заплеванном полу. Ее лицо опухло. Глаза были красны.

— Господи Иисусе, — взывала она, — святая Мария!

Проститутки, не имевшие желтых билетов, смеялись над деревенской недотепой.

— Ну-ну, от этого не умирают, — говорили они ей. — Хватит выть. Теперь ты станешь нашей, с практикой...

— Правильно, — кивали конвоиры и громко смеялись.

На корзине, заламывая руки, сидела молодая еврейка. Отец против ее желания выдал ее замуж за старика, и она убежала от него в Лодзь, где пошла на службу в состоятельный дом. Но муж узнал, где она, и подал прошение в полицию, чтобы ему вернули жену в соответствии с законом. Полиция арестовала беглянку и отправила по этапу к законному супругу. Теперь она всю дорогу заламывала руки.

— Евреи, что делать? Дайте совет! — просила она воров, которые сидели, набившись в тесное купе, и играли в замасленные карты.

— Отрави его, — посоветовала ей иноверка в арестантском платье. — Я так поступила со своим. Теперь вот отправляюсь на каторгу.

На куче тряпья лежала старая побирושка и стонала. В городе, где побирושек были тысячи, именно ее схватили за попрошайничество и выслали по месту рождения. Но старуха выжила из ума и не помнила своего села.

— Я происхожу из Божьей земли, — говорила она. — Там есть красивая церковь с иконами...

Она шла по этапу уже несколько лет, из города в город, из тюрьмы в тюрьму. Никто не хотел ее принимать. Никто не мог выдать ей паспорта. Старуха была больна, грязна, одета в лохмотья. Она справляла нужду под себя. Лежа в арестантском вагоне, она вздыхала из-под своих тряпок. На полу валялись кусочки хлеба, которые она не могла прожевать.

— Уберите ее отсюда, — кричали арестанты солдатам. — Она больная. Она всех перезаразит.

— И никак ведь не поддыхает, сволочь, — ругались солдаты и плевали в ее сторону. — Ведьма проклятая. Таскай ее теперь по всей России...

Здесь же ехали каторжники в цепях, убийцы, хваставшиеся своими злодеяниями; конокрады; голубоглазый крестьянин с лицом святого, который в драке за межу раскроил топором голову соседу. Ехал мужик с большими усами, который поднял в помещицьем лесу жердину, чтобы сделать из нее новое дышло для телеги, и теперь должен был отсидеть за это девять месяцев. Ехал широколицый татарин, работавший носильщиком на вокзале в Лодзи и проморгавший тюк хлопка; ехали молодые иноверцы, подравшиеся на свадьбе, поразбивавшие себе головы и прямо с гулянья отправленные в тюрьму. Ехали воры и проститутки без желтых билетов, поджигатели и контрабандисты, беспризорные сумасшедшие, бродяги-цыгане и революционеры, — вся огромная Россия, сжатая и скованная в одном вагоне, тонущая в поту, вони, проклятиях, слезах и несправедливости.

Сидел в тесноте на своем тощем мешке и Нисан, тяжело дыша в провонявшем потом тюремном вагоне. Они были правы, соседи Нисана по тюрьме, сообщившие ему стуком сквозь стену о скорых судебных разбирательствах и больших сроках, которые ожидают нынешних заключенных. Слишком много набралось арестантов, и надо было как можно быстрее от них избавиться. Следователи молниеносно составили обвинительные акты по свидетельским показаниям полицейских и сыскных агентов. Судьи с толстыми цепями на шеях невозмутимо выслушали и революционные речи обвиняемых агитаторов, и слезные мольбы раскаявшихся рабочих.

По шесть месяцев давали за ограбление и избиение евреев; по три года — за призывы к забастовке. Все революционеры получили от пяти до восьми лет тюремного заключения,

и сверх того от пяти до десяти лет ссылки в Сибирь под полицейский надзор.

Нисан, как и прочие революционеры, в своей последней речи на суде долго и страстно клеймил угнетателей трудового народа. Он всерьез пророчествовал о грядущем дне освобождения. Судьи не перебивали его, но и не слушали. Они зевали и дремали. Точно так же они дремали во время выступлений защитников, цитировавших параграфы и законы. Им все было ясно. Приговор был делом решенным, и решил его генерал-губернатор, известивший о нем своих людей. Нисан искал глазами балутских евреев, которые слушали бы его внимательнее, чем судьи, но никого из них на суде не было. Перед ним сидели только полицейские, агенты и несколько разодетых дам. Публику в зал не пустили.

Теперь он ехал по этапу в свою тюрьму в далекую Москву. Их, революционеров, не хотели держать в Польше. Их хотели засадить за решетку подальше, поэтому и отсылали из Польши в московскую Бутырку.

Срок был большой. Кроме того, генерал-губернатор не велел везти революционеров в Москву напрямик. Он велел отправить их по этапу вместе с высылаемыми и уголовниками. Путь должен был длиться месяцами и лежал из одной тюрьмы в другую, через арестантские дома и пересыльные пункты, полные грязи, заразы и отбросов общества. Нисан знал, что несколько месяцев этапа хуже нескольких лет тюрьмы. К тому же он был совсем без денег. Даже те жалкие рубли, которые у него забрали в лодзинской тюремной канцелярии, ему не возвратили при отправке. Начальник тюрьмы пообещал, что перешлет эти деньги в Москву. Но Нисан знал, что он их больше в глаза не увидит. Тюремщики с такими вещами не торопятся. Так что Нисана ждала трудная и долгая дорога, но сердце у него ныло не от этого.

Как и его отец, он довольствовался малым, мог во имя своих идей жить на хлебе и воде; как и его отец, веривший в Тору и ее мудрецов, Нисан верил в марксизм и в то, что утверж-

дали теоретики этой новой религии; как и его отец, который скудно ел и пил, который изнурял свое тело, потому что знал, что только в бедности и горести можно заниматься Торой; Нисан понимал, что путь его труден и принуждает терпеть голод и холод. Он давно привык к лишениям. Первая ссылка закалила его. Теперь он был стреляный воробей, знал все полицейские штучки, пообтерся в тюрьмах. Теперь он не был так несчастен и мучим сомнениями, как в первый раз, когда его бросили в камеру и воры заставили его выносить парашу.

Впрочем, в тюрьме с ним так больше не обращались. Ему были известны все обычаи, все правила, он умел себя поставить, и уголовники уважали его.

— О, у него всюду свой матрас, — говорили о нем с почтением.

Знал он и то, какие права имеют в тюрьмах политические. И когда его в этих правах ущемляли, он предъявлял требования, устраивал скандалы, настаивал на своем, пока не добивался желаемого или пока его не отправляли в карцер.

Он знал, что, куда бы он ни попал, всюду есть братья-революционеры, которые возьмут к себе в камеру, окажут помощь. Начальники тюрем и конвоиры тоже не одинаковые. Среди них встречаются и честные люди, соблюдающие законы в отношении заключенных, особенно политических. Да и сам он не был бессловесным, как когда-то. Теперь он прекрасно говорил по-русски и многое знал. Он хотел учиться. Жажда знаний, в частности марксистских, была в нем так же велика и сильна, как некогда в доме у тряпичника Файвеле, где он глотал книги еврейских просветителей и сочинения философов. А где еще в России, кроме тюрем, можно было так свободно изучать теорию марксизма? Как и для большинства революционеров, ссылка стала для Нисана школой. Покидая Лодзь на заре своей юности, он был еще сырым паренком, нахватавшимся еврейского просветительства, а вернулся из заключения по-настоящему образованным человеком. Теперь он мечтал продолжить обучение. Потихоньку он уже

начал писать собственные комментарии к марксистским книгам, которые он так много изучал. Он записывал их на полях сочинений, как и его отец, делавший пометки на полях священных книг.

Нисан не боялся тюрьмы. Его мучили другие вещи.

Вместе с ним в вагоне ехали лодзинские рабочие, фабричные труженики, настоящие пролетарии, но арестованы они были не только за то, что они бастовали, но и за то, что они грабили еврейских лавочников и громили балутских ткачей. Теперь они ругали тех, кто втянул их в забастовку, раскаивались, что приняли в ней участие, и грозились отомстить, когда вернутся. Особенно их злило то, что их отправляют в тюрьму из-за евреев, которых они вздули.

— Мы их еще проучим, — грозили они кулаками. — Походите!

Гнусно все кончилось. Больше в фабричной Лодзи не желали слушать о социализме и не желали о нем говорить. Рабочие униженно вернулись к угнетателям, держа шапки в руках. Они стояли, склонившись перед торжествующими директорами и фабрикантами. В Балуте дрожали от страха перед весенним праздником Первого мая. Месяц, который должен был стать провозвестником свободы и братства, превратился в символ грабежа и разбоя. И страх перед ним поселился не только в Лодзи, но и распространился за ее пределы. Повсюду пели песню «Грабеж», даже здесь, в арестантском вагоне, ее распевали еврейские воры.

Он, Нисан, не ведал сомнений. Он знал, что в каждой победоносной войне бывают временные поражения и потери. Путь к правде нелегок. Он идет зигзагами, то вверх, то под уклон, но рано или поздно приводит к вершине. Правда обязательно победит. Она прорастет сквозь грязь и мусор, как зернышко, которое пробивается из земли, куда его забросил ветер; как новая жизнь, которая рождается из семени в материнском чреве. Нисан не только верил в скорое Избавление, но и видел его. Пусть капитал концентрируется, как ему

и должно, как диктуют железные законы истории, а потом все блага будут поделены. Тогда не будет больше угнетателей и угнетенных, классов и наций, ненависти и зависти. Все будут свободны и счастливы. Уйдут в прошлое грабежи и склоки, потому что все зло в мире, вся подлость и низость обусловлены экономически. Это было Нисану так ясно, как ясно было небо, глядящее сквозь зарешеченные окна в арестантский вагон. Он видел это так же отчетливо, как его отец Землю обетованную после прихода Мессии.

Но покамест его соседи пожирали друг друга так же, как тюремные вши тела заключенных. Они делали ближним гадости, сживали их со свету. Чаше, чем где бы то ни было, в тюремном вагоне слышалось слово «жид». Оно доносилось от солдат, от узников, от рабочих.

Бывалые арестанты действовали сообща. Какой-нибудь молодой иноверец с льяным чубом над голубыми глазами шел по этапу впервые. Бывалые брали с него «клятву».

— Как тебя зовут? — спрашивали они его.

— Антек, — отвечал парень.

— За что сидишь, Антек?

— За то, что купил краденую лошадь.

— Коли так, ты должен присягнуть, как мы все присягали.

— Присягнуть? — удивлялся парень. — В чем?

— В том, что ты будешь нам братом, не будешь доносить, — елейными голосами говорили арестанты. — В Бога веришь?

— Конечно, — отвечал иноверец.

— Тогда присягни на Святом Евангелии, что ты будешь хорошим товарищем. Для этого тебе надо завязать глаза.

Парню крепко завязывали глаза тряпкой. Затем старейший из арестантов потихоньку спускал штаны и, полуголый и грязный, становился рядом с ничего не подозревающей жертвой. Один из закованных в цепи узников начинал зачитывать клятву голосом христианского священника. Парень с завязанными глазами повторял каждое слово.

— Теперь, сын мой, поцелуй священное Евангелие, — говорил кандалник. — Вот здесь.

Но вместо Евангелия новичок целовал подставленную ему вонючую задницу бесстыжего арестанта.

Хохот окружающих не утихал.

— Эй, присягнувший, — панибратски хлопали его арестанты и смеялись. — Ну и как оно пахло?

Осмеянный и униженный деревенский парень лежал в углу раздавленный. Железные стены едва не лопались от хохота.

Множество гнусностей творилось в этом тесно набитом вагоне. Здесь обкрадывали соседей, занимались грязной любовью, бывалые арестанты тиранили новичков.

И прежняя мысль о ничтожности людей и людской природы стала вытеснять из головы Нисана светлые видения освобожденного человека. Тогда он закрыл глаза, как в детстве, когда хотел уйти от этого мира, погрузиться в другие миры и не видеть никого вокруг себя. Так же как отец, который в минуту сомнений принимался повторять «Ани маймин...»<sup>1</sup>, Нисан начинал твердить наизусть отрывки из своих книжек. Это возвращало ему веру, позволяло забыть обо всем, что его окружало. Эти слова заслоняли от него людей.

Да и чем могли привлечь его сейчас окружающие с их мелочными заботами, мерзостью, самолюбием; эти черви, которые грызли друг друга, в то время как их самих донимали паразиты? Нисан не хотел смотреть на них. У него был идеал, далекий, красивый, ради которого стоило работать, страдать и жертвовать собой. Он не видел людей, он был предан идее.

В жарком вонючем вагоне арестанты играли в «слепую корову». Зажимали кому-нибудь голову между колен и били по заднице, пока жертве не удавалось угадать того, кто ударил его последним.

— Ложись! — гремели насмешливые голоса. — Быстрее!..

<sup>1</sup> «Я верю...» (*др.-евр.*), на современном иврите — «ани маамин», — начальные слова тринадцати догматов иудаизма, сформулированных Рамбамом (Маймонидом).



## Глава одиннадцатая

**Н**а австрийском курорте Карлсбад, у источника, собрались самые влиятельные и богатые жители фабричного города Лодзь, что в Польше.

— Добрый день! — приветствовали они друг друга по-немецки и таяли от умиления и вежливости.

Заезд отдыхающих в этом сезоне был не так велик, как в предыдущие годы. Многие из тех, кто прежде приезжал сюда ежегодно, нуждались они в этом или нет, оказались раздавлены кризисом и больше не могли позволить себе отдых на курорте. Приехали только самые крепкие, устоявшие на ногах буржуа. Теперь они с особым удовольствием шли со своими стаканами к источнику пить минеральную воду. Дамы тащили за собой по мощеным тротуарам длинные шлейфы, которые в лодзинской грязи и сутолоке никак нельзя было продемонстрировать. В пестрых пышных платьях с буфами, в огромных шляпах с перьями, обмахиваясь веерами, сверкая бриллиантами, они фланировали и надувались, как гуляющие по курортному парку яркие павлины. Мужчины в узких брюках и укороченных пиджаках или светлых подрезанных жакетах, с высокими воротниками и в остроносых лакированных ботинках поминутно приподнимали цилиндры, кланялись и махали перчатками.

— Наконец-то можно отдохнуть в Карлсбаде как следует, — с наслаждением говорили мужчины. — Нет такого наплыва приезжих...

— Да, стало попросторнее. А то в последние годы из-за племса здесь не было житья, — отвечали дамы. — Все служанки и приказчики тут бывали...

Прежде всего, отдыхающие были горды тем, что в Карлсбад прибыл со своей семьей сам Флидербойм. Даже его дочери, избегавшие этого места, так как оно уж очень объев-

реилось, в этом году наконец до него снизошли. Это было особенно приятно самым мелким гостям Карлсбада.

Среди прочих была здесь и Диночка, жена Макса Ашкенази, приехавшая вместе с матерью. Реб Хаим Алтер, ее отец, с ними поехать не смог. В последнее время, особенно после кризиса, у него плоховато шли дела. В первый раз ему пришлось отпустить Приву, свою красавицу жену, которая совсем не старела, а с каждым годом становилась все краше и женственнее, одну. Ее он должен был послать на воды. Он заложил свое имущество, но Приву отправил в Карлсбад. Она бы не пережила, если бы ей не удалось попасть на курорт. Как бы она тогда показалась на глаза людям? О чем бы она всю зиму говорила с другими дамами? Но сам реб Хаим остался в городе. Впервые его немецкая шляпа, купленная им специально для иностранных курортов, лежала без дела в своей большой коробке.

Диночка тоже была одна, без мужа, как и мать. Ее Симха-Меер, он же Макс, как раз мог позволить себе удовольствие разъезжать по курортам. Он набирал силу с каждым днем. В Лодзи его очень уважали и высоко оценивали его солидное состояние.

— Скорее он держит в руках баронов, чем они его, — говорили люди, когда Макс Ашкенази проезжал в фабричной карете по улице. — Он богат как Крез.

Однако он не поехал. Он предпочел отправиться в Россию по коммерческим делам. Он не мог тратить время на курорты и минеральные воды. Он не видел в этом ни смысла, ни удовольствия. Ему было жалко каждой минуты, потраченной на безделье и глупости. Хотя Лодзь снимала перед ним шляпу и говорила, что это Хунце у него в руках, а не он у Хунце, сам Ашкенази знал, что это неправда, что Хунце и есть хозяева, а он — всего лишь их человек. Правда, его мнение многое значит на фабрике и он собрал немало акций, постоянно покупая их; но все же он еще очень далек от своей цели, от того, чтобы стать хозяином Лодзи. Он, Макс Ашкенази, не удовлет-

ворялся половиной желаемого. Он хотел все целиком. И он не знал покоя, не позволял себе вздремнуть после полудня, понежиться утром в постели, хотя его и тянуло отдохнуть.

Теперь он был занят как никогда прежде. Толстый директор Альбрехт, который и так был сонным и неповоротливым, сильно сдал с тех пор, как рабочие сунули ему метлу в руки и прокатили на тачке по фабричному двору. Он был напуган и оглушен. Его сердце, ослабленное непосильным грузом жира, стало биться учащенно и болезненно. Он по-прежнему приходил на фабрику, сидел в большом кресле, скрипевшем под его громоздким телом, но, в отличие от прежних времен, совсем ничего не делал. С некоторых пор он не слышал, что ему говорят, путал документы и нередко забывал подтянуть сползший с ноги чулок или застегнуть брюки как следует. Гладко причесанные русоволосые немецкие девушки, работавшие в фабричном бюро, чуть не лопались от душившего их смеха, глядя на директора Альбрехта.

— Старика капут, — говорили бароны. Они не прогнали его с фабрики и из директорского кресла, но забрали у него всю работу и передали ее Ашкенази. Альбрехт ни слова не сказал на это и ничего не требовал. Он забывался с ткачихами, которые стараниями приказчика Мельхиора все так же регулярно убирались в его холостяцкой квартире. Ашкенази знал, что конец старика близок. Того и гляди его хватит апоплексического удара; при его грузности и образе жизни, при том, сколько он ест, пьет и развлекается с женщинами, это было слишком вероятно. Так что еще при жизни Альбрехта Макс Ашкенази стал директором мануфактуры Хунце. Ничего на фабрике не происходило без его ведома. И он очень этим гордился. Он работал на износ, все брал на себя, во все вникал и не мог оставить дела и уехать с женой в Карлсбад. Да ему это было и не нужно. Самое большое удовольствие ему доставляли пыль, дым и суета. Только в такой атмосфере он дышал свободно, чувствовал, что живет, а в тишине и покое он заболел, хандрил и тосковал.

Теперь он снова был на коне, он намного опережал брата. Он быстро шел в гору, греб деньги лопатой и скупал акции мануфактуры Хунце. Пачка за пачкой он укладывал ценные бумаги в свою железную кассу, словно возводил лестницу, которая приведет его к цели, к вершинам самых высоких фабричных труб. Правда, в свои деловые поездки он отправлялся с тяжелым сердцем. Жена никогда не провожала его на поезд и не встречала по возвращении. Она только снабжала его в необходимом количестве бельем, одеждой и другими нужными в дороге вещами. Макс Ашкенази страдал от этого. Он с завистью смотрел на влюбленные парочки, которые вкладывали так много любви в свои прощания на перроне, которые все время целовались и о чем-то говорили между собой. Уезжая, он тревожился о Диночке, красивой и молчаливой. Ему не в чем было ее упрекнуть, но полностью спокоен на ее счет он не был, как всякий любящий, но нелюбимый муж. Когда он оставался один в больших гостиничных номерах России, в голову ему лезли свинцовые мысли. И он места себе не находил, когда она ездила за границу на воды. Он никогда не бывал на курортах. Но понимал, что там крутятся всевозможные проходимцы и бездельники. Не зря его теть так трясся за свою Приву, боясь отправить ее туда одну, и всегда ездил вместе с ней. Но Макс Ашкенази не мог себе этого позволить. Дела не оставляли ему свободного времени.

Зато это позволял себе его брат Янкев-Бунем, ныне просто Якуб.

Хотя Якубу меньше, чем кому бы то ни было, стоило ехать теперь на воды. Он слишком легко и расточительно выполнял обязанности генерального управляющего, давал купцам щедрые кредиты, сорил деньгами. Кризис в Лодзи едва не сокрушил его, люди рядом с ним банкротились один за другим. Он был близок к тому, чтобы покончить с торговыми делами и остаться при тех нескольких десятках тысяч, которые платил ему фабрикант Флидербойм. Но в последний момент Якуба спасла жена. Покуда он был счастлив, весел и удачлив, его

болезненная Переле злилась на него, ела его поедом, сживала со свету. Она не выносила его жизнерадостного и цветущего вида. Сама она была желчной и чахлой и хотела, чтобы и окружающие были ей под стать. Она не пожелала переселиться с мужем в Лодзь, а осталась в Варшаве наедине со своими пилюлями, порошками, микстурами и мензурками, лежавшими и стоявшими у нее по всем углам. Она знала о развеселой жизни, которую вел в Лодзи Якуб, но ехать к нему не хотела.

Однако, прослышав, что Якуб на грани банкротства, что он сбит с толку и подавлен, она сразу же примчалась к нему. Она продала один из домов, полученных ею в наследство от матери, и вложила все деньги в дело мужа. Она не отходила от Якуба, давала советы, помогала, пока он не пришел в себя и не встал на ноги. Она осталась жить в Лодзи. Супруги сняли роскошную квартиру, обставили ее дорогой мебелью, открыли двери для гостей, вели светскую жизнь. Больше, чем с кем бы то ни было, Переле сблизилась с женщинами из семьи Алтер, с Привой и еще больше с Диночкой. Их мужья, братья Ашкенази, не встречались, ненавидели друг друга, но жены поддерживали близкие отношения и ходили друг к другу в гости.

Но как только Якуб пошел в гору, оправился от полученных ударов и снова стал радоваться жизни, есть с аппетитом и сладко спать по ночам, его худосочная и вечно недовольная жена опять принялась тянуть из мужа жилы. Она не желала терпеть того, что он приглашал к себе гостей; не могла смотреть, как он ел за троих; ее угнетал сладкий сон Якуба; она ревновала его ко всем женщинам — от своей золовки до простой служанки.

— Не спи так крепко, — будила она его по ночам, — не дыши так мощно, когда у меня сна нет ни в одном глазу...

Якуб ее не понимал.

— Чем тебе поможет, если я тоже не буду спать? — спрашивал он жену.

Ей нечего было ему ответить, и она злилась еще больше и впадала в истерику.

— Потому что ты меня нервируешь, — в ярости говорила ему она. — Изводишь каждым своим жестом...

Она сбежала от него домой, в Варшаву. Больше ни дня не могла пробыть в Лодзи. И Якуб снова стал вести веселую и беззаботную жизнь, разъезжать по улицам в карете, снимать цилиндр перед дамами и дышать полной грудью. Хотя дела его пока еще шли не так хорошо, как хотелось бы, хотя ему нужно было как следует поработать, чтобы залатать дыры, проделанные кризисом, Якуб Ашкенази бросил все на своих людей и уехал за границу на те душные недели, когда Лодзь плавится в жаре и дыму. Воды были ему не нужны. Он был здоров как бык. Никакая хворь его не брала. Но он знал заграничные курорты, оживленные и праздничные, где можно встретить множество людей, где можно очень хорошо провести время. Особенно если поехать туда одному. И он взял билет в купе первого класса, упаковал в чемоданы костюмы и белье и отправился в Карлсбад.

Размашисто и весело он ходил по поезду, от вагона к вагону, всех приветствовал, угощал мужчин сигаретами, женщин шоколадом, целовал дамам ручки, смеялся, сыпал комплиментами и наполнял попутчиков радостью и оптимизмом. Чаще всего он заглядывал в купе, в котором ехали Диночка и ее мать в окружении чемоданов, коробок, дорожных сумок и подушечек. Он выбегал на станциях купить для них свежих фруктов, помогал им во время проверки багажа при пересечении границы. Прива искренне благодарила и расхваливала его. Она давно прониклась к нему почтением, с тех самых пор, как он вернулся из Варшавы в Лодзь и стал ездить в карете по Петроковской улице. Хотя она была уже в летах, она знала толк в красивых мужчинах и ей нравилось, когда они крутились вокруг нее, прислуживали ей, как даме. Она не раз втихомолку вздыхала из-за своей Диночки, жалея, что ей дали в мужья Симху-Меера, а не Янкева-Бунема. Чем сильнее она ненавидела зятя, тем больше любила его брата.

Она частенько брала с собой Диночку в дом Якуба, когда его жена жила в Лодзи. Теперь она отправилась в Карлсбад. Она не привыкла ездить одна. Раньше вместе с ней всегда был Хаим, который оберегал ее и заботился о ней в дороге. Впервые ей пришлось ехать без сопровождающего, без мужа, и она очень беспокоилась как за себя, так и за свою дочь. Когда она увидела в поезде Якуба, у нее отлегло от сердца. Женская природа взыграла в ней, она опять ощутила себя дамой.

— Якуб! — обрадовалась она. — Не будь я старой женщиной, я бы тебя расцеловала!

Якуб несколько раз поцеловал руку сначала матери, потом дочери.

— Какой приятный сюрприз! — сказал он, лучась от счастья.

Все — он сам, Прива Алтер и Диночка — прекрасно знали, что это не случайность, не сюрприз, а заранее подготовленная встреча; Якуб по-прежнему, — как и в мальчишеские годы, когда он часами ждал у ворот, чтобы снять перед девочкой в голубой пелерине свою хасидскую шапочку, — хотел видеть Диночку, быть к ней ближе. Однако никто не подал виду, что разгадал этот секрет.

— Действительно, приятный сюрприз, — сказала смущенная Диночка, чувствуя, как краснеют ее щеки, — а то мама волновалась, что мы едем одни.

В чужом городе, красивом и спокойном, Якуб ни на шаг не отходил от Диночки, следовал за нею как тень. Куда бы она ни пошла, всюду вырастал он, мощный, элегантный, веселый, и кланялся ей, снимая цилиндр.

Диночка жалась к матери, боясь остаться с Якубом наедине. Но та делала все, чтобы оставить их одних. Ею двигала не столько любовь к дочери, сколько ненависть к зятю, так гнусно лишившему Приву ее счастья и благосостояния. С поистине женским коварством она жаждала отомстить Симхе-Мееру.

— Диана, — звала она дочь, — прокатись с Якубом, немного проветришься. А я тут в парке музыку послушаю.

В густом парке, при свете молочной луны, лившемся на тихие поляны, они держались за руки и молчали.

— Нет, Якуб, — говорила Диночка каждый раз, когда деверь пытался коснуться своими красными полными губами ее губ. — Нет.

Якуб взял ее руку и положил себе на шею.

— Ну, садись так, как в детстве, — попросил он. — Помнишь, Диночка?

— Помню, — тихо сказала она и почувствовала, как ее сердце тает от счастья. После этих слов она заторопилась к Приве. Она боялась Бога, боялась осуждения со стороны своих детей, но больше всего боялась собственной крови, которая всегда была такой застывшей и тихой, но вдруг пробудилась и закипела.

Испуганная, она бежала назад к матери.

## Глава двенадцатая

**Н**а обширной русской земле, от германской границы и Вислы на западе до японской границы у Амура на востоке, мужчины в возрасте от двадцати одного года до сорока лет были оторваны от полей, фабрик и мастерских и поставлены под ружье. На всех стенах, деревенских заборах и городских оградах висели большие листы с двуглавыми орлами, в которых милостью Божьей самодержец российский, Царь Польский и великий князь Финляндский Николай II призывал своих подданных самоотверженно защищать святую Русскую землю, веру и царя от врагов-азиатов, японских язычников, стремящихся отторгнуть часть великой Российской империи на Дальнем Востоке. А кто не явится по призыву вовремя, предстанет, согласно высочайшему указу, перед военным трибуналом.



Рядом с большими императорскими воззваниями появлялись темными ночами и маленькие, плохо напечатанные призывы революционных партий, убеждавших крестьян и рабочих не слушать своих правителей, своих классовых врагов и не идти на войну, развязанную японским и русским капиталом.

Чем больше полицейские и агенты срывали прокламаций и хватали их распространителей, тем стремительнее множилась крамола. Люди собирались около листовок, читали. В среде рекрутов и даже резервистов эти бумажки с расплывающимися строчками вызывали бунты. В городах, через которые шли эшелоны на дальний фронт, будущие защитники царя и веры нападали на монополии<sup>1</sup>, уничтожали запасы водки, били сопровождающих их офицеров и частично разбежались. В Польше и Литве, в Белоруссии и балтийских губерниях революционные кружки агитировали солдат, направляли к ним своих ораторов. Русская полиция в ответ на это подсылала агентов, которые настраивали народ против евреев, объявляя их врагами Бога и Отечества. Они науськивали едущих на фронт вооруженных крестьян на еврейских лавочников, призывали грабить и бить их. Крестьяне начали вместо монополий громить еврейские магазины, а вместо полицейских и военных конвоиров учинять расправы над евреями, их женами и детьми. Армейские барабаны и поповские благословения заглушали рыдания оставшихся без мужей солдатских жен и крики избиваемых «хриstopродавцев». В рабочих кварталах пылал огонь гнева, ненависти и революции. Постоянно вспыхивали забастовки. Все поезда и корабли, набитые людьми, лошадьми и оружием, тянулись в далекую Россию, в глубь империи, к самому Амуру.

А в обратном направлении, из России в Польшу, в бурлящую фабричную Лодзь, тесно связанную с Дальним Востоком, несмотря на огромное расстояние, отделявшее ее от театра военных действий, — торопились, мчались, рвались два

<sup>1</sup> Монополия (разг. «монополька») — казенная винная лавка.

человека, стремясь как можно быстрее вернуться в задымленный город.

Одним из них был Макс Ашкенази, представитель лодзинского акционерного общества баронов Хунце, ехавший поездом-экспрессом в вагоне первого класса. В английском дорожном костюме, подчеркивавшем его солидный статус, с сигарой во рту, в роскошной соболиной шубе и высокой каракулевой шапке он сидел на широкой, обитой плюшем скамье среди бесчисленных кожаных саквояжей, полных денег, векселей, бумаг и договоров, и смотрел на глубокие сугробы, на заснеженные крестьянские дома, на белеющие леса и поля, на телеграфные столбы и проломленные заборы, тянувшиеся день за днем без конца и края. Поезд опаздывал, тяжело сопел на засыпанных снегом рельсах, и Макс Ашкенази беспокоился.

— Когда мы будем на месте? — в который раз спрашивал он кондуктора.

— Трудно сказать, барин, — оправдывался кондуктор. — Снег все больше заваливает дорогу.

Война застала Макса Ашкенази в пути, в глубине России. Он каждый день получал тревожные телеграммы из Лодзи. Дальний Восток, куда лодзинские фабриканты свезли массу товаров и где они держали обширный рынок, из-за войны оказался отрезанным. Все поезда были заняты армией. Коммивояжеры бежали назад в Польшу, как крысы с тонущего корабля, без денег, без заказов. Начались остановки фабрик, посыпались протесты, люди разорялись один за другим. Лодзь пребывала в смятении и панике. Баронов Хунце, как обычно, не было дома; они грелись в этот холодный январь на Французской Ривьере и слали телеграммы, требуя новых сумм, которые необходимо выслать вслед предыдущим переводам, проигранным ими в рулетку, в карты и на бегах. На фабрике с нетерпением ждали возвращения Макса Ашкенази.

Он, Макс, уже давно был главным директором фабрики Хунце. Толстый Альбрехт, как и предвидел Ашкенази, долго

не протянул. У него все чаще случались сердечные приступы, и однажды вечером, когда приказчик Мельхиор привел к нему новую молодую прядильщицу, чтобы она убралась в его холостяцкой квартире, Альбрехт во время первой же любовной схватки с ней упал на пол, растянулся на ковре и уже не поднялся.

Фабрика устроила ему пышные похороны. Пасторы слезливыми голосами произносили речи о его прекрасной и достойной жизни. Макс Ашкенази возложил на могилу покойного большой букет белых роз. Уже на следующий день он заменил Альбрехта официально и перебрался в его кабинет. Приказчик Мельхиор, который помнил Симху-Меера еще по тем временам, когда он носил длинный лапсердак, тут же вытянулся перед ним в струнку и, как при бывшем директоре, начал рывкать на каждое его слово:

— Яволь, герр гаупт-директор!

Карета Альбрехта тоже перешла к Максу Ашкенази.

Поначалу и приказчик Мельхиор, и кучер кареты обрадовались новому хозяину. Мельхиор даже попытался вставить словечко по поводу прядильщиц, которые приходили убираться к покойному директору Альбрехту и могут, если нынешний директор пожелает, ходить и к нему — он, Мельхиор, позаботится о том, чтобы это были очень хорошие девушки...

Макс Ашкенази смерил фабричного приказчика долгим пронзительным взглядом и дал ему укорот.

— Даже не думай об этом, — сказал он. — Прядильщицы должны работать на фабрике...

Мельхиор прогремел: «Яволь, герр гаупт-директор!», но про себя разозлился на новое начальство.

— Вот ведь еврейская свинья, — жаловался он кучеру.

— Собака! — соглашался кучер. — Не видать теперь приличных чаевых...

Но это они обсуждали между собой, за глаза. В глаза же они выказывали Максу Ашкенази глубокое почтение, как и директору Альбрехту.

Также на него злились и остальные работники фабрики, все эти русоволосые, голубоглазые и упитанные бухгалтеры, инженеры и служащие, но, встретив его, они вытягивались во фронт и говорили с ним с тем особым подобострастием, с каким говорят со своим верховным начальником только немцы.

— Яволь, герр гаупт-директор! — громогласно отвечали они на любой его приказ, стоя по стойке «смирно».

Он сразу же взял фабрику в свои руки; низкорослый, вертлявый и нервный чужак, говоривший на плохом немецком нараспев, словно он учил Гемору, вечно суетившийся, не способный усидеть на одном месте, раздражавший своей хасидской привычкой хвататься за бороду, которой у него давно не было, и брать собеседника за пуговицу, ходивший в постоянно свернутом набок галстуке, — Макс Ашкенази, тем не менее, крепко держал в кулаке десятки высоких, гладких, причесанных, корректных и пунктуальных немцев. Он был в курсе всех дел, знал на фабрике каждый угол, каждую машину, каждый кирпич, лично следил за всем, что на ней производится и строится. В прежнюю уютную сонливость, заведенную толстым Альбрехтом, Макс Ашкенази внес энтузиазм и страсть. Люди злились, их раздражало, что этот чужак вечно торопит и подгоняет их; но противиться ему они не могли. Он задавал ритм. Его беспокойство, непоседливость, суетливость и спешка, как мотор, гнали ток из директорского кабинета во все уголки большой фабрики, двигали ее машины и дергали людей, как марионеток на проволоке.

Несмотря на свое суматошное директорство, Макс Ашкенази находил время на то, чтобы ездить в Россию и заключать крупные сделки. Фабрика работала, как хорошо отлаженный механизм. В самых отдаленных местах, где ему приходилось бывать, главный директор мануфактуры Хунце знал обо всем, что творилось на предприятии, постоянно получал телеграммы с отчетами и посылал телеграммы с указаниями. С тех пор как на Дальнем Востоке началась война, телеграммы приходили пачками. В городе царила истерика. Бароны,

как всегда, были в отъезде, и люди Хунце не находили себе места. Они не знали, что делать и куда бежать. Макс Ашкенази сидел в своем купе как на иголках, и широкие, обитые плюшем скамьи казались ему чересчур узкими.

В его голове росла и крепла идея. Именно теперь, когда Лодзь останавливается, теряет рынок, он хотел сделать деньги, много денег. Сидя в поезде, он смекнул, что при переходе на военные товары можно сорвать куш. Военные интендантства — очень хорошие покупатели, они и сами любят зарабатывать, и дают заработать другим. Правда, его фабрика производит мирную продукцию; но это пустяки, она легко перейдет на новые рельсы. Надо только поторопиться, прежде чем конкуренты догадаются сделать то же самое. Главным образом Макс Ашкенази боялся Флидербойма. Однажды Флидербойм уже показал, на что способен, тогда — с губернатором и земельными участками. В тот раз он заработал целое состояние. Нельзя допустить, чтобы он вторично обошел его, Макса. Надо чутя, куда идет история. Главное — сразу же взяться за дело, выйти на начальника интендантства, дать ему урвать мозговую кость и самому получить косточку не хуже.

Вот будет здорово: все фабрики встанут, а его будет работать день и ночь. То-то он отыграется!

От одной этой мысли Макс Ашкенази начал ерзать и подпрыгивать на месте, представляя себе, как его фабрика рванется вперед посреди окружающей ее гулкой лодзинской тишины. Гудок локомотива напомнил ему гудки его фабричных труб.

С поезда он сразу же отправился на фабрику, как только за ним приехала карета. Он едва заскочил домой, даже ванны не принял после долгой поездки. У него не было на это времени. На счету была каждая минута. Под большим секретом, с большим пылом и поспешностью он принялся тянуть за все нитки, разнюхивать, прощупывать, выведывать пути, дороги и тропки, ведущие к начальнику интендантской службы. Сейчас ему очень пригодились бы его бароны. Доступ к высокому начальству был у них, у аристократов, а не у него. Он

знал это. Как ни крути, до высокого начальства ему не дотянуться, хотя его подметки становятся все толще и все выше поднимают его над землей, а в Лодзи поговаривают, что скорее Хунце у него в руках, чем он у Хунце. Но бароны отсутствовали. Как всегда, они сидели за границей. И Макс Ашкенази сам взялся за дело. То, что он будет добиваться своего один, без их помощи, наполнило его особой радостью.

Тем лучше для него. Правда, у него не было доступа к коменданту крепости<sup>1</sup>. Для людей его круга тот был слишком крупной рыбой, но Макс Ашкенази знал, что как на фабрике Хунце, так и повсюду большими начальниками управляют те, кто мельче их. А еще он знал, что золотом от русских, даже самых высокопоставленных, можно добиться чего угодно.

И он потихоньку отправился в Варшаву и стал искать подход к коменданту. В первый же день он вышел через одного маклера на певицу оперетты, которая была любовницей служившего в крепости адъютанта. С бриллиантом в красивой атласной коробочке и слишком крупными и кричащими цветами, какие может купить только полный невежда в делах обольщения, он отправился к этой светловолосой пышнотелой иноверке, жившей в окружении собак, кошек, канареек и пыльных букетов от поклонников театрального искусства. Его едва не стошнило как от собственных комплиментов, которые он расточал таланту пухлой актрисы, чье пение никогда не слышал, так и от слащавого романтического щебета и шоколада, которыми его угощала эта дама в своем похожем на сцену будуаре. Тем не менее он упрямо отсидел в гостях положенное время и надел актрисе бриллиант на один из ее толстых пальцев, так густо унизанных кольцами, что найти на них место для нового было нелегко.

— Пусть это будет выражением моего восторга перед вашим большим искусством, — сказал он на ломаном поль-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Новогеоргиевская крепость, находившаяся в пригороде Варшавы и служившая местом расположения крупнейшего в Польше российского гарнизона.

ском. — Для меня будет высочайшим счастьем когда-нибудь снова провести время в вашем божественном обществе.

— Я глубоко тронута, — сказала пышная светловолосая дама, соблазнительно улыбаясь, словно в театре. — Почту за честь видеть господина директора в моей скромной квартире в обществе моих ближайших друзей.

Благодаря этой опереточной диве он оказался втянут в непривычный круг людей. Он попал в среду офицеров и адъютантов, больших почитателей искусства актрисы и еще больших почитателей карт, денег, шампанского, веселых ресторанов и кабаре. Вечно трезвый, ненавидящий пьянство и дебош, Макс Ашкенази несколько дней гулял со своими разудалыми новыми знакомыми, которые, напившись, били зеркала и хватались за револьверы. Но он добился своего: он добрался до самого коменданта — деньги открыли перед ним все двери.

В Лодзь он возвращался с мерзким привкусом во рту и шумом в голове. Эти гулянки вымотали его. Но в кармане у него был заказ на военные товары, благодаря которому он будет купаться в золоте.

В большой и опустевшей Лодзи только фабрика Хунце работала в полную силу. Работала и днем, и ночью. Трубы ее нагло гудели в притихшем городе, красные кирпичные стены дрожали в лихорадочной спешке.

Снова имя Макса Ашкенази было на устах у всей Лодзи, снова ему смотрели вслед на плохо замощенных лодзинских улицах, когда он проезжал, задумчивый и погруженный в свои дела, в карете, полученной им в наследство от прежнего главного директора мануфактуры Хунце.

— Подметки на ходу срезает, — говорили о нем евреи. — Из воздуха делает деньги.

— Лихо он играет в войнушку, — ухмылялись завистники. — В дорогую, золотую войнушку ...

Теперь Макс не скупился на денежные переводы для баронов Хунце. Он посылал им даже больше денег, чем они про-

силы. И покупал со своих огромных доходов акции фабрики. Он собирал их, эти акции, день за днем, особенно в дни войны, когда цена на них падала.

По дорогам и бездорожью, на санях и поездах, пешком и спрятавшись под соломой, в телегах бежал из далекой Сибири и другой житель Лодзи, ссыльный Нисан Эйбешиц, сын балутского меламеда реб Носке, полный нетерпеливого желания вернуться в родной польский город.

Его тоже ждали в Лодзи. В этом фабричном городе было беспокойнее, чем в других местах. Рабочие здесь часто бастовали. На улицах случались демонстрации. С началом войны фабрики встали, что возмутило и озлобило рабочих. Наступило подходящее время для агитации и просвещения. Мелкие семена революционного движения, которые Нисан и Тевье посеяли в задымленной Лодзи, дали мощную поросль. Провал первой маевки, имевшей такой гнусный конец, не напугал лодзинских рабочих навсегда, как многие тогда думали. Теперь они часто устраивали демонстрации, пели революционные песни, бунтовали против фабрикантов и полиции. А Тевье с товарищами постоянно слали Нисану тайные письма из дома, из которых он понял, что должен бежать. Деньги на расходы ему тоже выслали.

Хотя до конца срока Нисану оставалось не так уж много, он бежал, не дожидаясь освобождения.

Ему стало тошно в ссылке, ему нечего было делать в этом медвежьем углу. Дни проходили в дискуссиях и спорах с другими ссыльными. Здесь были отсталые народники, пэпэсовцы<sup>1</sup>, старые польские повстанцы, социал-демократы, эсеры, бундовцы, анархисты. Все они боролись и грызлись между собой, высмеивали друг друга. Внутри каждой партии ссыльные делились на фракции, от которых то и дело отделялись новые группы раскольников. Зброшенные в глухомань, оди-

---

<sup>1</sup> То есть члены ППС, Польской социалистической партии (Polska Partia Socjalistyczna), существовавшей в 1892–1948 годах.



нокие, оторванные от большого мира, эти люди влезали своим соседям в печенки, ненавидели друг друга, отталкивали друг друга и все же друг к другу тянулись. От новичков, прибывавших в эту сибирскую даль, узнавали о новых появившихся в стране партиях и партийках, фракциях и группах, обо всех их программах и программках.

Наряду с остальными Нисан оттачивал свое ораторское мастерство и шлифовал мозг. Бывший ученик хедера, он хорошо разбирался в диалектике. Он знал новую Тору назубок, как его отец Тору старую. Он не лез в карман за цитатой из теоретиков социализма, чтобы победить оппонентов, искажающих основополагающее учение. С помощью железной логики и богатейших знаний он не оставлял камня на камне от рассуждений тех, кто хотел отступить от марксизма, протащить в неокрепшие умы собственные необоснованные мнения и идеи.

— Проще, проще, без выкрутасов, — говорил он витиям и краснобаям, так же как его отец, бывало, говаривал хасидским идуям, отходившим от Торы и пытавшимся задурить ему голову.

Черноглазый, смуглый, с маленькой черной бородкой и кудрявыми, похожими на пейсы бакенбардами, крутивший по старой синагогальной привычке во время дискуссии большим пальцем, Нисан очень напоминал своего отца реб Носке, когда тот обучал в Балуте парней. Комментарии к революционным сочинениям он записывал так же, как отец толкования к священным книгам, — на полях. Очень ловко, с неотразимой логикой, он громил разношерстных уклонистов, не только эсеров, но и пэпээсовцев и членов всякого рода фракций марксистских партий, которые своими мнениями и национальными программами исказили подлинный марксизм. Как набожный еврей-миснагид не позволяет толковать вкривь и вкось неизменную Тору и вносить в нее инородные смыслы ради собственной выгоды, так и Нисан не терпел, когда вечный марксизм загрязнялся чуждыми идеями.

Они не любили его, ссыльные из иноверцев, у них не было ни его острой логики, ни его истинно еврейского облика, ни его усидчивости в учебе. С ним нельзя было пойти на охоту в лес, нельзя было выпить. Он не получал никакого удовольствия от таких вещей. Он находил смысл только в книгах. Он глотал их днем и ночью.

Единственным человеком, который с ним сблизился, был социал-демократ Щиньский. Хотя Щиньский был поляком, бывшим учеником католической консистории, он, как и Нисан, день и ночь зубрил марксистские книги и ненавидел уклонистов, особенно пэпээсовцев, которые разбавляли чистый марксизм националистическими идеями. Он тоже не ходил на охоту, не пил, вел монашескую жизнь. Даже его русая славянская бородка была похожа на бородку набожного еврея, целиком погруженного в изучение Торы. Он охотно штудировал вместе с Нисаном одни и те же марксистские книги. Однако из католической консистории, от учителей-иезуитов он вынес свою, иезуитскую Тору, согласно которой цель оправдывает средства. Он считал, что ради идеала, ради освобождения пролетариата можно пожертвовать всем. Он кривил рот, говоря о врагах трудового народа. Он верил в незыблемые законы крушения капитализма. Но у него не было времени ждать, пока нарыв лопнет. Он хотел вскрыть его. Без ведома партии он занялся террором в Лодзи. Отсидев срок в тюрьме, Щиньский оправился в Сибирь.

— Чистка, необходима чистка, — постоянно говорил он на прогулках Нисану.

Вот с этим-то Щиньским Нисан и бежал из Сибири в фабричный город Лодзь.

Уже на вокзале, едва сойдя с поезда, он учуял запах революции в городе. Она смотрела со стен домов, чувствовалась в холодном зимнем воздухе задымленных улиц. Чем дальше он углублялся в бедные переулки, тем больше появлялось на стенах и заборах революционных надписей и прокламаций.

На углах дежурили удвоенные полицейские патрули. Их сопровождал солдат с ружьем.

Нисан отправился искать явку. Как опытный подпольщик, постигавший науку конспирации у революционеров в тюрьме, он тщательно проверил окрестности и только потом пошел в явочную квартиру. Цветочный горшок, который должен был стоять на подоконнике в знак того, что все в порядке и можно входить, был на месте. Нисан поднялся по ступенькам к двери.

— Как дела у дяди? — спросил он краснощекую и черноглазую молодую женщину, которую прежде никогда не видел.

— Он здоров и передает вам привет, — ответила краснощекая женщина и покраснела еще сильнее.

Это был пароль. Нисан вошел. Румяная подпольщица поцеловалась с ним.

— Наконец-то, — сказала она. — Мы уже чего только не думали. Вы голодны, товарищ?

— Прежде всего, воды, товарищ, — сказал Нисан. — Я не мылся несколько недель.

Вечером того же дня в квартире краснощекой молодой женщины была устроена веселая вечеринка в честь тноим — с водкой, лекехом, колбасой, пивом и множеством других вкусных вещей, которые принято подавать на семейных торжествах. Молодой парень сидел в субботнем костюме рядом с девушкой в праздничном платье. Это были жених и невеста. Гостей было несколько десятков человек, мужчин и женщин. Из знакомых Нисана присутствовали только Тевье и его дочь Баська. На самом деле вечеринку устроили в честь возвращения Нисана из Сибири. Но, опасаясь, как бы дворник не донес в участок на собравшихся, виновник торжества велел сделать вид, что отмечается тноим. Подпольщики даже приготовили текст брачного договора. Нисан рассказал о своем пути. Тевье рассказал о положении в городе.

— Лодзь наша, — сказал он. — Ты добирался несколько недель — отдохни, а потом тебя подключат к работе. Тебя не хватает здесь, Нисан.

— Я не нуждаюсь в отдыхе, — сказал Нисан. — Я впрягусь в работу сразу же. Слишком много лет прошло впустую.

Уже через несколько дней он вошел в состав профсоюзного комитета. Его первое выступление состоялось в синагоге.

На минху и майрев в большой синагоге собрались странные евреи, по большей части молодые и в короткой одежде, из тех, что молятся редко. Синагогальный служка, знакомый с новыми обычаями сторонников рабочего единства, решил упредить гостей, и, едва кантор произнес последние слова молитвы, стукнул по столу и объявил, что будет выступать магид<sup>1</sup>. Однако, прежде чем магид успел надеть талес и начать проповедь, дверь была уже заперта.

— Пусть никто даже не пытается выйти! — крикнул широкоплечий парень. — А говорить будет не магид, а наш представитель. Товарищ, вам слово!

Нисан поднялся на биму и окинул взглядом тесно набитую людьми синагогу. Сначала ему было трудно говорить. Он отвык от еврейского языка за годы тюрьмы и ссылки. Но он быстро справился с собой, и его речь полилась свободно. Большое число собравшихся, спокойствие людей, переставших пугаться и почувствовавших себя хозяевами собственной судьбы, наполнили его теплом и верой. Он видел, что его труд не пропал даром. Это вселило в него уверенность, и он с пылом заговорил с бимы, зажигая слушателей и себя самого.

Свечи перед бимой таяли и расплывались от раскаленной жары святого места.

Балутские переулки было не узнать. Все стены были увешаны прокламациями. Узкие тротуары кишели рабочими. На всех углах шла открытая агитация. Полицейские даже не показывались. А на биржах труда кипела и бурлила жизнь. Рабочий люд в коротких пиджаках и длинных лапсердаках, в шапках и платочках, — ткачи, прядильщицы, чулочницы, швеи, портные, гривастые сапожники — приходил, говорил со своими представителями, устраивал митинги, голосовал

---

<sup>1</sup> Проповедник.

за проведение забастовок, вел дискуссии, раздавал литературу, собирал членские взносы и слушал речи, которые произносил какой-нибудь стихийный оратор, взобравшись на плечи товарищей.

Простые евреи, замужние женщины, девушки-служанки, бедные торговцы — все стекались сюда рассказать о своих бедах, восстановить справедливость. Шел лодзинский торгош излить горечь сердца по поводу того, что злой квартирный хозяин выгоняет его из его полуподвальной квартирки за неплату. Шла к ахдусникам<sup>1</sup> и бедная служанка с жалобой на задержку жалованья; шли жены извозчиков искать управу на мужей-пьяниц, пропивающих заработок и оставляющих свои семьи без гроша; шли сезонные рабочие и мальчишкученики, страдавшие от произвола мастеров, которые били их и держали впроголодь. Даже неуживчивые супруги, которых не могли примирить раввины, приходили со своими претензиями на биржу и просили у ахдусников помощи.

На тротуарах, под снегом и дождем, посреди суеты и торговли, биржи труда жили своей жизнью, следили за работой в мастерских, агитировали, снабжали литературой, ссорились с противниками, регулировали размеры жалованья и число рабочих часов, вступались за обиженных и угнетенных, наказывали тех, кто не исполнял их установлений. Здесь избирали делегатов, которые ходили по мастерским и проверяли условия работы и оплаты. Отсюда посылали смелых и сильных к упрямым домовладельцам и недобросовестным хозяевам, чтобы защитить притесняемых квартиросъемщиков и терпящих несправедливость поденных работников. Отсюда отправляли представителей в лавки и магазины вызволять приказчиков и продавцов, которых хозяева удерживали на работе до поздней ночи. И здесь же составлялись бумаги, уведомлявшие богачей о том, что они облагаются налогом на содержание рабочих кухонь и революционных типографий.

---

<sup>1</sup> Странники рабочего единства (от слова «ахдус» — «единство»). В данном случае имеются в виду еврейские профсоюзы.

Приказы биржи выполнялись чаще, чем приказы полиции, потому что ахдусники были строги. Их нельзя было ни подкупить, как полицейских, ни запугать адвокатами и заступниками. Они неукоснительно защищали интересы рабочих.

А королем биржи, всемогущим и бескомпромиссным, был Тевье-есть-в-мире-хозяин, человек тертый, опытный и закаленный, с острым кадыком на жилистой шее, торчавшей из бумажного воротничка. Он был повсюду, все знал, всем руководил и ничего не упускал из виду. Его помощницей, его безотказной правой рукой была дочь Баська. Повзрослевшая, красивая и здоровая, она уже давно могла бы выйти замуж, родить детей и даже завести собственную мастерскую, стать хозяйкой нескольких станков и подмастерьев. Но она не оставляла Тевье, льнула к нему, как и в детстве. Мать ругала ее, проклинала, предсказывала, что из-за своего сумасшедшего папочки она кончит жизнь в кандалах, но Баська не слушала мать и любила отца, как и он ее.

Теперь, став вдвое старше, Баська, как и в прежние времена, когда она приходила к Нисану за литературой и любовалась им, как картиной, смотрела снизу вверх на этого смуглого мужчину, который приехал из далекой Сибири, чтобы указать людям путь в жизни. Но разговаривать с ним она не решалась, ни слова не говорила при нем, а только смущалась и краснела.

В ее взгляде было глубокое почтение старомодной еврейской девушки из семьи бедных ремесленников, со скрытой любовью и восхищением глядящей на прославленного своим знанием Торы ешиботника, ученого илуя, от которого ее отделяет пропасть.

Нисан чувствовал ее горячий взгляд на своей смуглой щеке.

Тевье расхаживал по улицам Лодзи и с тревогой, и с уверенностью. Он ощущал себя отцом Балута.

— Видишь, — говорил он Нисану, переходя с ним от одной биржи к другой, — все это принадлежит нам.

## Глава тринадцатая

**П**етроковский губернатор фон Миллер вызвал к себе в канцелярию раввина Лодзи и глав городской еврейской общины.

Главы общины надели черные костюмы и цилиндры, раввин украсил свой шелковый лапсердак медалью, полученной им от императорского двора, и все поехали в Петроков. Однако на губернатора не произвели впечатления ни черные костюмы, ни медаль. Он говорил с вызванными очень жестко.

— Ваши евреи бунтуют в Лодзи! — кричал он. — Я требую, чтобы вы обуздали своих людей! Иначе я снимаю с себя ответственность за погромы, которые может учинить возмущенный народ.

Главы общины низко склонили головы.

— Среди евреев есть разные люди, ваше превосходительство, так же как среди поляков и немцев, — стали оправдываться они. — Что мы можем поделать с бунтовщиками?

— Это ваше дело, а не мое. Смотрите у меня! — сердито ответил губернатор и саданул кулаком по столу.

Лодзинский раввин, говоривший по-русски и уважаемый властями, как всегда, нашел тонкий и хитроумный выход.

— Пусть ваше превосходительство соизволит узнать у своих подчиненных, видели ли они хотя бы одного бунтовщика, который носил бы арбоканфес.

Губернатор не понял его.

— Что вы хотите этим сказать? — строго спросил он раввина.

Раввин на грамматически безупречном русском разъяснил губернатору, что такое арбоканфес, и дал понять, что носящий его еврей соблюдает законы Торы, а значит, верен царю и не подрывает основ власти.

Губернатор принял это во внимание. Полицейские на улицах стали проверять, носят ли задержанные ими евреи арбо-

канфесы. Тех, у кого находили арбоканфес, отпускали. Прочих арестовывали. Слова раввина молниеносно разнеслись по городу. Все восхищались им, даже его противники хасиды. Главы общины, на которых губернатор так сердито стучал кулаком, собрались на совет и решили бороться с бунтовщиками. Прежде всего они направили во все синагоги и молельни магидов, чтобы те между молитвами минха и майрев выступили перед молящимися. Магиды должны были говорить о еврействе и вере, утишая умы и внушая покорность властям. По субботам главы общины посылали в бедные молельни и синагоги меламедов, чтобы они своими уроками Торы и притчами отвлекали молодых ремесленников и подмастерьев от речей бунтовщиков.

Когда это не помогло, послали за уголовниками и натравили их на сторонников единства.

Лодзинские уголовники уже давно держали на ахдусников зуб. Раньше они были королями в Балуте. Они приставали к еврейским девушкам-служанкам и брали с них деньги за право гулять по субботам в лесу. Требовали они мзду и с их кавалеров, еврейских подмастерьев. К каждому парню, который в первый раз гулял с какой-нибудь девушкой, подходил уголовник с претензией, что эта девушка — его невеста и ухажер должен раскошелиться. У тех, кто платить отказывался, срывали шапку с головы, шелковый платок с шеи, в придачу жертву били. На Пейсах, когда подмастерья шли на гулянье в новой одежде, им приходилось «обмывать обнову» — давать уголовникам на пиво. Иначе их обливали чернилами или резали платье ножами со спины.

Однако с появлением ахдусников подмастерья стали оказывать сопротивление. Они держались вместе и даже избивали своих притеснителей. И бывшие короли Балута затаили на ахдусников зло.

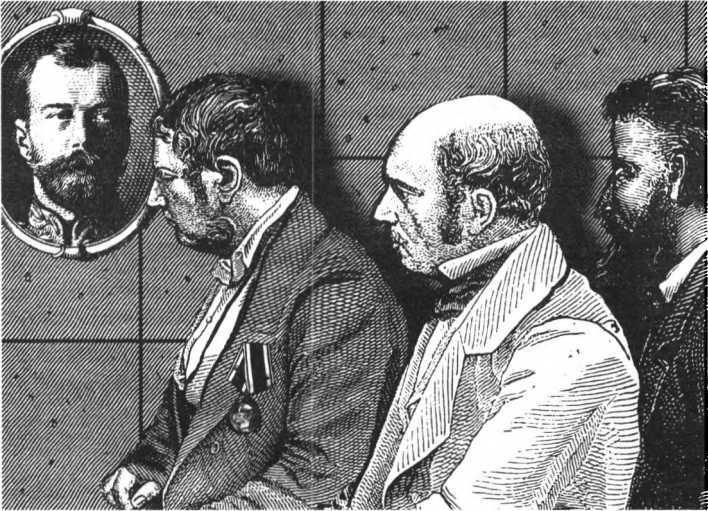
Кроме того, сторонники единства начали перебегать братьям дорогу. Они убеждали девушек-служанок не гулять с уголовниками, которые хотят их обмануть, а посещать вме-



сто этого собрания. Они призывали рабочих обходить стороной дома терпимости. Проститутки лишались заработка, а их «женихи» — карманных денег. Нескольких девушек ахдусники даже уговорили сбежать из публичного дома и стать работницами. Биржи труда тоже становились уголовникам поперек горла. Раньше со всеми бедами приходили к ним, лихим стражам Балута. За пару рублей они принуждали сбежавшего мужа вернуться в покинутую семью. За стакан шнапса и гусиные пупки они могли наломать бока злому хозяину, мучившему своего слугу; отлупить жену-изменницу; подбить глаз девушке, уводящей чужого жениха. Но теперь все обиженные и угнетенные шли не к уголовникам, а на биржи. Так что балутские сорвиголовы слонялись без дела, им не на что было выпить шнапса и закусить гусем. Самые ловкие и сильные, добывавшие своим напором и лихостью почет и уважение всей братве, поддались на агитацию ахдусников и перешли на их сторону. Они больше не желали встречаться с прежними дружками. И дружки пылали на ахдусников злобой. Постоянно случались драки.

Лодзинские купцы и богачи, которые тоже немало терпели от сторонников единства и к тому же были вынуждены время от времени давать им деньги для их организаций, с куда большей охотой заплатили уголовникам, чтобы те расправились с ахдусниками. Уголовники должны были хорошенько проучить их, переломать им кости. Они сговорились между собой, вооружились и приготовились к войне. К братьям прибились извозчики. Ахдусники досаждали и им, подстрекая наемных конюхов и погонщиков требовать повышения жалованья. Кроме того, сторонники единства отвергали Бога, смеялись над раввинами и праведниками, пренебрегали изучением Торы и еврейской верой вообще. Извозчики не могли этого вынести.

Но особенно всех разозлила история с электричеством. В Балуте умер от чахотки молодой подмастерье. Люди из балутского погребального братства тут же пришли, чтобы



приготовить тело усопшего к погребению. Они принесли арбокканфес для покойника, потому что если он не носил арбокканфеса при жизни, то пусть хотя бы прибудет в нем на тот свет. Но ахдусники отобрали у них тело умершего, не дали его обмыть, как положено по обычаю, не дали надеть на него саван и арбокканфес, а завернули в красное полотнище и со знаменами и песнями труда отнесли на кладбище. При этом какая-то ахдусница, литвачка в красном платье, сказала, что, когда человек умирает, из его тела выходит не душа, а электричество.

Евреи-могильщики и люди из погребального братства услышали эти слова и сразу же разнесли их по всему городу, по всем рынкам, синагогам, микве, по всем улицам и переулкам — от Петроковской до Балута. Город забурлил.

— Конец света, — вздыхали евреи. — Ведь даже иноверцы признают, что есть душа.

— Из-за этих безбожников на город обрушатся несчастья и эпидемии, Господи, спаси и сохрани!

— Их надо искоренить безо всякой жалости!

— Сдать их полиции, чтобы они сгнили в тюрьме в кандалах!

Все магидаы и меламеды говорили в синагогах об этом электричестве. Сам раввин Лодзи проповедовал перед верующими и сказал, что, согласно еврейскому закону, ахдусников можно убивать, потому что именно про таких, как они, сказано, что, когда они тонут, их не только не надо спасать, но, напротив, следует спихивать их в воду.

Больше всех кипятились извозчики в своих молельнях и уголовники из переулка Свистунов. Как только в темном углу им попадался ахдусник, они тут же мяли ему бока. Ахдусники мстили уголовникам и били их. Полиция держала сторону братков. Кровь кипела, и однажды ночью разразилась настоящая война.

Дядя Зхарья Пунц, хозяин нескольких веселых домов в Гулящем переулке, выдавал сироту замуж за сапожника. У са-

мого Зхарьи Пунца не было детей, поэтому он воспитал в своем доме сиротку и нашел ей мужа не среди братков, а среди ремесленников, чтобы она была честной еврейкой. Свадьба была большая. Играло несколько клезмерских капелл. Пришло много гостей и со стороны жениха, и со стороны невесты. Со стороны невесты пришли сутенеры и воры, ребята Зхарьи Пунца, а со стороны жениха — сапожники, несколько кожевенников и седельников. Все крепкие рабочие парни и все как один ахдусники.

Уже во время обряда бракосочетания, когда раввинчик из молельни уголовников богобоязненно пел благословения гнусавым бабским голоском, ахдусники, эти просвещенные безбожники, не могли сдержаться и рассмеялись. Бычий затылок Зхарьи Пунца налился кровью от ярости.

— А ну кончайте смеяться над раввином! — рявкнул он, стоя под свадебным балдахинном. — Я этого не допущу!

— Эй, электричество, заткни пасть, — предостерегли ахдусников гости со стороны невесты.

Сапожники, а тем более кожевенники и седельники, молодые и сильные парни, выпятили грудь.

— Посмотрим, кто нам заткнет пасть, — ответили они.

Стороны сжали кулаки, готовясь к драке. Раввинчик прервал пение, встал между враждующими и не допустил потасовки.

— Ну стыд и позор! Это же свадьба, — уговаривал он своих. — Всё, мир!

Молодчики остановились.

Однако в продолжение торжества, во время дрошегешанк<sup>1</sup>, снова возник спор. Гости со стороны невесты были очень щедры. Они давали трешки, пятерки и даже десятки. Хромой служка из синагоги уголовников, сам бывший вор, которого на старости лет приставили к работе в святом месте, очень торжественно кидал купюры на стол. Ахдусники дари-

<sup>1</sup> Буквально — «подарок за проповедь» (*идиши*) — элемент традиционной еврейской свадьбы, включающий в себя вручение подарков молодоженам.

ли по полтиннику, редко по целому рублю. Братки стали издеваться над рабочими.

— Эй, поищите там что-нибудь еще, — кричали они гостям со стороны жениха, вынимавшим гроши из своих тощих кошельков.

— Слышь, лектричество, смотри не суй фальшивых монет...

Рабочие не смолчали.

— Нам нелегко достаются наши деньги, — сказали они. — Мы тяжело работаем за каждую копейку, не то что другие... За честный труд из нас пьют кровь.

Братки почувствовали себя задетыми.

— Кого вы хотите подколоть? — злобно спросили они.

— Того, кому обидно это слышать, — ответили рабочие.

В тот же миг пивная кружка полетела со стороны гостей невесты в сторону гостей жениха и попала в лицо кожевеннику. Кровь и пиво хлынули на новую белую манишку, которую он купил в честь свадьбы.

Друзья кожевенника швырнули несколько ответных кружек. В одно мгновение скатерти вместе с кружками, стаканами, тарелками и подарочными деньгами оказались на полу. Мужчины скинули пиджаки, схватили стулья, подсвечники, ножи — все, что попало под руку, — и начали бить противников по головам. Женщины визжали. В конце концов рабочие ушли с обидой. Уголовников было больше, и они одержали верх.

Наутро все сапожники бросили работу и вышли из мастерских. К ним присоединились седельники, шорники, кожевенники и рабочие смежных специальностей, примкнули погонщики лошадей и рубщики мяса. С палками в руках, с ножами в карманах они отправились в Гулящий переулок и принялись крушить веселые дома. Они вышвырнули на улицы кровати и постельное белье, изрезали платья уличных женщин, разломали старые пианино и разорвали висевшие на стенах легкомысленные литографии.

— Работать идите! — кричали они. — Долой притоны и легкие деньги!

Проститутки вопили, звали на помощь, рвали на себе волосы и рыдали.

В переулке поднялась суматоха. Жена Зхарья Пунца сорвала с головы черный свадебный парик.

— Зхарья, спасай шлюх! — голосила она. — Нам портят товар!..

Но Зхарья боялся спасать проституток. Рабочих было много. Он побежал за своими ребятами. Когда появились уголовники, все веселые дома в переулке были уже разгромлены. Перья летали в воздухе, как снежинки. Под ногами трещало стекло. Братки пришли с ножами. С ними были извозчики. Но рабочие стояли железной стеной. Они работали своими сапожными ножами ловко и проворно, словно кроили кожи. Уголовники ушли побитыми и униженными.

Весть о победе ахдусников разнеслась по всему городу. Уголовники боялись ходить мимо биржи труда. Ужас напал на мастеров и хозяев. Даже полиция стала страшиться сторонников единства, победивших сорвиголов из переулка Свистунов. Никто больше не осмеливался возражать в синагоге, когда ахдусники заменяли проповедь своей агитацией. Никто не перечил, когда с биржи приходили забрать подмастерьев, продолжавших работать после семи вечера. Никто не пытался препираться, когда по спискам собирались взносы на рабочие кухни. Даже рестораторы бесплатно кормили безработных, приводимых к ним представителями ахдусников. Фабриканты опасались появляться на улицах в своих каретах. Те из них, что поосторожнее, уехали пережидать бурю за границу, оставив все дела на управляющих.

Новости с дальневосточных фронтов становились все хуже и хуже. Азиатские язычники били православных русских на суше и на море. Слепые нищие украдкой пели по дворам о поражениях русских солдат. Все городские углы кишели казаками.

## Глава четырнадцатая

**Ф**абрика Хунце остановилась. Рабочие бросили работу. Главный директор Макс Ашкенази не выходил за ворота фабрики. Он боялся показаться на улице. Фабричный приказчик Мельхиор постелил ему на широкой кровати покойного Альбрехта и всю ночь сторожил у его двери с заряженным револьвером в руке.

Максу Ашкенази не спалось на просторной кровати, где покойный директор так удобно устраивал свое грузное тело рядом с приходившими к нему убираться прядильщицами.

Ему была дорога каждая минута. По контракту с главным интендантством он должен был поставить много военных товаров. За невыполнение контракта фабрике грозили большие штрафы. Прежде Макс Ашкенази никогда не останавливал фабрику. Люди трудились в две смены, днем и ночью. Все было отлажено, рассчитано. Предприятие работало четко, как часы. Каждая секунда превращалась в золото. Но вдруг фабрика встала.

Макс Ашкенази забыл об одном — о рабочих. Он все предвидел, все учел. Каждую мелочь. Каждый винтик огромной фабрики. Но о людях он не подумал. Он знал, что в рабочей силе недостатка нет, ее даже больше, чем требуется. Знал он и то, что эта сила должна работать, давать столько, сколько нужно. А она вдруг взбунтовалась. В один прекрасный день, когда он сидел у себя в кабинете, с головой погруженный в дела, к нему пришел приказчик Мельхиор и сообщил, что с ним хочет поговорить делегация фабричных рабочих.

— Делегация фабричных рабочих? — переспросил крайне удивленный Макс Ашкенази. — У меня сейчас нет времени, в другой раз.

Мельхиор вышел из кабинета и передал рабочим слова господина директора. Он думал, что они уйдут, как всегда в таких случаях. Однако рабочие не ушли.

— Скажи директору, — потребовали они, — что у нас тоже нет времени и, если он не примет нас немедленно, фабрика остановится.

Макс Ашкенази поскреб подбородок. Мягкое директорское кресло вдруг стало жестким. Он поправил свой галстук, сбившийся, как всегда, набор. Стряхнул пепел с лацканов пиджака, поглубже сел в кресло и закурил свежую сигару, большую и душистую. Он придал своему не слишком представительному лицу выражение особой важности. Потом с той же важной миной написал несколько бессвязных слов на клочке бумаги. Просто так, чтобы выиграть пару минут и показать ожидающим, что он не торопится и не боится угроз.

Рабочие вошли в кабинет с шапками в руках, но уверенно и прямо. Некоторые из них даже не вытерли толком свои обляпанные грязью сапоги. Макс Ашкенази встретил их клубом густого и пахучего сигарного дыма.

— Что случилось? — спросил он из сизого облака.

— Мы делегаты от всех рабочих фабрики, — сказали вошедшие и стали зачитывать по бумажке свои условия.

Максу Ашкенази ужасно хотелось выхватить у них эту бумажку, смять и выбросить, как в тот день на исходе субботы, когда он еще работал в ткацкой мастерской тестя и ткачи заявили к нему со своим ультиматумом, но он сдержался. Человек должен уметь выбирать время, различать, что он делает, где и когда. Нет, теперь такой номер не пройдет. Это не еврейские ткачи, работавшие на ручных станках. Это иноверцы, настоящие убийцы. Он помнил об этом. Они не побоялись прокатить покойного Альбрехта в тачке и с метлой в руке. Такие могут и ножом пырнуть. Человеческая жизнь в их глазах недорого стоит. Ни чужая, ни даже собственная. Поэтому Макс Ашкенази сидел, тянул вниз края жилетки, словно она была ему коротка, и молча слушал оглашаемые делегатами условия, одно за другим.

Для него, главного директора, это были очень тяжелые требования. Рабочие хотели, чтобы фабрика работала не в



две, а в три смены — по восемь часов в каждой. Макс Ашкенази подпрыгнул на месте.

— Давно ли вы работали по шестнадцать часов в сутки? — спросил он. — А теперь уже и двенадцать для вас слишком много?

— Мы можем работать по двенадцать часов, — ответили рабочие, — но за лишние четыре часа в смене должна идти отдельная оплата.

— Исключено! — отрезал Макс Ашкенази.

— За ночные рабочие часы платить на пятьдесят процентов больше, — прочитали по бумажке делегаты.

— Безумие, — отмахнулся главный директор.

— И повысить зарплату на двадцать пять процентов, — добавили они.

— Это все? — с издевкой спросил Ашкенази.

— Пока все, — спокойно ответили делегаты.

Макс Ашкенази запустил пальцы в бородку и растрепал ее.

— Я думаю, что, хотя вы и рабочие, вы немного смыслите в счете, — сказал он и выждал.

Люди не знали, куда он клонит, и молчали.

Макс Ашкенази быстро набросал на бумаге цифры.

— Если я соглашусь хотя бы на половину ваших требований, — ткнул он в свои записи, — фабрика будет работать в убыток, а этого нельзя допустить.

— У нас собственные подсчеты, — сказали рабочие. — Доходы фабрики — не наше дело, а дело господина директора.

Макс Ашкенази резко стряхнул пепел с сигары и засыпал им свой английский костюм.

— Нет, это дело каждого из нас, — с улыбкой сказал он. — Мы все должны быть заинтересованы в доходах фабрики, все, кто здесь работает. Иначе придется закрыть предприятие.

— Это дело господина директора, — повторили делегаты.

— Закрывать фабрику легко, но трудно открыть ее снова, — погрозил пальцем Макс Ашкенази. — Времена тяжелые. Тысячи рабочих с других, остановленных предприятий желали

бы получить у нас место. Я не остановил нашу фабрику, я нашел для вас работу. И вот благодарность?

— Господин директор беспокоился не о нас, а о себе, — ответили рабочие. — Если дирекция не согласится на наши условия, мы будем бастовать.

Макс Ашкенази применил тактику маленьких слабых зверушек, которые в случае угрозы со стороны сильного врага притворяютсядохлыми.

— Я тут не более чем наемный работник, — сказал он, — так же как и вы. Фабрика принадлежит господам баронам. Их нет в стране. Только они могут принимать решения по таким серьезным вопросам. Как только они приедут, вы выдвинете свои требования непосредственно им. Я не могу ничего решать без господ баронов.

Он хотел выиграть время. Как бы там ни было, останавливать фабрику сейчас он не мог. Но рабочие не дали ему отсрочки.

— Мы не знакомы с господами баронами, мы знаем только дирекцию, — ответили они. — Мы даем директору несколько дней, чтобы спросить телеграммой мнение господ баронов. Ждать их приезда мы не будем.

За эти несколько дней Макс Ашкенази испробовал много способов, пытаясь спасти положение. Сначала он прибегнул к старому, проверенному пути, который так выручил его во времена его работы в текстильной мастерской тещи, — пути через полицию. Он больше не посылал за дележкой Липой Халфаном. Он сам пригласил начальника полиции в ресторан и взял его, как говорится, за жабры. Фабрика Хунце больше не работает приватным образом. Она выполняет военные заказы, снабжает товарами армию. Она делает патриотическую работу, и если по вине рабочих предприятие остановится, это нанесет ущерб фронту. В интересах властей не допустить остановки фабрики; надо послать туда солдат, чтобы проучить бунтовщиков и заставить их работать в прежнем режиме. Начальник полиции облизал усы,

которые он обмочил во вкусном вине, и отрицательно покачал головой.

Он не может сейчас раздражать фабричных рабочих. С ними и так хватает неприятностей. Полицейские напуганы. Каждый день кого-нибудь подстреливают. Губернатор не будет вмешиваться. Теперь не старые времена. Лучше всего господину директору самому с ними договориться.

Тогда Макс Ашкенази попробовал зайти с другого конца. Он стал вызывать к себе делегатов, тайно и каждого по отдельности, и внушать, что пора бы им прекратить заботиться об интересах ближних и начать думать о себе и что, если они перестанут пещься о всеобщем благе, дирекция их достойно наградит. Но делегаты не захотели его слушать. Одни обиделись, другие испугались, берегли свою шкуру.

Следующим шагом Макс Ашкенази велел своим людям вербовать на улице безработных ткачей и прядильщиц, чтобы напугать собственных рабочих и сломить их. Но безработные не пошли на фабрику Хунце. Некоторые боялись за свою жизнь. Многие были сагитированы революционерами и поддерживали забастовщиков.

Когда все способы были исчерпаны, Макс Ашкенази обратился к последнему средству — остановил фабрику, чтобы дать рабочим ощутить вкус голода и вымотать их. Пусть только пройдут несколько недель, думал он, пусть они съедят последние запасы хлеба и картошки, и они будут его умолять принять их обратно. Правда, фабрике было очень невыгодно закрываться сейчас, когда надо работать днем и ночью и поставлять большие объемы товаров. Это сущее несчастье для фабрики, но пусть они измучаются, пусть только придут его просить — тогда уж они заплатят за нанесенный ущерб. С процентами заплатят.

Макс Ашкенази забаррикадировался в пустой фабрике, заперев ее на семь замков, и ждал дня своей победы. Он боялся сунуть нос за фабричные ворота в эти беспокойные дни, когда тысячи его рабочих слонялись по улицам без дела, под-

стрекаемые прокламациями и разжигаемые революционными ораторами. Он жил один-одинешенек в холостяцкой квартире прежнего директора, спал на его кровати и ел то, что ему посылали из дому. На фабрику, как в крепость, никого не впускали. Мельхиор, фабричный приказчик, неотлучно сидел с заряженным револьвером у двери господина директора. От скуки Ашкенази даже принялся читать бульварные романы, оставшиеся от покойного Альбрехта. Он читал их ночи напролет. Спать этими тихими и долгими ночами он не мог. Без шума машин сон его не брал. Но они, рабочие, против его ожиданий так и не пришли к нему на поклон.

Властителями города теперь были революционеры. Они прибрали к рукам рабочих с фабрики Хунце. Забастовщиков поддерживали все: польские, немецкие и — яростнее и тверже всех — еврейские борцы за лучший мир. Ахдусники распространяли тысячи прокламаций, произносили перед рабочими пламенные речи, призывали не сдаваться, настраивали их против баронов Хунце и директора Ашкенази.

Нисан не знал отдыха в эти дни. Он встречался с немецкими мастерами, собирал деньги для бастующих, выступал с речами, писал листовки. Теперь это было не то, что тогда в Балуте с хозяином мастерской Симхой-Меером. Это был протест тысяч сознательных рабочих, бунт пролетариев против крупного капитала, против мануфактурных баронов и их пособника Макса Ашкенази. Здесь стоило бороться, стоило не жалеть себя.

Раньше они не спешили с забастовками и революциями, эти немецкие и польские рабочие, в отличие от еврейских ткачей из мелких мастерских. Их, немцев и поляков, в первую очередь занимало сидение в пивных, воскресные прогулки в полях и другие иноверческие удовольствия — это нравилось им больше, чем слушать в кружках лекции по политической экономии. Еврейские подмастерья внимали им куда охотнее. Нисан от этого сильно страдал. Теперь он дождался. Большие фабрики начали двигаться в правильном направлении. Наконец-то и в эти крепости проникла искра революции. Ни-

сан делал все, чтобы раздуть из нее пламя, яркое и бушующее. Смуглый, черноглазый, с черной бородкой и похожими на пейсы бакенбардами, он носился по бурлящей Лодзи, писал прокламации, выступал на собраниях, разъяснял, поддал жару, проводил целые ночи в тесных, битком набитых прокуренных комнатах, где совещались революционеры. Он почти не спал; все, что он себе позволял, — это на несколько часов вздремнуть, не раздеваясь, на скамейке. Его люди помогали ему. Они вкладывали в эту ленивую иноверческую забастовку весь свой еврейский пыл и восторженность.

Макс Ашкенази посинел от злости в своей квартире-убежище, когда доверенные люди рассказали ему о Балуте, ведущем войну против его фабрики. Чего они хотят? Чего они лезут? Они не работают у него и никогда не будут работать. Так какое им дело до рабочих-иноверцев? Ашкенази пылал гневом против сына меламеда, заварившего всю эту кашу. Надо бы стереть этого врага Израиля в порошок, упечь его, как когда-то, да так, чтобы никто не знал, где его кости зарыты. Это он со своими приспешниками подстрекает Лодзь. Если бы не эти балутские оборванцы, все было бы тихо. Иноверцы как раз хотят работать, у них есть для этого силы, им неважно, часом больше или часом меньше. Главное для них — получить в субботу свои деньги и отправиться в шинок. Это евреи воду мутят. Они слабые, сами работать не могут, вот и совращают иноверцев, забивают им голову социализмом и рабочим единством. Они еще доиграются, раздражат нечестивцев, и те, как обычно, начнут бить евреев. Макс Ашкенази кусал губы от злости. Если бы он только мог, если бы они не были такие отчаянные, он бы их, этих вероотступников, проучил. Проучить таких — доброе дело, ведь они идут против евреев и защищают иноверцев.

Но проучить ребят из Балута он не мог. Не только он, даже полиция была против них слабовата, боялась с ними связываться. Ничего не поделаешь, они и впрямь захватили город. Даже посылают своих представителей за деньгами, и приходится им давать. А теперь вот они распалили рабочих его

фабрики, разожгли пожар. В своих прокламациях они агитируют против него, честят его и ругают на чем свет стоит, внушают рабочим, что он кровопийца, эксплуататор. Иноверцы верят им, и кто знает, к чему это может привести! Разве разъяренным иноверцам трудно пустить ему пулю в голову или воткнуть нож в спину? Правда, пока он сидит на фабрике под охраной. Но вечно так сидеть невозможно. Время не терпит! Жаль каждого дня, каждого часа, каждой минуты. Из интендантского управления требуют товар. Дел полно. Надо ездить, двигаться, предпринимать шаги. В одну из бессонных ночей на широкой кровати покойного директора Альбрехта, среди тысяч других догадок и идей, Макс Ашкенази пришла мысль о том, что ему стоит переговорить с этими балутскими ребятами и их вождем, сыном меламеда.

Они, конечно, мерзавцы, вероотступники, но переговорить с ними надо. Он, Макс Ашкенази, сильно верил в свой ум, в свою способность убеждать людей. Кстати, сам этот Нисан не какой-нибудь малограмотный недоумок. Он еще на уроках своего отца, реб Носке, перебежал ему, Симхе-Мееру, дорогу во время занятий Геморой. Правда, однажды ему уже пришлось столкнуться с Нисаном, когда тот пришел к нему на исходе субботы защищать ткачей из мастерской реб Хаима Алтера. А потом Нисана сослали. Но, во-первых, никто не знает, что он, Ашкенази, имел к этому отношение. Тот литвак, писаришка, обещал, что будет нем как рыба. Кроме того, это старые дела. Он же потом снова сидел, уже за другие грехи, так что прошлое забыто. А если Нисан до сих пор держит на него зло за прежнее, то он, Макс, убедит его, что это не его вина, как Бог свят, что полиция тогда сама вмешалась. Наоборот, он, Симха-Меер, даже просил тогда за них, но ничего не помогло. О, ему надо только встретиться с Нисаном, уж он с ним договорится, он его склонит на свою сторону. Он, слава Богу, умеет убеждать людей, обращаться к их разуму и сердцу.

И он сел к столу и написал письмо своему товарищу по хедеру. На витиеватом древнееврейском языке, как пишут

уважаемым людям и настоящим знатокам Торы, со множеством поговорок и цитат из Геморы, с пространными старомодными восхвалениями в адрес достопочтенного адресата, заслужившего восхищение и всевозможные почести своими добродетелями и благородством. Он просил Нисана соблаговолить прийти к нему на фабрику, чтобы обсудить чрезвычайно важные дела. И добавлял, что отнюдь не из высокомерия или, не дай Бог, пустой гордыни он просит высококочтимого гостя прийти к нему, а не идет к гостю сам, но по причинам, понятным разумному человеку, к числу которых, несомненно, принадлежат его, Макса Ашкенази, честь и то обстоятельство, что он не может покинуть территорию фабрики. Мудрецу достаточно намек! «Будет очень приятно видеть высокоуважаемого гостя в моем убогом шатре», — закончил Ашкенази и подписался: «От меня, ожидающего вашего визита, Симха-Меер а-Леви<sup>1</sup> Ашкенази».

Он написал это длинное послание самыми красивыми буквами с завитушками, с удовольствием переписал его и отдал одному из своих людей, наказав посыльному достать адресата из-под земли и вручить ему письмо. Небось на бирже он его найдет.

Несколько часов комитет дискутировал по поводу этого послания из вражеского лагеря. Проигнорировать его? Ответить отказом? Или принять приглашение? Тевье не советовал идти. Он опасался провокации. Может быть, там сидит полиция, и Нисана сразу же арестуют. Но Нисан не верил в это. Нет, Ашкенази не так глуп, чтобы пойти сейчас на такое. Он человек практичный, разумный, и если он посылает письмо с предложением поговорить о чрезвычайно важных делах, стоит его выслушать. Противника надо знать как следует. Но Нисан не хотел идти один, чтобы не вызвать подозрений у рабочих. И вечером кружными путями он отправился на фабрику с двумя сопровождающими. Ворота тяжело, как в тюрьме, отворились и закрылись снова. Макс Ашкенази ждал у откры-

<sup>1</sup> То есть левит, представитель колена Леви, избранного для служения Богу.

той двери своего кабинета. Увидев трех человек, он нахмурился. Он предпочитал разговаривать с глазу на глаз. Однако он тут же надел на лицо веселую и гостеприимную маску и пожал руки всем троим.

— Очень рад, — заговорил он на своем небезупречном немецком. — Прошу вас, господа.

Разговор начался с Торы.

— Я тут же узнал вас... тебя, — сказал он Нисану. — Все-таки знатока Торы отличаешь сразу...

Он не знал, как ему обращаться к Нисану: на «ты», как к бывшему товарищу по хедеру, или на «вы» — поэтому он немного путался. Но Нисан держался холодно и отстраненно, и Ашкенази стал обращаться к нему на «вы» и по-немецки.

— Прошло уже много времени с тех пор, как мы учились у вашего отца, реб Носке. Но я все еще помню наш последний урок, — сказал он с сияющим лицом. — Я по-прежнему помню его наизусть...

Он взглянул на сидящих вокруг и начал быстро пересказывать тот урок из Геморы, так же крутя при этом пальцем, как в дни, когда они действительно изучали Гемору.

— Вы это помните, Нисан? — спросил он.

— Я больше этим не занимаюсь, — холодно ответил тот.

— Жаль, жаль, — печально сказал Ашкенази. — А я, хотя я и очень занят, люблю иной раз заглянуть в священную книгу. Да что тут стыдиться? Иной раз я сам даю новый комментарий. Когда у меня появляется немного свободного времени, я записываю его. Одно другому не мешает.

Он снова взглянул на гостей, ожидая, что они восхитятся им, директором большой фабрики, который все еще находит время писать новые комментарии, но не увидел на их лицах ни следа восхищения. Он почувствовал себя задетым.

— Ладно, эти господа, — он указал на друзей Нисана, — наверное, не очень разбираются в священных книгах. — Искренне прошу у вас прощения, господа...

— Вы нас этим не обидели, — сказали ему гости.



— Но вы, Нисан, — знаток Торы и всегда останетесь им, — с наслаждением продолжал Ашкенази. — У того, кто однажды ощутил вкус фрагментов из Абайе и Равы, Гемора прочно сидит в голове. Куда бы эта голова ни поворачивалась... Это — в крови...

И он тут же рассказал, как бароны Хунце спросили у него, в какой академии он обучался, и как он им ответил, что обучался в талмудической академии у профессоров Абайе и Равы...

Это доставило ему большое удовольствие, и, оттаяв, он по-домашнему прикоснулся к коленке Нисана. Но Нисан отодвинулся от него и остался холоден. Тогда Ашкенази в одно мгновение стряхнул с себя талмудическую ученость, и свое панибратство, и Тору, и еврейский язык, на который он периодически сбивался. Он снова стал Максом Ашкенази, директором крупнейшей мануфактурной фабрики, гордым и деловым.

— Итак, к делу, господа, — снова перешел он на немецкий. — Как вам известно, рабочие этой фабрики бастуют.

— Да, мы знаем, — ответили пришедшие.

— Условия, выдвигаемые забастовщиками, не могут быть восприняты всерьез, — продолжал Ашкенази. — Восьмичасовой рабочий день...

— Работать восемь часов абсолютно достаточно для человека, — вставил Нисан.

Ашкенази молча смотрел на него пару минут.

— Кто бы мне дал на подпись договор, по которому мне не приходилось бы работать по шестнадцать часов в сутки, — сказал он и напряженно взглянул на пришедших. — Все знают, что я сильно перерабатываю.

— Вы работаете на себя, господин Ашкенази.

— Нет, я работаю на фабрику, ради всех ее людей. Если бы я не перерабатывал, а считал бы часы, предприятие закрылось бы наравне с остальными и рабочие слонялись бы по улице. Но благодаря своему тяжелому труду я нашел работу

для фабрики, для тысяч ее рук, и не для одной смены, а для двух. Мы все винтики огромной машины.

— Только вы, господин Ашкенази, зарабатываете в день больше, чем рабочий за полгода.

— Каждому по способностям, — перебил Ашкенази, — по его вкладу в общее дело. Я сижу здесь не за красивые глаза, господи, и не за свое еврейство.

Он наклонился к гостям поближе и, понизив голос, заговорил с ними на простом лодзинском еврейском:

— Не случайно я, еврей, стал директором крупнейшей фабрики. Начальником над тысячами работающих здесь иноверцев. Вы думаете, меня тут любят? Меня ненавидят, но нуждаются во мне. Без меня здесь все бы рухнуло. Не думайте, что деньги дают просто так. Каждый имеет столько, сколько он стоит. Тот, кто производит упаковку товара, получает за эту упаковку. А кто приносит миллионы, тот и получает соответственно...

— Против этого мы и боремся, — сказал Нисан.

Ашкенази очень по-еврейски взялся за кончик бородки и стал похож на мудреца, знатока Торы. При этом он вырвал из бородки несколько волосков.

— Ладно тупоголовые иноверцы. Когда они говорят глупости, я понимаю, — сказал он тоном изучающего Гемору. — Я говорил с ними, как с людьми, показывал подсчеты, из которых яснее ясного следует, что, если выполнить даже половину их требований, фабрика закроется, потому что все имеет свои пределы, даже сила машины, и когда на нее возлагают больше, чем она может вынести, она дает сбой. Вы-то евреи и умеете считать. Ваши люди, как я слышал, даже экономику изучают. Вот вам мои подсчеты. Они абсолютно точны. Разве мы можем принять столь несуразные требования?

— Мы считаем иначе, — сказал Нисан. — Мы считаем дивиденды хозяев и огромные жалованья директоров и руководителей.

Макс Ашкенази поднялся со стула.

— Послушайте, господа, — сказал он, — ради места в раю мы работать не будем. У нас свои купеческие расчеты, и, когда дело того не стоит, мы его ликвидируем. При отсутствии выгоды мы будем вынуждены закрыть фабрику, и тысячи людей окажутся на улице без работы.

— Это все, что вы хотели сказать, господин Ашкенази? — спросил Нисан. — Для этого вам не стоило нас приглашать.

Макс Ашкенази сделал несколько шагов взад-вперед по кабинету.

— Я посылал за вами не для того, чтобы говорить о фабрике, — гневно бросил он, — потому что давайте не будем себя обманывать, вам по поводу этой фабрики сказать нечего. Вся ваша сила — в Балуте, среди еврейских ткачей, работающих на ручных станках, а у нас тут пар и рабочие-иноверцы. Но испортить дело может и кошка, и вы портите. Вы подстрекаете иноверцев.

— Мы не знаем никаких иноверцев. Мы знаем только рабочих и эксплуататоров, — прервал его Нисан.

— Но иноверцы-то знают христиан и евреев! — с издевкой сказал Ашкенази. — Единство, единство, твердите вы, но попробуйте взять на эту фабрику хотя бы одного еврея. Иноверцы прибьют его и вышвырнут вон!

Нисан покраснел. Это было его слабым местом.

— Это ваша вина, — начал защищаться он. — Вы и вам подобные загнали еврейского рабочего в Балут!

Ашкенази перебил его.

— Мы говорим сейчас не как директора и рабочие, — сказал он. — Так я разговариваю с иноверцами. А с вами я говорю, как еврей с евреями. Над городом нависла угроза. Вы слышите? Угроза! Прольется еврейская кровь!

— У нас есть отряды самообороны, кроме того, мы завоевали симпатии рабочего класса. Вы нас не напугаете, господин Ашкенази.

— Ложь, обман! — Ашкенази ударил рукой по столу. — На ваших же собственных собраниях ораторы-иноверцы говорят обо мне жуткие вещи. Не о хозяевах этой фабрики, а обо мне, еврее. Они издеваются над моей речью, моим акцентом, и рабочие ржут. Еврейские лавочники уже трясутся от страха. К ним приходят за едой иноверцы и говорят, что, когда станет совсем плохо, они будут их грабить. Всегда в таких случаях страдал наш народ, вспомните тот май, дни большого грабежа и погромов. И вы, евреи, сами разжигаете этот пожар!

Три гостя одновременно поднялись со своих мест.

— Господин Ашкенази, мы не намерены выслушивать ваши националистические проповеди, — сказал Нисан. — Зря вы пригласили нас к себе.

— Буржуазная наглость! — разозлился один из друзей Нисана. — Я с самого начала не хотел сюда идти. Пойдемте, товарищ Нисан.

Нисан вышел со своими товарищами за тяжелые фабричные ворота и поехал на дрожках домой. Погода была плохая — дождливая и промозглая. Вечно чумазый город тонул теперь в дорожной грязи. Разбросанные там и сям по улицам Лодзи деревья торчали, как большие ободранные метлы. Извозчик не переставал хлестать свою полудохлую лошаденку и проклинать ее на чем свет стоит за то, что она едва плетется по плохо замощенным лодзинским улицам, полным выбоин и ям.

— Но, мертвая! Эй, шкура ты облезлая, на, получай!..

Так же промозгло, дождливо и тяжело было на душе у Нисана. Горькие слова Макса Ашкенази сверлили его мозг, рвали на куски его сердце.

— Необходимо немедленно начать организацию самообороны, — тихо сказал он двум своим спутникам. — Завтра же надо будет поставить этот вопрос на повестку дня.

— Завтра же, — согласно пробормотали его товарищи и получше укутались в пальто, защищаясь от пробирающей до костей сырости этого города.

## Глава пятнадцатая

**В** последнее время Макс Ашкенази стал избегать своего дома, жены и детей. Он ночевал в холостяцкой квартире покойного Альбрехта, перешедшей к нему вместе с постом главного директора. Одновременно он начал скупиться на домашние расходы и сильно ограничивать жену в средствах.

Диночка Ашкенази чувствовала себя подавленной.

Юность ее давно осталась в прошлом. Она еще молодилась, как и мать, но ее каштановые волосы седели все больше. Под глазами появилась сеточка мелких морщин. Живот обвис от беременностей и родов, а на стройных ногах показались синие жилки. Как у большинства женщин старше сорока, у Диночки стали обнаруживаться болезни, прежде всего женские. Мужчины еще оглядывались ей вслед, когда она шла по улице. Она очень искусно прятала обвисший живот под корсетом, ретушировала морщинки у глаз макияжем, а волосы зачесывала так, что каштановые пряди скрывали седину. Но дома, особенно по ночам, когда она расшнуровывала все корсеты, первые признаки старости становились заметны, и бессонными ночами ей было тоскливо одной в постели глядеть на вторую, подолгу пустовавшую кровать. Детей тоже не было рядом. Старший, Игнац, жил за границей. Замкнутый, мрачный, он всегда вел себя в доме как чужой и постоянно огорчал мать. Так же, как отец вечно был по горло занят и все вокруг него кипело и бурлило, сын был ленив, небрежен и распушен. С детства он не хотел учиться, ссорился с друзьями. Едва подружившись с кем-нибудь, он тут же с ним ругался. Как и отец, он хотел властвовать, всюду быть главным. Но при этом не обладал ни силой воли Симхи-Меера, ни его энергичностью. Честолюбие Ашкенази сочеталось в нем с сибаритством Алтеров — крайне неудачный союз свойств, то и дело приводивший к конфликтам. Из-за вечных ссор Игнац был угрюм, зол и недобро-

желателен. Он всех ненавидел, особенно отца. Отец был его главным врагом. В его величии Игнац видел собственную ничтожность. Видел он и отчужденность Макса Ашкенази и ловил его подозрительные взгляды на тетради сына. Проверая их, Ашкенази-старший всегда говорил одно и то же.

— Непостижимо, как этот мальчишка ничего от меня не унаследовал! — передразнивал Игнац еврейский акцент отца и его напевные интонации изучающего Гемору.

Мать Игнац любил, но его любовь к ней была скрытой и болезненной. С детства он обожал мучить ее, поступать ей назло. Он отказывался есть, не слушался, тиранил мать, как всякий ребенок, который растет без отца. Диночке не хватало сил, чтобы взять его в руки и быть с ним жесткой. Чем-чем, а жесткостью она похвастаться не могла. Хватка была у ее мужа. Но он редко появлялся дома, а когда и приходил, Диночка не хотела жаловаться ему на Игнаца. Из своих детей она больше любила сына. Все, что она могла сделать, когда мальчишка уж очень сильно огорчал и допекал ее, — начать плакать. В этом случае парень тут же смягчался, даже становился нежным, целовал ее, падал к ее ногам и просил прощения со слезами на глазах:

— Мама, мамочка, не надо, я теперь всегда буду хорошим, всегда!

Но как только она утирала слезы, он снова превращался в прежнего тяжелого и мрачного тирана. Он прогуливал школу, не виделся с друзьями, избегал людей и целыми днями, бродя неодетым по дому, читал детективную литературу, читал с утра до поздней ночи.

Дело доходило до скандалов, когда отец возвращался из поездок. Макс Ашкенази хотел, чтобы у него был сын-илуй, светлая голова, наследник на зависть людям. По-хорошему Макс Ашкенази воспитывать не умел, он умел приказывать, кричать, но чем больше он сердился на мальчика, тем упрямее и злобнее тот становился. Все заканчивалось тем, что отец недоумевал по поводу совершенной непохожести

на него его сына, а сын втихаря издевался над певучим еврейским акцентом отца, с которым тот говорил по-немецки. Самым большим наслаждением для мальчишки было передразнивать Ашкенази-старшего, показывать, как тот строит хасидские мины во время еды, как его галстук то и дело сбивается набок, как пепел от сигар сыплется ему на лацканы. Однажды Игнац увидел, как отец выходит на улицу в расстегнутых брюках. Вечно погруженный в свои дела, Макс Ашкенази не обратил на это внимания. Парень заметил промашку отца, но промолчал и позволил ему выйти из дома в таком виде, потихоньку радуясь своей жестокой мести.

После того как Игнац с грехом пополам окончил гимназию и получил аттестат зрелости, он больше ни минуты не задержался дома и уехал за границу. Называлось это учебой. Подразумевалось, что он получает высшее образование, но Игнац даже не заходил в университет. Он пропадал в квартале художников в Париже, шлялся с подозрительными типами и регулярно отправлял матери письма с просьбой выслать ему еще денег. Мать сэкономила на всем, на чем только могла (тайком, через служанку, она заложила в ломбарде свое кольцо), и посылала сыну деньги без ведома мужа. Макс Ашкенази редко спрашивал о сыне.

— Напиши ему, Диана, чтобы он прилежно учился, — неизменно говорил он каждый месяц, вручая ей не слишком щедрый банковский чек на содержание Игнаца.

— Напиши ему ты, хотя бы несколько слов, — обиженно говорила мать, — ты же отец!

— Я очень занят, — бормотал он и выходил из комнаты.

Если мать посылала сыну меньше денег, чем он просил, он угрожал самоубийством. Диночка не могла объяснить мужу свои долги и всегда чувствовала себя виноватой, запутавшейся. Кроме того, сын не хотел приезжать домой к родителям, ни на каникулы, ни на праздники. Он ненавидел отца, а с матерью совсем не считался. И Диночка Ашкенази ощущала тоску и одиночество.

Дочь Гертруда тоже была далеко от дома. Похожая на мать, красивая, голубоглазая, стройная, Гертруда, как и Диночка, грезилась о другом мире, роскошном и фантастическом. Но, будучи энергичнее матери, сильнее ее, она не ограничивалась чтением книжек, одной лишь жизнью на бумаге. Она пыталась создать прекрасный и счастливый мир вокруг себя. Она ненавидела Лодзь, город дыма и суеты, ненавидела кишасшие людьми улицы, вечно куда-то спешащих дерганных торговцев, беспрестанный шум и бурление. Не выносила она и свой дом, потому что в богатом родительском доме ей было грустно и одиноко. Мебель здесь была тяжелой, представляла собой смесь разных стилей и уже вышла из моды. Освещение было скудным и навевало уныние. К ним редко ходили гости. Отец был занят и постоянно отсутствовал. Даже когда он был в городе, он забегал домой только поесть и снова исчезал. Мать не отрывалась от своих романов. Праздники и субботы проходили серо, без радости и церемоний. К тому же в отношениях между отцом и матерью царил вечная напряженность; застыло молчание, заражавшее тоской весь дом.

Когда Гертруда была ребенком, лучше всего она чувствовала себя у деда, реб Хаима Алтера. В его доме она была счастлива. Дед сажал ее к себе на колени, позволял скакать на них, как на лошадке, щекотал ее щечки своей бородой и играл с ней часами.

— Скажи благословение, Гителе<sup>1</sup>, благословение, — напоминал он ей каждый раз, угощая ее шоколадкой.

Хотя он и звал ее чужим еврейским именем, она предпочитала его дом родительскому. В доме деда были всякие красивые вещи: разные подсвечники, ханукальные лампы, футлярчики для благовоний — штуки, которых у папы с мамой не увидишь. К тому же у него всегда было весело по субботам и праздникам. Реб Хаим Алтер, как и в старые добрые времена, устраивал большие трапезы; распевал традиционные пес-

<sup>1</sup> Уменьшительная форма от еврейского имени Гита.



нопения, совершая кидуш; принимал гостей. Маленькая Гертруда каждый год с нетерпением ждала ханукальных свечек, которые с пением зажигал дедушка; праздник Симхас Тойра, когда у деда собирались хасиды, пели и плясали; Дни трепета, когда реб Хаим надевал китл<sup>1</sup> и вышитую серебром ермолку и благословлял внучку, возложив руки ей на голову. Даже пасхальный сейдер маленькая Гертруда не хотела проводить в родительском доме, потому что там сейдер проходил быстро. Отец поспешно бормотал положенный текст, ел и шел к себе в кабинет, к своим бумагам и работе. А у бабушки Хаима пасхальная трапеза тянулась допоздна, свечи весело горели, стол ломился от серебра, дед сидел в китле, развалившись в удобном кресле, и Гертруда трепетала от обрядов, напевов, радости и благоговения.

— Дедушка, — целовала она его, — я так тебя люблю...

Из-за деда она даже стала набожна, произносила «Слушай, Израиль...», говорила благословения, что очень раздражало ее отца.

— Он еще сделает из нее раввиншу, — сердито говорил он жене по-немецки. — Почему она всегда у деда?

Став постарше, Гертруда перестала часто бывать у деда, но и дома ей не сиделось. Она хотела богатства, веселья, балов, гостей, салонных разговоров, музыки и танцев, как у ее подруг. Но в ее доме было тихо и тоскливо. И Гертруда ненавидела свой дом. Она чуждалась отца, как и отец ее. Мать она жалела, целовала, сочувствовала ей. Она видела, что та не любит отца, сторонится его, и это было Гертруде по сердцу, но все-таки она не понимала мать. Ей было невдомек, как мать прожила с ним столько лет, почему не разошлась с ним, и главное, почему вообще вышла за него замуж.

— Мама, ты любила отца? — часто спрашивала Гертруда.

— Иди занимайся уроками, — отвечала ей на это мать.

<sup>1</sup> Белая длинная рубаха. Первоначально китл был частью субботней одежды, позднее надевался в Йом Кипур, а также во время пасхального седера, со временем стал также одеждой жениха во время свадебной церемонии.

— Ну и странными же вы были людьми! — в сердцах говорила юная Гертруда. — Я бы без любви ни за что замуж не вышла, хоть режьте меня на куски...

Когда Гертруда окончила пансион, мать стала думать о дальнейшей судьбе дочери. Она хотела изменить дом, осветить его, поставить в нем новую мебель, открыть для гостей, устраивать вечера, чтобы к ним приходили молодые люди, как во все дома, где есть девушка на выданье. Диночка Ашкенази видела, что ее время прошло. Хотя она все еще была красива и мужчины засматривались на нее на улицах, она чувствовала, что начинает сдавать, что молодость промчалась без жизни и радости. Она страдала от этого, по ночам на ее подушку часто катились слезы, но, как каждая преданная мать, она жила стремлением обустроить жизнь дочери, желанием быть ей хорошей матерью и заботой о ее счастье.

Кроме того, с годами изменилось и отношение Диночки к мужу. Нет, она по-прежнему не любила его, но теперь она восхищалась им, его силой, энергией и величием. Он шагал семимильными шагами, этот невысокий человек. Пока она сидела с детьми и книжками, он возмужал, набрался знаний, опыта, достиг понимания вещей. Теперь он больше Диночки знал об окружающем мире, хотя она и была образованна и постоянно читала книги. А то, что он не знал, он схватывал на лету, домысливал, едва услышав об этом. И, как любая женщина за сорок, Диночка стала мысленно возвращаться к своему мужу, к суженому, с которым ей дано прожить жизнь, прожить не по любви, а из чувства долга и верности.

— Макс, — говорила она ему, — Гертруда выросла. Надо подумать о ней, завести дом, как у людей.

Теперь она называла мужа новым именем, а не по старинке Симхой-Меером.

Но как раз в последнее время Макс Ашкенази начал пренебрегать своим домом. Он все чаще ночевал в квартире при фабрике, в холостяцкой постели покойного директора Аль-

брехта. Даже по воскресеньям, когда фабрика не работала, дома он не показывался.

— Очень занят, — телефонировал он.

Диночка Ашкенази забеспокоилась. В первый раз за всю семейную жизнь она стала волноваться по поводу своего мужа. Видимо, в этой холостяцкой квартире при фабрике у него кто-то есть, думала она.

Сначала мысль о том, что у Симхи-Меера есть любовница, показалась ей комичной. Она чуть не рассмеялась. Но смех развеялся и уступил место обиде. Конечно, у него там кто-то есть. Иначе он бы не пропадал на этой фабричной квартире. Он ведь не промах — втихаря он вполне может крутить романы. Может быть, это одна из работниц его бюро, а то и танцовщица или актриса. Их теперь в Лодзи множество. А вдруг это любовь, не купленная за деньги; настоящий любовный роман с молодой дамой или даже девушкой? В нынешние времена, когда женщины так распущенны, все возможно.

Диночка поспешно подошла к зеркалу и внимательно осмотрела себя: все ее морщинки у глаз, все складки кожи были слишком заметны в этом большом зеркале. Седые волоски торчали из головы, как вязальные спицы. Диночка очень расстроилась. Печальными глазами она смотрела на свое отражение. Как же она была глупа, как могла не думать о том, что так просто и очевидно! Она представила себе мужа. Он возмужал за последние годы, стал более крепким, широкоплечим, видным. И как ни странно, ничуть не постарел. У него нет ни единого седого волоса, ни одной морщинки. Если бы он избавился от своей расхристанности и был хоть чуть-чуть элегантнее, он совсем бы недурно выглядел. Его глаза особенно молоды и полны жизни, в них горит огонь. Диночка не раз слышала это от других женщин, но сама только улыбалась на такие разговоры. Она этого не замечала. Но теперь вдруг увидела отчетливо, ярко. Конечно, он может крутить романы. Кто знает, как давно он обманывает ее? Женщины ведь не слишком щепетильны, особенно когда речь идет о мужчине богатом и знаменитом.

Чем больше Диночка думала об этом, тем яснее сознавала, что ее подозрения оправданы. Тот самый муж, который прежде никогда всерьез не интересовал ее, начал поглощать ее мысли целиком. Он стал казаться ей значительнее и выше, чем прежде. И чем значительнее он виделся Диночке, тем ничтожнее в собственных глазах становилась она сама.

Конечно, зачем ему стареющая и увядающая жена, когда там, в своей квартире при фабрике, он может веселиться с молодыми и свежими? Недаром он не приходит домой. Он с женщинами, пьет вино, шутит и ни о чем не вздыхает. Может быть, они там даже смеются и издеваются над ней?..

Диночка почувствовала укол в груди. Впервые за столько лет она ощутила ревность. Она страдала из-за мужчины, она, а не героини книжек. Боль была сильной и острой.

Впервые она задумалась над тем, почему ее муж не приходит домой. Ревность вдруг сменилась беспокойством и заботой о нем. Может быть, с ним что-то случилось? Диночка сознавала, что обманывает себя, что это пустая тревога, но ей хотелось верить в свои страхи. За полночь она вдруг оделась и стала смотреть в окно, не видно ли мужа, не идет ли он. Она прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку со стороны ворот, к каждому шагу во дворе. Нет, это не тот, кого она ждет. Посреди ночи Диночка позвонила на фабрику, чтобы спросить о директоре. Но никто не ответил на ее звонок. Она долго слушала гудки в трубке. Она думала о том, как гудко, должно быть, раздаются звонки на пустой фабрике, а потом разочарованно надавила на рычаг.

Она вошла в спальню дочери. Она хотела, чтобы рядом с ней был кто-то близкий, хотела увидеть Гертруду в эту одинокую ночь, но дочери в столь поздний час еще не было дома. Гертруда искала веселья и праздника в сыром продымленном городе. Диночка Ашкенази вернулась в свою постель и лежала, не смыкая глаз, долгие часы, пока первые фабричные гудки не начали разрывать предрассветный воздух.

## Глава шестнадцатая

**Д**иночка не ошиблась. Именно женщина отдалила, оторвала Макса Ашкенази от дома. Однако она не была моложе и красивей Диночки, как той представлялось долгими бессонными ночными часами. Она была даже старше и гораздо менее привлекательна. Ничего волнующего кровь.

После тяжелейшего поражения, которое потерпел Макс Ашкенази в сделке по производству военных товаров, он чувствовал себя разбитым и уничтоженным. Эти революционеры, эти ахдусники разрушили все его планы. Он готовился сделать на войне состояние. Все было рассчитано до мелочей. Он уже видел, как кладет огромные заработки себе в карман. Его план был великолепен. Он хотел разом скупить много акций фабрики Хунце, получить контрольный пакет и стать наконец ее хозяином, достигнув с детства желанной цели. Он не мог больше ждать. Правда, он и так управлял фабрикой твердой рукой. Да и акций у него было немало. Но владели предприятием бароны Хунце. У них акций было больше. А он был просто их человеком, хоть и очень важным, но наемником, которого они в любой момент могли убрать и заменить другим. Кроме того, люди на фабрике интриговали против него, писали на него за границу кляузы баронам Хунце. Макс Ашкенази не боялся их. Плевать он хотел на всех этих гладких и прилизанных немчишек. В его кабинете они стояли перед ним, как собачки, и громогласно отвечали на все его слова: «Яволь, герр гаупт-директор!» Они втирались к нему в доверие, тайком нашептывали ему друг о друге гадости, подсиживали друг друга, рассказывая об интригах, которые плетутся за его директорской спиной; они старались подкупить его, понравиться ему. И все же он не чувствовал себя полновластным хозяином фабрики. Хозяевами по-прежнему были бароны, годами жившие за границей.

Правда, они делали все, чтобы выпустить из рук акции полученной в наследство фабрики и дать им перебраться в железную кассу Макса Ашкенази. Они сорили деньгами, все вместе и каждый по отдельности. Они проигрывали в карты целые состояния, содержали беговых лошадей, актрис и любовниц. Они ввязывались в дикие сделки, становились компаньонами обедневших жуликоватых аристократов, вкладывали средства в такие аферы, которые не приносили ни шиллинга. Кроме того, они снимали целые театры для любовниц, как правило, плохих актрис. Гробили деньги на всевозможные слабые постановки, на реквизит, театральных директоров и прочие глупости. Даже ежегодный доход с процветающей фабрики не мог покрыть этих колоссальных трат, и бароны часто отправляли директору Ашкенази пачки поделенных между ними, братьями Хунце, акций, приказывая пустить их в ход.

Макс Ашкенази не вмешивался в дела баронов. Он обеспечивал их деньгами, высылал, сколько бы они ни попросили. Однако их акции он не отдавал посторонним, а держал при себе. День за днем они множились в его железной кассе. Он не был согласен со своим покойным отцом реб Авромом Гершем, с его советами Хайнцу Хунце. Он, Макс Ашкенази, считал, что каждый живет по своему разумению. Бароны любят этот свет. Они едят, пьют, грешат и развратничают. Ну и на здоровье. Это не его дело. У него свои заботы — выбить из фабрики как можно больше денег. Он ежегодно зарабатывает для Хунце так много, что можно вести царскую жизнь. Но если им и этих прибылей недостаточно, пусть делают что хотят. Как постелешь, так и будешь спать. Два счастья за один раз в этом мире не бывает. Во всем своя мера: кто хочет наслаждаться на этом свете, должен за это заплатить. А кого волнует практический результат, должен экономить, работать и отказываться от удовольствий.

Каждый день он пересчитывал их, эти пачки акций, складывал их одну на другую, словно строил лестницу, которая

приведет его к вершинам фабричных труб. Когда началась война, у него родился прекрасный замысел. Он заключил отличный договор с интендантским управлением, готовился сорвать банк, скупить все акции фабрики, которые ходили по городу, и по истечении года на собрании акционеров стать президентом акционерного общества. План был хороший, точный. Работа спорилась. Фабрика работала круглые сутки. Каждый удар ткацкого станка отчеканивал монету, поднимал Макса Ашкенази еще на ступеньку выше, еще на ступеньку приближал к цели, к титулу короля Лодзи. Казалось, успех у него в кармане. Но колесо повернулось. Вмешалась революция, черт бы ее побрал, и смешала все карты.

Макс Ашкенази кипел, ел себя поедом. Но выхода не было. Как град, падающий посреди лета и побивающий посевы; как саранча, налетающая и пожирающая все; как чудовищная эпидемия, оно пришло, это безумие, и перевернуло его жизнь с ног на голову. Фабрика стояла неделями. Вместо доходов приходилось терпеть убытки. Интендантство требовало компенсации за ущерб, нанесенный непоставкой заказанных товаров. Адвокаты, суды, взятки и прочие расходы погребли под собой фабрику. Враги Макса Ашкенази дожили до сладкой мести. Бароны при этом даже не подумали приехать из-за границы и сделать хоть что-нибудь. Они только посылали телеграммы, требуя денег еще и еще.

Снова надо было работать годы, что-то выдумывать, торопиться, выбиваться из сил, стремясь залатать дыры. Царство, которое, казалось, уже было у него в руках, утекло, как песок сквозь пальцы. Макс Ашкенази не мог с этим смириться. Время не стоит на месте. Он видел, что оно бежит быстро. Если бы он не был без пяти минут владельцем фабрики, ему было бы не так обидно. Но фабрика уже была его, а потом выпорхнула из его рук, как птичка. Нет, Макс Ашкенази не мог откладывать свое воцарение на годы. Он должен получить царство, чего бы ему это ни стоило. Ему было стыдно перед Лодзью, он краснел за свой провал. Главным образом ему

было стыдно перед собственным братом, который снова так гнусно его обошел.

Лодзь опять говорила о Якубе Ашкенази, а не о Максе.

Он, его братец, родился в рубашке. Сколько бы он ни выпускал счастье из рук по своей беспечности и легкомыслию, сколько бы сокровищ ни выпало из его небрежных пальцев, удача по-прежнему улыбалась ему.

Все началось с развода. Мрачная, болезненная жена Якуба не могла быть рядом с ним. Ее родственники раз за разом мирили супругов и возвращали ее к мужу в Лодзь. Но, пробыв в Лодзи несколько недель, она снова уезжала в Варшаву и жила отдельно от мужа. Она ревновала его, ревновала к знакомым женщинам, ревновала к друзьям, ревновала к его здоровью и жизнерадостности, к хорошему аппетиту и крепкому сну, ко всей его жизни. Все врачи говорили ей об этом. Якуб не упрекал жену, не выговаривал ей, но, как только он видел ребенка на улице или будучи в гостях, он сразу же брал его на руки, играл с ним, смеялся и самозабвенно шалил. Переле не могла этого вынести. Она ревновала его к детям.

— Якуб, — окликала она его, поджав свои тонкие злые губы, — что это ты так разошелся?

Больше всего ее задевала возня мужа с маленькой Гертрудой, дочерью Диночки. Хотя два брата, Якуб и Макс, были в вечной ссоре, их жены поддерживали между собой дружеские отношения. Они и раньше, до замужества, были связаны друг с другом, поскольку семьи Алтеров и Айзенов состояли в родстве. Прива Алтер, Диночка и ее дочь Гертруда часто приходили к Якубу Ашкенази в те дни, когда его жена в очередной раз переезжала из Варшавы в Лодзь и пыталась вести нормальную семейную жизнь.

Гертруда буквально липла к дяде Якубу. То, чего ей не хватало в отцовском доме, она получала у дяди. Он покупал ей самые лучшие подарки и игрушки. Он катал ее на своей карете по городу, пускал лошадей галопом и даже давал Гертруде подержать вожжи.



Голубоглазая, стройная, с каштановыми волосами в мелких колечках и завитках, дрожавших и трепетавших при каждом ее движении, с пухлыми белыми ручками, теплыми и гладкими, она во всем походила на мать, игравшую некогда во дворе дома реб Аврома-Герша Ашкенази с маленьким Янкевом-Бунемом. Якуб видел в Гертруде Диночку, прежнюю Диночку, про которую все во дворе говорили, что она будет его невестой. Гертруда так же смеялась, как мать, так же обнимала его за шею своими теплыми ручками, когда во время игры в лошадки он сажал ее себе на спину и бегал на четвереньках по большому ковру.

— Но, дядя Якуб! — кричала она и прижималась к его сильной шее.

Его бороду, черную и ухоженную, она держала как вожжи. Обе женщины, Диночка и Переле, чувствовали своим женским чутьем, что и для девочки, заигравшейся и распаленной, и для ее дяди, огромного и веселого, это нечто большее, чем игра двух родственников. Гертруде было уже тринадцать, а она еще все продолжала детскую возню с дядей Якубом. К тому же она имела обыкновение крепко целовать его и страстно восклицать:

— Дядя, я тебя так люблю!

При каждой возможности она садилась к нему на колени и обнимала его своими ручками. Дядя целовал ее, шумно чмокая губами.

Диночка видела, что, целуя Гертруду, Якуб целует ее саму, что в его любви к девочке есть любовь к ней, не к такой, какой она стала, а к такой, какой она была в возрасте своей дочери. Это доставляло ей удовольствие и одновременно уязвляло ее.

— Гертруда, тебе не совестно? — говорила она. — Я в твои годы уже была невестой, а ты играешь как ребенок.

— Якуб, довольно уже, — сердито одергивала его жена. — Я не могу больше выносить этот шум.

А когда они оставались одни, Переле устраивала Якубу сцены из-за этой малышки.

— Что ты вытворяешь, когда меня нет рядом, меня не волнует, — говорила она с горечью, — но будь любезен, в моем присутствии веди себя прилично...

Якуб ее не понимал.

— Мне уже и с ребенком нельзя поиграть, с собственной племянницей...

— Знаем мы этих племянниц, — гневно отвечала Переле и одетой бросалась в постель.

Она не могла видеть, как он смеется, как весь лучится здоровьем.

— И как это человек может быть таким бесстыдно здоровым? — попрекала она его.

Как всегда, вскоре она оставляла своего мужа и уезжала от него в Варшаву, чтобы жить там наедине со своей болью и ревностью.

После долгих лет таких мытарств они развелись. Макс дождался до сладкой мести. От состояния, которое Якуб должен был получить от Айзенов, почти ничего не осталось. Все пошло прахом. Макс знал, что его брат не только взял когда-то большое приданое, во много раз превосходившее его собственное, но и неоднократно брал у своей жены новые суммы. Каждый раз, когда дела у него шли плохо, когда он разбазаривал много денег, жена поддерживала его, приносила ему новое приданое. Макс из-за этого каждый раз страдал. Теперь он был уверен, что этот источник иссяк. Семь тучных лет прошли, и на их место пришли семь худых. Больше никаких приданых. Скоро Якуб лишится кареты и останется с одним кнутом, если судить по той расточительной жизни, которую он ведет.

Но, как всегда, на этого олуха опять свалилось счастье, а Максону показало фигу.

Янка, разведенная дочь самого Максимилиана Флидербойма, расставшись с уже третьим мужем, влюбилась в Якуба и открыто разъезжала с ним в карете по улицам Лодзи.

Лодзь кипела. Люди понимали, что эта любовь продлится недолго. Янку, сумасшедшую дочь фабриканта Флидербойма,

хорошо знали в городе: она каждый раз влюблялась в нового мужчину, влюблялась сильно, безумно, но так же быстро, как она загоралась, она и остывала к предмету своей страсти. Она уже три раза выходила замуж и три раза разводилась. И это не считая романов на стороне. К тому же ее выбор мужчин был довольно экзотическим. Хотя она, в отличие от сестер, до сих пор не крестилась, вела она себя, как иноверка, как заносчивая аристократка, и ее роман с Якубом, которого в Лодзи еще помнили с пейсами и в длинном лапсердаке, вызывал недоумение.

— Этот роман продлится от поста Эсфири до Пурима<sup>1</sup>, — говорили в Лодзи. — Очередная фантазия сумасшедшей Янки...

Но пока она с большим куражом разъезжала по городу со своим новым сердечным другом. Якуб гнал лошадей галопом, а дочка миллионера прижималась к нему с пламенной любовью и даже открыто, на глазах у всех, целовала его на улице, как может делать только безумная. Лодзь бурлила. О Янке с Якубом судачили в домах, в кафе, в магазинах и на фабриках. Даже швеи говорили о них за работой. Говорили, что они скоро поженятся. До директора Макса Ашкенази в его фабричный кабинет купцы тоже донесли эту весть.

— Он просто пылает страстью, господин директор, — нашептывали ему. — Он распустил павлиний хвост, господин директор...

Макс Ашкенази не мог этого слышать.

— Меня это не интересует, — сухо и резко отвечал он по-немецки. — Давайте говорить о деле.

Но на самом деле его, Макса Ашкенази, это очень интересовало. Ему кусок не лез в горло, он потерял сон, ему казалось, что жизнь его не удалась. Он пока не знал, дойдет ли дело до свадьбы между дочерью Флидербойма и его братом. Он даже мысли такой не хотел допускать. Но уже и теперь, безо всякой свадьбы, любовница сделала Якуба директором

---

<sup>1</sup> То есть кончится мгновенно. Пурим наступает на следующий день после поста Эсфири.

фабрики. Он даже попал во дворец Флидербойма. Старый фабрикант был болен, парализован. Уволенный рабочий бросился на него с ножом и пырнул в голову. Флидербойма спасли, но половина его тела осталась неподвижной и он не мог больше работать. Прислужник возил его по дворцу и по двору на стуле с колесиками.

Все состояние фабриканта оказалось в руках его детей, но они не знали, что с ним делать. Крестившиеся дочери Флидербойма жили в Варшаве со своими мужьями-выкрестами и не желали приезжать в Лодзь, этот город торговли и еврейства, из которого они бежали. Им это было ни к чему. Сыновья Флидербойма были рассеянными чудаками. Они пребывали в мире фантазий, суеверий, занимались вызыванием духов и общались с попами и монахами. Они даже ходили в церковь, хотя так и не крестились. Единственной наследницей Флидербойма с головой на плечах была любимица отца Янка. Однако все ее время поглощали романы, в которые она каждый раз бросалась, как в омут. Ей было не до ведения дел. Кроме того, в Лодзи не было принято, чтобы коммерцией занимались женщины. И Янка передала фабрику Якубу Ашкенази, с которым у нее был бурный роман, назло всем ее братьям и знакомым, считавшим, что он все еще слишком еврей. У нее, у Янки, были свои фантазии. Она любила делать безумные вещи, о которых потом говорили, на которые обижались и злились. Кроме того, она хотела, чтобы Якуб был при ней, жил в директорской квартире рядом с дворцом, стоявшим по соседству с фабрикой. Обязанности генерального управляющего выполняли теперь служащие, а сам Якуб с удобством устроился в кабинете главного директора фабрики Флидербойма, и инженерам, мелким директорам, химикам, бухгалтерам и приказчикам приходилось стоять перед ним по стойке смирно.

У Макса Ашкенази от этого кровь закипала в жилах.

Уже в который раз его младший брат, это ничтожество, этот лентяй, тупица, гуляка и гултай, так возмутительно обходит его. И чем он это заслужил? Какими такими добрыми

деяниями? И голова-то у него всегда была мужицкая, ни к изучению Торы, ни к коммерции негодная. Неужели же ему это только за то, что он большой, здоровый, налитый силой любитель сладкой жизни? В рациональном уме Макса это никак не укладывалось. Просто какое-то колдовство. Он, Макс, работает, старается, что-то придумывает, носится, надрывается, не знает покоя. А это ничтожество, этот бездельник всегда приходит на готовое. Так было, когда он был холост и напал на золотую жилу, так было и потом, так оно и сейчас. Разве это пустяк — вдруг ни с того ни с сего попасть во дворец Флидербойма?! Стать главным директором фабрики, любовником молодой и красивой Янки! Говорят, она целует его прямо на улице. Они разъезжают вместе в карете, устраивают балы, гулянки. Говорят, что они поженятся, что все перейдет в руки Якуба. Вся Лодзь говорит о нем, у каждого на устах его имя. Кто знает, что еще выкинет этот молодчик?! Он начальник крупнейшей фабрики и он единственный человек во дворце Флидербойма, среди всех этих сумасшедших, кто понимает, что такое коммерция. Он еще станет, чего доброго, королем Лодзи.

На Макса напал страх. При всей своей немецкости и отстраненности от еврейства и веры он верил теперь в рок, которого невозможно избежать. Он чувствовал себя беспомощным перед судьбой, предначертанной ему и записанной где-то невидимой рукой. Он ничего не мог тут поделать, потому что это было predetermined, предписано и подписано навеки.

Он ощутил несправедливость судьбы, страшную несправедливость этого мира. О, если бы сокровище попало в его руки! Уж он бы там, на фабрике Флидербойма, навел порядок. Он бы чувствовал себя там как рыба в воде. Он показал бы, на что способен. В два счета у него бы оттуда вылетели все эти засевшие во дворце чокнутые ничтожества. Он бы всех их отправил к чертям за границу. И пусть бы они там жили и занимались своими глупостями, своими духами и прочим

идиотизмом. Он бы разом все подчинил своей воле, зажал в кулаке, как монету.

Но почему же получилось так, что во дворец попал не он, а этот гуляка, а он, Макс Ашкенази, вынужден сидеть у других гуляк, баронов Хунце, и зависеть от их милостей, сносить злобные взгляды и сплетни этой немчуры, всяких прилизанных инженеров, заместителей директора, разных прощелыг и неумех, которыми полна фабрика и которые подстерегают его на каждом шагу и готовы утопить в ложке воды.

Нет, это уже чересчур. Сколько можно ждать? Он больше ждать не может. Нет, еще вся Лодзь узнает, кто из них старший. Он покажет ему, этому Якубу, этому хлыщу и тупице, кто такой Макс. Правда, пока его великий план пошел ко дну. Эта революция, черт бы ее побрал, все смазала. Но ничего, Макс Ашкенази еще жив. Он как можно быстрее раздобудет крупную сумму, очень крупную, купит большое число акций фабрики Хунце и станет ее хозяином.

Деньги он достанет не через компаньонов. Нет, он не собирается втягивать их в свои дела. Деньги он достанет сам, так же как их добывает его брат.

Пусть он не думает, этот Якуб, что только он стоит денег. Ничего, Макс тоже не гнилое яблоко. Правда, однажды он обманулся, став зятем реб Хаима Алтера и взяв несколько жалких тысяч рублей приданого, в то время как Янкев-Бунем взял целое состояние. Это испортило ему, Максу, всю жизнь. С этими несчастными тысячами он должен был пройти долгий путь и тяжелым трудом превратить их в свой нынешний капитал. Но больше он не позволит себе обманываться. Он правильно оценит себя, главного директора Макса Ашкенази, ценность которого сильно возрастает благодаря тому, что он может добавить к своему посту толстый пакет акций, хранящихся в его железной кассе. И те, кто поймет его истинную ценность, найдутся.

Не раз в деловых поездках ему приходилось заключать сделки с одной женщиной, уже не молодой, но богатой,

миллионершей, к тому же бездетной и вдовой. Она живет в Харькове, вдова сахарного фабриканта Марголиса, одна-одинешенька в своем доме, и буквально купается в деньгах, настоящая миллионерша. Она женщина крупная, дородная, с острым умом и очень жесткая. У нее мужской ум и мужской характер. Все ее люди на сахарном заводе дрожат перед ней. И она всегда проявляла к нему симпатию, когда он приходил к ней в дом по коммерческим делам, и давала понять, что за такого мужчину, как он, она пошла бы замуж и отдала бы ему все свое состояние.

Он никогда не воспринимал это всерьез и только улыбался в ответ на намеки мадам Марголис. Однако теперь ее речи проникли в глубь его сознания. С ее капиталом он мог бы сразу достичь своей цели, раз и навсегда стать хозяином фабрики, королем мануфактуры Хунце.

В первый момент, когда эта мысль пришла ему в голову, она показалась ему дикой, невозможной. Однако чем больше он думал об этом, тем больше эта идея ему нравилась. Все равно он живет без семейного счастья. Он никогда не слышал от Диночки доброго слова, не видел ни тени признания и уважения с ее стороны. Все восхищались им, но не она. Что это за жизнь? Да и его дети как будто не его. Это она, его жена, так воспитала их, посеяла в них семена отчужденности и враждебности по отношению к нему. Сын — ничтожество, лентяй, тупоголовый бездельник. Он совсем не похож на своего отца. У него голова, как у его деда по матери реб Хаима Алтера, неповоротливые мозги. А дочь все время где-то носится, ни минуты не может побыть дома. Так что же у него есть в этой жизни?

Правда, он далеко не молод. Люди на это косо посмотрят. Но к чертям людские пересуды, какое ему до них дело? Каждый должен делать то, что для него хорошо, а мнение людей не ценнее уличного сора. Как только он станет хозяином фабрики и королем Лодзи, все тут же попадают к его ногам, будут стоять перед ним на задних лапках, как собачки. А ее, Ди-

ночку, он обеспечит. Он выплатит ей намного больше того приданого, которое она ему принесла. Даст ей все сразу или будет платить содержание. Детей он тоже не оставит. Сыну будет посылать деньги, пока тот учится, а дочку выдаст замуж и выбросит из головы. Они уже не маленькие. Сами должны о себе позаботиться. Его в их годы никто не опекал. Он тогда уже сам устраивал свою жизнь.

Нет, ему нелегко далось решение о разрыве с женой. Он не знал, с чего начать, как довести дело до развода. Если бы она сделала какую-нибудь гадость, ему было бы легче. Но она, как всегда, была тихой и домашней. Более того, в последнее время она стала проявлять к нему любовь, которой прежде никогда не выказывала. А он и сам, надо признаться, до сих пор полностью не избавился от своих к ней чувств.

Однако вскоре Макс Ашкенази отбросил все проявления слабости. Он вспомнил свою семейную жизнь, заново пережил ее с первого дня, когда он пришел в дом реб Хаима Алтера, и до последнего, быстро произвел подсчеты и подвел баланс, показавший, что это была невыгодная сделка. Семейная жизнь не принесла ему счастья. Он был чужим в собственном доме. Как нищий, он выпрашивал у жены ласку или брал ее силой. А теперь, когда он стал старше, она подобрела и помягчала к нему, называет его новым именем — Макс, ластится к нему и заводит речи о практических вещах, о том, чтобы сделать дом, как у людей, приглашать к себе других. Теперь он прощает ей все прошлые обиды, теперь он на коне. Они ровесники, но он мужчина, и он в свои сорок в расцвете сил, в то время как она — женщина, которая уже начинает стареть. Нет, она не заслужила того, чтобы он погубил с ней остаток дней. Это было бы понятно, если бы до сих пор она дарила ему счастье. Тогда бы это был его долг. Как и в любом другом деле, в семейной жизни обе стороны должны вести себя честно. Однако это обман, попытка всучить ему лежалый товар за годы унижений — о, нет, с Максом Ашкенази этот номер не пройдет! Он не из тех, кого обдуривают. Он в таких вещах разбирается.



Он даже себя пожалел, посочувствовал себе из-за нанесенных ему ран и обид. Довольно позволять водить себя за нос. Если все эти годы ее не волновал ее муж, бывший ешиботник, то и его теперь не волнует эта немолодая женщина Диночка Алтер. Он может обладать самыми красивыми женщинами, самыми богатыми. Лодзь в его руках. Но он не пустится в разгул, не пойдет по пути своего развратного и сластолюбивого брата. Это занятие для пустоголовых, развлечение для ничтожеств, которые всегда плохо заканчивают и дорого расплачиваются за потворство собственным страстям. Он пойдет по пути солидному, прямому. Он женится, возьмет жену, которая будет его ценить, женщину, подходящую достойному человеку, которая не будет забивать себе голову дурацкими книжками, которая знает толк в делах и владеет миллионным состоянием. Он станет королем Лодзи, достигнет того, к чему стремится с мальчишеских лет.

И как всегда, когда он что-то задумывал, Макс Ашкенази забыл покой и сон, преследуя поставленную цель. Прежде всего он взял за правило не возвращаться домой с фабрики, а ночевать в холостяцкой квартире прежнего директора. Он знал, что это хорошее начало. Лучше не видеть жену, не сходиться с ней, потому что человек слабеет рядом с женщиной, глупеет и совершает необдуманные поступки. Когда находишься от женщины в отдалении, голова работает лучше, яснее.

— Очень занят! — отвечал он по телефону, когда Диночка звонила ему на фабрику.

Ее телефонные звонки и его отказы доставляли ему колоссальное удовольствие. Он мстил ей за все прошедшие годы. Мечь была сладкой, он ликовал, упивался ею.

Сразу же после этого он стал наезжать в Харьков и готовить почву для сватовства к богатой вдове.

Он хотел заранее получить ее миллионы, чтобы выкупить акции мануфактуры Хунце и заложить основу общего счастья для себя и для нее, его новой спутницы жизни. Но харь-

ковская миллионерша не торопилась отпирать свою тяжелую железную кассу.

Жестко, по-деловому, как настоящий мужчина, разговаривала с ним вдова, открыто называя вещи своими именами, подходя к вопросу брака, как к сделке. Она очень ценит его, Макса Ашкенази. Она понимает, чего он стоит, знает его большие способности. Для нее будет счастьем и честью стать его женой, его спутницей, потому что, хотя она и деловая женщина, хотя она и управляет сама сахарной фабрикой, ведет обширную торговлю с помещиками и держит своих людей в узде, не дает им себя одурачить, она, тем не менее, устала от одинокой вдовьей жизни. Она хочет, чтобы у нее был дом, как у всех людей. Со своим состоянием она давно могла бы найти себе супруга. Сваты срывают у нее двери с петель. Но она ищет мужа солидного, крупного купца, достойного человека, которому она могла бы доверить состояние и жизнь. Он, Ашкенази, нравится ей. Она верит в него, в его голову, в его разум. Вдвоем они смогут ворочать большими делами. Нравится ей и его идея скупить акции фабрики и самому стать хозяином. Она готова ликвидировать все свои дела, обратить все в деньги, огромные деньги и пустить их на акции. Но пусть он сперва разведется с женой, пусть станет свободен, тогда она сразу же выйдет за него замуж, отдаст ему свои капиталы и переедет к нему в Лодзь.

— Я не вложу ни единого гроша, пока вы не будете свободны, как свободна я, мой дорогой Ашкенази! — твердо сказала она ему.

Макс Ашкенази не мог этого слышать.

— Вы мне не доверяете, моя дорогая госпожа Марголис? — обиделся он и поспешно выпил остатки чая из своего стакана.

Крупная, крепко сбитая и прямолинейная дама резко оборвала Ашкенази мужским голосом и налила ему стакан свежего чая из серебряного самовара. Она поставила перед ним полное блюдечко варенья и, изображая на своем жестком, де-

ловом лице всю сладость, на какую только была способна, принялась успокаивать обиженного гостя.

— Я очень уважаю вас, мой дорогой Ашкенази. Я ведь доказала вам это, но вы же знаете, что дела надо делать обдуманно, все рассчитав и получив гарантии. В картишках нет братишек. Мы оба не дети, можем подождать. Сначала разберитесь с разводом!

— Разберусь, — сказал Ашкенази и встал на цыпочки, как всегда, когда он принимал важное решение и хотел придать себе веса и значимости.

Приехав в Лодзь, он не стал заезжать домой, а сразу отправился на фабрику, в свою холостяцкую квартиру. Тем же вечером, разобравшись со всеми накопившимися делами, он вызвал к себе фабричного адвоката и переговорил с ним о личном деле, о разводе со своей женой Диной, урожденной Алтер.

— Ее отец сделал акт интерцизи?<sup>1</sup> — спросил адвокат.

— К счастью, нет, — ответил Ашкенази.

— Это хорошо, — сказал адвокат и обсудил с Ашкенази развод со всех сторон.

Сразу же после этого Макс Ашкенази написал своей жене письмо, деловое и сухое, составленное из длинных немецких предложений. В нем говорилось, что, поскольку более двадцати прожитых ими совместно лет были неудачными и поскольку и он, и она в состоянии расстаться друзьями, он просит ее в самый кратчайший срок дать ему знать, как это дело может быть улажено, и сообщить взвешенное, обоснованное решение как по вопросу ее собственного обеспечения, так и по вопросу обеспечения детей. Будучи солидным деловым человеком, он приписал, что верит в разумность и добрую волю стороны, которая совершит этот болезненный, но необходимый шаг расставания достойно и по-человечески, чего ожидает с нетерпением и одновременно с величайшим уважением и почтением он, Макс Ашкенази.

<sup>1</sup> Договор о разделе совместно нажитого имущества в случае развода (лат.).

Он несколько раз перечитал этот текст и остался им доволен, после чего передал письмо фабричному приказчику Мельхиору.

Он ложился в постель довольный и полный надежд. Во сне он видел себя хозяином акционерного общества «Мануфактура Хунце», королем Лодзи. Клубящиеся дымы, как корона, украшали его голову.

## Глава семнадцатая

**П**ламя гнева, обиды и растоптанного женского достоинства загорелось в крови Диночки Ашкенази, когда она прочитала письмо своего мужа, немецкое, деловое, с осторожными торгашескими словами.

— Гертруда, доченька! — принялась она звать дочь, еще валявшуюся в постели после позднего возвращения с бала. — Гертруда, вставай, иди сюда! Быстрее!

Гертруда вошла сонная, в длинной ночной рубашке до самых пят. Она нашла мать в полуобморочном состоянии. У ног ее валялось письмо.

— Принести тебе воды, мама? — спросила испуганная Гертруда. — Что случилось?

— Читай, — сказала мать и обеими руками сжала виски так сильно, что сквозь очень белую кожу четко проступили синие жилки.

Гертруда прочла письмо и рассмеялась.

— Ха-ха-ха, как смешно! Ужасно смешно!

Мать посмотрела на нее широко раскрытыми глазами.

— Ты смеешься? — со страхом спросила она.

— А что мне, плакать? — ответила девушка. — Это уже давным-давно надо было сделать. Лучше поздно, чем никогда.

— Уходи! — закричала мать. — Иди, иди!

Она перечитала письмо. С каждым предложением кровь все сильнее бросалась ей в голову. Ее кровь, кровь Алтеров, кипела.

Этот святоша, этот Симха-Меер, на которого она не хотела даже смотреть, которым брезговала, не вынося его прикосновений, нежностей этого лапсердачника, плута, дикого хасида, который как собака искал ее взгляда, ждал от нее доброго слова, бросался к ее ногам, — он бросается теперь ею, единственной дочерью реб Хаима Алтера!

Сначала обида была такой сильной, что Диночка хотела только одного, чувствовала только одно непреодолимое желание — плюнуть мужу в лицо и идти с ним к раввину разводиться. Она больше ни единой минуты не желает носить фамилию этого проклятого, паскудного ханжи. Она даже не возьмет от него ничего. Пусть он ей только отдаст те несколько тысяч рублей приданого, которое ее отец выплачивал ему уже после свадьбы, и идет себе и больше не показывается ей на глаза. Она не желает видеть физиономию этого лицемера. А дети будут при ней. Пусть он даже не пытается их навестить, а она со своей стороны не допустит, чтобы дети к нему ходили. Они больше не его. И она уйдет отсюда, из этого дома, от этих вещей. Она не желает иметь никакого отношения к этому месту, к этой могиле, где она похоронила свои молодые годы. Она вернется к родителям.

Однако вскоре ее гордость отступила, оставив лишь чувство обиды и унижения.

Все правильно. Так ей и надо, если она могла прожить с ним жизнь и не разойтись заблаговременно, когда она была еще молода. И вот он ее бросает, как ненужную тряпку, как старый веник. Он только выиграет, если она быстро согласится на развод. Его уже ждут другие женщины, молодые, красивые, цветущие. За деньги можно получить все. Он женится, заведет богатый дом, будет у всех на глазах разъезжать с новой избранницей в карете по Петроковской улице, а она будет сидеть у родителей, одинокая, покинутая, разведенная.

Он использовал ее, взял, когда она была в расцвете своей красоты, когда все смотрели ей вслед. Она прожила с ним жизнь, мрачную, скучную, без счастья, без любви. И теперь, когда она стала старше, когда на ее коже морщины, а в волосах седина, когда она почти бабушка, — он избавляется от нее, меняет на другую. Он, видите ли, оглянулся и понял, что их долгая совместная жизнь была неудачной и им лучше разойтись.

Конечно, лучше! Но для кого? Для него, а не для нее. Ей бы следовало сделать это сразу после свадьбы. Или после первого ребенка, или даже после второго, когда она была еще свежей и полной сил. Но она всегда была рабыней: сначала родителей, потом детей. Ради них она принесла себя в жертву, безвольно, не сопротивляясь, не пытаясь строить счастье — свое, собственное. И теперь, когда годы ее молодости и женственности прошли, когда она клонится к закату, стоит на грани увядания, когда она уже измучена и не вполне здорова, как все женщины в ее возрасте, — теперь ей нет смысла с ним расходиться. Это только унизит ее, опозорит в глазах людей. Она будет выглядеть старой, выброшенной за ненадобностью тряпкой. Нет, она не доставит своему мужу этого удовольствия. Ведь она его ненавидит, терпеть не может, именно поэтому она его теперь и не отпустит. Ей ни к чему, чтобы ему так легко жилось.

Затем пришли беспомощность, раскаяние и угрызения совести.

Она сама виновата. Она была слишком заносчивой. Она гнала от себя мужа, не ценила его, вела себя с ним не так, как положено жене. Он никогда не слышал от нее доброго слова, не видел улыбки на ее лице. Правда, она не была в него влюблена. Ее отдали за него против воли. Но она должна была смириться с этим фактом. Так живет большинство женщин. А она потратила жизнь на книжки. С книжками родила и воспитала детей. Угробила на книжки свою юность. Не создала дома, не приблизила к себе людей, отдала своего мужа. И теперь несет за это наказание, принимает заслуженную кару. Как постелешь, так и будешь спать. Не свила

себе гнезда в юности — оставайся на старости лет одна, как заблудившаяся ласточка. Из-за нее и дети выросли чужими и разбежались кто куда. Игнац за границей, он ненавидит отца, а к ней испытывает только презрение. Дочь гуляет направо, не желает сидеть дома. А чего ей сидеть там, где она чувствует себя лишней и одинокой, где нет мира между матерью и отцом? Она, мать, должна была построить дом, сделать его уютным, теплым, позаботиться о девочке, поддержать ее в жизни. Она этого не сделала, и дочь рвется прочь, ищет свое счастье в чужих домах, у подруг, у друзей, а больше всего времени проводит у родного дяди Якуба, во дворце Флидербойма, где весело и радостно.

Диночка почувствовала укол в груди. Она знала, что не столько из-за веселья, не столько из-за интересных гостей дворца ходит туда Гертруда, сколько из-за дяди, к которому она постоянно липнет. И липнет она к нему не как к дяде, а как к мужчине, к возлюбленному. Еще малышкой она осыпала его поцелуями. И он, Якуб, тоже вкладывал в свои ласки больше, чем просто родственную любовь. О, она это видит! Женщину в таких вещах не обманешь, особенно мать. То, что проиграла она, выиграла теперь ее дочь. К тому, к кому ее тянуло, ходит теперь ее плоть и кровь. Как жестока жизнь! Она, ровесница Якуба, стареет и увядает. А он — молод, свеж и счастлив. И ее дочь смотрит на него, как на картину. Кто знает, к чему это может привести? И все это ее вина, только ее. Она прожила глупую, бессмысленную, нелепую жизнь. Она думала, что жизнь — это книжки, чужие иллюзорные счастье и трагедии. А теперь у нее есть свое собственное горе, настоящее, не книжное, не выдуманное. Это и есть ее жизнь. Как она не похожа на романские взлеты и падения, в которых она провела годы, какую боль она причиняет, как колет и жжет!

Она послала служанку за своей матерью. Пусть ее мать придет немедленно!

Прива пришла, дородная, растолстевшая, излучающая царственное достоинство и благородную старость. Ее парик

был по-прежнему светло-русый и надушенным, как и в годы молодости. За нею шел ее муж реб Хаим Алтер, седой, старый, но с блестящими молодыми глазами. Прива кипела от гнева на мужчин.

— Его счастье, что я здесь его не застала! — кричала она. — Я бы его отлупила вот этим самым зонтиком! Он бросает мою дочь! Я сейчас же еду к нему на фабрику! Я его отлуплю на глазах у всех!

Еле ее удержали.

— Привеши, Прива, жизнь моя, — успокаивал ее реб Хаим Алтер. — Не волнуйся! Побереги свое сердце! Оставь это дело мне, мужчине.

— Мужчине! — снова начала кипятиться Прива. — Ты тряпка, а не мужчина!

Она уже знала, что ее муж не обеспечил благополучие Диночки, выдавая ее замуж, как делают другие отцы, не подписал акт интерцизи, который гарантирует женщине, что от всего, чем владеет и завладеет в будущем ее муж, ей будет принадлежать половина. Если бы реб Хаим Алтер в свое время позаботился об этом, Диночка бы проучила Макса Ашкенази. Он бы выплатил ей половину своего состояния. Ему бы дорого обошелся этот развод. Но реб Хаим Алтер не подумал о таких вещах. И Прива смешивала его с грязью злым и холодным взглядом своих голубых глаз.

— Раззява, — ругала она его, — баба, тряпка. Сперва ты позволил Симхе-Мееру одурачить тебя самого, а теперь и твою дочь...

Реб Хаим Алтер стоял бледный и растерянный.

— Ну, хватит, Привеши, хватит, — умолял он ее. — Есть еще закон и суд на свете. Я не буду молчать. Я пойду к раввинам, к людям.

— Давай, давай, беги! — посмеялась над ним Прива и стремительно подошла к телефону. Она позвонила на фабрику Флидербойма и на самом изысканном польском языке, со всеми женскими уловками и барской манерностью, усвоен-



ной ею еще девушкой во времена учебы в пансионе, попросила безотлагательно соединить ее с паном Якубом Ашкенази.

— Якуб, милый, дорогой, — сказала она ему по-польски, хотя знала его еще в ту пору, когда он приходил к ним домой в атласном субботнем лапсердачке. — Приезжай к Диночке. Симхи-Меера нет, так что приезжай прямо сейчас, мой золотой! Торопи кучера, сердечный!

У нее, у Привы, есть сила. Реб Хаим Алтер видел это.

Якуб Ашкенази ворвался как вихрь.

— Что случилось? — испуганно спросил он.

— На, читай! — подала ему Прива письмо его брата.

Якуб быстро прочитал его.

— Подонок, подлец, хорек! — К каждой прочитанной фразе он прибавлял ругательство. Дойдя до конца письма, он швырнул его на пол и уселся в кресло.

— Диночка, — сказал он, — я буду на твоей стороне, даже если это обойдется мне в целое состояние. Я сейчас же передаю дело своему адвокату, а тебе дам столько денег, сколько нужно. Положись на меня.

Прива поднялась со своего места и поцеловала Якуба в обе щеки.

— Я предвидела это, — сказала она, затем царственно покачала головой и резко добавила: — Я сама себе готова надавать пощечин, дочка, за то, что я тогда тебя не поняла. Помнишь, когда ты сказала, что лучше бы тебя выдали за Якуба?

Диночка густо покраснела.

Реб Хаим Алтер не мог этого слышать.

— Прива, — злобно прорычал он, — это было Божье дело, отличное сватовство!

В семействе Ашкенази вспыхнула война и запылала огнем упрямства.

С одной стороны — Макс Ашкенази, делец с мертвой хваткой, въедливый, энергичный, мстительный, полный гнева на то, что ему мешают в осуществлении его великого плана. С другой стороны — его брат, рискованный человек с широкой

душой, для которого деньги — сор, который готов ради близких людей или ради каприза снять с себя последнюю рубашку. А между ними — дом Макса Ашкенази, Диночка с детьми и ее родители. Они, реб Хаим Алтер и его жена, сразу же перебрались к дочери. Они не могли оставить ее одну в такое время. Макс позеленел от злости, когда управляющий его домом Шлоймеле Кнастер принес ему на фабрику эту новость вместе с квартплатой, собранной с жильцов.

— Идиот, зачем ты их впустил? — выругал он управляющего.

— А что я мог сделать? — спросил Шлоймеле, уменьшаясь на глазах. Его маленькая голова целиком ушла в плечи. Он стал похож на курицу, испугавшуюся злого, воинственного петуха.

Еще больше Макс обозлился, когда Кнастер рассказал ему о карете его брата, часто приезжающей к его квартире.

— Вот собака! — шипел Макс.

Он делал все, чтобы заставить жену согласиться на развод. Он перестал выплачивать ей еженедельное содержание. Не только ей самой не давал он ни гроша, но и учившемуся за границей сыну, ее любимчику. Однако квартира, где жила Диночка, была полной чашей.

— Там все самое лучшее, — говорил Шлойме Кнастер. — Я присматриваюсь, и я вижу.

Обычная политика Макса Ашкенази в борьбе с противниками послабее — сломить их голодом — здесь не работала. Его брат сорил деньгами. Адвокаты Макса Ашкенази ничего не могли поделать. Адвокаты Якуба предвидели все его шаги и блокировали их.

Макс принялся ходить к раввинам. Он всегда приберегал возможность обратиться к ним на самый крайний случай, когда в гражданских судах ничего нельзя добиться. Он был большим специалистом по судам Торы. Он знал их во всех тонкостях и подробностях. Здесь он мог перекричать и сбить с толку любого. Однако на суд Торы Якуб Диночку не пустил.

— Чтобы я вас тут больше не видел, уважаемый, — сказал он службе раввинского суда.

Макс послал служку к тестю. Он был уверен, что реб Хаим Алтер не сможет не принять вызова на суд Торы. Реб Хаим Алтер действительно пришел. Но заставить прийти дочь он не мог.

Макс Ашкенази начал пакостить жене. Подстраивать мелкие неприятности. Через своего управляющего Шлоймеле он подал жалобу в суд с требованием выбросить ее из квартиры. Диночка буквально остолбенела, когда судебный пристав принес ей повестку в гражданский суд в связи с иском Симхи-Меера Ашкенази. Но Якуб не пустил ее и туда. Вместо нее он послал адвоката. Адвокат сумел добиться отклонения иска. Когда Макс увидел, что через суды дело не клеится, а выходит сплошная тягомотина, он велел управляющему попробовать другие пути. Начались отключения воды, перекрываемой в подвале дворником, и неполадки с газовым освещением. Якуб Ашкенази вызвал крошечного Шлойме Кнастера к себе и хорошенько потряс его за лацканы лапсердака.

— Не смей устраивать мне в доме фокусов! — гаркнул он ему. — А то я тебя этим вот шпицрутеном отлуплю!

Шлоймеле так перепугался, что втянул свою головку в плечи.

— А я-то в чем виноват? — плакал он как ребенок. — Я делаю, что мне велят. У меня ведь есть жена и дети...

Доставив своему хозяину на фабрику очередной сбор недельной платы с жильцов, Шлоймеле рассказал ему о словах Якуба, присовокупив к ним детальный отчет о множестве других происшествий в доме. Макс Ашкенази поскреб в своей бороде.

— Скажи-ка, Шлоймеле, — спросил он, — а как там полы на втором этаже, над моей квартирой?

— Очень хорошие полы, — сказал Шлоймеле.

— Ты идиот! — заорал на него хозяин. — Полы плохие! Они еле держатся!

— Они плохие. Они еле держатся, — тут же согласился с ним Шлоймеле.

— Завтра же вызови каменщиков. Ведь полы могут провалиться.

— Конечно, они могут провалиться, — согласился Шлоймеле.

— Завтра же вызови каменщиков, чтобы они начали их рубить.

— Уже иду, — сказал Шлоймеле.

— А когда прорубят, не торопись закрывать дырки. Рабочим пока найдешь другое занятие.

— Рабочим пока найду другое занятие, — эхом откликнулся Шлоймеле.

— И держи язык за зубами. Слышишь? Даже собственной жене не говори ни единого слова о моем приказе.

— Ни единого слова, — повторил Шлоймеле и заторопился домой к жене, чтобы тут же сообщить ей по секрету все, что сказал ему хозяин.

На следующий день каменщики принялись рубить полы на втором этаже, дырявя потолки в квартире Диночки. В доме началась суматоха, паника. Нигде не было покоя.

Прива вызвала к себе управляющего домом и дала ему пощечину.

— На тебе за твои штучки, — сказала она ему.

Маленький еврейчик потер щеку и расплакался.

— В чем я виноват? — по-детски рыдал он. — Я делаю то, что мне велят. У меня ведь есть жена и дети...

Через несколько дней пришли каменщики с ведрами и инструментами и хотели разобрать испортившиеся печки и переложить стены, потому что размягчилась штукатурка. Прива их не впустила, но каменщики упорствовали. Они стучали в дверь и говорили, что их сюда послали. Потом Шлоймеле сдал квартиру напротив квартиры его хозяйки под токарную мастерскую, где не переставая шлифовали, шумели и жужжали так, что от этого несмолкаемого гула начинали болеть

уши. Диночка не могла спокойно читать свои книжки. Прива обвязала голову платком и кричала, что она приедет к этому Симхе-Мееру на фабрику и отлупит его, глаза ему выцарапает при всем честном народе.

У него, Макса Ашкенази, не было недостатка в выдумках такого рода. Каждый раз, когда Шлоймеле приходил к нему на фабрику с квартирной платой за неделю, Макс изобретал что-нибудь новенькое. Он перевернул вверх дном весь двор. Он дал врагам почувствовать свой норов. В изгнании их из квартиры он видел начало полной и окончательной победы над ними. И он делал все, чтобы выкурить их из дома. Однако Якуб не давал Диночке уйти.

— Я тебя в порошок сотру! — орал он на Шлоймеле.

Еще упорнее, чем Макс Ашкенази, о методах принуждения упрямой женщины к разводу размышляли его адвокаты. Так же адвокаты Якуба Ашкенази размышляли над тем, как противостоять Максусу.

Война между двумя братьями разгоралась все сильнее. Диночка лежала по ночам без сна и плакала в подушки над своей горькой судьбой. Она засыпала только с первыми фабричными гудками.

## Глава восемнадцатая

**Н**а стенах лодзинских домов, среди попадающихся чуть ли не на каждом шагу вывесок фабрик, магазинов и контор; среди красующихся на полотнах желтых, похожих на кошек львов; среди краснолицых и желтолицых, одетых с иголки молодых франтов с тросточками и толстых невест в белых платьях с букетами в отечных красных руках; среди разнообразнейших еврейских, польских, русских и немецких имен купцов, комиссионеров, маклеров, мелких фабрикантов — в

центре этой причудливой смеси фамилий, артикулов, названий товаров, намалеванных кричащими красками и украшенных всевозможными завитушками и бантиками, висели большие плакаты: объявления об осадном положении в городе. Эти объявления, подписанные бригадным генералом Куницыным, кратко призывали горожан не собираться на улицах, не устраивать сходки в квартирах, не распространять злонамеренных слухов, не нарушать приказов полиции и курсирующих по городу солдат. Тот, кто ослушается, предстанет перед трибуналом и по законам военного времени будет приговорен полевым судом к тяжелейшим наказаниям, включая смертную казнь.

Рядом с этими объявлениями, а иногда и прямо на них были наклеены листовки, призывавшие горожан собираться на демонстрации, бастовать и протестовать. Вооруженные солдаты, сопровождаемые приставами и их помощниками, ходили по улицам, вышагивали на всех углах и гнали, били, преследовали и арестовывали каждого, кто имел несчастье им не понравиться. В полицейских участках стояли строем казаки с нагайками в руках. Каждая партия арестованных, которую приводили с улицы, должна была пройти через этот строй. Удары нагаек градом сыпались на тела жертв, врезались в них, рассекая кожу. Хуже всех блюстителей порядка был помощник пристава Юргов, тощий, колючий тип, который всегда ходил, надвинув фуражку на глаза, в окружении солдат и агентов.

Своим острым взглядом из-под опущенного козырька он нащупывал революционеров, находил их по запаху, как ищейка. Арестантов больше не держали в тюрьме на улице Длуга. Там было слишком тесно. Их перевели в манеж, точнее, в армейскую церковь, которую переделали в тюрьму. Однако, пока Юргов доставлял их на место, он бил их смертным боем, калечил, выбивал им зубы. Люди боялись перейти улицу там, где стоял помощник пристава Юргов со своими казаками. Ахдусник Шимшон-маляр, которого все звали Шимшон Принц, потому что он любил красиво одеваться и закручивал свои черные усы, дал знать своему представи-

телю, что он хочет убрать Юргова и просит комитет достать для него бомбу. Представитель встретился с человеком из комитета, но комитет не торопился принимать решение по этому вопросу. Шимшону осточертело ждать, и он взялся за дело в одиночку, безо всякого комитета. У знакомого студента-химика он раздобыл бомбу. Нарядился в свой лучший костюм и стал вылитым сыном какого-нибудь лодзинского фабриканта. Хорошенько закрутил свои черные усы, упаковал бомбу в красивый пакет, словно это был шоколад, перевязал красной шелковой ленточкой, взял пакет в руки, как будто собрался на свидание к любимой, и с гордой миной на лице, с высоко поднятой головой пошел по улицам. Женщины смотрели ему вслед с завистью к той, к которой он идет. Полицейские и солдаты свободно пропускали его без проверки.

Дойдя до конца улицы, где стоял Юргов со своими вооруженными людьми, Шимшон отклонился вбок, измерил взглядом горящих черных глаз расстояние, на которое он сможет швырнуть бомбу, подошел на это расстояние к приставу и бросил красивый пакет с бомбой к его ногам.

Его разорвало на куски, этого помощника приставы Юргова. На крышах домов нашли его ноги, которые улетели туда вместе с лакированными сапогами и шпорами. Сбежавшиеся со всех сторон солдаты расстреляли улицу. Они стреляли долго, на поражение, как на поле боя. Когда улицы опустели, они подняли свои ружья и стали палить по окнам домов. Больницы были полны раненых. Их приходилось укладывать на пол в коридорах, потому что коек не хватало. Трупы в морге лежали тесными рядами. Полиция не допускала опознать их и омыть для погребения. Их хотели похоронить тайком посреди ночи. В казармах солдаты начищали ружья и сапоги, чтобы не ударить в грязь лицом на торжественных похоронах помощника приставы Юргова. Военный оркестр чистил трубы и разучивал траурные марши. Вечером людей уже гнали с улиц домой, спать.

Но Лодзь не спала.

На бедных улицах вокруг фабрик, в Балуте рабочие бодрствовали. Женщины и дети вытащили во дворы тощие, рассыпающиеся соломенные матрасы, спасаясь от клопов, тараканов, мух и жуков, которые кишели в облезлых стенах их квартирок, и улеглись спать под открытым небом — на всех подводах и телегах, на ступеньках и просто на земле, в каждом уголке. Мужчины были на ногах. Революционеры очень быстро выпустили прокламации, призывая всех прийти к моргу, чтобы забрать тела убитых и похоронить их с парадом и почестями. Повсюду ходили агитаторы, ораторы и убеждали народ не идти на работу, а вместо этого становиться в ряды демонстрантов. Понапрасну надрывались на рассвете фабричные сирены. Никто не слушал их зова. Десятки тысяч мужчин, женщин и даже детей устремлялись на улицы, сбивались в толпы, шли, маршировали. Они закрывали по пути все магазины, останавливали мастерские, стопорили движение в городе. Ряд за рядом, шаг за шагом, колонна за колонной они надвигались, заполняя улицы и переулки, рынки и площади. Как река, заливающая весной берега и на версты затопляющая все вокруг, сметающая все препятствия и плотины, смывающая их с таким напором, что невозможно понять, откуда вдруг взялась такая сила, — бедняки затопили город, вырвавшись из подвалов и чердачных комнатшек, из переулков и углов, из нор и лачуг.

Медленно шли эти люди, неспешно, но уверенно, с высоко поднятыми головами, с песней на устах.

— Довольно кровь сосать, вампиры,  
Тюрьмой, налогом, нищетой! —

пела женщина с красными флагами.

— Вся власть народу трудовому!  
А дармоедов всех долой!<sup>1</sup> —

перекрывали пение женщин сильные грудные голоса мужчин.

<sup>1</sup> «Интернационал», перевод А. Я. Коца.



Знамена евреев, поляков, немцев, все красные, трепещущие на ветру, плыли над непокрытыми головами демонстрантов — над черными кудрями, русыми волосами и очень светлыми, словно льняными, прядями. Ритмичная поступь, многоголосое пение, развевающиеся флаги зажигали кровь, звали с собой. Из всех ворот, со всех углов выплескивались новые потоки людей, сливаясь в единую огромную волну. Колонны продвигались все дальше и дальше, к богатой Петровской улице, средоточию денег, господства и счастья.

— Закройте магазины! Снять шапки! — кричали демонстранты. Люди выполняли их требования.

На первом же углу толпу ждал офицер верхом на коне и с обнаженной шашкой в руке. За ним стеной стоял строй солдат. Их штыки сверкали на горячем солнце, серебрились в его лучах.

— Назад! — гаркнул офицер.

Никто не отступил.

— Буду стрелять!

Никто не отступил.

— Огонь! — приказал офицер.

Залп прорезал горячий пыльный воздух.

На мгновение людская масса пригнулась, как рожь под серпом крестьянина. Но тут же распрямилась и ринулась вперед, на штыки. Камни и пули градом обрушились на солдат.

Офицер замахнулся было шашкой, но ему в голову попал камень, и он свалился с коня. Солдаты стали отступать. Людская волна хлынула дальше.

— Строить баррикады! Баррикады! — раздавались призывы.

— Баррикады! Баррикады! — закричали тысячи голосов.

Бурный людской поток вырывал из земли газовые фонари, выворачивал из мостовой булыжник, сдирал вывески с магазинов, снимал двери с петель и пускал на баррикады. Люди останавливали фуры, кареты, выпрягали лошадей, опрокидывали повозки и превращали их в часть заграждения. Извозчи-

ки, оставшись с одними лошадьми и кнутами, плакали, но их никто не слушал. Из дворов тащили доски, железные противни, столы, скамейки. Проезжала телега с мукой. Мешки с нее сбросили и закрыли ими щели в баррикаде. Люди бегали, как муравьи в муравейнике, добывая все новые материалы, чтобы строить и укреплять ее. Людская масса легко переворачивала трамваи, откручивала рельсы. Гулко отдавалось падение тяжелых металлических предметов, сливаясь со стонами занесенных во дворы раненых и рыданиями живых над убитыми.

Лодзь застыла. Все ворота и двери захлопнулись. Жители попрятались. На улицах владычествовали бедняки и трудяги. Они забаррикадировались и защищались. Дети носили отцам из дома горшочки с едой и ломти хлеба. Мальчишки волокли камни и доски. В городе было тихо. Изредка сухой треск выстрела дырявил тишину. Ночь была глухой и темной, никто не зажигал огня. За стеной из железа, досок, мешков и бочек сидели Нисан, Тевье и его дочь Баська. Они бодрствовали вместе с тысячами других людей. Над вечно освещенным, шумным и прокопченным городом во всем великолепии середины месяца<sup>1</sup> раскинулась похожая на сельскую июньская ночь, не замутненная дымом, не ослепленная огнями, не обалдевшая от шума. Луна, светлая, полная, лила свой молочный свет, звезды искрились, мигали, играли в прятки и в салочки. Непрерывно падала то одна, то другая звезда. Светлый ночной ветерок пробился из-за города и принес запахи полевых цветов, скошенной травы, цветущей акации и сосновой смолы. Он ерошил людям волосы, теребил расстегнутые мужские сорочки и подола женских платьев.

Баська подняла глаза к звездному небу, которое она редко видела в задымленной Лодзи таким чистым и сияющим. Она вдыхала принесенные ветром ароматы, и ее девичья грудь высоко поднималась от счастья. Тишина, молочный свет луны, игра звезд, ночные запахи, загадочная ночь на барри-

<sup>1</sup> Имеется в виду середина месяца лунного еврейского календаря, на которую всегда приходится полнолуние.

кадах, готовое свершиться событие, великое, страшное и влекущее, пьянили ее, горячили ее молодую кровь.

— Вот так бы и умереть, — тихо сказала она Нисану и закрыла глаза.

— Зачем? Мы должны жить, — сказал Нисан и взял ее за руку.

Она крепко ухватилась за его теплую руку. Она чувствовала, как потоки огня переливаются из руки мужчины и расходятся по всему ее телу, от кончиков пальцев ног до корней волос на голове.

— Товарищ Нисан, — промурлыкала она, — почему мы бежим от счастья? Разве оно не для нас, борцов?

— Да, Баська, и для нас тоже, — ответил Нисан, — но насладиться этим счастьем мы сможем только после победы в нашей борьбе, когда добудем свободу.

— А мы доживем до победы?

— Мы должны верить в это, Баська, — твердо сказал Нисан. На рассвете казаки подошли к баррикадам.

— В штыковую, вперед! — скомандовал офицер.

Солдаты шагали, готовые к атаке, выставив сверкающие штыки.

— Товарищи, встречайте их камнями! — закричали люди по ту сторону баррикады.

Град камней посыпался на атакующих солдат, заставив их отступить.

— Огонь! — приказал офицер.

Солдаты обстреляли баррикаду.

Целый день шла война между защитниками баррикады и вооруженными солдатами. Баррикада была крепкой. Пули отскакивали от нее. После полудня солдаты забрались на крыши домов, на балконы и начали стрелять по людям сверху. Среди защитников баррикады поднялась паника. Крики и стоны раненых разрывали воздух. Многие не выдержали, побежали.

— Товарищи, держаться, не отступать! — призывали их вожди.

Люди остановились. Но пули снова посыпались сверху градом, и человеческая масса сломалась. Видя, что все вот-вот разбегутся, Баська взобралась на какую-то бочку.

— *Это есть наш последний и решительный бой!* — запела она, высоко подняв знамя и размахивая им.

Мужчинам стало стыдно за свою слабость перед поющей женщиной. Они собрали остатки мужества и громкими головами поддержали ее пение.

Двое солдат, высокий и низенький, стояли на одной из крыш и смотрели на девушку, размахивавшую красным знаменем.

— Попадешь в нее? — спросил высокий у низенького.

— Попаду, — ответил низенький.

— Не попадешь.

— Спорим, что попаду.

— На папиросу?

— На папиросу.

Солдат навел ружье, закрыл левый глаз, хорошенько прицелился и спустил курок.

Девушка упала с бочки вместе со знаменем.

— Я выиграл, — удовлетворенно сказал низенький.

— Точно, выиграл, — согласился высокий, вытащил из шапки папиросу и протянул ее меткому стрелку.

Люди побежали с баррикады.

Вместе с другими бежали Нисан и Тевье, неся на плечах раненую Баську. Кровь девушки лилась на красное знамя.

## Глава девятнадцатая

**П**еред воротами больницы Флидербойма крутился мрачный и сторбленный ткач Тевье, вытягивая свою тощую шею с большим кадыком из пропотевшего бумажного воротничка.

Взгляд его красных лихорадочных глаз устремлялся из-под густых бровей и растерянно блуждал над плотно закрытыми воротами, пытался проникнуть за плотно завешенные окна.

Его не пускали в больницу к Баське. Два санитар в белых фартуках внесли ее внутрь и закрыли ворота перед его носом.

— В субботу приходите, — сказали они. — В будние дни, посреди недели посещений нет.

Тевье остался стоять перед запертой дверью и царапать холодное железо замерзшими пальцами, как собака, скребущаяся в дверь дома, из которого ее выгнали в студеную зимнюю ночь.

— Впустите меня! — просил он как неразумное дитя. — К моей дочери!

Его не пустили.

Он бегал вокруг здания больницы, вглядываясь во все двери и окна, ища лазейки. Но все было заперто. Он не ушел домой. Он продолжал крутиться у больничных ворот. Каждый раз, когда они открывались, он бросался вперед, пытаясь войти, и каждый раз краснолицый иноверец с большими усами, охранник в униформе, выталкивал его вон.

— Убирайтесь! — зло говорил он Тевье. — Уходите отсюда! Тевье сунул ему в руку монету.

— Впустите меня, добрый человек, — умолял он изменившимся, не таким, как обычно, голосом, — к моей дочери!

Иноверец монету взял, но не впустил еврея.

— Их сегодня много приносят в больницу, — сказал он. — Слишком много. Интендант строго приказал не впускать. Ничего не поделаешь.

Ворота открывались часто. Карета скорой помощи со стуком лошадиных подков и громкими звуками трубы то и дело подкатывала к больнице. Санитары в окровавленных фартуках вносили раненых. Одетые в черное еврей-извозчики звонили в колокольчик, медленно въезжали на своих траурных лошадях в больничный двор и вывозили умерших. Группки людей бросались к их телегам с криком и рыданиями. Из-

возчики торопились, погоняли лошадей, не хотели ждать тех, кто провожал покойных в последний путь. Похороны по большей части были бедные, за которые не получишь приличных чаевых. Поэтому извозчики спешили и злобно ворчали:

— Всё, всё, нет времени!

Женщины в нечесаных париках и с опухшими глазами бежали за телегой, с цоканьем подпрыгивавшей на острых камнях мостовой, и, заходясь в плаче, били себя кулаками в грудь. В дрожках и пешком на плечах в больницу доставляли людей с пожелтевшими лицами и перевязанными головами. Часто полицейские привозили тяжело раненных и, вооруженные, стерегли их прямо у постели до последнего мгновения. Женщины с корзинками в руках, мужчины с запыленными бородами бедняков, растрепанные девушки дежурили у больничного здания. Они печально вздыхали, заламывали руки, пытались прорваться сквозь ворота: их выпихивали — они снова рвались. Вместе с другими вокруг больницы бродил и ткач Тевье. Он не ходил на работу, не забегал домой, чтобы поесть, не оставлял свою вахту даже ночью. Когда голод начинал сильно терзать его, Тевье съедал кусок сухого хлеба. Когда сон валил его с ног, он опирался о каменную стену и дремал. Жена Кейля криками и проклятиями гнала Тевье домой, но он не сдавался.

Он совал больничным охранникам деньги, чтобы они зашли в палату и узнали, что с его Баськой. Он, как женщина, подкарауливал выходявших из больницы врачей, умоляя их сжалиться и рассказать о состоянии дочери. Его гнали, выпроваживали, ругали, но он не отступал. Неизменно гордый, мятежный, гневный Тевье забыл о своей гордости, революционности, классовой ненависти и вместе с убитыми горем женщинами бегал за холеными и сытыми докторами, чтобы узнать о Баське хоть что-нибудь.

— Плохо, — сказали они ему, — очень плохо. Пуля пробила легкое.

Тевье почувствовал, что его сердце останавливается. Он не находил себе места. Он рвался в ворота. Измучил всех больничных охранников. Подходил к врачам, просил, уговаривал, плакал. Они не могли от него отделаться и, нарушая правила, впускали его в палату по ночам.

В большой, слабо освещенной, окутанной ночной тьмой палате плотными рядами стояли койки. Каждая излучала боль и горе. Сиделки в белых фартуках вечно отсутствовали. Больные не переставая звали, плакали, стонали и просили помощи.

— Тише! Тише! — злились вахтерши. — Вы тут не одни! Пожилые женщины вздыхали и ворчали.

— Разве они думают о больных? — бормотали они. — Бросили их на попечение фельдшеров и вахтеров. Ох, горька судьба бедняка!

Среди прочих кроватей стояла и кровать Баськи с табличкой в головах, на которой были указаны имя, болезнь и температура. Баська хрипела, пыхтела, как старая машина, которая вот-вот заглохнет. Она не могла дышать.

— Воздуха! — просила она. — Немножко, капельку!

Тевье взял ее за руку.

— Баська, доченька, — позвал он ее, — ну что мне сделать для тебя?

— Воздуха, — повторила Баська. — Я больше не могу!

Тевье побежал к фельдшерам, к сиделкам.

— Сделайте что-нибудь, добрые люди! — просил он, ломая руки.

На него не обращали внимания.

— Врач придет, посмотрит, — отвечали ему.

Тевье побежал в кабинет врача. Но его не пустили. А когда Тевье все-таки до него добрался, врач тоже ничего не сделал. Он сердито подошел к постели больной, проверил пульс, поморщился и ушел с тем же, с чем пришел.

— Приоткройте окно, — проворчал он. — А вы тут не вертитесь! Здесь больница. Мы сами знаем, что нам надо делать!

Тевье бросился перед кроватью на пол, словно отдавая Баське весь воздух, который у него был, собственные легкие, всю свою жизнь и душу. Но он не мог дать ей ни глотка воздуха.

— Доченька! — звал он. — Баська, ну что мне сделать для тебя, что?

Преодолевая боль, она ласково посмотрела на него и погладила слабой рукой его руку.

— Папа! — сказала она. — Папочка!

Но тут же снова начала задыхаться. Как рыба, вытасченная из воды, она разевала рот, металась по кровати.

— Я задыхаюсь, спаси меня!

Внезапно она сбросила укрывавшее ее белье, стала рвать рубашку с тела, рвать на себе волосы.

Тевье закричал посреди ночи так, что все больные проснулись и все охранники сбежались. Раненой Баське сделали инъекцию, а Тевье вышвырнули вон.

Целую ночь он не отходил от больницы. Он бегал вокруг, как зверь по клетке. И все время слышал голос своей Баськи: «Я задыхаюсь, спаси меня!»

На рассвете его позвали охранники. Он понял, что это конец. Баська лежала вся в поту. Он коснулся ее руки — она была холодной и безвольной. Фельдшер проверил у Баськи пульс и махнул рукой. Она больше не кричала, только тяжело дышала. Вскоре она начала лязгать зубами. Глаза у нее закатились. На мгновение они открылись, посмотрели на отца и тут же закрылись снова. Тевье стал звать:

— Люди, скорее!

Подшел фельдшер и взял его за руку.

— Всё! — сказал он.

Тевье упал на кровать и не давал прикоснуться к своей дочери.

Силой его оторвали от умершей. Не успел он оглянуться, как кровать уже была пуста. Лишь свежий отпечаток лежавшего здесь человеческого тела остался на постельном



белье. Согнутый до земли, Тевье тащился по тяжелым ступеням, искал мертвецкую. Два охранника хотели вывести его с больничного двора. Но не смогли с ним сладить. Один-единешенек он сидел до утра рядом с телом своей дочери — в холодном морге, среди мертвецов.

Утром к нему пришли люди, товарищи, друзья. Пришел Нисан. Тевье не слышал, что ему говорили. Человеческая речь стала ему чужой.

Похороны были большие. Фабрики остановились. Тысячи рабочих маршировали на улицах. Покойницу завернули в красное знамя. Люди несли венки. Там, где проходила процессия, закрывались магазины. Провожавшие Баську в последний путь обнажили головы. На всех тротуарах и балконах стояли толпы людей. Тевье шел с каменным лицом. Всё было ему чуждо, противно. Он ничего не видел, кроме своей трагедии. Остекленевшие глаза Баськи, открывшиеся в агонии, чтобы в последний раз взглянуть на него, стояли перед его взором. Кровь Тевье застыла.

На кладбище произносили речи, пели революционные песни. Для Тевье это было невыносимо. Он не мог видеть, как хор парадно выстраивается в ряд, не мог слышать, как парни берут низкие тона, а девушки тянут сопрано. Какое отношение все это имеет к его дочери, к его Баське? Тевье хлестали бодрые речи ораторов, призывавших к борьбе за жизнь и свободу. К чему теперь жизнь и свобода, когда ее, Баськи, больше нет?словно иголки, кололи его слова какого-то чужого человека из комитета, выступавшего у свежей могилы.

Красивый, черноглазый, с длинными кудрями и бородкой, он стоял, этот человек из комитета, и очаровывал своей ораторской силой, то возвышая, то понижая голос, то глядя им, как бархатом, то обжигая и гремя, то снова погружаясь в печаль и траур. Он умел выступать, он был мастером в этом деле. Он знал, где стать пророчески сильным и суровым, а где сентиментально мягким, когда жечь раскаленными углями, а когда смягчиться и растрогать слушателей, наполнив свой

голос слезами. Он актерствовал, смотрел вокруг большими черными глазами, видел производимое им впечатление и еще больше входил в роль. Его речь колола и резала Тевье. На могиле его Баськи стоял чужой, стоял на свежей земле, засыпавшей его дочь, и лицедействовал, ворожил. Слова оратора падали, как камни, на голову Тевье.

В конце концов актер из комитета вынул рубашку, — последнюю рубашку покойной, залитую кровью ее раны, — поднял над головой и воскликнул:

— Перед кровью погибшей клянемся отомстить!

Тевье не мог этого видеть. Он вырвал из рук оратора рубашку Баськи и спрятал под пиджаком, прижав ее к своему сердцу.

— Оставьте меня! — рвался он из рук державших его людей.

Собравшиеся были разочарованы. Настроение было испорчено.

Тевье уселся на свежую могилу и обвел кладбище безумными глазами. Рядом с ним стоял молчаливый и мрачный Нисан.

По ветвям кладбищенских деревьев скакали птицы. Они свистели, пели и шалили. Издалека доносился звук фабричного гудка.

## Глава двадцатая

**Б**ывший член партии «Пролетариат» и нынешний член партии ППС Мартин Кучиньский был окружен полицией и агентами, как заяц охотничьими собаками. На всех дорогах, на всех вокзалах сыщики следили за каждым его шагом. Он не мог выбраться из города.

Уже восемь дней, как он с террористической группой совершил нападение на железнодорожную станцию Рогов не-

подалеку от Лодзи. Посреди бела дня недоучившийся студент ветеринарного института Мартин Кучиньский со своими людьми напал на станцию, расстрелял солдат, охранявших почтовый вагон, захватил несколько упаковок денежных ассигнаций и бежал окольными путями в Лодзь.

Мартин Кучиньский был очень доволен своей добычей. Из газет, которые он накупил на следующее же утро, он узнал, что из почтового вагона были похищены три мешка с целыми двумястами тысячами рублей. С такой суммой партия могла заняться делом, развернуться. Но люди из его группы принесли ему только половину упомянутой суммы. Пересчитать деньги на месте возможности не было. Надо было как можно быстрее бежать. И налетчики бежали, каждый своим путем. Лишь на третий день им удалось встретиться в Лодзи на конспиративной квартире. Но вместо трех мешков соратники Кучиньского доставили только два, а вместо двухсот тысяч рублей, о которых говорилось в газетах, — сто.

Мартин Кучиньский был вне себя от гнева.

— Где остальные деньги? — спросил он.

— Мы взяли столько. Больше не было.

— В газетах написано, что было в два раза больше!

— Сколько мы взяли, столько и принесли, — сказали Кучиньскому его люди.

Кучиньский пришел в ярость.

— Я не допущу бандитизма в террористической организации! — стукнул он по столу. — Собственной жизнью заплатит каждый, кто возьмет для себя хотя бы грош!

— И это плата за нашу работу, за то, что мы рисковали собой? — сказали обиженные террористы. — Хорошо, мы предстанем перед партийным судом, но когда выяснится, что обвинение было ложным, мы будем добиваться отмщения, нашей справедливости...

Они резко поднялись и вышли из квартиры.

Кучиньский обратился было за помощью к ЦК, но ЦК не хотел вмешиваться в это дело.

— Мы больше не намерены этим заниматься, — сказали ему люди из ЦК. — Мы перестали понимать, где кончается бандитизм и начинается террор, товарищ Кучиньский.

Кучиньский с презрением бросил им в лицо мешок денег.

— Я сам разберусь, — сказал он и в гневе вышел.

Для Кучиньского настали тяжелые дни. Он порвал со своей террористической группой, поссорился с партией, скрывался от агентов и шпииков, не мог найти себе угла в этом большом городе. Он не хотел втягивать в неприятности друзей и близких. Он знал, что каждый, кто его спрячет, заплатит за это жизнью. Уж слишком рьяно охотились за его головой после такой крупной экспроприации. Выбраться из Лодзи было невозможно.

Кучиньский начал вести жизнь скитальца, готовый на все, как человек, которому терять больше нечего.

С несколькими револьверами в карманах, со множеством патронов про запас он бродил по находившемуся на осадном положении городу и каждую минуту ждал, что его схватят. Он не собирался сдаваться без борьбы. Он знал, что его судьба в этом городе предрешена, что с каждым днем близится его конец. Опытным глазом революционера он видел, что полиция наглухо перекрыла все входы и выходы в Лодзи, пытается загнать его в угол, прижать к стене и взять. Вот-вот они его накроют. Но он знал и то, что просто так он не сдастся. Прежде он загонит пули в голову нескольким из них, будет отстреливаться, пока не кончатся патроны. Последнюю пулю он сбережет для себя. От этой мысли ему становилось легче, она утешала его в его скитаниях.

Он играл с полицией в кошки-мышки. Именно потому, что они подстерегали его на вокзалах и дорогах, гонялись за ним по всем подозрительным, с их точки зрения, квартирам, он и слонялся по улицам, где, казалось бы, ему меньше всего стоило появляться. Он заходил в костелы, смешивался с толпами молящихся и часами стоял среди них. Он забредал в библиотеки, просматривал книги, которые его совсем

не интересовали, лишь бы убить время. Он крутился на рынках, площадях — в тех местах, где былолюдно. При этом он внимательно смотрел вокруг, принюхивался к опасности, как зверь в лесу. Он с удовольствием читал в газетах об охоте на него полиции.

Днем было еще ничего. Плохо было по ночам. Он не мог прийти ни в одну гостиницу, даже с фальшивым паспортом. Всех швейцаров и гостиничных служащих полиция снабдила его фотографиями. В веселые дома соваться тоже не стоило. Большинство девиц были агентами. Садов и парков в городе не было. Так что по ночам Кучиньскому приходилось туго. Вечерами он знал, что делать. Он заходил в какой-нибудь ресторанчик или даже в синагогу, где забивался в уголок и раскачивался, как делали все евреи за молитвой. Он даже бормотал что-то неопределенное, когда скорбящие вместе читали кадиш. В гуще народу на него никто не обращал внимания. Иногда он забегал в подвальчик к пекарю и перекидывался в картишки с подмастерьями, которые всегда были охочи до карт, неважно когда и с кем. Но когда запирали ворота, становилось тягостно. Кучиньский бродил во тьме, как бездомная собака. Он завидовал кошкам, которые так легко забираются в подвалы через зарешеченные подвальные окошки.

После третьей ночи бессонных скитаний он больше не мог стоять на ногах и пошел с первой же уличной девкой, которая его позвала. Она привела его в маленькую чердачную комнатку.

— Почему вы не раздеваетесь? — спросила она его.

— Я так пролежу ночь, — сказал он.

— Я вам не нравлюсь? — обиделась девица.

— Ты красивая, очень красивая, — сделал ей комплимент Кучиньский, — но я устал, ужасно устал, дай мне поспать.

Он вытащил револьверы и положил их у себя в головах.

— Не вздумай выходить ни на минуту! — пригрозил он ей. — Если будут звонить в дверь, разбуди меня. Я заплачу тебе вперед. Так лучше.

— Хорошо, разбужу, — пообещала девица, со страхом глядя на револьверы. — Они заряжены? — поинтересовалась она.

— Конечно.

— Спи спокойно, — сказала девица, раздеваясь. — В крайнем случае отсюда через окошко можно выбраться на чердак.

На рассвете она разбудила его.

— Пане, звонят!

В два счета Кучиньский вскочил на ноги. Он схватил револьверы и вылез на чердак. В круглое чердачное окошко он увидел целую толпу полицейских с приставом. У всех за плечами были ружья. Пристав прятался за спинами полицейских.

— Кучиньский, сдавайтесь! — крикнул он.

В ответ Кучиньский выстрелил в чердачное окошко, прямо в своих гонителей. Полицейский комиссар бросился на землю и приказал обстрелять чердак. Несколько часов засевавший на чердаке Кучиньский вел бой с целой армией окруживших дом полицейских. На каждый залп снизу он отвечал выстрелами в окно. Когда у него остались последние три патрона, он сел и стал ждать. Он берег их для себя, эти последние патроны, но он еще ждал. Он хотел использовать их в тот самый миг, когда полиция поднимется, чтобы взять его.

Острым взглядом он следил за каждым движением полиции. Довольно долго полицейские, напуганные его сопротивлением, размахивали руками и не решались приблизиться к дому. Они несколько раз выстрелили из ружей. Кучиньский не ответил на их выстрелы.

— Он наверняка мертв, — сказал пристав. — Кто заберется туда взглянуть?

— Я, ваше благородие, — вызвался один из полицейских и начал карабкаться на чердак.

Кучиньский спрятался за висевшее на чердаке белье, сжимая в руке револьвер. Он слышал, как кто-то скребется у двери, шаркает ногами, окликает его. Он не отозвался. Полицейский сунул голову в дверь, огляделся. В этот момент Ку-

чиньский ударил его рукояткой револьвера по голове с такой силой, что полицейский сразу же упал, даже не вскрикнув. Кучиньский быстро стянул с него мундир, сапоги и фуражку и надел все это на себя. Потом он забросил за плечи ружье, отодвинул полицейского в угол и подполз к чердачному окошку.

— Эй, что с тобой, Романенко? — крикнул с улицы пристав.

— Пошлите наверх людей, ваше благородие, — ответил Кучиньский хриплым полицейским голосом.

Пристав с десятком полицейских героически устремился к чердаку.

— Искать во всех углах! — приказал оживившийся пристав.

В начавшейся суматохе и царившей на чердаке темноте Кучиньский, одетый в мундир Романенко, сумел спуститься на улицу. Никто не обратил на него внимания, поскольку все принимали его за полицейского.

Когда стражи порядка наконец нашли убитого и осветили его электрическим фонариком, они выпучили глаза и принялись креститься от страха.

— Батюшки! — восклицали полицейские. — Это же наш Романенко!

Пристав рвал на себе волосы.

— Мать вашу так, сучьи дети! — бесновался он. — Мать вашу — перемать!

## Глава двадцать первая

**Ж**андармский полковник Коницкий, поляк, перешедший в православие, глава политической полиции в революционном городе Лодзи, потирал от удовольствия свои мягкие белые руки и с видом победителя все выше и выше закручивал свои русые усы.

— Bravo, bravo! — расхваливал он агентов. — Этого я вам не забуду!

У него, у полковника Коницкого, была причина для радости. После долгой и трудной борьбы, в ходе которой расставлялись ловушки на лодзинских ахдусников, после большой и хитроумной работы, проделанной им и его людьми, полиции наконец удалось захватить комитет этой организации вместе с подпольной типографией, со всеми листовками, статьями и тезисами. Сливки общества ахдусников были теперь под арестом, под охраной множества жандармов и агентов.

Эта богатая добыча радовала Коницкого больше, чем победа солдат над защитниками уличных баррикад: хотя сам полковник и был человеком военным, он не очень верил в солдатские победы над революцией. Ум полковник Коницкий ценил больше, чем ружье. Не зря он в юные годы изучал психологию и философию в Петербургском университете. Сам он когда-то тоже был революционером, трепал языком на дискуссиях в подпольных кружках. Хотя впоследствии Коницкий отбросил эти юношеские глупости, выдал собственных товарищей, пошел служить и дослужился до звания полковника жандармерии, он тем не менее не утратил веры в силу слова. Он по-прежнему считал, что ум быстрее пули, а речь острее сабли. И что бороться с революционерами надо их собственным оружием, ставить голову против головы и слово против слова. Еще сильнее, чем в студенческие годы, полковник Коницкий углубился в социалистическую и революционную литературу. Он знал все произведения по социологии и экономике, все направления в марксизме, разбирался в программах всех партий. Философию и психологию он тоже не забыл. В канцелярии, в одном из ящиков его письменного стола вместе с револьвером и патронами всегда лежала новейшая книга по какой-либо возвышенной и ученой теме. С первого дня службы в политическом департаменте он был уверен, что не шашкой и ружьем будет уничтожена революция в России, а разумом и мыслью. Он знал, что лучший способ борьбы с вредной



бациллой — ввести эту бациллу в тело; лучшее средство сломить вражескую твердыню — подорвать ее не снаружи, а изнутри, проникнув в лагерь противника. Сидящие в Санкт-Петербурге солдафоны-начальники, сторонники шашки и ружья, не одобряли Коницкого. Они предпочитали солдатские методы решения проблем. Но Коницкий не сдавался. Он опробовал свою методику в нескольких городах, главным образом в Литве и Польше, где он был своим человеком, и получил хорошие результаты. Теперь, когда в Лодзи разгорелось пламя революции, его прислали сюда, в город поляков, евреев и немцев, чтобы он потушил пожар своими средствами.

Полковник Коницкий был просто создан для Лодзи. Сам поляк, воспитанный отцом-дворником в Белостоке на еврейском дворе, он все время проводил среди детей евреев и говорил на их языке, пожалуй, не хуже, чем по-польски. В студенческие годы он освоил и немецкий. Он знал население Лодзи, как свои пять холеных пальцев. И как только он прибыл, он сразу же погрузился в работу в этом многонациональном и многоязычном городе, в этом промышленном центре, распространявшем по всей России текстиль, галантерею и революцию.

Хотя сам полковник Коницкий был выслужившимся интеллигентом, который ненавидел и презирал простолюдинов, он в своей жандармской работе держал сторону народа и травил интеллигенцию. Коницкий не верил в массы. Он их ни во что не ставил, считал тестом, глиной и грязью, из которой интеллигенты лепят и формуют все, что захотят. И он стремился погубить образованных людей, соль и перец революции, искру, от которой вспыхивает густой лес. Истреблял он их не столько наказаниями и тюрьмами, ведь он знал, что слово сильнее любых тюремных стен; он уничтожал их, натравливая на них рабочих, сея раздоры между рабочими и интеллигентами. Больше всего он любил вербовать агентов не из собственных служащих, как другие, а в самих революционных партиях, чтобы иметь провокаторов во всех политиче-

ских группах. Он искал их среди полуинтеллигентов, далеких от партийной верхушки, среди обиженных, забитых, но амбициозных людей, которые сами шли к нему в руки. Добивался он этого своей методикой, с помощью психологии.

Как хищный зверь, который отлично знает анатомию жертвы и норовит вцепиться когтями и зубами в самое уязвимое место, полковник Коницкий начинал свою охоту с того, что отыскивал слабость арестанта, его ахиллесову пяту. Он знал, что люди, впервые попавшие под арест, бывают разные. Одни боятся побоев, другие выносят их совершенно спокойно, но не терпят света в темноте и бесятся, когда в их камере всю ночь горит лампочка. Некоторые могут не дрогнув пойти на виселицу, но теряют самообладание от страха, если оставить их среди тюремных крыс, а некоторые так боятся смерти, что начинают рвать на себе волосы при одном упоминании о казни. Кого-то можно напугать криками, а кого-то покорить добрыми словами и деликатными разговорами.

Когда приводили политических, полковник Коницкий прятался в боковой комнатке рядом с арестантской и через тайную дверцу рассматривал людей. Пристальным взглядом своих холодных светлых глаз он изучал каждое лицо, ловил каждый жест, каждую гримасу задержанного. До первого вопроса, который он проводил лично, полковник велел конвойным грубо обращаться с арестантами, кричать на них, бить их, топтать ногами, сыпать угрозами. Среди шума и крика полковник Коницкий внимательно смотрел сквозь дверцу, кто как воспринимает встречу с тюрьмой. Он замечал, у кого слабые нервы, кто вздрагивает каждый раз, когда топают сапогом, кто белеет от ужаса, когда подходят к нему вплотную и смотрят прямо в глаза. Кто тверд рядом с товарищами, но падает духом, когда его отводят в сторону и держат отдельно от всех, а кто кривится от отвращения, когда его раздевают и ощупывают его голое тело руками. Относительно каждого арестованного Коницкий делал пометки в своей записной книжечке, чтобы знать, где искать его слабое место. Это всегда очень помогало ему в работе.

Кроме того, он любил играть с политическими и прикидываться перед ними праведником. Во-первых, он боялся революционеров. С тех пор как он прибыл в Лодзь, многие его сотрудники погибли от их пуль и ножей. Революционеры вынюхивали жандармов, находили их чуть ли не под землей и мстили им за жестокость. Полковник Коницкий не собирался отдавать жизнь за царя. Себя он любил больше. Он оставлял героическую гибель всяким тупоголовым полицейским инспекторам, которые кидались на врага не раздумывая, как солдаты на поле боя.

Во-вторых, у него были свои счеты с генералом Куницыным, который хозяйничал в городе и командовал в нем своими солдатами. Как и любой жандарм, полковник терпеть не мог солдат и их командиров. Солдаты тоже не выносили жандармов. Так что он, полковник Коницкий, охотно изображал перед революционерами благородного человека. Пусть себе солдаты портят свою репутацию, избивая арестованных и издеваясь над ними. У него в жандармерии люди хорошо воспитаны, они знают, как обращаться с противником.

Он устраивал так, чтобы в первые дни после задержания арестанты его не видели. Он сидел, спрятавшись в боковой комнате, и давал агентам указания, что делать. Он приказывал своим людям не цацкаться с арестованными, не жалеть их, сживать со свету, чтобы потом, попав на допрос к нему самому, они встретили доброго полковника, сущего ангела и отца родного. После грубого обращения в арестантской доброжелательность и порядочность Коницкого особенно бросались в глаза. Больше всего полковника интересовали «свеженькие» — те, что были под арестом в первый раз, неопытные рабочие, наслышанные о жестокости следователей.

Немало людей таким образом попало на его удочку.

Методы Коницкого давали прекрасные результаты. За короткое время с начала службы в Лодзи полковник завел своих агентов повсюду. И в Социал-демократической партии, и

у немцев, и в польских террористических фракциях. Кроме того, он перетянул на свою сторону многих рабочих, настроив их против партийных руководителей, и те раскалывали, ослабляли партии. Труднее всего ему пришлось с еврейскими ахдусниками. Конспирация у них была серьезнее, чем в других организациях. Кроме того, еврейские рабочие были образованней и их невозможно было купить за хорошую выпивку, за пару рублей. У полковника Коницкого было несколько агентов среди ахдусников, но все незначительные, простые ребята, которые мало что знали. К тому же он им не доверял, как и большинству дешевых агентов, по большей части врунов и проходимцев. Он хотел завербовать какого-нибудь важного человека, видного, сидящего у ахдусников в комитете.

Но вот с помощью своих людей Коницкому удалось взять сам комитет вместе с типографией, бумагами, прокламациями, тезисами и списками. И он был счастлив и горд.

— Блестяще, — шептал он себе под нос, потирая свои белые мягкие руки. — Теперь они в Петербурге узнают, кто такой Коницкий!

Он уже видел мину, которую скорчат шишки из соответствующего департамента, когда он пошлет им сообщение о своей победе.

В гражданской одежде, в черных очках, чтобы его не узнали, он сидел в боковой комнатке рядом с арестантской и рассматривал попавшую в его руки добычу. Как хищник, играющий с жертвой прежде, чем задушить ее, Коницкий радовался в своем скромном укрытии, глядя светлыми глазами на членов комитета, собранных теперь в арестантской. Он ловил взгляды, движения, выражения лиц и мысленно набрасывал план действий. Особенно пристально он вглядывался в «печатников», двух человек из подпольной типографии, сидевших рядом друг с другом.

Сколько же времени потребовалось, чтобы выйти на них и взять их!

Хотя они выдавали себя за мужа и жену, эти двое из типографии, полковник Коницкий ни минуты не верил, что это правда. Он уже знал эту партийную парочку. Кроме того, они не слишком друг другу подходили. Женщина была молодая и красивая, словно не трудилась в подпольной типографии, а только что приехала с дачи. Щеки у нее были румяные, глаза ясные. И держалась она гордо, когда агенты ее толкали.

— Уберите руки! — гневно кричала она, сверкая глазами.

У полковника Коницкого слюнки текли от вожделения к этой гневной молодой красавице. Небось дочка какого-нибудь фабриканта, ударившаяся в революционную романтику, решил он.

Мужчина, с которым она жила и якобы состояла в браке, состарился раньше времени; он был тощий, заросший, с красными глазами от бессонных ночей, с бледной кожей от жизни без свежего воздуха, усталый и перепуганный. В его глазах читался страх, а еще больше — тревога и собачья преданность этой красивой и свежей женщине, выдававшей себя за его жену.

Он выглядит ее рабом и почитателем, думал об этом испуганном человеке полковник Коницкий. И к тому же порядочным трусом. У него и руки, и ноги дрожат.

Полковник сразу же выбрал его. Конечно, остальные — важные фигуры, но они обычный лакомый кусочек для петербургских шишек. Начальство любит крупную рыбу, ему подавай членов комитета. Однако для самого Коницкого и его методов важнее этот дрожащий, мрачный человек из подпольной типографии. Он кажется полуинтеллигентом, рабочим, втянутым в революцию грамотеями из комитета, причем не столько по причине своей полезности для дела, сколько для того, чтобы в интеллигентской среде борцов за лучший мир завелся настоящий пролетарий, представитель масс. Коницкий знал таких ребят. Они больше не были рабочими, но не были и вполне интеллигентами — этикие не-

допеченные революционеры, нередко честолюбивые и обиженные, ревнующие к настоящим интеллигентам, вождям. К тому же этот «печатник», похоже, попал под арест впервые, типичный «свеженький». Это видно по его поведению, по его растерянности. Такие, как он, — хороший материал. Коницкий в задумчивости погрыз кончик русого уса и решил взять этого типа в свои руки.

— Отправить его в отдельную камеру, — велел своим людям полковник Коницкий. — И надо с ним порепетировать. Но не бить, только напугать хорошенько.

— Как прикажете, ваше высокоблагородие, — ответили агенты, вытянувшись перед шефом в струнку.

Агенты уже выучили репетиции Коницкого. Они разлучили «печатников» и посадили мужчину отдельно. В соседней камере, за тонкой стенкой, они разыграли допрос. Один агент выступал в роли политического, а другие допрашивали его громкими голосами.

— Говори! — кричали агенты-следователи на своего собрата-«революционера». — Не то мы выколотим из тебя признание!

— Ничего я вам не скажу, царские ищейки, — отвечал «политический». — Я не предаю своих товарищей!

— Пороть! — приказывал грозный голос. — По голому телу!

Раздавалось громкое щелканье кнута о скамью, которое было прекрасно слышно сквозь тонкую стенку камеры. Удары сопровождались стонами и криками «избиваемого».

При каждом ударе испуганный арестованный подпрыгивал на месте, словно кнут врезался в его собственное тело. Полковник Коницкий из своего тайного убежища рассматривал этого извивавшегося от страха человека и радовался.

— Теперь дайте ему немного прийти в себя, — сказал полковник своим людям, — а потом сыграйте еще одну экзекуцию. И так несколько раз за ночь, ну, вы знаете! А через несколько дней приводите его ко мне на допрос.

Полковник Коницкий ушел к себе в канцелярию и принялся за новую философскую книгу, выписанную им из Германии. Тем временем агенты продолжали давать спектакли в камере, расположенной рядом с камерой «свеженького». Они искусно готовили нового арестанта к первой встрече с полковником. Через каждый час, как только «свеженький» немного успокаивался и задремывал, агенты разыгрывали допрос. Они «избивали политического», «лили ему на голову холодную воду», «прижигали его тело папиросами». Крики «пытаемого» агента разрывали мертвую ночную тишину.

— Хватит! — орал он. — Довольно, я во всем признаюсь!

Когда «актеры» зашли к арестованному, он лежал весь мокрый от пота, в полуобмороке, словно пытали его самого.

— Скоро мы отведем вас на допрос, — сказали ему агенты. — Готовьтесь.

Три дня они держали его в напряженном ожидании допроса. Это так измучило арестованного, что он падал с ног, когда его наконец отвели к полковнику.

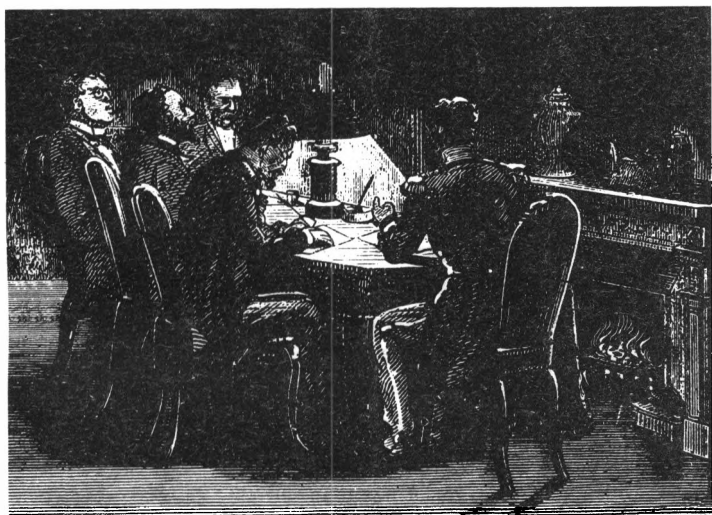
— Лучше расстреляйте меня! — умолял он агентов по пути на допрос. — Только не пытайте!

Подойдя к двери с черными пятнами вокруг задвижки, он стал упираться и не хотел идти дальше. Агенты со смехом втащили его в канцелярию и вышли, закрыв за собой дверь. Полковник Коницкий, доброжелательный, гладко выбритый, при всех медалях на отлично сидящем мундире, самыми тихими шагами дошел от письменного стола до двери, у которой стоял дрожащий человек, и протянул ему мягкую, белую, холеную руку.

— Добрый вечер, — поприветствовал он вошедшего. — Почему вы стоите на пороге? Подойдите ближе, пожалуйста.

Арестованный не мог сделать ни шагу. Полковник взял его за руку.

— Вы больны? — спросил он полным сострадания голосом. — Подойдите ближе, присаживайтесь.





Он указал на мягкое кресло, а сам уселся напротив.

— Чаю! — крикнул он, хотя в канцелярии никого не было. — И что-нибудь перекусить!

Бесшумно вошел пожилой сгорбленный жандарм, неся поднос с двумя стаканами чая. Один стакан для полковника, другой для арестованного.

— Пейте, — пригласил полковник. — Так вы согреетесь. И попробуйте торт. Очень вкусно.

Арестованный поднял глаза и стал шарить взглядом по стенам, по портьерам у входа.

— Что вы так беспокоитесь, молодой человек? — спросил Коницкий с теплотой в голосе.

— Расстреляйте меня, — сказал арестованный, — только не пытайте!

Полковник рассмеялся.

— Что за речи, молодой человек! — ужаснулся он. — Похоже, вам понарассказывали о нас всяких небылиц. Но я всего лишь военный человек, а не палач. Каждый выполняет свои обязанности. Пейте чай, вы очень напуганы.

Арестованный выпучил глаза.

— Вы хотите сказать... — пробормотал он, — вы это всерьез?..

Полковник подошел к арестованному и пощупал у него пульс.

— Вас кто-нибудь обидел? — по-отечески спросил он.

— Нет... — задрожал арестованный, — но в соседней камере...

— Что в соседней камере?

— Били, пороли, пытали. О, как страшно!..

Полковник Коницкий огорченно поморщился.

— Омерзительное солдафонство, — осудил он своих подчиненных. — Это просто звери, а не люди. Я внесу все это в протокол. Можете быть уверены.

Арестованный протянул к нему обе свои тощие руки.

— О, как страшно это было. Три дня подряд!

Полковник принялся утешать его.

— Пейте же, вы так измучены. И не бойтесь. Теперь вы под моей защитой. Никто не посмеет вас тронуть.

Как отец больному ребенку, полковник поднес стакан с чаем к губам арестованного. Когда тот немного успокоился, он угостил его папиросой и начал беседу.

Полковник Коницкий не допрашивал в обычном порядке: имя, адрес, возраст, занятия, политические взгляды и тому подобное. Он ненавидел банальности. У него во всем был свой собственный путь. Он беседовал с арестованными о мироустройстве, обсуждал политические вопросы, вникал в семейные обстоятельства, даже пускался в дискуссии. Он любил продемонстрировать допрашиваемым революционерам свои глубокие познания в марксизме, блеснуть перед ними образованностью, выказать благородство. Особенно он любил красоваться перед полуинтеллигентами, поражая их своей ученостью, либерализмом, дружелюбием и умом. При этом он пользовался — для большей доверительности — языком арестованных. Он редко говорил с людьми на официальном русском, который воспринимался в Польше как что-то казенное и пугающее. Он сразу же переходил на польский, немецкий и даже еврейский, если имел дело с ахдусником, с которым на другом языке невозможно было договориться. С нынешним сидевшим перед ним арестантом он тоже взял доверительный тон.

— Надеюсь, вы немного пришли в себя, господин Трилинг, — тихо сказал он.

Арестованный застыл с открытым ртом, услышав свое настоящее имя.

— Меня зовут... Розенблюм... Борух Розенблюм... — промямлил он.

Полковник Коницкий улыбнулся в усы.

— Если вам так приятнее, я могу называть вас именем, которое значится в ваших документах. Но нам уже известно ваше подлинное имя и имена ваших товарищей по пар-

тии. За эти несколько дней мы узнали их в ходе следствия. Мы установили также, что ваше партийное прозвище — товарищ Буча.

Товарищ Буча побледнел. Неужели его товарищи выдали себя? Полковник взглянул на него, понял, что яд, который он так искусно впрыснул, скрыв его под учтивостью, уже начал действовать, и продолжал отеческим тоном:

— Если вы хотите написать письмо своим близким, вы можете сделать это сейчас. Они очень беспокоятся за вас, ваши родители. Ваш отец был здесь. Судя по всему, у него доброе сердце. Мне действительно было больно за него. Пожилой человек из старого мира... Он так несчастен оттого, что сын сидит в тюрьме. Вы же знаете, как старшее поколение смотрит на такие вещи...

Товарищ Буча был тронут и приходом отца, и речами полковника. Сколько его ни готовили в подпольном кружке ко всему — к любому аресту и любому следователю, — он был как солдат, которого на маневрах и учениях годами готовят к войне и который, впервые попав на поле боя, пугается, теряется и ничего не помнит из того, чему его учили в казарме.

— Мой отец... — пробормотал он и тут же замолчал, вспомнив о конспирации.

Полковник Коницкий снова улыбнулся в усы растерянности и наивности жертвы, позволявшей так легко себя дурачить.

— Как хотите, молодой человек, — дружелюбно сказал он. — Я просто подумал о бедном старике... Очень милый старик...

И сразу же, не дожидаясь ответа, полковник перешел к другим делам. Он сделал арестованному комплимент.

— Ваше поведение поражает меня, — признался Коницкий. — По специальности вы ткач, а я принял вас за интеллигента.

Арестованный покраснел, услышав эти слова полковника.

— Разве рабочий не может быть интеллигентным? — спросил он.

— Конечно, может, но, увы, у нас в России это встречается редко, особенно среди русских рабочих. Страшно отсталый народ, к сожалению...

Арестованный широко раскрыл свои покрасневшие глаза. Полковник снисходительно улыбнулся.

— Вижу иронию в вашем взгляде. Ну, конечно, как такие речи возможны в устах царского прислужника, врага рабочего класса, кровопийцы?

Арестованный испугался.

— Я этого не говорил, — сказал он в страхе.

— Но вы так думаете. Вы должны так думать, потому что так вам нас представили. И не без оснований, о нет. Среди нас, увы, много заносчивых аристократов старого толка, замшелых феодалов, заслуживших своим отношением к рабочему люду сложившееся о них нелестное мнение. Но не думайте, что все вороны каркают одинаково. У нас, к счастью, достаточно государственных служащих западноевропейского типа, которые хотели бы видеть русского рабочего, крестьянина развитым и образованным. Я, молодой человек, один из них... Я сам из простолюдинов, мой отец был дворником, и мне знакома трудовая жизнь... Очень хорошо знакома... Меня действительно радует, когда я вижу, что кто-то из нас поднимается на верхнюю ступеньку лестницы. Это своего рода классовое чувство, как сказали бы вы, или, выражаясь моим языком, это у меня в крови...

На бескровном лице арестованного выступили красные пятна.

— Не понимаю, — сказал он. — Если так, то как объяснить...

Полковник Коницкий выхватил слова у него изо рта.

— Не думайте, мой друг, что я родился в мундире. Я вышел из рабочей семьи, знал бедность и нужду. Я тоже когда-то был молод и недоволен жизнью, стремился к высокому, даже

носился с революционными идеями. Не смейтесь, молодой человек, все мы прошли этот путь. Потом, конечно, явилась служба, жесткие обязанности, как по большей части случается с людьми, когда юность отгорит. Но и сейчас я живу не только ради вина, женщин и песен, как говорят о жандармах. Я сохранил интерес к идеям и мыслям. Мне все еще приятнее беседовать на возвышенные темы с мыслящим человеком вроде вас, чем играть с офицерами в карты. Я еще заглядываю порой в книгу по философии, когда не спится ночью. А таких ночей много, ой как много! В голову приходит немало мыслей, и часто думается о людях и классовых различиях, о России, этой несчастной стране, и ее многомиллионном населении, которое страдает и обливается кровавым потом... Я думаю о своей плоти и крови, о трудящихся и обездоленных. Ведь и я происхожу из них... Кровь не вода...

Арестованный почувствовал себя уютно, забыл о своем страхе, даже осмелел.

— Не понимаю, — сказал он, — как вы могли пойти против народа. Против своих.

Он тут же спохватился и застыл в кресле.

— Извините, — буркнул он. — Я не то имел в виду...

Полковник положил руку на его узкое плечо, руку теплую, мягкую, отеческую.

— Молодой человек, мне нравится ваша искренность. Это то, что я ценю в наших людях, людях из народа. Прямая речь, без манерности и выкрутасов, столь характерных для интеллигенции, для представителей верхов... Вы не должны передо мной извиняться. Я по горло сыт этим на службе. Постоянная готовность услужить, постоянное поддакивание. Иногда тоскуешь по простым человеческим отношениям, по искренности, разговору на равных. Вы очень правильно меня спросили. И я как раз хочу поговорить с вами об этом, открыться, как перед отцом родным.

Он стремительно подошел к письменному столу, порывлся в одном из его ящичков и вытащил фотографию.

— Видите здесь молодого человека? — показал он ее арестованному. — Узнаете?

Арестованный всмотрелся в карточку. Перед ним стоял типичный революционно настроенный студент в рубашке, с длинными волосами и очень мечтательным выражением лица. Рядом с ним сидела девушка, коротко стриженная, с книгой в руке.

— Нет, я никого не узнаю, — сказал арестованный.

— Верите ли вы, что это я? — улыбнулся полковник. — Посмотрите хорошенько. Это снято в мои петербургские студенческие годы, до моего первого ареста.

— Ареста?

— Да, ареста, мой друг, и не за кражу, как вы догадываетесь, а за революционную работу. Сын бедных родителей, я, как и вы, хотел постоять за свой класс, бороться с богачами. Это они, интеллигенты, втянули меня, как и прочих, в борьбу. Я свято верил их речам. Но скоро я узнал их и стряхнул с себя это наваждение.

— Что вы имеете в виду? — растерянно спросил арестованный.

— Видите ли, мой друг, — тепло и душевно продолжал полковник, — если бы вы были одним из них, из этих неженок, снисходящих к народу, чтобы осчастливить его, я бы не стал разговаривать с вами так чистосердечно. Я бы просто выполнил свои обязанности. Потому что я знаю их, знаю, что этих людей не интересуют рабочие, что они чужды им по сути, что они смотрят на рабочих сверху вниз, испытывают к ним отвращение. Не перебивайте меня, молодой человек. Они происходят из богатых домов, где им знать и чувствовать народ? Вся их революционность рождена фантазией, бездельем, модой на радикализм. Вы рабочий, угнетенный богатыми и власть имущими. Ваша борьба серьезна, это зов вашей крови. Вы меня поймете. Потому что мы оба из одного теста, из бедноты. И я говорю вам, что мы, люди из народа, никогда не сможем идти рука об руку с интеллигенцией, с выходцами из

высших сословий. Я понял это и прочувствовал на собственной шкуре. И отдалился от них. И ополчился против них — против них, но не против рабочих.

Кадык на шее арестованного дернулся. Полковник Коницкий не дал ему заговорить.

— Посмотрите на то, как идет борьба в России, и вы увидите, что это не борьба бедных против богатых, что было бы естественно, а борьба внутри самой интеллигенции, склока из-за власти, затеянная высшими классами. Кто были первые октябристы?<sup>1</sup> Аристократы, князья и графы, желавшие добиться господствующего положения. Они только использовали народ, заставляя его проливать кровь за амбиции богачей. А последующие революционеры? Тоже выходцы из верхов, за интересы которых гибли простые люди. Присмотритесь к революционной борьбе. Кто руководит ею? Снова интеллигенты, втягивающие в нее рабочих, чтобы таскать каштаны из огня чужими руками.

Полковник расстегнул все пуговицы на своем голубом пиджаке, что придавало ему свойский, гражданский вид, и всмотрелся в глаза арестованного с такой силой, что тот опустил взгляд.

— Скажите мне, мой юный друг, — попросил он, — можете ли вы коротко и ясно ответить, за что вы боретесь?

— За что я борюсь? — повторил арестованный. — Ну, вы же сами знаете, за рабочий класс, за свободу...

— Вы позволите мне разделить эти две вещи? — перебил его полковник. — Сначала поговорим о том, что волнует вас как рабочего и ваш класс прежде всего. О борьбе за свои интересы. Свободу пока оставим в стороне.

— Без свободы не может быть борьбы за рабочий класс!

— Вот здесь вы говорите наивно, — грустно улыбнулся полковник. — Здесь уже говорите не вы, рабочий, кровный

<sup>1</sup> Имеются в виду члены «Союза 17 октября», праволиберальной политической партии, существовавшей в России в 1905–1917 гг. Название партии восходит к манифесту императора Николая II от 17 октября 1905 г.

представитель своего класса. Это интеллигентская фраза, агитация.

— Я вас не понимаю, — сказал арестованный.

— Позвольте вам объяснить, — сказал полковник, касаясь его колена. — Свобода, мой друг, это красивое, звонкое слово, которым интеллигенты покоряют массы, но в то же время это очень мрачная вещь. Вы когда-нибудь были за границей? Нет. А я бывал, немало пришлось поездить по Европе. И позвольте мне сказать вам, что эта конституционная свобода, о которой вы здесь так кричите, все эти тайные, прямые и основанные на равноправии выборы, к каковым допущены трудящиеся в конституционных государствах, не сделали простых людей счастливыми. Они вольны умирать от голода, так же как их депутаты, получающие государственное жалованье, вольны произносить в парламентах революционные речи против угнетателей. Свобода — просто доходное занятие для интеллигентов, позволяющих народу голосовать за них...

— При новом социальном порядке хозяевами будем мы, — перебил его арестованный.

Полковник посмотрел на него с самой сострадательной улыбкой, как на дорогого, но безумного человека.

— Смешно, — отмахнулся он. — Рабочий всегда останется творцом, строителем, а интеллигент будет им управлять. Речь ведь идет не о том, сможете ли, например, вы вырваться вперед и стать интеллигентом; речь идет о рабочем классе в целом.

— Но при социализме не будет классов!

— Фантазии, молодой человек! Эти два класса, враждебных класса, будут существовать всегда. Рабочие и образованные бездельники. Трудящиеся не более чем солдаты в борьбе, которую ведут между собой интеллигенты. Так было во времена Французской революции. Интеллигенты Робеспьер и Дантон яростно боролись между собой за власть, а простые люди проливали свою кровь в этой битве. То же самое



мы имеем теперь и в России. И задача рабочих, образованных рабочих, — выйти из чужих войн и объединиться ради собственной борьбы, за свои и только свои интересы. Понимание этого оторвало меня, человека из народа, от интеллигентов, противопоставило меня им. Так же должны поступить все сознательные рабочие, и уверяю вас, вы всего достигнете. Никто не устоит против вас в вашей справедливой борьбе.

Арестованный сидел, еле сдерживаясь. Он мог бы многое сказать Коницкому. Но полковник не дал ему говорить. Он перешел от политической дискуссии к личной теме.

— Послушайте, молодой человек, — продолжал он тихим бархатным голосом. — Я знаю вашу жизнь. Могу рассказать вам ее, как по книге, потому что я прошел тот же путь. Интеллигенты втянули вас в борьбу разговорами о равенстве и братстве. Но как выглядело это братство в ваших рядах? Они, вожди, сидели за границей и принимали резолюции. А вас, рабочего, запихнули в подпольную типографию, где вы месяцами жили без свежего воздуха, без общества, оторванный от близких, от собратьев по труду, от родителей, от всего мира. Вас томили вечный страх и беспокойство, вы были изолированы, погребены заживо, ваше подполье было хуже самой мрачной тюрьмы.

— Интеллигенты тоже так жили.

— Вы имеете в виду свою партнершу, выдававшую себя за вашу жену. Но давайте не будем об этом. Я не хочу причинять вам боль...

Арестованный подпрыгнул на месте.

— Что вы имеете в виду? — крикнул он. — Что?

— Ничего, — сказал полковник с загадочной улыбкой. — Лучше оставим эту тему.

Арестованный буквально лез из кожи. Полковник не переставал таинственно и сочувственно улыбаться в усы.

— М-мда, — протянул он, барабая пальцами по письменному столу, — как же невероятно наивен и доверчив наш человек, как ловко интеллигенты ловят его в свои сети... Они

читали вам проповеди о морали, об исключительно товарищеских отношениях, которые должны поддерживать партийцы независимо от пола... Одни лишь чистые идеи объединяют их, хе-хе-хе. Не так ли?

Арестованный извивался, как змея.

— Мы муж и жена.

— Не говорите глупостей, — возразил полковник. — Вы же не считаете меня дураком... Знаю я таких супругов на конспиративных квартирах. Вы были мужем и женой для дворника. Но когда вы оставались одни, она держалась на расстоянии, не подпускала вас к себе, избегала, как свойственно интеллигенткам избегать тех, кто ниже их, рабочих. С людьми своего класса она не говорила о морали, о чисто дружеских отношениях. Там были другие отношения, совсем другие...

Арестованный вышел из себя.

— Ложь! — закричал он, забыв о своей трусости.

Полковник рассмеялся. Он смеялся громко, во всю глотку.

— Не тяните меня за язык, — загадочно сказал он. — Они относятся к вам намного, намного хуже, чем вы к ним. Вы их рабы, слепо преклоняющиеся перед ними, готовые выстоять несмотря ни на какие страдания, хранить тайну во что бы то ни стало. А они отворачиваются от вас, выдают вас, потому что боятся страданий, потому что их изнеженные тела не выносят побоев... Я знаю, что вытерпел такой человек, как вы, постоянно находясь в квартире с девушкой, которую он любит, по которой сходит с ума. Притворяться мужем, но держаться поодаль, преодолевая себя, пряча страстные взгляды... Видеть со стороны любимой отвращение, скрываемое под маской морали... В то время как «святая» соратница по борьбе предается грешной любви с руководителями... Они смеялись над вами... Издевались...

— Вы не имеете права! — воскликнул арестованный.

— Возможно, но у меня есть любовные письма, найденные во время обыска среди бумаг вашей «жены». Очень интересные письма, очень...

Он открыл ящик письменного стола, вытащил какой-то лист и тут же вернул его на место.

— К сожалению, я пока не могу познакомить вас с интересными подробностями жизни этой дамы, а также многих других ваших идолов. Еще слишком рано. Может быть, когда-нибудь, при случае. И тогда мне будет легче вас убедить... К тому же наш сегодняшний разговор был сугубо личным, а не служебным. В заключение призываю вас подумать над моими словами.

Арестованный сидел с низко опущенной головой. Коницкий продолжал тоном преданного отца, который вынужден наказывать своего сына.

— Помните, что тому, кто стоит перед открытой дверью, нет необходимости прошибать лбом стену, — тихо увещевал свою жертву полковник. — Отделите вашу борьбу за кусок хлеба от стремления сложить голову за пустые интеллигентские интересы. Тогда нам не придется вести войну друг против друга.

— Но вы же нас бьете, вы стреляете в наши демонстрации!

— Это потому, что вы позволяете интеллигентам вас обманывать, — объяснил полковник Коницкий.

Арестованный хотел сказать что-то еще, но Коницкий остановил его.

— Было очень приятно познакомиться, — свернул беседу полковник. — Надеюсь, мы еще увидимся. Всего доброго, спокойной ночи...

Жандармы отвели арестованного в очень чистую и удобную камеру. Они принесли ему поесть, но узник не прикоснулся к еде. Он не мог есть и не мог сомкнуть глаз даже на минуту.

Рассуждения полковника на политические темы буравили его мозг, как черви, язвили сильнее, чем намеки на личную жизнь.

Неужели товарищи и впрямь выдали его? — напряженно думал он. Если нет, то откуда полковнику известны мельчай-

шие детали его жизни? Все правда, все именно так и было. Как же он узнал?..

Арестант уткнулся головой в набитую соломой тюремную подушку и горько проплакал всю ночь.

## Глава двадцать вторая

**Л**одзь оживилась.

Война на Дальнем Востоке закончилась. Большая Россия снова распахнула двери перед купцами, комиссионерами и коммивояжерами. Заказов поступало много, и фабрики работали спешно, в две смены.

Забастовки прекратились. В городах и селах по всей Российской империи теперь было много демобилизованных солдат. Вместо японских язычников они били революционеров, врагов царя. Власть была отобрана у полиции и передана военным комендантам, как на фронте. В русских городах полиция собирала проституток, пьяниц, бродяг, бежавших из тюрьмы преступников в устроенных для них чайных, где висели парадные портреты императора и императрицы, а приставы, полицейские агенты и попы именем Божьим призывали уголовников и оборванцев бить жидов, революционеров и забастовщиков. Длиннобородые священники в длинных одеяниях и с распятиями в руках, черные монахини с горящими восковыми свечами, толстые рестораторы, рыночные торговки, переодетые жандармы, уличные девки, калеки, сумасшедшие, люмпены маршировали по улицам, распевали церковные песнопения и гимны, надрывали глотки, грабили, калечили и убивали в еврейских кварталах.

В Литве и Белоруссии вооруженные солдаты нападали на евреев и присоединялись к грабителям во время погромов; сопротивление еврейской самообороны подавлялось. В поль-

ские города привозили бородатых кацапов на железнодорожные работы и настраивали их против евреев, врагов церкви и государя-батюшки. Тюрьмы были полны рабочих, арестованных за участие в забастовках и революционной борьбе. По причине нехватки мест арестантов сажали в казармы, даже в гарнизонные церкви. Военные трибуналы работали быстро, впопыхах. По ночам в тюремных дворах строили виселицы. В каждом пассажирском поезде были зарешеченные вагоны, битком набитые высылаемыми в далекую Сибирь.

В городах и местечках евреи постились, пытались предотвратить погромы, читали покаянные молитвы, жертвовали деньги на поддержание вдов и сирот. Вместо ахдусников бимы в синагогах снова заняли магиды и раввины. Они призывали вернуться на Божьи пути, молиться, соблюдать заповеди, быть покорными царю земному и его законам. Отцы опять держали детей в узде. Время от времени ахдусники еще давали о себе знать: развешивали на стенах прокламации, а то и выходили на улицу с красным знаменем. Но повести за собой людей им удавалось редко. Революционно настроенная молодежь из состоятельных семей отбросила детские фантазии, в которые по горячности слишком уж погрузилась в предыдущие годы. Одни вернулись в университеты, готовиться к карьере. Другие удачно женились, занялись коммерцией, открыли фабрики, мастерские. Девушки искали женихов или же крутили свободную любовь с бывшими революционерами, гуляли, пили. Многие бежали за границу, в Америку, Аргентину. Революционные вожди уехали в Швейцарию, где вели жаркие теоретические споры в студенческих комнатушках. Некоторые остались в тюрьмах, в Сибири.

Лодзь снова работала, гнала на всех парах. Россия требовала товаров, скупала их, компенсируя простои в беспокойные времена. Лодзинские фабриканты часто устраивали балы для военных властей города, проигрывали офицерам деньги, платили большое недельное жалованье хозяину города гене-

ралу Куницыну. Они подарили ему и карету, дорогую, с лошадьми, чтобы он держал город в строгости, не допускал забастовок и беспорядков. Рабочие боялись пикнуть. Сидели тише воды, ниже травы. Лодзь снова гуляла в кафешантанах, играла в карты, пила и наслаждалась жизнью.

Макс Ашкенази преуспел. Дела у него шли прекрасно. Он добился своего.

Его брат Якуб боролся за Диночку, давал ей деньги, нанимал адвокатов, делал все возможное и невозможное, чтобы не допустить развода, но проиграл. Упрямством Макс всегда был сильнее его. Если он на что-то нацеливался, то стоял до конца. Он готов был пробить головой стену, лишь бы получить желаемое. Якуб, в свою очередь, быстро загорался, хватался за дело с пылом, но, вспыхнув, так же быстро остывал и не хотел воевать дальше. Гораздо больше войн ему нравилась красивая и приятная жизнь. Достижение цели, преодоление препятствий на пути к ней не слишком его увлекали. Он не любил побеждать кого-то, мстить. Но как моль, которая не торопится и маленькими кусочками съедает самую крепкую вещь, его брат, Макс Ашкенази, кусал, грыз, атаковал, сживал со свету и не успокаивался, покуда противник не уставал и не сдавался.

Он по сто раз отправлял служек звать жену на суд Торы, подсылал людей, выдвигал новых адвокатов, велел управляющему домом Шлоймеле Кнастеру подстраивать разные пакости, пока Диночке это не надоело, пока ей не осточертела такая жизнь и не захотелось покончить со всем этим. Ее родители тоже опустили крылья. Они не отличались особой воинственностью, эти Алтеры. Никто бы не назвал их борцами. Им надоело жить за счет Якуба, но долги окружали их со всех сторон. Игнац то и дело слал из-за границы письма с просьбами о деньгах. Его абсолютно не интересовало, что творится дома. Пусть там творится что угодно, лишь бы чеки приходили к нему как можно чаще, в противном случае он угрожал покончить жизнь самоубийством. И Диночка устала. Она

больше не могла тащить на своих женских плечах этот груз и согласилась на развод.

С тяжелым сердцем Макс Ашкенази выплатил жене целых сто тысяч рублей наличными. Это было много, во много раз больше, чем она когда-то принесла ему приданого. Сто тысяч — это сумма. За такие деньги можно было бы купить большой пакет акций. Но он должен был ими пожертвовать ради своего великого плана. Сама вдова Марголис из Харькова велела ему выплатить их. За эти сто тысяч он добился развода, как еврейского, так и гражданского, и взял с жены подпись, что она не имеет больше претензий к своему бывшему мужу, Симхе-Мееру (Максу) Ашкенази. С опущенными головами стояли они, муж и жена, в раввинском суде, где их множество раз переспросили, действительно ли они хотят расстаться, и множество раз заставили повторить «да».

— Боже мой, когда уже это кончится? — сказала Диночка матери. — Я больше не могу.

— Развод — не мелочь, — сделал ей замечание раввин. — Так велит наша святая Тора.

Диночка вышла на улицу, не удостоив взглядом человека, с которым прожила жизнь. Она упала в закрытых дрожках на шею матери и зашлась в рыданиях.

— За что мне такая жизнь? — всхлипывала она. — Такая несчастная жизнь! За какие грехи, мама?

Прива утешала ее.

— Доченька, ты еще выйдешь замуж, у тебя еще будет счастье. С таким-то состоянием, не взглянуть бы. И ты еще красива, как на картинке. Ты цветешь как роза, доченька...

— Не говори этого! — просила Диночка. — Не мучай меня!..

А вот Макс Ашкенази смотрел на свою бывшую жену. С побледневшим лицом, с печальными голубыми глазами, в темной одежде, гордая, чужая, стройная, она казалась такой красивой, соблазнительной и недоступной. Он вспомнил

вдову Марголис, крупную, широкоплечую, угловатую немолодую женщину с мужскими ухватками и басовитым голосом, от которого бросает в дрожь. Он почувствовал укол в сердце, когда Диночка вышла из комнаты и скрылась из глаз. Внутри возникла пустота, словно он выпустил из рук дорогую вещь, уронил ее в глубокую пропасть, и руки вдруг стали лишними. Но, как обычно, он сумел справиться с собой. Он представил миллионы, которые принесет ему харьковская вдова, ее огромные деньги, за которые можно купить море акций. Это помогло забыть о пустоте.

С высоко поднятой головой, на цыпочках, как всегда, когда ему хотелось придать себе куражу, он вышел из раввинского суда и уселся в ожидавшую его карету. В тот же день скоростным поездом он отправился в Харьков к вдове Марголис с разводным письмом в кармане.

Лодзь знала, что говорит, предсказывая недолгую любовь между Янкой, дочерью фабриканта Флидербойма, и Якубом Ашкенази.

Говорили, что этот роман продлится от поста Эсфири до Пурима. Так оно и было. Сумасшедшая дочь Флидербойма влюблялась в красивых мужчин так же быстро, как охладевала к ним. Однако Якуб остался жить во дворце, в директорской квартире при фабрике. Янка сохранила с ним дружеские отношения. Они по-прежнему называли друг друга на «ты», но больше она с ним в карете по улицам Лодзи не разъезжала. Она увлеклась тенором, итальянцем, выступавшим в Варшавской опере. Ей вдруг очень захотелось развивать свой голос, который у нее когда-то был, и она пригласила тенора к себе в качестве преподавателя. И теперь, вместо Якуба Ашкенази, она каталась с этим смуглокожим итальянцем и прижималась к нему на глазах у всех, как может только безумная.

А Якуб Ашкенази разъезжал галопом с дочерью брата Гертрудой.



Она, эта бойкая Гертруда, больше не делала секрета из своей любви к дяде. После развода родителей она стала самостоятельной и даже не спрашивала мнения матери. Она сидела рядом с Якубом веселая и счастливая, качая всеми локонами, кудряшками и колечками своей красивой медно-рыжей головки. Она отбирала у дяди вожжи, как в те времена, когда была ребенком, и смеялась голоском-колокольчиком, и смотрела прямо в горящие черные глаза Якуба, в глубине которых пробегали голубые огоньки.

— Кубуш, — говорила она, — поцелуй меня покрепче.

Дедушка Алтер взялся искать для внучки женихов. Он вместе с Привой уже присмотрел для дочери очень приличного мужчину, торговца и вдовца. Правда, Диночка не допускала даже мысли о сватовстве, слова не давала сказать на эту тему, говоря, что она уж как-нибудь проживет отведенные ей годы одна. Но родители верили, что ее удастся переубедить. Они хотели дожить до счастья дочери после той несчастной жизни, которую они ей устроили. Вот только дочь Диночки, Гертруда... Пока она не выйдет замуж, о сватовстве матери не может быть и речи, и реб Хаим Алтер все время обсуждал со сватами достойные партии для внучки. Прива смеялась над мужем.

— Ты, верно, думаешь, что сейчас прежние времена. Нет, Хаим, партии, которые ты находишь, не подходят Гертруде. Я уж как-нибудь подыщу ей современного парня. С десятью тысячами рублей ей можно даже доктора найти...

Но Гертруда не желала слышать ни о дедушкиных купцах, ни о бабушкиных врачах.

— Не хочу, не надо, — смеялась она и затыкала уши своими маленькими пальчиками.

— В чем дело, у тебя уже кто-то есть? — допытывалась бабушка Прива. — Любовь, а, проказница?

— Любовь, еще какая любовь! — со смехом отвечала девушка и принималась кружить бабушку по комнате в танце.

Энергичная, как и ее отец, неудержимый в достижении цели, жизнерадостная, жадная до развлечений и наслаждений, как все Алтеры, Гертруда не довольствовалась одними родственными нежностями дяди Якуба. Он был для нее не только родственником, но и мужчиной — красивым, сильным, веселым, из черных глаз, из смуглой кожи, из здорового и мощного тела которого лучилась сама жизнь. Еще в отрочестве, в тринадцать лет, сидя у него на коленях, она любила в нем не столько дядю, сколько мужчину. Чем старше она становилась, тем сильнее липла к Якубу. С тех пор как он развелся, она говорила с ним открыто. Она перестала называть его по-семейному дядей и звала просто по имени, причем в уменьшительной форме. Кубуш — называла она его вместо Якуб. Она прижималась к нему, садилась к нему на колени, навивала на пальцы его бороду и поедала его взглядом.

— Целуй меня сильнее, крепче, съешь меня! — умоляла она его в пылу страсти.

Дядя Якуб боялся этой девушки.

Он тоже испытывал к ней больше чем родственную любовь. Он видел в ней Диночку, ее мать. Единственное, что отличало ее от матери, был рот. Губы девушки были не такими нежными и красивыми, как у матери. Они были толстоватыми, чрезмерно красными и немного вывернутыми. Между ними виднелись крепкие белые и довольно хищные зубки. Этот сильный, жадный рот выдавал силу и упорство, унаследованные Гертрудой от отца.

Казалось, ее пухлые, вывернутые губы всегда готовы к поцелуям, к страстным поцелуям. Мужчины сразу обращали внимание на эти губы, взгляда от них не могли оторвать. Дядя Якуб боялся сам себя, когда эта девушка своими зрелыми, женскими поцелуями искала его губы под усами.

— Гертруда, хватит! — гнал он ее со своих колен. — Ты уже взрослая, не притворяйся дурочкой...

Но девушка не отставала.

— Да, я не маленькая девочка, — сердито говорила она. — И я знаю, что ты меня любишь...

Дядя Якуб пытался смеяться над ней, свести все к шутке, но это еще больше распаляло Гертруду.

— Не смейся, говори со мной, как с женщиной! — топала она ногами со злостью и пробудившейся женской обидой.

Дядя Якуб вздрогнул. В глазах Гертруды горели зрелые голубые огоньки. Он в таких делах разбирался. Он понял, что шутками тут не поможешь. Перед ним стояла женщина, взрослая, влюбленная, деспотичная и в то же время рабски покорная. Он увидел, что дело принимает серьезный оборот, и испугался. Правда, он был свободен, как от жены, давшей ему развод, так и от дочери Флидербойма, променявшей его на тенора. Но он страшился маленькой Гертруды. Ему было неловко перед Диночкой. Как его ни тянуло к девушке, он старался отдалиться от нее, избегал ее, отталкивал. Но Гертруда не отступала.

Зрелая, могучая, полная радости и сил, она не пыталась, как некогда ее мать, погрузиться в книжки, жить чужими жизнями. В отличие от подруг, она не разменивала свои чувства на платонические влюбленности во всяких оперных певцов и театральных героев-любовников. Она излучала силу и желание. Ее юная жизнь кричала в ней голубым блеском глаз, горячей медью волос, ее вывернутыми, красными и толстыми губами, всем ее гибким и созревшим девичьим телом. Она жаждала любви, мужчины. Желания ее были мощными, цельными, необузданными, и она не стыдилась их. Она открыто говорила о них дяде.

— Я люблю тебя, Кубуш, — говорила она, — и ты меня тоже. Я это знаю. Будь моим мужчиной!

Якуб Ашкенази гнал ее.

— Глупая ты девочка, — пенял он ей. — Ты сама не понимаешь, что ты говоришь. Молчи об этом, чтобы люди не услышали.

— Какое мне дело до людей? — резко отвечала ему девушка.

— Малышка, я ведь мог бы быть твоим отцом.

— Ты мне нравишься, — повторила она.

— Гертруда, ты молода, все девушки в твои годы питают слабость к мужчинам среднего возраста. Но это проходит. Тебе надо выйти замуж за ровесника!

— Я женщина и знаю, чего хочу, — твердо отвечала она.

Когда Якуб Ашкенази увидел, что от девушки так просто не отделаться, он начал искренне говорить ей все, что было у него на сердце.

— Гертруда, мы не можем поступить так из-за мамы, — объяснял он ей. — Ты же знаешь, что когда-то мы друг другу нравились. Для нее это будет сильным ударом. Особенно сейчас.

— А кто виноват, что она не смогла разобраться с собственной жизнью? — отрезала девушка.

Якуб посмотрел на нее большими глазами.

— Гертруда, — упрекнул он ее, — разве можно говорить так о матери? Ты вылитый отец, Симха-Меер.

Девушка разрыдалась.

— За что ты меня мучаешь? — говорила она сквозь слезы. — Ну что из того, что я люблю, что я хочу любви? Разве у меня нет на это права?

Она упала перед дядей на колени, целовала ему руки.

— Ну обними меня, — страстно умоляла она. — Ну поцелуй меня, люби меня.

Она впиалась зубами ему в шею, царапала его кожу острыми ногтями.

— Возьми меня целиком, делай со мной, что хочешь, — шептала она. — Ну, забудь, кто я и что я. Смотри на меня как на женщину, женщину, которая любит тебя и которую любишь ты... Любимый мой, господин мой, король мой...

Как и отец, который рвался к цели и не успокаивался, пока не достигал ее, Гертруда, его дочь, не отступала. Она схватила дядю за руки. Она знать не знала никакого стыда, не жела-

ла слушать о матери, не беспокоилась о том, что могут сказать люди. Она шла к желаемому твердыми шагами, сметая все на своем пути. Она следовала за дядей как тень, разжигала его кровь, будила в нем мужчину, пока не получила то, что хотела. Она сама отправилась к матери, к дедушке, к бабушке и рассказала им о своей любви.

— Мамочка, — бросилась она целовать мать. — Я знаю, что по отношению к тебе я веду себя плохо, что я не должна бы так поступать; но сделай это для меня, для твоей дочурки, ради любви твоей Гертруды, ради ее счастья... Я не могу жить без него...

Диночка буквально окаменела в объятиях дочери. Просьба Гертруды не стала для нее неожиданностью. Она ночи напролет думала об этом. Она видела, что все к этому идет и обязательно дойдет рано или поздно. Еще ребенком Гертруда так и вилась вокруг дяди, вешалась ему на шею. Своим материнским глазом Диночка разглядела, что за этим кроется. Она видела блеск в глазах Якуба, когда малышка ездил на нем верхом, прижимаясь к его шее. Она понимала, что, целуя дочь, он целует мать и видит в ней ее, Диночку, и ей казалось, что это ее он обнимает, дарит любовь ей самой. Теперь она слушала Гертруду, и грудь ее ныла. Ей было больно, горько, что ее собственная жизнь потеряна, а счастье проиграно. Ее жгли женская зависть и ревность.

Вот оно и случилось, ворвалось резко, открыто. И Диночка застыла на месте, в то время как дочь целовала ее, обнимала и вымаливала у нее счастье.

— Встань, — прошептала она дочери. — Делай что хочешь. Не спрашивай меня.

Девушка встала и поднялась на цыпочки, как отец, когда он хотел чего-то добиться.

Мать увидела это и вздрогнула.

— Мне нужно побыть одной, — сказала она. — Оставь меня.

Гертруда отправилась к дяде Якубу с доброй вестью.

## Глава двадцать третья

**В** просторном кабинете мануфактуры баронов Хунце в Лодзи расставлены большие столы, накрытые зелеными скатертями. Со всех сторон их окружают глубокие кожаные кресла. Вице-директора и служащие расхаживают здесь тихими шагами. Прислужник Мельхиор, с уже седыми бакенбардами, но такой же краснолицый и здоровый, как прежде, в ранней юности, стоит у дверей, готовый к услугам, вытянувшись в струнку в своем зеленом егерском костюме и положив руки на широкий пояс своих полосатых брюк. Вице-директора фабрики, дородные немцы с гладко причесанными русыми волосами, открывают коробки с иностранными сигарами и расставляют их на столах.

Теперь, в начале нового года, акционеры фабрики, как всегда в это время, собираются на ежегодное совещание. Сюда пришли виднейшие и богатейшие люди Лодзи: русые немцы в светлых костюмах, черноволосые и кудрявые еврейские банкиры, какой-то длинноусый польский помещик, заблудившийся среди тех и других, пожилая тощая женщина в чрезвычайно старомодной одежде и сами бароны Хунце, подтянутые, аристократичные, с моноклями в глазах. Аристократизм надет, как маска, на их простоватые лица иноверцев-плебеев, на которых упрямо держатся следы ремесленного, ткаческого прошлого их семьи.

Собравшиеся немцы заискивают перед ними, постоянно добавляя «герр барон», обращаясь к кому-либо из них, тают от сладости и умиления перед благородными фабрикантами, но бароны злы, раздражены. Они яростно накидываются на слуг из-за любой мелочи, просто потому, что те попались хозяевам на глаза. Главный директор Макс Ашкенази расхаживает по кабинету возбужденный, в приподнятом настроении. Его английский костюм в клеточку

несколько широковат ему. Лицо чисто выбрито. Бородка вопреки обыкновению не растрепана, а приглажена и аккуратно расчесана, словно только что вышла из рук парикмахера. Бархатный жилет с блестками так и светится каждой своей блесткой. У него, у главного директора Макса Ашкенази, нет брюшка, в отличие от большинства акционеров, на животах которых жилеты едва сходятся. И он нарочно из последних сил надувает живот. Также он не забывает вставать на цыпочки, особенно когда разговаривает с рослыми людьми. Он делает это, чтобы добавить себе роста, придать солидности и важности.

Заседание еще не началось. И акционеры бродят пока по большому фабричному кабинету. Они выпускают клубы дыма из своих сигар на императорские портреты, висящие здесь так же, как их когда-то повесил старый Хунце. Они рассматривают развешанные по стенам медали, диаграммы, фотографии машин, планы, схемы, разного рода чертежи и таблицы. Директор Макс Ашкенази с гордостью указывает на диаграммы. До того, как много лет назад он пришел сюда работать, на фабрике было три тысячи рабочих. Теперь их восемь тысяч. Точно так же увеличилось и число станков.

— Вот чертежи, господа, — кивает Макс Ашкенази на голубые диаграммы. — С каждым годом, как вы можете видеть, кривая поднимается все выше и выше. Здесь, господа, она несколько снижается. Это тот сумасшедший год, когда Лодзь больше бастовала, чем работала, но вскоре кривая снова взлетает вверх, быстро наверстывает упущенное и продолжает рост, как вы можете видеть, господа.

— Прекрасно, — бормочут слушатели. — Великолепно.

— Параллельно с этим, господа, — продолжает Макс Ашкенази, — вы можете проследить рост наших коммерческих достижений. Посмотрите, пожалуйста, на эту карту. Флажками обозначены пункты, куда поставляются наши товары.

Макс Ашкенази водит пальцем по большой карте Российской империи: палец скользит во всех направлениях, указы-

вая на города и области, на которые распространилась деятельность акционерного общества «Мануфактура баронов Хунце». Флажки раскиданы от Вислы до Амура, до китайской и персидской границы.

— В последнее время, господа, мы вышли также за пределы империи, — объявляет Макс Ашкенази, тыча пальцем в карту.

Он показывает на прежние карты, где отражена ситуация, существовавшая до того, как он, Макс Ашкенази, пришел на фабрику.

— Все это теперь наше, — говорит он с гордостью, как генерал-победитель, обозревающий завоеванные им страны.

— Прекрасно, великолепно! — хвалят его акционеры.

— В то же время растет курс наших акций, с первого года их выпуска и до сих пор. Взгляните, пожалуйста, господа.

Акционеры улыбаются еще шире.

— Прекрасно, великолепно! — твердят они, качая головами.

Покончив с этим, Макс Ашкенази повел акционеров осматривать фабрику.

Вести экскурсию хотели инженеры, но Макс Ашкенази их отстранил. Безо всякой карты-схемы в руках, без проводников он вел гостей по огромной территории фабрики, отделенной от внешнего мира высоким забором из красного кирпича с металлическими шипами наверху.

На просторном фабричном дворе не было ничего, кроме цехов и складов. Изредка по нему проходил рабочий. Только земля и стены тряслись от хода машин. Их царство находилось под землей и рвалось оттуда вверх, к красным кирпичным стенам с дребезжащими зарешеченными окнами.

— Господа, мы увидим по порядку весь процесс производства, с того момента, как с поездов сюда поступает сырье, и до тех пор, когда товары упаковываются и вывозятся с фабрики.

По подземным улицам, тускло освещенным красными электрическими лампочками, Макс Ашкенази проводил ак-



ционеров до ведущей на фабрику железнодорожной линии. Механические подъемники своими железными лапами медленно поднимали гигантские тюки хлопка, бочки краски, прибывшие из-за границы машины и грациозно опускали их в руки рабочим, которые подхватывали их, грузили на вагонетки и увозили на склады.

— Осторожно, господа. Берегитесь цепей и крюков, — предостерег акционеров Макс Ашкенази. — Теперь пойдете дальше, господа.

Он повел их в котельные, где царила страшная жара. Истопники стояли у огромных печей, бросали уголь в открытые огненные пасти. Их начальники следили за ростом температуры по термометрам. При появлении гостей полуголые истопники, закопченные, продымленные, поспешно выплюнули самокрутки и застывшими взглядами уставились на разодетых толстомясых экскурсантов.

— Фу, какая жарница! — говорили вошедшие в котельную акционеры, отодвигаясь подальше от печей. — Изжариться можно.

— Эй, подбросить угля! — приказали начальники котельной молодым подчиненным, которые ели хлеб и запивали его цикорием из бутылок.

Из котельных Макс Ашкенази препроводил акционеров к прядильным цехам, оттуда — к ткацким. В огромных фабричных цехах тянулись бесконечные ряды машин. Женщины, в основном молодые, стояли у станков, связывали оборванные машиной нити, выправляли их, поднимали и опускали шпульки. От стука машин, от дребезжания трансмиссий звенело в ушах.

— Тут слова не расслышишь, — сетовали акционеры, толкаясь животами в узких проходах между станками. — Как вам удастся что-то слышать здесь, господин директор?

— Привычка, господа, — ответил Макс Ашкенази и показал, как идет нить, как она скручивается и протягивается через колесики и валики машины.

Оттуда все направились в промывочные, отбеливательные и красильные цеха.

— Осторожно, господа, здесь сыро, — предупреждал Макс Ашкенази.

В больших мрачных залах висел пар, царила сырая вонь. Акционеры сразу же схватились за носы. У астматиков перехватило дыхание.

— Фу, какой ужас, — морщились экскурсанты.

Полуголые рабочие в деревянных башмаках расхаживали по сырым каменным полам, полоскали товары, намыливали их, сушили в огромных печах, выпаривали, переворачивали в резервуарах, пропускали под давлением. Мастера кричали, гости кривились, хотели поскорее выйти, но Макс Ашкенази не давал. Он во все влезал, вникал во все детали, везде останавливался, расспрашивал мастеров, беседовал с химиками, рассматривал чертежи у чертежников. Он заглядывал даже в упаковочные камеры и наблюдал за тем, как девушки пакуют готовые товары.

Единственными, кто не ходил с ним по фабрике, были бароны Хунце. Они ненавидели фабричные цеха, не выносили царящего в них шума, не хотели пачкать ноги об эти свинские полы, не имели желания крутиться среди плохо одетых и потных рабочих. Вместо этого они сидели в своем дворце и один за другим вливали в себя коктейли, которые им подавали слуги.

Они были злы — и потому, что посреди зимы им пришлось оторваться от своего зимнего спорта в горах Тироля и приехать в эту грязную Лодзь, и потому, что их дела на фабрике шли не блестяще. Они не знали точных цифр. Они толком ничего не считали, но понимали, что за эти годы они продали слишком много акций, особенно недавно. Как на зло, в последнее время им не везло ни в карточной игре с приятелями, ни в рулетку в Монте-Карло. И теперь они заливали дурные мысли коктейлями и заставляли себя ждать на ежегодном заседании акционеров. Не раз уже слуги при-

ходили сообщить, что господа давно собрались за столом, — бароны Хунце все не торопились спустаться в большой кабинет.

Когда они наконец спустились, собравшиеся вздохнули с облегчением. Все ждали, что старший из братьев Хунце подойдет к креслу, стоящему во главе стола, и, как обычно, откроет собрание. Но в этот момент директор Макс Ашкенази позвонил в колокольчик и торжественно произнес:

— Господа, позвольте сообщить, что на сегодняшний день в моей собственности находятся шестьдесят процентов акций. Согласно уставу, честь открыть сегодняшнее собрание принадлежит мне...

В кабинете стало тихо. Все сначала посмотрели на баронов, потом на Макса Ашкенази, потом снова на баронов. Что-то они скажут? Но и они какое-то время молча смотрели вокруг себя. Продолжалось это достаточно долго. Молчание было напряженным и мучительным. Прервал его Макс Ашкенази.

— Господа, на этом я открываю заседание, — воскликнул он и вольготно уселся в большое кресло во главе стола.

В том, как он звонил в колокольчик, в его твердом голосе звучали мощь и уверенность в себе мануфактурного короля Лодзи.

Немецкие фабричные служащие почтительно пододвинули ему бумаги, с подобострастием, как прежде пододвигали их баронам.

— Пожалуйста, господин председатель, — по-новому обратились они к нему.

Так же принялись именовать его и собравшиеся акционеры. Прежний титул «господин директор» тут же был забыт. Бароны не досидели до конца заседания. Они убрались в свой дворец.

— Скорее прочь из этого помойного ящика! — подгоняли они слуг, паковавших вещи. До самого отхода поезда они не переставали пить.

Наутро лодзинские газеты, и польские, и немецкие, доставили обитателям к завтраку важнейшие, набранные жирным шрифтом новости из акционерного общества «Мануфактура баронов Хунце». Но это было излишне. Еще накануне вечером вся Лодзь знала их и без газет. Повсюду, во дворцах и ресторанах, в театре и магазинах, в синагогах и на рынках, в мастерских и кафешантанах, во всех углах и закоулках, звучало имя нового короля Лодзи.

## Глава двадцать четвертая

**В** железнодорожном экспрессе Петербург—Варшава—Париж, в международном спальном вагоне, в большом удобном купе, обитом сверху донизу теплым красным плюшем, ехал на медовый месяц из Лодзи в Ниццу директор фабрики Флидербойма Якуб Ашкенази с молодой женой, дочерью его брата, Гертрудой Ашкенази.

На польской земле все замерзло и утопало в снегу. Большой локомотив весело сопел, прорезая себе путь на заснеженных дорогах, которые очищали крестьяне в тулупах. За широкими, чистыми вагонными окнами пробегали убежденные леса, застывшие телеграфные провода, прогнувшиеся под грузом снега, деревенские домишки, придавленные к земле тяжелыми крышами, покосившиеся распятия с обнаженными Иисусами, укутанными в снег, горные деревенские кладбища с крестами, надгробиями и каплицами среди сугробов. Вороны холодными черными хлопьями носились в красноватых морозных небесах, предрекая холода.

— Гертруда, ты взяла купальные костюмы? — спросил Якуб свою милую жену, вода пальцами по ее золотым кудрям.

— Купальные костюмы? — переспросила Гертруда и посмотрела голубыми глазами в глаза мужу.

— Ну да, ведь через два дня мы будем купаться в Средиземном море, — сказал Якуб, глядя в окно на ряды крестьян в тулупах, стоявших с лопатами и ждавших, пока пройдет поезд, чтобы снова приняться за чистку железнодорожного полотна.

— Как чудесен мир, Якуб, — сказала счастливая Гертруда. — Как здорово будет сейчас, зимой, провести месяц под пальмами... Я бы уже хотела увидеть границу... Я в первый раз буду за границей. Ты счастлив, Якуб?

— Конечно.

— Но не так, как я, — проворковала его юная жена. — Мужчина не может быть так счастлив, как женщина... Это невозможно...

Она прижалась к нему, покрывая поцелуями его губы, глаза, руки.

— Медведь, мой большой волосатый медведь, — щебетала она. — Ну, съешь меня...

Она не хотела выходить из купе. Не отпускала мужа одного даже выкурить сигару в вагоне-ресторане, поговорить с людьми. Во время еды в ресторане она не переставала лнуть к нему, целовать ему руки, шептать в уши ласковые слова, детские, безумные нежности.

— Гертруда, веди себя прилично, — как ребенка, ругал ее муж. — На нас же люди смотрят.

— Не хочу вести себя прилично, — возражала ему жена. — Какое мне дело до людей, когда у меня есть ты... ты...

Мчась в поезде темными ночами, пересекая границы и страны, они пили счастье полными кубками. В экстазе Гертруда до земли склонялась перед своим мужем и властелином, становилась перед ним, своим кумиром, на колени, целовала ему ноги и, как раба и женщина, молила его о любви.

— Господин мой, владыка, — горячо шептала она, — принц, король!

По пустому заснеженному полю, через застывшие речушки и лужи, с тяжелым чемоданом, вес которого пригибал его к земле, с двумя контрабандистами, жесткими и молчаливыми типами, в глазах которых таилось зло, шел версту за верстой брошенный в глубокую морозную ночь Нисан Эйбешиц, направляясь к глухому участку российско-германской границы, чтобы тайно пересечь ее во мгле.

Он, Нисан, стал большим человеком. Его избрали в ЦК партии. И вот он впервые направлялся в Европу на партийный съезд. Он тайно покидал Россию, брел сквозь холодную ночь, проваливался в глубокие сугробы, поднимался и снова падал навзничь в снег, когда издали долетал подозрительный голос, затаивал дыхание и вместе с двумя мрачными типами пробирался маленьким замерзшим озером все ближе и ближе к лежавшей за ним границе чужой страны.

— Быстрее, не отставать, — подгоняли его проводники, заставляя перелезть через большие сугробы. — Скоро мы дойдем.

В бывшем дворце Хайнца Хунце, в холодном городе Лодзи, где снег растоптан ногами в грязь и черен от дыма, жил мануфактурный король Макс Ашкенази со своей второй женой, вдовой сахарного фабриканта Марголиса, ставшей теперь госпожой Ашкенази.

После того как еврей Макс Ашкенази, которого бароны Хунце помнили еще по тем временам, когда он, растерянный и униженный, пришел к ним во дворец в длинном еврейском платье, так внезапно отобрал у них на собрании акционеров власть и уселся в кресло председателя, они больше не желали знать проклятый город Лодзь.

Они никогда не любили Лодзь, презирали ее еще в годы жизни с отцом. После смерти старика они всячески ее избегали и только тянули из нее деньги, когда они были им нужны. Лишь раз в году они крайне неохотно отрывались от своих иностранных курортов и на несколько дней приез-

жали в этот продымленный грязный город, чтобы присутствовать на ежегодном заседании акционеров. Они никого здесь не навещали, никого не приглашали к себе. Они только прыгали из поезда в поезд, а между поездами сидели в своем дворце, подслащивая скучное времяпровождение вином и ликерами. Ради этих нескольких дней, которые они здесь жили, стоял их пустой дворец; ради этих нескольких дней бароны Хунце держали в Лодзи кареты, лошадей, кучеров, лакеев и слуг.

Теперь, когда им больше нечего было делать в этом городе, они хотели избавиться от всего — и от остатков акций, и от пустующего дворца.

— С глаз долой этот польско-еврейский помойный ящик! — с ненавистью говорили они о Лодзи.

Макс Ашкенази принял предложение баронов.

Ему не нужен был дворец, так же как ему не нужны были кареты, кучера и лакеи. Но теперь он стал королем Лодзи, хозяином фабрики Хунце, и хотел владеть своим королевством целиком. Он не мог допустить, чтобы во дворце рядом с его владениями хозяйничал кто-то другой. Фабрика и дворец составляли единое целое. Кроме того, дворцы при фабриках были у всех крупных фабрикантов Лодзи. И Макс Ашкенази хотел не отстать и даже перегнать их. К тому же свое фамильное гнездо бароны продали дешево. Они хотели отделаться от него как можно быстрее и получить живые деньги. И Ашкенази купил его, купил со всем добром — с дорогой мебелью, картинами, оленьими рогами, бронзовыми статуями, вазами, посудой, лакеями и каретами, кучерами и камердинерами. Даже баронский герб остался на всех вещах.

Вот в этом-то дворце, большом и громоздком, жил теперь со своей новой женой один-одинешенек Макс Ашкенази.

Он словно уменьшился в этих гигантских, высоких дворцовых залах и комнатах. Супруги Ашкенази одни обедали в огромной столовой, за тяжелым дубовым столом, рассчитанным на десятки сотрапезников. Широкие резные буфе-

ты, обилие фарфоровой и стеклянной посуды, коричневые, обшитые дубом стены, ветвистые хрустальные лампы, картины с изображением зарезанных пестрых уток, фазанов и цесарок подавляли своей грандиозностью и великолепием. Разодетый слуга во фраке, в коротких шелковых штанах и длинных чулках, холодно и торжественно подавал непривычные блюда двум молчавшим за столом и не ощущавшим их вкуса людям. Супруги Ашкенази не привыкли к иностранным деликатесам, ко всяким паштетам из птицы, экзотическим овощам и соусам, они были равнодушны к ним и ели их неохотно. Не понимали они толку и в винах, которые слуги приносили им из дворцовых подвалов. Все это было им чуждо. Холодный разодетый камердинер больше уносил, чем подавал на стол. Крупная овчарка, оставшаяся во дворце от прежних его обитателей, лежала на ковре чужая и притихшая и лениво смотрела на своих новых хозяев, полуприкрыв глаза.

Собака сразу же почувствовала, что она у этих людей не любимица. Они не гладили ее, не совали ей руки в пасть. Они даже боялись и чурались ее. Сколько она ни пыталась лизнуть руку хозяйке, чтобы доказать свою преданность и любовь, та со страхом отодвигалась и мыла руку. Также избегал ее и хозяин, когда она ложилась у его ног. Поэтому она лежала в сторонке, на мягком ковре большой столовой и смотрела полуприкрытыми глазами, отстраненно и недоверчиво, на молчащих чужих людей. Она даже не поднималась с места, когда хозяйка звала ее, протягивая ей миску с объедками. Собака была сыта, и объедки ее не привлекали.

— Противная собака, — по-русски сказала обиженная женщина своему мужу. — Не знаю, на что она тут нужна.

— Пусть будет, — тихо ответил Ашкенази. Хотя он тоже хотел бы избавиться от овчарки, он не мог этого сделать. Она была частью королевства, перешедшего в его владение.

Трапеза длилась долго, торжественно. Камердинер церемонно подавал серебряные блюда со всякого рода яствами,



десертами и напитками. Между сменами блюд проходило немало времени. Ашкенази сидел как на иголках. Он хотел быстрее уйти на фабрику, где он чувствовал себя лучше всего, но было невозможно объяснить это высокому, холодному, вежливому и элегантному камердинеру, который при всем своем лакействе обладал королевской гордостью, сквозившей в каждом его движении и взгляде. Он величественно ступал своими точеными ногами в длинных шелковых чулках по блестящим полам дворца, верша камердинерское служение. Ашкенази не осмеливался встать из-за стола раньше срока и ждал, когда слуга по окончании этой помпезной трапезы поднесет ему коробку иностранных сигар.

Со скоростью мальчишки из хедера, убегающего с долгого субботнего застолья, чтобы предаться своим шалостям, Ашкенази бежал из-за обеденного стола на фабрику, в свой большой кабинет. Здесь он был как рыба в воде.

Еще тяжелее, чем за обедом, ему приходилось по ночам.

Часами девушка-камеристка помогала мадам Ашкенази готовиться ко сну. Она заплетала ее седеющие волосы в косички, короткие и гладкие, лежавшие на голове, как проволока. Она украшала и припудривала мадам, втирала ей в руки всяческие мази и кремы. Она одевала ее в дорогие шелковые рубашки с кружевами и вышивками. Кровать в стиле Людовика XV, завешенная голубым атласным балдахинном, застеленная шелковыми одеялами, обложенная расшитыми подушками и подушечками, освещенная рассеянным красноватым ночным светом, казалась просторной и гостеприимной, стояла полуоткрытая, манила в свои мягкие объятия. Но все эти духи, мази, изысканные рубашки, кружева, тюль, пух и рассеянный свет были бессильны скрыть угловатость, грубость и грузность пожилой женщины с маленькими жесткими седеющими косичками, подвязанными большими девичьими лентами. Холодом веяло от ее плотно уложенных волос, от ее необъятного бесформенного тела, вылезавшего из всех корсетов, шнуровок и пе-

ревязок; сквозь тонкий шелк рубашки виднелись складки выпирающего живота; тяжело свисали расплывшиеся, перезрелые груди. Ее толстые ноги походили на бревна. Подбородки дрожали, как рыбный студень. Кровать скрипела под ее весом.

— Макс! — выкрикала она из широкой постели. — Почему ты не идешь спать?

Она хотела произнести эти несколько женских слов тонко и нежно, но выросший на ее теле жир огрублял их, делал ее голос похожим на голос пожилого мужчины. Ашкенази стало холодно. Большая картина над кроватью, изображавшая юную обнаженную нимфу, убегающую от старого сатира с козлиными рогами, смотрела на него с насмешкой. В юной нимфе он вдруг увидел свою жену Диночку. Девушка на картине была такой же стройной. И у нее были такие же кудрявые каштановые волосы.

Тяжелыми шагами, не так, как идут к постели жены в медовый месяц, а как идут на виселицу, приближался Ашкенази к широкому ложу, звавшему его к себе отодвинутым одеялом.

Он, Макс Ашкенази, плохо спал в этой широкой удобной кровати, на всем этом пухе, во всех этих кружевах и шелках. Многочисленные дворцовые часы приглушенными голосами медленно и торжественно, как церковные колокола, вызванивали один ночной час за другим. Макс Ашкенази считал их долгой зимней ночью. Подушки казались ему жесткими. На какой бы бок он ни лег, ему было неудобно. Сон бежал от него.

Он надел халат и тихонько вылез из постели.

Со светильником в руке он шел по бесконечным залам и комнатам своего большого дворца. Все было ему чуждо. Оленьи головы с витыми рогами смотрели на него стеклянными глазами. Мечи, пики и кинжалы на стенах сверкали иновеческой свирепостью. В голову Максу Ашкенази лезли мальчишеские мысли, истории из хедера о разбойниках, о временах Хмельницкого, о кострах в Испании и евреях, идущих на

смерть ради прославления Имени Божьего. Он выскакивал из одной комнаты и стремительно входил в другую.

Они тянулись долгой чередой, эти дворцовые комнаты, полные мрамора, дорогой мебели и картин. Картины были большие, массивные, с охотниками, несущими подстреленных птиц, с которых еще капает кровь; с наездниками в тюле и кружевах; с охотничьими собаками, летящими на медведей; с обнаженными женщинами, сатирами, вакхическими танцами. Ашкенази всматривался в эти полотна. Они принадлежали ему, но смотрели на него отчужденно, как на пришлого. Они были несозвучны ему. Макс показалось, что они смеются над ним, маленьким евреем в халате, который бродит один-одинешенек по этому чужому, иноверческому дворцу поздними ночными зимними часами.

Он вошел в спальню, где коричневые, обшитые дубом стены и резные потолочные балки темнели, погруженные в ночные тени. Здесь стояли графины с вином, но он не пил вина, хотя ему и было горько. Он оперся о стул. Собака проснулась, взглянула на хозяина полуоткрытыми глазами, распахнула свою большую пасть и зевнула, вновь укладываясь на мягком ковре.

Мысленным взором Макс Ашкенази видел свою первую жену, Диночку, вспоминал ее и себя в разные периоды их жизни. Где она теперь? Его вдруг начали мучить мысли о Диночке. Что она делает? Выйдет ли она замуж или останется одна? Он пытался выбросить ее из своей деловой, купеческой головы. Почему это она его интересует? Они больше не муж и жена. Они развелись. Он выплатил ей гораздо больше, чем она принесла ему приданого. Все кончено, думал он и гнал ненужные воспоминания из головы, которой следовало заниматься только практическими делами. Но эти лишние воспоминания не хотели уходить поздней бессонной ночью. От жены его мысли перешли на детей.

Игнац в Париже. Большой уже парень. Интересно, как он теперь выглядит? Конечно, он никчемный, тупоголовый и со-

всем не похож на своего отца. Он, Игнац, унаследовал голову Хаима Алтера. И все-таки любопытно было бы на него взглянуть. Он, должно быть, высокий, намного выше его, Макса. Он ведь в мать уродился. А Гертруда? Она гнусно обошлась с ним, ни слова ему о себе не написала. Он ничего не знал о ее новой жизни. И с кем она ушла? С этим ничтожеством и невежей, который старше ее больше чем в два раза, который мог бы быть ее отцом. И зачем ей это? Ведь мать хотела дать ей приличное приданое. С такими деньгами она бы могла заполучить самого лучшего жениха. А она едет с ним, с этим Якубом, за границу, на медовый месяц. Его управляющий Шлоймеле Кнастер доложил ему. Во Францию они едут, в теплые страны.

Ашкенази представил своего брата, Якуба. Он видел его со своей дочерью, молодой и красивой, по дороге к счастью. У него защемило сердце. Конечно, он ее соблазнил, назло ему, как всегда. Вот глупая козочка. Дала себя уговорить, одурачить. Позднее она раскается. Макс опустил голову, плотнее закутался в халат, почувствовав, что его пробирает дрожь.

Чем он это заслужил, этот Янкев-Бунем? Ведь он пустое место, дурень, балбес. В разгар делового сезона он оставляет все и едет во Францию. Гултай, который в конце концов плохо кончит. И все-таки как же ему везет! Женщины сами бегут к нему со всех сторон. Сперва внучка Калмана Айзена, потом дочка Флидербойма, потом множество других. А теперь и она, его дочь, его Гертруда. Как это гнусно! Этот подонок сейчас над ним смеется, мстит ему. Из брата он, Макс, ни с того ни с сего стал этому типу тестем. А дочь даже не пришла спросить совета у него, отца. Ни слова не написала ему. Какая распущенность!

Он сидел, маленький, скорченный, растерянный, в своем большом дворце, в своем новом королевстве. Часы не переставали отсчитывать церковными звонами поздние ночные часы. Бронзовый Мефистофель в углу комнаты смеялся, обнажив все свои зубы, прямо в лицо Ашкенази.

Ашкенази встал и раздвинул шторы на венецианских окнах. Он выглянул в большой фабричный двор, который чернел трубами в слабом красноватом свете.

Фабрика стояла тяжелая, мрачная, подавляющая своей массивностью. Ровные, устремленные в небо трубы были как длинные языки, высунутые кирпичными зданиями.

Король Лодзи ощутил холод поздней бессонной ночи и вернулся в постель, сгорбленный и низенький. Бронзовый Мефистофель щерил на него острые зубы и смеялся над ним всем своим широко распахнутым ртом.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ  
**ПАУТИНА**

## Глава первая

**П**о разбитым дорогам, ведущим из Германии в Польшу, через леса, села и местечки, разрушенные российско-германской войной, цепочками тянулись немцы, лошади, грузовики, фуры и пушки. Польские крестьяне выходили из своих крытых соломой хат, прикладывали руки козырьком к голубым шапкам и молча рассматривали светлыми глазами чужие телеги и чужих людей. Крестьянки с пестрыми платками на головах со страхом и любопытством жались к плетням и набожно крестились. Дети с льняными головками и собаки встречали незнакомцев криком и лаем.

В местечках из дверей своих покосившихся домишек выходили евреи и черными удивленными глазами смотрели на этих новых людей. Мальчишки в лапсердачках, лохматые черноволосые девчонки махали путникам ручонками, приветствуя их и желая им по-еврейски доброго утра<sup>1</sup>. Из подвалов выходили спрятавшиеся евреи, которых отступающие русские солдаты хотели заставить идти вместе с ними, чтобы отыграться на них за свои поражения на фронтах. Из ветряных мельниц выходили немецкие колонисты и весело приветствовали чужаков:

— Грюс Гот, лёйте, вилькомен!<sup>2</sup>

В Польшу вступали вооруженные мужчины из Пруссии и Саксонии, Баварии и Рейнланда, со всех земель Германии.

Ведь в Германии было много земли, много полей, скота, древесины, минералов. И вот немецкие правители оторвали мужчин от плуга, от фабрик, мастерских и школ, поставив на их рабочие места женщин. А их, мужчин, отправили в страну соседей, чтобы огнем и мечом захватить ее. Первым делом они двинулись в Польшу, которая находилась близко к германской границе.

<sup>1</sup> Еврейские слова «Гут моргн» («Доброе утро») понятны немцам.

<sup>2</sup> Здравствуйте, люди. Добро пожаловать! (нем.)

Стар и млад, рабочие в очках и крестьяне с русыми бородами, краснощекие школьники с первым нежным пушком над верхней губой и морщинистые люди на закате лет с сединой в бородах и усах шли через польские города и местечки. На грузовиках, на солдатских лошадях и телегах с меловой надписью «Nach Petersburg»<sup>1</sup>; в исцарапанных сапогах; с ремнями, на бляхах которых было написано «Gott mit uns»<sup>2</sup>; в островерхих касках на головах, с обоюдоострыми штыками на ружьях (одно лезвие для тела врага, а второе — чтобы перерезать заграждения из колючей проволоки), — они тянулись с запада на восток, медленно продвигались вперед, занимая село за селом, местечко за местечком, город за городом в стране, лежащей на берегах Вислы и Варты.

Следом ехали пасторы в военной форме и с крестами на касках, чтобы именем Божиим призывать соплеменников к убийствам и грабегам, чтобы укоренить протестантскую веру, язык и обычаи немцев в покоренной стране.

Молодых солдат редко посылали на восток. Их, сильных и ловких, держали на западных фронтах, опасных и хорошо укрепленных. На русский фронт отправляли солдат ландштурма<sup>3</sup>, пожилых, бородатых и бритых, круглоголовых, пузатых, — ремни на них едва не лопались, задницы выпирали, как у старых женщин, а военная форма сидела кое-как. С деревенскими бородами, с городскими усами, в больших очках, привязанных веревочками к оттопыренным ушам; с тяжелыми, неуклюжими ногами, по-деревенски бревноподобными или по-городски кривоватыми; с короткими и тугими желтыми голенищами тупоносых, выдавших виды сапог; с трубками в зубах, они твердо и дисциплинированно шагали по чужим дорогам, ведомые конными офицерами, как ландскнехты<sup>4</sup>, шагавшие когда-то вослед своим господам. Окро-

<sup>1</sup> На Петербург (нем.).

<sup>2</sup> С нами Бог! (нем.)

<sup>3</sup> Резерв вооруженных сил, созывавшийся только на время войны и имевший вспомогательное значение.

<sup>4</sup> Немецкие наемные пехотинцы эпохи Возрождения.





Комендантами и начальниками захваченных польских городов были по большей части пруссаки, помещики из Восточной Пруссии, знавшие поляков и сотни лет державшие славян в своих владениях под юнкерским сапогом. Комендантом города Лодзь был прусский помещик барон фон Хейдель-Хайделау, обедневший аристократ, который женился на дочери лодзинского фабриканта Хайнца Хунце, чтобы поправить свои финансовые дела. На войне барон очень быстро сделал карьеру благодаря своей родовитости и близости к генералам главного командования. Он поднялся от капитана запаса до полковника. К тому же он доказал, что у него твердая рука, напугав города и местечки Польши, заставив их бояться вступающих в Польшу немцев.

Многие поляки в первые дни войны плохо относились к немцам. На всех городских стенах и сельских заборах висели большие воззвания, подписанные великим князем Николаем Николаевичем и уверявшие поляков, что час Польши пробил, что разорванная на части, но сохранившая единую душу страна милостью его величества воссоединится вновь, когда у врагов, у немцев и австрийцев, будут отняты польские земли. Крестьяне верили императорскому обещанию. Польские националисты тоже воспринимали его всерьез и призывали поляков вступать в русско-польские легионы. При этом они настраивали народ против евреев, обвиняя их в пособничестве Германии, шпионстве и предательстве.

В своих газетах и патриотических листовках они утверждали, что евреи проносят в бородах бриллианты для немцев, что на еврейских похоронах несут не покойников, а золото для врага. Христианские лавочники в местечках, стремясь отделаться от евреев, продававших товары дешевле, чем христиане, доносили на них русским солдатам. Повсюду русские коменданты вешали евреев, расстреливали их, бросали в тюрьмы, ссылали в Сибирь. В селах враждовавшие с немецкими колонистами польские крестьяне доносили на них военным, заявляя, что те подают сигналы германским войскам

крыльями ветряных мельниц. Русские военачальники, терпевшие одно поражение за другим, использовали эти доносы, чтобы дать выход своей ненависти к евреям. Люди были напуганы и боялись показаться на улицу, когда в местечки входили немецкие войска. Они боялись указывать им путь, отвечать на вопросы. Иногда они даже стреляли из домов по германским авангардам.

Поэтому полковник барон фон Хейдель-Хайделау решил проучить польские местечки, напугать их, чтобы они не осмеливались поднимать руку на германских военнослужащих, чтобы они дрожали от одного их взгляда. Во-первых, он приказал поджечь несколько деревень так, чтобы языки пламени были видны издалека и внушали другим деревням смирение и покорность. Во-вторых, он велел разрушить город Калиш. В этом занятом немцами городе глухонемой водонос не остановился по приказу немецкого ландштурмера. За это солдат застрелил водоноса. Люди на улице начали кричать, размахивать руками, объяснять, что водонос был глухонемым. Солдат не понял их и открыл огонь по этим людям. Молодой извозчик бросил в солдата камнем. Тот с окровавленной головой ушел к своим. Полковник барон фон Хейдель-Хайделау в это время обедал. Он вытер губы салфеткой, выпил последний глоток пива и приказал объявить тревогу. Когда солдаты выстроились, он велел майору Праускеру обстрелять город из артиллерийских орудий. Дома рушились, загорались, люди как безумные носились по улицам и переулкам. Главы города пришли умолять немцев, но тщетно. Солдаты стреляли систематически и точно. Ночью город горел, сотни убитых — женщин, детей, стариков — лежали на камнях под развалинами. Языки пламени, поднимавшиеся над горящим Калишем, далеко разносили весть о немецкой мести. Это подействовало. С тех пор немецкие передовые отряды спокойно входили в занятые города и местечки.

Генералы штаба высоко оценили маневр барона фон Хейделя-Хайделау. За этот подвиг он получил Железный

крест. За его заслуги, а также по причине знакомства барона с городом, из которого происходила его жена, его сделали комендантом Лодзи.

После вступления в Лодзь армии, захватившей и подготовившей ее для полковника, он со своими ординарцами и адъютантами, со своими собаками и багажом въехал в город, который прежде так ненавидел и презирал. Саперы очистили для него дом старшего полицмейстера. Адъютант барона, молодой лейтенант с румяными, как у девушки, щечками, старавшийся придать своему лицу суровое выражение, чтобы выглядеть мужественным и брутальным юнкером, вытянулся в струнку и рапортовал, что дом тщательно проверен и что взрывчатых веществ не обнаружено. Однако барон фон Хейдель-Хайделау с подозрением глянул в свой монокль на захваченный город и злобно хлестнул кожаной перчаткой по столу.

— Я не останусь в этом свинарнике, — сказал он и подергал носом так, словно ощущал дурной запах.

Он развернул карту города и подозвал адъютанта к столу.

— Лейтенант, подойдите сюда, — приказал он и ткнул пальцем в карту. — Видите эту улицу? Там есть фабрика, а рядом с ней дворец, занятый одним евреем. Я хочу жить в этом дворце. Ясно?

— Так точно, господин полковник, — ответил лейтенант, демонстрируя служебное рвение и заглядывая со страхом и почтением мопса в глаза своему господину.

— Неудобно в первые дни реквизировать частные дома, — пробормотал барон, — разве что те, из которых стреляли по нашим войскам... Не так ли?

— Так точно, господин полковник, — рявкнул лейтенант.

— Итак, каким образом вы намерены это осуществить? — спросил барон, с любопытством глядя адъютанту прямо в глаза.

— Я пойду с патрулем, проведу строжайший обыск, и если выяснится, что оттуда стреляли, то...



— То вы настоящий болван, мой дорогой лейтенант, — прервал его барон. — Мне все равно, стреляли оттуда или нет, черт возьми! Если оттуда не стреляли, то должны были стрелять. До вас это дошло наконец?

— Так точно, господин полковник! — ответил смущенный лейтенантик, покраснев, как деревенская девушка.

— Итак, я желаю, чтобы все было сделано в лучшем виде, чтобы все было очищено, чтобы никакого еврейского чеснока. Я сегодня же хочу ночевать в этом дворце. Ясно?

— Как прикажете, господин полковник! — рявкнул адъютант и вытянулся по-военному, щелкнув каблуками со шпорами.

Госпожа Ашкенази очень испугалась, когда немецкий офицер с вооруженными солдатами вошел к ней во дворец. Ее мужа не было в Лодзи. Он в последнюю минуту застрял в России, куда поехал по делам. Теперь он уже не мог вернуться. И она осталась в Лодзи одна-одинешенька, с огромной фабрикой, со всеми домами, богатствами, рабочими и дворцом. У нее никого не было в этом чужом польском городе, ни родных, ни друзей. Все ее близкие жили в России, стране, от которой Лодзь вдруг оказалась оторванной. Туда нельзя было поехать, нельзя было отправить письмо или телеграмму. Единственным близким ей человеком в Лодзи был ее муж Макс, ради которого она уехала из своего дома и поселилась здесь, на чужбине, среди незнакомых людей. Но и он застрял за линией фронта. Она предостерегала его, просила не задерживаться, заблаговременно вернуться, потому что противник стоял у ворот города, но муж откладывал возвращение день за днем.

— Очень занят, — отвечал он на ее обеспокоенные телеграммы.

И мадам Ашкенази, одинокая пожилая женщина, была очень напугана и несчастна во дворце города Лодзи.

— Что случилось, господин? — спросила она молодого офицера, старательно придававшего своему лицу воинственное выражение.

— Вы владелица этого дворца? — спросил офицер. — Тогда вы взяты под стражу.

Офицер приставил к испуганной женщине одного из солдат, а с остальными провел строжайший обыск в ее владениях. Хотя они не нашли ничего, кроме заржавевших мечей и охотничьего ружья в охотничьем домике братьев Хунце, офицерчик составил суровый протокол, согласно которому из дворца стреляли по немецким войскам. Госпожу Ашкенази подвергли допросу. Она с пылом отвергала выдвинутые обвинения, утверждала, что из ее дома никто стрелять не мог. Но офицерчик перебил ее.

— Как вы смеете, мадам, объявлять показания наших солдат ложью? — сказал он с деланным негодованием, которое он подсмотрел у своего полковника.

Он освободил ее из-под стражи до выяснения. Однако дал приказ немедленно очистить дворец и запретил вывозить что-либо, кроме одежды и белья, из места, в котором победоносную германскую армию встретили пулями.

Мадам Ашкенази заламывала руки.

— Вы хотите выбросить меня на улицу! — восклицала она, не понимая происходящего. — Это неслыханно!

— Вперед. Выполняйте! — крикнул офицер, приказывая солдатам занять дом.

Солдаты принялись за работу. У входа тут же встал часовой с ружьем. Другой солдат вскарабкался на ворота, где развернул и повесил поверх резного баронского герба Хунце германское знамя. Затем он прибил к воротам деревянную доску с выжженными на ней немецкими буквами *Beschlagnahmt*<sup>1</sup>.

Мадам Ашкенази поспешно запудрила красные пятна на лице, прихорошилась перед зеркалом и велела кучеру запрячь карету. Крепко держа в своей старой руке дамский зонтик, словно это был, по меньшей мере, меч, кипя от гнева, со справедливыми упреками на устах, она отправилась по улицам Лодзи, останавливая офицеров и солдат, и дошла до дома

<sup>1</sup> Конфисковано (нем.).

старшего полицмейстера. В поисках справедливости она дошла бы до самого императора. Однако к коменданту ее не пустили.

— Нет доступа! — прорычали часовые у ворот. — Назад!

Тем же вечером барон Хейдель-Хайделау переехал на своем автомобиле в дом, который он хорошо помнил по старым временам. Адъютант вручил ему такой серьезный рапорт о конфискованном дворце, словно это был рыцарский замок, из которого штурмовавших его солдат обстреливали из луков.

— Прекрасно, прекрасно! — похвалил адъютанта комендант, выслушав вполуха эту комедию.

Гордыми шагами он поднялся по широкой, покрытой коврами мраморной лестнице. Он входил в залы и по-хозяйски разваливался в мягких креслах, вытягивая ноги в сапогах с высокими голенищами.

— Вот так, — бормотал он, оглядывая мебель и пиная сапогом то, что попадалось по пути. Потом он встал у большого зеркала, вмурованного в стену над мраморным камином, и осмотрел себя во весь рост. Длинный, костлявый, морщинистый, в блестящем шлеме, сдвинутом на глаза, в большой армейской пелерине, в высоких сапогах со шпорами, затянутый в ремни, с саблей на боку, с медалями на груди, он любовался своим отражением в зеркале. Шлем с кожаным ремешком на скулах придавал его облику нечто древнеримское. Он сделал строгое лицо, чтобы еще больше походить на римского полководца. Он чувствовал себя настоящим патрицием в чужой завоеванной стране.

В столовой стоял накрытый стол с самыми лучшими яствами, приготовленными дворцовым поваром и поданными камердинером-немцем. Барон фон Хейдель-Хайделау принюхался и остался доволен запахом еды. Камердинер протер салфеткой горлышко заплесневелой бутылки и налил вина. Барон жадно, залпом выпил полный бокал.

— Это еще из подвалов покойного барона, ваше превосходительство, — заискивающе сказал камердинер.



— Сними с меня саблю! — приказал полковник. — И сапоги тоже.

Камердинер быстро снял с него саблю. С сапогами оказалось сложнее. Барон раздраженно отпихнул его ногой.

— Неуклюжий болван! Быстрее, свинья собака!

Камердинер потер ушибленное место и снова принялся тянуть сапог с ноги барона. После долгих лет оскорбительной службы у еврея, не умевшего обращаться со слугами, не имевшего привычки кричать на них и не позволявшего себе угождать, он снова ощутил вкус лакейства. Он обрел над собой господина.

Барон ел с аппетитом великолепные блюда, с наслаждением глотал вино и беспрестанно оглядывался, изучая каждую мелочь в столовой. К приятному вкусу еды и питья, вина из захваченных им подвалов примешивалась радость добычи. Он был как зверь, наибольшее наслаждение которого состоит в победе над жертвой, а не в ее поедании. Он чувствовал себя, как его предки, рыцари-разбойники, которые жили убийствами и грабежами.

Когда слуга раздел его перед сном, стянул с него военный мундир со всеми эполетами и медалями и стал мыть своего нового господина в ванной, от барона осталась половина. Бледный старик с набухшими синими жилами на белых тощих ногах, с обвисшим животом, с одряхлевшими членами стоял под струей воды, и светлый мрамор подчеркивал убогость его синевато-бурого тела. В этом теле не было ничего победоносного и древнеримского. Барон выглядел как старый худосочный петух, которого ощипали, лишив его ярких перьев.

— Быстро, быстро! — подгонял он слугу, тершего его губкой.

Он хотел как можно скорее одеться.

Уже лежа в широкой постели Людовика XV, застеленной шелковым бельем с кружевами, он вызвал к себе адъютанта, молодого офицерчика с румяными, как у деревенской де-

вушки, щечками и велел ему прочесть важнейшие новости вслух. Офицер зачитал ему несколько отчетов из города и подал список приговоренных к смертной казни за шпионаж. Барон даже не глянул на имена и небрежно поставил подпись.

Затем он взял адъютанта за руку и стал гладить его румяные щечки своими костлявыми пальцами.

— Ты мой красавчик, — шептал он дряхлым ртом, зубы из которого отмокали в стакане воды на ночном столике. Офицерчик покраснел до корней волос.

— Господин полковник, нет! — смущенно бормотал он. Барон костлявыми руками тянул лейтенантика к себе. Он снова ощущал себя древним римлянином...

## Глава вторая

**М**акс Ашкенази перенес Лодзь в Петербург, который по высочайшему повелению назывался теперь не прежним немецким именем, данным городу Петром Великим, а по-славянски Петроградом.

Как только немцы в первый раз заняли Лодзь, а потом отступили, Макс Ашкенази стал ориентироваться на Россию. Во-первых, русские в самом начале войны вывезли правительственные банки из Польши и перевели их поближе к себе. Золотом в Польше больше не платили, да и банкнот по банковским книжкам не выдавали тоже. У Ашкенази было много, очень много денег в правительственных банках. Много было у него и ценных бумаг, всякого рода облигаций, с которых он имел хорошие проценты, обеспеченные зерном на полях. Но все это осталось в Польше, рядом с германской границей, особенно в Лодзи, находившейся под самым носом у немцев, и не имело теперь никакой ценности. Там за все это

нельзя было получить ни гроша. То ли дело в России, далеко от линии фронта.

Во-вторых, его состояние, рассеянное по разным концам огромной империи, было скорее сосредоточено в России, чем в Польше. Товары фабрики Макса Ашкенази продавались даже на Дальнем Востоке. Множество русских купцов были должны ему деньги. В-третьих, Макс Ашкенази знал, что без России Лодзь — отрезанная часть тела, которой неоткуда тянуть жизненную силу, что без русского рынка все фабрики Лодзи не стоят понюшки табака. При всем своем германофильстве, при всех стараниях говорить по-немецки и вести себя как немец он знал, что у немцев трудно заработать грош, что они больше горазды вытягивать деньги, чем давать их. А вот у русского душа широкая, он не расчетлив. У него можно заработать, если понимать как. Кроме того, немцам не нужна лодзинская промышленность. У них самих текстильных товаров предостаточно. Они хотят захватить Польшу только для того, чтобы иметь возможность вывозить из нее хлеб и ввозить свою продукцию. Они сделают все, чтобы уничтожить промышленность Лодзи. Он знал их, этих немцев. Не раз ему приходилось иметь с ними дело. Он понимал, что если уж делать что-то, то делать это надо в России, великой, широкой, не имеющей индустрии и нуждающейся в людях вроде него, строителях и организаторах. Он знал, что немцы разбираются в ремесле Лодзи лучше, чем сама Лодзь. Поэтому, как только началась война, он все больше сидел в России. Он заблаговременно вывез из города массу товаров, опустошил свои склады. Вывезти товары было тяжело. Поезда были заняты солдатами и оружием. Но комендант города устроил ему это дело. За хорошие деньги он выдал бумаги, согласно которым продукция фабрики Макса Ашкенази была крайне необходима армии. Это открыло перед Максом все закрытые двери. Он разместил свой товар на больших складах в Петербурге, который назывался теперь Петроградом. Цена на него возрастала с каждым днем.

Он хотел перевезти и свою фабрику, все машины и все станки. Нелегко было повернуть такую операцию. Но Макс Ашкенази не останавливался перед трудностями. Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как осуществление трудоемких, невозможных проектов. Чем более сложные препятствия стояли на его пути, тем сильнее было его желание преодолеть их. Несмотря на то что его русский был не слишком хорош, он умел пробиться к самым большим начальникам. Разумными и ясными речами, будившими ум и расхажившимися по мозгу, как хорошее масло, он доказывал тыловым шишкам, которые расхаживали по кабинетам в военной форме с красным крестом, что вывоз его фабрики воспрепятствует ее захвату немцами и принесет значительную пользу индустриально отсталой России, что ткани армии нужны не меньше, чем патроны, и поэтому надо своевременно помочь ему, Макс Ашкенази, вырвать фабрику из рук врага. И он уже было начал вывозить значительные части своего предприятия. Он действовал, встречался с важными людьми, пил с военными, делал им подарки, настойчиво претворяя в жизнь свой план. Но тем временем Лодзь в третий раз оказалась отрезана немцами, и Ашкенази застрял — ни туда, ни сюда. Половина фабричных машин осталась в Лодзи, половина переехала в Россию.

Макс Ашкенази тут же растрепал нервными пальцами кончик своей уже заметно поседевшей бородки, когда знакомые офицеры сообщили ему по секрету, что на этот раз Лодзь потеряна и назад ее не возьмешь. Итак, там застряла половина его фабрики. Осталась там и масса товара на складах, и его жена, которая совсем одна жила теперь во дворце в чужом городе. Однако Макс Ашкенази не слишком рвался в занятую немцами Польшу. Он положился на судьбу. Если ему повезет и русские отобьют Лодзь, то хорошо. Но рисковать жизнью, пытаясь вернуться в оккупированный врагами город, у него не было желания. Он больше не верил в Лодзь, считал ее пропащей.

Но поскольку сам он не мог приехать в Лодзь, он привез Лодзь в Петербург.

По русским поездом, железнодорожным линиям, вокзалам были рассованы и рассеяны машины, ткацкие станки, части различных фабрик, эвакуированных из Лодзи и окрестных промышленных городов. В Россию вывезли не только машины Макса Ашкенази, но и массу механизмов, принадлежавших другим лодзинским фабрикантам, которые сами не знали, где находится их собственность. Она застряла в разных местах, по сути сгинула в гигантской суматохе и неразберихе, вызванной быстрой военной эвакуацией. Эта собственность валялась в багажных камерах. Ржавела и гнила под открытым небом. То же касалось тонн товаров. Макс Ашкенази принялся упорядочивать разбросанные здесь и там машины и товары из Лодзи. Он собирал раздробленную Лодзь и возрождал ее в Петербурге. В широкой шубе и шапке из соболя, которые должны были добавить ему солидности, придать сходство с русским человеком, он разъезжал в санях по петербургским улицам. Он ездил к военным и финансистам, добивался приема у министров и высших чиновников. Он беседовал с ними, разъяснял, подавал прошения, подмазывал, делал все, чтобы завязать контакты, получить нужные бумаги, письма, рекомендации, разрешения и пропуска. Как вихрь он носился по бурлящему Петербургу, не ел, не спал, не отдыхал, а только работал, суетился и не останавливался, пока не добивался того, чего хотел.

С непрекаемо безупречными бумагами на руках, открывавшими ему все входы и выходы и гласившими, что каждый должен оказывать ему помощь в его работе, он разъезжал по большой России, по ее железнодорожным линиям, проходил через все депо и станции и выуживал из всех дыр и углов лодзинские машины, товары, сырье. На российских железных дорогах царил хаос. Немцы занимали город за городом. И подчинившая Польшу вековая русская власть бежала теперь от врага, мчалась в Россию. В поездах, идущих на вос-

ток, тряслись чиновники, от губернатора до последнего полицейского, от архимандрита до звонаря. Судьи, начальники политической полиции, полицмейстеры, православные монахи, русские купцы, цензоры, служители гимназий, палачи, попы, жандармы, таможенники, со своими женами и детьми, с мебелью и баулами, со сберегательными книжками и иконами, с казенными бумагами и архивами, с церковной утварью и царскими флагами, — все в панике бежали из Польши в Великороссию.

В санитарных вагонах, в товарных вагонах ехали тысячи, десятки тысяч раненых, окровавленных, страдающих от боли, агонизирующих и умирающих. На каждой станции снимали мертвецов, чтобы на их кровати и солому положить новых страдальцев. Втиснутые в вагон, как куры в клетку, ехали пленные, десятки тысяч австрийцев, которых отправляли в Сибирь. Ехали заключенные из польских тюрем, воры и политические; крестьяне, показавшие немцам дорогу; пастухи, щелкавшие бичами на скотину и арестованные потому, что русские приняли эти щелчки за тайные сигналы врагу; всякого рода подозреваемые в шпионаже и измене. Старые и молодые, женщины и дети, придурковатые мужички и городские рабочие, немецкие колонисты, крестьяне-русины, пейсатые галицийские евреи, попы, раввины, могильщики, купцы, уличные парни-дезертиры, самым причудливым образом перемешанные между собой, ехали в арестантских вагонах, охраняемых конвоирами. Эти люди не знали, за что их арестовали, куда везут, когда будут судить. Никто не мог им этого сказать. Они знали только, что они арестанты.

Куда больше, чем арестантов, было высылаемых евреев. Николай Николаевич изгнал из Польши и Литвы целые города и местечки, чтобы скрыть тот факт, что как главнокомандующий он никуда не годился, и отвлечь внимание от тяжелейших поражений, которые потерпели под его началом русские войска. Казаки гнали евреев, как стадо, с насиженных мест, сжигали их домишки и лавчонки. Старые и молодые, женщи-

ны и дети, роженицы и больные, с постельным бельем и баулами, с субботними подсвечниками и спасенными свитками Торы, они томились в товарных вагонах, на которых было написано, что они рассчитаны на сорок человек или шесть лошадей, но в которые сажали по сотне душ. Печальные, несчастные, голодные, они медленно ехали по огромной России под охраной вооруженных солдат. На станциях настроенные против евреев солдаты оскорбляли их, били, плевали им в лицо, называли шпионами. На остановках их не выпускали набрать кипятка на вокзалах, позвать врача к больному, даже справить нужду. В голоде и грязи, в тесноте и давке дети болели тифом, дифтеритом, скарлатиной, холерой, сгорали от них и умирали. В каждом большом городе, где еврейские жители приносили к поезду еду обездоленным, им в обмен отдавали мертвецов, чтобы их похоронили в этих чужих местах.

Между этих станций, среди мешанины и суматохи, путаницы, хаоса, беды и сомнений, когда все были друг другу врагами, когда железнодорожные служащие терялись и не знали, что делать, сновал Макс Ашкенази со своими людьми, мчал туда и сюда, выискивал, вынюхивал, высматривал лодзинские сокровища, которые вплелись в этот кровавый клубок несчастий.

Он находил их, доставал из-под земли. Он не оставлял чиновников в покое. Он просил, требовал, давал взятки, лишь бы добиться своего. В широкой шубе, в соболиной шапке, с портфелем, полным бумаг и денег, он носился среди мучений и страданий в поисках своего Лодзинского Королевства. И он его отвоевал. Он привез Лодзь в Петербург; он собирал машины, ремонтировал их, подгонял к ним чужие детали, вносил порядок в эту грудку металла, открывал фабрики, которые работали, как в Лодзи, на всех парах, по несколько смен в день, снабжая армию полотном, бумазеей и шерстью.

Старый генерал, начальник интендантской службы, бравшей у Макса Ашкенази товары для армии, удивлялся, глядя на него.

— Как это вы все стащили в одно место, Макс Абрамович? — не мог понять он. — Как вы сделали то, что нам, военным, не удается среди этой смуты?

— Трудом и волей, ваше превосходительство, — ответил Ашкенази.

— Может быть, стоило бы передать вам пост главнокомандующего, — тихо пошутил старый генерал и несколько раз вздохнул. — Эх, Россия, черт бы тебя побрал!..

Как когда-то в Лодзи, Макс Ашкенази организовал в российской столице акционерное общество, в которое вошли все беглые лодзинские фабриканты, которое собрало и объединило обладателей состояний разных размеров в один большой союз, — так появилась новая Лодзь на Выборгской стороне. Здесь, как и там, Ашкенази тоже стал вождем, королем «Лодзи». Он выпускал товары, устанавливал цены, принимал заказы и проворачивал очень удачные сделки. Никто не давал так прилично и достойно заработать, как военные из интендантской службы. Они любили и другим дать обогатиться, и себе позолотить карман.

Макс Ашкенази даже поехал в Туркестан, закупил там огромные тюки местного хлопка, чтобы не останавливать работу в своей Лодзи ни на одну минуту в сутки. На его предприятии работали по семь дней в неделю, даже по воскресеньям и праздникам. Когда своих машин не хватало, он посылал людей в разные русские города, где находились старые фабрики, и скупал машины у их хозяев. Он не жалел на это денег. Прибыль от заказов с лихвой покрывала все расходы. «Лодзь» росла с каждым днем, расширялась, крепла.

— Вы еще увидите, что я сделаю из новой Лодзи! — с гордостью говорил Ашкенази членам своего акционерного общества на совещаниях, которые он проводил на исходе каждой субботы. — Она будет расти как на дрожжах.

Выходцы из Лодзи держались в Петербурге еще сплоченнее, чем дома: собирались по вечерам, пили чай, говорили о родном городе, о новостях, поступавших оттуда и появляв-



шихся в газетах, о письмах, иногда приходивших из Лодзи через Международный Красный Крест. Эти письма месяцами шли в Россию через Швейцарию. Лодзинцы создали еврейское общество, в котором и молились в свободную субботу или на йорцайт<sup>1</sup>, и танцевали на балах-карнавалах. Там же собирали деньги для скитавшихся по России лодзинских бедняков, проводили собрания, чтобы уладить общинные дела, устраивали угощения. Макс Ашкенази всегда умел произвести на собратьев впечатление каким-нибудь умным словечком, поразить их своей находчивостью, остроумием.

— Я сказал это, господа, самому генералу интендантской службы. Он очень смеялся, — похвалялся Ашкенази на своем лодзинском немецком, которым он, как и все члены лодзинской колонии, не переставал пользоваться в российской столице.

Еще чаще, чем со своими, Макс Ашкенази общался с чужими, с русскими, прежде всего военными, с которыми у него были дела. Не склонный к пьянству, не охотник до ресторанов и вин, он тем не менее постоянно ходил с офицерами и высокопоставленными чиновниками по кабакам, где пели и танцевали цыганки, а вино лилось рекой, хотя пить в России было запрещено. Пьяные дебоши, битье зеркал и бутылок об пол вызывали у него отвращение, ему не нравилось грубо издеваться над людьми, вести себя распушенно и играть в карты. Он не видел смысла в таких вещах, и они не доставляли ему того удовольствия, какое находили в них его собутыльники. Ему претила разнузданность иноверцев, разрушавших в своем опьянении других и себя. Для него самым большим наслаждением было собирать и строить, захватывать, брать в свои руки. Однако он ходил с этими типами, делал вид, что гуляет и сорит деньгами, потому что он вел с этими людьми дела, завязывал контакты, а лучшего пути к ним, чем гульба и рестораны, не было.

---

<sup>1</sup> Годовщина смерти по еврейскому календарю, когда согласно еврейской традиции ближайшие родственники мужского пола должны читать по усопшему кадиш.

Он оживал только в своем кабинете, который он, так же как и в Лодзи, устроил себе рядом с фабрикой. В шуме машин, в вое фабричных гудков, в кипении работы, в торговле, в отдаче распоряжений и выслушивании отчетов, в подписании бумаг и приеме клиентов он ощущал жизнь, чувствовал, что дышит, что кровь струится в его жилах, что он карабкается вверх и растет.

Вместе с ним, с каждым днем, с каждым часом, росло и его королевство, его состояние.

### Глава третья

**П**олковник барон фон Хейдель-Хайделау железной метлой чистил от грязи Лодзь и ее окрестности, этот еврейско-польский мусорный ящик, который он так ненавидел, еще будучи женихом дочери покойного старика Хунце. Каждый день он обклеивал стены Лодзи новыми приказами, подписанными его полным аристократическим именем.

Во-первых, он приказал привести в порядок улицы Лодзи, чтобы они приняли вид, подобающий всякому немецкому городу. Польские милиционеры, которым немцы не доверили огнестрельное оружие, а дали только палки, крутились на всех углах города и по приказу коменданта не позволяли горожанам останавливаться на улицах, собираться в кружки, подолгу стоять у стен домов. Лодзинцы не могли привыкнуть к этой напасти. С тех пор как Лодзь стала Лодзью, а Петровская улица — улицей, они всегда толпились на тротуарах, стояли, размахивали тросточками, разговаривали, занимались коммерцией; на всех стенах, вывесках, воротах, где только был кусочек свободного места, они считали и пересчитывали, разворачивали и подписывали векселя. И вдруг их начали гнать, пресекать их попытки остановиться. Теперь им

разрешалось только идти мимо и незамедлительно следовать своим путем. Лодзинские жители не хотели даже слышать о таком приказе, но милиционеры разгоняли их палками, налагали на них штрафы и даже обливали из пожарной кишки, пока они наконец не смирились.

Кроме того, нельзя было бросать бумажки и окурки на землю, запрещалось даже плевать. Надо было каждый день засыпать глубокие канавы известью, обмазывать смолой мусорные ящики во дворах, очищать дворы от сточных вод и всякого сора. По бедным улицам, по Балуту рыскали милиционеры, ловили бородатых евреев и евреек в париках и вели их в городские бани, где им обривали бороды и головы, их одежду выпаривали в дезинфекционных ящиках, а тела мыли, чтобы избежать заразы и эпидемий. Однако чем больше барон фон Хейдель-Хайделау приводил в порядок улицы и людей, тем больше тиф, скарлатина, холера и другие болезни распространялись по городу, вылезали из всех чистых улиц и переулков, из всех засыпанных известью канав и просмоленных мусорных баков.

А все потому, что одновременно с чисткой лодзинских улиц барон фон Хейдель-Хайделау очистил город от хлеба, от работы, от жизни. Фабрики стояли. Фабричные трубы молча возвышались над городом, темнея своими закопченными головами в чистых голубых небесах. Из них не вилась ни одна струйка дыма. Фабричные гудки онемели и больше не тревожили сон людей на рассвете, позволяя им оставаться в постели сколько душе угодно. Барон фон Хейдель-Хайделау первым делом велел своим ландштурмерам пройтись по всем фабрикам и снять трансмиссии, грубые кожаные ремни с колес.

Лодзинские фабриканты составили делегацию, которая должна была поговорить с полковником, убедить его не забирать трансмиссии. Без них колеса машин не могли вращаться, а фабрики не могли работать. Надев черные костюмы с белыми манишками, члены делегации пошли к дворцу Ашкена-

зи. Среди них был и Якуб Ашкенази в элегантном черном костюме, с черной подкрашенной бородой. Он впервые в жизни попал во дворец брата. По-немецки члены делегации покорнейше просили барона не наносить вреда промышленности Лодзи.

— Мы просим ваше превосходительство от имени нашего города, — сказали они, кланяясь.

Барон фон Хейдель-Хайделау сидел, развалившись в кресле, с видом победителя и снисходительно смотрел в монотонно на умолявших его богатых и влиятельных обывателей Лодзи.

— Ничем не могу помочь! — холодно ответил он.

Просители пытались затронуть общественную струнку, говорить от имени рабочих, которые без работы погибнут с голоду. Барон остался равнодушен. Как только делегаты заговорили смелей, резче, барон фон Хейдель-Хайделау прервал их и стукнул кулаком по столу.

— Какое мне дело до ваших людей? — разозлился он. — Я думаю о своих солдатах!

Как римский патриций, к ногам которого припали пленные, полковник гневался на лодзинских представителей и скрипел на них своими вставными зубами.

Фабричные трансмиссии были сделаны из очень хорошей грубой кожи, из которой получались самые лучшие подошвы для солдатских сапог. И барон фон Хейдель-Хайделау приказал снять эту кожу с машин Лодзи и ее окрестностей и вагонами отправлял ее в Германию. После трансмиссий фабрикантам пришлось сдать медные котлы и печи, которые полковник тоже отослал к себе на родину. Источником меди служило все: макушки церквей, дверные задвижки, синагогальные меноры, светильники, еврейские субботние сервизы для рыбы, но прежде всего фабрики. Нужны были патроны, чтобы бить врага, но в Германии было мало меди, поэтому фабричные котлы снимали, переплавляли и делали из полученного сырья патроны. В конце концов барон принялся

вывозить части машин, которым в Германии могло найтись применение. С каждым днем он все больше опустошал предприятия Лодзи.

Действовал он из того самого дворца при фабрике Макса Ашкенази, в котором он жил. По подземной линии дворца, ведущей к железной дороге, каждый день шли медь и латунь, ремни и сырье, готовые ткани со складов и дерево из близлежащего леса. Мадам Ашкенази с ее плохим, русифицированным немецким, с грубым для немецкого уха «р» каждый раз протестовала, обивала пороги, предъявляла претензии, прорывалась с зажатым в руке зонтиком в свой дворец, к самому барону, но ее к нему не пускали.

— Уходите, вход запрещен! — гнали ее часовые.

За ткани и сырье, которые вывозили с ее фабрики вагонами, ей выдавали только расписки, где товары оценивались в гроши, да и те можно было получить лишь по окончании войны. Мадам Ашкенази целыми днями сидела одна как перст в большом кабинете фабрики, хотя ей абсолютно нечего было там делать. Она, как мужчина, хранила фабрику, держала все в своей голове, знала все мелочи, не хуже, чем некогда ее муж. Она запирала немецкие расписки в железную кассу, вешала ключи себе на шею и сидела в фабричном кабинете, одна-одинешенька в чужом городе. Единственными ее клиентами были немцы, которые каждый день приходили сообщить о новых грузах, которые им надлежало вывезти. Мадам Ашкенази никуда не ходила, ни с кем не встречалась в городе. Она только сидела в кабинете на фабрике, просматривая старые счета, пока не наступала ночь. Тогда она отправлялась в свою новую квартиру, ту самую, где директор Альбрехт вел когда-то роскошную холостяцкую жизнь с убиравшимися у него мотальщицами. В его широкой кровати она лежала с открытыми глазами ночи напролет, не могла заснуть и ждала утра, чтобы снова пойти на фабрику и снова просидеть целый день в пустом кабинете. Из служанок она оставила только девушку-камеристку,

которая убиралась, готовила и перед сном заплетала ее жидкие седые волосы в короткие косички, перевязывая их шелковыми лентами, как в те времена, когда муж мадам Ашкенази еще был дома.

В Балуте ручные ткацкие станки работали редко. В основном они стояли под простынями. Портные, чулочницы, швеи, трикотажники, галантерейные рабочие, сапожники, шорники накрыли свои швейные машинки тканью и заперли мастерские, как когда-то запирали их на субботу. Город, который всегда кипел, ходил ходуном от непрерывной работы, торговли и движения, теперь притих: не стучала ни одна машина, не дымила ни одна труба, не гудела ни одна сирена. Чистота улиц напоминала чистоту дорожек на кладбище. Польские рабочие, пришедшие из деревень, разбежались по своим деревенским домам; городские рабочие, евреи Балута, слонялись без дела по улицам и переулкам. Их руки жаждали работы, но работы не было. Они ходили с пересохшими ртами, с бледными лицами, злые и голодные.

Лодзь голодала. На всех дорогах и на всех заслонах стояли немецкие солдаты в высоких островерхих касках и останавливали проезжих. Они искали в сене крестьянских телег спрятанные мешки зерна, куриц, сыр, лукошки яиц или крынки масла, которые люди везли в город на продажу. Они обыскивали крестьян, залезали под одежду, чтобы найти каравай хлеба, кусок мяса или немного картошки, если кто ее вез. Они задирали женщинам юбки, шарили у них за пазухой, не прячут ли они там какой-нибудь провизии.

Все: хлеб в полях, картофель в подвалах, скот в стойлах, цыплята, проклюнувшиеся из яиц, каждый новорожденный теленок, каждая беременная свиноматка — было учтено и находилось под надзором, ожидая реквизиции и отправки в Германию. Немцы снимали фрукты с деревьев, шерсть с овец, траву с полей. В лесах они дырявили березы, доили из них сок и отсылали домой. Они забрали у охотников ружья, чтобы самим ловить зайцев, лис, кабанов, оленей и диких

уток и живыми или подстреленными вывозить их из страны. Они забрали у рыбаков сети, чтобы присвоить себе всю рыбу. Даже бездомных собак и кошек, копавшихся в мусорных ящиках, они ловили, чтобы содрать с них шкурки, вытянуть из них жир, а мясом накормить зверей в немецких зверинцах.

Кроме германских ландштурмеров, офицеров и чиновников, ежедневно отправлявших продуктовые посылки своим семьям, приезжали и гражданские немцы, упитанные типы в зеленых горских костюмах и с перьями на шляпах. С желтыми штуплями на начищенных башмаках, предохранявшими подошвы от стаптывания, они расхаживали по деревням, реквизировали, отбирали, скупали за гроши, опустошали и пожирали страну, как саранча. В городах и местечках из магазинов исчезали товары, из кухонь — медные кастрюли, снимались люстры с потолков, латунные задвижки с дверей, увозилась мука в мешках, изымались кожа из кожевенных мастерских и зерно с продуктовых складов. Пекари, мельники, мясники, кожевенники, торговцы продовольствием и лавочники, ремесленники и разносчики — все были взяты в оборот. За каждым их шагом велась слежка, с них не спускали глаз, следили за тем, чтобы они не сделали чего-нибудь недозволенного. Хлеб в городах выдавался по продуктовым карточкам. Но и этот паек не был чистым, местным не полагалось много муки. Пекари были обязаны замешивать в хлеб перемолотые каштаны и картофельную шелуху. Во рту этот хлеб был как глина, он камнем ложился на сердце, не насыщал. Дети от него болели.

Состоятельные люди покупали продукты у контрабандистов, которых развелось множество и которые пробирались в города тайными путями. А бедняки, рабочие, ремесленники, безработные голодали — в первую же неделю они съедали полученный по карточкам, выделявшийся на целый месяц хлеб, а потом бродили мрачные, осунувшиеся, на дрожащих ногах, с горящими от голода глазами. Дети падали с ног. Заразные

болезни ходили по убогим улицам Лодзи и сжинали жизни, как немцы сжинали поля.

Барон фон Хейдель-Хайделау приказал милиционерам изолировать дома с больными, опечатать их, снабдить надписью «Заразно», насыпать горы извести на зараженных улицах, обрызгать карболкой бедные районы. Кроме того, по ночам людей целыми кварталами выгоняли из домов и отправляли в карантинные бараки, где им сутками не давали есть, обливали их потоками горячей и холодной воды, обривали им головы, борясь с распространением инфекций. Германские ландштурмеры очень энергично лили воду и дезинфицирующие жидкости на бледных больных людей, голых, отощавших, костлявых. Они насмехались над бородатыми евреями, закрывавшими руками свои бороды, чтобы уберечь их от бритвы. Они отпускали грубые шутки в адрес девушек, пытавшихся ладонями прикрыть свою наготу. Они издевались над бедными пожилыми женщинами с отвислыми грудями, распухшими животами и тонкими ногами.

— Долой грязь! — орали они и обрушивали на страдальцев лавины воды.

Они чистили, крепко чистили, как велел комендант города в своих приказах, отдававшихся им из дворца. Но чем больше они боролись с грязью, тем стремительнее множились эпидемии. Вода, которую давали людям вместо хлеба, не смывала заразы. Погребальное братство непрерывно возило трупы на кладбища. Их больше не возили в телегах, потому что лошадей и телег не хватало. Умерших доставляли на кладбища на ручных тележках для перевозки угля, без саванов, просто в соломе.

А во дворце Макса Ашкенази комендант города, барон фон Хейдель-Хайделау сидел и что ни день сочинял все новые приказы и распоряжения. Кроме того, он ежедневно посылал военные капеллы, чтобы они исполняли перед побежденными людьми немецкие марши и патриотические песни. Парадным твердым шагом, в высоких островерхих касках, в свер-



кающих, начищенных сапогах ландштурмеры маршировали по улицам Лодзи, распевая песни о Рейне, о Германии, которая в мире превыше всего.

Храбрые германцы русаков разбили,  
Кулаком железным французов сокрушили, —

надрывали глотки мужланы в серой полевой форме.

Барон фон Хейдель-Хайделау стоял на балконе своего дворца и смотрел в монокль вниз, на город, лежавший у его ног.

Этому народу надо дать бани и развлечения, решил он про себя.

Он гордо выпятил грудь со всеми медалями, с Железным крестом, полученным им за подвиги в Калише; он с головы до ног ощущал себя древним римлянином, завоевателем и покорителем земель.

## Глава четвертая

**Е**ще никогда Кейля, жена ткача Тевье по прозвищу Тевье-есть-в-мире-хозяин, не знавала таких хороших времен и такой сытой жизни, как сейчас, когда немцы правили Лодзью.

За долгие годы страданий, нужды и бед, теперь, на старости лет, она получила отдохновение. Она варила мясо в больших горшках в будние дни. Она дразнила и смущала весь переулоч Свистунов аппетитными запахами, доносившимися с ее кухни. Она тушила печенку с мелко нарезанным луком и готовила супы. Соседи приходили к ней занять горсть муки, картофелину, кусок хлеба для ребенка, и Кейля одалживала всем.

Не Тевье был тем человеком, который вознаградила ее за ее беды и подарил ей так много счастья. Он остался преж-

ним, заботился обо всех людях, возился с мальчишками на трудовой бирже, читал книжки, пропадал целыми днями, словно сам был мальчишкой, словно его подстриженная борода не стала седой, а лицо не было покрыто морщинами от старости и невзгод. Даже в хорошие времена, когда Лодзь еще работала, она, Кейля, страдала в его доме, жизнь ее была совсем не медом, потому что Тевье не хотел прислушаться к ее словам, приобрести пару ткацких станков, как делали другие, взять подмастерьев, чтобы заработать хоть что-нибудь.

— Я не стану эксплуататором, нет! — отвечал он на такие предложения и на все упреки Кейли. — Даже если мне иначе придется отбросить копыта!

Кейля ругала мужа, устраивала ему скандалы, но он не сдавался. Всю свою жизнь он работал у подрядчиков, которые частенько зажимали плату, обманывали его. В свободное время Тевье носился со своими ахдусниками, не ночевал у себя дома. Много раз Кейля терпела из-за него унижения и незаслуженные обиды. Ее мужа арестовывали, и тогда ей приходилось наравне с всякими женами воров стоять у ворот тюрьмы, чтобы передать Тевье посылку с едой. Нет, она никогда не была с ним счастлива. Даже в самые лучшие времена, когда Лодзь ходила в золоте, в ее доме царила нищета. Она не могла накормить детей досыта, не могла справиться своим девчонкам приличного платья, как у людей.

Теперь, когда Лодзь остановилась, когда повсюду было пустынно, Тевье совсем не работал. Кейле оставалось только протянуть ноги на старости лет или стать побирушкой на потеху людям. Однако у Кейли был великий Господь на небесах. Хотя ее безумец муж все время твердил ей, что Бога нет, она никогда не верила ему и с ним не соглашалась. Пусть сколько угодно говорит, что Бога нет, своим мальчишкам и девчонкам с биржи, но не ей, Кейле. Она неуклонно соблюдала в своем доме предписанное Торой разделение между мясным и молочным, зажигала субботние све-

чи, советовалась по религиозным проблемам с раввином и выплескивала приготовленную на субботу еду, даже если молока в нее попало совсем немного. Тевье кричал на нее, смеялся над ней, издевался, злился на раввина, присваивающего, по его словам, деньги рабочих, и готов был есть трэфную еду. Детям он тоже велел есть трэфной бульон. Однако она, Кейля, слушала его не больше, чем уличного пса. Она силой отталкивала его от трэфного горшка и выливала весь бульон в помойку.

— У своих приятелей ты можешь сколько угодно считать себя большим мудрецом, — говорила она ему, — а у меня ты не стоишь даже ногтя с мизинца раввина. У меня в доме ты трэфного жрать не будешь.

Правда, она не могла добиться, чтобы он, как положено, делал кидуш, а сама она не разбиралась в еврейской грамоте, и ей приходилось в канун каждой субботы и каждого праздника идти, словно вдове, к соседу, чтобы послушать кидуш у него. С этим она ничего не могла поделать, но кухня была ее, горшки принадлежали ей. Здесь она была неоспоримой хозяйкой, и на своей кухне она вела себя так, как должно еврейке. Ему, Тевье, приходилось есть у нее только кошерное. Она ни за что не дала бы ему цикория из молочного горшка, прежде чем пройдут шесть часов после того, как он ел кашу с животным жиром. Она и мезузу с дверного косяка не позволила ему снять. И учила своих дочерей еврейству, учила их произносить благословение перед едой и читать «Слушай, Израиль...» перед сном. Одну дочку, Баську, Тевье все-таки удалось втянуть в свое вероотступничество; сколько она, Кейля, ни предостерегала ее, сколько ни отговаривала иметь дело со своим сумасшедшим отцом, сколько ни предупреждала, что Баська плохо кончит, если будет слушать его речи, девушка была глуха к словам матери и льнула к отцу. И Бог ее, бедняжку, все-таки за это наказал. Она, Баська, молодой ушла из этого мира. Зато остальных дочерей Кейля сумела отдалить от отца, она очернила

его в их глазах, смешала его с грязью. Таким образом она их спасла. Некоторые из них своевременно уехали в Америку со своими женихами. Младшие дочери остались в Лодзи. Но они даже не разговаривали с отцом, считали его помешанным, неудачником, который не заботится о своих детях, не ищет партии своим дочерям, а все время носится с чужими делами. И дочери Тевье взяли свою судьбу в собственные руки.

Теперь, в тяжелые времена, дочери Тевье, прозванного Тевье-есть-в-мире-хозяин, отлично устроились в Лодзи. Они занимались контрабандой, очень хорошо зарабатывали и, как преданные дочери, все приносили в дом. Они заказали для матери новый большой черный парик, странно сидевший на ее старой седой голове. Они заказали ей одежду, отдельно будничную, отдельно субботную. Они добывали ей всевозможные съестные припасы — муку и крупы, мясо и сливочное масло, сыр и яйца. Кроме того, они купили в дом новые кровати, прибили на стенки несколько резных полок и расставили на них фотографии. Стены они украсили цветными литографиями, на которых негры-рабы приводили к чернобородому султану обнаженную девушку с распущенными русыми волосами или царь Соломон приказывал разрубить мечом младенца, причину спора двух матерей. Бухбиндеры даже выехали из подвала и сняли квартиру с кухней на первом этаже в переулке Свистунов в Балуте, квартиру с газовым освещением и водопроводом.

Бог сжалился над Кейлей, потому что она так твердо держалась за Него все это время, воевала ради Него со своим мужем-еретиком. За это Он теперь вознаградил ее, воздал ей за все прошлые годы, причем в самое тяжелое время, когда вокруг было так горько и уныло. Еще никогда она не варила еду такими большими горшками, никогда не жила в такой приличной квартире, не расхаживала в такой хорошей одежде, как сейчас, когда у других дела шли совсем плохо. И она, Кейля, восхваляла Бога, хотя она и не умела молиться. Она

давала хлеб бедным соседкам, давала им горсть муки, немного молока для ребенка. Она бросала монеты в кружку Меера-чудотворца<sup>1</sup>, висевшую у двери, рядом с мезузой. Сколько раз Тевье срывал эту кружку, а она, Кейля, снова прибывала ее на место и бросала в нее гроши, и молила неумелыми губами Бога и рабби Меера-чудотворца, чтобы они и дальше не лишали ее дом своей милости, чтобы они хранили ее дочерей от беды, когда те нелегально провозят продукты, и чтобы они исправили сердце ее мужа Тевье, в котором много лет назад поселилось безумие, лишив его счастья и на этом свете, и на том.

Не зря она бросала гроши в кружку рабби Меера-чудотворца, не зря молила Бога, потому что так же, как в ее доме было много добра, опасностей ему грозило тоже много. Немцы часто устраивали обыски, искали в домах контрабанду и, если находили товары, отбирали. Того, кто попадался несколько раз, могли и посадить. А квартира Кейли была набита контрабандными товарами. В высоких застеленных кроватях, покрытых зелеными одеялами с изображениями львов, тигров, попугаев и цветов, среди подушек и соломы было спрятано мясо, целые бока, украдкой привезенные дочерьми по бездорожью из окрестных местечек. Под кроватью лежал картофель, кочаны капусты, свекла. В старом шкафу, среди одежды, висели мешочки с мукой и разными крупами. В наволочках хранился сахар в торбочках. Даже за картинами таилась контрабанда. В ногах у царя Соломона, у самого трона, который охраняли два льва с высунутыми языками, лежали маленькие мешочки с сахарином, заменявшим в бедных домах сахар. Хотя все было отлично спрятано, это не давало уверенности в том, что немцы не найдут

<sup>1</sup> Меер (Меир)-чудотворец (*др.-евр.* «Меир бааль а-нес»), рабби Меир — законоучитель первой половины II в. н. э., гробница которого находится по преданию в Твери и является объектом паломничества. С XVIII в. широкое распространение в еврейских общинах диаспоры получил обычай держать у себя в домах «кружки Меира-чудотворца», в которые собирались пожертвования для бедных.

тайников в доме Кейли. Они чуяли спрятанное добро даже под землей, эти ландшатурмеры в островерхих касках, не говоря уже о полевых жандармах с бляхами на груди. Они протыкали подушки пиками, залезали в самые потайные места, даже раздевали людей догола в своей жажде найти хоть что-нибудь. И Кейля каждый день бросала гроши рабби Мееру-чудотворцу в заржавевшую кружку и просила его своими неловкими набожными губами уберечь ее дочерей от беды, а ее дом от зла.

— За то, что я соблюдаю кашрут, за то, что я жертвую деньги беднякам, — говорила она ржавой жестяной кружке, — попроси за меня, великий праведник, реб Меер, сохрани и защити меня, моих детей и мой дом.

В будние дни дочерей дома не было. В платках на голове, в крепких башмаках, в которых можно было пройти по любой тропинке, с мешками на плечах, они ходили по деревням, покупали у крестьян муку, масло, завернутое в домотканое полотно, яйца, сыр — все, что удавалось купить. Они шли не широкими дорогами, где стояли немцы, а узкими, боковыми путями и извилистыми крестьянскими тропками, часто через овраги, болота. Они пробирались от деревни к деревне, от дороги к дороге, согнувшись под тяжелым грузом, шумно дыша и обливаясь потом, чтобы пронести в город немного еды и заработать себе на жизнь.

По пути случалось всякое. Приходилось ночевать на крестьянских сеновалах, а нередко и в лесу. Терпеть приставаания молодых иноверцев. Иной раз контрабандисток ловили немецкие патрули и хотели отвести их в комендатуру. Они откупались марками, женским обаянием, всякого рода уловками и трюками, которым их научили эти суровые дни. Нет, им не на кого было положиться в это горькое время, и меньше всего они могли рассчитывать на собственного отца. Они были вынуждены сами всего добиваться. В будни они вели тяжелую и несладкую жизнь на дорогах, кишащих солдатами в островерхих немецких касках.

Но зато когда наступала суббота, праздник, они получали вознаграждение за всю неделю. Кейля пекла целые длинные противни хал и печений. Она готовила большими горшками жирный чолнт. Девушки тщательно убирали квартиру, мыли пол и посыпали его желтым песочком, начищали до блеска железные ребра сундуков, драили известью оловянные светильники, заменившие отобранные немцами медные. Все горшки, кастрюли и кастрюльки блестели начищенными боками, выставлялась стеклянная посуда в цветочек, из бумаги вырезались новые яркие цветы и кружева и украшали собой занавески на окнах, белые шкафчики и полочки для посуды. Красочные картины на стенах сияли, выставленные тарелки с синими цветочками сверкали, как зеркала. Испеченные к субботе витые халы были накрыты бархатной салфеткой с вышитыми золотом буквами и щитом Давида. Тевье, конечно, позорил субботний стол, не желал делать кидуш и произносить благословение на халы, но Кейля добилась своего — она готовила субботнюю трапезу, как заведено у евреев. Она даже делала вино из вареного изюма, давленного в полотенце. Девушки мылись, прихорашивались. Они старательно намыливали свои головы и усталые, натруженные тела, натягивали на себя тонкое дамское белье, брызгались духами и надевали самые модные платья.

Кейле больше не требовалось идти в чужой дом, к соседу, чтобы он освятил для нее субботу, сделав кидуш. В доме были теперь свои мужчины, женихи дочерей, которые всегда приходили сюда по субботам и в свободные дни, ели здесь. Здесь даже висели их субботние костюмы и лежало их белье. И это были не щуплые подмастерья-ткачи в мешковатых потертых костюмах. Это были широкоплечие веселые парни в высоких сапогах и куртках, контрабандисты — мужчины хоть куда, хорошие добытчики, держащие нос по ветру; ребята, умеющие устроиться в жизни, знающие рынок и способные делать деньги. Они не были такими безбожниками, как Тевье, хотя и особенными праведниками тоже не были, бри-

ли бороды, носили при себе деньги в субботу<sup>1</sup>, даже были не прочь в святой день выкурить втихаря папироску, но когда Кейля предлагала им бокал изюмного вина и просила сделать кидуш, они ей не отказывали. Не отказывались они и произнести благословение на халы. Они знали: что Богу — то Богу, а что людям — то людям. Свечи у стола искрились, пестрая скатерть сияла, девушки светились, женихи разговаривали, смеялись, рассказывали веселые побасенки о дорогах, о немцах и контрабанде, демонстрировали свои познания, выдумывали героические истории. Кейля, в высоком черном субботнем парике и широком фартуке, возилась с большими горшками, раздавала щедрые порции, наливала полные тарелки. Она купалась в лучах успеха и красоты своих дочерей, бросала материнские взгляды на их женихов, краснощеких, загорелых и жизнерадостных, и ее неумелые губы шептали молитвы Богу, просили Его о свадьбах, о том, чтобы довелось увидеть радость от детей и понынчиться с внуками, прожить спокойную старость.

Еще веселее, чем вечером, в канун субботы, было в субботу днем. К дочерям приходили подруги, женихи приводили друзей. Молодежь танцевала, играла в фанты, пела песни. Иногда заглядывал один немец, знакомый женихов, помогавший им в контрабандном ремесле. Этот немец краснел от смущения в непривычном обществе, пел немецкие песни, ругал свое начальство и давал парням примерить свою военную форму. Кейля знала, что в такие часы лучше, чтобы ее не было дома, что дочерям не нужна мать, когда у них есть парни; и она уходила к соседке послушать, как та читает Пяткнижие на простом еврейском языке<sup>2</sup>, поскольку сама она была не сильна в чтении, или просто поговорить о дороговизне картофеля.

Чужой, одинокий, потерянный, блуждал по собственному дому Тевье, его хозяин.

<sup>1</sup> По субботам запрещено прикасаться к деньгам.

<sup>2</sup> То есть «Тайч-Хумеш». См. прим. 2 на с. 59.



И жена, и дочери смотрели на него с насмешкой, качая при виде него головами. Они не требовали, чтобы он работал и зарабатывал. Они знали, что в городе нет работы. К тому же он был уже слишком стар, чтобы ее менять. Они не ждали, чтобы он позаботился об их судьбе. Они, его дочери, нашли свое место под солнцем. Они достаточно приносили в дом и могли бы содержать его, Тевье. Им было несложно кормить отца. Еды было так много, что можно было бы накормить даже чужого. Однако они требовали, чтобы отец был человеком, чтобы в субботу он сидел за столом, чтобы он делал кидуш, чтобы совершал благословение на халы, освящая дом. А еще, чтобы он был отцом своих детей, разговаривал бы с немецким парнем, заходившим к ним в дом, общался с женихами, напоминал им о свадьбе, которую пора бы уже и сыграть, потому что сколько можно жениться? Кейля брала это в свои руки, намекала парням о женитьбе, но этого было недостаточно, требовалось слово отца, мужчины, к которому с почтением относятся те, кто моложе его. Парни больше уважают дочерей, когда в доме есть отец.

Но Тевье не хотел быть отцом. Он не был почтенным хозяином дома. Как всегда, он целыми днями носился со своими книжками, рассованными по всем его карманам, заражал свободомыслием мальчишек, рассуждал, убеждал, занимался чужими делами, вместо того, чтобы беречь свой дом и своих детей. Он не спрашивал дочерей, как они живут, что они делают, его не интересовали их планы на жизнь и виды на замужество. Он даже не хотел участвовать в церемониях тноим, которые справлялись дома в присутствии меламеда и миньяна евреев и сопровождалась битьем тарелок на счастье. Дочери просили его быть на их торжестве, Кейля плакала, но он не хотел уступить.

— Я не сижу со святошами за одним столом! — сказал он и убежал из дома.

С семьей он бывал редко. Приходил поздно ночью, чтобы поспать несколько часов.

Женихи угощали его папиросами, пытались обсуждать с ним политику, но он избегал их. Он не испытывал теплых чувств к этим молодым людям в высоких сапогах, которые все время говорили только о контрабанде, о немцах и о деньгах. Они насмеялись над ним.

— Когда вы наконец выгоните из Лодзи немцев, реб Тевье? — спрашивали они его. — Вы же вроде боретесь с ними.

— Они уйдут, как ушли русские, — отвечал Тевье. — Будь у вас глаза, вы бы это увидели.

— Лучше бы вы поехали с нами за контрабандой, тевь, — говорили ему женихи. — Рядом с нами вам было бы легче заработать на рынке...

Он терпеть не мог своего дома, разукрашенного литографическими картинами, Кейлю в черном парике, мезузу на двери, кружку рабби Меера-чудотворца, женихов в сапогах, собственных дочерей, которые ничему не желали у него учиться, всех этих новомодных гостей, дружественных немецких солдат, мешочки с контрабандой. Он не хотел наслаждаться вкусными блюдами, которые из жалости подавала ему Кейля. Ему претили семейные праздники в его доме. Все было против его воли, против его вкуса. Единственной дорогой ему здесь вещью была пожелтевшая фотография его Баськи, погибшей на баррикадах. Он снова и снова подходил к этому снимку, висевшему на стене среди прочих семейных фото, и подолгу всматривался в него, а потом протирает стекла своих очков, которые запотевали из-за набегавших на глаза слез.

Он стыдился собственного дома, мелкобуржуазного и мещанского, стыдился своих детей. Он не мог пригласить в этот дом своего человека, и сам забегал в него, как гость, спал несколько часов в каком-нибудь уголке, потому что на кроватях спали дочери, а на рассвете уже одевался, чтобы уйти отсюда как можно раньше, уйти к своей работе в клубе, в рабочей столовой.

После пятничных вечеров в доме был беспорядок. На столе валялась шелуха от семечек, огрызки яблок, окурки па-

пирос, стояли недопитые стаканы, все вперемешку. По стульям были разбросаны женские платья, чулки, нижнее белье. В углу, на застеленных скамьях спал жених, засидевшийся до поздна. Его высокие сапоги, как живые, стояли посреди комнаты, висели на подтяжках его брюки. Воротничок с галстуком беспечно торчал из темноты, свидетельствуя о том, что этот мужчина стал слишком близким человеком в доме. На кроватях лежали дочери, с растрепанными волосами, раскинув руки и ноги, сбросив с себя одеяла из-за царящей в доме духоты, среди разбросанных шпилек, заколок, бюстгальтеров и прочих предметов дамского туалета. Они были далеки от него, Тевье, чужды собственному отцу. Он стыдился их, не смел на них взглянуть.

Он быстро одевался, распихивал по всем карманам газеты и книжки, которые постоянно носил с собой, споласкивал руки и лицо и выходил.

— Куда ты бежишь? — окликала его Кейля с издевкой и жалостью. — Погоди, я тебе дам хотя бы глоток кофе для бодрости.

— Я поем в рабочей столовой, — бросал он в ответ и выходил.

Кейля смотрела ему вслед, видела его осунувшееся лицо, его сутулую спину и качала головой в белом ночном чепчике с красными лентами.

— Господи, Боже мой, — вопрошала она Бога, — почему Ты не возвращаешь его голову на место? Ведь у него нет счастья на этом свете, и на том свете тоже не будет...

Тяжелыми босыми ногами она подходила к кухне, разгоняла тараканов, заселявших ночью пустые горшки, и произносила по-древнееврейски «Слушай, Израиль...», путано и с множеством ошибок.

С улицы доносилось пение петуха. Его хриплое кукареканье раздавалось над пустым городом, в котором больше не были фабричные сирены.

## Глава пятая

**Е**динственным человеком в Лодзи, который не хотел сдаваться и уступить коменданту барону фон Хейделю-Хайделау, был ткач Тевье, вожак ахдусников, председатель исполкома. Между комендантом во дворце и Тевье в рабочей столовой шла постоянная война. Сколько бы барон ни сочинял приказов, каждый день новых, Тевье в ответ тут же издавал свои. Посреди ночи, задолго до рассвета, посланные Тевье ахдусники появлялись на улицах с ведром клея и пачкой прокламаций под полой и поверх распоряжений коменданта вывешивали свои воззвания.

Барон фон Хейдель-Хайделау краснел от бешенства, узнав, что какой-то исполком имеет наглость противостоять его приказам.

— Стереть в порошок! — бесновался он, топая ногой в сапоге на русоусого хромого полицей-президента Шванеке. — Уничтожить эту вшивую еврейскую банду! Вы отвечаете за это лично!

Хромой полицей-президент Шванеке мобилизовал своих полицейских служащих в голубых пелеринах, велел им устраивать засады на полуночных расклейщиков прокламаций. Кроме того, он приказал агентам прятаться за воротами домов и хватать еврейских диверсантов. Нескольких из них полицейские сцапали. Шванеке собственной персоной пихал их своей хромой ногой в живот. Всю злобу и обиду коменданта Лодзи полицей-президент выплескивал на этих незадачливых парней. Разными полицейскими трюками он хотел выпытать у них имена руководителей, но арестованные хранили молчание. Они стиснули зубы и не сказали ему ничего. Шванеке несколько недель подряд держал их на четверти фунта хлеба в день, а раз в неделю устраивал им полный пост. Однако на всех допросах узники молчали, не проронили ни

слова. Шванеке понял, что крутыми мерами от них ничего не добиться, и попытался их подкупить. Полицай-президент обещал выпустить их на свободу и вернуть им работу, а взамен они время от времени будут приходить к нему и приносить интересные отчеты, за которые их ждет награда, несколько марок. Но ахдусники не поддались. Шванеке увидел, что толку от них не будет, и выслал их в Германию на принудительные работы.

— Там вас научат покорности, вшивая банда! — угрожал он им.

Он издал приказ о строгом наказании за расклеивание прокламаций, чтобы напугать остальных ахдусников. Но в ту же ночь исполком отправил людей заклеить все полицейские распоряжения призывами к дальнейшей борьбе против коменданта и полиции.

Между бароном и Тевье началась война из-за продуктов.

Барон фон Хейдель-Хайделау, который не переставал думать в своем дворце о том, как выдавить еще больше продовольствия из подвластной ему области, чтобы отправить его на родину в Германию, обратил внимание на рабочие столовые. Гражданский комитет, членами которого были богатейшие люди города, в том числе директор Якуб Ашкенази, открыл кухни и столовые для бедняков Лодзи. Здесь рабочие получали жидкий суп и маленький кусочек хлеба. Такие столовые были на всех бедных улицах, в том числе в Балуте, где в них ходили безработные ткачи. Деньги на это давал город. Однако барон фон Хейдель-Хайделау косо смотрел на эту благотворительность.

Они поглощали слишком много продуктов, эти столовые, — картофель, муку, крупы. Барон фон Хейдель-Хайделау предпочел бы отослать их в Германию, поэтому он постоянно уменьшал порции, выдававшиеся беднякам. Для начала комендант вызвал руководителей гражданского комитета к себе во дворец и приказал им замешивать в хлеб как можно больше мякины и шелухи.

— Ваше превосходительство, мы и так замешиваем их более чем достаточно, — ответили ему руководители комитета. — Хлеб уже не держит форму из-за всех этих примесей, он разваливается.

— Добавляйте жидкость, которую изобрел мой главный врач, и он будет держаться, — посоветовал им барон. — Я больше не позволю расходовать так много муки.

Когда люди заикнулись о том, что от такого хлеба болеет население, распространяются эпидемии, растет смертность, барон рассвирепел и вышел из себя.

— Здесь хватит места для всех покойников Лодзи! — заорал он. — Адью!

Члены гражданского комитета ушли из дворца смущенные и покорные. Они тут же распорядились, чтобы хлеб для рабочих столовых отныне выпекали в соответствии с приказом коменданта. Когда барон фон Хейдель-Хайделау добился своего с хлебом, он стал раздумывать о том, как сэкономить и другие продукты питания — крупы, картофель, жиры. В один прекрасный день он приказал заправлять супы не животным жиром, а растительным. Животный жир тоже отправлялся в Германию. Затем барон велел уменьшить количество выдаваемых круп. Наконец его осенило, что чистка картофеля сильно уменьшает объем продукта, и он издал приказ о том, чтобы картофель для супа варили вместе с шелухой. Его главный врач, который изобрел жидкость, не дававшую развалиться хлебу с малым количеством муки, тут же открыл, что есть картофельную шелуху очень полезно, это питательно и укрепляет организм. Барон вызвал к себе представителей прессы, немецких, польских и еврейских, и велел им писать статьи о теории доктора относительно картофельной шелухи. Доктор, используя множество иностранных медицинских терминов, описывал перед представителями прессы то благо, которое несет здоровью поедание картофеля вместе с шелухой, а барон наблюдал за репортерами, наставив на них свой монокль.

— Итак, вы должны широко пропагандировать этот подход, — заключил он.

Пресса писала, члены гражданского комитета исполняли приказы. Только Тевье со своими людьми пренебрегал ими. Теперь он, Тевье, был главным в Лодзи, был вождем. Нисан уехал в Россию, другие товарищи отправились за границу или на фронт. И этот большой город остался на него, Тевье, под его ответственность, и он нес этот груз на своих сутулых плечах. Он сам организовал комитет рабочих, втянул в организацию новых людей, создал рабочую столовую, взял дело в свои руки. Он был старшим и самым опытным. Он должен был позаботиться о бедняках, заступиться за них в это тяжелое время, пробудить их мужество, призвать к борьбе. И он упрямо выступал против приказов коменданта. Он составил пламенную прокламацию, клеймившую милитаристских угнетателей, которые сначала лишили рабочих работы, превратили их в попрошаек, а теперь хотят вырвать у них изо рта последний кусок хлеба, заставить их есть нечищенный картофель, как свиней. Прокламации были расклеены на всех углах, поверх приказов коменданта. Помимо этого, Тевье велел устраивать митинги, тайные собрания и призывать к протестам, к войне против кровопийц.

Барон фон Хейдель-Хайделау перестал полагаться на хромого полицей-президента и сам стал учить упрямцев уму-разуму. Посреди обеда его солдаты напали на рабочие столовые, арестовали самых молодых и сильных и отправили их на принудительные работы в Германию. Барон фон Хейдель-Хайделау, как опытный охотник, хотел убить одним выстрелом двух зайцев: и забрать самых молодых и энергичных, чтобы остальные, пожилые и слабые, перестали бунтовать; и принести пользу Отечеству, послав на родину свежую рабочую силу. С каждым днем все больше германских рабочих отправлялось на фронты или в оккупированные страны. Мобилизовывали даже стариков. Женщины одни не мог-

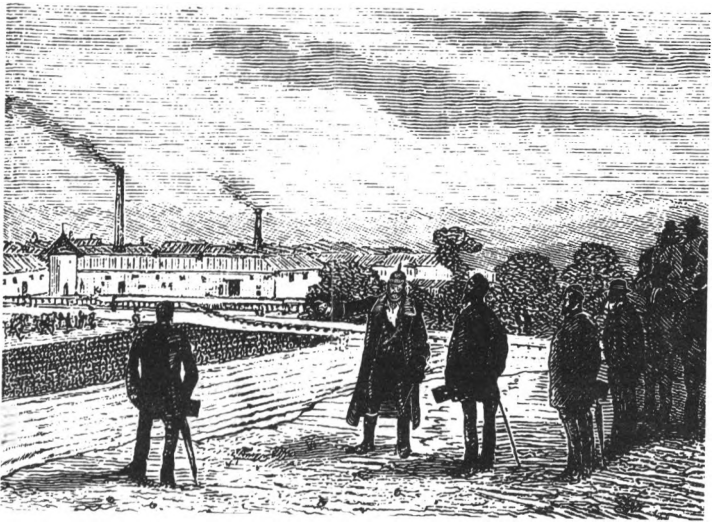
ли выполнить все мужские работы. Нужны были мужчины на угольные шахты и для другого тяжелого труда. И из Генерального штаба поступил приказ вербовать в Польше мужчин и поставлять их в Германию в как можно большем количестве. Но польские мужчины не хотели туда ехать. Они знали от тех, кого отправили туда раньше, что их ждут холодные бараки, что их будут сторожить вооруженные охранники, что с них спустят семь шкур и будут обходиться с ними, как с арестантами. Тех, кто добровольно поехал на работы в Германию, обратно не отпускали. Поэтому никто больше не откликнулся на немецкие объявления о работе.

Рядом с этими развешанными комендантом объявлениями Тевье распорядился повесить свои собственные листовки с рассказом о том, как в Германии обходятся с наемной силой. Голодные люди больше прислушивались к словам Тевье, чем к словам барона.

Тогда барон фон Хейдель-Хайделау принялся арестовывать рабочих и отправлять их на принудительные работы. Это окупалось. В этом случае людям совсем не надо было платить, и они работали под вооруженной охраной, как военнопленные.

Немецкие солдаты, полевая жандармерия и ландштурмеры рыскали повсюду и отлавливали рабочих в городе. За малейшее нарушение, за то, что люди стояли на улице кружком, за то, что они собирались около рабочих столовых, за то, что они выстраивались в очередь, чтобы получить по карточкам хлеб, — их хватали, уводили в комендатуру, составляли против них протоколы, объявляя их зачинщиками враждебных манифестаций, и высылали в товарных вагонах под вооруженной охраной в Германию. Милиционеры с палками арестовывали грязных людей. Завидев оборванных или босых, они тут же окружали их и вели в бани на дезинфекцию. После этого стариков отпускали, а молодых отправляли в комендатуру, где им навязывали принудительные работы в чужой стране.





Но чем больше солдаты коменданта хватали людей, тем больше расклеивалось на улицах листовок против коменданта. Организовывались даже акции протеста семей арестованных: люди обличали барона, который ссылает гражданское население на принудительные работы, хотя это противоречит международным законам.

Нет, он, Тевье, не отдыхал. Одинокий в эти горькие дни, безработный, голодный — в чем только держалась его душа, — скрывающийся, ночующий на тайных квартирах, которые он менял каждую ночь, Тевье вел войну против барона фон Хейделя-Хайделау, правившего Лодзью и ее окрестностями из своего дворца. Он настраивал против него людей, высмеивал его в прокламациях и даже отправлял на него тайные жалобы в Берлин, немецким депутатам-социалистам. Тевье жаловался на то, что барон преследует гражданских рабочих. Он посылал в Германию списки семей арестованных с их протестами. По этому поводу к коменданту даже поступали официальные запросы.

В измятой, сдвинутой на лоб велосипедной шапочке, со старой высохшей жилистой шеей, на которой бумажные воротнички всегда лежали вкривь и вкось, в потертых башмаках, в поношенной одежде, с карманами, битком набитыми газетами, книжками, брошюрами и бумагами, с затравленными, но гневными глазами, смотрящими сквозь запотевшие очки в проволочной оправе, — он был везде и всюду, все брал на себя, во все вмешивался, переживал все беды этого мрачного времени.

У него болело сердце за рабочих, из которых сделали уличных торговцев, побирушек, контрабандистов. Он встречал их на улицах с ведрами соленых огурцов, с кулечками конфет, со всяким старьем. Они стыдились смотреть ему в глаза.

— Я стал торгошом, товарищ Тевье, — бормотали они, опустив голову. — Лицо горит от стыда.

Другие расхаживали по дворам с мешками, надрывали глотки, извещая, что они скупают старье, но никто им его не

продавал. Те, кто послабее, тянули руки за милостыней к состоятельным людям. Прядильщицы, швеи, портнихи водились с немецкими солдатами, продавали себя за кусок хлеба. Некоторые, когда-то работавшие в партии, теперь занялись контрабандой; они открывали подозрительные кафешки, вели дела с солдатами и забывали о своей прежней деятельности. Многие не выдержали, погибли от голода и нужды, от истощения и эпидемий. Тевье страдал от того, что стало с рабочими, ему было больно смотреть на их физический и моральный распад. Все, над чем он трудился так много лет, за что боролся, что организовывал и к чему сознательно стремился, было теперь разрушено, рассыпалось, разлетелось, как пыль, как мякина на ветру.

Он не утратил своей веры. Он был твердо убежден в необходимости и неизбежности социалистического переустройства мира. Новая жизнь прорастет сквозь кровь, зверства, страдания, как прорастают зерна сквозь мусор. Но пока царила тьма, отчаяние. Весь мир обливался кровью. Крестьяне и рабочие были охвачены патриотизмом, буржуазия натравливала народ на народ, нацию на нацию, чтобы отвлечь от себя гнев рабочего класса. Этот чад так затуманил умы, что сознательные, организованные рабочие стран Запада с радостью устремились на войну. И даже вожди, социалистические вожди во многих странах поддерживали военные бюджеты, плясали под дудку буржуазии, влезали в офицерские мундиры, садились в министерские кресла, а некоторые еще и унижались, сгибаясь в поклонах перед королевскими и императорскими тронами, ездили в Россию, к кровавому царю и целовались с ним. Борцов против войны сажали в тюрьмы.

Все это было слишком тяжело для натруженной, согбенной спины старого ткача. Если бы рядом с ним хотя бы был Нисан или другие ученые люди, которые могли бы разъяснить, растолковать, пролить луч света на одолевавшие его сомнения. Но никого не было. На него одного, на старого, измученного безработного, остался этот город. Тевье читал — глотал газе-

ты, углублялся в марксистские брошюры. Но понять больших вещей он не мог. У него было слишком скудное образование, его знаний не хватало для того, чтобы увидеть ясный путь в этой необъятной, плотной тьме. Старый и надломленный, лишенный дома, в котором он мог бы найти покой, презираемый собственной женой и детьми, он должен был держать на своих плечах этот город, ободрять слабых, укреплять сомневающихся, бороться со скептиками, вести войну с правителями и угнетателями, с бароном фон Хейделем-Хайделау и его людьми. Лежа по ночам на своей убогой лежанке, Тевье часто погружался в мрачные мысли, в мысли, которые были так же черны, как и окружавшая его ночь. Сверчки из своих уголков пели ему в уши печальные, жалобные песни.

Но среди этого разложения сверкали светлые огоньки, как светлячки в ночи, как фосфорные гнилушки на болоте. Молодые рабочие и работницы держались его, Тевье, не отступали от него, жаждали слушать его и следовать его руководству. Они остались верны партии, самим себе. Они голодали, но не деклассировались, не опускались до занятия торговлей и контрабандой.

— Сколько бы он, комендант, ни лютовал, товарищ Тевье, — говорили они, — мы останемся рабочими, как и были, мы не продадимся.

Они помогали Тевье, распространяли прокламации, прислушивались к его словам, собирались на собрания, привлекали новых людей. Помогли они ему и организовать рабочую столовую, превращавшуюся по вечерам в клуб. Красное кирпичное здание, которое строил один лодзинский богач и не достроил из-за начала войны, стояло со своими большими залами без окон и дверей, стены внутри него даже не были покрашены, а краснели голым кирпичом. Как только русские ушли, люди из Балута сделали из этого здания рабочую столовую. Кирпичные стены покрыли известкой, украсили их портретами Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Фердинанда Лассаля, увешали пролетарскими лозунгами. Девушки

прикрепили к черному потолку бумажные фонарики и гирлянды. Столяры сколотили из нескольких скамеек маленькую деревянную эстраду и поставили ее в центре зала, увенчав красным знаменем. И сотни людей, безработных ткачей, прядильщиков, портных, даже рабочих, продававших теперь леденцы на улицах, потянулись сюда, днем ради маленькой порции жидкого супа и ломтика клейкого хлеба, а вечером ради другой пищи — ради спектаклей, лекций, дискуссий.

Парни и девушки устраивали праздники в эти горькие дни, давали любительские представления, собрали хор, даже создали собственный оркестр. В этой столовой, в красном недостроенном кирпичном доме в Балуте, Тевье вел свою войну против коменданта, сидевшего в роскошном дворце. Здесь он проводил тайные партийные совещания с членами своего комитета, писал прокламации, принимал решения. Комендант следил за этой краснокирпичной столовой. Он часто посылал туда своих агентов. Однако люди Тевье тоже были начеку, и как только появлялся какой-нибудь подозрительный тип, они тут же усаживались за столы и хлебали жидкий суп вместе с другими бедными едоками. Хотя солдаты часто нападали на клуб Тевье, арестовывали и разгоняли людей, сотни рабочих все равно собирались по вечерам в красном здании, в недостроенные комнаты без дверей битком набивались слушатели, часами стоявшие в тесноте и внимавшие лекциям и речам.

С длинной жилистой шеей, с которой соскальзывал бумажный воротничок, с глазами, горящими сквозь зеленые стеклышки очков в проволочной оправе, Тевье стоял на маленькой деревянной эстраде и, как стрелы, метал гневные речи во всех правителей, угнетателей и врагов трудящихся. Самые резкие слова, хотя и не открыто, а намеками, он бросал в сторону дворца барона фон Хейделя-Хайделау, коменданта оккупированного города.

— Пробьет ваш час! — грозил он худым пальцем своей жесткой натруженной руки, торчавшей из широкого, измя-

того и потрепанного рукава. — Ибо таков железный закон наших великих учителей!

Он с глубокой верой смотрел вверх, на три висевших над ним портрета, украшенных красными бантами и зелеными еловыми ветками.

## Глава шестая

**Н**а мануфактурных фабриках Ашкенази в Петрограде работа остановилась. Вместе с другими трудящимися столицы тысячи его рабочих и работниц забастовали. Войска стояли у всех ворот и охраняли фабрики.

Ашкенази был вне себя от волнения и нетерпения.

В Главной ставке изо всех сил готовились к новому весеннему наступлению, хотели нанести немцам и австрийцам решающий удар и изгнать их с захваченной русской земли. Мобилизовали резервистов старших возрастов, поставили под ружье миллионы новых солдат. Оружейные фабрики работали на полную мощность, производя тонны оружия. Так же работали обувные мастерские, текстильные предприятия. Шили одежду, запасали вату, бинты, шерсть и хлопок. Генералы Главной ставки хотели одолеть противника штурмом, сразу бросить на Восточный фронт миллионы вооруженных мужчин, обутых в хорошую обувь и одетых в новую одежду. В то же время западные союзники должны были начать наступление со своей стороны, чтобы одним ударом сокрушить врага.

Макс Ашкенази делал все, чтобы ускорить работу. Он выпускал полотно, шерсть, он закупил машины для производства ваты. Он постоянно что-то пристраивал, что-то расширял, увеличивал. Высокие тыловые армейские чины, щеголявшие в простых солдатских шинелях, словно они бывали на поле боя; гражданские в полувоенных костюмах, в га-

лифе и френчах, были хорошими покупателями, лучшими на памяти Макса Ашкенази. Они сорили деньгами, делали гигантские заказы. Они платили раньше, чем получали товар. Сделки осуществлялись за наличные, словно на свете и не было векселей. Работа спорилась. Ашкенази богател с каждым днем. Каждый удар машин чеканил для него монеты, превращался в золото.

Ашкенази не держал денег в банке. Он скупал имения, фабрики, дома, потому что теперь он знал, что ценные бумаги ненадежны, что они могут потерять свою ценность. То ли дело недвижимость. Она всегда в цене. Вокруг него, Макса Ашкенази, крутились разного рода маклеры и агенты, предлагавшие ему новые дома, магазины, доли предприятий. Как и в Лодзи, он постоянно разъезжал в карете, запряженной парой вороных, которых погонял толстый чернобородый русский кучер. В широкой шубе и шапке из соболя, с набитым бумагами портфелем, Макс Ашкенази целыми днями носился по большому городу, бегал по широким мраморным лестницам банков, взлетал по железным ступеням министерств, служб, интенданств. Он едва находил время на то, чтобы одним глазом взглянуть на дома, которые он покупал, на фабрики, где он становился компаньоном.

Его предприятие работало бесперебойно. Тысячи мужчин и еще больше женщин трудились здесь днем и ночью, делали товары для армии. И вдруг фабрика встала. Рабочие бросили работу.

Все началось из-за хлеба. Столица империи ввозила его недостаточно, на всех ее жителей не хватало. Поезда были заняты перевозкой оружия, войск, раненых. Широкобородые лавочники в белых фартуках поверх полушубков держали в своих лавках скудный запас продовольствия и продавали его только тем, кто мог хорошо заплатить. Для жен бедных рабочих у них продуктов не было.

— Нету, тетенька, — разводили они руками. — Богом клянусь, ничего нет.

Они показывали на иконы с изображением Богородицы, висевшие в красном углу и освещенные красными или зелеными лампадками.

Женщины, загнанные, измученные тяжелым трудом, уходили домой с пустыми руками. Им нечего было подать на стол мужьям и детям. Они собирались перед городскими складами, топтались на замерзших камнях, кричали, ждали, но склады не открывались. В них не было хлеба. Несколько рабочих в валенках, полушубках и меховых шапках примкнули к женщинам; они ворчали, ругались, плевались:

— Эх, горькая жизнь, черт бы ее побрал! Работаешь весь день, а приходишь домой — и в рот положить нечего!

— Надо взломать склады! — слышались голоса. — Они прячут хлеб!

— Надо остановить работу! Без еды нельзя работать!

— Пусть дадут хлеба!

— Хлеба!

Участковые приставы отправили к хлебным складам полицейских, чтобы те выгнали разгневанных людей из торговых рядов.

— Расходитесь по домам! — кричали полицейские. — Когда будет хлеб, вам дадут знать. Не собираться на улицах!

Но люди, стоявшие перед складами, не хотели расходиться.

— Дайте нам хлеба, свиные хари! — кричали женщины. — Без него мы не можем вернуться к нашим детям!

— Заткните глотки, дармоеды! — осаживали полицейских мужчины. — Вы получаете хлеб, и мы тоже требуем хлеба! Мы не уйдем!

Полиция принялась толкать людей, бить их ножами шашек, но народ не расходился. Мальчишки хватали камни, куски железа, снежки и бросали их в полицейских, кто-то кидал камни в окна запертых складов. Полиция начала стрелять, сначала в воздух, потом в людскую массу. Женщина в мужском полушубке и сапогах упала на снег, поливая его кровью.



Полицейские думали, что теперь толпа разбежится. Но она не разбежалась. Напротив, кровь на белом снегу зажгла ярость людей.

— Бей убийц! Оторви им головы! — закричали люди и бросились на полицейских. — Мы хотим хлеба!

Министр внутренних дел Протопопов, вместо того чтобы послать населению хлеба, послал против него армию, Волынский полк, который еще в пятом году бил в Польше революционеров и доказал свою верность самодержцу. Около фабрик, около служебных помещений, около всех мостов он поставил солдат и приказал им стрелять в бунтовщиков. Трусливый слабак и подлиза, дремучая голова, с которой он к тому же был не в ладах, министр Протопопов, как все трусы, считал, что единственное средство от любого недовольства — страх, угроза применения оружия. Он меньше кого бы то ни было в столице знал о том, что делается в городе. Он не приходил в собственное министерство, редко бывал на совещаниях министров. Он сидел в Царском Селе рядом с императрицей: служил ей в то время, когда император был в Ставке в Могилеве, был предан ей, когда все ее ненавидели. Он, министр Протопопов, и прежде оберегал ее честь. Петербуржцы отпускали в ее адрес, в адрес богопомазанной императрицы, неприличные шутки. Показывая на картину, на которой император вручал раненым солдатам Георгиевские кресты, люди насмехались:

— Царь с Георгием, а его царица — с Григорием...

Они имели в виду Григория Распутина, который считался любовником императрицы. Протопопов приказал полиции следить за народом и не допускать подобного богохульства.

Благодаря ей, императрице, он стал министром внутренних дел. Он лебезил перед Распутиным, заискивал перед придворными знахарями. Они расхваливали его императрице, и та представила Протопопова царю и предложила сделать спасителем России и монархии от всевозможных революционеров и конституционалистов. В благодарность Протопопов це-

лыми днями сидел у своей покровительницы, говорил с нею о святых, о колдунах и чудесах, возил ее на могилу убиенного батюшки Распутина. О стране, о петроградцах он ничего не знал и не хотел знать. Когда женщины вышли на улицы требовать хлеба, когда мужчины бросили работу на фабриках и стали протестовать, министр вызвал войска и приказал обстрелять бунтовщиков.

Но рабочих не остановили солдатские патрули. Народ заполнил все улицы и площади, прежде всего Невский проспект. Протопопов поставил охрану у мостов, чтобы не пустить рабочих с Выборгской стороны в город. Но люди перешли замерзшую Неву по льду. Они собирались тысячами, разговаривали, требовали хлеба и свободы. То здесь, то там над группкой собравшихся взвивалось красное знамя, какой-нибудь оратор влезал на плечи соседей и произносил речь. У памятника Александру III тоже полыхало красное знамя и люди во весь голос кричали:

— Да здравствует республика! Долой самодержавие!

Конные офицеры с обнаженными саблями в руках науськивали своих солдат на толпу.

— Разойтись, или мы дадим приказ открыть огонь! — кричали они. Но люди не расходились.

— Наизготовку! — приказали офицеры солдатам.

Солдаты вскинули винтовки.

Люди не тронулись с места.

— Ну, стреляйте по матерям, которые хотят хлеба для своих детей! — кричали женщины, надвигаясь грудью на штыки.

— Ну, пролейте кровь женщин, чьих мужей и сыновей забрали на войну и чьи дети голодают!

Офицеры боялись, что солдаты не устоят перед такими речами, и приказали стрелять.

— Огонь! — рявкнули они.

Но солдаты не выстрелили, а опустили винтовки к ноге.

— Ура! — приветствовал их народ и стал бросать в воздух шапки.

— Да здравствуют товарищи солдаты! — кричали женщины и кидались целовать этих мужчин в серых шинелях.

Из всех ворот, домов, фабрик, мастерских, изо всех дыр и углов начали стекаться люди, старики и дети, мужчины и женщины. Их потоки напоминали реку, выходящую из берегов. Словно сговорившись, все шли к Таврическому дворцу, к Думе. Депутаты прибывали сюда отовсюду, в каретах и пешком, в автомобилях и фиакрах. Вместе с депутатами во дворец, в распахнутые двери и ворота врывались толпы людей.

Студенты, рабочие, женщины шли к казармам, в размещенный в городе Литовский полк.

— Товарищи солдаты! — кричали они в окна казарм и махали зажатými в руках шапками. — Идите к нам!

Кое-где офицеры закрыли ворота, заперли солдат и поставили у дверей часовых с приказом никого не выпускать. Однако в других казармах офицеры не вмешивались, а только молча наблюдали за происходящим. Солдаты выходили к рабочим, приветствовали их. После этого они шли к закрытым казармам и взламывали ворота. По призыву собратьев снаружи запертые солдаты поднимались, оттесняли от дверей часовых и вырывались на свободу. Рабочие, женщины, солдаты затопили город.

— Бей фараонов! — кричали люди, разгоня полицейских, стоявших на углах улиц.

Полицейские разбежались, сгнули, в один миг исчезли из столицы. Министр внутренних дел Протопопов сидел в Царском Селе, рядом с царицей, растерянный и напуганный. Был бы жив святой батюшка Распутин, они бы спросили у него, что делать, и во всем последовали бы его советам. Однако Распутина не было. Враги Отечества убили его. Не осталось никого и ничего, кроме страха. От страха хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть происходящего, заткнуть уши, чтобы не слышать дурных вестей.

В Могилев, в Ставку царя, отправлялись пространные депеши, мчались наперегонки по телеграфным проводам,

прогибавшимся под тяжестью снега и льда. Из Думы шли длинные телеграммы с тревожными известиями, депутаты просили самодержца учредить новое, подконтрольное Думе министерство. Из Царского Села приходили послания от супруги государя, полные цитат из священных книг, слов любви и царственного величия.

«Будь жестким и неуступчивым, Ники, потому что ты помазанник Божий, — наставляла своего супруга царица по телеграфному проводу. — Я с тобой, я твой ангел, твоя любящая женушка, которая просит Бога за тебя, которая молится у могилы нашего избавителя и спасителя Григория; покажи народу свою власть, свою железную руку, пошли верные тебе войска против бунтовщиков».

Царь, одетый, как подобает правителю во время войны, в казачью шинель и папаху, растерянно слонялся по своей Главной ставке, как всегда, когда надлежало принять решение, а у него под рукой не было надежных советников. Он не умел думать. Его голова под большой казачьей папачой не могла сосредоточиться. Ничто так не угнетало его, как необходимость размышлять. Он хотел покоя. Находясь в Ставке, он вел очень уютную жизнь, куда более спокойную, чем в мирное время в столице. Здесь не было министров, совещаний. Каждый день он прогуливался со своими флигель-адъютантами, ел с ними за одним столом, разговаривал о погоде; затем он раскладывал пасьянс, играл в домино, читал газету, просматривал корреспонденцию, выслушивал краткие отчеты о положении на фронтах, читал французские романы, делал записи в дневнике, посылал телеграфные приветы жене в Царское Село и молился.

События в дневник заносились им кратко, календарно. Он описывал погоду, отмечал, сколько времени он играл в домино, какую еду ему подавали. Иногда попадались новости с охоты, когда ему случалось подстрелить в лесу зайца или дикую утку. Телеграммы жене были не такие куцые и сухие.

«Женушка моя, — телеграфировал он вечерами, — ангел, голубка, горячо целую тебя бесконечное число раз, крепко обнимаю и молю Бога за тебя. Твой Ники».

Думать было незачем. Генералы в штабах все делали сами и не докучали ему, царю.

Но вдруг его покой в Главной ставке оказался нарушен. В столице было тревожно. Со всех сторон поступали депеши, телеграммы с подчеркнутыми в знак особой важности словами. Политики просили царя как можно скорее пойти на уступки, иначе будет поздно. Жена призывала его быть сильным и стоять на своем, не слушать речей врагов. Надо было сделать шаг, принять решение, задуматься. Но этого русский царь не умел. Мысли бежали от него. Если бы был жив Распутин, он бы вызвал его к себе или спросил его совета телеграммой. При жизни батюшка Распутин не раз давал советы государю. Даже когда он, царь, был далеко, в Главной ставке, этот божий человек не оставлял его. «Не забывай про икону, которую я дал тебе, возьми ее в правую руку и качни семь раз, прежде чем пойдешь на совещание в штаб», — телеграфировал он в Главную ставку. В другой раз, отправляя государю новую икону, батюшка Распутин указывал в телеграмме, что царь обязательно должен причесать волосы изображенного на ней святого гребешком, прежде чем примет решение. Помимо этого он часто посылал царю благословения, благословения и указания, которые тот принимал и которым следовал.

Теперь советчика не было, и император не знал, что делать. Его флигель-адъютанты были так же нерешительны, как он сам. Они только угождали ему и соглашались с ним во всем. Кроме военных церемоний и угощений они ни в чем не разбирались. Генералы были ему чужие. Он не знал, кто из них враг, а кто друг. Некоторое время он ничего не предпринимал. Поскольку он ни до чего не мог додуматься, он пустил дела на самотек. Как всегда, он раскладывал пасьянсы, играл в домино, делал записи о погоде в своем дневнике и трапез-

ничал с флигель-адъютантами. Когда его совсем завалили срочными телеграммами, он внял совету жены, как всякий подкаблучник, уверенный в мудрости своей супруги.

Он видел, что наступило время доказать жене, что он человек с характером. Она постоянно поучала его, попрекала слабостью, говорила, что он не такой, как его предшественники — Петр Великий и Иван Грозный, что народ не чувствует над собой его сильной, стальной руки. Теперь он ей покажет. Нет, он не пойдет на уступки, как ему советуют недоброжелатели. Он применит силу, он истребит врагов и бунтовщиков. Он будет железным царем, помазанником Божьим, негибаемым, как его предки, могучие правители. В прах и пепел превратит он своих противников!

И он послал за генералом Ивановым. Это был худший выбор, который мог сделать царь, но такова была природа государя — он всегда выбирал самого неспособного человека для выполнения самого важного задания. Царь приказал генералу Иванову выступить в столицу, чтобы штыками и пулями усмирить взбунтовавшихся подданных. А сам со своей свитой немедленно отправился на императорском поезде в Царское Село, чтобы в казачьем мундире и папахе победоносно въехать в столицу, как только генерал покорит город.

Однако на станции Лихославль железнодорожные служащие получили депешу из столицы, подписанную комендантом вокзала сотником Грековым, с указанием не пускать императорский поезд в Царское Село, а отправить в Петроград, в его, коменданта Грекова, распоряжение.

Когда царь услышал, что какой-то сотник Греков издает против него, императора всея Руси, приказы, распоряжается, куда ему ехать, — у него в мозгу стало совсем пусто. Из головы под казачьей папашой выдуло последние обрывки мыслей. Имя сотника Грекова его словно колом по темени ударило. Царь так разволновался, что даже успокоился. Свита стояла бледная вокруг своего неподвижного монарха. Кто-то упомянул Псков, город, в который можно было поехать. Государь

кивнул в знак согласия. Куда угодно, лишь бы не к коменданту вокзала, этому наглому сотнику Грекову. Он послал в Царское Село телеграмму ожидавшей его жене.

«Погода сухая и морозная, — телеграфировал он. — Тоскую по тебе, обнимаю тебя, горячо целую тебя и молю за тебя Бога. Ники».

Напрасно царь ждал в своем императорском поезде послания от жены, рапортов от министра Протопопова. Над столицей, над всеми правительственными зданиями, службами и казармами развевались красные флаги. Солдаты срывали эполеты с офицерских мундиров. Министр внутренних дел Протопопов, человек путаных мыслей, которому царь доверил свою семью, свою столицу и свою страну, сидел вместе с остальными царскими министрами в Петропавловской крепости, под охраной солдат, приставленных к ним Временным правительством.

## Глава седьмая

**Н**е потрясение, а радость испытал арестант Нисан Эйбешиц из Лодзи, когда в коридоре петроградских Крестов вдруг раздался шум. Скрипели ключи, открывавшие двери камер, и звенели голоса:

— Товарищи политические, выходите из камер. Революция освобождает вас!

Он, Нисан Эйбешиц, ждал этого призыва каждый день, каждый час, каждое мгновение своей жизни. Он верил в то, что эти слова прозвучат, что он обязательно их услышит. Так же как его отец-меламед всегда был готов к Избавлению, к звуку рога, возвещающего приход Мессии, Нисан был готов к революции, к падению старого капиталистического строя и установлению нового, социалистического. Точной даты он не

знал. Конечно, сам он мог и не дожить до такого события, но в том, что оно случится, он не сомневался ни секунды. Оно должно было случиться согласно железным законам марксизма.

Еще больше его уверенность усилилась с началом военных действий. Он страдал от войны: он видел несчастья, смерть и разруху, которые она приносит, наблюдал дикий национализм и патриотизм, которым она заражает массы, и ему становилось больно. Однако, с другой стороны, он сознавал, что буржуазия разлагается, что старый мир стоит у края могилы.

На тайной партийной конференции в столице, прошедшей в первый год войны, он поставил уверенный диагноз больному капиталистическому обществу: в своем стремлении к захвату рынков, в своей жажде наживы воюющие страны неизбежно бросятся в пламя войны и вооружат пролетариат, который затем обернет оружие против угнетателей. Делегаты окатили Нисана холодной водой скептицизма, считая, что он выдает желаемое за действительное, делит шкуру неубитого медведя. Они не верили, что одна-единственная война приведет к падению буржуазии. Но Нисан остался тверд в своих убеждениях. Он видел, что эта война, вовлекающая все новые и новые страны, отражает внутреннее противоречие разлагающегося класса. Он смотрел на буржуазию как на старое тело, к которому цепляются все болячки сразу, мешая излечению друг друга, и которое поэтому должно распасться, раздираемое внутренними недугами и бедами. Нисан предложил обсудить тактику быстро приближающейся революции, словно она, революция, уже стояла на пороге. Товарищи выступили против, они обвиняли Нисана в том, что он говорит о несвоевременных, неуместных вещах. Они призывали заняться более актуальными вопросами, однако Нисан стоял на своем.

Тайная конференция провалилась. Посреди совещания полиция окружила дом, ворвалась в конспиративную квартиру и арестовала делегатов.



— Вот тебе твоя революция, — сказал Нисану один из пессимистично настроенных товарищей, когда их обоих везли в Кресты.

— Пустяки, — отмахнулся Нисан. — Увидишь, что я прав.

Сидя в тюрьме, Нисан не переставал верить, что двери камер вот-вот распахнутся и узников освободят именем революции. Он внушал это заключенным, то и дело говорил о скором освобождении, вызывая насмешки окружающих. Каждый раз, когда у камер раздавался какой-нибудь скрип, заключенные будили Нисана.

— Товарищ, грядет революция и свобода, — шутили они.

Когда однажды в конце февраля двери и вправду распахнулись и раздался призыв выходить, арестанты остолбенели. Они не верили собственным ушам. Один Нисан не удивился. Он быстро оделся и пошел забрать те немногие свои вещи, которые остались в тюремном цеху, и те несколько своих рублей, которые лежали в тюремной канцелярии.

— Товарищ Эйбещиц, простите нас! — извинялись перед ним товарищи по заключению. — Вы оказались дальновидны.

— Давайте поцелуемся, товарищи! — сказал сияющий Нисан и расцеловал всех, даже солдат, стоявших возле камер с оружием в руках.

Он не был потрясен, но испытал радость, беспредельную радость от того, что неизбежное пришло так быстро и он дождался его прихода.

Преисполненный этой радости, он вскарабкался на большой грузовик вместе со своими освобожденными друзьями и поехал по петербургским улицам, кишашим рабочими и солдатами.

— Ура! Да здравствуют товарищи политические заключенные! — приветствовали их люди на улицах.

— Да здравствует революция! — кричали освобожденные, стоя в кузовах грузовиков.

У Нисана, как у мальчишки, впервые попавшего в большой город, разбегались глаза. Праздник был разлит по улицам, по стенам домов, отражался в лицах военных и гражданских. Все искрилось радостью и счастьем. Своими черными глазами Нисан смотрел на Таврический дворец, густо облепленный рабочими, студентами и солдатами.

— Да здравствуют товарищи революционеры! — приветствовала толпа проезжающие машины с бывшими узниками.

— Да здравствуют освобожденные массы освобожденной страны! — кричал Нисан и махал шапкой.

Какая-то женщина бросилась целовать арестантов. Она плакала от счастья. В ответ Нисан горячими губами целовал эту женщину, которую прежде никогда не видел. Все казалось ему добрым, светлым и красивым в эти праздничные часы: люди, здания, даже попрошайки на улицах. Красавцем предстал перед ним и толстый широкоплечий незнакомец, у которого была борода лопатой и который вышел из Думы приветствовать басовитым поповским голосом получивших свободу заключенных. В его внешности не было ничего революционного. И его аккуратная борода, и его низкий голос больше подходили митрополиту, чем революционеру, представителю освобожденных пролетариев, за которого он себя выдавал. Однако Нисану этот человек показался чудесным. Радость целиком захватила его. Он ощущал теплоту и подъем. Он всех любил, всех хотел обнять, поцеловать, всем пожать руки. С тех пор эта радость не оставляла его, она вошла в его кровь.

Нисан с головой погрузился в дела освобожденного города, он был на ногах с утра до поздней ночи — говорил, действовал, работал.

Город, который должен был руководить всей страной, более чем полутора сотнями миллионов людей, сам пребывал во власти смуты, хаоса и произвола. Фабрики бастовали, трамваи не ходили, полиция разбежалась, правительство развалилось. Солдаты не знали, чьи приказы выполнять, что

делать. В Думе, где заседали депутаты, партийные вожди, царил беспорядок. Кто хотел, входил и выходил, кто хотел, отдавал приказы и распоряжения. Временный комитет состоял из представителей различных лагерей и партий — от монархистов, стремившихся оставить у власти царя и ограничиться созданием ответственного перед Думой правительства, до прогрессистов и революционеров. Непрерывно произносились речи, разгорались дискуссии, полемика. Со всех сторон солдаты приводили напуганных и избитых жандармов, полицейских, высокопоставленных чиновников. Их держали под стражей, но некому было их допросить, решить их судьбу. Полки солдат приходили в Думу, ждали приказов. Над ними больше не было офицеров, их разогнали, сорвав с них эполеты. Солдатам нужны были новые командиры, которым они могли бы подчиняться, но командиров не было, и они шли в Думу, чтобы получить какой-нибудь приказ. Толстый хозяин бороды лопатой, выдвинувший в это суматошное время сам себя благодаря своему величественному лицу и басовитому голосу, то и дело выходил приветствовать прибывающие полки. Он желал им счастья в связи с победой революции. Солдаты троекратно кричали «ура!», но что делать дальше, не знали.

Также не знали, что делать, вооруженные часовые на вокзалах, на мостах, на почте, на телеграфе и в других важных пунктах. Прибывали воинские части, но как понять, за революцию они или же против нее, борются штыком и пулей за народ или за царя, который пока еще не был схвачен? От любой мелочи, при любом выстреле караулы разбежались, оставляя свои посты. Они не знали, кто враг, а кто друг. Даже собравшиеся в Думе были растеряны, передавали всякие слухи и домыслы. Говорили о верных царю вооруженных частях, которые надвигаются на столицу, чтобы расстрелять бунтовщиков. Посреди заседаний люди вдруг в панике бросались к дверям.

В переполненных залах и комнатах Думы шли совещания. Люди просиживали ночи, чтобы создать хоть какое-то пра-

вительство, установить хоть какой-то порядок в разворошенной стране. Но они не могли между собой договориться. Всевозможные идеи и направления, мировоззрения и верования схлестнулись в этом тесном дворце, где сошлись теперь представители партий всех мастей — монархисты и кадеты, прогрессисты и социалисты, большевики и социал-демократы. Стан революционеров в свою очередь делился на правых и левых, умеренных и центристов. Кто-то ратовал за монархию, но с блюстителем престола вместо царя, кто-то хотел, чтобы царскую семью посадили в тюрьму, а власть передали рабочим и крестьянам. Кто-то требовал, чтобы немедленно разделили землю и прекратили войну, а кто-то считал, что войну надо вести до окончательной победы и только потом вводить для победившего народа социализм. Кто-то мечтал о республике, кто-то — о диктатуре рабочих и крестьян. Кто-то вывел из марксистских книг, что можно сидеть с буржуа в одном правительстве и совместными силами добиваться установления порядка, который дал бы возможность пролетариям создать новый справедливый строй, а кто-то на основании той же марксистской теории утверждал, что революционеры ни за что не должны садиться за один стол с классовыми врагами, потому что это измена трудящимся массам.

В боковых комнатах революционеры пытались создать совет рабочих и солдат, который был бы начеку и следил за тем, чтобы формирующееся Временное правительство не пошло по пути контрреволюции. К тому же рабочим надлежало выбрать своих представителей на фабриках, а солдатам — в казармах. Однако городские фабрики были закрыты, а солдаты высыпали на улицы; трудно было собрать всех вместе для проведения выборов. Кто хотел, тот и выдавал себя за делегата.

Посреди всех совещаний и говорильни в залы и комнаты дворца врывались мужчины и женщины, размахивая руками.

— Вы только и делаете, что чешете языком, — кричали они, — а рабочие тем временем мрут в этом городе от голо-

да! Добудьте нам хлеба! Откройте продуктовые склады! Мы голодаем!

Столица была брошена на произвол судьбы, открыта для всякого врага, страдала от нехватки продуктов, пребывала в смятении и растерянности. Надо было действовать, организовывать, добывать хлеб, наводить порядок. И Нисан отдал себя этому неприкаянному городу целиком.

Он входил в состав комиссий, формировал советы, налаживал поставки хлеба населению, горячился во время теоретических дискуссий об истоках марксизма, вел переговоры с генералами и адмиралами о передаче власти представителям нового социального порядка. Он приезжал на армейских грузовиках в казармы, призывал направлять депутатов в солдатский совет, бегал по фабрикам, организуя выборы рабочих делегатов. После целого дня беготни, разговоров, споров до хрипоты он вспоминал, что совсем ничего не ел, даже стакана чаю не выпил, и перехватывал кусок сухого хлеба, добывал чая где только мог и подкреплял свои силы. Из тех нескольких рублей, что причитались ему в тюремной канцелярии, он почти ничего не получил. Деньги исчезли вместе с начальником тюрьмы. Нисан не на шутку голодал в этом освобожденном городе. У него не было не только денег, но и крыши над головой. Он ночевал где попало. Проводя дни в просторных дворцах, ночью он несколько часов спал в какой-нибудь тесной каморке на узкой койке, а то и на сдвинутых вместе скамьях. Однако проснувшись в нем радость не исчезала. Она ни на мгновение не покидала его нутра. Каждый раз, когда он смотрел вокруг и видел революционные знамена, солдат с красными лоскутками на штыхах, заполненные народом улицы, памятники императорам, у которых стояли и выступали рабочие и солдаты, его снова и снова охватывала необоримая радость и вся его кровь вскипала от прилива счастья.

— Она пришла, — бормотал он себе под нос. — Я дожил до нее.

## Глава восьмая

**Н**овая Лодзь в Петрограде открылась опять. Вместо прежних двух смен по двенадцать рабочих часов теперь работали в три смены по восемь часов. Раньше за работу в ночные часы платили не намного больше, чем за дневной труд, теперь ночная смена оплачивалась вдвойне. Кроме того, возникшие в городе профессиональные союзы требовали высоких зарплат для рабочих, причем женские руки оценивались не ниже мужских. Работа шла слабо, за станками больше дискутировали, чем работали. К тому же чуть ли не каждый день случался новый праздник, устраивались парады, на которые фабрику обязывали посылать людей, но высчитывать с рабочих за простои, за попусту потраченное время было нельзя. Наконец, на фабрику зачастили делегаты и ораторы, представители разных партий — меньшевики и большевики, эсеры всех оттенков, правые и левые. Они отвлекали рабочих от станков и от котлов, выступали перед ними с длинными речами, за которые те вознаграждали их неизменно бурными аплодисментами, хотя каждый из ораторов проповедовал свое.

Макс Ашкенази не привык к такой работе. Он не уважал подобные порядки. Однако он молчал.

Поначалу, когда его фабрика встала, а рабочие тысячами вышли на улицы, он не слишком верил в грядущую революцию. Он хорошо помнил все эти штучки по пятому году в Лодзи, когда рабочие маршировали по городу и требовали свободы и братства. Многие из лодзинских фабрикантов тогда испугались. Они думали, что наступает революция, и преждевременно бежали за границу. Макс Ашкенази осудил их трусость. Он знал, что сапожник рано или поздно вернется к дратве, ткач — к станку, кухарка — на кухню, а фабрикант — к своим делам. Так и случилось. Мир снова стал миром. Тот,

кто был нищим, остался нищим, а кто был при деньгах, снова начал делать деньги, получая еще большие, чем до бунтов, прибыли. Макс Ашкенази родился в Лодзи, он с детства знал рабочих, знал, что они то и дело бастуют, шумят, кричат, а потом возвращаются к работе, склонив головы. Так уж заведено, и это правильно. Каждому свое, на свете должны быть богатые и бедные, господа и слуги, счастливые и несчастные. На этом мир стоит и стоять будет. Кто может, улучшает свою жизнь. И каждый на своем месте. Сапожник — к дратве, а раввин — к креслу в раввинском суде. Как же может быть иначе?

Поэтому он не особенно встревожился, когда рабочие его фабрики бросили работу и вышли на улицы.

— Ерунда, временное помешательство, — сказал он своим лодзинцам, когда те сообщили ему, что дела прежней власти плохи.

За свою жизнь он привык к тому, что рабочие бунтуют, что студенты подстрекают народ, бросают время от времени бомбу в какого-нибудь правителя, но и только. Едва на сцену выходят войска и дают борцам за справедливость понюхать пороху, как те разбегаются, словно мыши, и снова становится тихо, и все идет так, как должно. Русских рабочих Макс Ашкенази уважал еще меньше, чем лодзинских. Он видел их на своей фабрике, слышал их разговоры и не ставил их ни в грош.

— Кацапы, Фоня-квас! — отзывался он о них с презрением. — Было бы о ком говорить!..

Он ездил по улицам в своей карете, наблюдал царящую в городе суматоху, драки между рабочими, женщинами и полицейскими и мало по поводу них волновался. Пусть только появятся солдаты, казачки с пиками, и ни единого бунтовщика не останется. Они бросятся врассыпную и вернутся на фабрики.

Когда казачки с пиками отказались стрелять в народ, Макс Ашкенази был разочарован. В первый раз он видел, что-

бы солдаты не выполнили приказа своих начальников. Однако он и тут не утратил веры во власть. Он думал, что произошедшее — случайность, ждал, что вот-вот придут другие солдаты и арестуют этих солдат. Ничего страшного, солдат в России больше чем достаточно. Когда же целые полки принялись украшать себя красными ленточками и срывать с плеч офицеров эполеты, а иной раз и головы, уверенность Макса Ашкенази была наконец поколеблена, и он начал смотреть на уличные толпы со страхом.

— Непостижимо, — бормотал он. — Это что-то!

С каждым днем события разочаровывали его все больше. Арестовывали министров, и простые солдаты вели их под конвоем, словно уличных хулиганов или карманных воров. Макс Ашкенази не верил собственным глазам. Министров! Самых важных людей в государстве! Арестом императорского поезда и вынужденным отречением императора Макс Ашкенази был окончательно пришиблен. Это была не жалость и не любовь к российскому самодержцу. Ашкенази никогда его в глаза не видел и мало что знал о нем. Он только читал в газетах, что император покровительствовал погромщикам, а однажды в каком-то городе даже не взглянул на евреев, которые вынесли ему навстречу свиток Торы, и предпочел подойти к попам. Так что поводов для особой любви к императору у Макса Ашкенази не было. Он вообще о нем не думал. Однако он знал, что царь — главный человек в стране, самый могущественный, самый сильный. Выше и сильнее его никого нет. Он верил в это так же твердо, как в золото, в блестящие желтые кружочки с профилем самодержца. Поэтому то, что так быстро случилось в эти тревожные дни, не укладывалось у Макса Ашкенази в голове.

— Я отказываюсь это понимать, — говорил он своим лодзинцам. — Просто непостижимо...

Впервые на него напал страх, внутренний ужас перед тем, что пришло, охватила паника перед рабочими, которых он прежде ни во что не ставил.



Он увидел огромную силу в этих кацапах, в этих грязных Фонях, работавших на фабриках и не умевших толком расписаться, силу, перед которой надо дрожать, от которой надо спасаться, чтобы она не уничтожила, не раздавила. Если они смогли сбросить царя, всемогущего владыку; если они одолели власть, имевшую в своем распоряжении тонны оружия и тысячи солдат, полицейских и жандармов, — то что для них какой-то фабрикант и купец?

Надломленный, подавленный, Макс Ашкенази открыл фабрику несколько недель спустя после начала революции. Он не знал, как теперь разговаривать с рабочими, как давать им распоряжения. Он ходил на цыпочках, сидел в своем кабинете на половинке стула. Говоря с людьми собственной фабрики, он тщательно подбирал слова, словно просеивал речь через шелковый платок. Еще до того, как делегаты выдвигали требования, он принимал их условия. Из своего кабинета он прислушивался ко всем спорам и обсуждениям, которые устраивали рабочие. Он хотел понять, уловить в этом гигантском потоке слов, извлечь из всей этой путаницы то, что было непостижимо для его разума.

Еще внимательнее он слушал ораторов, приходивших на фабрику и произносивших речи перед рабочими. Они были разные, эти ораторы, разнились и их мнения. Одни считали, что сначала нужно победить в войне, а уж потом строить социализм, а другие кричали, что войну надо прекратить немедленно и раздать землю и фабрики народу. Каждый оратор говорил пылко, убежденно, доказывая собственную правоту и ошибочность идей оппонентов. Рабочие принимали всех одинаково тепло и выражали свой восторг бурными овациями. Они соглашались со всеми выступающими.

Макс Ашкенази в эти дела не вмешивался и ни с кем на фабрике их не обсуждал. Он понял, что в такое время лучше всего молчать — смотреть, слушать и держать язык за зубами. Но мысленно он сразу же встал на сторону тех, кто уме-

рен, сдержан, и особенно тех, кто хочет, чтобы война велась до победного конца.

Макс Ашкенази не был патриотом-милитаристом. Он не любил войн, винтовку видеть не мог. Он взял на свою фабрику в Петербурге не одного и не двух почти бесполезных для дела парней, чтобы спасти их от фронта. Однако он смотрел на войну с практической точки зрения. Он проворачивал очень удачные сделки, производя военные товары. Война была ему нужна, просто необходима. Он едва сдерживался, чтобы не аплодировать, когда ораторы призывали воевать до победы. При всей своей антипатии к войне, при всем отвращении к дракам и крови, он был прежде всего деловым человеком, фабрикантом, задача которого — производить как можно больше, торопиться выполнить заказ, работать днем и ночью. Макс Ашкенази никогда не слышал перестрелок, одни разговоры. Война для него была просто словом, так же как весна, например, была сезоном продажи летних товаров, осень — зимних, засуха — плохим в коммерческом отношении временем, а сбор урожая — хорошим. И это слово обозначало пору блестящих сделок, пору упорной работы и увеличения заработков. Поэтому он не мог слышать ораторов, выступавших против войны, и наслаждался выступлениями тех, кто призывал к ее продолжению. Они правы, думал про себя Ашкенази. Если русские бросят оружие, все возьмут немцы, а от них радостей ждать нечего. Они вывезут весь хлеб, и нельзя будет вести дела.

Прожив пару недель в растерянности, Макс Ашкенази успокоился. Он смирился с новым порядком, принял его, привык к нему, как привыкал ко всякому факту, приспособившись к любому обстоятельству. Как человек с жизненным опытом, он знал, что все преходяще, что бури стихают, пена оседает и после праздника всегда наступают будни, дни работы и строительства. Иначе не бывает. Люди наговорятся, наспорятся, устанут чесать языком, кричать «Да здравствует!» и ходить на демонстрации с красными знаменами. И тог-

да они возвратятся туда, где им положено быть. Каждый на свое место.

Он сознавал, что прежний порядок остался в прошлом. Что так много, как раньше, люди больше работать не будут, что придется постоянно иметь дело с профсоюзами, давать рабочим отпуска, платить им за дни болезни, за травмы, полученные на работе, и разные другие вещи. Теперь на собственной фабрике нельзя будет даже слова сказать. Предстоит все время играть в молчанку. Однако тут уж ничего не поделаешь. Пиши пропало. Против этого не поспоришь. Макс Ашкенази даже не обижался на бунтовщиков. Если они смогли повернуть такое, они стоящие люди. Каждый старается для себя, и кто побеждает, тот и на коне. Он не злился на рабочих, не имел к ним претензий. Они ведь всегда были для него только цифрами, частью купеческих расчетов. Эти расчеты показывали, что, когда фабрика производит много товаров за низкую плату, это хорошо для дела, и плохо, когда наоборот. У Макса Ашкенази дела всегда шли хорошо. Теперь его расчетные цифры восстали. Они хозяева, и они требуют своего. Нет смысла иметь к ним претензии. Он на их месте, не дай Бог, вел бы себя не лучше.

Во всей этой революции его интересовало только одно: каким образом теперь, при новом положении вещей, он может работать и делать деньги. Он знал, что при любой победе рабочих мир все равно пойдет по старому пути: сапожник — к дратве, а раввин — к креслу в раввинском суде. Революция сегодня, революция завтра, но инженер будет заниматься инженерией, а химик — составлять краски. Чертежник будет чертить, механик — следить за машинами, купец — вести дела, истопник в котельной — сидеть с ног до головы в саже. А он, Макс Ашкенази, будет управлять фабрикой, как он делал это до сих пор. Мир останется прежним. Как уж повелось на этом свете, так пойдет и дальше. Он хотел знать только одно: как делать деньги при новом режиме. Он смотрел на революцию с чисто практической точки зрения, как смотрел

в этом мире на все — на времена года, на засуху и урожай, на пожары, эпидемии и войны. Он — деловой человек, купец, и точка зрения у него одна — деловая.

В революционной суете и суматохе, среди всевозможных речей и дискуссий, Макс Ашкенази работал не так интенсивно, как прежде, но все же работал. Он сбывал немало товара. Как и раньше, он ездил в банки, к купцам и чиновникам, вел дела с новыми людьми из интендантств, поставлял военные товары и получал деньги. Он устанавливал цену, компенсировал убытки, нанесенные ему революцией, всеми этими отпускными выплатами, сокращением рабочих часов, речами, демонстрациями, парадами и прочим разбазариванием времени. Цены росли на все. Новые люди давали заработать и зарабатывали сами. Они не требовали взяток, как прежние, не торговались. Они жили и давали жить другим. Макс Ашкенази изменился только внешне. Он больше не разъезжал в карете, а предпочитал нанимать фиакр или идти пешком. Кроме того, он снял соболиную шубу и облачился в старый тулупчик, поношенный и тесноватый. Он не хотел бросаться в глаза на улицах, кишаших рабочими, солдатами и матросами. Заработок он вкладывал в ценные вещи, золото, бриллианты, которые ценятся всегда. Он избавлялся от бумажных денег, которые по-прежнему греб лопатой.

В один прекрасный день выступать с речью перед рабочими фабрики Макса Ашкенази явился его старый знакомец. Хотя этот бедно одетый человек в рабочей кепке был уже в годах и в его растрепанной еврейской бородке и похожих на пейсы бакенбардах появилась седина, Ашкенази сразу же узнал своего товарища по хедеру, сына меламеда реб Носке Нисана, с которым ему не раз приходилось иметь дело там, в Лодзи. На мгновение от этого визита у него защемило сердце. Он боялся быть узнанным этим человеком, который был сейчас на коне. Кто знает, не захочет ли он теперь расчитаться с ним за все свои прошлые обиды? Еще чего доб-

рого арестует его как врага трудящихся. Все что угодно может случиться. Однако Нисан не требовал мести. Не было в его речи, в отличие от речей других ораторов, и серьезных угроз в адрес буржуазии. Он только призывал к пролетарскому единству, к защите революции, даже к временному сотрудничеству с прогрессистами, пока не будет наведен порядок и не начнется строительство социализма. И Макс Ашкенази успокоился. От страха в его сердце не осталось и следа.

Как опытный политик, он даже счел нужным первым подойти к своему земляку и протянуть ему руку.

— Шолом-алейхем, Нисан, — сказал он не по-немецки, а на простом лодзинском еврейском. — Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится. Вы меня узнаете?

— О, узнаю, как страшный сон! — с улыбкой ответил ему Нисан.

Какое-то время они глядели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец Макс Ашкенази нарушил молчание.

— Вы были правы, вы, а не я, — сказал он, разводя руками. — Как говорят мудрецы: «Кто мудр? Тот, кто видит то, что еще не произошло»<sup>1</sup>. Вы нас победили!

— Нам придется воевать и дальше, господин Ашкенази, — ответил ему Нисан по-русски, чтобы рабочие его поняли. — Работайте пока, концентрируйте капитал, развивайте фабрику. Она скоро нам потребуется...

Макс Ашкенази повесил нос. Он снова ощутил страх перед этим человеком в рабочей кепке, с которым он когда-то сталкивался в Лодзи.

— Если нам и доводилось спорить, — растерянно пробормотал он, — то это не со зла, а по вине обстоятельств. Ведь мы, фабриканты, не всегда вольны делать то, что мы хотели бы сделать как люди, а не как дельцы. Мы рабы дела, обстоятельств... Мы с вами оба поумнели, набрались за прошедшее время опыта... Надеюсь, вы не держите на меня зла...

<sup>1</sup> Вавилонский Талмуд, трактат Тамид, 32:1.

— Вы вели себя так, как положено представителю вашего класса, — сказал Нисан. — Личные дела меня не интересуют... Как ваш классовый враг я буду вести себя не хуже, чем вы, господин Ашкенази. Дайте только усидеть в седле, привлечь народ на нашу сторону, и мы возьмем свое. Фабрики перейдут к народу, к подлинным их строителям.

Он указал на окружавших его рабочих, которые толпились рядом, прислушиваясь к словесной дуэли между буржуазией и пролетариатом.

— Рабочим тоже потребуется хороший управляющий, — с улыбкой ответил Макс Ашкенази. — Сами собой дела не пойдут...

Нисан запахнул свое дешевенькое пальто и уехал на грузовике выступать на других фабриках.

## Глава девятая

**В** Лодзи, в доме директора фабрики Флидербойма Якуба Ашкенази, было печально и тоскливо. Фабрика стояла с тех пор, как немцы вошли в город. Как и со всех остальных предприятий, комендант Лодзи, барон фон Хейдель-Хайделау забрал с фабрики Флидербойма все что можно и отослал в Германию. Немцы вывезли трансмиссии, котлы, части машин, и фабрика оказалась парализованной. Однако особенно тщательно барон фон Хейдель-Хайделау опустошал фабричные склады. Германская служба военного сырья, которую евреи сразу же окрестили «службой грабежа сырья», день за днем очищала склады, вывозя вагонами не только сырье, но и готовые товары. Вывозимую продукцию немецкие чиновники оценивали издевательски дешево, но и по этой издевательской расценке за нее не платили, а выдавали расписки, которые предлагалось обналичить после войны. Таких расписок в

стране было море. Фабриканты и купцы держали их в пустых железных кассах. Еврейские лавочники, из лавок которых вынесли последнее, сняв даже задвижки с дверей, прятали эти немецкие распiski в книги Пасхальной агоды<sup>1</sup>, в сборники покаянных молитв<sup>2</sup>; крестьяне в деревнях, у которых конфисковали лошадей и коров, засовывали их за настенные иконы. Однако за эти распiski нельзя было получить ни гроша. Они, немцы, не платили. Они все откладывали на после войны. На то время, когда они окончательно разобьют вшивых русских, французских сифилитиков и Богом проклятых англичан. Вместо денег они одаривали население бумажками, военными маршами и пропагандистскими плакатами с красочными рисунками, изображавшими, как один немец режет десятки врагов, как от немецкого солдата бегут целые отряды противника. Чаще всего на улицах развешивали портреты кайзера и Гинденбурга<sup>3</sup>. С розовыми щечками, как у деревенской невесты под венцом, с острыми усами, торчащими вверх, как штыки, с выпяченной грудью, увешанной медалями и крестами, с рукой на рукояти сабли, они смотрели со всех старых зданий, со всех стен и заборов. У ног их лежали кривые, хромые, увенчанные помятыми коронами русский царь, английский, бельгийский и сербский короли. Другие плакаты изображали отличие Германии от враждебных ей государств. На немецкой стороне была ярко-зеленая трава, росли цветы и русоволосая пастушка гнала огромных коров с тяжелым выменем. Свиньи тоже были большие, розовые и счастливые. На вражеской стороне, во Франции, в Англии и России, поля были голые и вытопанные, коровы тощие и полудохлые, свиньи жалкие, кожа да кости. Ниже были напечатаны ура-патриотические и полные солдатского юмора стишки, которые заканчивались мольбой к Богу пока-

<sup>1</sup> Повествование, которое читают во время пасхального седера.

<sup>2</sup> *Др.-евр.* «слихот». Читаются во время Дней трепета.

<sup>3</sup> Пауль фон Гинденбург (1847–1934) — генерал-фельдмаршал, главнокомандующий немецкой армией в 1916–1917 годах.

рать Англию и просьбой к населению делать чрезвычайные взносы на ведение войны, класть свои сэкономленные деньги в немецкие сберегательные кассы, потому что только там после победы Германии над врагом можно будет получить хорошие проценты.

Барон фон Хейдель-Хайделау очищал город, очищал основательно, педантично. Улицы были полны звуков военных маршей, плакатов, гражданских похоронных процессий и дезинфекционных бань. Бани и театр — их барон фон Хейдель-Хайделау пожаловал народу, как подобает наследнику древних римлян. Особенно ревностно он очищал крупнейшие фабрики Лодзи — Макса Ашкенази и наследников Флидербойма. Он неустанно вывозил оттуда товары, оборудование и сырье, день за днем.

В доме директора Якуба Ашкенази царила печаль, в каждом углу поселилась забота.

Наследники Флидербойма знать ничего не знали. Сыновья, как всегда, были погружены в свои мистические сеансы, заняты раскладыванием пасьянсов и общением с попами. Они часто вызывали с того света умерших родителей и разговаривали с ними. Дочь Янка по-прежнему носилась со своими романами, хотя была уже немолода. Чем старше она становилась, тем более юных любовников заводила. Дети Флидербойма были далеки от дел фабрики, не разбирались в торговле, не чувствовали духа времени. Они умели только одно — требовать денег у главного директора. Сколько бы он им ни давал, им все было мало. Деньги утекали у них между пальцев.

— Денег, еще денег! — протягивали они руки к Якубу Ашкенази.

Однако Якубу Ашкенази неоткуда было взять средств. Русские банки, в которых лежали деньги фабрики, снялись с места, не выплатив ни гроша. Все ценные бумаги, облигации, от которых ломились железные кассы, не имели теперь никакой ценности. Рабочие собирались у фабрики, стояли с



шапками в руках бледные, тощие, несчастные. Сколько фабричные охранники и милиционеры ни гнали их от запертых ворот, они не уходили. Как измученные животные, которые от голода теряют всякий страх и не уходят от порога, хотя их гонят и бросают в них камни, изможденные люди не хотели уходить от неработающих фабрик. Никакие побои и никакая милиция не могли их напугать.

— Хлеба! — выкрикивали они. — Мы голодаем!

По выдаваемым немцами на месяц хлебным карточкам люди получали хлеб, которого хватало только на неделю. Да и этот хлеб был клейким и похожим на глину. Он больше раздражал аппетит, чем насыщал. Те, у кого были хоть какие-то деньги, тайком покупали в переулках хлебные карточки, настоящие или фальшивые. У бедных же и безработных не было даже этих нескольких грошей для покупки карточек. И они стояли у запертых ворот фабрик и тянули к ним тощие руки.

— Хлеба! — кричали они. — Мы больше не можем без хлеба!

Фабрикантам приходилось подбрасывать рабочим денег. Сам комендант дал фабрикантам понять, что они должны это делать. Он не хотел беспорядков в городе, не хотел рабочих кружков. Он хотел спокойствия, военных маршей и опрятных улиц, чистоту которых военные корреспонденты воспевали бы в берлинских газетах. Как и отца города, образцового коменданта барона фон Хейделя-Хайделау.

Поначалу Якуб Ашкенази не знал затруднений. Как всегда, он был не слишком практичен, не тревожился о том, что будет дальше, жил сегодняшним днем и был уверен, что все как-нибудь устроится. О завтрашнем дне пусть заботится Господь Бог. Теми деньгами, что у него были, он щедро делился с наследниками Флидербойма, тратил сам, поддерживал рабочих, жертвовал на городские благотворительные столовые.

У его молодой и красивой жены Гертруды, как и у Привы, ее бабушки, деньги утекали между пальцев. В ее руках тая-

ли состояния. Ей полагались самые шикарные платья, самые дорогие меха и драгоценности, самые элегантные кареты, самые лучшие балы, так, чтобы никто не мог ее превзойти, чтобы она царила над всеми, чтобы люди лопались от зависти! Как и ее бабушка, она постоянно протягивала свои белые пальчики за новыми суммами.

— Еще, еще, Якуб! — требовала она.

Уже в первые годы брака она показала своему мужу и дяде когти, проявила себя как настоящая, склонная к деспотизму дочь Симхи-Меера. В первые месяцы она была деспотична в своей любви. Она любила его, собственного дядю, который был больше чем вдвое старше ее, любила сильно, но в своей страсти пожирала его, как паучиха, пожирающая своего самца. Он требовала, чтобы он принадлежал ей и только ей. Она не давала ему разговаривать с людьми, не давала даже смотреть на других женщин, хлопать актрисам в театрах. Он должен был раствориться в ней, не сводить с нее глаз, отражаясь в ее лице. Она чуть ли не силой уводила его от тех, с кем он любил общаться, уволакивала от друзей и знакомых. Она ревновала его ко всем, не только к женщинам, которых он знал во множестве, но и к мужчинам, к его приятелям и коллегам. В каждом она видела соперника. Когда ее муж смеялся с кем-нибудь, выказывая свое дружелюбие, она чувствовала себя так, словно ее ограбили, отняли ее собственность. Она не выносила, когда Якуб разговаривал с кем-нибудь ласково, с любовью. Ей казалось, что ее обобрали. Она была дочерью своего отца. Она не могла удовлетвориться половиной, ей нужно было все без остатка.

Она отдалила его от общества, оторвала от друзей, не позволяла ему ходить в кафе, а только требовала, чтобы он всегда сидел рядом с ней, дарил свою любовь, восхищение и преданность ей одной.

Раба любви, способная в пылу страсти броситься к ногам мужа, целовать их в экстазе и умолять его о мужской нежности и ласке, она была в то же время настоящим тираном; ее

не волновали настроение и желания Якуба, не интересовали его склонности и чувства, привычки и привязанности; она не считалась с его силой и возрастом. Она пожирала его, выпивала из него соки, порабощала его.

С той же решительностью, с какой она прежде добивалась Якуба, она потом отбросила его, отшвырнула, как надкушенный плод, как ненужную вещь. Она ни на чем подолгу не задерживалась. Она быстро увлекалась и быстро остывала. Она вечно искала чего-то нового, ей нужно было двигаться, мчаться, бурлить, не стоять на месте. После первых месяцев яростного любовного пыла Гертрудой овладели другие желания, ей захотелось блистать, править бал, превзойти всех в роскоши. Якуб не был скуп. Он и сам сорил деньгами, больше отдавал, чем считал. Но Гертруда была поистине необузданна в своем расточительстве. Она обставляла свой дом со страстью, покрыла стены дорогими шелками, покупала роскошные ковры, мебель, бронзовые статуэтки, картины, стеклянную посуду. Она не захотела поселиться в доме при фабрике, построенном специально для главного директора. Она не желала жить в этом маленьком доме, который выглядел как флигель дворца Флидербойма. Она сама отыскала особнячок, который продавал обанкротившийся фабрикант. Это был настоящий дворец — с резными балконами, колоннами, фигурами и круглым въездом для карет.

Дни и ночи она проводила в этом дворце, ремонтировала его и меблировала. Она донимала каменщиков, столяров и обойщиков, каждый раз требуя чего-то нового — переделки, перестройки, перекраски. Она лазила по лестницам, по доскам, по лесам, разъезжала в карете мужа по магазинам, приобретала вещи, возвращала их, меняла, раскаивалась в обмене, меняла снова. Якуб уже начал тосковать по ней, но у Гертруды не было для него времени. Ее манией теперь был дворец, мебельные гарнитуры. Она выскальзывала из его рук, когда он пытался ее обнять.

— Я страшно занята, — говорила она и перед тем, как убежать, протягивала руку за деньгами. — Дай еще денег, Якуб, и побольше...

Якуб давал, давал не считая. Когда дворец был готов, начались балы, визиты. Постоянно во дворце толпились люди, постоянно здесь танцевали, играли, пили, развлекались. Всем этим заправляла Гертруда. Она составляла списки гостей, которых надо пригласить. Она вычеркивала из них друзей и знакомых мужа, недостаточно, на ее взгляд, видных и важных, и включала имена людей, которых ее муж терпеть не мог, но которые были приближенными к верхушке аристократами.

Якубу было уже под пятьдесят, он чувствовал первые признаки усталости, хотел отдохнуть, стремился к тишине после слишком бурной жизни, жаждал практических результатов и стабильности, — и он тяготился постоянными гулянками и балами, всей этой суматохой и весельем. Он не был хозяином в собственном доме, не знал в нем ни минуты покоя. Либо Гертруда устраивала балы, либо ходила на балы. Со счетами дела тоже шли не слишком гладко. Жалованье, которое он получал на фабрике Флидербойма, было огромным, но и оно сильно отставало от гигантских расходов семьи Ашкенази. Якуб подписывал все больше векселей, брал все больше ссуд.

Он не говорил о своих трудностях, но мысль о них сверлила его мозг, когда он лежал один бессонными ночами, ожидая рассвета и возвращения Гертруды с бала. Впервые в жизни он плохо спал по ночам, садился за стол без аппетита, а вместо радости ощущал озабоченность.

Когда Гертруда иной раз отдыхала от суетных ночей и проводила вечер наедине с мужем, он бывал счастлив, счастлив ее любовью к нему. Как в первые месяцы после свадьбы, на нее вдруг нападала страсть к Якубу. И она снова была его рабой, снова лежала у его ног и молила его о любви:

— Медведь, мой волосатый медведь, съешь меня!

Уверенный в своей мужественности, он заговорил с ней о ребенке.

— Гертруда, вот увидишь, как мы будем счастливы. Это будет девочка, с золотыми локонами, как у тебя...

Как все мужчины в годах, он хотел ребенка, и именно дочку, златовласую и нежную. Сразу же после свадьбы со своей первой женой он начал мечтать о детях. Переле была слабая, болезненная. Она не подарила ему ребенка. И он всегда тосковал по детям. Он брал на руки и целовал детей своих знакомых, особенно девочек. Ему безумно хотелось дочку. Было у него и другое желание. Он хотел обуздать Гертруду, которая могла бы быть его дочерью. Слишком уж много она носилась по балам. Что-то недоброе смотрело из ее глаз, отцовских глаз, излучавших беспокойство и безумие. Он боялся за нее, хотел ее удержать, и лучшего средства, чем сделать ее матерью, не видел.

Однако она не желала об этом слышать.

С мужским упрямством, совсем не подходившим к ее женственности, она отклоняла материнство.

— Якуб, больше ни слова, — грозила она ему пальцем. — Я еще не готова похоронить себя среди белья и пеленок. У меня еще есть время!

Она осматривала свое тело, гибкое и красивое, и улыбалась со скрытым в недобрых голубых глазах женским торжеством.

— Фу, как отвратительно ходить с животом, который на нос лезет, — кривилась она. — Бррр!

Через несколько лет, когда ей уже было тридцать, она стала матерью, родила ребенка, девочку, как и хотел ее муж. Якуб был счастлив. Ему было за пятьдесят, в его черной бороде появилась седина, но он играл со своей дочкой, как дитя, ложился на землю, лаял, прыгал, пританцовывал. Он с ума сходил от радости. А вот она, мать, очень мало радовалась ребенку. Она не возилась с малышкой, не укачивала ее, а передала полнокровной немке-кормилице с огромной грудью.

Она едва замечала свою дочь. Как и прежде, она развлекалась, разъезжала в карете по Лодзи, скупала вещи, ходила на балы, компенсировала время, потраченное на беременность и сидение дома.

Матерью был Якуб. Он расспрашивал большегрудую немецкую кормилицу о том, как ребенок ест, как себя чувствует. При этом он гулил, чмокал своими большими губами, брал девочку на руки, качал ее и убаюкивал. Он никуда не хотел идти. С фабрики он, пританцовывая, бежал в белую комнату дочери и прижимал девочку к себе. В последние годы у него пропало желание ходить по балам, развлекаться. Он полюбил дом, белые стены детской, он хотел спокойного счастья рядом со своей женой и дочерью. Его даже потянуло к жизни в большой семье. Он хотел завести еще детей. Он пресытился бурным весельем, довольно он погулял на своем веку. И он сильно тосковал ночами по Гертруде, которая после родов стала еще красивее и женственнее. Однако она не хотела делить с ним жизнь. Она развлекалась, ночи напролет танцевала на балах, постоянно прихорашивалась, наряжалась. К дочке она едва заглядывала, целовала ее и бежала дальше.

Якуб был печален, зол, дела его тоже не радовали. С тех пор как немцы вошли в город и фабрика встала, Якуб совсем сник. Предприятие не давало дохода, а наследники Флидербойма требовали денег, так же как их требовала Гертруда, ничего не желавшая знать о счетах мужа, о тяжелых временах, которые он переживал. Она была ненасытна. Сколько бы ей ни давал муж, все утекало между ее белых пальцев. Хотя Гертруда сама, по собственной воле, вышла замуж за человека намного старше себя, буквально бросилась ему на шею, она тем не менее считала, что принесла себя в жертву, поскольку муж ее годился ей в отцы и уже устал, превратился в домоседа. А значит, она имеет право развлечься, тратить, сколько ей хочется, жить в роскоши и хотя бы так получить от жизни свое.

Чтобы убить время, Якуб с головой погрузился в общинные дела. Он входил в состав комитетов, председательствовал в филантропических обществах, набирал вес в общине и наслаждался почетом. А его жена Гертруда давала у себя во дворце открытые балы. Она спускала последние деньги мужа, устраивая роскошные гулянки и приглашая на них молодых женщин и мужчин. Даже немецкие лейтенанты со шрамами на лицах, подтянутые, горделивые и заносчивые, имевшие такой вид, словно они оказывают милость этим польским свиньям и вшивым евреям, снисходя до посещения их домов, крутились во дворце Якуба Ашкенази и танцевали с хозяйкой, отпуская сентиментальные и грубоватые военные комплименты, как относительно ее вин, так и относительно ее красоты.

— Чудесно, просто чудесно, милостивая государыня, — бормотали они. — Вы поистине прекрасная роза в этом мусорном ящике под названием Лодзь.

Якуб подавал руку этим молодым людям, этим немецким лейтенантам, говорил, что счастлив видеть их в своем доме, но его кровь вскипала от обиды и ревности. Да, он ревновал ее к приходившим к ним в дом молодым мужчинам. Он еще помнил по собственной молодости, с какой издевкой он смотрел на пожилых мужей, которым его представляли их свежие и красивые жены и которые говорили ему «очень приятно». Он знал, что на самом деле эти мужья хотели бы послать его ко всем чертям, именно поэтому он глядел на них с насмешкой и хохотал над ними в глубине души, ведь их свежие и красивые жены смотрели на него с любовью. Он уже знал эту комедию. Теперь он разыгрывал ее у себя дома.

Он изучил женщин со всеми их женскими хитростями и уловками. Он помнил, как пылко они танцевали с ним, когда он был молод, знал, сколько сладострастия способны они вложить в, казалось бы, безобидные танцы с мужчиной, которого любят. Страсть выражалась в податливости тела партнерши, в том, как она держала его за руку, в прикосновении

ее ног и волос, в каждом ее наклоне и в каждой ужимке. Он помнил, сколько греховной сладости могут излить женские уста в тихих разговорах с женщиной в уголках залов, погруженных в тусклый красноватый свет. Они знают тысячи способов улестить мужчину, тысячи способов зажечь его кровь; они соблазняют, пожимая руку, опираясь на локоть, садясь в карету, увлекают каждым жестом и поворотом головы. На глазах у своих мужей они так горячо выражали ему свою любовь, так легко их дурачили. С каким наслаждением он когда-то сам подходил к столу, где сидела молодая красивая женщина со своим пожилым супругом, просил у него разрешения пригласить ее на танец и вырывал жену из его рук. Они были ему благодарны, эти женщины, за то, что он избавлял их от их нудных мужей. Шутки, которые муж отпускал в свой собственный адрес, спасая себя от боли и обиды, были жалкими и фальшивыми. И он, Якуб Ашкенази, и его партнерша чувствовали их нелепость, молча смеялись над старым дураком и только крепче прижимались друг к другу в танце. О, он все это знал. Он знал, как ведут себя женщины, слишком поздно вернувшись домой, их преувеличенную нежность к мужьям после измен. Он знал, как они смеются и издеваются над одураченными супругами, находясь в объятиях любовников. Сколько раз они смеялись над своими мужьями, трепеща в его объятиях, так что ему даже становилось обидно за мужской пол, начинала претить женская фальшивость. Он любил женщин, жить без них не мог, но он знал, как они лживы, знал их тайные грехи. Он на все это насмотрелся. И теперь сам выступал в роли престарелого мужа. Он видел мужскую гордость, с которой кавалеры прижимают к себе его жену, видел взгляды, которые они бросают, наглые — на нее и насмешливые — на него. Он ловил каждый поворот тела молодой красавицы Гертруды, одетой в платье с глубоким декольте, когда она, как раба, шаг за шагом следовала в танце за своими партнерами и поклонниками, и у него, Якуба Ашкенази, кошки скребли на сердце, кровь закипала в жилах.



Он уходил в белую комнату дочери, садился на маленькую скамеечку рядом с кроватью ребенка, прислушивался к спокойному, ровному дыханию малышки и чувствовал, что дочка — утешение его жизни. Из глубины дома появлялась его теща Диночка и на цыпочках входила в детскую.

После смерти родителей Диночка жила у дочери. Она осталась одна-одинешенька. Все ее состояние застряло в русском банке. Она больше не получала вестей из Парижа от своего сына Игнаца. Он только написал ей в начале войны, что пошел добровольцем во французскую армию. С тех пор она о нем ничего не знала. И, устав от одиночества, Диночка переехала во дворец к Гертруде. Молча, не говоря ни слова, сидела она за столом рядом с дочерью, вышедшей замуж за того, кого она, Диночка, так сильно и так тихо любила. Как всегда, она сидела над своими книжками, жила жизнями и трагедиями вымышленных персонажей. Кроме книжек у нее был ребенок, внучка. Куда больше, чем дочь своей дочери, Диночка любила в малышке дочь его, Якуба. Когда она целовала и обнимала девочку, ей казалось, что это ее ребенок, которого она родила от любимого мужчины. И она покрывала малышку поцелуями с головы до ног.

— Привеши, утешение мое, — ласкала она внучку, названную именем ее матери.

Теперь, хотя было уже поздно, Диночка не спала. Она не могла спокойно слышать доносившуюся из зала танцевальную музыку и зашла к ребенку. Какое-то время она стояла в дверях, увидев Якуба у кровати дочери. Он сидел сгорбленный, надломленный, с опущенной головой. У нее защемило сердце. Она тихонько подошла к нему и положила руку ему на голову.

— Якуб, — сказала она ему, — иди спать. Я посижу с ребенком.

Якуб посмотрел на нее своими большими грустными черными глазами.

— Мне не хочется спать, — сказал он. — Я не могу спать.

— Я тоже не сплю по ночам, Янкев, — печально прошептала она.

Она назвала его прежним именем, так, как она называла его, когда детьми они вместе играли во дворе дома реб Аврома-Герша в Старом городе.

## Глава десятая

**К**ак и всех революционеров, возвращавшихся с каторги, из ссылки, из тюрем или эмиграции в освобожденную Россию, вернувшегося в Петроград большевистского вождя тоже приветствовали речами, музыкой и красными знаменами. Однако этот невысокий полный человек с лысым черепом и татарскими чертами лица не размяк, как прочие, увидев свободную Россию. Он не плакал от радости, как многие другие революционеры, не отвечал пылкими речами на революционные приветствия в свой адрес.

С квадратным телом, с задранными плечами, с руками, засунутыми в карманы брюк, с грудью колесом, с непокрытой лысой головой, заканчивающейся клочком бородки, непредставительный, но мощный, как прямоугольное дубовое полено, которое чем меньше, тем крепче, — он стоял, жесткий, бесстрастный, уверенный в себе в этом праздничном городе, в котором сквозь снег уже пробивалась весна. Он смотрел на окружавшие его красные знамена, его лысая голова отражалась в меди армейских духовых оркестров, игравших «Марсельезу» в его честь. Он щурил глаза на приветствовавших его эффектных ораторов. Они были все как один величественны, с хорошими фигурами, с красивыми прическами и бородами, и он морщил свой высокий лоб. Торжественные речи влетали в одно его ухо и вылетали в другое. Сдержанная ироничная усмешка пряталась в уголках его глаз, лежала на

его губах, таилась в его бородке и сморщенном лбу, высоко залезавшем на его лысый череп.

Он небрежно слушал звонкие тенора и глубокие грудные басы этих солидных красавцев ораторов, с уст которых лились праздник и поэзия, чтобы самому взять слово и окатить этих пламенных краснобаев холодной водой.

В отличие от тех, кто его приветствовал, ни певучего тенора, ни ласкающего слух грудного голоса у этого четырехугольного человека не было. Его голос был сухим, жестким, как и его маленькая бревноподобная фигура. Он не говорил красивых слов, не вставлял в свою речь стихотворных цитат, его фразы не были приправлены лирикой. Однако у него в рукаве был сильный козырь, который действовал на толпившихся вокруг ораторов солдат гораздо лучше, чем любые звучные, торжественные и поэтические речи эффектных мужчин.

— Товарищи, вся власть — пролетариату, — призывал он. — Товарищи, оставьте фронт, не проливайте свою рабочую кровь на империалистической войне! Направьте винтовки на вашего единственного врага — буржуазию! Заберите у фабрикантов фабрики, у помещиков землю и поделите их между собой! Вслед за вами то же самое сделают рабочие и крестьяне всего мира. Долой войну!

Сначала этого человека, выступавшего с будничными речами, говорившего голосом, похожим на скрип сверчка, в праздничной революционной стране встречали насмешками и издевками. Его осыпали колкостями, унижали в глазах народа. Задали тон газеты. Чего еще ждать от человека, приехавшего сюда, в освобожденную Россию, с помощью врага — Германии! Он ведь прибыл в запломбированном немецком вагоне. Германские милитаристы специально послали его в Россию, чтобы деморализовать массы, настроить солдат против войны, убедить их оставить фронт и дать немецким войскам захватить страну. Русский, пошедший по такому пути, прибывший в Россию с вражеской помощью, — это

предатель, шпион, которого свободный российский народ отвергнет; он с презрением отвернется от него и его людей.

На митингах и собраниях ораторы из других партий клеймили этого приехавшего в запломбированном немецком вагоне человека. Только фанатик, доктринер, у которого нет никакого понятия о реальных вещах, мог дойти до такого умопомешательства: призывать новую освобожденную Россию трусливо отступить с фронтов, предать своих союзников, открыть страну немецким солдатам, немецким реакционерам, которые поработят ее и снова зажмут в кулак рабочих и крестьян. Это безумие. Русский народ, русские рабочие и крестьяне не трусы. Они отдавали свои жизни за свободу, за благо России, и они будут героически сражаться до конца, чтобы строить социализм в победившей стране.

Нет, в революционной России нет места фанатичным речам подобного доктринера и его прихвостней. Самое лучшее — заставить их убраться отсюда. Не надо воспринимать их всерьез, не надо их преследовать, увеличивая их популярность. Свободная Россия никого не подавляет, позволяет каждому иметь свое мнение. О, они только и ждут, чтобы их начали подавлять. Они хотят стать мучениками, это им на руку. Но не надо оказывать им такую услугу. Самое лучшее — игнорировать их, позволить им идти своей дорогой, пока они сами не исчезнут, не расползутся, не растают, как коптящая свечка. Народ оттолкнет их от себя, прогонит, отвернется от них, потому что они выступают против интересов освобожденной России, против воли масс, которые железной стеной стоят за свободу.

Юмористы в газетах, художники в периодических листках и журналах создавали смешные карикатуры на этого низкорослого человека. Его приземистая фигурка, торчащие плечи, татарское лицо, острая бородка, а больше всего его лысый череп, похожий на бильярдный шар, служили карикатуристам хорошую службу. Они представляли его народу в гнусном виде.

Низкорослый человек не расстраивался из-за высмеивавших его карикатур, которые он каждый день видел в газетах. Он даже получал удовольствие, рассматривая их, его веселило то, как смешно его изображали. Его не трогали издевки в его адрес. Он не оправдывался в ответ на обвинения в том, что он приехал в немецком вагоне. Он делал вид, что ничего не знает о нападках на него в связи со слухами, что он брал деньги у немцев. Он молчал даже тогда, когда его открыто обвиняли в шпионаже и пособничестве врагу.

— Товарищ, вы обязаны выступить против этой травли, созвать суд чести, чтобы очистить свое имя. Страдает ваша репутация, — говорили ему его люди.

Низкорослый человек улыбался.

— Зачем? — спрашивал он, глядя на них насмешливыми глазами. — Народ не читает газет, а интеллигенты меня не интересуют. Нам нужно одно — мир и земля. Солдаты и крестьяне это поймут...

— Однако в моральном отношении, — бормотали его люди, — это бросает тень на всех нас.

— Мы не мещанские невесты, которые должны сохранять невинность, — отвечал низкорослый человек. — Для нас важно одно — революция...

Он знал, что говорит, этот низкорослый человек. Солдаты на улице, усталые, изголодавшиеся за три года войны, истосковавшиеся по своим деревням и избам, по плугу и серпу, по своим женам и своей земле, не читали колких статей в газетах, не рассматривали журнальных карикатур. Их не интересовало то, что низкорослый человек приехал в запломбированном немецком вагоне. Их не волновало, что Россия дала слово и должна своим новым наступлением оттянуть на себя атаку Людендорфа<sup>1</sup> на французов. Все это было им чуждо, не доходило до их мозгов, скрытых под ушанками, не достига-

---

<sup>1</sup> Эрих Фридрих Вильгельм Людендорф (1865–1937) — генерал-полковник, начальник Генштаба германской армии во время первой мировой войны, автор концепции «тотальной войны».

ло их сердец, бившихся под завшивленными гимнастерками. Открыв рты, наострив уши, широко распахнув светлые глаза, они всем своим существом прислушивались к речам низкорослого человека и его соратников. Два таких простых, ясных и домашних слова — мир и земля — были понятны крестьянам, солдатам, матросам с боевых кораблей, всем тем, кто устал от войны, вшей, от гниения в окопах, от военной дисциплины и скитаний. Со скоростью огня, разносимого ветром по сухим деревянным домам, его речи распространялись по улицам, казармам, портам, окопам, рабочим клубам, площадям и скверам.

Тут министры, партийные лидеры, военное начальство и газетные писаки увидели, что дело становится опасным. Они перестали насмехаться и начали бороться с этим ненавистным человеком. На всех улицах и площадях, на всех углах о нем и его людях говорили на митингах. Посылали лучших ораторов, устраивали манифестации с музыкой и революционными песнями, чтобы пробудить в солдатах волю к героизму и тягу к продолжению войны. Мобилизовали новобранцев; их хорошо вооружали, одевали, обували и отправляли под звуки «Марсельезы» в новое весеннее наступление. Однако в огромном теле армии уже поселилась маленькая бацилла, которую запустил низкорослый человек с голым черепом, бацилла «мира и земли». Она пожирала, разлагала армию изнутри. Солдаты бросали винтовки, оставляли окопы и бежали с поля боя, поездами или пешком, торопились домой, к своей земле, к своим женам и своему скоту.

Во время первого восстания, которое низкорослый человек устроил на петроградских улицах в жаркий месяц июль, правительство перестало прибегать к речам и предпочло прибегнуть к оружию. Восставших разогнали штыками. Их вождя и его сподвижников обвинили в государственной измене и в связях с германским Генеральным штабом. Некоторые из его единомышленников сами сдались властям, надеясь на суд, который восстановит их честное имя. Низкорослый че-

ловец спрятался в Кронштадте, у матросов, и даже слышать не хотел ни о каком суде.

— Товарищ, вас и ваших соратников обвиняют в шпионаже, — говорили ему его люди. — Вы должны предстать перед судом и очистить себя от этого пятна. Это дело чести.

— Глупости! — отвечал низкорослый человек. — У нас нет времени на игры в честь. Нам нужно только одно: осуществить революцию и ввести диктатуру рабочих и крестьян. Мы будем и дальше заниматься этой работой.

Он издевался над своими представшими перед судом товарищами и указывал на своего верного ученика, бежавшего вместе с ним.

— Вот у него есть ум, — тыкал он в него пальцем. — Он пошел со мной.

Кто-то из его окружения дурно отозвался об этом умном ученике:

— На него не слишком можно полагаться, товарищ. Он поворачивается туда, куда ветер дует. Это не революционная тактика, а трусость...

— Вы же знаете русскую поговорку, — сказал низкорослый человек с издевательской усмешкой. — В хорошем хозяйстве все стодится... Он отлично работает на благо революции...

Сначала он был уверен, что правительство найдет и его самого, и его людей и расстреляет. Какое-то время он верил в разум своих гонителей и готовился к смерти. Однако вскоре он увидел, что, к счастью для него, его враги остались убогими демократами, боящимися предпринять необходимые решительные шаги. И он продолжил свою работу из подполья, бомбардировал войска призывами оставить фронт, агитировал их за мир и землю. Партийные вожди рассылали делегатов по всей большой России, направляли их во все города и села, на все фабрики, во все клубы. На улицах и рынках выступали ораторы, призывали идти на выборы в Конституционное собрание, чтобы создать избранный народом

парламент, который будет исполнять его волю. Низкорослый человек знал, что его товарищи не могут противостоять всем и увлечь за собой весь народ, поэтому он сосредоточил силы на работе с солдатами в гарнизонах и на боевых кораблях, чтобы привлечь на свою сторону вооруженных людей, особенно тех, что были размещены в столице. Его противники завладели телом, великим русским народом, десятками миллионов людей в городах и деревнях. Низкорослый человек стремился завладеть головой — Петроградом. Он знал, что голова — это главное.

И к осени это произошло. Однажды ветреной октябрьской ночью он прибыл со своими кронштадтскими матросами в столицу и захватил ее. Вокзалы, телеграф, телефон, водопровод, гарнизоны, оружейные фабрики — все вдруг оказалось в руках восставших. На Зимний дворец, в котором правительство проводило совещание министров, смотрели распахнутые пасти орудий.

В первые дни после захвата власти низкорослый человек чувствовал шаткость своих позиций и боялся изгнанного правительства, силы которого приближались к столице. Он направил гонцов к своим идейным противникам — к социалистам-революционерам и социал-демократам, предлагая им создать объединенное правительство социалистических партий. Товарищи низкорослого человека не поняли его:

— Как мы можем сотрудничать с ними?

— Пустяки, пока они нам нужны, и мы их примем; а потом, став сильнее, пошлем их к черту... — сказал низкорослый человек с усмешкой в глазах.

Партии его противников утешали себя своей победой среди народа. Из семисот трех депутатов, съехавшихся со всех концов России в Таврический дворец на открытие Учредительного собрания, только сто шестьдесят были большевиками. Остальные принадлежали к эсерам, социал-демократам и другим партиям. Представители большевистской верхуш-



ки чувствовали беспокойство. Народ был не с ними. Однако в глазах низкорослого человека по-прежнему таилась усмешка. Он знал, что у его противников голоса, а у него — власть. Все улицы, площади, телеграф, вокзалы, крепости, тюрьмы, железные дороги были заняты войсками, его солдатами и матросами. И он смеялся над тревогой своих товарищей. Уже в день открытия Учредительного собрания он приказал вооруженным солдатам разогнать манифестации, маршировавшие по проспектам в честь этого события.

Задал он жару и самим депутатам, почтенным народным избранникам.

Как сквозь строй проходили депутаты к Таврическому дворцу. Вооруженные матросы и солдаты оскорбляли их, поливали их площадной бранью, плевали в них.

— Контрреволюционеры, продажные душонки, прислужники капитала, пособники войны! — кричали люди с винтовками вынужденным протискиваться сквозь них депутатам. — Вас всех надо на фонарях перевешать!

Среди более чем семисот депутатов, прибывших со всей большой России на Учредительное собрание в Петербург, были и два лодзинских революционера — Нисан Эйбешиц и Павел Щиньский. Они вместе отбывали ссылку в Сибири, где день и ночь изучали марксистские книги. Позже, во время Русско-японской войны, они бежали оттуда, продолжили работу в Лодзи, а потом снова встретились в тюрьме. Революция освободила их. Теперь оба шли в Таврический дворец на открытие Учредительного собрания как избранники народа России. Однако и их одежда, и их взгляды отличались. Щиньский шел в военном френче, в армейских сапогах и с револьвером в кармане. Он был из тех, кто теперь держал власть в руках. С тем же фанатизмом, с каким он прежде носился с марксистскими книгами, ни на минуту не выпуская их из рук и смертельно ненавидя всех, кто ими гнушался, он теперь никуда не ходил без револьвера, таскался с ним повсюду и ненавидел тех, кто не признавал в низкорослом человеке с го-

лым черепом вождя революции. Нисан шел, как обычно, в расстегнутом пальто с оттопыренными карманами, набитыми газетами, брошюрами, тезисами и резолюциями. Он, как всегда, верил в силу слова, в справедливость и в глас народа, подобный гласу Божьему.

— Повесить предателей народа, расстрелять, взорвать динамитом! — яростно кричали вооруженные матросы. — Продажные душонки, прислужники капитала!

Нисан схватил Щиньского за рукав его военного френча.

— Слушайте! — сказал он. — Пожинайте то, что посеяли!

Щиньский стал что-то бормотать. Нисан прервал его.

— Это я контрреволюционер, прислужник капитала, продажная душонка? Скажи!

Щиньский опустил голову. Он не смел смотреть Нисану в глаза.

Большой Таврический дворец напоминал казарму, а не парламент. Повсюду кишели солдаты с винтовками, с ручными гранатами. Блестели холодной яростью стальные штыки. Галерея была полна матросов с татуировками.

— Надо перестрелять это гнездо контрреволюции, всех положить из пулемета! — орали они хриплыми голосами, держа пальцы на спусковых крючках маузеров и наганов и готовясь нажать на них при первой возможности.

Депутаты были бледны, встревожены. Гнев солдат и матросов наполнял большой зал, витал над их головами, как ядовитый газ, который мог взорваться каждую минуту. Корреспонденты зарубежных газет сидели напуганные. Подобное открытие парламента они видели впервые.

Первыми выступали сподвижники низкорослого человека. Они предложили Учредительному собранию публично признать их власть и принять все введенные ими законы.

Депутаты от других партий начали возмущаться.

— Прочь! Долой диктаторов! — раздались голоса.

— Не Учредительное собрание должно подчиняться вам, а вы — Учредительному собранию, воле народа!

Тогда один из соратников низкорослого человека вынул готовую резолюцию, которую заблаговременно написал большевистский вождь, и предложил ее вниманию собравшихся.

— «Поскольку Учредительное собрание является устаревшей формой народного представительства, — читал большевик надрывным голосом, — формой, не соответствующей настоящему моменту, когда революция находится в опасности и народу грозит уничтожение со стороны его врага, буржуазии, Учредительное собрание объявляется закрытым».

Депутаты стали кричать, протестовать, стучать по столам, махать руками. Но в это мгновение лодзинец Павел Щиньский, высокий человек с русой бородкой, одетый в военный френч, подал сигнал вооруженным солдатам и матросам, чтобы они принимались за дело. С винтовками, с маузерами и наганами в руках те начали очищать зал, выгоняя народных избранников.

Пришибленные, растерянные, депутаты шли по темным петроградским улицам. Трамваи не ходили, фонари были разбиты, ворота заколочены. На пустых улицах встречались только войска. С винтовками, с ручными гранатами, с пулеметами и пулеметными лентами на груди, солдаты и матросы слонялись по Невскому проспекту, курили, смеялись и сквернословили.

На площадях, около памятников стояли пушки, направив свои жерла вверх. Полевые кухни варили еду, рассыпая вокруг себя искры. Какой-то матрос играл на гармонике веселого камаринского. Ссутулившись, Нисан шел по петроградским улицам подавленный и униженный случившимся.

Как он ждал этого часа, первого заседания народных избранников свободной России! Сколько он боролся за это, сколько тюрем прошел, сколько страданий вынес! Он дожил до этого события. Он даже сам был избран народом в Учредительное собрание. И вот его прогнали, вытолкали оружи-

ем и проклятиями. И кто? Свои же солдаты и матросы, свои же товарищи-революционеры. Он чувствовал себя таким же раздавленным, как в тот май в Лодзи, когда польские рабочие учинили погром в Балуте и расправились с еврейскими ткачами.

Усталый, надломленный, упавший духом, он бросился на узкую койку в своей бедной комнатенке, уткнулся головой в подушку и заплакал, зарыдал над праздником, до которого он дожид, но с которого его вышвырнули.

На улице в ночи не переставали трещать винтовочные выстрелы.

## Глава одиннадцатая

**М**ежду польскими легионерами, которых комендант Мартин Кучиньский, вождь боевой организации Польской социалистической партии, направил в Лодзь, чтобы вербовать молодежь в ее ряды, и размещенными в городе немецкими солдатами постоянно возникали ссоры и конфликты.

Они, немецкие солдаты, с самого начала войны не любили своих австрийских союзников. Во-первых, они не всегда могли с ними договориться. В австрийских войсках служили представители самых разных народов: венгры, чехи, поляки, евреи, русины, боснийцы, румыны, цыгане. Многие из них по-немецки не понимали ни слова, если не считать военных команд. Немецких солдат это раздражало. Они не могли поболтать со своими союзниками за кружкой пива и сигарой. Некоторые солдаты австрийской армии вообще ненавидели немцев и, напившись, открыто проявляли свою неприязнь к ним. Немцы этого не выносили. Привыкнув у себя на родине к идее единой Германии, к единому языку, одинаковым обычаям, они с пренебрежением смотрели на австрийских нем-

цев, не сумевших подмять под себя подвластные им народы и превратить их всех в германцев.

— Эй ты, киче, чичи, пичи! — передразнивали они австрийских солдат, разговаривавших на своих языках.

Кроме того, австрийцы были плохими воинами. Они то и дело проигрывали русским, и им, немцам, приходилось их выручать, прогонять врага с их земли. Из-за этого они были злы на австрияков, солдат с обмотками на ногах и в маленьких фуражках, увешанных патриотическими значками.

Германские офицеры смотрели на австрийских сверху вниз. Австрийские офицеры далеко не всегда происходили из высших кругов. Среди них можно было встретить всякий плебс, разных черноволосых иноязычных типов, сыновей лавочников и крестьян, даже галицийских евреев из Тернополя и Коломыи. На балу в офицерском собрании никогда нельзя было знать, на кого наткнешься, с кем встретишься. И они, русоволосые светлоглазые немецкие офицеры, заносчивые помещики и юнкера, избегали встреч с австрийскими коллегами. На службе, в тех местах, где их войска стояли вместе, немцы помыкали своими союзниками. Они захватывали лучшие квартиры, оставляя те, что похуже, австрийцам. Они занимали высшие должности, издавали приказы, забирали себе всю власть, что весьма раздражало австрийцев.

Немецкие солдаты часто притворялись, что не замечают австрийского офицера, проходя мимо него, и не отдавали ему честь, но если и отдавали, то делали это не так основательно и по-солдатски молодежато, как при встрече с собственными офицерами, а на скорую руку, лишь бы отделаться. Австрийские офицеры обижались на развязное поведение солдат союзников и нередко подавали на них жалобы в комендатуру. Немецкие офицеры отчитывали своих солдат за небрежность, но те видели, что они делают это просто по обязанности и что на самом деле они очень довольны их плохим отношением к недотепам союзникам. И немецкие солда-

ты продолжали небрежно отдавать честь австрийским офицерам, а то и вовсе игнорировать их.

После последних поражений, которые снова потерпели австрийцы во время русского весеннего наступления, когда немцам опять пришлось им помогать, враждебность немцев по отношению к союзникам усилилась. Германские солдаты даже придумали похабную расшифровку аббревиатуры К. и К.<sup>1</sup>, означавшей «императорская и королевская Австрия». От этой расшифровки австрийцы буквально подскакивали на месте, чувствуя гнев и обиду.

С еще большим презрением немцы смотрели на складчатые фуражки польских легионов, которые создавались в Австрии, но вели себя как самостоятельная армия, с собственным штабом, командами и формой. Немцы не выносили ни их языка, ни их фуражек, похожих на гражданские головные уборы, ни их песен на улицах. Как только легионеры принимались распевать свои польские песни, ландштурмеры перекрикивали их немецкой песней о славянах:

Мы ни бомбам, ни казакам,  
И ни вшам, и ни полякам  
Не уступим, русский гад!  
Пусть подохнут все славяне,  
пусть они в аду сгорят!

Галицийские легионеры, понимавшие по-немецки, возмущались по поводу этой оскорбительной песенки. Однако немцы не переставали ее петь. На офицеров польских легионов они, ландштурмеры, даже не оглядывались. Они проходили у польских офицеров перед самым носом и даже не поднимали руки для приветствия, несмотря на приказ, согласно которому союзным офицерам полагалось оказывать тот же почет, что и своим собственным. Коменданту Лодзи, полковнику барону фон Хейделю-Хайделау кровь бросилась в голову, когда в его город въехали польские легионеры на де-

<sup>1</sup> Kaiserlich und Königlich (нем.).

ревенских телегах, запряженных маленькими крестьянскими лошадами. Они намеревались вербовать польскую молодежь в свои ряды.

— Ах, эта вшивая банда! — проворчал он, когда адъютант доложил ему об их прибытии.

Он всегда ненавидел их, этих поляков. Еще в своем имении в Восточной Пруссии, где они на него работали. Он держал их у себя, потому что они были работающие и обходились ему дешево. Летом, в преддверии жатвы и уборки картофеля, он брал на работу польских крестьянок с русской стороны границы. Они просили гроши, работали от восхода до заката. Кроме того, они были готовы спать в сараях и даже на голой земле. Нанимать их было выгодно, выгоднее, чем немцев. Однако барон не считал их за людей, а смотрел на них как на рабочую скотину. Как все восточнопруссские помещики, барон фон Хейдель-Хайделау всегда зарился на соседние земли. Он был сторонником «Дранг нах Остен», натиска на восток. На востоке много людей, и работают они почти даром. Вот теперь он наконец очистил завоеванный город. Он держал его в руках. Он показал этим вшивым полякам и евреям свой кулак, отучил их от прежнего, свойственного русским, свиного хозяйствования. И вдруг ему присылают польских легионеров, чтобы они у него тут болтались в своей форме и со своим языком. Барон не мог этого вынести.

В соответствии с приказом он обязан был принять их в городе. Однако он злился на господ из Генерального штаба, которые прислали к нему эту польскую банду. Все эти австрийцы, эти убогие союзники, от которых нет никакого толку, сплошная головная боль и неприятности. Разве такое случилось бы в Германии, разве там разрешили бы создавать какие-то легионы со своим особым языком, командами и прочими вещами, целую армию в армии? В Германии такие фокусы не проходят. Каждый, кто живет и существует в рейхе, обязан быть немцем. Там тоже есть поляки, но их приструнили и сделали немцами, не позволили им лелеять свои

глупые, пустые мечты. И тут, в этой оккупированной стране, тоже наведут порядок, немецкий порядок, как только разделяются с войной.

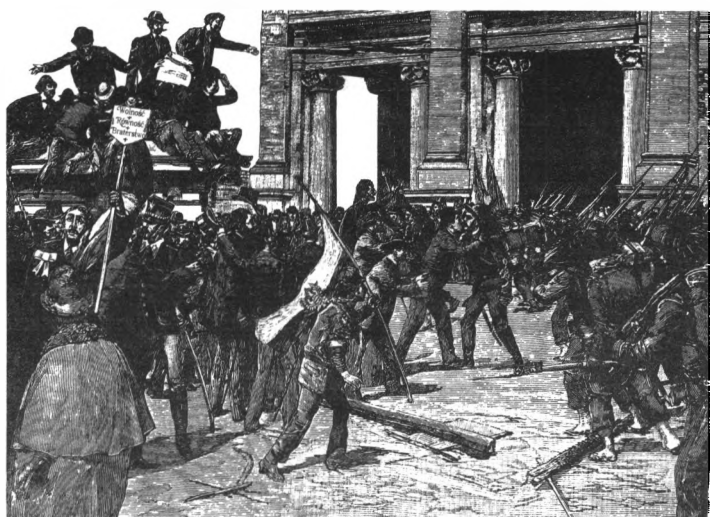
Однако у этих жалких австрийцев совсем нет ума, они просто мягкотелые бабы, не умеющие удержать в руках власть. У них в стране суций Вавилон, настоящее смешение народов, наций и языков. И вот полюбуйте, какая у них разболтанная армия, первосортная размазня. Они не вояки, а политиканы, убогие дипломатишки. Всё у них политика. Теперь они со своей идиотской политикой задурили головы господам из Генерального штаба и выхлопотали разрешение на приезд польских легионеров в большие города Польши, чтобы те вербовали среди молодежи новых солдат.

Барон фон Хейдель-Хайделау скрипел своими вставными зубами от злости. Он должен был принять присланных легионеров, предоставить им квартиры, но он отвел им самое плохое место, русскую казарму, где царили разруха и запустение, где через дырявую крышу во время дождя лилась вода, где были выломаны окна и двери. Нет, он не хотел, чтобы они наслаждались жизнью в Лодзи. Они были ему тут не нужны. Ему и так приходилось воевать со всякими тайными военными организациями, возникавшими в городе и носившимися с дурацкими фантазиями о независимом польском государстве. Он искоренял их и отправлял фантазеров в лагеря для военнопленных. Теперь, с приходом легионов, все эти ребята снова обретут надежду и полезут из своих дыр на свет.

Среди офицеров прибывшего в город польского легиона был и лодзинский революционер Феликс Фельдблум, ближайший товарищ по партии Мартина Кучиньского, который стал теперь комендантом этого легиона.

После распада революционной партии «Пролетариат» Феликс Фельдблум вместе со своим товарищем Мартином Кучиньским вступил в Польскую социалистическую партию, которая вела борьбу не только за социализм, но и за независимую Польшу. Он с Кучиньским стал работать в Лодзи для





новой партии, как прежде работал для «Пролетариата». Он печатал прокламации в подпольных типографиях, набирал партийную газету, организовывал кружки для польских рабочих, переводил социалистические книги, ездил на тайные партийные конференции, сидел в тюрьме, бежал, снова попал под арест. Во время Русско-японской войны Фельдблюм вел особенно широкую работу. Его самым ярким противником и заклятым врагом был поляк Павел Щиньский, социал-демократ, обвинявший Польскую социалистическую партию в шовинизме, реакции и национализме. Этот бывший студент учебного заведения для подготовки католических священников ненавидел польских социалистов, которые стремились отделиться от русских рабочих, мечтали о свободной Польше. Он высмеивал поляка Фельдблюма, издевался над польской миссией, с которой тот носился, указывал на его слепоту и нелепый романтизм.

Война застала Фельдблюма в Галиции, где он скрывался от жандармского полковника Коницкого, который активно его разыскивал. В первый раз его арестовали как русского подданного. Однако вскоре его товарищ Кучиньский создал легионы, польские легионы, которые должны были с оружием в руках изгнать русских из Польши, провозгласить свободное польское государство и установить в нем социалистический порядок. Многие польские социалисты надели голубоватые мундиры и фуражки и вступили в эти легионы. Феликс Фельдблюм последовал за ними. Как и большинство польских социалистов, он верил, что главный враг свободы — Россия. Как многие его товарищи, он был убежден, что в освобожденной Польше, над которой не будет русского ига, воцарятся равенство и братство. Он встал рядом со своим товарищем Мартином Кучиньским, боролся с ним бок о бок, так же как когда-то печатал прокламации на чердаке в Лодзи.

Не очень-то воинственно выглядел легионер Феликс Фельдблюм в своем солдатском мундире. Он был уже в годах. В его черной кудрявой чуприне и бородке было много се-

дых волос. Пенсне, скакавшее на его горбатом носу и имевшее обыкновение съезжать вниз и повисать на шнурке, тоже мало вязалось с внешностью воина. Высокий, сутуловатый, взволнованный, шумный человек с жизнерадостными жестами, на чьих плечах мундир висел, на чьей голове фуражка лезла на макушку, Феликс Фельдблюм имел совсем не бравый вид. Однако он был хороший солдат, он был предан делу телом и душой, как всегда, когда он за что-то брался. Наравне с молодыми он шел в бой, лежал в окопах, даже напрашивался в разведку. Начав простым солдатом, он вскоре дослужился до офицера. Его товарищ комендант пожимал ему руку и присваивал звание за званием.

Теперь он вместе с другими офицерами и своими солдатами прибыл в Лодзь, в родной город, чтобы вербовать здесь новых солдат в ряды легиона. В офицерском мундире, с шашкой на боку он ходил по улицам Лодзи, на которых когда-то строил баррикады и устраивал демонстрации, вел конспиративную жизнь, прятался, убегал от полиции и агентов. Хуже, чем к прочим польским офицерам, немецкие солдаты относились к Фельдблюму, человеку с бородкой и в пенсне, в котором при всех его эполетах и оружии проглядывал еврейский интеллигент. Свои, польские, солдаты тоже часто бросали на Фельдблюма издевательские взгляды. Эти молодые неевреи с курносими носами и русыми головами не видели ничего командирского в длинном, как жердь, пожилом офицере с растрепанной бородкой и с пенсне на шнурке. Он был больше похож на учителя, чем на военного.

Среди офицеров он тоже был чужим. Не все они, офицеры легиона, были борцами. Попадались среди них и случайные люди, которые ничего не знали о социалистической борьбе, не имели понятия о Фельдблюме и его заслугах. Они, как и все военные, жили картами, пьянством, чинами, женщинами, солдатскими шутками. На Фельдблюма они смотрели с насмешкой. Он был далек от них, как и они от него. Он не играл в карты, не пил, не знал анекдотов. Он даже

не оглядывался, когда немцы проходили мимо него, не отдав чести. Со своими солдатами он тоже был демократичен, общался с ними по-товарищески, совсем не как командир. Офицеры, звеневшие саблями, похвалявшиеся мундирами, не могли спокойно смотреть на такое поведение Фельдблюма.

Нет, он, Феликс Фельдблюм, не вписывался в эту среду. Вместо того, чтобы разгуливать по улице и щеголять в мундире, ездить к женщинам, устраивавшим вечера для господ офицеров польской армии, он ходил в свободное время в библиотеки, читал книги, брошюры, писал, переводил. Он все еще жил жизнью интеллектуала, вперял свой близорукий взгляд в буквы и строчки.

Он, Фельдблюм, страдал. Он видел, как его товарищи, бывшие борцы, стали в легионах солдафонами, огрубели. Офицеры приобрели барские манеры, третировали солдат. Комендант, его бывший соратник по партии, с каждым днем все больше забывал свой социализм и погружался в солдафонство. Он разговаривал грубо, по-армейски, окружил себя чужими людьми, отдалился от прежних товарищей. Даже принимал у себя военных священников, устраивавших богослужения для солдат. Песни в легионах пелись патристические, а совсем не революционные. И на сердце у Фельдблюма было тяжело.

Чтобы обмануть себя, он устраивал литературные вечера, говорил с товарищами по оружию о польском мессианизме, об особом предназначении Польши, искупающей своими страданиями весь мир. Он загорался, читая произведения Мицкевича, Норвида<sup>1</sup> и Выспяньского<sup>2</sup>, видел перед собой Польшу, чья справедливость и честность послужит примером для других народов. И ему снова становилось хорошо и

<sup>1</sup> Циприан Камиль Норвид (1821–1883) — польский поэт, драматург, прозаик и живописец.

<sup>2</sup> Выспяньский Станислав (1869–1907) — польский поэт, драматург, живописец.

легко. Он убеждался, что борется за идею, за большое дело, за которое стоит отдать душу и жизнь. Люди слушали его, но его речи были им чужды. Стена отделяла этого черноглазого сутулого человека в пенсне на горбатом носу от подтянутых, застегнутых на все пуговицы, русоволосых и светлоглазых иноверцев, которые были прирожденными солдатами.

— Станный человек этот Фельдблум, — говорили они между собой, — чужой и неуютный какой-то.

— Еврей, — тихо бормотали в ответ другие.

## Глава двенадцатая

**В**скоре к Максу Ашкенази, как и предсказывал Нисан Эйбешниц, пришли за имуществом, которое он собрал, за капиталом, который он сконцентрировал. Правда, сам он, Нисан, не пришел, но пришли другие.

Мир не стал прежним, как рассчитывал Макс Ашкенази. Сапожник не вернулся к своей дратве, а фабрикант в свой кабинет. Мир перевернулся.

Во дворцах красноармейцы сидели у каминов и грели ноги, бросая в огонь резную мебель. Ни дров, ни угля в городе не было, и красноармейцы ломали все: драгоценный махагон, красное дерево, картины в рамах, — пытаясь согреться в больших холодных комнатах дворцов. Из обивки кресел они вырезали солдатскими ножами куски кожи, чтобы отремонтировать свои сапоги. Из плюша и бархата они делали себе портянки. Даже с обитых шелком стен они срывали полосы, чтобы обмотать ноги или подарить кусок дорогой ткани девушке на платок. Богачи и владыки ходили униженные, растерянные, голодные и напуганные. Банки были захвачены, сейфы опечатаны, магазины закрыты, фабрики национализированы, дома стояли в запустении. На стенах были разве-

шаны приказы, подписанные комендантом Павлом Щиньским, о национализации, реквизициях, арестах. Поперек улиц трепетали большие лозунги, красные перетяжки с белыми буквами, гласящими, что дворцы принадлежат беднякам из хижин, а вся власть — Советам, и призывавшими грабить награбленное. На гигантских полотнищах красовались картины, изображавшие, как красногвардеец загоняет свой штык в живот буржую, из которого фонтаном брызжет кровь, как крестьянин попирает сапогом жирный загривок толстого помещика, как рабочий мускулистыми руками вышвыривает попа, ксендза, раввина и муллу, толстопузых и алчных, держащих символы своей религии.

В один прекрасный день пришли и к нему, Максу Ашкенази, чтобы отнять у него награбленное.

В распахнутых потрепанных шинелях, на плечах которых виднелись следы сорванных эполет, с висящими на веревках винтовками, с выбивающимися из-под солдатских ушанок вихрами, с самокрутками или семечками во рту, с красными лоскутами на груди и в драных сапогах, они уверенно вошли на фабрику и завладели ею.

— Товарищи рабочие, пусть никто не покидает цехов, пусть все остаются на местах! — крикнул вожак, молодой парень в студенческой фуражке, выдавшем виды гражданском пальто и с винтовкой на плече. — Фабрика переходит власти рабочих и крестьян. Сейчас будет митинг.

Энергичными шагами он вошел в кабинет Макса Ашкенази и приблизился к его письменному столу.

— Чем могу служить? — спросил Макс Ашкенази с деланным спокойствием и вежливостью, словно происходящее его не касалось. — Садитесь!

Он указал на стул напротив себя.

— Встаньте и выйдите из-за стола, — велел парень. — Мое место здесь.

Он ткнул пальцем в глубокое и широкое кожаное кресло, в котором сидел Макс Ашкенази.

Макс Ашкенази достал ключик и начал отпирать железную кассу. Парень в студенческой фуражке, которую он не потрудился снять, махнул рукой.

— Оставьте ключи в замке. Ничего не трогать!

— Не деньги, — объяснил Макс Ашкенази. — Только личные вещи.

— Нет личных вещей, — поучающим голосом сказал ему парень. — Все принадлежит рабоче-крестьянской власти. Сдайте все ключи, и вы свободны.

Хотя в последние дни Макс Ашкенази и ожидал чего-то в этом духе, каждую минуту готовился, что это произойдет, он все-таки был ошарашен, выйдя на улицу и услышав, как дверь фабрики с треском захлопнулась за ним. Он остановился и какое-то время стоял у фабричной стены, как истукан.

Вышвырнули! Он не мог в это поверить. Ему просто указали на дверь! Вышвырнули, как собаку!

Он не знал, куда идти. Парень в студенческой фуражке сказал ему, что он свободен, что он может идти куда хочет, но ему некуда было идти и нечего было делать. Впервые в жизни он оказался без работы, без определенного занятия. Он стоял потерянный, с онемевшими руками, так же как в прежние времена стояли в Лодзи его рабочие, когда их увольняли и с треском захлопывали перед их носом фабричную дверь.

Он был лишним в этом большом городе, он был гол как сокол. Его дома отобрали, деньги в банках захватили, сейфы опечатали, облигации и векселя обесценили. Нет, нет ничего вечного, убедился Макс Ашкенази. Не только банкноты и ценные бумаги, но даже недвижимость, имения, которые он скупал, чтобы упрочить свое богатство, не спасают в этом мире, когда колесо поворачивается. От всего его состояния, которое он сделал здесь во время войны, от всех машин, домов, предприятий за один день ничего не осталось. Он лишился последнего. Все его имущество — соболиная шуба и шапка, да и те нельзя носить в этом городе рваных шинелей и вооруженных людей.

В первые недели Макс Ашкенази был растерян, как после сильного удара по голове, после которого никак не получается прийти в себя. Сколько труда он вложил, сколько работал без отдыха, не доедал, не досыпал, какие горы свернул прежде, чем стать обладателем такого состояния! Сделав ставку на Россию, он покинул родной город, бросил свою фабрику на произвол судьбы, вывез машины и товары. Сам переехал в этот чужой русский город, не знал тут ни покоя, ни жизни, а только строил, создавал, скупал дома, поместья, земельные участки. Он стал здесь богачом, настоящим миллионером. Он уже сбился со счета, сколько у него денег и имущества. И вот в один прекрасный день все это забрал черт, все исчезло. Макс Ашкенази чувствовал себя обманутым, несправедливо обиженным этим миром. Это грабеж! — возмущался он, поедая себя заживо. Это разбой, это хуже, чем кого-нибудь зарезать! Это просто неслыханно! Приходят к человеку, который сделал состояние собственными руками, отдал этому все силы, иссушил ради этого мозги, постоянно думал, искал, по крупицам собирал свое богатство, — и ни с того ни с сего конфискуют у него имущество непонятно в пользу кого, а его самого выставляют вон!

Он смотрел на большие надписи, призывавшие грабить награбленное, и они не укладывались у него в голове. Он, Макс Ашкенази, не считал себя грабителем. Он никого не грабил. Он только торговал и зарабатывал. Правда, он проворачивал сделки с купцами, с компаньонами, но это закон торговли. Кто умнее, тот и берет. Иначе не бывает. Однако он никого не грабил. Он имел расчет, хотел заработать, но ведь это не грабеж. Так уж оно заведено на свете. И с рабочими тоже — он никого не заставлял. Он платил, как все фабриканты, заботясь о том, чтобы дело шло как надо. Он, Макс Ашкенази, невинен, как ягненок, у него на совести нет ничего такого, за что его можно было бы назвать грабителем. Грабители — это те, которые приходят с оружием и отнимают у людей деньги, как настоящие бандиты, способные даже убить.



Безмерно печальным, одиноким, надломленным и обманутым чувствовал себя Макс Ашкенази в эти беспокойные дни; дни были даже хуже, чем ночи, когда без умолку трещали винтовочные выстрелы.

В плохом пальто, самом скверном, какое только нашлось среди его одежды, в рабочей шапке, чтобы не бросаться на улицах в глаза, он ходил по этому чужому городу, блуждал по его проспектам и площадям.

Большой живой город, который прежде блистал каретами, был полон саней, запряженных тройками, наводнен элегантными дамами, стройными офицерами, который светился огнями магазинов, театров, ресторанов, залов, стоял теперь заброшенный, погруженный во мрак и выглядел как военный лагерь. Люди стремительно впадали в бедность или рядились в нее. Около кооперативов стояли длинные очереди за хлебом, за селедкой. Цены подскочили безумно, они росли с каждым часом, с каждой минутой. Крестьянки, приносящие в город кувшин молока, боялись его продавать. Они не могли высчитать, сколько стоит молоко в бумажных деньгах, потому что не успевали они перейти с одной стороны улицы на другую, как банкноты обесценивались. Тысячи путали бедных женщин.

— Мне нечего продать, — говорили они, держа товар в руках.

Они боялись банкнот, пугались больших сумм и крестились от страха.

Макс Ашкенази избавился от всех банкнот из тех денег, что у него еще остались. Он крутился по базарам и покупал еду, которую готовил себе сам. В его доме не было ни воды, ни огня. Стояли сильные морозы. Водопровод не работал. Трубы замерзли от холодов. Воду надо было носить из колодца, расположенного на соседней улице. Угля не было. По ночам люди выбрасывали мусор из окон прямо на улицы и во дворы.

Жильцы его богатого дома на Каменноостровском проспекте разбежались. На их место вселились рабочие, крас-

ноармейцы. Они забрали мебель, разломали ее, раскололи на дрова, поставили железные печки, прорубили дырки в стенах для печных труб; из разбитых окон занятых ими квартир валил дым. Прислуга сгинула, разъехалась по деревням, по родным, есть деревенский хлеб и картошку и греться у больших печей. Каждый день все новые и новые солдаты и матросы заходили в дом к Ашкенази и отбирали у него все новые и новые комнаты.

— Ты, папаша, из каких будешь? — спрашивали они его, с подозрением глядя на его попытки сойти за пролетария, абсолютно не вязавшиеся с дорогой мебелью в его доме.

Макс Ашкенази съезживался при виде огромных матросов с грудью нараспашку, от которых веяло радостью, распушенностью, справедливостью и свирепостью одновременно.

— Я из тех, кто бежал из Польши от войны, — отвечал он жалостливым голосом.

— Тебе, папаша, придется потесниться, — с издевкой говорили эти краснолицые парни. — Ты один слишком много места занимаешь по нынешним временам, и вещей у тебя тоже слишком много, целый мебельный магазин.

Они отбирали у него комнату за комнатой, пока комната у него не осталась всего одна. Солдаты и матросы жили теперь у Макса Ашкенази прямо за стеной. Они с радостью разрубали его дорогую мебель и топили ею камин и жестяные печки. Каждый удар топора отдавался в сердце Макса Ашкенази болью. Они приводили девиц, устраивали гулянки, пили стаканами самогон, играли на гармошках, плясали, смеялись и развлекались со своими любовницами. Макс Ашкенази лежал у себя в большой широкой кровати, укрытый всеми одеялами и соболиной шубой в придачу, чтобы не замерзнуть ночью, когда трубы в стенах лопались от холода. Без света, огня, воды и сна он лежал долгими зимними ночами, не в силах сомкнуть глаз. В соседних комнатах матросы гуляли и пели, целовались и дрались. Макс Ашкенази напряженно прислушивался к веселью этих людей, у которых не было ничего, ко-

торые каждый день вставали на бой, и завидовал им. Стены содрогались от их хохота, от их плясок и криков. Все хвори, колотье в боку, сосание под ложечкой, изжога от плохой еды, желудочные судороги, все болячки, скрывавшиеся в его немолодом теле и не дававшие о себе знать в прежние времена, когда он был занят выше головы, когда жизнь его была сплошным бурным созиданием, теперь вылезли наружу. Они кружили по его маленькому телу, они праздновали триумф, они мучили. Не было ни капли горячей воды, ему даже негде было справить нужду в собственном забитом вещами доме. От мороза все в его комнате отсырело и покрылось наледью.

Нет, этот человек, воровавший большими фабриками и большими делами, умевший делать состояния, способный на самые замысловатые выдумки и комбинации, не мог, оставшись один, без слуг, позаботиться о своем собственном маленьком теле.

Они смеялись над ним, эти девицы в сапогах, эти парни в полушубках, когда он с китайским фарфоровым кувшином шел в боковой переулочек за колодезной водой. Он оскальзывался на замерзшем брусчатнике, где другие шли спокойно, как по доскам. Он неловко привязывал ручку кувшина к веревке колодца и косолапо черпал воду, едва не падая в него. Он больше разливал, чем приносил домой. Его рука, которая так быстро работала карандашом, исписывая все бумаги, скатерти, столы, когда он высчитывал прибыль от сделок, не умела поднять топора, чтобы разрубить какой-нибудь предмет домашнего обихода и вскипятить себе чаю. Вместо того чтобы ударить по вещи, он едва не попадал себе по ногам. Макс Ашкенази почти все время сидел в комнате. Он был растерян и опускался.

Как вечность тянулись для него длинные, бессонные зимние ночи. Он вздрагивал от каждого шороха, от каждого выстрела на улице. По ночам часто бывали пожары. От жестяных печек, которые ставили повсюду, от труб, которые выводили наружу через окна у дверей, квартиры загорались.

Воды не было, пожарные не приезжали, и большие городские дома пылали по ночам, как деревенские амбары, свободно и беспрепятственно, освещая темные улицы. Дрожащее эхорыданий погорельцев далеко разносилось в ночной тишине.

Еще сильнее Макс Ашкенази напрягал слух, когда раздавался дверной звонок. Ночью случались обыски. Под покровом темноты вооруженные люди нападали на дома, вытаскивали из постелей бывших богачей и аристократов и переворачивали все вверх дном. Солдаты тыкали штыками в матрасы, шарили всюду, вынюхивали. Искали оружие, секретные документы, тайники с золотом и бриллиантами.

Макс Ашкенази оружия не держал, подозрительных бумаг тоже. Ему они были ни к чему в этом чужом русском городе, где он теперь застрял. Этот город привлекал его, пока приносил ему пользу, позволял проворачивать выгодные сделки, делать деньги и обрести имуществом. Теперь он был ему чужим, как вокзал, с которого торопятся побыстрее уехать домой. Правда, новые люди этого города причинили ему много вреда. Они ограбили его, обобрали, как разбойники взяли за горло и выгнали его из домов, фабрик, банков. Они заслуживают того, чтобы их живьем пустили на ремни, но он не собирался мстить им сам. Их конец придет. Он был уверен в этом, потому что снести такое невозможно. Мир не будет молчать. Мир с ними и без него разберется. Он знал это. Он, Макс Ашкенази, деловой человек, фабрикант. Его задача — торговать и богатеть. Сражаться, бегать по улицам с винтовками, стрелять из револьвера — не его дело.

Нет, он не боялся, что эти люди найдут у него оружие или секретные бумаги. Он не держал ничего подобного. Однако другие запрещенные вещи у него были. Во-первых, в эти беспокойные дни он вывез немного товара со своих складов и на всякий случай спрятал их, рассовав по подвалам друзей и знакомых. Значительная часть этих товаров лежала в его собственном подвале во дворе. Цена на них росла с каждым днем. Макс Ашкенази хотел отделаться от них как мож-

но скорее, продать за сколько получится, лишь бы избавиться от них. Однако сбыть эти товары было трудно. Их нельзя было перевозить открыто, требовалась полная секретность. Нельзя было и связаться с купцами. Все были растеряны и напуганы.

Во-вторых, он заблаговременно запас немного бриллиантов и золота, которые не запер в сейфы, а схоронил в тайниках у себя дома, в самых потайных местах, искать в которых никому не придет в голову. Бриллианты он сам по ночам зашивал в одежду кривыми неловкими стежками, прятал в соболиную шубу, под воротники зимних пальто так, чтобы рукой их нельзя было нащупать. Он ожидал несчастья, сердце подсказывало ему, что в стране произойдет что-то плохое, и он отложил кое-что на черный день.

Он хотел бежать из этого города, в котором не осталось ничего, кроме красных ленточек, приказов на стенах, вооруженных людей, улиц, полных митингов и прокламаций. Для него этот город таил одни опасности. Однако выехать из него было тяжело. Надо было иметь разрешение и другие официальные бумаги, но Макс Ашкенази совсем не улыбалось слоняться по красным учреждениям, где сидели эти новые люди, мужчины в шапках и женщины в крестьянских платках. Он хотел, чтобы его имя как можно реже звучало в городе, комендантом которого был его земляк Павел Щиньский. Он помнил его, этого Щиньского, еще по Лодзи. Не раз в пятом году ему приходилось иметь дело с его людьми, забастовщиками. Он знал, что ему, Макс Ашкенази, нечего ждать добра от этого типа, в руках которого сейчас находятся его жизнь и смерть.

Кроме того, нельзя было вывезти деньги, за исключением некоторой суммы в бумажных банкнотах, ценность которых была невелика. Макс Ашкенази хотел бежать из страны, выбраться за границу, чтобы снова оказаться в Лодзи. Однако бросить свои богатства он не мог. Что он будет делать в большом мире без денег? А выезжать с имуществом было опасно.

Обыскивали на каждом шагу. По нынешним временам за такие дела можно было стать на голову короче. Он искал возможностей выбраться из страны тайно, при помощи доверенных, опытных людей и хорошей взятки, но не так легко было найти подобных благодетелей, которым можно было бы вручить свою судьбу. Мир полон проходимцев и мошенников, и Макс Ашкенази продолжал сидеть в городе, как на горячих углях. Он жил на то, что носил из дома вещи на рынок и продавал. Он сам покупал себе продукты у крестьянок, сам готовил еду. Богатства он приберегал, ждал, когда подвернется благоприятный момент и он сможет вырваться из этого обезумевшего города.

Он дрожал по ночам, пугался каждого стука, каждого звонка в дверь, каждого скрипа на лестнице, вслушивался, не идут ли с обыском, не хотят ли отобрать его богатства и жизнь. Он часто видел на улицах грузовики с арестованными, которых окружали солдаты с винтовками. Эти люди были схвачены за принадлежность к аристократическим родам, за сокрытие товаров, за спекуляцию. В городе не обсуждали громко их судьбу, люди боялись слово сказать, однако шепотом поговаривали, что те, кого увезли на грузовиках, возвращаются редко. Он, Павел Щиньский, быстро разделяется с ними. Говорят, темными ночами их вывозят за город, ликвидируют и засыпают их трупы в ямах так, чтобы никто бы даже не узнал, где их косточки лежат. И шум грузовиков по ночам сливался в сознании Макса Ашкенази с треском винтовочных выстрелов.

Макс Ашкенази не знал покоя, лежа бессонными ночами под грудой одеял и соболиной шубой. Он вздрагивал от каждого мышинного шороха, от каждого шага, гулко отдававшегося на пустой улице. Хотя его ценности были спрятаны, рассованы по углам, зашиты, он дрожал за них. Кто знает, не отыщут ли его золото солдаты и их командиры, не отберут ли его, не засадят ли самого Ашкенази в тюрьму, а может, и вообще увезут его ночью на грузовике?

Он не был уверен в своих соседях по двору, знавших его по прежним временам. Правда, они всегда вежливо с ним здоровались, снимая перед ним шапки. Однако теперь пришло их время, и они могли донести на него. Еще меньше он доверял матросам и солдатам, поселившимся в его квартире. Он каждую минуту ждал, что они вышибут дверь его комнаты, которую он всегда держал на запоре, отберут у него последнее, а ему самому всадят пулю в лоб или просто придушат, чтобы петух не кукарекал. И никто не узнает, где его косточки зарыты, — закопают где-нибудь, как собаку, вместе с иноверцами и нищими.

Один как перст, всеми покинут был Макс Ашкенази в эти новые дни в перевернутом с ног на голову русском городе. Его терзала жалость к самому себе, ведь жизнь его была печальна и одинока.

Чего он достиг здесь, в этом чужом городе? Он приехал за деньгами. Он поставил на Россию, бежал из родного города, вывез товары, забрал машины с фабрики, погубил себя, свое дело, свое предприятие, покинул свой дворец, свою жену, хотя она просила его остаться. Он хотел ворочать миллионами в этом русском городе, потому что не верил в немцев, потому что потерял доверие к оторванной от России Лодзи. И он действительно сделал состояние, заработал миллионы, деньги сами шли ему в руки. Но где все это? Что от этого осталось? Ничего. Теперь у него ни кола ни двора, весь его труд, вся его долгая напряженная работа пошли коту под хвост. Он даже не может себе позволить поесть как следует, не спит ночами, хотя старость не за горами. Все заработанное им добро унесено ветром, досталось Фоням в рваных шинелях.

Его голова, его непомерный ум каждый раз ввергают его в ад. Нет, не надо так много думать, надо жить, как живется, принимать жизнь такой, какая она есть, смотреть на нее так, как его брат Янкев-Бунем.

Теперь он отдавал должное своему брату, которого всегда презирал. Он больше не питал к нему ненависти, он толь-

ко завидовал ему. Янкев-Бунем остался в Лодзи. Живет он, наверное, хорошо, спокойно живет, удобно и безопасно. Он не размышлял так много, не лез из кожи вон. Он остался в Лодзи, как сделали многие другие, пошел по накатанному пути. Теперь он, конечно, сидит со своей Гертрудой и с их детьми.

Макс Ашкенази вспомнил свою Гертроду. Она была хорошая девочка, в кои-то веки подумал он о дочери, красивая и умная, с мужским умом. Как повезло этому Янкеву-Бунему заполучить ее в жены, ее, которая могла бы быть его дочерью. А он, отец, даже не был на ее свадьбе, никогда не приходил к ней в дом. Он был для нее чужим. Теперь, бессонными ночами, это очень печалило и мучило Макса Ашкенази. С Гертруды его мысли перешли на сына, Игнаца. Он, должно быть, уже совсем взрослый. Макс Ашкенази попытался мысленно вызвать образ сына, но не смог. Все было каким-то расплывчатым и стертым. Как бы он хотел его сейчас увидеть! Правда, Игнац не был хорошим сыном, голова у него была тупая, и он ненавидел его, родного отца. И все же он, Макс Ашкенази, хотел бы его увидеть, узнать, что с ним, как он выглядит, как живет. Возможно, у него уже есть своя семья, жена, дети. А вдруг, вдруг с ним, не дай Бог, что-то случилось? Макс Ашкенази слышал, что Игнац вроде бы пошел добровольцем во французскую армию. Его всегда тянуло к пустым вещам, к диким развлечениям иноверцев. Кто знает, не ранен ли он или, не дай Бог, того хуже? Макс Ашкенази вздрогнул от этой мысли.

Потом он стал думать о ней, о Диночке. Как много лет назад, она вдруг предстала перед его глазами, молодая, мягкая, красивая и дразнящая. С болью вспоминал он о ней, об их жизни. Правда, она не любила и чуждалась его, но, может быть, она не так уж была виновата в этом. Он был слишком занят, слишком увлечен своими делами, не пытался побыть с ней, приручить ее. Развод вообще был безумием. Она не хотела разводиться. Он ее этим обидел, унизил перед людьми,



навязал ей развод силой. Она ведь начала тогда выказывать любовь к нему, заглядывать ему в глаза. Ему не в чем было ее упрекнуть. Она всегда вела себя достойно, не позорила своего мужа, как делают другие жены, не пятнала его имени. И как раз тогда, когда она изменилась, стала говорить о том, чтобы жить как люди, видеть радость от детей, на него нашло это безумие с разводом.

Он любил ее и помнил, что даже во время развода она выглядела великолепно. Но он оттолкнул ее от себя, поменял на мадам Марголис. Она умная, его вторая жена, которая живет теперь одна в Лодзи. Хотя у нее в Лодзи никого не было, она осталась там, чтобы стеречь его имущество. Она человек с умом, она уважает его, относится к нему достойно. Но счастья он с ней не знал. Она старше его и дурна собой. Он не мог найти в ней утешение после жестких дней торга, крика, беготни, не мог прижаться к ней и забыть все свои горести, ничтожные по сравнению с любовью, нежностью и домашним счастьем. Она была ему товарищем, а не женой. Ночи с ней были пустыми, бессмысленными. Диночка цвела как роза, когда он ушел от нее. И чего ради он это сделал? Ради денег, ради богатства. И вот оно провалилось ко всем чертям. Он остался один в чужом городе, чтобы сдохнуть неприкаемым, как бездомная собака. А ведь все могло быть совсем иначе, он мог бы жить ровно, счастливо, с женой, детьми и радостью в сердце.

Он жалел себя, оплакивал свою несчастную жизнь, которую он погубил собственными руками. Он всегда только вредил самому себе.

Макс Ашкенази с умилением вспоминал о том, что он кое-что оставил в Лодзи. Фабрику, дворец, дома. Сложилось так, что он не сжег за собой все мосты. Он еще может туда вернуться. О, теперь уж он будет знать, как жить! Он помирится с детьми, с братом. Зря он постоянно ссорился со всеми вокруг, отдалялся от всех и вся. Теперь уж он будет умней, жизнь научила его, преподавала ему хороший урок. И к ней, к

Диночке, он проявит свое дружелюбие, поможет ей. Кто знает, как у нее там дела?

С людьми он будет жить хорошо, он больше не будет с ними ругаться, не будет обращаться с ними жестко. Не из-за чего гробить свою жизнь. Человек предполагает, а Бог располагает. К чему хватать звезды с небес, надрыватьсья? Лучше он займется благотворительностью, будет совершать добрые дела. Главное — выбраться отсюда, уехать из этого ада, из этого чужого русского города, в котором, кроме опасностей, его ничего не ждет. Только бы ему довелось вернуться в Лодзь, в свой родной город, к близким, уж тогда бы он себя показал. Ничего, Ашкенази все еще Ашкенази. Такие не продаются по три штуки за грош. Он сделал состояние в Петербурге и там тоже своего не упустит. Он бессилён сделать что-либо в сошедшей с ума стране, где он, Макс Ашкенази, должен ходить вместе с простолюдинами и простолюдинками по воду, рубить дрова, торговаться на рынке с крестьянками из-за бутылки молока. Однако в приличном мире, среди нормальных людей, там, где торгуют и разъезжают свободно, он свою силу покажет, ведь даже к немцам можно приспособиться. Мир всюду остается миром, если он не вывернут наизнанку. Он обскочет эту немчуру. Ничего, он уже не раз имел с ними дело.

Макс Ашкенази даже перестал скорбеть по поводу больших убытков, понесенных им в России. Ну и черт с ними! Пусть подавятся! Им это все равно выйдет боком. Они только разрушат свою страну. Он не возражает, пусть всё берут себе. А он будет думать, что с небес снизошел огонь и пожрал плоды его рук, что пришла эпидемия, напасть. Что было, то было. Видно, так предначертано. Главное — суметь выехать, выбраться отсюда. Слава Богу, он додумался не класть в сейф, а держать кое-какое золото и бриллианты при себе и к тому же заблаговременно припрятал товар для подходящей сделки. Лишь бы можно было благополучно выбраться из этой дикой страны, а там он уж с Божьей помощью не пропадет.

С деньгами в приличных странах еще можно всего добиться. Только бы вырваться из этого ада.

Он, Макс Ашкенази, был готов отдать большую сумму, заплатить золотом, лишь бы его вывели отсюда надежным путем с его скромными сбережениями, причем как можно быстрее, потому что еще чуть-чуть — и будет слишком поздно.

Спасти было нелегко. Его близкие и знакомые разбежались, исчезли в эти горькие дни без следа. В домах, где прежде были свои люди, теперь сидела всякая солдатня, матросы и рабочие, не особо желавшие отвечать на расспросы о прежних хозяевах. Среди этих новых людей, нынешних аристократов, у него знакомых не было. Нелегко было найти выход — и товары сбыть, и выбраться самому. Страшно было слово сказать. Однако Макс Ашкенази не утратил мужества. Хотя он на своем веку встречал людей, которые плевали на деньги и готовы были жизнь отдать за что-то еще, всяких полумных фантазеров, которые сами жить не желали и не давали жить другим, он, тем не менее, понимал, что настоящих безумцев можно пересчитать по пальцам. По большей части люди кое-что соображают, они знают, что такое деньги, и хотят подзаработать. Так было, так есть и так будет.

Он изучил их, этих взяточников, существовавших во все времена и при всех режимах, и был уверен, что и среди нынешних правителей хватает охотников до хорошего заработка, есть ребята, которые имеют в виду не Пасхальное предание, а клёчки<sup>1</sup>. На улицах только и говорили об этих поборниках справедливости, которые продавали на рынках вещи, изъятые у богатых в пользу бедных. Макс Ашкенази ничего другого и не ждал. Он был убежден, что, как и от чиновников старого режима, от нынешних деятелей в кожанках за пару рублей можно всего добиться. Беда только в том, что неизвестно, как к ним подойти. Как узнать, у кого из них есть мозги, а кто действительно принимает всерьез всю эту бол-

---

<sup>1</sup> То есть скрывают за разговорами о высоких идеалах свое стремление к материальным благам (еврейская поговорка).

товню на митингах? Хуже всего то, что даже на своего, на еврея, теперь нельзя положиться. Как прежде говорили: «Если человека зовут Абрам, из его кастрюльки можно есть и нам». Теперь совсем другие времена. Теперь только Бог милосерден. Евреи при этих красных стали хуже иноверцев. То, что ты еврей, для них ничего не значит. Нет, говорят они, ни евреев, ни иноверцев, а есть буржуи и пролетарии.

Макс Ашкенази много думал в бессонные ночи о том, как бы подобраться к кому-нибудь из этих новых людей, лучше к какой-нибудь шишке, повернуть свое дело, достойно отплатить благодетелю за труды и честно-благородно выйти из города к какой-нибудь границе. Он был готов отправиться куда глаза глядят, даже в Японию и Китай, лишь бы выбраться из этой страны. На земле не было места, которое казалось бы ему слишком далеким или недосыгаемым. И он был уверен, что помощник подвернется. Как сказано: «Я старался, и я нашел»<sup>1</sup> — когда ищут, находят. Но найти надо именно крупную рыбу. Всегда лучше иметь дело с головой, чем с хвостом, да так оно и надежнее, поскольку что сделает большой, не сделает маленький. Нет, Макс Ашкенази не сомневался, что встретить он нужного человека — все у него получится. А такой человек найдется. Это ясно как день.

Главное не вешать нос, быть сильным, держать себя в руках, цепляться за жизнь зубами и ногтями, не падать, не дай Бог, не скатываться по наклонной!

Он, Макс Ашкенази, снова потихоньку пришел к Богу, вспомнил Его после того, как совсем забыл о Нем за своими торговыми делами. Он даже молился теперь каждый день, ходил в синагогу, читал перед сном «Слушай, Израиль». Он ждал помощи от Бога. Он вцепился в жизнь стальной хваткой и держался из последних сил — лишь бы только не ослабеть!

Он дрожал по ночам за свои сокровища, боялся, как бы их, не дай Бог, у него не отобрали. Он знал, что без них он пропадет, погибнет с голоду, не сможет выбраться отсюда, отбросит

---

<sup>1</sup> Вавилонский Талмуд, раздел «Мозд», трактат «Мегила», б: 2.

копыта в этом чужом беспутном русском городе, и тогда его похоронят в общей яме так, что даже следа и памяти о нем не останется. Он напрягал все свои силы, приюхивался и прислушивался из-под груды одеял и лежавшей мехом наружу шубы, отслеживая любой шорох мыши, пробежавшей по полу в напрасных поисках тепла и еды. Он вслушивался в потрескивание замерзших труб, в шепот матросов и их любовниц в соседних комнатах, в каждый скрип ворот.

Выстрелы на улицах не прекращались. Неизвестно было, кто стреляет, куда стреляет и в кого стреляет. Время от времени какой-нибудь грузовик разогнался и врезался в здания, разбивая витрины. Макс Ашкенази с головой прятался под одеяла, как ребенок, который ищет защиты, пряча голову в подушки, и шептал дрожащими пересохшими губами молитвы к Богу, прося защитить его от зла и несправедливости и спасти от преждевременной смерти среди чужаков и врагов.

Винтовочные выстрелы на улицах сопровождали тихий шепот его ночных молитв.

## Глава тринадцатая

**И**скомый человек явился Макс Ашкенази. Он явился ему в Божьем доме, как истинный Избавитель.

Когда Макс Ашкенази выходил после молитвы из маленькой синагоги, где евреи молились, вздыхали, говорили о курсах валют, о дороговизне хлеба и еврействе, переживающем в эти дни свой закат, рядом с ним оказался маленький круглый человечек с улыбочным лицом, с круглыми черными усиками и круглыми черными глазами, хитрыми и детскими одновременно. С глубоким поклоном этот человечек снял перед ним шляпу, какую редко можно было увидеть теперь в этом красном городе.

— Мое почтение, господин Ашкенази! — поприветствовал его по-русски этот круглый человечек с такой неприужденностью, словно они встретились не в охваченном революцией городе, а в старые добрые времена, когда богачу принадлежал весь мир. — Очень, очень приятно вас видеть!..

Макс Ашкенази смотрел на этого занятого круглого человечка и никак не мог припомнить, где он его видел. Все то время, что Макс Ашкенази смотрел на него, круглый человечек не переставал улыбаться, демонстрируя белоснежные на фоне его черных усов зубы. При этом он так старался жестами и мимикой помочь Максу Ашкенази его вспомнить, как делает преданная мать, стремясь помочь своему ребенку чихнуть, когда это у него никак не получается.

— Ну, ну, ну, — подбадривал он Макса Ашкенази. — Присмотритесь хорошенько, голубчик. Не может быть, чтобы вы не вспомнили...

Будь это раньше, до революционной напасти, Макс Ашкенази ни за что не стал бы останавливаться рядом с незнакомым типом. Мало ли гонялось за ним типов такого рода, всяких коммивояжеров, комиссионеров, маклеров с разными деловыми предложениями. Он всегда избегал их. Он редко подавал им руку, разве иной раз совал им палец, лишь бы отделаться. Бывало, он даже не отвечал на их приветствия, делая вид, что не замечает их. Наверняка это один из бесчисленных коммивояжеров, крутившихся вокруг него. Все они его знали, все они здоровались с ним, а он на них толком и не глядел, поэтому все они были для него на одно лицо. Однако теперь, в этом ужасном городе, в эти горькие времена он, Макс Ашкенази, смотрел на людей иначе. И сейчас он мучился, пытаясь вспомнить, где же он встречал этого занятого человечка. Он не смог это вспомнить, даже несколько раз растрепав свою бородку. Веселый человечек распахнул свои круглые черные глаза, смотревшие по-детски и в то же время с хитринкой, и наконец представился сам.

— Мирон Маркович Городецкий, коммивояжер, ваш старинный покупатель, господин Ашкенази.

Макс Ашкенази все еще трепал свою седую бородку. Человечек вздохнул, однако в его вздохе было больше радости, чем печали.

— Была бы у меня сейчас половина того, что я у вас купил, я бы больше не нуждался, господин Ашкенази, нет, нет... Однако что ж!

Максу Ашкенази сразу пришло в голову, что с этим человеком стоит пройти часть пути и перекинуться парой слов. Чем-то ему понравились и его занятный вид, и его шляпа, которую он носит в городе рабочих кепок, и его проворность и жизнерадостность. Безмерное спокойствие и уверенность в себе читались в его облике. Он заставлял вспомнить о старых добрых временах.

— Вы петроградец? — спросил Макс Ашкенази, чтобы завязать беседу.

— Сам я одессит, — быстро ответил человечек. — Я родился в Одессе, но жывал чуть ли не во всех городах России, и, если хотите, то мы вообще лодзинские; мальчишкой я приехал в Лодзь, работал в крупнейших фирмах. Эх, хороший городок Лодзь. Я очень славно проводил там время, ваши женщины весьма аппетитны, все до единой красавицы.

Человечек высунул кончик своего красного языка и облизал оба уса, показывая, как ему нравятся женщины Лодзи. После этого он продолжил было расписывать свои успехи у лодзинских красавиц, но Макс Ашкенази перебил его. Он никогда не любил пустой болтовни купцов и коммивояжеров о женщинах и распутстве. Теперь ему тем более не было дела до подобного вздора. Он хотел поговорить о практических вещах, пощупать пульс у этого человечка и понять, может ли он принести ему пользу.

— Теперь добрые семь лет закончились, господин Городецкий, — осторожно попытался он перевести беседу на интересующую его тему. — Конец коммивояжерам!

Человечек остановился, бросил веселый взгляд на Макса Ашкенази, и вдруг взял его под руку и приблизил к его уху свои усы.

— Чтобы в поганом горле Щиньского вскочило столько же болячек, сколько дел проворачивает Мирон Маркович Городецкий в нынешнем Петербурге ежедневно, — прошептал он, щекоча ухо Макса Ашкенази своими усами.

— А что говорит Щиньский? — ткнул Макс Ашкенази пальцем в стену, заклеенную приказами о реквизициях, наказаниях за спекуляцию, торговлю, сокрытие товаров и другие грехи.

Веселый круглый человечек посмотрел на Макса Ашкенази с выражением такой жалости на лице, словно тот бредил в лихорадке.

— Щиньский пишет, а Городецкий слушает его, как уличную собаку, — тихо сказал он, осторожно стреляя своими круглыми глазами во все стороны. — Только вчера я продал груз товаров и прилично заработал. Дай Бог, чтобы и дальше было не хуже...

Макс Ашкенази почувствовал, что кровь в его жилах побежала быстрее. Провидение само привело его к тому; к чему он так стремился. Он не верил собственным ушам. Человечек не давал ему думать.

— Очень рад тому, что я вас встретил, господин Ашкенази, — говорил он. — Молюсь я, должен вам признаться, редко, но сейчас я читаю кадиш, поэтому и хожу в синагогу, хоть я и занят. Кадиш все-таки надо читать...

— Конечно, конечно, — пробормотал Макс Ашкенази, довольный тем, что этот человек читает кадиш. Он стал очень набожен в последние месяцы, с тех пор как на страну обрушилось несчастье. Упомянув о кадише, который он считает необходимым читать несмотря ни на что, этот человек окончательно понравился Максу Ашкенази. Он даже взял его теперь под руку, как делал когда-то в разговоре с очень важными русскими купцами.



— Вы птица высокого полета, как я вижу, — польстил он ему.

Круглый веселый человечек принял этот комплимент.

— Я всегда смеялся над законами, — тихо сказал он. — Годами мне не давали жить в России, разъезжать по городам, отказывали в праве жительства. Ну а я на них плевал и проехал всю Россию. Нет уголка в этой стране, где не знали бы Мирона Марковича Городецкого. Да я перед глазами у самих полицейских жил. Это же было лучше всего. Самое надежное. Теперь вот можно жить повсюду, но торговать не дают. А я снова на них плюю и делаю то, что считаю нужным. И опять у этих комиссаришек под носом... Это самый надежный способ, поверьте...

Он снова остановился, глядя на Макса Ашкенази словно впервые, и описал в воздухе круг своей жирной круглой ручкой.

— Все они у меня вот где, — сказал он и сжал ладонь в кулак. — Живи и другим жить давай!..

С каждой минутой этот человечек нравился Максиму Ашкенази все больше. Вот он, спаситель, о котором он столько мечтал, тютелька в тютельку. Макс Ашкенази ненадолго задумался, прикидывая, как бы вернее приступить к делу. Человек такого типа был необходим ему с первого дня. Похоже, он из тех, для кого нет серьезных преград на свете, кто знает мир и знаком всему миру, кто в огне не горит и в воде не тонет. Макс Ашкенази помнил таких молодчиков по прежним временам. С их энергией и жизнерадостностью они горы сворачивали, доставляли лодзинские товары и саму Лодзь в самые глухие уголки Российской империи, обогащая этот город. Их любят, этих ребят, русские от них просто без ума, они обожают и их жизнелюбие, и их шутки, и их умение свести стену со стеной. Эти живчики в два счета разнохивают, кто из власть имущих взяточник, легкомысленный тип, и обделывают с его помощью разные грязные делишки. Макс Ашкенази решил держаться к этому человечку поближе, сбить

при его посредстве спрятанные в подвалах товары, избавиться от них, все на теперешний момент ненужное превратить в деньги, а главное — сбежать отсюда, используя связи своего нового знакомца, убраться, пока не поздно, из этого города. И убраться по-хорошему, с согласия самих комиссаров. Расчетливый, осторожный, потому что молчание — золото и потому что жизнь и смерть зависят от языка, Макс Ашкенази не торопился выложить все, что было у него на уме. Он тщательнейшим образом обдумывал каждое слово. Веселый человек не давал Максу Ашкенази думать. Он терпеть не мог молчать.

— Как же вы устроились посреди этого несчастья? — вдруг спросил он у Макса Ашкенази, пожимая ему руку.

Ашкенази ответил уклончиво.

— Да так... — пробормотал он.

Человечек понял его с полуслова.

— Послушайте, господин Ашкенази, — серьезно, поделовому заговорил он. — Полагаю, мы могли бы сделать дело. Я не думаю, что вы такой дурак, чтобы отдать все им, этим бандитам, как они того требуют. Умные купцы своевременно припрятали кое-какие товары. Теперь они их продают за хорошие деньги. Товар идет нарасхват. Я могу достать вам товаров сколько хотите. О вывозе не беспокойтесь, оставьте это Мирону Марковичу Городецкому. А чтобы договориться о коммиссионных, нам ведь не нужно идти к раввину...

Макс Ашкенази молчал. Он любил как следует просчитать любое дело, а не бросаться в него сломя голову. Человечек не дал ему промолчать.

— Если у вас есть сомнения, я могу предоставить вам открытый счет на любую сумму. А может быть, вам нужна иностранная валюта? Это тоже можно. У Мирона Марковича Городецкого есть всё... Я знаю, что, когда собираешься уехать, иностранная валюта лучше всего...

Макс Ашкенази отшатнулся от веселого, болтливого человека и смерил его взглядом с головы до ног.

— Разве вам кто-то говорил об отъезде? — спросил он его с такой тревогой, словно тот заглянул своими круглыми черными глазами в самое его сердце.

Веселый человечек вдруг стал серьезным.

— Послушайте, господин Ашкенази, — заговорил он тихо и уверенно, отбросив свою прежнюю плутоватую манеру речи, — я знаю, кто вы такой. Ладно я, я всегда был нищим. Нищим и останусь. Мне некуда ехать. Мне уж придется как-нибудь устраиваться здесь. Пока смогу, буду крутиться, а когда ветер переменится, одним Городецким на этом свете станет меньше, а на том свете больше. А вы поедете домой. Вам есть к кому и к чему ехать. Доверьтесь мне, и я вам это устрою. Я уже не одного человека отсюда вывез через своих людей. Могу показать вам, какие мне с той стороны шлют письма.

И прежде чем Макс Ашкенази успел выговорить хоть слово, человечек вытащил из-за пазухи большой портфель и принялся проворно рыться своими короткими мясистыми пальцами в пачке каких-то бумаг.

— «Дорогой Мирон Маркович», — принялся он зачитывать маленькие измятые листы.

Макс Ашкенази не хотел слушать все это на улице.

— Перестаньте! Бог с вами! — уговаривал он его. — Ну зачем вы мне это читаете?

Человечек спрятал бумаги назад в портфель и догнал своими короткими ножками широко шагавшего Макса Ашкенази.

— Господин Ашкенази, сам Бог нас свел, — сказал он. — Уж мы что-нибудь устроим. А если вы желаете получить у меня открытый счет, то пожалуйста, сколько потребуете... Причем в настоящих керенках, а не в этих нынешних бумажках<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Несмотря на слабость всей валюты постреволюционной России, существовала некоторая разница между «настоящими» керенками Временного правительства и советскими керенками, или пятаковками. Последние пользовались еще меньшим доверием населения, чем «настоящие» керенки.

Макс Ашкенази не хотел брать денег.

— Всего хорошего, — протянул он руку своему новому знакомому. — Мы поговорим потом.

— В синагоге, где я каждый день читаю кадиш, — ответил человек. — Мое почтение!

Он поглубже натянул на голову шляпу, какая редко встречалась теперь в этом красном городе, помахал своей круглой ручкой и шутливо сказал на прощанье на лодзинском немецком языке:

— Честь имею, господин директор!

Макс Ашкенази ушел встревоженный и одновременно полный надежд. Теперь этот город казался ему еще более чужим, чем прежде. Камни петроградских мостовых жгли ему ноги, как раскаленные угли...

## Глава четырнадцатая

**Н**изенький человек с голым черепом, вождь новой России, любил математику.

Еще в мальчишеские годы, учась в гимназии, он получал от своих педагогов только пятерки за отличное выполнение математических заданий. В противоположность большинству ребят, которые предпочитали литературу и пренебрегали тяжелыми книгами по математике, он мог часами сидеть над самыми сложными задачами и решать их до тех пор, пока у него не сходился ответ. Также он любил, чтобы и в мире все сходилось. Он не выносил неясностей, путаницы, не терпел никаких излишеств. Он полагал, что все должно быть рассчитано, разумно и точно. Из уроков он учил только то, в чем видел пользу и прямой смысл. Практичность была заметна и в его одежде. Он не носил шарфиков, украшений, только простую одежду, необходимую для того, чтобы по-

крыть и согреть тело. Язык его тоже был лишен красок и изящества, он был очень точен, ясен, логичен и конкретен. Голос его был сухим и бесцветным. Тело коротким, четырехугольным, как цифра. К двадцати годам волосы и те полезли из его головы, оставляя его череп гладким, чистым, лишенным балласта.

Когда в ранней юности он оказался втянут в тайные революционные кружки, он и новую идею, социализм, воспринял математически, безо всякой сентиментальной мишуры, которую примешивали к ней в России все прочие. Он быстро отмежевался от романтических, с головой ушедших в эмоции народников и предался ясному и разумному марксизму.

Он просчитал идею, как задачу. Он видел, что трудящихся на свете много, а эксплуататоров мало. Он знал, что большее число важнее меньшего, что большее должно перевесить. Однако по историческим причинам случилось так, что малое число подмяло под себя большое, как цифра, вставшая во главе длинного ряда нулей и подчинившая их себе. Как таковые нули — ничто, но они встают позади возглавляющей их цифры и многократно увеличивают ее вес. Это неправильно, неразумно. На свете должно быть равенство, должен быть порядок. Каждая ошибка — безумие, хаос, надо, чтобы она была исправлена, чтобы все сходилось. Надо сделать так, чтобы нули перестали быть нулями и превратились в цифры, в равноценные цифры. А тех, кто хочет продолжать эксплуатировать нули, надо стереть, как плохую цифру, перебивающую ровный счет и разрушающую гармонию.

С того дня, как он пришел к этому убеждению, он делал все, чтобы ввести исторический порядок — заставить нули взбунтоваться, стереть их эксплуататоров.

Он стирал ложный мир жестко, без жалости, без сантиментов. Он знал, что в математике чувствам не место. Здесь правит разум, точность, здесь все должно сходиться волос к волосу. Он не уважал половинчатых решений, этот человек с голым черепом. Один — это не два, а три — не четыре. Дей-

ствия должны быть абсолютны. Вот правильно, вот неправильно. Вот правда, вот ложь. Справедливости наполовину не бывает, так же как не бывает полуправды. Потому что если справедливость справедлива наполовину, то это несправедливость; а если наполовину правдива правда, то это ложь.

Если старый мир несправедлив, он несправедлив во всем. В своих законах и в своей морали, в своих заповедях и обычаях. Если новый порядок, который необходимо ввести, справедлив, то он справедлив во всем, что он ни делает, чтобы достичь справедливости. Это как уравнение, и лысый человек делал все, чтобы стереть ложный мир и создать вместо него новый, правильный. Ничто не могло остановить его на этом пути.

Он приказывал своим людям грабить банки, нападать на почтовые вагоны, чтобы на полученные грабежом деньги разворачивать агитацию на фабриках и заводах. Он приказывал печатать фальшивые банкноты и распространять их по городам и странам, чтобы иметь возможность вести революционную работу. Когда товарищи по партии призывали его предстать перед судом чести, упрекали за безнравственные поступки, он открыто насмехался над ними.

— Мораль применительно к аморальности аморальна, — с издевкой парировал он.

— Но вы пятнаете свое имя, — пытались переубедить его люди.

— Что мне мое имя? Меня интересует дело, — небрежно отвечал он.

Ради дела он шел на всё. Ради него он скитался по тюрьмам, голодал, ссорился с товарищами, с друзьями, терпел ненависть к себе, окружал себя дурными, но полезными людьми, возводил напраслину на противников, зная, что говорит неправду, не брезговал грязной политикой, раскалывал партии, подавлял людей, господствовал, правил; попирал равенство, честность и справедливость во имя равенства, честности и справедливости.

Будучи аскетом, способным жить на хлебе и воде, он сквозь пальцы смотрел на проступки своих нечистоплотных товарищей по партии, иной раз клавших партийные деньги себе в карман, если считал, что эти люди полезны для дела. Будучи скромником, никогда не крутившим романов, а то и вовсе жившим, как монах, он приказывал своим сподвижникам заводить амуры с девушками из богатых семей, жениться на них, брать большое приданое и отдавать деньги на дело революции. Ненавидя лжецов, подхалимов и карьеристов, он часто окружал себя лжецами, подхалимами и карьеристами, чтобы иметь возможность добиться желаемого, потому что с порядочными людьми у него не очень клеилось. Он терпел даже провокатора, хотя и знал о его провокациях, лишь бы из его уст в российской Думе звучали революционные речи в защиту рабочих и крестьян.

Ему было все равно, какими средствами и чьими руками он стирает старый несправедливый мир, чтобы создать новый, справедливый.

Теперь, когда он взял власть в свои руки, чтобы строить новый мир, он железной метлой сметал все, что преграждало ему путь к цели. Он не знал двух справедливостей, этот человек с голым черепом. Если он прав, тогда все остальные, не идущие с ним в ногу, не правы. Если его путь революционен, то прочие пути контрреволюционны. Революции безразлично, кто ее противники — классовые враги, стремящиеся к собственной выгоде, или люди, сбившиеся с дороги, творящие зло в стремлении к добру. Как бы там ни было, они вредны. И те и другие заслоняют цель, вносят смуту и разброд, мешают порядку и тянут назад, к безумию, путанице и абсурду. Таких надо устранять, стирать, как неправильную цифру, попавшую по ошибке в стройные расчеты, потому что одна неверная, не вычеркнутая вовремя цифра может испортить решение самой грандиозной задачи. Он разогнал вождей партий-соперниц, которые были когда-то его товарищами по тюремному заключению; он закрыл их клубы, газеты, а самих их выслал, вычистил и стер.

Некоторые из его людей пробовали его увещевать, просили сжалиться. У человека с голым черепом была для них только издевка во взгляде.

— Мы не должны повторять глупостей, которые допускало прежнее правительство. Мы должны устранить все, что стоит на нашем пути, — злился он на своих соратников, в первые дни хаоса отменивших без его ведома смертную казнь в России. — Без крови врагов колеса революции не будут крутиться.

— Но мы же сами боролись с прежним правительством из-за того, что оно снова ввело в стране смертную казнь! — не понимали его товарищи.

— Конечно, потому что мы хотели их победить! — насмешливо говорил им человек с голым черепом. — Теперь мы у власти, и мы должны устранить всех, кто будет нам мешать.

— Пересмотр закона об отмене смертной казни произведет плохое впечатление на народ, — растерянно говорили ему его люди.

— А зачем его пересматривать? — удивлялся человек с голым черепом. — Во имя революционного закона мы будем расстреливать незаконно...

Он видел мир ясно, как опытный хирург больного, лежащего на операционном столе. Не время миндальничать, когда больной лежит, погибая от пожирающих его недугов. В операционной нет места сантиментам и мягкосердечию, состраданию к стонам и вздохам напуганного пациента, а есть только долг, хладнокровие и твердая спокойная рука врача, которая безжалостно вырезает болезнь, выпускает гной и отравленную кровь, чтобы спасти тело и добиться его выздоровления.

Из статистических книг, которые постоянно изучал большевистский вождь, он в цифрах знал, как большинство умирает ради меньшинства. В то время как буржуазия теряет низкий процент детей, у рабочих и крестьян их погибает целая треть, потому что они лишены медицинской помощи, хо-



рошей еды, достойного образования. В то время как заразные болезни — скарлатина, оспа, дифтерит, холера, чохотка и т. д. — редко встречаются у представителей состоятельных классов, пролетариев они косят огромными косами. Пьянство, венерические заболевания, проституция и всякого рода другие напасти пожирают рабочий класс. Пролетариат — это те, кого засыпает при обвалах в угольных шахтах, кто гибнет при авариях машин, кто калечится на оружейных фабриках, кого съедают нездоровые условия работы. От голода в деревнях, от войн, которые разжигают капиталисты в своем стремлении к новым рынкам, гибнут десятки миллионов простых людей. И человека с лысым черепом не пугали упреки моралистов, выступавших против кровопролития. Кровь льется уже тысячи лет — не страшно, если ее прольется еще немного ради блага всего мира. Вождю революции не только не было жалко дурной крови классовых врагов, которую следовало выпустить, как больную кровь из больного тела, но даже пролитие чистой крови рабочих и крестьян не останавливало его на пути к намеченной цели. Он математически точно рассчитал, что если трудовой народ веками отдавал свою кровь за угнетателей, ради чуждых интересов на всякого рода войнах, то он может немного пожертвовать и ради себя самого, ради собственного спасения.

Когда будет введен социалистический строй, тогда и воздастся за проливаемую ныне кровь, многократно воздастся. Тогда не будет больше войн, борьбы, забастовок, революций. Не будет голода и безработицы, кризисов и эксплуатации. Социалистический строй будет беречь народ, он даст ему образование, медицину, чистоту, светлые дома, сады. Работать станут меньше, а отдыхать больше. Смертность сократится до минимума. Новое поколение будет развиваться свободно, расти здоровым, сильным, жизнерадостным. За считанные годы прирост населения перекроет все нынешние потери. Так что значит немного пролитой крови в свете вечной свободы, братства и счастья, которое придет навсегда? Надо

только вырезать зло из тела мира, зло, которое не дает прийти добру, а миру — стать раем.

Низкорослый человек с голым черепом видел этот новый мир так же четко, как решенную задачу на доске. Весь земной шар — одна страна, без границ, без барьеров. Земля повсюду обработана, освоена. Все люди живут в покое и благополучии, без тревог о завтрашнем дне, без мучительных мыслей о будущем. Нет моего и твоего, все равны. Люди трудятся с песней на своих рабочих местах, а потом отдыхают в общих садах, парках. Играет музыка. Школы и университеты открыты для всех, кто стремится к знанию. Никто не завидует друг другу, нет войн и армий, нет сабель и ружей, нет казарм и церквей. Только памятники Карлу Марксу стоят повсюду как символ свободы и социализма. Словно шахматная доска, мир предстал перед его глазами — равномерный, симметричный, разумный. Ни единая неточность не нарушала этой гармонии.

Для достижения гармонии ничего не жалко. Какое значение имеют кровь и слезы, временные страдания и зло, несправедливость и ложь, убийство и обман, жертвы и ошибки, если в итоге явится огромный, светлый, красивый, безупречный и вечный мир? Ради этой цели можно поступиться чем угодно. Мир будет добрым, здоровым, правильным, гармоничным, сущим раем, только если вырвать его из тисков заблуждений, вылечить его язвы, выпустить отравляющую его дурную кровь, очистить его от горстки паразитов, которые сосут его соки, подобно блохам, цепляющимся к запущенному, грязному телу. И очистить тело мира необходимо насильем. Грязный и завшивленный не хочет чиститься, потому что он несознателен, потому что, пока человек грызет один хрен, он думает, что ничего слаще не бывает. Как только с него снимут паразитов, он поймет, что это благо, он увидит, от какой напасти его избавили. Мир подобен глупому ребенку, который не дает вскрыть себе болячку и выпустить гной, потому что боится скальпеля хирурга. Однако хирург связывает ре-

бенку руки, насильно укладывает его на операционный стол и врачует его язвы.

Большевицкому вождю мир казался больным, отравленным. Он считал, что необходимо вылечить его, пока он не совсем разрушен, разъеден гангреной. Дурные врачи и знахари думают обойтись бабкиными рецептами. Они надеются заговорить мир от дурного глаза, хотят наложить на его болячки пластырь. Одни — потому что они проходимцы, другие — потому что они боятся взять в руки скальпель. Однако он — хирург, который знает, что пластыри и бабушкины рецепты не спасут. Надо пустить в дело скальпель, надо резать. Будет больно, но потом благодаря этой временной боли глупый ребенок будет счастлив.

Для начала надо вылечить одно место, один крупный орган мирового тела, великую Россию, составляющую шестую часть земли. Другие органы ей немедленно позавидуют и последуют по ее пути. Кусок Европы уже отделился и трясет шаткие опоры старого мира. В Германии, Австро-Венгрии, в разных краях и странах угнетенные вылезли из своих щелей, чтобы бороться с поработителями. Пусть они только увидят перед собой великую Россию, освещающую тьму своим революционным огнем, и они сбросят цепи и восстанут против тиранов. Все народы, все страны, люди всех континентов, черной, белой и желтой рас, все рабы и все униженные пойдут вслед за Россией.

Нет, низкорослый человек с лысым черепом не считал, в отличие от своих оппонентов, что с марксистской точки зрения Россия пока не готова к социалистическому строю, потому что буржуазия здесь еще недостаточно развита и находится в фазе роста, а не упадка. Он смеялся над таким узким пониманием марксизма. Наоборот, именно потому, что в России буржуазия еще не окрепла, что страну зажала в кулак горстка феодалов и капиталистов, здесь можно быстрее ввести социализм, разделить богатства страны между всеми. В других странах, где буржуазия сильна, где средний класс

вырос, приходится иметь дело с мощным, крепко держащимся за власть врагом и вести против него тяжелую, ожесточенную борьбу. Слишком трудно резать разросшийся нарыв. Может быть, стоит подождать, пока он сам лопнет? В России, к счастью, враг, не выпускающий из рук миску с жирным куском, держащий огромное большинство во тьме невежества и тем самым порабащивающий его, составляет малый, ничтожный процент. Здесь легче, чем где бы то ни было, вырезать болячку из тела народа, стереть ее, чтобы и воспоминания о ней не осталось.

Он смеялся над своими противниками, которые готовы были ждать, пока буржуазия разовьется, чтобы затем уничтожить ее. Бред! Если можно сразу вырезать маленькую болячку, прежде чем она разрослась, безумие давать ей пухнуть в надежде, что нарыв лопнет сам. Зачем лишние страдания и трата времени? Надо вскрыть нарыв заблаговременно, выпустить дурную кровь. Надо стереть злое и ложное, как неправильную цифру, прокравшуюся в правильные расчеты. И низкорослый человек стирал, стирал педантично, прямолинейно и продуманно.

Он видел избавление ясно, как собственную ладонь. Меньшая часть противников разбежится, остальные пролетаризируются. Кто-то сразу смирится с новым строем, а упрямых и непримиримых он вырежет, зачистит, и вопрос о классовой борьбе будет решен. Останется только один класс, рабочие и крестьяне, которым нужен социалистический строй. И человек с лысым черепом резал нарыв и выпускал дурную кровь.

Да, часто вместе с нечистой кровью проливалась и чистая, но низкорослый человек знал, что иначе и быть не может, когда вырезают болячку, это неизбежно и надо принимать это мудро. Нельзя все учесть и предугадать в такие времена, надо видеть ситуацию в целом.

— Чистить, товарищи, стирать с лица земли, — говорил он на заседаниях своим людям. — Революция — это вам не игрушка.

Реализовывал работу по чистке, по «стиранию» людей лодзинский революционер Павел Щиньский, комендант красной столицы, голубоглазый блондин с русой бородкой, напоминавшей бородку ученого еврея. Стройный, даже романтичный, он, как только его единомышленники захватили власть, отбросил книги, которые он прежде читал постоянно, и взял в руки револьвер. Еще в католической семинарии, где он учился в юности, Павел Щиньский усвоил иезуитское учение о том, что цель оправдывает средства. Теперь, ради возвышенной цели, ради счастья всего человечества, он истреблял людей, как насекомых.

Ночь за ночью, на грузовиках, он посылал в город своих ребят, вооруженных револьверами, винтовками и ручными гранатами. Они нападали на богатые дома, разыскивали прежних аристократов, высокопоставленных военных, баронов, графов, крупных чиновников, банкиров, фабрикантов, а также эсеров и прочих вредителей, не принадлежавших к состоятельным классам, но в своей несознательности следовавших за врагами пролетариата. Их заносили в списки, чтобы сразу же «стереть». Судебных процессов Щиньский не устраивал. Его люди на месте допрашивали арестованных, приговаривали, устраняли и в кузовах грузовых машин вывозили их мертвые тела на Смоленское кладбище, чтобы зарыть в больших неглубоких ямах. Многих сажали в подвалы Крестов.

Он, Павел Щиньский, не слишком оглядывался на прошлое своих людей. Он набирал их откуда попало: из бывших жандармов, агентов охраны, — лишь бы «стиратель» был годен для этой работы. Рабочих не арестовывали, хватали только их классовых врагов, которые в любом случае были приговорены самой историей. Щиньского мало волновало то, что «стираемые» люди, возможно, невиновны. Их судьба была предрешена. Павел Щиньский знал историю. Хроники Французской революции показывали, что врагом может оказаться человек, от которого этого меньше всего ожидаешь. И он считал, что лучше «стереть» потенциального противника, чем

потом раскаиваться в том, что это не было сделано своевременно. Такому подходу к делу он учил и своих людей.

— Живой может оказаться опасным, — говорил он, — а мертвый — никогда.

Павел Щиньский без счету «стирал» людей в те дни, когда враги поднимали голову, собираясь с оружием в руках идти на красную столицу и захватить ее; когда в городе его ребята разоблачали тайные военные организации, готовившие покушения на вождей революции. В таких случаях не проводились даже ставшие с некоторых пор обычными поверхностные расследования. Их, классовых врагов, сотнями поднимали посреди ночи с постели и тут же «стирали» каждого десятого, чтобы запугать остальных.

Шум колес грузовиков, проезжавших по булыжным петроградским мостовым, нарастал с каждой ночью. При каждом их появлении сердце лежавшего в своей постели Макса Ашкенази екало. Он не мог дожидаться той минуты, когда веселый круглый человечек выведет его из этого страшного города. Холодными губами он шептал молитвы, прося Бога, чтобы Он, в милости Своей, приблизил этот счастливый час.

## Глава пятнадцатая

**Б**ыстрее, чем надеялся Макс Ашкенази, веселый круглый человечек в шляпе устроил его дела.

Казалось, ничто в этом красном городе не было трудным для Мирона Марковича. Макс Ашкенази был на седьмом небе от счастья. Прежде всего, Мирон Маркович сбыл заблаговременно припрятанные Максом Ашкенази товары, опередив людей в кожанках и шинелях, которые со дня на день могли прийти к бывшему фабриканту грабить награбленное. Он свел его с купцами в странных забегаловках, расположенных дале-

ко от центра, и договорился о сделке. Макс Ашкенази продал свои незаконные по нынешним понятиям товары без доставки. Он сразу же сказал купцам, что, вопреки обыкновению, доставку купленных товаров он обеспечить не сможет. Макс Ашкенази не хотел рисковать собственной жизнью, доставляя товар покупателям, однако купцы не особенно расстроились.

— Мирон Маркович об этом позаботится. Мы уж на него полагаемся, — сказали они.

И Мирон Маркович позаботился. Гладенько у него это вышло. Товары из подвалов Макса Ашкенази вывозились на автомобилях, за рулем которых сидели люди в кожанках. Никто ничего не заподозрил. Он, этот маленький круглый человек, твердо придерживался своего принципа — делать дела при помощи существующей власти, потому что это самый лучший, самый надежный путь.

— Молодец! — похлопал его по плечу Макс Ашкенази, довольный тем, что он так легко разделался с этой проблемой, и тут же выплатил Мирону Марковичу приличные и даже весьма щедрые комиссионные.

Мирон Маркович небрежно сунул в карман брюк полученную им пачку банкнот, словно это были и не деньги, а никчемные бумажки. Он даже толком не пересчитал их.

— Пойдемте, господин Ашкенази, обмоем нашу первую сделку! — весело сказал он. — Так уж полагается.

Макс Ашкенази не слишком любил подобные вещи, но отказать веселому человечку было нелегко. Не успел Макс Ашкенази начать отнекиваться, как Мирон Маркович уже взял его под руку и повел с собой.

— Эй, извозчик! — крикнул он чернобородому вознице в плоском цилиндре, на карете которого, запряженной парой вороных, еще не отразилось наступление новых времен. Извозчик был солидным, широкоплечим и пузатым.

Макс Ашкенази резко вырвался из рук Мирона Марковича.

— Что вы делаете? В такое-то время? — сказал он, задрожав. — Мы ведь можем поехать и на трамвае!

— Господин Ашкенази, предоставьте это мне! — со смехом ответил ответил Мирон Маркович, сверкнув из-под черных усов своими белыми зубами.

Он в два счета запихал Макса Ашкенази в карету, широко развалился рядом сам и, назвав адрес, приказал кучеру ехать. При выходе из кареты Макс Ашкенази начал рыться в карманах, чтобы расплатиться. Он не знал, сколько теперь дают за такую поездку. Он потерял всякое понятие о ценности денег в эти горькие дни. Мирон Маркович удержал руки Макса Ашкенази и не дал ему заплатить. Он проворно сунул руку в карман брюк, куда перед этим так небрежно положил пачку банкнот, и бросил деньги кучеру, прибавив на чай отдельную бумажку и даже похвалив его за скорость.

— Премного благодарен, барин! — поклонился кучер, привстав на козлах и снимая свой блестящий цилиндр.

В ресторане, снаружи выглядевшем очень бедно, Мирон Маркович заказал великолепную трапезу — с мясом, с закусками, с коньяком и всякими деликатесами, которых давно уже не видели в этом голодающем городе. Макс Ашкенази весьма охотно принялся за вкусную еду после тех убогих блюд, что он готовил себе сам в последнее время.

— Берите хрен, господин Ашкенази, и соуса налейте сверху, так вкуснее, — подбадривал его Мирон Маркович, суетясь и обслуживая его за столом. — Будем здоровы! Дай Бог, чтобы нам была радость друг от друга!

За вкусными блюдами, за хорошим коньяком оба оттаяли. Мирон Маркович сверкал своими круглыми черными глазами, не переставая хлопать Макса Ашкенази по спине и пожимать ему колено.

— Ну, что? Мирон Маркович Городецкий знает, как добыть хороший кусок, а? — хвалил он сам себя и напрашивался на похвалы Макса Ашкенази.

Он размяк, стал сентиментален и, по примеру русских, расстегнул перед Максом Ашкенази душу на все пуговицы. Он выложил ему историю своей жизни. В детстве, прошед-



шем в Одессе, он помогал матери-вдове носить кур и гусей в богатые дома, пока не перебрался в Лодзь, где сначала был посыльным в магазине. В конце концов ему удалось стать коммивояжером, и он принялся разъезжать по всей России безо всякого права жительствова. Нет, он выбился в люди не за счет школ и образования, как другие. Сам, собственными руками он прокладывал себе путь.

— Моя жизнь была трудна, — задушевно говорил Мирон Маркович, глядя Макс Ашкенази прямо в глаза. — Тяжело было еврею без права жительствова разъезжать по России. Однако Мирон Маркович смеялся над всем миром и приезжал куда угодно. Другие коммивояжеры пытались было уговорить его креститься, стать лютеранином и облегчить свою жизнь, но Мирон Маркович Городецкий сказал им: «Нет, братишки. Веру я менять не буду! Не будь мое имя Мирон Маркович Городецкий!»

Максу Ашкенази очень понравилось то, что Мирон Маркович не захотел менять свою еврейскую веру. К похвальному чтению им кадиша теперь прибавилось еще одно достоинство, куда более весомое и важное. Макс Ашкенази выразил собеседнику свое уважение. Мирон Маркович так и таял от удовольствия.

— Нет, я не праведник, — проникновенно продолжал он. — Вы же знаете, в дороге иногда приходится есть трефное, нарушать субботу, случаются и, между нами говоря, кое-какие другие прегрешения. Подцепишь иной раз какую-нибудь бабенку, шиксу<sup>1</sup>, извините меня за такие разговоры, всякое бывало. Однако отказаться от таких вещей, как йорцайт, Судный день, забыть еврейского Бога — это, братушки, совсем другое дело. Тут уж нет! Это я всегда соблюдал!

Когда дело дошло до новых порций выпивки, показавшихся Макс Ашкенази лишними, он перестал пить, он выливал их в тарелку, как всегда поступал в подобных случаях, чтобы не потерять голову. Мирон же Маркович опрокидывал

---

<sup>1</sup> Девушку-нееврейку (*идиш*).

рюмку за рюмкой. Вскоре он даже начал плакать, изливая перед Максом Ашкенази все те неисчислимые горести, которые выпали в жизни на его долю. Он исповедовался перед ним, выкладывал все как на духу, раскрывал ему свои тайны, рассказывал об обидах, нанесенных ему его женой, заменявшей его другими мужчинами, когда он бывал в деловых поездках. Макс Ашкенази успокаивал его, но Мирон Маркович не давал себя утешить и порывался расцеловать собеседника.

— Вы для меня отец родной, дорогой господин Ашкенази, — говорил он, прислоняясь к фабриканту, и благодарил его за все его благодеяния, хотя сам Макс Ашкенази не имел ни малейшего представления о том, какие благодеяния он совершил для Мирона Марковича.

Неожиданно Мирон Маркович припал к бочке, вылил на свою разгоряченную голову несколько ковшей воды и сразу же протрезвел, да так, словно не пил до этого ни единой рюмки. В мгновение ока он снова стал энергичным, бодрым и веселым человеком, для которого, казалось, ничто на свете не было слишком трудным.

С огромным энтузиазмом он принялся готовить отъезд Макса Ашкенази. Во-первых, он свел его с двумя типами в костюмах: костюмы были наполовину военные, наполовину гражданские, а сами типы — наполовину русские, наполовину финляндцы. Высокие, загорелые и обветренные, с трубками во рту, настоящие молчуны, они были так же молчаливы, как Мирон Маркович разговорчив. Ни слова не говоря, они слушали лившуюся потоком речь Мирона Марковича и только курили. Затем они оба, один за другим, кивнули, давая понять, что возьмут с собой предложенного Мирона Марковичем пассажира.

Макс Ашкенази чувствовал себя неудобно в обществе этих двух высоких иноверцев, которые цедили слова и ходили в полувоенных, полугражданских костюмах. Мирон Маркович наговорил ему про них много хорошего. Они, мол, уже не одного человека переправили по его, Мирона Марковича, просьбе, а

потом он получал с той стороны добрые весточки от переправленных людей. Они, эти типы, контрабандисты. Они нелегально провозят в Россию продовольствие и товары из Финляндии. Туда они едут порожняком. Проводники они хорошие, а лодка у них маленькая, рыбацкая лодка с парусом. Еще ни разу не случилось, чтобы они попались. Кроме того, они водят дружбу с комиссарами, делятся с ними доходами, поэтому с ними надежно и безопасно, как под фартуком у родной мамочки.

После этого Мирон Маркович сделал для Макса Ашкенази еще несколько добрых дел. Он поменял ему деньги, нашел для него иностранную валюту, помог ему упаковать его вещи, спрятать драгоценности в простые полотняные мешочки.

До самого последнего дня, дня отъезда, Мирон Маркович забегал в синагогу вместе с Максом Ашкенази, чтобы не пропустить чтение кадиша. Макс Ашкенази молился очень набожно, слово за словом четко произносил восемнадцать благословений. Он поднимал свой взгляд к потолку синагоги, шепча молитвы, призванные Божьей милостью сохранить его от дурных людей, разбойников и злодеев.

Все шло гладко, как надо. У Мирона Марковича ничего не срывалось. Он тихонько вывез Макса Ашкенази из его квартиры вместе с багажом. На дрожках они отправились на Балтийский вокзал, откуда им предстояло ехать поездом до берега моря. Прошло много времени, пока собирали поезд. Макс Ашкенази был сильно встревожен, боялся не успеть. Каждая минута казалась ему вечностью. Мирон Маркович сидел на баулах и был спокоен и весел, как всегда.

— Я уже привык, это не в первый раз, — шепнул он Макс Ашкенази. — Не беспокойтесь, все пройдет как по маслу.

При посадке на поезд началась суматоха, толкотня. Хотя была зима, многие жили на дачах у моря. В городе было холодно, тесно и голодно. В шинелях и шубах, в валенках и лаптях, мужчины, женщины, старые, молодые — все бросились к поезду, лезли в двери и окна, подпрыгивали, рвались внутрь. Макс Ашкенази растерялся, оказавшись в этой толпе людей.

Он не привык к таким поездкам. Еще меньше он привык сам затаскивать в вагон свой багаж. Это делали за него носильщики. Однако Мирон Маркович с дьявольским проворством проложил путь сквозь эту толкучку, внес баулы, пропихнул вперед Макса Ашкенази и очистил для него место. Он в два счета перезнакомился со всеми соседями по вагону, он заговаривал с каждым, смеялся и устраивался поудобнее.

— Еще немножко, товарищи, вот так, спасибо, товарищи! — проталкивался он сквозь толпу, говоря на своем одесском русском с картавым «р» в частом у него слове «товарищи». Поезд тащился лениво, свистел, сопел, делал рывки, но все равно шел медленно и нудно. На каждой маленькой станции он застревал и не желал трогаться с места. Макс Ашкенази забился в гущу людей. Он торопился к морю. Больше всего его радовала его шуба, богатая шуба, в которую было зашито целое состояние. Мирон Маркович ободрял его своей веселостью, к тому же он добыл для него сидячее место.

— Эй, красавица, — сказал он вдруг краснощекой шиксе с курносым носиком, — будь так добра, уступи моему отцу место. У тебя ноги молодые и сильные, а мой отец слабоват...

Краснощекая девица еще больше покраснела от мужских комплиментов и поднялась с места. Макс Ашкенази не хотел садиться. Все смотрели на него, а он этого не желал. Он даже рассердился на этого плута Мирона Марковича, поднимающего так много шума. Однако Мирон Маркович остался таким же веселым и добродушным, как раньше. Во всей этой тесноте он принялся рассказывать анекдоты, сыпать сальными коммивояжерскими шутками, над которыми пассажиры в вагоне смеялись от всего сердца, хватаясь за бока.

Вечером, когда уже стемнело, они подъехали к маленькой станции. Макс Ашкенази хотел взять свои баулы, но Мирон Маркович ему не позволил. Он схватил все баулы сам, и Макс Ашкенази пошел за ним. Наконец они вышли к морю. Ветер подхватил Макса Ашкенази и едва не сшиб его. От моря пахло солью, веяло суровостью и покоем. Ветер свистел, дул по-

рывами. Деревья гнулись, раскачивались так, словно хотели вырвать свои корни из земли и убежать. Волны яростно набегали на темный берег. Где-то лаяли собаки.

Вскоре из темноты показалась фигура. Макс Ашкенази вздрогнул. Мирон Маркович толкнул его в бок.

— Наши, — прошептал он.

Темная фигура приблизилась, забрала у Мирона Марковича баулы и большими шагами двинулась вперед. Мирон Маркович принялся было говорить, но Макс Ашкенази прервал его.

— Молчите ради Бога! — взмолился он. — Молчите!

Он хотел слышать море, шумящее и обволакивающее, уводящее в дали, в чудесные чужие страны, к спасению и избавлению. Страх пополам с надеждой наполняли его сердце в эту ветреную ночь на берегу бурного моря. Ему очень хотелось спросить темного шагающего человека, не опасно ли пускаться в такую ночь в открытое море на парусной лодке, но он так и не осмелился ничего сказать этой молчаливой фигуре, продвигавшейся вперед огромными шагами.

Вскоре они пришли к какому-то дому. Человек с баулами постучал. Ему открыли. Все вошли. В комнате, освещенной одной-единственной тусклой лампой, были сложены мешки, шкуры, ящики; по стенам висели шубы. Хозяева не поздоровались, ничего не спросили. Они только молчали и курили. Один из них возился со сломанным ручным фонарем, чинил его своими тяжелыми, неуклюжими руками.

Мирон Маркович сразу же растянулся на одном из мешков и заснул. Он спал шумно — сопел, храпел. Он всегда был шумным и суетливым, чтобы он ни делал, и спал он так же. Макс Ашкенази попытался вздремнуть, но не смог. Волнение не давало ему заснуть.

Он долгие часы сидел в темной комнате и ждал, когда придет время отправляться в путь. Снаружи, не переставая, выл ветер, бились о берег водяные валы. Макс Ашкенази снова и снова взглядывал на часы, свои золотые жениховские, по-

лученные им в подарок к свадьбе. Минуты ползли медленно, как червяки. Ночи не было конца. От бесконечного ожидания голова Макса Ашкенази отяжелела, и он закрыл глаза. Темная комната с мешками и бочонками вдруг превратилась в ярко освещенную столовую его дворца в Лодзи. Горели все лампы. Стол был роскошно накрыт. Во главе стола сидел он, Макс Ашкенази, рядом с ним — его жена, не вторая, а первая, Диночка. Она была молода и красива, как в первые годы после свадьбы. Но, несмотря на ее молодость, их дети были уже взрослые. Вот они сидят за столом, светлые, сияющие, с одной стороны — Гертруда, с другой стороны — Игнац. Тесть и теща тоже здесь, реб Хаим Алтер и Прива. Рядом с ними — Янкев-Бунем. Все собрались вместе. Они едят, пьют вино и веселятся с ним, с Максом Ашкенази. Он рассказывает им о своем пути, о своих бедах. Все поздравляют его, а он открывает дорожную сумку и вынимает подарки для каждого. А потом все расходятся. И вот они вдвоем, он и Диночка. Она раздевается, остается в дорогом шелковом белье и гладит его своими мягкими руками, зовет в освещенную красным светом спальню...

— Уже иду, Диночка, — шепчет он. — Я уже иду...

Он протягивает руку, чтобы потушить лампу, но, как назло, свет все равно режет ему глаза. Он открывает их на мгновение и снова закрывает из-за слепящего света. Прямо в лицо ему светит яркий ручной фонарь. Два человека в кожаной одежде трясут его за плечи.

— Довольно спать, поднимайтесь!

Макс Ашкенази протер глаза и остолбенел. У одетых в кожу людей из-за поясов торчали револьверы.

— Мирон Маркович! — позвал было он. — Мирон Маркович!

Одетые в кожу люди засмеялись.

— Мирон Маркович пошел на свадьбу. Он просил передать вам привет, господин Ашкенази. Ну, пошевеливайтесь, машина ждет!

Тут, в одно мгновение, Макс Ашкенази увидел ясную и страшную правду, понял, куда завел его этот круглый человек, в чьи руки он его заманил. Он хотел кричать, кричать в темную ночь на берегу моря, жаловаться на совершенную против него несправедливость, на гнусность человеческого рода, на свою собственную глупость, на то, что несчастье обрушилось на его голову у самых ворот спасения. Вся его кровь вопила, но с его уст не сорвалось ни звука. От страха его язык не мог двигаться, он стал как жесткая подошва и словно прирос к гортани. Его ноги ослабели в коленях, как будто из них вынули суставы.

— Ну, вперед! — трясли его мужчины в кожаной одежде.

Он не мог пошевелить ногой. Он тонул. Мужчины в кожанках быстро и небрежно схватили его под руки и, как мешок, бросили в кузов заведенного грузовика. Его баулы полетели вслед за ним.

— Гони, Ваня! — крикнули они шоферу. — Гони во весь дух! У нас еще много работы, а уже поздно.

Автомобиль помчался вдоль берега. Море все так же омывало землю, швыряло на нее пенные валы, отступало и накачивало, как делало миллионы лет, во все времена и сквозь все поколения, в любой стране и при любой власти. Ветер раскачивал деревья, хлестал их, пригибал к земле, ломал их ветви и рыдал.

## Глава шестнадцатая

**Т**евье по прозвищу Есть-в-мире-хозяин дожил до своей победы. Комендант полковник фон Хейдель-Хайделау бежал из Лодзи с позором.

Когда барон фон Хейдель-Хайделау получил первые известия о поражении немцев, сначала о прорыве линии Гин-

денбурга, а затем о восстании в Берлине и бегстве кайзера в Голландию, он сильно покраснел, потом сильно побледнел и, наконец, пожелтел как мертвец.

— Это безумие, этого быть не может! — закричал он своему адъютанту. — Зачитайте телеграмму, лейтенант, я стал плохо видеть.

Лейтенант читал телеграммы громко, даже чересчур. Барон фон Хейдель-Хайделау, как старая истеричная женщина, начал всхлипывать и бить себя кулаками в виски.

— Проклятье, тысяча проклятий! — завывал он.

Как старый и мокрый петух, потрепанный в драке самцом помоложе и посильнее, выглядел теперь полковник в большом кабинете дворца Ашкенази. Внезапно старость и дряхлость проступили сквозь его бравую воинственность. Адъютант гладил его по плечу.

— Господин полковник, ради Бога, — уговаривал он его, — господин полковник...

— Позор, какой позор! — причитал старик.

У него текло отовсюду — из глаз, из носа, из его старого рта. Великолепный полковничий мундир был заляпан, как слюнявчик младенца.

Адъютант вытирал мундир носовым платком.

— Господин полковник, вы должны взять себя в руки, вы должны быть сильным...

— Аллес капут! Всею конец! Какой позор! — продолжал ныть старик. Его хриплый командный голос вдруг исчез, испарился. Теперь он говорил жалко, пискляво, как злая старуха. Нет, барон фон Хейдель-Хайделау не давал себя утешить. Ведь они зашли так далеко. В половину стран Европы вторглись германские войска — в Бельгию и во Францию, в Румынию, в Турцию, в Польшу, на Украину, в балтийские земли, в Литву, в Крым, уже нацелились на Петроград. Повсюду господствовали победоносные германцы. И вдруг такой удар, такое тяжкое поражение, такой развал на всех фронтах. В Берлине восстание, и кайзер, сам кайзер бежит из Герма-



нии, умоляет голландцев, этих рыбаков в широких штанах, чтобы они его приняли. Это уже слишком!

Больше всего барона мучил стыд. Как он теперь будет выглядеть в этом городе, который он держал железной рукой? Они, эти вшивые поляки, будут над ним смеяться. Как он покажется им на глаза? Да и его солдаты обнаглеют. Они будут делать то же, что и русские в России. Они будут срывать эполеты со своих офицеров. Они всегда его втихую ненавидели, потому что он был с ними строг, не позволял им распускаться.

— Ничего не остается, лейтенант, кроме как пустить себе пулю в голову, — вздыхал барон.

Но он не пустил себе пулю в голову. Вместо этого он принялся честить на чем свет стоит господ из Генерального штаба, всех этих горе-командиров, доведших Германию до такого позорного разгрома.

— Вшивая банда, — кричал он, скаля зубы, — вонючие собаки, черт бы их побрал, будь они тысячу раз прокляты, в Бога, в душу мать!..

Весь запас проклятий, ругательств и грязной брани, собранный им за жизнь, сначала в пивных, где пировали бурши, потом в армии, он выплеснул теперь на Генеральный штаб. Похабщина лилась из его старого рта, как помой. Этот поток успокоил барона. Когда ругань иссякла, он хорошенько прочистил нос. Поправив измятый мундир с медалями и крестом, он выпятил грудь, гордо, как император, закрутил вверх усы, вставил в левый глаз монокль и взял себя в руки.

Приказов не было. Господа из Генерального штаба совсем потеряли голову. До поры, до срока барон фон Хейдель-Хайделау решил скрыть печальные известия. Никто не должен был о них знать. Он уселся к столу, командирским тоном вызвал к себе адъютанта, словно и не было всех этих бабьих причитаний из-за случившегося, и велел никому, даже ближайшим друзьям офицерам, не рассказывать о по-

лученных страшных новостях. Также он приказал тщательно следить за прессой, чтобы и она ни единым словом о них не обмолвилась. Отныне все должно было проходить строгую цензуру. Жизнь в гарнизоне и городе должна была идти как обычно, все распоряжения — неукоснительно выполняться.

— Слушаюсь, господин полковник! — ответил адъютант и вытянулся в струнку.

— Абсолютная дисциплина, лейтенант, — сдвинув брови, приказал комендант. — Поступающие донесения сразу же доставлять мне.

Адъютант выполнял приказы рьяно. Он даже не пикнул по поводу последних известий. Никому ничего не сказал. Однако они упали на город будто с неба и в миг разнеслись по Лодзи. Польские легионеры, которые до этого держались в тени, вдруг подняли головы, задрали носы, перестали отдавать честь немецким офицерам. Гражданские поляки, в основном мальчишки-школьники, щеголяли на улицах в фуражках польских легионеров, маршировали строем, громко распевая польские военные песни. Они даже раздобыли где-то польское знамя с белым орлом. На всех улицах толпился народ, люди стояли на тротуарах, собирались на углах в полном противоречии с приказами коменданта, регулирующими порядок в городе. Лодзинцы говорили, размахивали руками, передавали друг другу новости. Милиционеры никого не гнали. Неожиданно на стенах появились большие прокламации на польском языке. Они рассказывали о поражениях немцев и призывали к созданию независимой Польши. Под ними стояла подпись польской военной организации. Немецкие солдаты останавливались на улицах, расспрашивали понимавших их язык евреев о последних новостях. Евреи передавали им на своем лодзинском немецком известия из Берлина.

— Теперь мы вернемся домой, — с удовлетворением говорили, слушая их, ландштурмеры.

Солдаты родом из провинции Познань<sup>1</sup> сами с грехом пополам разбирали польские прокламации и пересказывали их содержание товарищам.

— Теперь мы будем служить в польской армии, — говорили они. — Да, да...

Словно по приказу всегда подтянутые немцы вдруг опустили крылья и стали волочить ноги, как будто они не солдаты, а ленивые крестьяне. Некоторые ослабили ремни на одну дырочку, другие расстегнули верхнюю пуговицу гимнастерки, чтобы их солдатские тела глотнули хоть немного свежего воздуха. Те, что помоложе, перевернули свои винтовки. Внезапно они стали носить их стволом вниз, а прикладом вверх. И ходили они теперь не строем, а как стадо, приобняв друг друга за плечи. Встретив офицеров, они небрежно козыряли им, а то и вовсе игнорировали.

— По домам, по домам! — твердили они. — Хватит с нас...

Нет, барон фон Хейдель-Хайделау больше не мог держать этот город в своих руках. Люди плевали на его приказы. Армия разваливалась.

По улицам ходили поляки с винтовками. Они останавливали немцев и требовали у них оружие. Офицеры сопротивлялись. Они не хотели отдавать полякам свои револьверы. Зато солдаты тут же снимали с плеч винтовки. Те самые ландштурмеры, которые некогда подмяли под себя всю страну и могли в одиночку пойти на целое село, теперь без разговоров сдавали оружие первому попавшемуся школьнику.

Наряду с осененными польским орлом патриотическими воззваниями на стенах лодзинских домов стали появляться и другие плакаты. Они начинались со слов «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», написанных по-польски, по-еврейски и даже по-немецки. Они призывали к проле-

---

<sup>1</sup> Более половины населения провинции Познань (первоначально Великого герцогства Познаньского), входившей до конца первой мировой войны в состав Германской империи, составляли этнические поляки.

тарскому единству в этом рабочем городе, к борьбе, к равенству и братству.

Ткач Тевье вихрем носился по пробужденной Лодзи. Он видел, как рушатся мировые устои: сперва — Россия, теперь — Германия, Австрия. Скоро наступит черед других стран. Разочарованные массы, которым капиталисты дали оружие, повсюду повернут штыки против своих угнетателей. Старый мир трещит по швам. Все содрогается от сыплющихся на него ударов. Коронованных правителей сбрасывают с тронов, всемогущих магнатов вышвыривают из кресел. Огромный глиняный истукан, падение которого давно предопределено историей, разваливается на куски. Теперь и Германия, самая мощная капиталистическая держава, становится красной, и Австрия, и другие страны. Земной шар загорелся. Как пожар жарким летним днем, языки революционного пламени охватят все части света. Скоро поднимутся и отсталые страны: Индия, Китай, все колонии, управляемые грабителями капиталистами.

Тевье увидел, что он был прав, хотя над ним смеялись и издевались, считали его помешанным. Он и сам уже начал давать слабину. В горькие дни войны на него не раз нападали сомнения. Он крепился, не вешал носа. И вот теперь то, во что он верил, настало и сбылось. Он всегда говорил в рабочих столовых, что придет конец врагам трудящихся, что комендант уберется восвояси. Так оно и вышло. Во дворце коменданта уже пакуют вещи, готовятся к бегству.

Тевье со своими людьми целыми днями сидел в рабочих столовых, проводил совещания, писал прокламации. Теперь за город отвечал он. Надо было просвещать, будить народ, возвращать в ряды рабочих тех, кто из-за войны вынужден был их покинуть.

Старый мир так легко не сдавался. Тевье видел, что он, как раненый хищник, скалит зубы, норовит укусить. Страны-победительницы фанфарами и парадами, пустыми патриотическими речами снова пытаются ослепить массы, одурачить

их дутыми триумфами, чтобы отвлечь от себя гнев обманутых, искалеченных и обобранных. Патриотический чад посреди агонии старого мира вновь дурманит трудящихся. В новых, обретающих независимость странах речи патриотов звучат на полную громкость со всех сторон. Здесь, в Польше, тоже поднимается этот чад. Реакционеры и угнетатели вылезают из своих нор. Звонят церковные колокола, в синагогах молятся за здравие новых правителей, так же как вчера молились за старых тиранов.

Тевье боролся против этого. Из его рабочих столовых выходили массовые митинги, чтобы развеять патриотический чад. Сионисты, враги еврейских трудящихся, хотели сбить их с толку своими рассказами о декларации, в которой английский лорд Бальфур обещал отдать евреям Палестину<sup>1</sup>. При бароне фон Хейделе-Хайделау о благодеяниях проклятых Богом англичан, противников Германии, нельзя было даже заикнуться. Теперь, когда немцы потеряли власть, сионисты повсюду трубили о еврейской земле, которую даровали евреям англичане. В синагогах читали молитвы за здравие доброго английского лорда. Сионисты вывесили объявления об этом событии на стенах всех домов Лодзи. Они даже готовили массовую манифестацию на улицах города — со свитками Торы, со знаменами, с песнями и плясками. Тевье знал, какую силу имеет подобная пропаганда, как легко националистический дурман застит народу глаза. Поэтому он яростно обрушивался на сионистских зазывал, стремившихся сладкими мечтаниями отвлечь массы от классовых целей, заставить их забыть о борьбе за интернационализм и всеобщую свободу. Он едко высмеивал в своих прокламациях святош и богачей, которые забивают трудящимся головы пустыми обещаниями империалистических лордов.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду «Декларация Бальфура» от 1917 года, в которой объявлялось, что британское правительство поддерживает стремление сионистов создать еврейский национальный очаг в Палестине.

Он теперь совсем не заглядывал домой, он ночевал на скамейке в рабочей столовой и довольствовался куском хлеба. Время было дорого. Надо было выступать, сочинять прокламации, организовывать рабочую демонстрацию в противовес манифестации сионистов.

Помимо прочего нужно было найти время и на то, чтобы сказать слово немецким солдатам. На стенах Лодзи, среди всевозможных прокламаций, плакатов и призывов, попадались и листовки на немецком языке, убеждавшие солдат создавать солдатские советы, которые взяли бы дело в свои руки и не позволяли бы командовать собой офицерам и комендантам. На груди солдат, рядом с медалями и крестами, стали появляться красные банты. На дворце коменданта вдруг вспыхнул красный флаг вместо флага кайзера. Многие солдаты посрывали со своих плеч погоны. Ораторы в солдатской форме выступали с речами о восстании в Берлине.

Барон фон Хейдель-Хайделау плотно закрывал на окнах шторы, чтобы не видеть этого позорища.

В один прекрасный день Тевье пришел на митинг солдатского совета и сказал немцам речь.

Тевье выступал перед сотнями солдат на лодзинском ломаном немецком, которому научился у местных немецкоязычных торговцев и у ткачей-немцев. Не каждое слово из его речи было понятно солдатам, но они прониклись пылом Тевье, тем огнем, который рвался из уст этого тощего и бедно одетого пролетария. Он размахивал руками, торчавшими из драных рукавов, грозил костлявым кулаком правителям и угнетателям, порабоцавшим трудовой народ. Его старые глаза горели юной ненавистью и гневом в адрес всех, кто не хочет установить на свете единство, равенство и братство.

— Браво! — кричали ему суровые ландштурмеры, крестьяне и рабочие, измученные войной, стосковавшиеся по своим домам, от которых их оторвали. — Голосуйте, товарищи!

Барону фон Хейделю-Хайделау пришлось открыть шторы своего окна, чтобы узнать, почему его солдаты так шумят. Он вставил монокль глубоко в глаз и строго посмотрел на смешного тощего человечка, который громко кричал, выступая перед его, барона фон Хейделя-Хайделау, подчиненными. Он никогда прежде не видел его, этого еврея, короля социалистов, с которым ему не раз приходилось иметь дело. И вот он, пожалуйста, у него перед носом. Барон не верил собственным глазам. Его противник оказался слишком бедным, слишком осунувшимся и слишком костлявым. Барону стало стыдно, что его враг так убог. Он даже укусил себя за руку, так ему хотелось вытащить револьвер и пристрелить эту блоху, этого шпака<sup>1</sup>, явившегося сюда, к его дворцу, выступить с речью перед солдатами, служащими германской армии.

Но солдаты слушали этого костлявого человечка, горячо аплодировали ему, хлопали так, что стекла в дворцовых окнах дрожали и позванивали.

И барон фон Хейдель-Хайделау раздраженно закрыл шторы и опустил голову, погружившись в горькие мысли. Он размышлял о кайзере, об армии, о Германии, о своем имени в Пруссии. Вот такие ничтожества шпаки скоро будут управлять его страной. Они теперь властители. Рабочие, плебс займут ключевые посты, будут сидеть в министерствах, ведомствах, повсюду. Какой-то чертов шорник уже стал регентом Германии. Один Бог знает, что станет теперь с его, барона фон Хейделя-Хайделау, именем. Холопы начнут вытворять там всякие гнусности. Очень даже может быть, что вшивые поляки будут господами в его поместье. Они будут отрывать куски от его Восточной Пруссии.

Он почувствовал, что его глаза увлажнились. Мокро было и у него в носу, и в складках его старых губ. Все в нем плакало.

На улице перед его дворцом в кузове грузовика стоял Тевье и выступал с таким пылом, что казалось, будто он парит в воздухе.

---

<sup>1</sup> Пренебрежительное наименование штатских.

Еще никогда дочери Тевье и жена его Кейля не смотрели на него такими восторженными и удивленными глазами.

— Вы только посмотрите, как его слушают! — дергала Кейля своих дочерей за рукав. — Если бы я не видела этого сама, я бы ни за что не поверила... Весь мир сошел с ума...

## Глава семнадцатая

**Ф**еликс Фельдблюм, офицер, отправившийся на поле боя добровольцем, чтобы добыть для Польши независимость, потому что только в независимой Польше возможны свобода, равенство и братство всех жителей страны, добился своего. Польша была свободна. Терновый венец, который судьба возложила на голову народа народов, чтобы он выполнил свою польскую миссию во имя наций мира, был снят. Вавель, королевский замок на горе Кракова, где лежали польские короли и поэты, перестал служить казармой австрийским кавалеристам и стойлом их лошадям. Польское знамя реяло на ветру над Краковом и всей страной.

Краковские легионеры, юные сыны Польши, называвшие себя «крокусами», шли с саблями и винтовками, с польскими знаменами и песнями на восток, ко Львову, столице Галиции, которую удерживали жившие там украинцы. Легионеры шли, чтобы захватить этот город и вернуть его под крыло польского орла. Среди других полков был и полк, в котором служил Феликс Фельдблюм, прошедший путь от простого солдата до офицера. С саблей на боку, с офицерскими погонами на сутулых плечах он широко шагал впереди своих легионеров, ведя их на восток. Его легионеры пели «Песню крокусов»:



Генерал впереди на коне,  
Он ведет нас к победе в войне.  
Легион наш к сраженью готов.  
Мы разгоним проклятых хохлов.  
Разбегутся они по углам,  
Плохо будет жидам и хохлам.

Да, жидам было плохо, как и обещали «крокусы» в своей песне.

По стране бродили демобилизованные солдаты, принадлежавшие к разным народам и нациям. С Украины, из Крыма и из Подолии, с Волыни и из Белоруссии — отовсюду солдаты распущенных германских армий торопились домой, на родину. Не хватало поездов, чтобы вывезти эти нетерпеливые полчища. Они висели на ступеньках вагонов, лежали на крышах составов, цеплялись за буфера, чтобы как можно быстрее вернуться домой, но даже так поезда не могли вместить всех желающих. Десятки тысяч демобилизованных солдат слонялись по дорогам Польши, неприкаянные, расхристанные, возбужденные и обеспокоенные тем, что происходило, а еще больше тем, что готовилось произойти. Революционеры прикрепляли к груди красные ленточки. Эльзасцы вместо сорванных немецких знаков различия вешали себе французские<sup>1</sup>. Они весело маршировали по улицам, заговаривали по-французски с девушками и кричали:

— Вив ля Франс!<sup>2</sup>

Поляки из провинции Познань крепили польских орлов к своим немецким фуражкам и выкрикивали патриотические лозунги Польши на ломаном польском языке, мешая его с немецкими словами. Они стали пользоваться большим успехом у польских девушек. Они заполняли католические церкви, они были везде и всюду.

<sup>1</sup> В результате первой мировой войны Эльзас, отторгнутый Пруссией в 1870 году, был возвращен Франции.

<sup>2</sup> Да здравствует Франция!

Полное замешательство царило среди австрийских солдат. Победенная страна расплзалась по швам, как старая, латаная-перелатаная одежда. От нее отваливались куски. Брошенные на произвол судьбы, распустившиеся солдаты утратили всякое представление о дисциплине. Они захватывали и подчистую грабили интендантства, продавали за гроши оружие, опустошали полковые кассы. Они начали говорить на родных языках, цеплять к форме эмблемы своей родины. Издерганные, распоясавшиеся, они вешали на голубые австрийские мундиры, лишенные ремней, номеров и отличий, национальные значки всех мастей. Поляки вступали в польскую армию, пели на улицах польские песни. Чехи срезали австрийские знаки различия со своих мундиров и кокарды с портретами его королевского и императорского величества со своих фуражек. Место австрийской символики занимали чешские флажки и кокарды, которые мальчишки продавали на всех углах. Венгры украшали себя своими национальными цветами. Боснийцы, румыны, словенцы, украинцы, сербы, хорваты — все распевали свои песни, все размахивали руками, громко разговаривали, носились, словно обезумевшие. Каждый рвался домой. Евреи не трогались с мест, оставались там, где были их дома и синагоги, рынки и старые кладбища, но на стенах их жилищ уличные мальчишки писали оскорбления и угрозы, проклятия и бранные слова. Школьные меловые надписи на всех заборах требовали, чтобы евреи убирались в свою Палестину, иначе их всех пережуют. Под звуки победных фанфар иноверцы швыряли камни в окна еврейских домов.

Больше всех пострадали евреи Восточной Галиции. Их домишки в местечках разрушили русские казаки, налетевшие на них в первые месяцы войны как саранча. Многие были сосланы, угнаны в Сибирь, в разные далекие города России. Был большой голод, эпидемии косили людей. Дома, куда так стремились вернуться десятки тысяч еврейских солдат, их не ждало ничего хорошего.

Некоторые молодые евреи пробовали вешать шестиконечные щиты Давида на свои австрийские фуражки, но солдаты-иноверцы насмехались над ними.

— Почему вы не едете в свою страну? — с издевкой спрашивали они. — Вы нам тут не нужны!

Еврейские солдаты постарше не вешали на себя никаких эмблем. Они хотели как можно быстрее совсем избавиться от военной одежды. Они были сыты войной по горло. Не сняв мундиров, они уже отращивали бороды и пейсы, как прежде, на гражданке. Они сутулились по обыкновению изгнанников, они ходили в синагоги молиться и изучать Тору. Весь тяжелый груз еврейского Изгнания снова ложился на их плечи, еще обтянутые голубым австрийским сукном. Все надо было начинать сначала: отстраивать свои гнезда, отыскивать валявшиеся на чердаках старые инструменты и браться за ремесло, чтобы заработать несколько крон, чтобы обучать детей, выдавать замуж дочерей, чтобы нести дальше бремя жизни. В синагогах, в хасидских молельнях, в бедных миньянах ремесленников они искали утешения, веры и надежды на Бога. Они молились Ему, просили Его, возносили взоры своих печальных глаз к Его небесам, на которых Он восседает и царит над всеми царями.

Однако война, ненависть, гнев не желали затихать. Старые распри между двумя народами, между панами и холопами<sup>1</sup> пылали ярким огнем. Каждый хотел править. Каждый хотел захватить, потому что кто ничего не захватывает, тот ничего и не имеет. И по еврейским улицам, над развалинами разоренных еврейских домов летали пули. Каждая из сторон призывала евреев присоединиться к ней, выступить против ее врагов.

Самая большая война шла во Львове, прямо посреди города. Армии расположились по разные стороны от линии

<sup>1</sup> Имеется в виду война между армией провозглашенной украинцами Галиции Западно-Украинской Народной Республики и поляками (октябрь 1918 г. — июль 1919 г.).

фронта и вели перестрелки друг с другом. Еврейский квартал лежал между двумя позициями и подвергался обстрелам спереди и сзади.

Молодые еврейские солдаты и офицеры австрийской армии создали собственную вооруженную милицию, чтобы защитить еврейские улицы от бандитов и грабителей, нападавших на них среди бела дня. Они, евреи, сохраняли нейтралитет в противоборстве двух наций. Таким образом они надеялись уберечь свой народ от гнева как победителей, так и побежденных. Но полякам претил еврейский нейтралитет. Они подписывали соглашения с евреями и их силами самообороны, одновременно натравливая на них толпы иноверцев, возводя на них наветы, призывая отомстить предателям жидам.

— Ну погодите, — грозили они, — пусть только войдут первые польские полки, пусть только они прогонят украинцев, тогда мы вам покажем, как держаться в стороне!

Эти угрозы обернулись реальностью. Из Кракова на Львов наступали «крокусы». Несколько дней на еврейских улицах шли перестрелки между воюющими армиями. Когда украинцы отступили, победители «подарили» еврейский квартал своим солдатам, предоставив его им для убийств и грабежа.

Солдаты и офицеры, старшие лейтенанты и учителя гимназий, чиновники и сестры милосердия, воры и проститутки, освободившиеся заключенные и христианские священники, монахи и женщины — все устремились на еврейские улицы.

— Ура! На евреев! Вырезать их! — кричал освобожденный народ и размахивал руками. — Повесить их за пейсы! Вытравить всех, как мышей!

Толпу возглавляли офицеры с солдатами, по офицеру на каждый десяток солдат. Они окружали еврейских милиционеров, разоружали их, командиров расстреливали, а остальных арестовывали, вязали веревками под дикий хохот толпы.

— Забить их камнями! — вопили женщины и плевали на связанных. — Сжечь их!

Затем победители окружили еврейский квартал.

С солдатской точностью, ровно в семь утра, польские легионеры поставили пулеметы и бронемшины вокруг Краковской площади, у Луковой, Синагогальной, Жулковской и прочих улиц, чтобы отрезать все пути из еврейского квартала.

— Огонь! — дали команду офицеры.

Затрещали пулеметы. Одни пехотинцы стреляли в окна, другие швыряли в них ручные гранаты. Из домов раздавались рыдания и крики боли. Они разносились в холодном утреннем ноябрьском воздухе. Солдаты смеялись.

— Ой-вей, гут, — передразнивали они евреев и продолжали забрасывать их гранатами.

Прошло немало времени, прежде чем офицеры дали приказ прекратить огонь и разослали патрули по домам. Каждый получил для обработки свой район. Главный штаб разместился в городском театре и руководил операцией. То и дело в театр-штаб прибывали посыльные; они рапортовали офицерам о ходе операции, получали новые приказы и возвращались на выделенные им участки еврейского квартала.

Соблюдая армейский порядок, патрули, по десять солдат во главе с офицером, ходили от квартиры к квартире. Ручными гранатами они взрывали запертые двери и, держа наготове револьверы и винтовки с насаженными на них штыками, врываются к евреям, которые с женами и детьми в страхе жались к стенам.

В богатых квартирах офицеры приказывали жильцам поднять руки вверх и обыскивали их. Деньги, часы, обручальные кольца, серьги, шелковые платья — все, что имело хоть какую-нибудь ценность, легионеры забирали.

— А ну, еврей, раскошеливайся! — кричали они.

Деньги они рассовывали по карманам. Вещи паковали в мешки, в одеяла, которые снимали с кроватей. Молодых женщин насиловали на глазах у их родственников. Старых били прикладами винтовок, выбивали им зубы, выкалывали глаза. Вырезали детей в колыбелях.

— Чтоб на развод не оставалось! — заявляли погромщики.

В бедных домах, где денег и украшений не было, польские легионеры поджигали постельное белье, бросали ручные гранаты. Когда, спасаясь от огня, люди открывали окна и выпрыгивали, солдаты расстреливали их из винтовок.

В некоторых квартирах, надеясь на пощаду, мужчины надевали свои мундиры польских полков австрийской армии, но мучители на это не смотрели.

— Все евреи одинаковые! — говорили они. — Исключений нет!

Они таскали жен еврейских легионеров за волосы, срывали с них одежду, били беременных сапогами в живот. Они привязывали мужей к кроватям, на которых издевались над их женами. У ворот стояли армейские автомобили с польскими орлами, куда солдаты запихивали награбленное добро, которое затем отправлялось на сборные пункты, где его сортировали и делили. Работницы в платках, элегантные дамы в мехах, уличные девки, сестры милосердия, монахини, учительницы — все толкались, пихались, лезли вперед, чтобы урвать вещь получше, платье покрасивее, украшение подороже.

— Мне, мне, господин капитан, — кричали они, строя глазки офицерам, которые бросали им добычу, как кости изголодавшимся собакам. Состоятельные люди приезжали в фиакрах, чтобы увезти доставшееся им добро к себе домой.

В еврейских магазинах погромщики выламывали двери, забирали товары, еду, одежду и вывозили все это на армейских автомобилях. Офицеры задерживали телеги и фиакры, приказывая извозчикам ехать с награбленным на сборные пункты.

На вторую ночь расположившийся в театре штаб приказал поджечь то, что осталось от еврейского квартала.

На армейских автомобилях из взломанных еврейских магазинов подвозились бочки с нефтью и бензином. Из домов выбрасывались набитые соломой матрасы, подушки и пери-

ны. Офицеры велели солдатам обливать стены нефтью, показывали, как обкладывать их матрасами с соломой, и поджигали дома со всех сторон. Улицы были блокированы, чтобы никто не мог спастись от пожара. Тех, кто выпрыгивал в окна, расстреливали. Ворота солдаты запирали.

Вопли евреев поднимались к небу вместе с языками пламени и облаками дыма. Однако их молитва не была услышана. Солдаты и офицеры играли в карты, смеялись и глумились над их рыданиями.

— Жарьтесь в собственном сале! — кричали поляки.

Потом они взялись за синагоги, за еврейского Бога.

Четверо офицеров, каждый с десятком легионеров, вошли в пригородную синагогу. Они сняли занавесь со священного кивота, вынули все серебряные короны свитков Торы, все указки, все украшения, все кубки, все меноры и завернули эти ценности в занавесь. Также они сняли со свитков Торы чехлы, собрали все скатерти и праздничные занавеси и раздали их женщинам, которые охотно расхватывали красивые ткани и заворачивались в них. Обнаженные свитки Торы легионеры бросили на землю, плясали на них, кололи их штыками, оскверняли. Покончив с этим, они метали ручные гранаты в священный кивот до тех пор, пока старинная, построенная несколько сотен лет назад, украшенная резьбой синагога не загорелась.

Двое тринадцатилетних мальчишек с Синагогальной улицы, Довид Рубинфельд и Исроэл Файгенбойм, вбежали в горящую синагогу, схватили каждый по свитку Торы и бросились прочь. Польские легионеры застрелили их обоих. Мальчишки упали на землю, сжимая в руках свитки Торы.

Все синагоги и хасидские молельни на Синагогальной улице, на старом рынке и других улицах были облиты нефтью и пылали. Из Большой синагоги на Жулковской офицеры забрали все серебро. Некоторые намотали на головы атласные чехлы для свитков Торы наподобие турецких тюрбанов и плясали, раскачивались, как евреи за молитвой, вызывая

смех солдат и толпы. Потом офицеры приказали выломать пол синагоги, налить туда бензина и поджечь.

На Синагогальной улице несколько евреев оделись в белые китлы и завернулись в талесы. Они исповедовались перед Богом, били себя кулаком в сердце, пока огонь не подступил и не перекинулся на них. Какой-то офицер испугался людей в горящих талесах и открыл им дверь. Однако охваченные огнем и дымом евреи продолжали, рыдая, каяться и не слышали призывов иноверца. Языки пламени поглотили их.

Три дня и три ночи горел еврейский квартал. Три дня и три ночи гуляли грабители в военной форме и гражданской одежде. Пожарные к евреям не приезжали. Им запретили приезжать.

На четвертый день печальные, униженные своим несчастьем евреи с опущенными головами и погасшими глазами вышли к тлеющим развалинам. Они вытаскивали из кирпичей и железа обугленные тела. Кости складывали в глиняные горшки, чтобы похоронить их по еврейскому обычаю. У развалин синагог они собирали обрывки недогоревших свитков и обломки священных кивотов, клали их в другие глиняные горшки и ставили возле горшков для костей. Семьдесят два трупа, укрытые талесами, лежали длинным рядом. Рыдающие люди искали среди них своих близких.

На похороны убиенных соплеменников и оскверненных свитков Торы пришли все евреи города. Одетые в черное толпы тянулись без конца. Еще чернее одежд были их рыдания. Дети от горя и отчаяния закусывали свои ручонки. Среди тысяч черных лапсердаков маячил один светло-голубой польский мундир. Ссутулившись, с растрепанной бородкой, с печальными глазами, человек в мундире шел в толпе скорбящих. Это был Фельдблум, офицер польских легионеров «крокусов», пришедших, чтобы захватить этот город.

Как и во время печально знаменитого погрома в Лодзи, он метался по Львову, пытаясь остановить занятых грабежом солдат, прибегал в комендатуру, но никто его не слушал.



— Таков приказ, евреи отданы войскам на сорок восемь часов, — отвечали ему.

Теперь он шел с сорока тысячами рыдающих людей, охваченных безмерным, невыносимым горем. Его плечи сутулились под тяжестью военного мундира, его ноги подгибались.

Продавцы газет надрывали глотки, выкрикивая последние новости польских изданий:

— Евреи стреляли в наших самоотверженных бойцов, лили им на головы кипяток! Последние новости! Наши бойцы героически сокрушили большевистских врагов! Последние новости!

Полиция и военные патрули искали погромщиков среди украинцев и евреев, хватали их на улицах и вели под вооруженным конвоем в участок. Легионеры маршировали по улице Карла Людвиг<sup>1</sup> и играли свои военные марши.

Польское телеграфное агентство разослало коммюнике, согласно которым нападения на Львов, организованные большевистскими агитаторами, были отбиты героическими польскими войсками.

Из тлеющих руин дым лениво поднимался к тоскливому небу. Растрепанная женщина в рваной одежде почерневшими руками копалась в кирпичах и мусоре.

Она искала кости своего погибшего ребенка.

Во всех городах и местечках польская армия разоружала еврейскую самооборону и оставляла евреев и их имущество на разграбление и уничтожение христианам. Тех, кто сопротивлялся, арестовывали и бросали в тюрьмы по обвинению в большевизме. В городах Галиции чиновники выгоняли из учреждений своих еврейских коллег, с которыми в австрийские времена проработали много лет. Железнодорожные служащие выставляли за порог принадлежащих к

---

<sup>1</sup> Центральная улица австрийского Львова (Лемберга), названная так в честь знаменитого полководца, эрцгерцога австрийского Карла Людвиг Иоганна Йозефа Лаврентиуса Габсбурга (1771–1847).

опальному народу машинистов и кондукторов. Разогнали даже тысячи евреев-чернорабочих, которые во время германской оккупации трудились на железной дороге. Польские носильщики не давали оборванным евреям, подпоясанным веревками, выгружать багаж из поездов. На улицах солдаты били ненавистных жидов, выдирали им бороды с мясом. Из ресторанов и кафе выволакивали еврейских коммерсантов и гнали их подметать улицы и копать ямы. В поездах пассажирам-евреям мяли бока, выбрасывали их на ходу из вагонов.

В церквах священники говорили о Боге и сыне Его Иисусе, рожденном от Святого Духа. Они говорили, что Иисус искупил и освободил народ народов, — народ, исполняющий мировую миссию, народ, чьи религиозность, честность и добронравие служат примером всем христианам на свете.

## Глава восемнадцатая

**Я**куб Ашкенази забыл о многолетнем раздоре со своим братом-близнецом и отправился через границы и линии фронтов в Петроград, чтобы отыскать и спасти его.

Со всех концов России в Лодзь возвращались люди — эшелонами и в одиночку, пересекая границы и страны, но Макса Ашкенази все не было. Письма от него тоже не приходили. Его жена, старая и больная, каждый день ездила на вокзал, слонялась на своих свинцовых, полупарализованных ногах среди вагонов в надежде, что новоприбывшие передадут ей весточку от мужа. Но о Максе не было ни слуху ни духу. Она возвращалась с той же пустотой в сердце, с какой выезжала из дома, а на завтра опять отправлялась на вокзал с новой надеждой и за новым разочарованием.

Одна-одинешенька в чужом городе, бесприютная и печальная сидела госпожа Ашкенази в квартире, где директор Альбрехт вел когда-то свою развеселую жизнь и куда она въехала после того, как барон фон Хейдель-Хайделау поселился в ее дворец, и ждала мужа, единственного человека, который только и остался у нее на свете. Она не водила знакомств в этом чужом для нее городе, ни к кому не ходила, никого к себе не приглашала и общалась только со своей служанкой. Дни она проводила в пустом кабинете директора фабрики, вечера дома. Как и в первое время после отъезда Макса, она стерегла его имущество, чтобы отдать его мужу нетронутым, как только он вернется в Лодзь.

Как прежде с немцами, так и теперь с поляками ей приходилось вести войну за фабрику, за дворец. Польские военные, занявшие дворец Макса Ашкенази после коменданта барона фон Хейделя-Хайделау, не торопились его покидать, хотя он и был частной собственностью. Они хозяйничали в нем, устраивали балы, так же как прежде в нем хозяйничали и развлекались немцы. Госпожа Ашкенази из своей директорской квартиры вела борьбу с теми, кто хотел присвоить состояние ее мужа. На своих тяжелых, непослушных, едва способных двигаться ногах она ездила с зонтиком к адвокатам, приходила в разные учреждения и на своем безграмотном польском языке с русским акцентом требовала справедливости, добивалась, чтобы ей вернули ее имущество. Кроме того, она расхаживала по фабричному двору, за всем присматривала и все сторожила, чтобы рабочие что-нибудь не разнесли и не растащили.

Нет, это давалось ей нелегко — выхлопотать хотя бы малую малость в учреждениях нового государства. Она была старой грузной женщиной, говорившей по-польски с русским акцентом и имевшей ярко выраженную еврейскую внешность. Секретарши в государственных ведомствах смеялись над госпожой Ашкенази, не отвечали ей; лакеи не пускали ее к своим господам, просили прийти попозже. Ра-

бочие тоже давали ей понюхать перцу. Подстрекаемые антисемитскими газетами и листовками, всякого рода ораторами, раздувавшими ненависть к евреям и возводившими наветы на еврейских фабрикантов, чтобы отвести гнев голодных и безработных от польских властей, они хватали все, что попадалось им под руки, воровали, грабили. Часто они приходили к фабрикантам бить им окна, выкрикивать оскорбления, могли даже запереть их в доме и держать под замком до тех пор, пока они не подпишут документ, что обязуются запустить фабрику и платить столько, сколько потребуют рабочие. Полиция не вмешивалась в такие дела, она предоставляла рабочим свободу в их разборках с еврейскими фабрикантами.

К госпоже Ашкенази тоже приходили польские рабочие; они кричали, требовали, чтобы она дала им денег и запустила фабрику. Они заперли ее в директорской квартире и не позволяли проносить туда еду, но госпожа Ашкенази от своего не отступилась. Она держалась с железным упорством, сопротивлялась всем и вся и упрямо охраняла собственность мужа. Она уже ничего не ждала от жизни. Она была больна и надломлена. Она готовилась к смерти. Но было кое-что, до чего она хотела дожить: она хотела увидеть мужа, передать ему некогда вверенные ей ключи от его имущества, а потом умереть.

Но он, Макс Ашкенази, не приезжал и не давал о себе знать. Госпожа Ашкенази размещала объявления в газетах, просила людей откликнуться и сообщить ей, что им известно о ее муже. Она отправляла через Красный Крест письма, депеши. Все без толку. Тогда госпожа Ашкенази взяла зонтик, села в дрожки и поехала к брату мужа, Якубу Ашкенази, которого она прежде в глаза не видела и про которого знала, что муж был с ним на ножах. Хотя она никуда не ходила, ей было известно, что в доме Якуба Ашкенази живет и та, которая должна быть ей врагом, первая жена Макса. Она не ждала теплого приема в этом доме, ни от деверя, ни от первой жены

ее мужа, ни от своей падчерицы Гертруды, про которую она знала только, как ее зовут, но которую никогда не видела. Тем не менее госпожа Ашкенази смирила свою гордость и приготовилась стерпеть все, лишь бы получить помощь в поисках мужа.

С трепещущим сердцем она позвонила в дверь квартиры своего родственника. Чувствуя унижительность положения, она разозлилась на служанку, которая открыла ей, но заставила ждать в коридоре.

— Доложи, что жена Макса Ашкенази хочет видеть твоего господина, — сказала она чересчур громко, как всегда, когда пыталась компенсировать свое унижение. — Так и скажи, слышишь?!

Из комнат доносились аккорды фортепьяно и смех ребенка. Эти звуки еще больше пристыдили старую женщину, стоявшую и ждавшую в этом просторном темном коридоре. Она не была уверена, что ее примут — слишком уж долго ее держали на пороге, — но вот дверь широко распахнулась и ее незнакомый деверь Якуб Ашкенази встретил ее приветливой улыбкой.

— Очень рад видеть вас в моем доме, — сказал он и сжал ее руку в своей широкой и сильной мужской ладони.

Госпожа Ашкенази была тронута теплотой его обращения и не знала, как ей распорядиться собой. Главным образом ей мешал зонтик, который вдруг показался ей совсем лишним. Якуб Ашкенази забрал у нее зонтик и помог ей снять пальто. Ей не хотелось раздеваться.

— Я не отниму у вас много времени, господин Ашкенази, — пролепетала она. — Я хочу только посоветоваться...

— Ну что вы, в самом деле, — перебил ее Якуб Ашкенази и под руку повел ее не в кабинет, а в столовую. — Вы немного отдохнете, попьете с нами чаю.

Госпожа Ашкенази буквально окаменела на своих неуклюжих ногах, увидев в столовой двух женщин — пожилую и молодую. Хотя она не была знакома с ними, но догадыва-

лась, кто они. Она не могла сделать ни шага. Якуб силой подвел ее поближе.

— Госпожа Ашкенази, — представил он ее громким голосом.

Женщины элегантно пошли навстречу грузной гостье и протянули ей руки.

— Очень приятно, садитесь! — приветствовали они ее и сразу же принялись звонить в колокольчик, вызывая прислугу, чтобы она принесла чаю.

Преувеличенно громкими приказами немедленно подать чай они спасались от неловкой ситуации, в которой оказались. Некоторое время женщины разглядывали друг друга. Госпожа Ашкенази хотела рассмотреть и эту Гертруду, дочь ее мужа, о которой она столько слышала, и его первую жену. Хотя она была уже старой, больной и сломленной, она смотрела во все глаза на двух женщин этого дома, в присутствии которых она чувствовала себя еще более отталкивающей.

Диночка и Гертруда с удивлением глядели на ту, что разрушила их семью. Выбор Макса Ашкенази был плох. Ни в лице, ни в фигуре этой старухи не было ничего соблазнительного. Диночка покраснела, как девочка, и прижалась к Гертруде, кутаясь в платок, словно ей внезапно стало холодно. Якуб Ашкенази попытался спасти положение и завести разговор о чем-нибудь, но его слова замерли в воздухе, разговор не получился. Повисла тяжелая, давящая тишина. Молчание прервал ребенок. Вдруг из детской в столовую вошла маленькая Прива, дочурка Якуба, названная так в память о своей прабабушке, и сразу же подбежала к чужой тете. Прива была светло-русая, смелая и веселая девочка. Она радостно бросилась к гостье и начала хвалиться новой куклой, которую ей купили.

— Это Мими, моя маленькая Мими, — показывала она куклу в синем шелковом платьице и с красным бантом в волосах, — а еще у меня есть новый мишка, только он очень злой... Его зовут Бумбу...

Госпожа Ашкенази так и приникла к ребенку.

— Ангел мой, — бросилась она целовать пухлые ручки малышки, — золотко, сокровище! От тебя в доме светло!

В одно мгновение лед был сломан. Все три женщины тут же занялись девочкой; они целовали ее, строили ей рожицы, вспоминали ее забавные высказывания. Якуб стоял в стороне и радовался.

Госпожа Ашкенази больше не торопилась уйти. Эти люди окружили ее теплом и радушием. Они подали ей чаю со сладостями, они расспрашивали о ее жизни, приглашали бывать у них почаще. Гертруда так освоилась с гостьей, что в присутствии матери называла ее тетей. Незаметно они перешли к разговору о человеке, о котором в этом доме думали все, — о Максе Ашкенази.

— Один Бог знает, что с ним случилось, — говорила госпожа Ашкенази, вытирая слезы, набегавшие ей на глаза.

Глядя на нее, мать с дочерью почувствовали, что им на глаза тоже наворачиваются слезы.

Совместными усилиями обе стороны принялись искать пропавшего Макса Ашкенази.

Прежде всего, Якуб съездил в Берлин — единственный город, в котором у новой России было посольство, — чтобы хоть что-нибудь узнать там о своем сгинувшем в Петрограде брате. Добраться до Берлина было нелегко. Поезда были набиты демобилизованными солдатами. С получением паспортов и виз тоже возникли трудности, но Якуб преодолел все препятствия. Он умел проникнуть куда угодно, открыть любую запертую дверь. В его крепкой импозантной фигуре, в его твердой поступи было столько достоинства и уверенности в себе, что охранники пропускали его в учреждения, а лакеи — в покои своих господ. Все тайные и запретные двери распахивались перед Якубом. Он в два счета получил визу, потом за хорошие деньги добыл себе место в поезде и уехал в Берлин, в посольство, над которым развевался красный флаг.

Якуба Ашкенази приняли там очень вежливо, записали имя его брата и пообещали дать знать, как только из России придет ответ. Якуб каждый день ездил в посольство, расспрашивал служащих, но ответ так и не пришел. После нескольких недель бесплодного ожидания он отказался от официальных средств поиска, от которых, как он убедился, мало толку, и отправился в Россию, чтобы самому разобраться с этим делом.

Его не пускали, отговаривали от этой поездки, говорили, что не время отправляться в страну, когда в ней бушует гражданская война. Якуб Ашкенази не слушал. Он понимал, что с его братом, несомненно, произошло что-то ужасное, если он до сих пор не выбрался из страны, в которой не было никакой коммерции и деловой активности. Со всех концов России в Лодзь приезжали люди, кто — эшелонами для бездомных, кто — нелегально перейдя границы, но Макс Ашкенази не возвращался. Якуб догадывался, что не коммерческие дела удерживают в России его брата, что с ним там случилась беда. И он не знал покоя в Лодзи. Он забыл все старые ссоры и споры. Он не мог долго носить ненависть в сердце. Он предал старые распри забвению и поехал спасать брата. Он упаковал свои чемоданы, зашил деньги в подкладку одежды, взял с собой письма, разного рода бумаги и метрики, подтверждающие, что Симха-Меер является уроженцем Лодзи, и отправился в путь, в далекий и неведомый путь.

Своими полупарализованными руками госпожа Ашкенази обняла Якуба и поцеловала его волосатые руки за то, что он едет спасать ее мужа. Потом она сняла с себя украшения и стала пихать их в карманы его пальто.

— Возьмите это. Там пригодится, — умоляла она. — Это везде имеет ценность.

Якуб не хотел брать украшений, но женщина силой засунула их ему в карман. Потом она сняла со своей груди амулет и повесила ему на шею.



— Это от Карлинского ребе<sup>1</sup>, наследство. Возьмите его в дорогу, чтобы он уберег вас от беды... Сделайте это ради меня.

Якуб не нашел в себе смелости отказать старой больной женщине, в словах которой все еще чувствовалась сила.

Столько же тепла и преданности вложили в прощание с Якубом Диночка и Гертруда, мать и дочь. И дочь Макса, и его бывшая жена безмерно жалели и любили Якуба, отправлявшегося в столь опасное путешествие ради человека, с которым он вечно враждовал, который не был к нему справедлив, но которому грозила смерть и требовалась помощь.

— Якуб, мой храбрый рыцарь, — с нежностью, как в первые дни их любви, говорила Гертруда мужу и вновь покрывала поцелуями его лицо, губы, глаза и даже бороду.

Диночка собрала в дорогу Якубу массу вещей, всякой еды и белья — для него самого и для Симхи-Меера. При этом она краснела, как в те времена, когда она еще была девушкой на выданье, и стеснялась смотреть Якубу в глаза.

— Счастливого пути и счастливого возвращения вместе с Симхой-Меером, — стыдливо бормотала она. — Передавай ему от меня привет...

Увешанный дорожными сумками, снабженный едой и всевозможными бумагами, письмами, адресами, деньгами, украшениями и амулетом Карлинского ребе, он отправился в трудный, даже страшный путь. Поезда напоминали суматошную ярмарку, солдаты разных стран и народов, разного возраста и вида тянулись из края в край, из государства в государство. На всех вокзалах стояли эшелоны бездомных, набитые мешками и баулами, полные детей и слез. Десятки тысяч прошедших плен русских солдат торопились домой из Германии после всего, что им пришлось пережить на чужбине.

---

<sup>1</sup> Вероятнее всего, речь идет о реб Аароне Втором, который был Карлинским ребе с 1826 по 1872 г. Местечко Карлин, давнее название одному из направлений хасидизма, располагается в Белоруссии, ныне в черте города Пинска.

Бородатые, заросшие, бледные от постоянного недоедания в плену, оборванные, в деревянных башмаках, в тряпье, обвязанном веревками и телефонными проводами, с мешками и торбами на плечах, они спешили вернуться в Россию, на Украину, в Сибирь, на Кавказ и в Крым, мчались во все концы и области огромной страны. Генералы и офицеры, которые вели их в бой, бросили этих солдат, кинули на произвол судьбы в чужих краях. Нищие, голодные, пришибленные, больные, голые и босые, они бежали через земли и границы, висели на подножках поездов, тащились пешком, выпрашивая кусок хлеба. Все стремились домой — рослые, голубоглазые, русые великорусы, черноглазые горбоносые кавказцы, раскосые калмыки, чувашаи, чеченцы, белорусы, евреи, украинцы, татары, черкесы, казаки, армяне всех возрастов и мастей, из городов и деревень, с гор и из долин. У них не спрашивали ни паспортов, ни других документов; они свободно пересекали рубежи и страны.

Как переставшие понимать друг друга строители Вавилонской башни, защитники великой России бежали теперь по домам растерянные, одинокие и никому не нужные.

Разочарованные помпезными речами и уговорами вождей, которые от имени императора и Бога звали их к победе; обозленные тем, что их оторвали от домов, от земли, от жен и детей и обрекли на мучения и гибель; отупевшие от крови, страданий, голода, унижений; одураченные, покинутые теми, кто вел их в чужие страны и бросил там на произвол судьбы, — бывшие brave воины растекались по всем дорогам, как стадо без пастуха. Это переселение народов затопило все тракты, все железнодорожные линии, все шляхи. Эпидемии, подстрекатели, разносчики слухов сопровождали беглецов, как кружащие над падалью вороны, они косили их, травили и убивали. Злыми глазами смотрели люди в шинелях на богатого, хорошо одетого, сытого и вальяжного человека, который ехал одним с ними поездом и видел их беду; его благополучие кололо им глаза.

Они чистились, эти изголодавшиеся и запаршивевшие люди, открывали свои раны, внешние и внутренние. Их покинутые дома, жены, земля, новый порядок в стране одновременно и притягивали их, и пугали. Все было во мраке. Никто не знал, что ждет его впереди, какой будет его новая жизнь.

— Теперь у меня будет много земли, той, что забрали у помещиков, — говорил один солдат-крестьянин. — Жизнь будет хорошая.

— Говорят, что они, красные, тоже гонят на войну, — отвечал ему другой солдат. — И воевать надо против своих.

— А на Украину помещики вернулись, — сказал третий. — Крестьян, говорят, порют, как в старые времена при панщине, пьют нашу кровь.

— Неправда, украинцы хотят оставить свой хлеб себе, а не отдавать его кацапам, которые норовят все у них отнять, потому-то кацапы их и бьют. Украинцы должны помочь своим, — поучал четвертый.

— Я больше на фронт не пойду, хватит, повоевали. Теперь поживу для себя, со своей жинкой. Давно уже с ней не виделся... Очень по ней скучаю, она такая молодая, такая свеженькая, — волнуясь, говорил здоровенный парень.

— Она уже наверняка нашла себе другого, — охладил его пыл какой-то пожилой солдат.

— Замолчи, сукин сын, не то я тебе морду расквашу! Не говори, чего не знаешь! — заорал здоровяк и схватил пожилого за горло.

— Не кипятись ты, земляк, — встрял в их спор широкоплечий солдат с изрытым оспой лицом. — Ты ж у ее кровати на карауле не стоял. Она ведь не дура так долго тебя ждать. Женщина что сучка — не тот кобель, так этот... Дело известное...

— Да, родители мне про мою то же самое писали, — вмешался бородатый солдат. — Снюхалась с другим, и теперь у нее аж двое детей от него, байстрюков то есть...

— И что будешь делать, когда вернешься домой? — спросили все одновременно.

— Еще не знаю, — сказал бородач. — Может, прощу. А может, убью...

От разговоров о домашних делах перешли к разговорам о другом.

— Они поджигают церкви, — подал вдруг голос какой-то сидевший в углу солдат. — Молиться совсем не дают эти красные дьяволы...

— А заправляют у них всем евреи. Даже новый царь, говорят, еврей...

— У него рога как у черта, — уверенно заявил, перекрестившись, какой-то немолодой щуплый солдатик. — Об этом, я слышал, даже в газете писали...

— Да, точно, во всем, говорят, евреи виноваты. Они и войну устроили, чтобы денег подзаработать...

— Бить их надо!

— О, у нас на Украине еще как их бьют, — заверил братьев хромой солдат.

Ненависть, чувство обманутости, разочарованность, озлобленность пылали в набитом битком вагоне и рвались наружу. Якуб Ашкенази почти физически ощущал окружающую его злобу, густую, как дым, который душит и ест глаза. Но он не отступился от задуманного, он продолжал свой путь, он ехал все дальше и дальше в переполненных поездах, которые ползли, как черви. Никто не знал, когда они отправляются, куда идут, через какие пункты и границы. Неведомо было и кто на этих границах хозяин. Власть менялась каждый день, а вместе с ней менялись и порядки. Всех новых царей объединяло только одно — грабеж и разбой.

Якуб Ашкенази ехал как в бреду от города к городу, от рубежа к рубежу. Деньги в кармане были тем оберегом, который хранил его от ружейных стволов, револьверов и главарей бандитов. Блеск золота освещал ему путь в красную столицу и позволял проникнуть в самые темные углы. Бла-

годаря золоту он находил подход к людям в кожанках, пробивался к их начальникам, к доверенным лицам самого Щиньского. Наконец он добрался до камеры своего арестованного брата.

Несколько минут брат молча смотрел на брата в тюремной канцелярии, где им устроили встречу. Только потом они узнали друг друга.

Якуб замер на месте, увидев человека, которого вывели к нему из подвала. Перед ним стояло сгорбленное, скрюченное, страшно заросшее существо с желтой кожей, грязными седыми волосами и бородой, в перекошенных башмаках и рассыпающихся на теле лохмотьях. В этом согнутом в три погибели старике с мальчишеской фигурой не было ничего от его брата. Он был как каменный и смотрел стеклянными, запаршившими глазами. Сейчас он бросал осторожные взгляды на стоявшего перед ним рослого, широкоплечего, импозантного незнакомца.

С тех пор как его, Макса Ашкенази, так внезапно, в последнюю минуту, взяли на берегу моря, когда он стоял на самом пороге спасения, и бросили в тесный и вонючий подвал, он окаменел. Он знал, что в этом чужом городе, где он один как перст, где у него нет близких и нет заступника, где он оторван от всех и вся, отрезан от людей и мира, — он пропал и его судьба предрешена. Ждать ему больше нечего, впереди у него конец, горький и одинокий. Он погибнет так, что никто даже не узнает, где лежат его кости. Он был так уверен в неотвратимости своей гибели, что даже не пытался спастись, защититься. Ни единым словом не отрицал он обвинений, выдвигаемых против него следователями, к которым его водили на допрос.

Соседи по камере хотели втянуть его в разговор, выведать у него, за что его арестовали, откуда он родом, что он собирается делать. Он молчал. Какое это имело значение, если впереди была одна только смерть? Неохотно отвечал он и

красноармейцам, когда, измученные скукой и однообразием постовой службы, они пытались расспрашивать Макса Ашкенази о его жизни, положении в обществе и родине.

— Не мычит, не телится, — говорили про него охранники и махали руками.

— Да, он не свойский человек, — кивая головой, соглашались с ними арестанты.

Со следователем он тоже был неразговорчив.

— Да, я хотел уехать, — говорил он, — к себе домой, в Лодзь. Это всё. Кроме этого мне не в чем сознаваться.

В первые дни ареста он твердил псалмы, которые помнил еще с мальчишеских лет. Каждую ночь всё новых узников выводили из подвала на казнь. Каждый раз, когда в камеру входили люди в кожанках, он был уверен, что пришли за ним, за его жизнью. И он готовился к смерти. Он молился Богу, бил себя в грудь, каясь в грехах, совершенных им на этом свете. Его всё не забирали. Всегда уводили его соседей, но каждый раз он думал, что настал его черед. Он так ждал этого, что, когда открывалась дверь, тут же вскакивал со своего грязного, набитого соломой матраса, словно торопясь навстречу неизбежному, словно боясь опоздать на собственную казнь.

Солдаты смеялись над ним.

— Укладывайся, дяденька, не тебя вызывают! — успокаивали они его.

Сокамерники ему завидовали.

— Уж вы-то избежите пули, — говорили они. — Со спекулянтами обходятся не так, как с политическими.

Макс Ашкенази не верил в это. Он ни на минуту не забывал о близящемся конце, о своей неотвратимой гибели. Он равнодушно брал маленький кусочек хлеба из рук тюремщиков, выхлебывал водянистый суп и продолжал ждать смерти. От долгого напрасного ожидания он впадал в оцепенение, как человек, заблудившийся в пустынном месте, куда никто не придет спасти его и где никто не услышит его призыва. Со-

седи беседовали между собой, рассказывали друг другу сказки о старых счастливых временах. Кто-то лепил из жеваного хлеба шахматные фигурки и целыми днями играл в шахматы. Один пожилой человек в военной одежде непрерывно занимался гимнастикой, чтобы сохранить себя в форме. Макс Ашкенази только сидел на нарах, поджав под себя ноги, и ждал. Он ничего не спрашивал у тех, кто возвращался с допросов; не узнавал у охранников, какая на дворе погода; он не злился, не ругался, не просил. Он был глух ко всем и вся. Он уже произвел расчеты и подвел итог, итог своей жизни, горький, бессмысленный, но окончательный, на который уже ничто не сможет повлиять, так как невозможно изменить предначертанное свыше. Какое дело ему было до окружающих его людей, до проклятий и ругательств, до следователей и погоды на улице? Все это для него больше не существовало. Для него существовала только смерть, которая могла прийти к нему в любую минуту.

Они, люди в кожанках, не говорили ему, когда пробьет его час. Они себя этим не утруждали. Они не устраивали судов. Они только время от времени гоняли его на допросы. Они допрашивали Макса Ашкенази, уставали от него и снова отправляли его в тюремный подвал. Обычно на казнь выводили неожиданно, поднимали со сна, причем тех, кто меньше всего этого ждал. Макс Ашкенази умирал не один раз, а тысячу раз, каждую минуту дня, каждое мгновение бессонной ночи. А будучи мертвым, он не имел к жизни никакого отношения. Он не причесывал утром ни волос, ни бороды, не пытался разгладить свою измятую одежду. Рубашка на нем распадалась. Одежда прилипла к его телу. Он был равнодушен к этому. По ночам его соседи воевали с мышами, вшами и блохами, не подпуская их к себе. Особенно донимали клопы, которые ордами подстерегали отощавших людей и обрушивались на них во мраке. Когда узники гнали их и убивали на стенах, они перебирались на потолок и бросались на добычу сверху. Макс Ашкенази никак на них не реагировал. Он то-

нул в глубинах своей безнадежности. Он был заживо мертв. Солдаты насмехались над ним.

— Вот что с ними случается без слуг и служанок, — говорили они с презрением. — Прямо падаль...

Макс Ашкенази им не отвечал.

Некоторые жалели его, разговаривали с ним, призывали взять себя в руки. Он молчал. Он утратил все чувства, был глух к страданиям, к оскорблениям, к участию. Лишь одно чувство сохранил Макс Ашкенази, обостренное, изошренное, животное; чувство, работавшее за все остальные, — это был слух, способность улавливать малейший шорох, доносящийся из-за двери, различать легчайшие шаги людей в кожанках, которые должны прийти за ним, узником Максом Ашкенази. Чем больше проходило дней, недель и месяцев, тем острее становилось это чувство. Дошло до того, что по ночам он вообще не смыкал глаз. Его уши чутко ловили звуки с той стороны двери. Он пребывал в непрерывном напряжении, подкарауливая неизбежный конец, которого он больше не боялся, но которого сосредоточенно ждал.

Когда после долгих месяцев заточения человек в кожанке и с маузером на боку вдруг вошел в камеру и велел Максиму Ашкенази следовать за ним, тот быстро спрыгнул с нар и повиновался приказу, хотя ноги его ослабели. Он был уверен, что долгожданный час пробил. От напряжения он даже не понял, куда идет. Томительное всепоглощающее ожидание притупило его чувства. Он двигался механически, как солдат, получивший команду, как боевой конь, который мчится на поле брани, заслышав призывный звук горна. В своем окаменении он даже забыл о разнице между днем и ночью. Хотя был день, а люди в кожанках никогда не приходили днем за теми, кого собирались казнить, Макс Ашкенази этого не заметил. Он больше ничего не видел. Только слышал. Когда же конвоир привел его в светлую канцелярию и указал на человека, который его разыскивал, Макс не понял слов тюремщика, таких громких и таких простых.



Выпученными глазами, налитыми кровью от ночных бдений, застывшими и потухшими, он смотрел на стоявшего перед ним широкоплечего, высокого, здорового человека, но не видел его. Он, Якуб, сильно изменился за годы их разлуки. Глаза Макса, привыкшие к потемкам и подвальному воздуху, жмурились от яркого дневного света, плохо различали предметы. Еще темнее, чем у него в глазах, было у него на сердце под заменявшими ему одежду тряпками. Темно было и в его голове под седыми, в колтунах волосами, из которых торчали соломинки и всякий сор.

Эти двое долго смотрели друг на друга и в своем оцепенении не могли сдвинуться с места. Внезапно большой импозантный мужчина подбежал к оборванному старику и припал губами к его грязному волосатому лицу.

— Симха-Меер! — крикнул он и прижал к себе этот тук тряпья.

Два давно забытых имени, как острые ножи, вонзились в оцепенение оборванного узника, разорвали туман, застилавший его глаза, ум и сердце. Его руки, как замерзшие, наконец потянулись вперед, словно чувствуя тепло, и начали сильно дрожать в крепких, удушающих объятиях широкоплечего мужчины. Глаза арестанта открылись и стали не только смотреть, но и видеть. Слезы хлынули из его глаз после всех этих бесконечных месяцев, когда они оставались сухими. Вслед за этим приоткрылись и его губы, запекшиеся и долгое время плотно сжатые.

— Янкев-Бунем, — пробормотал он и заплакал, — Янкев-Бунем...

Кроме этих двух слов он ничего не смог из себя выдать.

Вдруг Макс Ашкенази схватил руки брата и принялся их целовать, целовать поспешно, униженно, как оборванный нищий руки барина, бросившего ему щедрое подаяние.

Якуб Ашкенази тут же отдернул их.

— Симха-Меер, что ты делаешь? — буркнул он в страхе. — Боже мой!

Макс Ашкенази сел на пол, своими тощими руками обхватил ноги Якуба и прижался к ним, дрожа мелкой дрожью, как старый пес, которого хозяин после холодной дождливой ночи на улице впустил назад, в теплый дом.

— Ведь ты же не бросишь меня здесь одного, — как ребенок, молил Макс Ашкенази. — Ты же заберешь меня домой, правда, Янкев-Бунем?.. Скажи...

Якуб почувствовал страшный тяжелый запах, шедший от его брата, запах, от которого тошнило, от которого кружилась голова; с жалостью и отвращением Якуб Ашкенази ухватил своего брата за лохмотья, заменявшие ему одежду, и поднял с пола.

Слезы текли по его щекам и мочили его аккуратную крашеную бороду.

## Глава девятнадцатая

**В** первый раз после многих лет ссор и отчуждения братья-близнецы Ашкенази шли по дороге вместе, рука об руку.

Якуб вытащил Макса из подвала на Шпалерной улице. Своим добродушным, веселым обращением он понравился товарищам в кожанках так же, как раньше нравился другим людям. В два счета он нашел подход к ним, к их сердцам и карманам и выручил своего замученного брата, заживо гнившего в тюремном подвале. Они, собственно, против арестованного Макса Ашкенази ничего особенно и не имели, они держали его так, на всякий случай. Теперь, за приличную сумму, причем не в их не имеющих никакой ценности бумажках, а в твердой иностранной валюте, они молниеносно просмотрели акты и выпустили узника, выдав ему бумагу об освобождении. Макс Ашкенази так поспешно выбежал из железных ворот, охраняемых красноармейцами, что даже за-

был потребовать назад свою одежду, оставшуюся на тюремном складе. Он боялся пробыть здесь лишний миг — как бы его снова не арестовали.

— Пойдем, Янкев-Бунем, быстро! — умолял он брата по-еврейски, вцепившись в его руку, как испуганный ребенок в руку взрослого.

Он вдруг начисто забыл свой лодзинский немецкий и переименованное на иноверческий манер имя брата.

Народ останавливался, чтобы посмотреть на двух людей, которые шли, держась за руки, на странную парочку, где один был высоким, богато одетым и импозантным, а другой страшно заросшим, в колтунах, скрюченным и одетым в тряпье. Даже в этом городе, где все уже привыкли ко всяческим сюрпризам, прохожие замирали и глядели на двоих чудаков, державшихся, как дети, за руки. Женщины крестились, а нищие бежали следом и просили милостыню. Якуб залез вместе с братом в проезжавшие мимо дрожки и велел кучеру поднять верх, хотя на улице была хорошая погода. От долгого сидения в тюрьме Макс Ашкенази отвык ходить. У него отекали ноги. Как ребенку, Якуб помог ему забраться в дрожки, держа брата за руки, и усадил его. Вместе с проворностью ног Макс Ашкенази утратил в тюремном подвале и обоняние. Сам он не ощущал вони, которую распространял. У Якуба Ашкенази от этого запаха кружилась голова, он едва не падал в обморок. Однако Макс Ашкенази не чувствовал этого и жался к брату.

— Хватит! Давай уедем отсюда как можно быстрее! Я боюсь тут оставаться!

Сколько Якуб ни объяснял ему, что теперь он свободен, что ему нечего бояться, Макс его не понимал. Он превратился в сущее дитя за долгие дни сидения в тюремном подвале. И Якуб Ашкенази возился со своим братом-близнецом, как с малышом. Он сам, собственными руками мыл его, освобождал его тело от грязи и затхлости, которые было никак не смыть и не выветрить. Он повел его к цирюльнику, велел

остричь брату волосы и бороду, ужасно отросшие в тюрьме. Макс Ашкенази стал еще более маленьким и жалким, когда его коротко постригли и сбрили всю растительность с его лица, оставив только небольшую бородку, которую он имел обыкновение носить прежде.

— Побрызгать его одеколоном? — спросил цирюльник у Якуба Ашкенази, как спрашивают у отца, как подстричь его мальчика. — Немного осталось с хороших времен.

— Да, побрызгать, и побольше! — ответил Якуб Ашкенази. — Сколько вам не жалко!

Потом он переодел брата в свежее белье, в котором маленький, отощавший Макс Ашкенази болтался, как мальчишка в отцовской одежде: рубашка со стоячим воротником и галстуком на нем висела.

— Белье, свежее белье, — бормотал Макс и гладил ткань худыми руками, словно никогда в жизни не надевал на свое тело чистой рубашки.

Гостиничный слуга, с отвращением собравший сброшенные Максом Ашкенази тряпки, стоял, осторожно держа их двумя пальцами, и спрашивал у Якуба Ашкенази, что с ними делать.

— Выбросить, сжечь! — приказал Якуб.

Он помог брату зашнуровать ботинки, завязать галстук, застегнуть пуговицы. Руки не слушались Макса. Они больше дрожали, чем что-то делали. А когда, покончив с туалетом брата, Якуб вытащил из дорожных сумок хорошую еду, печенье, шоколад, колбасу, всевозможные сардины, которые аккуратно упаковали Гертруда и Диночка, Макс затрясся так, что не смог донести эти вкусные вещи до рта.

— Бери, Симха-Меер. Это подарок от Гертруды и Диночки, — успокаивал его Якуб. — Они это тебе послали.

И бледное лицо Макса Ашкенази побелело окончательно. Он опустил от стыда глаза. В первый раз за всю свою жизнь.

Якуб Ашкенази не узнавал своего брата.

## Глава двадцатая

Путь домой складывался удачно. Лучше и быть не могло.

За хорошие деньги Якуб добыл места в вагоне. За коньяк, который он подарил кондуктору, тот даже согласился взять ослабевшего Макса в свое купе и угостить его чаем из самовара. Поезд шел с задержками, подолгу стоял на станциях, нередко замирал посреди чистого поля, но все-таки двигался вперед. В Орше, пограничном городе между Советами и все еще стоявшими там немцами, они легко прошли таможенный контроль. Люди в кожанках и с красными звездами на груди внимательно просмотрели бумаги братьев Ашкенази, ощупали их вещи, но ничего предосудительного не нашли. Только с паровозами была незадача. Ближайший паровоз до Минска давали через несколько недель. Проходящие поезда осаждали демобилизованные солдаты. Макс беспокоился. Он боялся оставаться в пограничном городе, полном людей в кожанках. Якуб отправился к комиссару. Рослый комиссар, отвечавший за эвакуацию, никого к себе не пускал и не желал ничего слушать. Слишком часто к нему обращались по поводу вагонов.

— Ничего не выйдет, — говорили Якубу Ашкенази люди. — К нему не пускают.

— А я все-таки попытаюсь, — сказал на это Якуб и пошел к комиссару.

С той же уверенностью и отсутствием стеснения, которые открывали ему все двери, Якуб Ашкенази проник и в канцелярию комиссара. Он шел так свободно, что часовые даже не остановили его. Так же быстро, как он прошел к комиссару, Якуб Ашкенази стал с ним запанибрата и добился от него всего, чего хотел. Вместо нескольких недель ему пришлось ждать только несколько дней, пока его с братом не устроили в армейский вагон. Макс Ашкенази по старому обыкновению те-

ребил кончик своей седой бородки, когда Якуб принес эту добрую весть на постоянный двор, где они жили.

— Для тебя нет ничего слишком сложного, Янкев-Бунем, — похвалил он брата. — Я ничтожество по сравнению с тобой...

Он, Макс Ашкенази, не узнавал своего брата-близнеца. Напрасно он всю жизнь считал его никчемным. Янкев-Бунем — очень толковый человек, просто огонь. Все у него идет как по маслу. И сердце у него золотое. Максу стало тошно от того, что он всегда ненавидел брата. Сколько у него братьев? Всего-то один, а он, Макс Ашкенази, был так глуп, что не мог с ним ужиться. Вечно они грызлись, как кошка с собакой, враждовали. Просто безумие какое-то! Теперь он видит, что кровь — не вода. В великой беде, в которую он попал, у него не было никого, ни заступника, ни друга. Только он, его брат, пришел к нему на помощь. Оставил все дела, рискнул жизнью и поехал его спасать. Теперь-то уж он, Макс Ашкенази, будет знать, что такое родная кровь и плоть. Теперь-то он понимает, как надо ценить и любить единственного брата, который есть у него на этом свете. Они будут едины. Они будут вместе работать, жить, помогать друг другу, идти рука об руку во всем; они будут советоваться друг с другом, вместе вести коммерческие дела, не расстанутся ни в радости, ни, не дай Бог, в горе. Он, Макс Ашкенази, воздаст своему брату за все.

А еще отныне он станет настоящим отцом своим детям. Он разыщет сына. Как только он приедет домой и немного придет в себя, он отправится во Францию и найдет Игнаца. Он заберет его к себе, даст ему денег, обучит коммерции и сделает из него человека. Он воспитает из него наследника, который продолжит дело Ашкенази. Гертруду он тоже больше не выпустит из виду. Она милая, бесценная девочка. Хотя он сторонился ее, чуждался, даже не был на ее свадьбе, она, тем не менее, не забыла о нем, своем отце. Она уговорила Якуба поехать на его поиски. Она послала отцу подарки.

Уж теперь-то он будет ей хорошим отцом, как положено у людей. Он исправит все причиненные им ей несправедливости. А то, что она вышла замуж за Янкева-Бунема, так что ж... Теперь он и сам видит, какой добрый, какой великодушный человек этот Янкев-Бунем, просто золото. Да ни один молодой муж даже ногтя его не стоит. Кроме того, Гертруда родила от него чудесную дочурку. Янкев-Бунем показывал ему ее фотографию. Она настоящее сокровище, и имя у этой девочки хорошее, привычное — Прива.

От имени покойной тещи у Макса Ашкенази защемило сердце и в голову ему полезли печальные мысли. Нет, не так вел он себя со своей тещей Привой, как подобает зятю. Поделом она его ненавидела, была ему врагом, а однажды даже выплеснула ему в лицо стакан чаю. Теперь Макс Ашкенази было стыдно вспомнить это. Как глуп он был тогда, как ослеплен своей погоней за деньгами! О, если бы он мог сейчас с ней помириться, искупить то зло, которое он причинил ей и ее мужу реб Хаиму Алтеру, своему тестю! Но их уже нет в живых. Осталась только она, Диночка. Она передала ему через Янкева-Бунема привет, простила ему все. При мысли о ней у Макса Ашкенази потеплело на сердце. Вместе с чувством благодарности к Диночке в нем росло и чувство досады на самого себя, на бестолковую жизнь, которую он вел, на свою слепоту и ничтожность. Ведь все могло бы быть совсем иначе, если бы в те годы у него был его нынешний ум, если бы он понимал жизнь, людей, если бы вдумывался в то, что вокруг происходит! Он ничего не видел, он был слеп. Он видел только деньги, деньги и власть. Ради денег он губил чужие судьбы и коверкал собственную. Как когда-то сыны Израиля приносили жертвы идолу Молоха, так и он бросал чужие жизни и свою жизнь на алтарь денег, так и он выплясывал перед золотым тельцом. Тестя и тещу, своего собственного отца, родного брата, своих сестер, детей, любимую жену — всех и вся, включая себя самого, он заклал на алтаре идолопоклонства. Нечистый, силы зла, дурная кровь пришпоривали его. Они

не давали ему ни мгновения покоя, затуманивали его мозг, ослепляли его глаза, лишали разума и толкали к одному — к пустоте и безумию.

Макс Ашкенази был благодарен и своей нынешней жене. Якуб говорил о ней с большим воодушевлением, о ее коммерческой голове, о том, как она сидела одна-одинешенька в чужом городе и берегла его имущество. Кроме того, брат рассказал ему, как она первой, отбросив гордость, пришла к ним в дом, чтобы спасти его, Макса. Все это очень понравилось Максу Ашкенази, человеку деловому и практическому. Он испытывал к госпоже Ашкенази благодарность, оценил ее достоинства, преданность. Однако ничего, кроме уважения и признательности, он к ней не питал. Сердечную нежность он чувствовал только к первой своей жене, Диночке, возлюбленной его юных лет, матери его детей, по которой он всегда тосковал. Как было бы хорошо, если бы он мог сейчас поехать к ней домой, провести последние свои годы в любви и единении, вместе с детьми и внуками! Тяжело будет теперь, после всего, что он пережил, длить пустую жизнь в большом дворце, под гнетом собственной серости и растерянности, с одной старой мужеподобной купчихой.

Макс Ашкенази ясно видел такой исход и боялся его. Пару раз он хотел поговорить об этом с Якубом, но не мог, ему было стыдно перед братом. Всю свою прежнюю смелость и насмешливый взгляд на мир Макс утратил. Он был напуган, как дитя, как смущенный подросток, возвращающийся к родителям, с которыми он нехорошо обошелся, из дома которых сбежал, а теперь повернул назад. Якуб пытался его развеселить, заразить своей жизнерадостностью. Макс улыбался, но радости не чувствовал. Все прежние бессмысленные годы стояли у него перед глазами. Вместе со стуком вагонных колес в голову ему стучало раскаяние за свою жизнь, тяжелую и нелепую.

Теперь они ехали быстро. В Минске, который находился в руках немцев, братья задержались всего на одну ночь. За



хорошую плату они получили комнату в гостинице. Впервые после долгих месяцев Макс Ашкенази спал в постели, как человек. Дорога на Вильну была забита битком, но Якуб Ашкенази и тут нашел выход. Деньги, как всегда, открывали все пути. Из Вильны братья хотели поехать напрямик в Лодзь, они просили выписать им пассажирские билеты до самого дома, но немцы выписали их только до станции Лапы<sup>1</sup>.

— Лапы — это уже Польша, — сказали они. — Там вы уже будете дома...

Однако, сев в поезд, шедший в Польшу, братья Ашкенази почувствовали, что, вопреки обещаниям немецких чиновников, от дома они далеко...

— Куда вы прете, проклятые? — орали поляки на пассажиров-евреев. — Убирайтесь отсюда! Отправляйтесь в свою Палестину!

Вагоны дышали злобой и ненавистью.

— Пусть только немцы уйдут отсюда, как они ушли из остальных частей нашей страны, уж мы вас тогда проучим, — угрожали молодые люди в форменной одежде скаутов.

— Как это сделали во Львове, подчистую, — добавляли другие.

— Эй, дайте только ножнички, сострижем мы бороды! — хлопал себя по карманам какой-то усатый *жип*.

— Погоди, до Лап доедем, — успокаивали его соседи. — Тут не стоит с ними связываться. Тут ведь еще немцы. А вот у нас мы дадим им понюхать перцу...

Чем дальше поезд уходил от Вильны и чем ближе становилась польская граница, тем больше нагтели иноверцы, тем пришибленнее смотрели евреи. Они жались по углам. Макс Ашкенази глядел на своего брата широко раскрытыми глазами. Якуб молчал. Лишь в глубине его больших черных глаз горел огонь. Братья сидели тихо.

<sup>1</sup> Лапы — небольшой город в северо-восточной части Польши, в окрестностях Белостока.

Поезд остановился посреди поля.

— На выход! — приказали немцы. — До Лап осталось несколько километров, дальше мы не поедem.

Все вышли из вагонов. У маленькой будки стоял солдат с польским орлом на фуражке. Между двумя деревьями висел транспарант с приветствием польским гражданам, возвращающимся на свободную польскую землю. Поляки словно стали выше ростом и запели, женщины бросались на землю и целовали ее. Одна из них подбежала к солдату, стоявшему возле будки, и поцеловала его грубые, красные руки.

— Иисусе, — воскликнула она и прижалась к солдату, — польский солдат!

Вслед за этим какой-то старый еврей закричал «Караул!». На его голову со всех сторон обрушились кулаки иноверцев. Избиение сопровождалось диким хохотом.

— Теперь мы «дома», — проворчал Якуб.

Несколько километров братья шли по пескам. Их дорожные сумки вез крестьянин в голубой складчатой шапке. У станции, над которой развевался красно-белый польский флаг, стояли жандармы, усаые, вооруженные, и позванивали длинными шашками; они нацепили их совсем недавно и теперь горделиво красовались перед пассажирами.

— Евреи и большевики отдельно! — крикнул жандарм с льняными усами.

Вокзал, на котором висели распятый обнаженный Иисус, польский орел, портреты генералов и множество маленьких флажков в окружении хвойных лап, был битком набит пассажирами, баулами и вооруженными людьми. За простым деревянным столом сидел человек в расстегнутой рубашке и бил себя кулаками в волосатую грудь.

— Ну, вырежьте мне сердце и посмотрите, — кричал он. — Клянусь Господом нашим Иисусом и Его святыми ранами, что я не большевик. Я издаю еду, из Сибири, бумаги у меня в дороге потерялись.

— Эге, браток, знаем мы эти потерянные бумаги, — смеялся хромоногий жандарм со злобным лицом, похожим на собачью морду. — У нас есть информация, что там, в Совдепии, ты был комиссаром... Мы тут эту дрянь из тебя сапогами выьем...

При этом жандарм поднимал револьвер и размахивал им над головой расхристанного человека.

У Макса Ашкенази сразу же похолодело сердце. Он понял, что ничего хорошего от этого хромоногого жандарма ждать не приходится. Якуб сидел бледный и неподвижный. Братья ждали своей очереди. Вскоре пришел солдат и повел их к деревянному столу.

— Будет весело, ребята, — говорил он по дороге каждому встречному. — Веду к столу евреев...

Хромоногий жандарм в кавалерийских сапогах приказал увести расхристанного человека в боковую комнатку и взялся за братьев Ашкенази.

— Откуда и куда вы тащитесь, Мойши?<sup>1</sup> — спросил он, скаля свои желтые зубы.

Якуб вынул бумаги и положил их на стол. Хромоногий жандарм даже не взглянул на них.

— Раздеться! — приказал он.

Братья остолбенели. Вокруг них было множество людей. Рядом с жандармом, за столом сидела молодая иноверка в военной форме. Братья посмотрели друг на друга. Жандарм крикнул солдату:

— Раздеть их! Снять всё! Хорошенько прощупать, не прячут ли они чего!

Солдат подошел и принялся срывать с них одежду, вызывая смех своих собратьев и пассажиров-иноверцев. Какой-то хлипкий офицерчик, молоденький, тощий, хрупкий, с тонкими длинными ногами, тонким острым носом, тоненькими усиками, в гусарской венгерке, висевшей на одном плече,

<sup>1</sup> Мойше — распространенное еврейское имя. В данном случае оскорбительное обращение к евреям.

приблизился к столу. Якуб оттолкнул солдата и обратился к офицеру.

— Пан поручик, — сказал он. — Я и мой брат — фабриканты и домовладельцы из Лодзи. Прошу вас взять нас под защиту!

Хлипкий офицерчик молча снял с плеча венгерку. Затем он снял фуражку, обнажив ежик коротко остриженных волос, плотных и русых, как свиная щетина. Лишь после этого он взглянул на высокого, бледного и импозантного человека своими узкими серыми глазками.

— Вот как? Фабриканты и домовладельцы из Лодзи? — переспросил он. — А не большевики ли часом?

— Боже упаси, пан офицер, — вмешался Макс Ашкенази, стоявший в одних брюках и жилете. — Я как раз еду из России, где меня держали в подвале ЧК. Вот мои документы.

— Ну, ладно, посмотрим, — сказал хрупкий офицерчик. — Кричите: «Пусть сдохнет Лейбуш Троцкий!»

— О, пусть он себе сдохнет, — ответил Макс Ашкенази с улыбкой. — Я ничего не имею против.

— Я приказал кричать! — стукнул офицер рукой по столу. — Громко!

— Пусть сдохнет Троцкий! — повысил голос Макс Ашкенази.

— Еще громче! — заорал офицер.

Макс Ашкенази еще громче произнес ту же фразу, но офицер был недоволен по-прежнему.

— Громче, жид проклятый! — стучал он по столу. — Во всю глотку! Иначе ты у меня не так закричишь!

Макс кричал из последних сил под дикий хохот солдат и девицы в военной форме.

— Теперь кричи: «Смерть еврейским Лейбушам!»<sup>1</sup> — прервал его офицер. — Громко!

Макс Ашкенази обливался потом и не мог открыть рта. Он тяжело дышал. Офицер ударил его по голове.

<sup>1</sup> Лейбуш — производное от Лейб, настоящего личного имени Льва Троцкого.

— Кричи, не то я из тебя дух вышибу!

Якуб рванулся к столу. Несколько жандармов выкрутили ему руки за спину.

— Кричать! — приказал офицер.

Макс поднял глаза, обвел ими рассвирепевших иноверцев, жаждавших опозорить его, унижить. И дал им то, что они хотели.

— Пусть сдохнут все еврейские Лейбуши! — орал он все громче, сколько хотел офицерчик и насколько позволяли его, Макса Ашкенази, легкие.

Толпа иноверцев ржала от удовольствия.

— Хорошо, — наконец похвалил его щуплый офицер. — А теперь немножко сплясать и спеть, фабрикант и домовладелец из Лодзи. Этакий «Ма-юфес»<sup>1</sup> для наших бравых солдатиков. Живо!

Якуб Ашкенази снова рванулся с места и снова жандармы силой удержали его.

— Нет, Макс! — крикнул он.

Макс его не слышал. С глубочайшим презрением, какое он только испытывал к иноверцам, он посмотрел на своих мучителей, как на стаю готовых разорвать его собак, и сделал то, что они хотели, — стал кружиться в танце среди солдат.

— Живее, быстрее! — кричали поляки и хлопали в ладоши.

Макс Ашкенази кружился до тех пор, пока не упал и не остался лежать на полу, обливаясь потом и тяжело дыша.

— Оставьте его и подведите сюда другого еврея! — велел офицер.

Жандармы подвели к столу Якуба Ашкенази. Он стоял смертельно бледный, но прямой и внушительный.

— Продолжай танец! — приказал офицер.

---

<sup>1</sup> «Ма-яфит» («ма-йофес» или «ма-юфес») — буквально «Как ты прекрасна» (др.-евр.), слова из библейской Песни Песней. В польском языке под словом «Majufes» подразумевался еврейский танец и пение вообще. Как правило, данное слово употреблялось в оскорбительном для евреев контексте и стало символом их унижения христианами.

Якуб не сдвинулся с места.

Хлипкий офицерчик покраснел. Все солдаты смотрели на него и видели, что происходит между их начальником и этим здоровенным евреем. Он не мог допустить, чтобы его команды не выполнялись. Он встал и схватил Якуба за бороду.

— Танцуй! — кричал он и тянул его за бороду вниз.

В мгновение ока Якуб Ашкенази вырвался из рук офицерчика и вlepил ему такую оплеуху, что тощий офицерчик отлетел на несколько метров и стукнулся головой о стенку.

Весь вокзал замер. Только девица в военной форме побежала к офицеру, упавшему у стены. Макс Ашкенази поднялся с пола и повернулся к брату, который стоял посреди зала.

— Якуб! — в страхе закричал он. — Якуб!..

Офицер выпрямился, потер покрасневшую щеку и принялся дрожащими пальцами расстегивать кожаную кобуру своего револьвера. Все стояли с широко раскрытыми ртами и смотрели. Офицеру пришлось немало повозиться с кобурой, прежде чем он достал из нее револьвер. Его тощие руки тряслись. Наконец он крикнул стоявшим вокруг людям:

— Отодвинуться!

И выстрелил несколько раз подряд в большого импозантного бледного человека, который даже не тронулся с места.

— Куртку и фуражку! Быстро! — крикнул он жандарму надломленным, писклявым голосом, которому пытался придать воинственности и силы.

Макс подобрался к лежащему на полу окровавленному брату и обнял его.

— Зачем ты это сделал, Якуб?! — кричал он и пытался поднять его с пола.

Но поднять его он не мог. Якуб был мертв. Из его головы на бороду стекала теплая струйка крови.

С деревянных стен вокзала Иисус глядел вниз с креста, на котором он был распят.

Макс заходился плачем над своим братом-близнецом, плотным, большим и внушительным, царствовавшим над

всем и вся. Люди вокруг стояли маленькие, низенькие, пришибленные. Ниже всех был Макс Ашкенази, лежавший, как растоптанный червь, рядом с братом, который снова победил его, в последний раз.

## Глава двадцать первая

**В**се семь дней траура, которые Макс сидел по своему погибшему брату-близнецу, его голова, маленькая, седая и не по годам морщинистая, не переставала размышлять о его, Макса Ашкенази, судьбе.

Траур он соблюдал в доме Якуба. Сразу же после похорон его усадили в дрожки рядом с его дочерью Гертрудой и отвезли в дом брата, где он никогда раньше не бывал. Они сидели бок о бок, отец и дочь, в одних чулках на низеньких скамеечках. Они сидели в большом зале с занавешенными зеркалами и покрытыми черным крепом жирандолями и молчали, молчали о своей беде.

В первый день он не хотел ни есть, ни пить, а только курил. Диночка принесла двоим скорбящим по стакану молока, чтобы они укрепили свои силы. Макс не взял стакан. Он глотал один дым и выпускал его на занавешенные зеркала, на траурную черноту блестящего клавира. Пепел от сигары лежал у его ног. Он ни с кем не хотел разговаривать и никого не слышал. Он читал книгу Иова, тяжелые и горькие библейские слова, в которых нет утешения.

— «Да сгинет день, когда родился я, — читал он, — и ночь, в которую сказано: “Зачат муж”!.. Да проклянут ее клянущие день, готовые пробудить левиафана...»<sup>1</sup>

Гертруда склонила к отцу голову и смотрела в священную книгу, на еврейские буквы, которые были ей чужды, но в ко-

---

<sup>1</sup> Иов, 3: 3-8.

торых она узнавала свое горе. Он, отец, не утешал ее. Ему нечего было сказать собственной дочери, которой он никогда не дарил счастья, в дом которой не приходил, а когда пришел, то принес с собой скорбь и траур. Смерть принес он в дом тех, кто простил его и хотел спасти. Семидневный траур — вот его подарок дочери Гертруде, чей порог он впервые в жизни переступил. И Макс с головой ушел в книгу Иова, чтобы не видеть людей вокруг, чтобы не поднимать глаза на тех, к кому он вечно был несправедлив, кому причинял только боль. Ему было стыдно перед дочерью, перед бывшей женой Диночкой, носившей ему стаканы с молоком. Вторая жена пришла к ним, села на пол рядом с мужем и своими тяжелыми, полупарализованными руками гладила его плечо. Он не сказал ей ни слова.

— «Разве не обозначено человеку время службы на земле, — читал он в книге Иова, — и не как дни наемника дни его? Как раб дожидается тени вечерней...»<sup>1</sup>

На второй день к нему пришли люди. Узнав о случившемся, они забыли его прежнюю отчужденность, его старые грехи и пришли к нему<sup>2</sup>, бывшему королю, скорбно сидевшему теперь на низенькой скамеечке. Они рассказывали ему о нынешней Лодзи, о фабриках, магазинах. Макс Ашкенази слушал неохотно. Что ему теперь коммерция и сделки? Ему больше не для чего работать, незачем суетиться, сворачивать горы. Его жизнь проиграна. Он стар, измучен, сломлен. Он хотел начать новую жизнь, человеческую, уютную, в кругу родных и близких. Однако Господь этого не судил. На пороге новой жизни Он оттолкнул Макса Ашкенази, прогнал его, как шелудивого пса, норовящего пробраться в дом. Похоже, на этом свете он, Макс, может только обездоливать. Так было раньше, в пору его ослепления, когда он выкалывал себе глаз, лишь бы выколоть другому оба. Так оно и сей-

<sup>1</sup> Там же, 7: 1-2.

<sup>2</sup> Речь идет о выполнении заповеди «Нихум авелим» («Утешение скорбящих»).



час, когда он обрел наконец ум, но удача от него отвернулась. Несчастье принес он с собой, траур навлек на дом брата и дочери. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Нет, жизни для него на этом свете больше нет. Его судьба решена. Он проведет последние годы в тоске и ничтожестве. Долго ли ему осталось здесь мучиться? Зачем опять заставлять колесо крутиться? Видит Бог, ему много не надо. Он и раньше был нетребователен, а сейчас и подавно. Кусок хлеба, рубашка, чтобы тело покрыть, и угол для ночлега у него будут. А больше ему и не нужно. Больше он ничего от этого мира не хочет. Правы священные книги, мудрецы: нет никакой разницы между человеком и скотом<sup>1</sup>, все вздор. Как скотина под ярмом, тянет человек свою ношу: он стремится куда-то, рвется, бежит, пока вдруг не падает с ног; и вот другие переступают через него, а после падают сами.

На третий день траура он отбросил малодушные мысли и вспомнил о разуме, долге и необходимости нести свою ношу. Нет, он не вправе вешать нос, потому что теперь все ложится на него, он за все в ответе. Если ему самому ничего не надо, если он сам ничего от мира не хочет, то есть и другие, и он должен о них заботиться, обязан быть им преданным отцом. Гертруда, ее маленькая дочка, Диночка, сын во Франции, его вторая жена, больная и старая, — все близкие теперь на нем. Он должен беречь их и поддерживать, быть им опорой и защитником. Нет, он не может бросить все на произвол судьбы. Наоборот, он обязан впрячься в работу и трудиться из последних сил, чтобы дом Ашкенази процветал, чтобы их семья снова зажила в мире и согласии. Как было заведено у евреев прежде: если один брат умирал, другому надлежало отстроить дом покойного; вот и он, Макс, должен заново отстроить дом Ашкенази в память о своем ушедшем брате. Нет, их дом не погибнет. Он, Макс Ашкенази, восстановит его. Исправит ошибки, которые совершил, расплатится за беды, которые принес.

---

<sup>1</sup> Коелет, 3:19.

Он стал прислушиваться к людям, утешавшим его в трауре, вникать в их рассказы о коммерческих сделках, фабриках, рынках, деловой суете. Однако он не принимал участия в лодзинских делах. Он ни во что не вмешивался. Пропади они пропадом, этот проклятый город, эта страна, наплевавшая на него, так гнусно его оскорбившая, растоптавшая, как червяка, злодейски убившая его родного брата, его собственную плоть и кровь. Даже если его озолотят, он здесь не останется, потому что тут он только прах и пепел, тут он ниже травы. Он уедет отсюда, отправится в Эрец-Исраэль, как советуют его друзья-сионисты. Раньше он не хотел об этом слышать, он считал сионистов пустоголовыми фантазерами, которые ждут, что еврейские торговцы вдруг станут крестьянами. Однако теперь он видит, что ошибался. Какой толк от всех этих фабрик и домов, построенных евреями, если их забирают чужаки? Пришло время построить что-то для себя, перестать быть жертвой насмешек и издевательств. Он уедет отсюда вместе с семьей, вместе со всеми близкими. Он будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей<sup>1</sup>, вести тихую, уютную жизнь среди евреев, в собственной стране, перестанет бояться, куда-то спешить и кого-то подгонять, будет есть хлеб со своих полей и пить молоко своих коров. Многие евреи уезжают теперь из Польши в Эрец-Исраэль. Говорят, на всех поездах бегут туда люди, стар и млад, набожные и вольнодумцы. Вот и он по окончании семидневного траура немедленно все ликвидирует и уедет, уйдет от тех, кто жаждет еврейской крови.

Евреи, которые пришли утешать его в трауре, восхваляли эту его решимость.

— Правдивые речи, — шептали они. — Вы только положите начало, господин Ашкенази, и вслед за вами побежит половина Лодзи.

<sup>1</sup> Аллюзия на Млахим I (5:5): «И сидели Йеуда и Исраэль спокойно, каждый под виноградной лозой своей и под смоковницей своей, от Дана до Беэр-Шевы...»

На четвертый день Макс Ашкенази отверг план посадки виноградников и распахивания земли. Это удел молодых, полных свежих сил и ни к чему другому не пригодных. Ему, Макс Ашкенази, не пристало на старости лет превращаться в крестьянина. Ничего великого он на этом пути не совершит. Что вообще можно совершить, работая на земле? Это дело простое: вкладываешь зерно и извлекаешь зерно. При этом часто случается так, что извлечь ничего не удастся, пропадает даже то, что было вложено. Заработки ничтожные. К тому же надо смотреть на небо, учитывать солнце, ветер, дождь, зависеть от капризов природы. А еще приходится поливать землю потом. «В поте лица твоего есть будешь хлеб»<sup>1</sup>, — написано в Торе, но на такую жизнь у него, Макса Ашкенази, нет больше сил. Кроме того, каждый должен делать то, на что он годен, подвизаться там, где он может проявить свои способности и лучшие качества. Безумие давать шлифовальщику алмазов лопату и требовать, чтобы он копал землю, выполнял работу, с которой простой крестьянин справится лучше него. Нет, тем, что он будет пахать землю в Эрец-Исраэль, он никого не осчастливит, не принесет пользы ни себе, ни стране. Лучше он займется там большими делами. Перевезет туда свою фабрику. Ведь одним хлебом страна жить не может. Богатство страны — в промышленности. Вот он, Макс Ашкенази, и разовьет там промышленность, как прежде он сделал это в Лодзи. Он выстроит на Святой земле фабрики, даст заработок тысячам рабочих, будет рассылать товары во все уголки мира, привлечет в Эрец-Исраэль капитал и станет там королем. Это дело так дело, это стоит того, чтобы начать все заново. Он, Макс Ашкенази, покажет, что можно сделать из еврейской страны! Именно потому, что там нет промышленности, и нужно развивать ее там. Лодзь не так давно тоже была пустым местечком, но энергичные люди взялись за работу и превратили ее в город мирового значения. Пора потрудиться для своей собственной страны, по-

---

<sup>1</sup> Берешит, 3:19.

стараться для себя, как Яаков сказал Лавану: «Когда делать буду также и я для моего дома?»<sup>1</sup> Достаточно он, Макс, работал на сынов Лавана, у которых, кроме ненависти и грабежа, нет ничего для Яакова.

На пятый день очарование этой идеи померкло, и Макс Ашкенази стал размышлять взвешенно и серьезно. Человек не должен скитаться и метаться по миру. Сделать что-то стгоряча легче легкого, это каждый может, это не мудро. Разумный человек должен хорошенько взвесить все «за» и «против», прежде чем на что-то решаться. Лучше десять раз перепроверить, надежно ли там, куда ты хочешь поставить ногу, чем ринуться на авось и упасть. Создать промышленность в стране отцов — это, конечно, прекрасное дело, еврейское. Однако строить воздушные замки негоже. Основать в Эрец-Исраэль фабрику или даже много фабрик не проблема, главное, чтобы у этих фабрик был рынок; важно найти произведенным товарам сбыт. Правда, Лодзь тоже выросла на песке, но это было в стране, не имевшей промышленности, нуждавшейся в товарах Лодзи. Вокруг простиралась необъятная Россия. Да и без России, в одной только Польше живут миллионы людей. А что такое Эрец-Исраэль? Край, кишаший арабами, которые ходят в рванине, которым ничего не надо и которые ничего не покупают. Конкурировать с англичанами тоже непросто. Они и сами отличные торговцы. Один англичанин может продать десять евреев. Соплеменников в Эрец-Исраэль маловато. К тому же все они аристократы, уважаемые люди. С евреями хорошо есть кугель, а не торговлю вести. Каждый из них сам не прочь заработать. Да и с водой там трудности. Кто знает, подойдет ли тамошняя вода для промывки тканей? Есть и всякие другие препятствия. Легко во все это влезть, но трудно вылезти. Добрых вестей из нее не слышно, из этой страны, живущей на пожертвования, на милостыню. Надо как следует все просчитать, прежде чем туда соваться. Если вдруг дела у него не

<sup>1</sup> Там же, 30:30.

пойдут, все будут над ним издеваться. Свои же, евреи, его на смех и поднимут.

На шестой день Макс Ашкенази, наострив уши, уже вовсю прислушивался к разговорам купцов и фабрикантов, пришедших его утешать. Все они заглядывали ему в глаза, хотели знать, откроет ли он свою фабрику, когда он ее откроет и что собирается производить. Мир понемногу оправлялся после войны. Появлялись комиссионеры и коммивояжеры, как первые ласточки весной. Возникали и новые рынки в соседних аграрных странах, где можно было сбывать товары из Лодзи. Надо было только приспособиться к вкусам этих стран. И все взгляды устремлялись на Макса Ашкенази, который был когда-то королем Лодзи и теперь вернулся в родной город. Как дети, когда они только учатся ходить, заглядывали люди этого оцепеневшего города в глаза Максиму Ашкенази, чтобы предугадать его следующий шаг, чтобы узнать, чему подражать.

— Господин Ашкенази, вы только начните, и все последуют за вами, — умоляли его лодзинцы. — Все смотрят на вас.

На седьмой, последний день траура Макс Ашкенази поднялся со своей низенькой скамеечки и начал расхаживать в одних чулках по мягким коврам большого зала в доме своей дочери.

Нет, он отсюда не уедет, решил он про себя. Именно потому, что они, иноверцы, так хотят, чтобы он убрался отсюда, мечтают выкурить его из Лодзи, спят и видят, как его выносят ногами вперед из его собственного дома, он им не уступит. Перебьются! Он своими руками сколотил здесь состояние, он не жил, не отдыхал, а только работал, вкалывал с утра до ночи. В то время как эти баре гуляли, прохлаждались в Париже, развлекались с женщинами и играли в карты, он сидел в Лодзи, как собака на цепи, и строил, создавал. Теперь они хотят прийти на все готовое, забрать плоды чужого труда, а строителей и создателей послать ко всем чертям. Однако он не подчинится. Он не сдвинется с места, никому не по-

дарит свое имущество. Не бывает ничего бесплатного. Если бы покойный Янкев-Бунем вел себя иначе, они бы теперь работали вместе, покоряли бы Лодзь. Но он пошел путями иноверцев, поддался вздору, пустой гордыне и вот погиб, бедняга. Однако это безумие. Еврей не должен принимать в расчет бессмысленные воззрения иноверцев, подражать им и отдавать из-за дурацкого гонора жизнь. Когда на тебя нападают собаки, неразумно считать себя униженным. Конечно, у собак есть зубы и они сильнее человека, но все равно они только собаки, а человек всегда человек. Куда мудрее поступали наши деды и прадеды, которые настолько пренебрегали иноверцами, что вообще не реагировали на исходившие от них обиды и унижения, подобно тому, как презирают уличного пса. Нет, не стоит жертвовать из-за гордости жизнью. Не в героизме сила Израиля, а в голове, в разуме. Во все времена они, иноверцы, унижали еврея, издевались над ним, мучили его, а еврей обязан был молчать, потому что он в Изгнании, потому что он ягненок среди волков. Ягненок не может сражаться с волком, потому что их силы неравны. Если бы все евреи шли, как Янкев-Бунем, путями иноверцев, от них бы давно остались рожки да ножки, никто бы не уцелел на развод. Однако евреи поняли, что их путь иной, что их пути — не пути других народов, что не иноверческие почести венчают еврея. И это дало им силы преодолеть все и во многих случаях даже позволило обрести величие, так что притеснители приходили к ним и просили у них одолжений. Это и есть героизм еврея, его месть иноверцу. Не мечом, не кулаком действует он, потому что кулак принадлежит Эсаву, а голос, разум — Якову<sup>1</sup>. Сотни лет евреи пели и танцевали для иноверцев, потому что их к этому вынуждали, потому что таково было требование убийц. Когда для евреев наступают горькие времена, они должны не губить себя, а до

---

<sup>1</sup> Аллюзия на Берешит (27:22): «Голос — голос Якова, а руки — руки Эсава». В данном случае под Яковом подразумевается еврейский народ, а под Эсавом — неевреи.

поры, до срока тешить злобного зверя, чтобы уцелеть и потом воспрянуть.

О, если бы покойный Янкев-Бунем понимал это, как понимает это он сам! Тогда бы он, бедняга, не погиб. Унижение, которому сильный подвергает слабого, не унижение для истязаемой жертвы. Как сказано в святых книгах: «За то, что ты топил, утопили тебя, но в конце концов и утопившие тебя будут утоплены»<sup>1</sup>. Он просил Янкева-Бунема, кричал ему, чтобы он не сопротивлялся. Потому что безумие сопротивляться волку, который хочет тебя растерзать. Злого зверя надо обходить стороной, избегать его, спастись умом и хитростью. Как было бы хорошо, если бы оба они шли теперь рука об руку, завоевывали этот город. Однако брат его не слушал. Он всегда ходил кривыми путями, жил не по расчету, а по зову крови, а кровь — дело нееврейское.

Вспомнив о гибели брата, Макс Ашкенази почувствовал, что его глаза увлажнились. Нет, они уже не будут вместе, не судьба. Но сам он пойдет войной против тех, кто хочет его прогнать, выкурить из этого города, разграбить его имущество. Он им не уступит! Они только этого и ждут, но он вцепится в свое зубами. Он снова станет королем Лодзи. И им, его врагам, придется снимать перед ним шапки, стоять перед ним на цыпочках, как когда-то снимала перед ним шапки и стояла навтыяжку немчура, ненавидевшая его, но вынужденная относиться к нему с уважением. Он еще покажет всем, кто хозяин Лодзи!

Однажды они, эти злодеи, поймали его в углу и унизили, оплевали. Но они заплатят ему за это и за его брата тоже заплатятся. Ему надо только снова взяться за дело, размять руки, подчинить себе город, стать его королем. Как рабы, они будут стоять перед ним, молить его о снисхождении. У еврея нет и не было иного оружия, кроме денег. Это был его меч, его копье. И он, Макс, пойдет вперед с этим оружием в руках.

<sup>1</sup> Слова законоучителя рабби Гилеля, приведенные в трактате Мишны «Пиркей Авот» (2:6).

Глуп тот, кто готов отказаться от борьбы, кто в гневе оставляет поле боя за противником. Нет, Макс Ашкенази так просто не сдастся!

На восьмой день Макс Ашкенази надел на ноги ботинки, побрил лицо, которое за дни траура обросло колючим волосом, переоделся в новое платье, лацкан которого был не надорван, и вышел в покинутый им на несколько лет город, чтобы снова повелевать им, снова покорить его.

## Глава двадцать вторая

**С**новой силой и напором, как на заре своей юности, восстанавливал Макс Ашкенази свое разрушенное лодзинское королевство, отвоевывал венец мануфактурного короля, который на какое-то время утратил.

Как всегда, он боролся, добивался своего упрямством и твердостью.

Начал он с дворца. В его дворце, перешедшем от немецкого коменданта к польским военным, жил теперь начальник Лодзи, воевода Панч-Панчевский. В этом городе роскошных особняков ему не подобало жить в казенном, похожем на казарму доме, оставшемся после русского обер-полицмейстера. Потому что, несмотря на новый закон, согласно которому воевода должен был подписывать бумаги одним только именем, без всяких дворянских титулов, Панч-Панчевский был аристократом, князем. И он поселился во дворце Макса Ашкенази, отобрав его у немецкого коменданта. Ашкенази требовал вернуть ему имущество, но воевода не обращал на еврея внимания. Тогда Ашкенази нанял лучших адвокатов и подал на воеводу в суд. Судьи затягивали дело, откладывали процесс, вызывали новых свидетелей, чтобы взять Макса Ашкенази измором. Однако тот не сдавался, он сыпал деньгами, подма-



зывал, где было надо, и довел дело до Верховного суда. Там он добился приговора против воеводы и вынудил его очистить дворец.

Воевода с кислым лицом и большими, невиданными даже среди поляков усами, в старомодном, высоком и твердом воротничке и черном, украшенном золотым крестиком галстук, от злости стучал своей хрупкой рукой по столу. Он был зол на то, что судьи в его споре с евреем отдали предпочтение еврею, а не ему, воеводе. Он надеялся остаться во дворце хотя бы за арендную плату. Ему не хотелось выезжать по требованию еврея. Однако Макс Ашкенази и здесь не пожелал уступить. Во-первых, он опять собирался прибрать к рукам Лодзь, снова стать королем в этом городе, а без дворца королевство не королевство. Во-вторых, это было дело принципа. Когда была их власть, они приказали ему танцевать. Теперь, когда он в силе, плясать для него будут они. Нет, пускай эти бары не думают, что за деньги от него можно добиться всего. Там, где он хозяин, он от своего не отступится. Здесь вам не Богом забытый вокзальчик в каких-то там Лапах. Здесь распоряжается он, и, куда закон остается законом, ни один воевода на свете ему не указ.

Князь Панч-Панчевский оставил дворец отнюдь не в идеальном состоянии. Перед выездом слуги воеводы сильно испортили его. Макс Ашкенази нашел в своем дворце ободранные стены и разломанную мебель. Многих вещей не хватало, Макс не досчитался картин, стеклянной посуды и бронзовых статуэток. Но дело того стоило. Весь город гудел о победе Макса Ашкенази.

— Ашкенази есть Ашкенази, — говорили люди. — Никакой черт его не берет...

Макс Ашкенази сразу же перебрался во дворец и почувствовал, что вернулся к прежней жизни.

Затем он взялся за фабрику, покинутую и разрушенную. На фабрике царил еще больший разгром, чем во дворце. Немцы вывезли машины, сняли трансмиссии, растащили котлы.

Требовалось целое состояние, чтобы снова запустить предприятие. У Макса Ашкенази капитала не было. Кроме двух рук, у него не было ничего.

Он хотел было взять кредит в государственном банке. В своем лучшем костюме, с сигарой в зубах, с разумными и складными речами, лившимися людям прямо в сердце, он отправился к директору государственного банка и попросил аудиенции. Толстый разодетый директор, который при русских был банковским служащим и помнил Макса Ашкенази еще по старым добрым временам, принял бывшего короля Лодзи очень любезно. Он даже выразил соболезнование его несчастью и, тряся всеми своими подбородками под бритыми скулами, постоянно кивал в знак согласия с тем, что так пылко и здраво излагал ему Макс Ашкенази.

Конечно, это очень хорошо — восстановить в обновленной Польше разрушенную проклятыми немецкими оккупантами промышленность. Это патриотический поступок, достойный всяческих похвал. К тому же он уменьшит безработицу, которая, к сожалению, очень велика. От них, этих безработных, столько неприятностей — постоянные демонстрации, митинги, драки с полицией...

Однако, когда дошло до дела, до крупных кредитов, которые банк должен дать Максиму Ашкенази, чтобы помочь ему запустить свою фабрику, вежливый директор вдруг помрачнел и принялся нервно барабанить толстыми пальцами по столу.

— Трудно, глубокоуважаемый пан Ашкенази, очень трудно польскому банку выдать сейчас большой кредит. При всем желании мы не можем этого сделать. Вот когда страна придет в себя, окрепнет, тогда мы с радостью поддержим промышленность и торговлю... Уверю вас...

Нет, они, новые правители, не собирались отстраивать еврейскую Лодзь. Хотя воевода Панч-Панчевский при каждой возможности заявлял промышленникам, что он будет всеми силами помогать восстанавливать то, что опустошили и раз-

грабили немецкие оккупанты, он даже и не думал ставить на ноги этот зажидовевший город, этот Иерусалим на польской земле. Князь всегда не выносил Лодзь, воротил нос от ее запаха, не терпел ее дворцов, построенных бывшими еврейскими арендаторами, ее карет, в которых они разъезжали. С тех пор как он стал воеводой в этом городе, он был особенно зол на него, ненавидел его с удвоенной силой.

Хотя он и занимал высокий пост в новой Польше, хотя и дожил до великой чести стать воеводой во втором городе страны, князь Панч-Панчевский был недоволен. Он предпочел бы другой пост, например, в посольстве в Париже или Риме, где он имел бы дело с верхушкой голубых кровей, а не с какими-то фабрикантами, пропахшими чесноком евреями и лавочниками. Однако на высшие посты в новой Польше назначали не дворян, а разного рода адвокатов, партийных функционеров, даже бывших арестантов и плебс самого низкого пошиба. Лишь считанным аристократам посчастливилось их занять. При этом им запретили подписываться в официальных бумагах своими титулами, они должны были ограничиваться именем, как простые граждане страны. В правительстве встречались люди, которым он, князь Панч-Панчевский, прежде даже руки бы не подал. Вот и министр внутренних дел, его начальник, сидел у русских в тюрьме. И этому человеку он, белая кость, обязан был теперь подчиняться. Но хуже всего было то, что его отправили в этот захламленный еврейский город, где ему приходилось общаться с всевозможными пожирателями селедки, фабрикантами, купцами и бывшими арендаторами, разговаривать с ними, как с равными, а некоторых из них, этих Мойшей и Беров, даже приглашать к себе на балы. Кроме того, к нему таскались журналисты, всякие бумагомараки из иностранных газет, по большей части еврейчики, чтобы взять интервью в связи с нападениями на евреев в Лодзи. Он обязан был им улыбаться, принимать их дружелюбно и заверять в том, что считает евреев равноправными гражданами Польши.

В последнее время ему добавилось неприятной работы. Из-за границы приехал важный дипломат, чтобы расследовать положение в стране евреев, терпящих издевательства польских солдат. Вместе с ним из Варшавы прибыли высокопоставленные чиновники. Этого дипломата, который к тому же сам был евреем, — в субботу он отправился к своим в синагогу, — ему, князю Панч-Панчевскому, приходилось сопровождать и обхаживать, он даже дал в его честь званый обед с тостами и речами. Как писали газеты, происходил этот дипломат из Польши, он был внуком какого-то польского еврея, арендатора или лавочника.

Князь Панч-Панчевский, отец города, ненавидел Лодзь, терпеть ее не мог подобно барону фон Хейделю-Хайделу. Каждый раз, когда ему приходилось встречаться с еврейскими фабрикантами, купцами и интеллигентами, его голубая княжеская кровь стыла в его жилах от унижения. Он, князь Панч-Панчевский, не был ярым антисемитом, но он хотел видеть евреев такими, какими они были в его детские годы, — арендаторами и торговцами в длинных лапсердаках, напуганными, покорными, целующими полу одежд помещика. Он любил все старое, традиционное, хотел, чтобы жизнь текла, как во времена отцов и дедов. Чтобы помещик был помещиком, крестьянин — крестьянином, а еврей — евреем. Он не мог представить себе Польшу без еврея, ему не нравилась польская дорога, на которой в окно своей кареты он не видел склоненной фигуры еврея-бородача, смиренно сторонящегося и стягивающего с головы шапку.

Он не выносил евреев с усами, как у помещиков, еврейских банкиров, расхаживавших на балах во фраках, еврейских интеллигентов, всюду лезущих и рвущихся высказать свое мнение, еврейских магнатов с их каретами и дворцами. Пока страна была под русскими, князь Панч-Панчевский ничего изменить не мог. Сам губернатор охотнее бывал на балах и сидел за картами во дворцах евреев, чем в имениях помещиков. Однако теперь, когда Польша снова стала Польшей,

надо вернуть порядок, который был заведен в старые, золотые времена: власть — барину, навоз — мужику, заплечная котомка — еврею.

С крестьянами и плебсом он, увы, тягаться не мог. Пришло их время. А вот на евреях можно отыгаться. Даже в правительстве многие министры настроены против них. Эти министры хотят отдать всю торговлю и промышленность в польские руки и, прежде всего, выкурить евреев из Лодзи, этой еврейской вотчины, превратив ее в свой, приличный, истинно польский промышленный центр, свободный от пригревшихся там горбоносых королей и корольков.

Воевода Панч-Панчевский делал все, чтобы добиться своего. Он переговорил с директором банка и велел ему придерживать кредиты, когда за деньгами будут приходиться евреи. Зато он приказал выдавать щедрый кредит на долгий срок каждому поляку, который начинает строительство фабрики или откупает предприятие у еврея. Кроме того, он изо всех сил поддерживал новое польское мануфактурное общество, созданное христианской партией «Единство», надеясь развить собственное крупное ткацкое и прядильное производство в этом зажидовевшем городе. На открытие первой фабрики «Единства» он привез министров из столицы. Кардиналов и священников он тоже пригласил, чтобы они окропили здания святой водой. Он вызвал к себе представителя Национально-христианского рабочего союза и переговорил с ним, прося профсоюзы пойти навстречу новой ткацкой фабрике, не устраивать забастовок и дать ей работать спокойно. Помимо прочего, воевода помог своему детищу деньгами, добыл для него щедрые кредиты, субсидии. Он, несколько министров и влиятельных депутатов приобрели на собственные средства толстые пачки акций нового предприятия и делали все, чтобы курс этих акций постоянно рос.

Евреи отправляли депутации в Варшаву, объясняли, что отказы выдать им кредиты вызывают рост безработицы, но

воевода отражал все их выпады. Он лично убедил премьер-министра, что в первую очередь Польша должна сосредоточиться на земле, на полях и лесах, на составляющих ядро страны крупных имениях, а не на дутых еврейских промышленности и торговле. А если и развивать промышленность, то она должна быть своя, польская. Пусть ее создадут помещики и магнаты, вложив свои капиталы. Конечно, директор национального банка в Лодзи не говорил о политике воеводы евреям, приходившим к нему за кредитами, потому что знал, какой шум на весь мир поднимают евреи, если их задевают. Устанешь потом оправдываться. Поэтому он горячо восхвалял желание евреев поднять промышленность Польши, но когда дело доходило до выдачи денег, он хмурился и уверял, что денег у страны нет. В результате все кредиты доставались деревенским помещикам и истинно польской промышленности, которую они создавали.

Больше, чем на других евреев, воевода Панч-Панчевский был зол на Макса Ашкенази — и из-за дворца, который тот у него отобрал, и особенно из-за королевства, которое этот еврей завоевывал себе в его городе. Нет, он, воевода, хозяин Лодзи, совсем не хотел, чтобы в его владениях хозяйничал еврейский король. Пусть он подавится своей разрушенной фабрикой, пусть задохнется на ней без кредитов, и тогда акционерное общество «Единство» откупит ее у него по дешевке. После падения Макса Ашкенази другие евреи тоже уберутся отсюда, выедут из своих дворцов, оставят свои кареты и снова, как им и положено, наденут лапсердаки и закинут за плечи котомки.

Несколько недель Макс Ашкенази мотался по стране, ездил в Варшаву, встречался с людьми, чтобы найти выход. Люди уговаривали его связаться с частными банкирами. Другие советовали взять в компаньоны иноверца-аристократа, как это делали другие евреи, добираясь таким образом до высокого начальства. Многие из иноверцев голубых кровей шли компаньонами в еврейские фирмы, вкладывая в дело свои

благозвучные имена, прикрывая своими истинно польскими фамилиями на «ский» еврейских «зон», «бергов», «манов» и «штейнов», которые не могли сунуться ни в один польский банк в расчете на государственное вспомоществование. Даже редакторы антисемитских газет, клеймившие в богобоязненных католических статьях подобных «шабес-гоев»<sup>1</sup>, втихаря становились компаньонами евреев и прикрывали их еврейство своим аристократизмом. На фабрику Максу Ашкенази сватали очень крупного аристократа, который денег в дело не внесет, но зато компенсирует своим дворянским именем режущую слух фамилию «Ашкенази». Фабрика получит большие кредиты, большие заказы, а воеводе можно будет показать жирную фигу.

— Даже не раздумывайте, ловите эту птичку, — убеждали Макса Ашкенази маклеры, — потому что не успеете вы оглянуться, как ее поймают другие... Курс акций этой белой кости ой как высок...

Макс Ашкенази не последовал советам маклеров. Он давно для себя решил, что против всего мира человек должен идти один, без компаньонов. Кроме того, он не желал отдавать целое состояние какому-то бездельнику только за его дворянское имя. Нет, Ашкенази не должен стыдиться своей фамилии. Вот еще! Он уже показал, как с пустыми руками становятся королями Лодзи, и в дальнейшем себя не посрамит. Ему не нужны компаньоны без капитала, не нужны паразиты для пускания пыли в глаза. Он сам всего добьется. И если здесь и сейчас его имя не котируется, если оно звучит как имя незаконнорожденного, то есть и большой мир, в котором фамилия Ашкенази ценится. В Лондоне, у хлопковых и шерстяных магнатов, где он когда-то вел миллионные дела, закупал сырье, знают, кто такой Ашкенази и на что он способен. Там его имя — не имя незаконного

<sup>1</sup> Шабес-гой (*идиш*) — субботний прислужник-нееврей, выполняющий работы, которые евреям в субботу запрещены (например, по растопке печи). В данном случае это выражение употреблено в переносном смысле.

сына, там оно стоит больше, чем все эти истинно польские «ский», за которые британцы не дадут и ломаного шиллинга. Он поедет в Лондон, переговорит с магнатами, расскажет им о своих мытарствах в России, о своих планах на будущее, о том, что он создаст новый рынок для английского сырья в притихшей Лодзи, которую он намерен оживить. Пусть ему только дадут кредит, пусть подставят плечо, помогут заново отстроить фабрику, и он опять будет закупать сырье на миллионы. Ведь им выгодно вложить деньги в его предприятие, чтобы получить такого хорошего клиента. Они немало заработали на нем в те годы, когда он с ними торговал. Он был их крупнейшим польским клиентом, делал огромные, миллионные транзакции и всегда был честен. Никогда не жульничал, как другие, не уклонялся от платежей. Они могут без всякого риска вложить кругленькую сумму в его фабрику, предоставить ему обширные кредиты. Так поступают все приличные деловые люди. А они, его враги, пусть полопаются от злости!

В новом костюме, увешанный дорожными сумками, закутанный в шубы, вооруженный одним лишь лодзинским немецким, без единого английского слова в голове, но с множеством продуманных речей, торговых планов, счетов, балансов, конспектов, диаграмм и гениальных задумок, он потихоньку уехал в Лондон, как во времена баронов Хунце ездил во Франкфурт-на-Майне, чтобы привезти оттуда столь необходимого ему химика. Под строжайшим секретом, доверившись только собственной жене, женщине с мужским умом, он отправился в Лондон и Манчестер. Со своим лодзинским немецким он добрался до крупнейших хлопковых магнатов, так очаровав продуманными речами и гениальными задумками этих невозмутимых хозяев жизни, что они были полностью покорены и приняли его сторону.

Нет, он, Макс Ашкенази, не ошибся. И не переоценил себя, и не недооценил. Его имя в стране большого капитала не потеряло веса из-за своего еврейского звучания. Здесь не требо-



валось прикрываться труднопроизносимой польской фамилией. Здесь знали, кто такой Ашкенази, знали, что в Польше он носил титул мануфактурного короля. И принимали его как короля, пусть даже и лишившегося короны. На большом собрании в одном из крупнейших лондонских отелей Макс Ашкенази изложил на лодзинском немецком свои планы и убедил своей речью всех. В победном настроении молился он в субботу в синагоге, восхваляя Господа за Его милосердие, которое Он снова являет ему, Максусу Ашкенази. Потом он впервые с аппетитом ел кошерную субботнюю еду в еврейском ресторане бедного Уайтчепла<sup>1</sup>.

Из Лондона он вернулся уже не один, а с английским специалистом, которого кредиторы послали оценить ситуацию на месте. Ашкенази берег этого англичанина, как драгоценный камень, поселил его в своем дворце и никуда от себя не отпускал. Рыжеволосый англичанин с трубкой в зубах едва понимал немецкий Макса Ашкенази, но, плохо понимая его язык, прекрасно разбирался в фабричных делах и коммерции. Вскоре Макс Ашкенази получил доступ к английским капиталам, живым деньгам, необходимым для того, что отстроить королевство заново. Он не только отремонтировал свою старую фабрику, но и выписал из Англии новейшие машины, каких в Польше в глаза не видывали и которые производили намного больше товара, чем прежние. Все было перестроено, исправлено и расставлено в определенном порядке, в соответствии с передовыми методами, рационально и безукоризненно, так что местные инженеры и эксперты от удивления только разинули рты.

Конечно, польские антисемитские газеты выступили против еврейского короля, ввозящего в свободную Польшу иностранный капитал и порабощающего страну, вместо того чтобы развивать собственную независимую промышленность. Карикатуристы, иллюстрировавшие периодические

---

<sup>1</sup> Лондонский квартал, где в начале XX века жили еврейские иммигранты из Восточной Европы.

листки, создали весьма отталкивающий образ Макса Ашкенази с кривой короной на голове, из-под которой торчали пейсы. Они сильно вытянули его нос и изогнули его так, чтобы он выглядел как можно более еврейским. Его тонкие губы они сделали толстыми и оттопыренными, чтобы усилить отвращение читателей, смотрящих на еврейского короля. Однако Макса Ашкенази это мало трогало. Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как развернувшаяся против него борьба. Окруженный врагами, он чувствовал, что живет, что властвует. Его имя снова было у всех на устах. Он снова сидел в своем кабинете на фабрике, и прислужник в униформе — правда, уже не старик Мельхиор, а здоровенный молодой иноверец, прямой и мускулистый, — стоял у дверей навтыжку, как солдат перед генералом, готовясь услужить своему господину, предвосхищая малейшее его желание. Польские инженеры, директора, чертежники, механики, архитекторы и даже помещики, шляхтичи стояли перед ним, как рабы, держа руки по швам, с заискивающим выражением на усатых лицах и громогласно отвечали на каждое его слово:

— Так есть, пане презесе!<sup>1</sup>

Всевозможные обедневшие графы и бароны обивали его пороги, томились в очереди на прием, приходили с рекомендательными письмами, чтобы получить у него какую-нибудь должность, самую мелкую работу. Мед сочился из их усатых ртов, елейное выражение застыло в их светлых злых глазах. У фабричных ворот с шапками в руках стояли тысячи рабочих, чтобы записаться на фабрику. Многие из них были еще в армейских гимнастерках. Макс Ашкенази видел их в большое окно своего кабинета и вглядывался в их лица. Кто знает, не было ли среди них тех, кто издевался и глумился над ним там, на этом убогом вокзальчике! Теперь они стояли здесь, терпеливые, жаждущие, они ждали с самого рассвета, надеялись, что он даст им работу.

<sup>1</sup> Так точно, господин президент! (польск.)

В то время как на фабрике акционерного общества «Единство», в которую буквально швыряли золото, работа шла ни шатко ни валко, у него, Макса Ашкенази, все кипело и бурлило. Сам воевода, этот кислый князь со старомодным высоким воротничком и крестиком на черном атласном галстуке, пришел на открытие его фабрики и выступил с подслащенной кислой речью, в которой говорил о заслугах Макса Ашкенази в сфере восстановления промышленности города.

Макс Ашкенази пожал ему руку и очень, очень вежливо поблагодарил.

При этом им обоим казалось, будто их пальцы касаются терний.

Закопченные трубы Макса Ашкенази, которые так долго и напрасно подпирали небо над опустевшей и умолкнувшей фабрикой, теперь снова выбрасывали густой дым, распространяя по всему городу удушливую вонь. Фабричные гудки ревели на рассвете, отрывая людей от сна и выгоняя их из постелей. Купцы, маклеры, агенты снова толпились в бюро Макса Ашкенази. Фабричные вагонетки везли готовую продукцию. Еврейские коммивояжеры разъезжали по городам и местечкам, налаживали контакты, заключали сделки. Крупные агенты отправлялись за границу, на выставки, на ярмарки, продавали товары Макса Ашкенази и создавали для них новые рынки.

Сам Макс Ашкенази частенько ездил по Петроковской улице, но уже не в карете, а в открытом автомобиле; за рулем сидел шофер в униформе, который уверенно включал специальный сигнал, нахальный и громкий, предупреждая всех лошадей, запряженных в телеги и кареты, о своем приближении и требуя очистить дорогу обгоняющей их машине.

Плотные толпы людей, шедших по Петроковской улице, смотрели, как и прежде, в годы молодости Макса Ашкенази, вслед щуплому ссутулившемуся королю и говорили друг другу:

— Ашкенази есть Ашкенази... Никакой черт его не берет!..

## Глава двадцать третья

**К**ак изголодавшийся человек, который набрасывается на еду и ест без всякой меры, Лодзь набросилась на работу после долгих лет вынужденного безделья. Город зашевелился.

Полицейские гнали людей с тротуаров, не позволяли собираться на улицах, но лодзинцы их не слушали. Снова, как в старые добрые времена, Петроковскую запрудили купцы, маклеры, скупщики остатков, торговцы пряжей, комиссионеры, коммивояжеры, торговые агенты. С карандашиками за ушами, готовые записывать свои подсчеты на чем попало — на облезлых стенах, на дверях магазинов, на столиках в кафе, — в сдвинутых на затылок шляпах, быстрые, суетливые, взволнованные, они роились повсюду, заполняя улицы и дворы; они бегали, носились, разговаривали, хватали друг друга за лацканы, торговались, подписывали векселя, продавали партии хлопка, распарывали штуки товара, проверяли его, поджигая нитки спичками.

Лодзь снова была Лодзью. Все столики в кафе были заняты, окутаны дымом, засыпаны пеплом. За ними слышались разговоры, шутки, сплетни и смех. В банках и вексельных конторах было не протолкнуться. Извозчики погоняли своих отощавших лошадей на плохо замощенных лодзинских улицах, везли купцов в банки, в кафе, на биржи и в конторы. Продававшие газеты мальчишки оглушали криками о самых свежих новостях, грузные фабричные телеги катились по брусчатке. Лодзь кипела, бурлила, содрогалась, двигалась. Трубы фабрик окутывали город смрадным дымом. Тяжелые башмаки рабочих гулко стучали по камням, фабричные sireны разрывали тишину.

Курс польских денег, марок с белым орлом<sup>1</sup>, напечатанных на плохой бумаге, падал с безумной быстротой. Их ценность

---

<sup>1</sup> Польская марка — национальная валюта Польши в 1918–1924 годах.

менялась на протяжении дня, утром одна, вечером другая. Люди ходили с тысячными купюрами в кармане. Держать марку в кошельке не имело смысла, она легчала с каждой минутой. И люди торопились потратить деньги, избавлялись от бумажек с орлом, как от падали. С раннего утра, вскочив с постели, женщины бежали на рынки, чтобы успеть закупить еды, прежде чем марки упадут в цене. Скупали все, что попадалось под руку: ненужные куски полотна, только что сделанную посуду — годилось все, только бы сбыть стремительно дешевеющие бумажки. Не успев завесить немного съестного, торговец уже повышал на него цену. Нередко торговцы вообще закрывали свои магазины и убегали от покупателей. Каждый час, когда они не торговали, приносил куда больше прибыли, чем торговля. Крестьяне и крестьянки усаживались на принесенные ими в город мешки с картошкой и отгоняли женщин кнутами:

— Убирайтесь отсюда! Нам нечего продавать! Пошли прочь!

А фабрики продолжали работать по три смены в день. Товары — была в них нужда или не было — шли нарасхват. Вся страна сходила с ума по тканям.

Всех словно опутало какое-то колдовство. Один увлекал за собой другого. Фабриканты брали кредиты в банках, не глядя на суммы и проценты. Прежде чем истекал срок возврата ссуды, они успевали заработать в сто раз больше, чем получали в долг. Купцы расхватывали фабричные товары, скупали все, что им продавали, потому что с каждым днем цена на продукцию росла. Крестьяне, рабочие, служащие, все население страны опустошало магазины. Люди боялись оставить при себе бумажные марки даже на одну ночь. Рабочие трудились на фабриках, лавочники зарабатывали деньги и тут же заказывали башмаки сапожникам, а платья портным. Один подгонял другого. Все жили безумной бумажной жизнью, без удержу, без расчета, без смысла. Колдовская цепь сковала всех.

Из городов и местечек приезжали покупатели, поездами и телегами, автомобилями и пароходами. Люди скитались по стране, торговали и обменивались. Банкиры в банках ни на минуту не отходили от телефонов. Они вели переговоры со всем миром, устанавливали курсы валют, покупали, продавали, завышали, занижали, учитывали. По тротуарам снова ли бедные менялы; они меняли иностранные деньги, маклерствовали и могли свести стену со стеной.

Непрерывно выходили выпуски с новейшими курсами валют, о которых во весь голос кричали юные продавцы газет. Правительство непрерывно печатало марки на самой плохой бумаге, какая только возможна, постоянно увеличивая число нулей на банкнотах, делая из марки тысячу марок, а из тысячи — миллион. Нищие бросали тысячные купюры в лицо тем, кто подавал их им как милостыню.

Профессора и экономисты писали в газетах статьи, самыми черными красками живописуя пропасть, в которую катится страна. Антисемитские издания разжигали ненависть к евреям, утверждая, что это они подрывают курс национальной польской валюты. На рынках и базарах, на всех заборах и облезлых стенах, везде, где только бывает бедный люд, расклеивались большие плакаты с глумливыми карикатурами на еврейских банкиров: банкиры были алчные, с кривыми, как птичьи клювы, носами, с толстыми губами и кудрявыми волосами; они сидели рядом с большими мешками, в которые запихивали золото, топча при этом своими жирными ногами польские марки. Рабочие с женами останавливались у этих рисунков, плевались и ругались. Нередко они набрасывались на какого-нибудь старьевщика-еврея и вытряхивали из его мешка тряпки, мстя евреям за мешки с золотом, которые те набивают для себя в Польше. Полицейские резиновыми дубинками разгоняли распаленных денежных менял, которыми кишели улицы, арестовывали их. Напуганные менялы в сдвинутых на затылок картузах и с развевающимися полами одежд без счета выбрасывали из карманов деньги, чтобы

не попасть в тюрьму. С помощью полицейских воевода хотел разогнать тех, кто подрывает курс национальной валюты, но польская марка от этого тверже не становилась. Помещики, депутаты сейма, министры — все брали большие кредиты в государственных банках, приобретали на них землю, строили дома, покупали кареты и лошадей, а потом возвращали государству бесполезные миллионы, не стоившие даже бумаги, на которой они были напечатаны.

Обуздать этот хаос не мог никто, все боялись даже попытаться. Покуда длилось это наваждение, люди жили, крутились из последних сил, вытаскивая один другого. Среди этого безумия они работали, строили дома, женили сыновей и выдавали замуж дочерей, приводили в мир новые поколения. До поры до времени бумажная цепь держалась. Люди знали, что в конце концов она порвется и тогда все развалится. Однако остановить безумие было страшно. Все тряслись от ужаса перед грядущей неизбежной катастрофой и предпочитали ничего не замечать.

Единственными, кто не крутился в этом колесе, были рабочие, ремесленники. Хотя зарплату им повышали каждую неделю, она обесценивалась еще до того, как выплачивалась. С полными карманами денежных купюр и с пустыми желудками женщины отправлялись на рынки ни свет ни заря, но уходили оттуда ни с чем. За выданные на фабрике бумажки, терявшие к концу недели свою и без того невеликую ценность, ничего нельзя было купить. Сбитые с толку дикими, не укладывавшимися в их головах суммами, с проклятиями на устах женщины возвращались домой, к своим голодным мужьям и детям.

В Балуте беспрерывно стучали ткацкие станки, не останавливаясь даже по ночам. Выходившее из них полотно, как паутина, опутывало мужчин, женщин и детей. Они работали, выбиваясь из сил, чтобы получить как можно больше марок за произведенные штуки товара. Однако чем больше надрывались жители Балута, чем больше усилий вкладывали в

свою работу, тем быстрее бумажки, которые они получали за нее, дешевели и обесценивались. Со всеми этими миллионами в кармане не на что было справить субботу. По субботам под вышитыми салфетками скрывались не белые халы, а черные хлеба. Вина для кидуша тоже не было. Субботним лакомством на бедных столах ткачей была селедка.

Тевье, как всегда, выпускал прокламации, говорил, убедительно доказывал, что угнетатели жируют за счет бедняков, что за дутые бумажки богачи покупают пот и кровь трудящихся. Полиция срывала прокламации со стен, кидала их расклейщиков в тюрьму. Бывший жандармский полковник Коницкий, перешедший при русских из католичества в православие, чтобы получить хороший пост в российской политической полиции, теперь, обрызгав себя святой водой, перешел назад, из православия в католичество, и работал в польской политической полиции под началом тех, кого он в прежние времена держал в Лодзи под арестом. В том же кабинете, где прежде висел российский император, теперь висел портрет того, на кого Коницкий охотился со своими жандармами и агентами. Под этим портретом Коницкий сидел и расследовал, применяя свои психологические методы, преступления врагов нового режима. Упрямец он приказывал бить, а тех, кто послабее, пытался перетянуть на свою сторону медовыми речами и марксистскими цитатами, чтобы сделать из них агентов и провокаторов. Он по-прежнему арестовывал ребят Тевье. Ничего не изменилось в этом городе дыма, зловония, денег и гнева.

Трубы фабрик Макса Ашкенази коптили небо сильнее, чем трубы всех прочих фабрик Лодзи. Их гудки ревели на рассвете громче всех. Их новые машины работали быстрее любых других машин, выплевывая готовые товары. Но Макс Ашкенази не был счастлив в своем новообретенном королевстве. Корона не ласкала голову короля, а колола ее, как терновый венец.

Он, Макс Ашкенази, осознавал, куда идет страна, в какую пропасть она катится. Нет, стук фабричных машин не вскры-



жил ему голову. Он сохранил способность мыслить свободно и предвидеть отдаленное будущее. Гудки фабричных сирен не оглушили его и не сбили с толку. Он понимал, что бумажная цепь обязательно лопнет, порвется, потому что бумага недолговечна, таково уж ее свойство. Он знал, что Судный день неминуемо настанет. Тогда придется заплатить за ту безумную жизнь, которую ведут сейчас люди. Он знал, что за грехи нечестивцев пострадают и праведные. Конечно, деловой человек, купец должен блюсти свою выгоду. Но Макс Ашкенази видел, что, к сожалению, ловят рыбу в мутной воде скорее они, нечестивцы, а он рискует оказаться среди тех, на чьи плечи падут их грехи. Макс Ашкенази следил за происходящим. При всех криках и воплях, которые поднимают всевозможные шишки, министры, депутаты и ратующие за справедливость публицисты по поводу разоряющих Польшу эксплуататоров-фабрикантов, на самом деле именно они, эти морализаторы, и нагревают руки на ситуации в стране. Именно они, все эти помещики, директора, главы государственных обществ и кооперативов, берут у правительства гигантские суммы, которые потом возмещают не имеющими никакой ценности бумажками. На полученные ссуды они строят дома и фабрики, покупают поля и леса, грабят страну.

С фабрикантами, купцами дело обстоит иначе. Они получают только кости, которые им бросают со стола. Сливки снимают те, кто сидит рядом с миской. Они, фабриканты, работают, делают деньги, но рано или поздно им предъявят счет. За хлопок и шерсть им придется платить не пустыми бумажками, а твердой иностранной валютой. А платить будет нечем.

Макс Ашкенази чувствовал, что его идеальная сделка с англичанами летит ко всем чертям. Он задумал ее, используя логику и свое понимание жизни. Однако во времена всеобщего помешательства здравый смысл — безумие. Среди сплошных сумасшедших нормальный человек выглядит чокнутым. Макс Ашкенази избегал доморощенных приемов, шел своим

особым путем, проявлял независимость мышления. Он строил свое предприятие один. Он никогда не стремился привлечь компаньонов, потому что считал, что человек должен полагаться только на собственные силы. Таков был его жизненный принцип, который всегда давал отличные результаты. Вот и сейчас опыт склонял Макса Ашкенази последовать ему. Но разумный подход был уместен в прошлом, когда мир был миром, а коммерсанты — коммерсантами. Теперь же Макс Ашкенази оглядывался и видел, что все перевернулось и повисло вверх тормашками. Теперь полагаться следует не на разум, не на умение предвидеть, а на случай, безумие и абсурд. В нынешние времена чем упрямее делец, чем он легкомысленнее и прожженнее, тем лучше для него. И напротив, чем тщательнее люди просчитывают свои шаги, чем больше они стремятся основать дело на прочном фундаменте, тем больше терпят убытков.

Макс Ашкенази не знал покоя в своем большом кабинете, где кипела жизнь. Он не мог противостоять хаосу, как бы он этого ни желал. Он быстро понял, что для него лучше всего было бы, пока не поздно, покончить с этим сумасшествием, остановить фабрику, несущуюся, как корабль без руля и без ветрил по бушующим волнам потопа. Остановить корабль, бросить якорь и переждать бурю — самый разумный вариант. Но Макс Ашкенази не мог остановиться. Безумие против его воли тащило его вперед. Невозможно было уволить и выбросить на улицу тысячи рабочих. Они бы разнесли ему фабрику, растерзали бы его в клочья, и воевода не стал бы слишком стараться защитить его. На него набросились бы все — профсоюзы, социалисты, христианско-социальные движения, пресса, как либеральная, так и антисемитская. Даже еврейские революционеры выступили бы против него, хотя он и не брал евреев к себе на фабрику. Против него ополчились бы все, вне зависимости от того, имеют они отношение к его делам или не имеют, и особенно воевода, жаждущий его крови, мечтающий утопить его в ложке воды. Возможно,

правительство даже конфисковало бы у него фабрику, чтобы запустить ее снова. Нет у него больше прав в этом новом государстве при этих новых правителях. Они делают, что хотят. Человек в независимой Польше больше не хозяин своего имущества, как и там, по другую сторону границы, у русских. Но вместо того, чтобы грабить награбленное у всех, как это делают в России, здесь грабят награбленное у евреев, чтобы отдать его иноверцам. Они только и ждут подходящей минуты, чтобы проникнуть в его королевство, которое колет им глаза. Малейшей зацепки им будет достаточно. Правда, закон на его стороне. Каждый может распоряжаться своим имуществом, как хочет, но это только на бумаге. Пока он будет добиваться справедливости в судах, у здешних судей, у него глаза вылезут. Будет то же самое, что и с дворцом. Легко выйти, да трудно попасть назад.

Нет, он не мог противостоять потоку безумия, обрушившемуся на страну. Против собственной воли он был вынужден вести свой корабль по бушующим волнам, а точнее — позволять ему мчаться туда, куда его несет, до тех пор, пока он не налетит на скалу и не разобьется. Фабрика работала в три смены, выдавала на-гора товары, чтобы получить за них бесполезные бумажки.

Купцы утешали его.

— Пусть все идет, как идет, господин президент, — говорили они ему. — Может быть, жизнь еще повернется к лучшему. Пока ведь живем и крутимся. Как говорится: «Я сделал, что смог, а о завтрашнем дне позаботится Бог».

Однако Макса Ашкенази эти доводы не убеждали. Он никогда не возлагал на Бога слишком больших надежд. Это его тесть, реб Хаим Алтер, всегда полагался на Бога. Что же касается Макса Ашкенази, то подобные взгляды на ход вещей он оставлял другим людям — лентяям и бездельникам. Вот и теперь он не рассчитывал на милосердие Божье. Он видел близкую катастрофу, беду, как видит ее капитан, утративший контроль над своим кораблем и беспомощно наблюдающий, как

его судно мчится навстречу гибели. Бесплезно полагаться на Бога. Этот потоп переживут те, кто строил воздушные замки, кто хватал без счета и брал что попало. Они, эти пустые головы, а также те, кто устроился поближе к кормушке, кто имел всевозможные связи и протекции в государственных банках, или те, кто подсуетился и завел себе знатного «шабес-гоя», — все эти ловчилы ухватят кость, разбогатеют за счет кредитов, которые они получают и возвращают клочками бумаги. А солидные люди, старая гвардия, те, кто строил на прочном фундаменте, будут смяты, стерты с лица земли.

Если некогда стук фабричных машин наполнял Макса Ашкенази счастьем, потому что каждый удар чеканил для него золотую монету, то теперь шум фабрики усиливал его печаль, загоняя его все глубже в яму, где он будет похоронен. Гудок фабричных сирен возвещал о его приближающемся конце.

Несмотря на это, он не покидал своего кабинета на фабрике, просиживал там дни и ночи. На рассвете, когда гудки будили людей от сна, Макс Ашкенази вставал вместе со своими рабочими и торопился на работу. Его жена, полупарализованная и больная, удерживала его.

— Макс, полежи, отдохни еще немного, — просила она его. — Эти золотые, с позволения сказать, дела не убегут. Побереги свое здоровье.

— Я не могу лежать спокойно, — отвечал ей Макс Ашкенази и со вздохами и кряхтеньем одевался, скрывая под одеждой свое измученное, изломанное тело.

Камердинер очень торжественно, как в старые добрые времена, подавал на серебряном подносе изысканный и обильный завтрак своему господину. Однако из всего этого великолепия Макс Ашкенази съедал только маленький подсухший кусочек халы и выпивал полстакана молока. Король Лодзи мог удовольствоваться трапезой нищего. Его исхудавшее тело отвыкло от пищи за время тяжелых дней в Петрограде. Его усохший желудок почти ничего не мог вместить.

На ходу его поддерживали работа, размышления и деловая суета. Это были единственные блюда, питавшие его и дававшие жизненные силы, необходимые для того, чтобы его, Макса Ашкенази, продолжали носить его костлявые ноги, чтобы он все так же бегал, подгонял людей и ускорял дела.

## Глава двадцать четвертая

**Т**ак же, как и в коммерческих делах, в своей новой жизни Макс Ашкенази тоже хотел все просчитать, но просчитался.

Он делал все, чтобы начать жизнь заново, так, как он не раз представлял себе в дни несчастья, лежа на кровати в своем реквизированном доме в Петрограде, сидя у русских в подвале, а потом — на низенькой скамеечке рядом с дочерью Гертрудой во время семидневного траура по своему погибшему брату-близнецу. Она, его дочь, осталась одна. Одна на целом свете с ребенком и матерью. Из-за него она стала вдовой, спасла его ценой жизни мужа. И он, Макс Ашкенази, стремился воздать ей за все, отплатить за все прошедшие годы. Сына своего, Игнаца, он тоже вернул домой с чужбины, чтобы быть ему настоящим отцом, защитником и опорой. Так же, как перед детьми, которых он прежде не замечал и перед которыми вдруг решил повиниться, он хотел оправдаться и перед Диночкой, искупив нанесенные ей обиды, исправив в последние отпущенные ему годы то, что он наломал за целую жизнь. Но дом, который он когда-то так безжалостно разрушил, восстановить не получалось. Черепки разбитого кувшина, который пытался склеить Макс Ашкенази, не скреплял ни один клей.

Отвоевав свой дворец, он хотел взять дочь к себе. Ему-то дворец был не нужен, не ради себя самого он так яростно боролся, добиваясь возвращения своего имущества. В этом

дворце он всегда чувствовал себя чужим, особенно сейчас, в горькие годы своей преждевременной старости. Громадные залы, пустота бесконечных комнат подавляли его, в них он мельчал еще больше. Особенно пустым выглядел гигантский стол в столовой, за которым сидели только двое, он и его жена, одинокие и усталые, и на который слуги торжественно подавали блюда на серебряных подносах. Едва пригубив этих великолепных яств, Макс Ашкенази и его жена молчали, не говорили друг другу ни слова. Им не о чем было разговаривать.

Макс Ашкенази хотел, чтобы дочь была при нем, чтобы она внесла тепло и уют в эту дворцовую холодность. Кроме того, он хотел, чтобы при нем была и внучка, маленькая Прива, названная в память о его покойной теще. Как колокольчик веселых саней на одиноком заснеженном пути, звенел смех малышки, когда она входила в большие дворцовые залы. И сам Макс Ашкенази, и его жена, полупарализованная бездетная женщина, просили Гертруду оставить дом, который она теперь делила с матерью, и переехать в их дворец, жить вместе с ними, но Гертруда не хотела. Макс Ашкенази думал, что дочь не хочет перебираться к нему из-за матери, и договорился со своей нынешней женой, что они выделяют целый этаж дворца Гертруде и Диночке. Госпожа Ашкенази пошла на это. Она не имела ничего против бывшей жены своего мужа. Обе женщины были уже в том возрасте, когда взаимная ненависть соперниц исчезает, остается только чувство дружбы, позволяющее держаться вместе. Макс Ашкенази сообщил Гертруде об их с женой решении и просил ее переговорить с матерью. Однако и Гертруда, и Диночка предпочли жить в собственном доме. Макс Ашкенази посылал им деньги, много денег, чтобы они ни в чем не нуждались. Он позаботился и о том, чтобы привести в порядок дела своего покойного брата и избавить Гертруду от их бремени. Но переезжать к нему во дворец она, тем не менее, не торопилась.

Выбирая между отцом и матерью, Гертруда всегда выбирала мать. В последнее время она испытывала жалость к отцу, видела, как он одинок, но любви к нему не чувствовала. Она не могла забыть, что все прошлые годы отец чуждался своих детей, гасил в ней любые проблески дочерней любви. Нет, утраченного не вернуть. В глубине души она даже питала к отцу неприязнь. Это из-за него погиб ее муж. Отец всегда приносил ей только беды и скорбь, и даже когда, наконец, захотел принести ей радость, обрушил на ее голову несчастье. Она не была набожна, но была суеверна, она верила в судьбу. Отец всегда был для нее злым духом. Теперь он окончательно ее обездолил. Ему она ничего об этом не сказала. Она видела его темную планиду. Сама жизнь мстила ему за его безумное поведение. Есть справедливость на свете. Она жалела его, но любви к нему в ее сердце не было. Сколько Гертруда ни старалась, она не могла пробудить в себе нежность к человеку, произведшему ее на свет.

Ее матери приходилось уговаривать ее взять ребенка и сходить как-нибудь к отцу.

— Не забывай, что он твой отец, — упрекала Гертруду Диночка. — Он постоянно звонит по телефону, даже автомобиль прислал.

Когда к Макс Ашкенази приходила дочь, он откладывал все свои дела. Он покупал ей подарки, прижимал ее к сердцу. Маленькую Приву он усаживал на свои худые колени и качал. Он ползал с ней по ковру и лаял как собака, вызывая радостный смех ребенка. Внучку он тоже осыпал подарками. Каждый день он посылал ей со слугой что-нибудь новенькое. То, чего не видели от него его дети, он дарил теперь своей внучке. Его старая жена тоже обнимала малышку своими полупарализованными руками, целовала ее пухлые ручки, прижимала к губам каждый локон на ее головке. Но малышка не слишком привязалась к новообретенным дедушке и бабушке.

После ухода Гертруды и маленькой Привы дворец пустел еще больше.

Макс Ашкенази вернул из-за границы сына. Он посылал ему в Париж деньги, засыпал его письмами, прося приехать в Лодзь. После долгих уговоров сын приехал. Однако Макс Ашкенази его не узнал. Перед ним стоял мужчина, зрелый, крупный. В нем ничего не осталось от того, прежнего мальчишки. В нем не было ничего и от его отца. Голос его был грубым и чужим. Особенно Игнац огрубел в армии, где служил во время войны. Макс Ашкенази стал на цыпочки, чтобы достать губами щеку сына, и горячо поцеловал его. Сын, в свою очередь, едва коснулся губами худой щеки отца и держался с ним так отстраненно, словно не имел с этим маленьким сутулым человеком ничего общего. Даже домашний, немецкий, язык он помнил с трудом и говорил на французском, которого его отец совершенно не понимал. Солдат сквозил в каждом движении Игнаца. Шрам от ножа пересекал половину его лица, придавая ему чужой, иноверческий вид.

— Это я на фронте получил, — сказал Игнац со смехом, словно вспоминая забавнейший случай. — Рубанули от души, что и говорить.

Между этим незнакомым солдатом и собой Макс Ашкенази не ощущал ни капли родства. Еще большее отчуждение он почувствовал, когда сын познакомил его со своей французенкой, смуглокожей, костлявой женщиной с огромными черными глазами, в которой при всей ее черноте не было ничего еврейского. С длинными цветными серьгами в ушах, с уймой браслетов на тощих смуглых руках, в яркой, кричащей и короткой одежде, из-под которой выглядывали стройные, точеные ножки, она походила на одну из венгерских танцовщиц кабаре, известных Максу Ашкенази по тем временам, когда ему приходилось обмывать сделки с русскими купцами. Ни на каком языке, кроме французского, она не понимала ни слова. Максу Ашкенази сразу же стало ясно, что эта французенка, конечно, иноверка и даже хуже: цыганка или уроженка какой-нибудь французской колонии. Он сильно покраснел. Ему показалось, что вся его кровь прилила к



его бледному лицу, когда эта худющая и знойная бабенка поцеловала его в щеку и радостно засмеялась ему прямо в глаза:

— Мон пер, мон пер!

Сразу же после этого она схватила на руки маленькую лохматую собачку и начала целовать ее в нос и в глаза, осыпая свою четвероногую любимицу горячими, шумными и непонятными нежностями.

Макс Ашкенази не стал расспрашивать сына, но он был уверен, что это иноверка. Он видел это и по ее поведению, и по собачке, которую она не выпускала из рук. К тому же в ней не было ни капли стыда. В его, Макса Ашкенази, присутствии она вдруг бросилась на шею мужу и покрыла его поцелуями, она ласкалась к нему и вела себя совсем не так, как ведут себя в приличном доме. Макс Ашкенази к такому не привык. Он покраснел и не знал, куда ему деваться.

Через несколько дней после приезда сына Макс Ашкенази решил поговорить с Игнацем о практических вещах. Он хотел втянуть своего единственного сына в дела фабрики, обучить его коммерции, чтобы было кому оставить состояние, чтобы дом Ашкенази не пресекался после смерти его, Макса. Но сын воротил от фабрики нос. Он не терпел стука и шума, рабочих, суету и суматоху. В его голове никак не укладывались коммерческие премудрости, в которые посвящал его отец. При первой же возможности он убегал назад во дворец развлекаться глупостями. Целыми днями он занимался спортом, фехтовал, плавал в бассейне, играл с собачкой или забавлялся с женой. Она, эта смуглокожая француженка, визжала так, что весь дворец ходил ходуном. Макс Ашкенази не понимал ни слова из потока речей на чужом языке, но понимал, что разошлась она не на шутку. Сам Игнац молчал, но когда визг жены достигал заоблачных высот или она начала лезть ему ногтями в лицо, он давал ей такие пощечины, что звон от них стоял по всем комнатам. У Макса Ашкенази кровь застывала в жилах. Ему было стыдно перед собой, перед своей женой, перед прислугой. Чего-чего, а рукоприклад-

ства Макс Ашкенази не уважал, тем более по отношению к женщине. Он знал, что такое в ходу у рабочих, у иноверцев, но не у приличных же людей, не в еврейском же доме, тем более в его собственном. Но смуглокожая француженка не относилась к побоям Игнаца как к чему-то из ряда вон выходящему. Выплакавшись хорошенько, она тут же пудрилась, подкрашивала глаза, губы и на виду у всех бросалась Игнацу на шею, принимаясь целовать его с тем же пылом, с каким прежде, в гневе, царапала ему лицо. Она смеялась громко, взхлеб, покрывая страстными поцелуями мужские волосатые руки Игнаца. Тут же она хватала свою собачку и начинала целовать ее. За обедом она с невообразимым аппетитом уплетала блюдо за блюдом и пила вино как пьяница. Нередко Игнац брал отцовский автомобиль и носился по дорогам, пугая своей безумной ездой деревенских жителей, домашний скот и птицу. Полиция едва успевала составлять на него протоколы. Часто случалось так, что отцу требовалась машина, но ее не было на месте.

— Молодой господин забрал ее, — обиженно говорил шофер.

Однако главной проблемой были деньги. Игнацу, сыну Макса Ашкенази, их всегда не хватало. Он водился в городе с разными подозрительными типами, играл в карты, ходил в кабаре, пускался в авантюры с сидящими в кафешантажах офицерами, пьянствовал. Ночь за ночью его приводили из ресторанов без чувств. Вдобавок ко всему он грубо оскорблял прислугу.

Раз за разом Макс Ашкенази получал дурные приветы от своего сына.

— Он, этот младший Ашкенази, гуляет вовсю, господин президент, — сообщали ему люди.

Сколько бы денег ни давал ему отец, Игнацу все было мало; если же Макс Ашкенази начинал поучать сына, говорить с ним о серьезных делах, тот ничего не хотел слушать и принимался паковать вещи, чтобы вернуться в Париж.

— Что ты будешь там делать? — спрашивал его отец.

— Вступлю в Иностраннный легион и уеду в Африку, — мрачно отвечал Игнац, с ненавистью глядя в глаза отцу. — Все равно мне здесь уже надоело...

Отец не отпускал его. Снова и снова он давал сыну деньги, прощал ему все его вероотступнические штучки, лишь бы удержать его, приучить к новой жизни. Игнацу не нравилось в Лодзи. Он ненавидел этот город, здешнюю еду, здешних людей, здешний язык. Он все время рвался в Париж. Еще больше дулась на Лодзь его смуглокожая бабенка. Временами Игнац добрел, разговаривал с отцом, не отходил от матери, а однажды даже силой привел ее к отцу во дворец. Макс Ашкенази растерялся, Диночка краснела, как маленькая девочка.

— Как дела? — растерянно спросил Макс Ашкенази свою первую жену.

— А какие у меня могут быть дела? — вопросом на вопрос ответила пунцовая Диночка.

Игнац подтолкнул их друг к другу и удерживал рядом, не давая разойтись.

— Ну, поцелуйтесь! Хватит обижаться! — воскликнул он, цвета от удовольствия.

Костлявая француженка громко зааплодировала:

— Bravo, bravo!

Родители просияли, им хотелось верить, что их сын становится другим, что он приживется здесь, начнет вести себя по-человечески и наконец порадует их после всех их прошлых огорчений. Они даже попытались было расспросить Игнаца о его француженке, чтобы раз и навсегда уяснить себе, кто она такая, какого роду-племени и кем приходится их сыну — не дай Бог, женой или просто любовницей, с которой можно так же легко разойтись, как и сойтись. Они хотели, чтобы он принес им радость, хотели дожить до его свадьбы с приличной еврейской девушкой. Однако дичал он так же быстро, как и добрел; тогда он целыми днями не показывался дома, ни во дворце у отца, ни на квартире у матери. Он

на несколько дней уезжал в Варшаву, никого не предупредив об этом и не давая о себе знать. Родители места себе не находили. Возвращался он обычно злой, раздраженный, и в голос кричал, что не может тут сидеть, что все ему тут поперек горла.

Однажды он не вернулся из такой поездки, исчез вместе со своей французенкой, собачкой и вещами. Через неделю от него пришла короткая телеграмма, в которой сообщалось, что он снова в Париже и просит отца прислать ему денег на адрес отеля, где он живет.

Макс Ашкенази почувствовал себя оскорбленным и больным.

Как может сын совсем ничего не унаследовать от своего отца! Эта мысль постоянно вертелась в мозгу Макса Ашкенази, как и в те времена, когда Игнац еще был мальчишкой, но уже поражал родителей своими дикими выходками.

В нем не было ничего еврейского — взять хотя бы его тоску по армии, его тягу к кутежам и всяким безумствам, его ненависть к коммерции, к практическим вещам. Игнац во всем напоминал Максу Ашкенази разгульных сыновей Хайнца Хунце. Они так же ненавидели этот город, торговлю, здешних людей, а больше всего — собственного отца.

Макс Ашкенази позвонил Диночке, сходявшей с ума по сыну, и сообщил ей о телеграмме.

— Ладно, — утешал он ее, — лишь бы это наше сокровище было живо и здорово, пусть даже и в Париже.

Но сам он был безутешен. Он видел, что все его усилия идут коту под хвост, что из этого молодчика приличного человека не получится. Он хотел заново отстроить свой дом, чтобы быть не хуже других, подготовить себе преемника, но не выходит. Не будет ему радости от сына ни на этом, ни на том свете. В нем нет ни капли еврейства, он повсюду таскает за собой иноверку, эту цыганку или черт ее знает, кто она там. Дай Бог, чтобы колесо повернулось и сын образумился; а что, если он уже крестился? — думал Макс Ашкенази.

Боже, за что ему такое наказание?! — морщил лоб Макс Ашкенази. Чтобы у него, человека, который всю жизнь работает, выбивается из сил, избегает гульбы, был такой наследник? Для кого же он, с позволения сказать, работает? Не для себя же самого. Ему самому никогда ничего было не надо, а уж теперь и подавно. За день он съедает на гроши. Ради кого он начал все заново? Только ради них, ради детей. А они? Они его чуждаются. Дочка держится от него на расстоянии. Он едва ее видит. Сын ему враг. Ни слова не сказал ему по-человечески. Даже не попрощался. Только телеграмму прислал, чтобы выклянчить еще денег.

После целого дня огорчений и тревог на фабрике дома его не ждало ничего, кроме одиночества и жениных причитаний. За работой он еще мог забыться. Но ночами, долгими и бессонными, ему в голову лезли всякие дурные мысли. Все его болячки выходили наружу. Ломило кости, щемило сердце. Нередко его мучило колотье в боку, это колотье никак его не отпускало. Время от времени сердце прихватывало все-ррез. Еще до войны он чувствовал в себе эти хвори и беспокоился на этот счет, но к врачу никогда не ходил, ему было некогда. В работе, в беготне и суете он забывал обо всем. Однажды врачи даже предостерегли его, сказали, что он должен лечиться, что его здоровье не в порядке. Однако он их не слушал. Он был слишком нетерпелив.

Даже зубы он не лечил как надо. Он не мог усидеть в кресле дантиста, его так и срывало с места. Жжение и сосание под ложечкой он заливал содой. Горячими грелками он боролся с болями в боку и спине. Он отказывался ездить на воды, куда его посылали врачи. И вот все его недуги разом вылезли. Все его маленькое тело ломило, крутило и трясло. Жена гнала его к докторам, приводила профессоров на дом, но Макс Ашкенази от них отмахивался. Он заранее знал, что они велют ему делать: больше отдыхать, ездить на воды, не волноваться, спать по ночам, беречь себя. Ни одно из этих требований Макс Ашкенази выполнить не мог. Его несло неудержимее,

чем раньше. Дела его шли хуже, чем обычно, они просто катились в пропасть. Дома было одиноко и печально. Дочь чуждалась его и никогда не улыбалась. Сын давал о себе знать только телеграммами, напоминавшими отцу, что тот запаздывает с отправкой очередного чека. Образ погибшего брата стоял по ночам перед глазами Макса. Он снова видел, как брат лежит на полу того вокзальчика, большой, могучий, со струйкой крови, текущей изо лба и застывающей в густой бороде. Сколько бы Макс Ашкенази ни жмурился, чтобы не видеть этой картины, она представляла перед его взором все ярче. Он принимал всевозможные снотворные пилюли, чтобы заснуть, забыться, но его глаза не желали смыкаться. Пилюли им были нипочем, они на них не реагировали.

Нет, Макс Ашкенази не мог выполнить предписаний профессоров, советовавших ему отдыхать, не волноваться, спать по ночам и беречь себя. Его маленькое, терзаемое болью тело не находило себе места. Оно не знало покоя даже на мягчайшей перине стоявшей в спальне Ашкенази французской кровати.

Ему не удавалось склеить разбитое, как он мечтал в те горькие петроградские дни. Черепки сосуда распадались. И он бродил бессонными ночами по большим дворцовым комнатам, завернувшись в спальный халат и шаркая шлепанцами.

Бронзовые Мефистофели, как и прежде, ощеривали на него свои зубы и в тишине ночей смеялись над ним глумливым смехом.

## Глава двадцать пятая

**Л**одзь треснула по швам.

Бумажная цепь, опутавшая город, порвалась, разлетелась на мелкие кусочки. Напечатанные на плохой бумаге марки с множеством нулей полностью вышли из оборота, и из монет-

ного двора хлынул поток новых золотых, серебряных, с польскими орлами и профилями вождей. С исчезновением марок работа в городе заглохла. Кончились беготня, продажа и покупка, кончилась вся эта бумажная жизнь. Все остановилось.

Склады и фабрики были забиты товаром, производимым в последние годы без счета и оглядки. Магазины больше не давали за них ни гроша. Тротуары, которые прежде кишели покупателями из города и местечек, опустели. Полицейским больше некого было разгонять. В кафе и ресторанах официанты скучали без дела и гоняли полотенцами мух, садившихся на лежалую сладкую выпечку. За столиками сидели агенты, маклеры, менялы, комиссионеры, коммивояжеры. Они писали карандашами на мраморных столешницах, стирали, вычеркивали, подводили итоги, но никто из них не заказывал даже кофе. Они только дымили папиросами, прикуривая их одну за другой от многомиллионных купюр обесцененных марок, которые были теперь дешевле спичек.

— Кофе? Чаю? — подбадривали посетителей официанты, намекая на то, что пора бы уже что-нибудь заказать.

— Потом! — отмахивались те и продолжали писать на столиках.

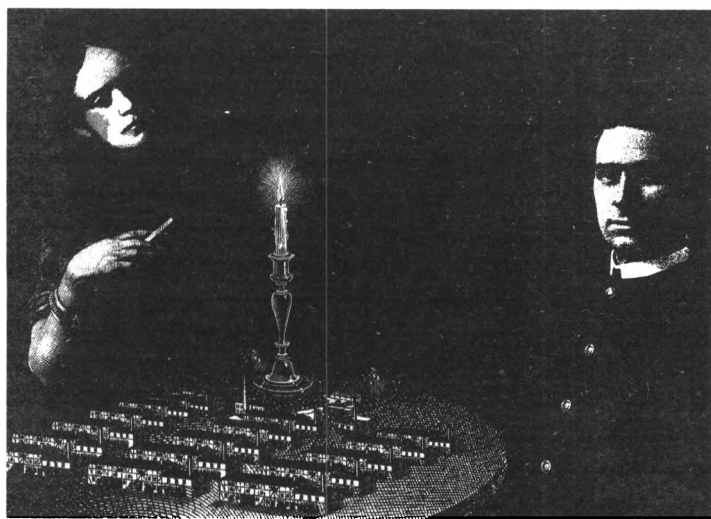
Они высчитывали, кому досталась жирная кость на этой большой ярмарке, а кому синяки и шишки. Лодзь стала с ног на голову. Разного рода мясники, холопы, глупцы и проходимцы роскошествовали, хватали что попало, выкручивались и нагревали руки. Солидные люди, богачи, премудрые и многоопытные, оставались ни с чем, с одним кнутом без лошади и телеги, с ворохом напечатанных на плохой бумаге и ничего не стоивших теперь банкнот.

Из-за границы стали появляться первые ласточки, представители торгующих шерстью и хлопком компаний, которые приезжали требовать плату за поставленное сырье. Однако закупщики сырья могли расплатиться только пустыми бумажками. У них больше ничего не осталось. Люди банкротились один за другим. В судах непрерывно шли процессы.

Адвокаты были завалены работой. Темные вонючие нотариальные конторы были забиты людьми, как хасидские молельни. Мужья заблаговременно переписывали на жен свои дома, фабрики и магазины, чтобы их не забрали кредиторы.

Фабрики стояли. Ни один дымок не пятнал небо. Железные фабричные решетки были заперты, как крепостные ворота, — никого не впускали, никого не выпускали. Рабочие тысячами слонялись по улицам с пустыми карманами, не зная, чем занять руки. Толпы людей стояли в очередях у бюро по найму рабочей силы и ждали вызова из-за приоткрытой дверцы в надежде получить хоть какую-нибудь работу. Здесь набирали во Францию, в угольные шахты, и фабричный люд толкался в очередях, чтобы попасть в список тех, кто должен уехать из своей страны, из своего дома, от своей семьи ради заработка под чужой землей. Всевозможные агенты корабельных компаний крутились вокруг стоящих в очереди мужчин, рассказывали им о счастливой жизни в заморских странах, какой можно сподобиться, если купить у них билеты на корабль. Разодетые в пух и прах проходимцы, выдававшие себя за иностранных консулов, выманивали у рабочих последние гроши, продавая им фальшивые визы и поддельные паспорта. Антисемитские агитаторы произносили ядовитые речи против еврейских фабрикантов, которые выбрасывают польских рабочих на улицу, заставляют их уезжать в чужие страны, а сами остаются в Польше, чтобы превратить ее в Израильское царство. Церковные служители прохаживались вдоль очереди с коробками для сбора пожертвований, звонили в колокольчики и просили денег на строительство новой городской церкви. Революционеры втихаря раздавали свои отпечатанные на плохой бумаге прокламации, полные ненависти к богачам и правителям, призывавшие вести с ними борьбу и предрекавшие установление власти трудящихся. Тайные агенты и полицейские, женщины из патриотических обществ и студенты в маленьких ярких фуражках гонялись за революционерами, били их, хватали и, избитых,





с синяками под глазами и непокрытыми головами, вели, награждая плевками, в полицейские комиссариаты Лодзи.

— Бейте их, этих Троцких! — раздавались голоса. — Пусть убираются в свою Палестину!

Ткацкие станки в Балуте снова стояли, покрытые в будние дни субботними скатертями. Машины портных, чулочников, галантерейщиков, швей и вовсе были задвинуты в дальний угол. Дети, худые, осунувшиеся, сидели по домам и выглядели в треснувшие окошки на безлюдные улочки. Старьевщики с пустыми мешками и большими бородами то и дело поднимали свои мрачные взгляды к окнам бедных домов в надежде купить хоть что-нибудь. Никто их не подзывал. Бледные, хромающие, скрюченные, настоящие и фальшивые калеки ходили по дворам, устраивались рядом с помойными ящиками, в которых рылись бездомные собаки и кошки, и распевали свои нищенские напевы.

Им, людям Балута, больше нечего было ждать. Их и прежде оттесняли механизмы, выкуривал пар. На фабрики их не пускали польские и немецкие рабочие. Даже на предприятия еврейских фабрикантов они не смели сунуться. Иноверцы прогоняли их из фабричных цехов. Еврейским рабочим были доступны только старые ручные станки. В дни всеобщего помешательства, когда возможен был любой абсурд, люди Балута тоже трудились, вручную конкурируя с паровыми машинами. Теперь они первыми остались без работы. Пособий по безработице они не получали. Воевода Панч-Панчевский так повернул закон, что грошовое пособие полагалось только фабричным рабочим. Подмастерья из маленьких еврейских мастерских в расчет при этом не принимались.

Молодые и сильные парни становились в очереди у государственных бюро по трудоустройству, где давали черную работу на строительстве каналов, шоссе, но иноверцы прогоняли их.

— Пошли отсюда, Мойши, — гнали их безработные неевреи. — А ну, валите, тателе, мамеле, ой-вей!..

Еврейских рабочих спасали только общинная благотворительность и дешевые кухни, открытые в Балуте состоятельными пожилыми дамами. Балутские лавочники дремали в своих лавках, не имея другого занятия. Они давно в глаза не видели ни гроша.

Вся жизнь сосредоточилась на вокзале. Мужчины, женщины, дети с баулами постельного белья, с субботними подсвечниками, со всем своим скарбом наполнили вокзалы, заняли все вагоны поездов. Лодзь бежала: женщины — к своим мужьям в Америку, отцы — к детям, дети — к родителям. Бывшие жители сел вдруг вспомнили об огородах, которые они когда-то сажали, о садах, которые у них цвели, о картофельных полях, которые они обрабатывали до приезда в Лодзь. И они потянулись в Аргентину, чтобы вновь зажить там прежней, сельской жизнью.

Халуцы<sup>1</sup> — парни с загорелыми лицами и девушки в простых платьях и с горящими глазами — группами уезжали со своими солдатскими рюкзаками, с палками в руках и с высоко поднятыми бело-голубыми флагами в Эрец-Исраэль, чтобы обрабатывать разоренную землю праотцев. Они пели песни на святом языке гортанно, как восточные евреи, они плясали зажигательные танцы на вокзалах и в вагонах. Еще отчаяннее уезжающих пели и плясали провожающие их. Они долго махали вслед уезжающим флагами и кричали по-древнееврейски, надрывая глотки:

— На будущий год — в Иерусалиме!

Первым и вторым классом, с множеством чемоданов и коробок, в элегантных костюмах, с букетами в руках, ехали в итальянские порты состоятельные евреи со своими разодетыми в меха и увешанными бриллиантами женами и дочерьми, чтобы оттуда роскошными кораблями перебраться в Эрец-Исраэль, страну, про которую так много пишут в газетах и говорят, что с капиталом там можно прокручивать се-

<sup>1</sup> Первопроходцы (*ивр.*) — члены поселенческого социалистического сионистского движения.

рьезные дела. Они не сбивались в группы, как халуцы, они не пели и не плясали. Каждая семья уезжала по отдельности и втайне от других. Они не собирались пахать там землю. Они ехали покупать земельные участки и открывать магазины и фабрики, если на этом можно будет заработать. В Лодзи дела шли плохо. В этом городе, заваленном товарами на годы вперед, больше невозможно было получить ни гроша прибыли. По Лодзи, как гиены возле трупа, рыскали чиновники налогового управления и отрывали от бездыханного города куски в виде государственных налогов. На пустынных, мрачных лодзинских улицах встречались разве что военные, вооруженные, нарядные, горделивые, и чиновники с бесчисленным множеством пуговиц и значков на мундирах. Они, как саранча, сметали все в пользу государственных касс. Они были ненасытны, эти жадные, злобные, жуликоватые налоговые чиновники. Они облазили все еврейские магазины и фабрики, они заходили к оставшимся не у дел коммерсантам и отнимали у них последние гроши, чтобы наполнить государственные кассы. Они вытаскивали из подвалов станки, снимали белье с постелей, опустошали магазины и увозили все это телегами на склады, чтобы продать и сдать выручку государству.

Бедные еврейские женщины бежали за этими телегами, как за катафалками, оплакивая свое скудное, безвозвратно увозимое добро.

— Смотрите, люди, вот горе! — кричали они, заламывая руки. — Смотрите, что за напасть на наши головы!

У состоятельных евреев опечатывали магазины, с женщин снимали украшения, у мужчин вытаскивали из карманов золотые часы — словом, стригли и без того уже голых овец. Поэтому они, состоятельные евреи, бежали из города, торопясь спасти то, что еще осталось, стремясь поселиться в Эрец-Исраэль, земле чужой и далекой, и создать новую Польшу, новую Лодзь, новую Петроковскую в стране своих праотцев.

Да, страна праотцев была для них далекой и чужой. Они не слушали громких, по-восточному гортанных напевов халуцев в вагонах третьего класса, не смотрели на их зажигательные танцы. По-польски или на лодзинском немецком они с тревогой расспрашивали о климате незнакомой страны, о ее языке и обычаях. Этот язык, древнееврейский, иврит, был им чужд. Они немного знали его по молитвенникам, но не понимали ни слова, когда в нем появлялись гортанные, арабские звуки. Чуждо их европейским телам было и ближневосточное солнце, чужды были им тамошние растения и животные. Про кедры, пальмы, ослов, верблюдов, фиговые и оливковые деревья они знали только из Пятикнижия, которое когда-то изучали в хедере. Женщин интересовало, танцуют ли там современные танцы, есть ли там сосновые леса и снег зимой. Они сомневались, носят ли там шубы, которые они везли с собой, и устраивают ли там маскарады и карнавалы.

— Боже коханий, — вздыхали они, — кто знает, что за жизнь там, в этой чужой стране!

Как в Изгнание, ехали они в Страну Израиля.

Торговые агенты, маклеры, сваты, общественные деятели, торговцы землей заранее заключали сделки. Продавцы поддельных паспортов, соблазнительницы женщин, всякие гнусные типы роились вокруг эмигрантов, обманывали, обдуривали, сбивали с толку, использовали их. По всем путям и всем дорогам евреи бежали из страны, в которой жили сотни лет, в новые страны и к новым народам, в Северную Америку и Аргентину, в Бельгию и Германию, во все уголки земного шара.

Так же, как сотню лет назад люди тянулись в Лодзь, теперь они тянулись из Лодзи, уезжали из обжитого города в незнакомые, чужие края, чтобы начать там все заново.

В грузовых автомобилях, в дрожках, в извозчичьих телегах, в крестьянских возах, в тележках, которые тянули сами беглецы, везли они постельное белье, свой скарб, своих жен и

детей к поездам, уходящим из Польши за границу. Люди покидали Лодзь, где товаров было много, а рынков для товаров не было. Не было здесь и места тем, кто создал и обустроил этот город.

У ворот стояли иноверцы и смотрели на уезжающих евреев. Они не знали, что сказать, радоваться им или огорчаться, к добру это для них или не к добру. И они молчали.

На полях, через которые мчались набитые беглецами поезда, крестьяне останавливали плуги, прикладывали ладони ко лбу и своими светлыми глазами удивленно всматривались в вагоны с евреями. Крестьянки поправляли наползающие на глаза цветастые платки и следили за танцами мелькавших в вагонных окнах халуцев, прислушивались к чужим восточным напевам.

Деревенские дети и собаки выбегали из-за плетней и провожали отбывающих евреев криками и лаем. В селах и местечках, населенных немцами, колонисты и ткачи выходили из домов и смотрели вслед тем, кто ехал к границам, через которые они, немецкие колонисты, однажды пришли в эту страну.

Людям, оставшимся в городе, который когда-то стремительно вырос на пустынных песках, надеяться было больше не на что. Как отделенный от тела орган, лежал этот город, отрезанный от большого российского рынка, питавшего и живившего Лодзь. На какое-то мгновение она встрепенулась, словно умирающий перед тем, как испустить дух. И тут же на ее труп налетели налоговые чиновники, суется и вытягивая из нее последние соки.

Вместе с городом хотел встрепенуться и его король, Макс Ашкенази. Но это была лишь судорога смертельно больного, подобная яркой вспышке гаснущей свечи. Попытки склеить черепки разбитого королевства пошли прахом. Оно треснуло по швам вместе с городом, в котором родилось.

Однажды в поздний ночной час не выдержало и сердце Макса Ашкенази.

Словно лишенный воздуха, Макс Ашкенази не мог дышать в этом городе без дыма. Тихая пустая Лодзь душила его. В горло ему не лезла даже та скромная трапеза, которую ему торжественно подавал на серебряном подносе камердинер. По ночам Макс ни на секунду не смыкал глаз, не слыша шума машинных моторов и фабричных гудков.

Одну за другой он глотал снотворные пилюли. Это была единственная пища, которую его тело еще принимало. Но пилюли не помогали ему. Вся его жизнь, его шумная, безумная жизнь проходила в эти долгие пустые ночи перед его взором. Все его умершие родственники, близкие ему люди вставали у него перед глазами — отец, мать, его тесть реб Хаим Алтер, Прива. Чаше других появлялся перед ним его брат-близнец Янкев-Бунем. Он упрямо маячил у его постели. Струйка крови не переставала стекать с его лба и застывать в его бороде. По телу Макса Ашкенази пробегала волна холода. Пуховое одеяло не могло его согреть.

Как всегда, когда он не мог уснуть, он вставал с постели и блуждал в спальном халате и шлепанцах по комнатам своего дворца. Вокруг было пустынно. В этих больших комнатах на Макса Ашкенази нападал страх. Его пугала даже собственная, ползущая за ним тень. Он хотел, чтобы рядом с ним кто-то был, но рядом никого не было — ни ребенка, ни близкого человека. Он выглядывал в окна, выходявшие в большой фабричный двор. Во дворе была непроглядная тьма. Из черноты ночи выступали высокие трубы, они тянулись к небесам, как высунутые языки мрака.

Макс подходил к большим резным шкафам и перебирал тисненые золотом книги в роскошных переплетах. Однако в них не было ни единого слова, которое легло бы ему на сердце в эти тяжелые ночные часы. Готические буквы, выстроенные в аккуратные строки на гладких толстых страницах, были чужды ему, казались лишенными смысла. Он склонился к самому полу, к нижним стеллажам, где стояли спрятанные от посторонних глаз еврейские святыне книги. Он вытащил Та-

нах, старый, рваный, в кожаном переплете, и вернулся с ним в постель.

При красном свете электрической лампы, под большой легкомысленной картиной, изображавшей убегающую от сатира девушку, он перелистал старые шероховатые страницы Танаха, лист за листом. Горькие строки Мишлей и Коелет о суетности жизни, эти тяжелые слова, которые он всегда, с раннего детства в хедере и до поздних лет, терпеть не мог, которые нагоняли на него тоску, как беззубое шамканье выживших из ума стариков, — теперь, глубокой бессонной ночью, были близки ему, были правдой. Вскоре его пальцы нащупали загнутый лист. Это была книга Иова, та библейская книга, которую он читал во время семидневного траура по своему брату, — тогда-то он и загнул этот лист. С жадностью, словно в первый раз в жизни их видел, он принялся бормотать эти старые, затертые слова, считывая их с желтых жестких страниц. Он читал о судьбе Иова, человека из страны Уц, у которого было семь сыновей, три дочери, семь тысяч овец, три тысячи верблюдов, пятьсот коров и быков, большие богатства. Он был богаче всех сыновей Востока, но на него обрушился сатана.

«...И поразил Иова сыпью дурной от стопы ноги его до темени его. И взял он себе черепок, чтобы скоблить себя им, и сел в пепел... И услышали трое друзей Иова обо всей этой беде, постигшей его, и пришли каждый из места своего: Элифаз, тейманитянин, и Бильдад, шухиянин, и Цофар, нааматянин, и договаривались вместе прийти к нему, чтобы соболезновать ему и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый одежду свою, и бросали прах на головы свои, к небу. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что слишком велика боль его. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой...»<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Иов, 2:7-8, 11-13; 3:1.



Из соседних комнат часы вызванивали время медленно и торжественно.

Макс Ашкенази ненадолго отложил книгу на подушку и приставил к уху руку, чтобы услышать, который час отбивают часы. В это мгновение он почувствовал боль в груди, словно сердце крепко сжали стальные клещи. Он застонал и схватился за шнурок висевшего над его кроватью электрического звонка, чтобы вызывать камердинера, но когда тот вошел, Макс Ашкенази был уже мертв.

Его голова лежала на измятой священной книге. Сведенные судорогой пальцы сжимали шнурок электрического звонка.

## Глава двадцать шестая

**Н**а похороны Макса Ашкенази собралась вся Лодзь. Петроковская улица была черна от народа, от карет и дрожек, от хасидов в черных лапсердаках и с черными бородами, от черноусых фабрикантов, купцов и банкиров в черных цилиндрах, от дам в темных платьях, от лавочников, обсыпанных мукой, от слуг, маклеров, ремесленников, ходящих в хедер мальчишек, ешиботников, нищих, калек. Вся большая еврейская Лодзь, от Петроковской до Балута, стекалась, чтобы проводить на вечный покой этого вечно беспокойного лодзинца.

В кончине Макса Ашкенази люди видели конец города, а в его похоронах — похороны Лодзи. И все тянулись длинной скорбной чередой, шаг за шагом, шаг за шагом. В центре процессии, у катафалка, без всяких украшений и цветов, шли три закутанные в черное женщины. Хотя их лица были закрыты вуалями в знак траура, все знали, что это две жены Макса Ашкенази и его дочь. Со склоненными головами, дер-

жа друг друга под руки, три вдовы шли за медленно катившимся катафалком.

Могильщики выкопали для короля Лодзи маленькую, словно для ребенка, могилу. Какой-то посторонний еврей с плачем прочитал по нему кадиш.

Евреи склонялись, брали комья земли и бросали их по обычаю в могилу усопшего.

— Из земли ты пришел и в землю уходишь, — тихо шептали они.

Лодзинское небо закрыла грузная туча, подул ветер и запорошил людям пылью глаза. Так же тяжело, как тяжела была нависшая над Лодзью туча, все возвращались в город, пустой и чужой.

— Песок, — ворчали евреи, заслоняя глаза от преследовавшей их пыли.

— Все, что мы строили здесь, было на песке, — еле слышно бормотали старики.

Быстро, стремительно сгущались сумерки. В затянутом тучами небе отчетливо виднелась изогнутая, похожая на полумесяц стая птиц. Они мчались куда-то и кричали.

(Варшава — Нью-Йорк, 1933-1935)

# Оглавление

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### РОЖДЕНИЕ

Глава первая	11
Глава вторая	16
Глава третья	23
Глава четвертая	40
Глава пятая	45
Глава шестая	54
Глава седьмая	68
Глава восьмая	74
Глава девятая	90
Глава десятая	102
Глава одиннадцатая	112
Глава двенадцатая	124
Глава тринадцатая	131
Глава четырнадцатая	143
Глава пятнадцатая	154
Глава шестнадцатая	163
Глава семнадцатая	174
Глава восемнадцатая	186
Глава девятнадцатая	202
Глава двадцатая	221
Глава двадцать первая	238
Глава двадцать вторая	249
Глава двадцать третья	257
Глава двадцать четвертая	267
Глава двадцать пятая	276
Глава двадцать шестая	287

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ТРУБЫ В НЕБЕ

Глава первая	297
Глава вторая	314
Глава третья	325
Глава четвертая	340

Глава пятая .....	350
Глава шестая .....	364
Глава седьмая .....	373
Глава восьмая .....	383
Глава девятая .....	393
Глава десятая .....	400
Глава одиннадцатая .....	408
Глава двенадцатая .....	415
Глава тринадцатая .....	430
Глава четырнадцатая .....	438
Глава пятнадцатая .....	452
Глава шестнадцатая .....	460
Глава семнадцатая .....	475
Глава восемнадцатая .....	484
Глава девятнадцатая .....	491
Глава двадцатая .....	497
Глава двадцать первая .....	502
Глава двадцать вторая .....	523
Глава двадцать третья .....	533
Глава двадцать четвертая .....	539

## **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**

### **ПАУТИНА**

Глава первая .....	551
Глава вторая .....	562
Глава третья .....	570
Глава четвертая .....	577
Глава пятая .....	588
Глава шестая .....	598
Глава седьмая .....	607
Глава восьмая .....	614
Глава девятая .....	622
Глава десятая .....	634
Глава одиннадцатая .....	644
Глава двенадцатая .....	653
Глава тринадцатая .....	669
Глава четырнадцатая .....	676
Глава пятнадцатая .....	686
Глава шестнадцатая .....	695
Глава семнадцатая .....	704
Глава восемнадцатая .....	714
Глава девятнадцатая .....	730

Глава двадцатая .....	733
Глава двадцать первая .....	743
Глава двадцать вторая .....	752
Глава двадцать третья .....	764
Глава двадцать четвертая .....	773
Глава двадцать пятая .....	782
Глава двадцать шестая .....	793

**Зингер И.-И.**

3-63 Братья Ашкенази: Роман в трех частях / Исроэл-Иешуа Зингер; Перевод с идиша Велва Чернина; Художник Дмитрий Шевионков-Кисмелов — М.: Книжники, Текст, 2012. — 794[6] с.

ISBN 978-5-9953-0186-8 («Книжники»)

ISBN 978-5-7516-1060-9 («Текст»)

Роман замечательного еврейского прозаика Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944) прослеживает судьбы двух непохожих друг на друга братьев сквозь войны и перевороты, выпавшие на долю Российской империи начала XX-го века. Два дара — жить и делать деньги, два еврейских характера противостоят друг другу и готовой поглотить их истории. За кем останется последнее слово в этом напряженном противоборстве?

УДК 821.112.28(73)

ББК 84(7Сое)

БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Исроэл-Иешуа ЗИНГЕР

**БРАТЬЯ АШКЕНАЗИ**

Роман в трех частях

Редакторы Анастасия Власова, Борис Радзиловский

Корректор Виктория Рябцева

Издательство благодарит Давида Розенсона  
за участие в разработке этой серии

Подписано в печать 29.12.11. Формат 84 x 108/32.

Усл. печ. л. 41,16. Уч.-изд. л. 37,76. Тираж 5000 экз. Заказ № 680

Издательство «Книжники»

127055, Москва, ул. Образцова, 19, стр. 9

Тел./факс: (495) 663–21–06; 710–88–03

E-mail: [info@knizhniki.ru](mailto:info@knizhniki.ru); [lechaim@lechaim.ru](mailto:lechaim@lechaim.ru)

Интернет-магазин: [www.knizhniki.ru](http://www.knizhniki.ru)

Издательство «Текст»

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7

Тел./факс: (499) 150–04–82

E-mail: [text@textpubl.ru](mailto:text@textpubl.ru)

<http://www.textpubl.ru>

Представитель в Санкт-Петербурге: (812) 312–52–63

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в ОАО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

OCR Давид Титиевский, октябрь 2019 г., Хайфа



Еврейские тексты и темы

**booknik**

**первый ежедневно обновляемый независимый ресурс,  
посвященный еврейским текстам и темам  
в литературе и культуре  
[www.booknik.ru](http://www.booknik.ru)**

The **NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER** furthers understanding of the Jewish people and advances knowledge of Yiddish literature and modern Jewish cultures. Our far-reaching programs include outreach to students, scholars, educational activities, publications, a Summer Institute, and an online library open to all. To learn more about the Center's activities, please visit [www.yiddishbookcenter.org](http://www.yiddishbookcenter.org)

and

We introduce ***Jewish Ideas Daily***, a free online source of the best that has been and is being thought and said by or about Jews · their history, religion, culture, and ideas. For more, please visit [www.jewishideasdaily.com](http://www.jewishideasdaily.com)



Семейная сага замечательного еврейского писателя Исроэла-Иешуа Зингера (1893—1944), брата нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера, проследживает судьбы двух непохожих друг на друга братьев, переживающих потрясения, которые выпали на долю Российской империи начала XX века. Два дара — наслаждаться жизнью и добиваться финансового успеха, два еврейских характера противостоят друг другу и готовому поглотить их внешнему миру. За кем останется последнее слово в этом противоборстве?

Опубликованный в 1936 году, роман «Братья Ашкенази» вскоре стал бестселлером. Исроэл-Иешуа Зингер вырвался за рамки бытописания местечковой жизни, типичного для еврейских писателей XIX столетия, и создал многоплановое произведение с широким спектром населяющих его персонажей и развернутым сюжетом, свойственным европейской литературной традиции. Существовая в одном ряду с прозой таких мастеров, как Эмиль Золя, Гюстав Флобер и Лев Толстой, роман И.-И. Зингера по праву считается шедевром жанра эпических повествований.



Чудесный роман.

*Сол Беллоу*

Книга огромного, толстовского размаха... совершенное мастерство сочетается со стремительно развивающимся сюжетом.

*Уолл-стрит джорнал*

Роман «Братья Ашкенази» займет достойное место на любой книжной полке, отведенной произведениям современного искусства.

*Ньюсуик*

Мощный роман, сочиненный мощным талантом... Зингер обладает даром рассказчика, захватывающим и волнующим читателя, его перо живо, ярко, энергично, и книга получилась величественной, полной красок, несущей в себе осознание важности собственной темы.

*Нью-Йорк таймс бук ревью*

При под...  
THE ROSE... RITABLE TRUST

